РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельянников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ТОМАС МАНН

БУДДЕНБРОКИ

ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1969

Вступительная статья
Н. Вильмонта

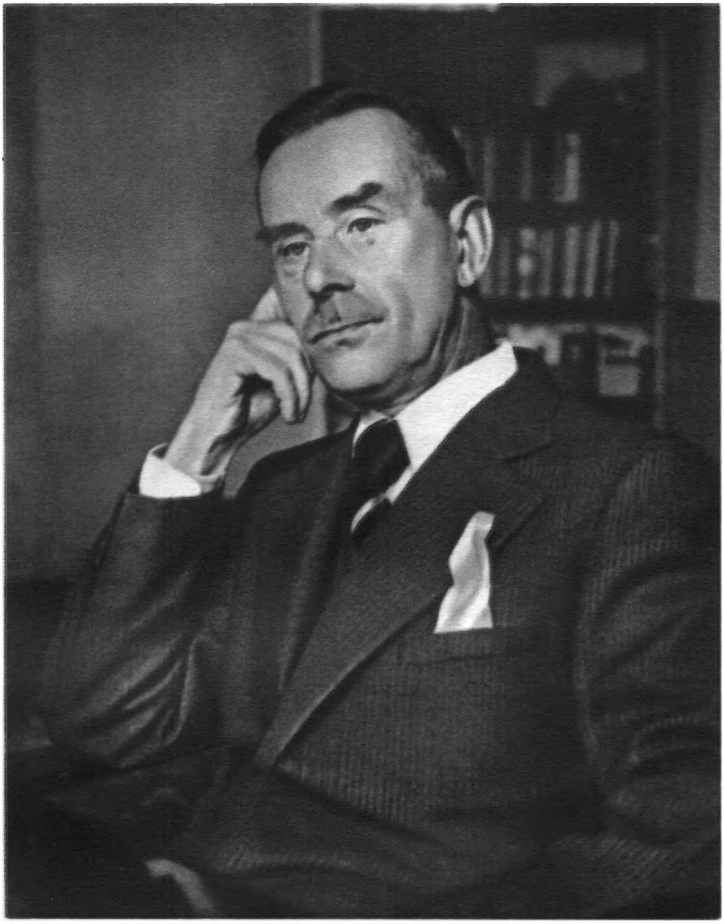
И (Нем)
М 23

Перевод
Натальи Ман

Иллюстрации
Н. Щеглова

Скан и обработка: glarus63

7-3-4
Подп. изд.



ТОМАС МАНН И ЕГО «БУДДЕНБРОКИ»

1

Судьба человека — величайшего и ничтожнейшего — слагается из неразрывного взаимодействия, с одной стороны, прирожденных свойств, определяющих неповторимую *своеобычность* каждого из нас, с другой — тех социально-исторических обстоятельств и сил, которые действуют в мире, куда человек попадает по закономерной прихоти случая.

Человек, тем самым и писатель,— говоря словами Гете («Поэзия и Правда»),— «родись он на десять лет раньше или позже, будет совершенно иным в том, что касается его собственного развития и его воздействия на внешний мир». Ибо «время увлекает за собою каждого, хочет он того или нет, определяя и образуя его»; и все же он «при всех обстоятельствах остается все тем же», через какие *аватары* (преображения) он бы ни проходил.

Последнее не менее важно, чем утверждение зависимости писателя от сверстной ему действительности.

В силу сказанного, не безразличны час и место рождения человека. Стечению сил и обстоятельств подчиняется каждый, если он жизнеспособен; но человек и сам — *сила и обстоятельство,* и потому, в свою очередь, может посильно воздействовать на ход земных свершений. Здесь все зависит от того, способен ли он понять умом и сердцем, настороженным инстинктом и взыскательной совестью, в чем время ему благоприятствует и в чем, напротив, чинит ему препоны.

Томас Манн, автор «Будденброков», крупнейший немецкий писатель XX века, родился 6 июня 1875 года в семье богатого негоцианта и сенатора «вольного города» Любека.

Этот старинный город, в котором прошли детство, отрочество и ранняя юность писателя, город, незабываемо точно воссозданный в «Будденброках» и неотъемлемо связанный со всем творчеством Манна, был разрушен во время второй мировой войны налетами американской авиации. От так называемого «дома Будденброков», некогда принадлежавшего деду и прадеду писателя, странным образом уцелел один лишь передний фасад,— видимо, особенно добротной кладки; все прочее обратилось в труху и щебень.

Восстановить этот дом в том виде, каким его помнил автор «Будденброков», сочли излишним, тем более что их великий земляк, собственно, никогда не жил под его патриархальным кровом. Внушительный фасад подновлен, обведена свежей краской знакомая читателям латинская надпись «Dominus providebit». Но на этом и кончается попечение о славном историко-литературном памятнике — в резком отличии от франкфуртского Дома-музея Гете, полностью стертого с лица земли в те же самые годы, но тщательно, вплоть до мельчайших деталей, реконструированного (даже оконные стекла изготовлены по рецептам середины XVIII в.), так что теперь он производит впечатление ничем не потревоженной старины.

Побывав в Городском музее и в «Катеринеуме», где некогда учились братья Манны (и наши знакомцы — Томас и Христиан, а там и маленький Ганно Будденброк), я спустился по Менгштрассе и, уж конечно, не преминул заглянуть в «Будденброкхауз». Но тут же поспешно захлопнул тяжелые двери: за фасадом в стиле позднего барокко сияло стеклом, дневным и неоновым светом обширное вместилище «Фольксбанка». Не хотелось рассеять видения старого Любека, призрачной явью тебя обступившие на рыночной площади перед почтенным зданием ратуши. По-воскресному звонили колокола Санкт-Мариенкирхе, качаясь, не по-нашему, всею медью тяжких своих корпусов. Пестрые ларьки под безоблачно бледным небом, перегруженные рождественскими игрушками, галантерейными и прочими товарами и всякой снедью; на огромных сковородах поджаривал шипящие колбáсы тучный повар — живой памятник «доброму старому времени»; а вот и музыканты явно итальянского обличья, словно сошедшие со страниц знаменитого романа,— скрипачи, дудочники, даже выходцы из давних десятилетий — анахроничные шарманщики.

День прошел в осмотре городских примечательностей, связанных с жизнью великого писателя. Где-то вблизи уже проиграли куранты и вслед за тем с мягким гулом отсчитали шесть полновесных ударов. Давно на город снустились сумерки,— вернее, залило его бесснежные декабрьские улицы слепящим электрическим светом, безмерно усиленным предпраздничной иллюминацией. Всюду — елки в пестрых лампионах, цветных фонариках, игрушках, слюде и канители, неподвижные и, напро-

тив, непрерывно вращающиеся над входами в богато убранные магазины. Но и этого мало: над проезжей частью улиц свисали густые гирлянды из разноцветных лампочек.

Такого парадного обилия света не знал, конечно, Любек времен Будденброков. В старомодное прошлое, восстановленное консервативным рвением магистрата, вторгалось новое — в виде торговых «хрустальных дворцов» новейшей стройки, девушек в узких брючках, мужской молодежи, щеголявшей нарочито запущенной внешностью, и непрерывного, поневоле замедленного, потока «мерседесов» и «фольксвагенов». Но вопреки, а быть может, и благодаря всем этим явственным переменам, Любек оставался Любеком, то есть все тем же оживленным — торговым и промышленным — приморским городом.

Вот и пришлось побывать на родине «Будденброков» и их создателя и убедиться в том, как похож Любек на свое отображение в романе, сколько б он ни видоизменялся...

2

«Будденброки. История гибели одного семейства» не первое произведение Томаса Манна. Ему предшествовали его ранние новеллы, тогда еще не позволявшие предугадать в их юном авторе замечательнейшего немецкого писателя нашего века.

Сошлемся и в этой связи на «Поэзию и Правду» — прообраз, к которому восходит большинство позднейших жизнеописаний и, в частности, фиктивные автобиографические и биографические сочинения Томаса Манна: «Признания авантюриста Феликса Круля» и «Доктор Фаустус». «Если бы дети росли в соответствии с тем, что они обещают,— так пишет Гете,— то вырастали бы одни гении. Но рост не всегда равнозначен развитию... Сколько бы прирожденные задатки ни свидетельствовали об определенной их направленности, не так-то легко и величайшему, многоопытному сердцеведу достоверно предсказать, во что они выльются и к чему приведут наделенного ими ребенка; но тем возможнее задним числом обнаружить, что́ из ранних проявлений предвещало его будущее».

Сказанное вполне приложимо и к первым творческим проявлениям художника. «Задним числом» нетрудно обнаружить, из каких разросшихся элементов ранней новеллистики Томаса Манна сложился его первый роман, образовалось все дальнейшее его творчество.

Начало литературной деятельности писателя совпало с последним пятилетием XIX века, с пресловутым «fin de siècle» («концом века» в значении чуть ли не исторического светопреставления). То было время, когда капитализм уже вступил в империалистическую фазу своего развития, а это привело к крайнему обострению всех общественных про-

тиворечий и к глубокому кризису буржуазной культуры. Никогда не говорили об искусстве так много, так запальчиво парадоксально, так вызывающе самонадеянно. Никогда не возникало столько оспаривавших друг друга философских течений и «литературных школ» — верный признак того, что реальный мир уже стал для художников неразрешимой загадкой.

Старейшей из «школ» того времени был *натурализм* — поздняя попытка буржуазного искусства проникнуть с помощью *разума* в тайну исторической действительности. Непосредственный контакт искусства с реальным миром был утрачен вместе с непомерно возросшим *отчуждением социальной силы от человека* — чертой, неотъемлемой от капитализма, но особенно грозно обозначившейся в монополистическую и подавно в империалистическую стадию его развития.

Натурализм, то есть прежде всего Золя, попытался восполнить эту утрату, обратившись к «последнему слову» тогдашней — буржуазной — науки: к социологическим теориям Ипполита Тэна и к учению о наследственности Клода Бернара, автора столь нашумевшего «Введения в экспериментальную медицину». Именно к этим «столпам позитивизма» восходит коренной недостаток натуралистического искусства — *фетишизация* «среды» и биологических законов наследственности. И все же рассудочные догмы натурализма не воспрепятствовали ни Золя, ни лучшим его соратникам уловить зорким глазом художника-реалиста многие характерные явления капиталистического мира, принимавшего все более зловещее обличье. Вопреки своей «позитивистской» вере в «буржуазный прогресс», автор «Жерминаля» (1885) с неподкупной правдивостью обрисовал трагическое положение пролетариата, более того, признал за ним право на восстание против своих угнетателей. Так или иначе, но ряд больших художников натуралистического и родственных ему направлений — Мопассан, Гонкуры, Ибсен и др.— сыграли выдающуюся роль в истории европейского критического реализма. Вместе с тем натурализм с его интересом к вопросам патологической наследственности порождал и такие литературные продукты, как роман Гюисманса «Au rebour» («Навыворот»), возвещавший новую эру воинствующего эстетизма и декадентства, эру любования «цветами зла» утонченной культуры «упадка».

В качестве первого немецкого знаменосца натурализма выступил Михаэль Георг Конрад, критик и беллетрист, основавший журнал «Гезельшафт», боевой орган немецких натуралистов, в котором печатались также молодые писатели других новейших литературных течений. Почитатель Ибсена и Золя (с которым он встречался в Париже), Конрад энергично содействовал молодой славе Гауптмана, чья драма «Ткачи» и поныне считается высшим достижением немецкого натурализма. В журнале «Гезельшафт» были напечатаны и ранние рассказы Томаса Манна, что дало основание тогдашним критикам и его сопричислить к натуралистам.

Впрочем, кого только не относили тогда к натурализму! Даже — Ницше. Так отчасти расценивал Ницше и популярнейший датский критик Георг Брандес, первый, кто «представил Европе и немцам» этого философа «неумолимо жестокой жизни».

Такое парадоксальное сближение натурализма и ницшеанства до некоторой степени оправдано: Ницше, Вагнер и Шопенгауэр были бесспорно крупнейшими представителями иррационализма, к которому в ту пору стали склоняться бывшие соратники Золя, изверившись в силе науки и разума. Вспомним в этой связи хотя бы увлечение Шопенгауэром «позднего» Мопассана; да и Михаэль Георг Конрад выступил в 1895 году с утопическим романом из жизни будущего — «В багровом мраке», густо приправленным ницшеанскими идеями.

Еще в большей мере тяготели к названным «властителям умов» новейшие «литературные школы», противопоставившие себя натурализму и уже успевшие выдвинуть в странах немецкого языка — Австрии и собственно Германии — такие весомые имена, как Райнер Мария Рильке, Гуго фон Гофмансталь и Стефан Георге.

Для Томаса Манна одинаково характерны и повышенная его восприимчивость к всевозможным «веяньям времени», и его строптивое несогласие отождествлять себя с каким-либо из возобладавших литературных и философских течений. «Мысленно возвращаясь к прошлому,— так говорил Томас Манн в своей речи «Мое время» (1950),— могу сказать, что я никогда не гнался за модой, никогда не носил шутовского наряда факельщика du fin de siècle, никогда не задавался тщеславной целью стоять, в литературном смысле, à la tête (во главе) самоновейших запросов дня, никогда не примыкал к какой-либо школе или группе, захватившей нежданное первенство,— ни к натуралистам, ни к неоромантикам, неоклассикам, символистам, экспрессионистам или как они там еще назывались».

Вместе с тем Томас Манн учился у всех, у кого было чему учиться. У него, как у Людовика XIV, имелась своя «chambre de réunion» («присоединительная палата»), на которую «королем-солнцем» была возложена деликатная задача юридически обосновывать «права французской короны» на обладание чужими, соседними территориями. Таким «правом на присоединение» Томас Манн пользовался достаточно широко и почти всегда невозбранно.

Речь здесь шла не о меньшем, чем об освоении всемирно коллективного художественного и — шире — общедуховного опыта человечества. По мысли Томаса Манна, вся культура, все, что было создано и создается человеком, его «волей к форме» — поэтической, музыкальной, пластической, научной, философской, мифотворческой,— является для творца-художника лишь материалом, скопищем идей, мотивов и многоразличных средств художественной технологии для создания *новых*,

продиктованных «нашим временем», произведений искусства. Под этим углом Томас Манн хоть и различал «анекдоты», приходившие к нему непосредственно из жизни, от «анекдотов» или мотивов, уже побывавших под пером его предшественников (будь то библейская история Иосифа, сына Иакова, или же легенда «Обмененные головы» из санскритского сборника XII в. «Шукасаптати»), но отнюдь не считал этого различия столь уж решающим. Ведь и в том и в другом случае автор не столько «изобретает», сколько «находит» материал, содержание, мотивы будущего своего творения; более того, они сами «приходят к нему», ему «навязываются». Важно только, чтобы пришедший извне мотив вошел в структуру художественного произведения непринужденно, вполне «органично». «Все, что у меня,— мое! А взял ли я это из жизни или из книги, безразлично,— сказал однажды Гете Эккерману.— Вопрос лишь в том, хорошо ли у меня получилось».

Ссылаясь на пример Тургенева, Гете, Шекспира, которые все «больше любили находить, приобретать, чем изобретать», Томас Манн в первой же своей теоретической статье, «Бильзе и я», выдвинул примечательную тезу: «Не дар изобретательства, а способность одушевлять, одухотворять отличает поэта», то есть — давать эмоционально-смысловое истолкование «всему только предметному», «голым фактам», «внешнему» течению событий.

Говоря об освоении всемирно-коллективного художественного и общекультурного опыта всех времен и народов — в первую очередь европейских, а там и других континентов, Томас Манн, по сути, уточняет задачу, выдвинутую еще Гете: создание «всемирной литературы» на всех языках культурного человечества, но он углубляет эту идею и придает ей иной, дополнительный смысл. У Томаса Манна речь идет уже не только о том, чтобы на языке каждого культурного народа полноценно зазвучали голоса всех мировых гениев и примечательных чужеземных писателей современности, а об овладении писателем всеми регистрами мировой культуры, интернационального культурного сознания, но — никак не в ущерб *национальной* основе творчества представителя каждого из народов. «Нельзя стать интернациональным,— так поясняет Томас Манн,— не будучи сперва национальным». Конкретной предпосылкой этой мысли в известной мере послужила судьба его же первого романа. По мнению соотечественников Манна, «Будденброки» были «непереводимо немецким произведением», но не прошло и десятилетия, как этот роман оказался переведенным на все европейские языки и вошел в культурный обиход большинства разноплеменных его читателей.

Сам автор «Будденброков» отчетливо сознавал и не раз о том говорил, сколь многим он обязан не только и даже не столько немецким

своим предшественникам, сколько великим чужеземцам — скандинавам, англичанам, французам и особенно русским.

Томас Манн, как мало кто из писателей, неустанно пополнял свои знания, стремясь, говоря словами Пушкина, «и в просвещении быть с веком наравне». Он учился у всех хоть чем-либо примечательных собратьев по перу, а также у представителей других искусств, более того, даже у чуждых ему художников, добиваясь обогащения своего — *реалистического* — искусства. Его творческая «присоединительная палата» работала бесперебойно. Он «усложнял» свой «прирожденный стиль» (его выражение) новейшими техническими находками искусства («внутренним монологом», «потоком сознания» и другими «новизнами»), подчиняя их высоким задачам художественного реализма.

Но здесь мы позволим себе необходимое замечание. Подобно тому как Томас Манн позднее осознал, что мог бы почерпнуть понятие о «полноте жизни» уже у Гете (то есть вовсе даже не обращаясь к Ницше), он мог бы также заметить, что многое из «новизн» модерна было уже предвосхищено русской классической литературой XIX века. Так, «внутренним монологом», а также передачей «состояния между ясным и помутившимся сознанием» (во время болезни или перед смертью) полновластно пользовался еще Толстой, не говоря уже о том, что́ у нас было названо толстовским «приемом остранения», то есть об артистическом воссоздании впечатлений от реального мира как бы «со стороны», причем обычно — от имени вымышленного персонажа. К этому «приему» с неменьшим искусством подчас прибегал и Чехов.

3

«Будденброкам», как сказано, предшествовала ранняя новеллистика Томаса Манна.

Это верно, но верно не безоговорочно.

Дело в том, что мысль попробовать свои силы на поприще романа впервые посетила молодого писателя очень рано, еще в 1896 году, когда он был автором всего лишь одного напечатанного рассказа — «Падшая», так никогда и не включавшегося в какой-либо из сборников Манна или в прижизненное собрание его сочинений.

Собственно, с этого года, проведенного со старшим братом Генрихом в Италии — в Риме, Неаполе и Палестрине, Томас Манн уже стал себя сознавать «романистом in spe»[1], работать над составлением плана задуманного произведения, собирать для него материалы: у старого кон-

[1] Дословно: в надежде; здесь, скорее: «в близком будущем» *(лат.)*.

сула Вильгельма Марти (своего двоюродного деда) он запрашивал сведения по истории родного города, у матери — рецепты любекской кухни, у сестры Юлии — жизнеописание тетушки Элизабет Манн-Хааг, послужившей моделью и прототипом для Тони Будденброк.

Но вплотную за писание романа Томас Манн засел только через два года, уже издав у Саула Фишера первый томик своих рассказов — под общим заглавием «Маленький господин Фридеман». Эта книга прошла с успехом, не так-то часто выпадающим на долю дебютанта, чем, надо думать, и было вызвано лестное предложение Фишера: «Я был бы рад напечатать и более пространное Ваше произведение — повесть или даже небольшой роман». Берлинский книгоиздатель навряд ли подозревал, что с тем же замыслом носился и юный его адресат...

О большой эпопее, охватывающей жизнь четырех поколений именитого купеческого рода, о пространной «истории гибели одного семейства» Томас Манн тогда еще не помышлял. Ему мерещился всего лишь «небольшой роман в двести пятьдесят страниц, не более», блестящий по форме, дробящийся на краткие, в себе законченные, главы-эпизоды в манере романа братьев Гонкуров «Ренэ Моперен», прочитанного все в том же 1896 году, но вместе с тем характерно от него отличающийся: прежде всего сдержанным северонемецким колоритом, в котором слились воедино элегический сумрак прозы Теодора Шторма с обаятельной светскостью «старика Фонтане» и задиристо-метким юмором бесподобного Фрица Ройтера, писавшего свои романы на смачном нижненемецком диалекте (к нему нередко прибегает, особенно в «народных сценах», и автор «Будденброков»).

Поначалу Томаса Манна преимущественно занимала судьба болезненно-впечатлительного маленького Ганно и разве что отца «последнего отпрыска рода», сенатора Томаса Будденброка, с упорным стоицизмом продолжавшего отстаивать доброе имя фирмы «Иоганн Будденброк» — вопреки пошатнувшемуся здоровью и утраченной вере в свой успех; автор думал ограничиться этой финальной стадией «гибели одного семейства», отнюдь не вдаваясь в подробности житья-бытья более давних, счастливейших, поколений.

Но, как признавался позднее создатель «Будденброков», «есть нечто необычайное в своеволии произведения». Прошлое «славного патрицианского рода», ранее представлявшееся автору всего лишь краткой «предысторией», объемом не превышающей скупого перечня ближайших предков и родичей Ганса Касторпа в «Волшебной горе» или несколько более подробную семейную хронику Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева, внезапно обрело вполне самостоятельное реальное обличье. «О первоначально задуманных двухстах пятидесяти страницах не могло быть и речи». Роман разрастался и становился таким, каким он вовсе не был задуман, порою пробуждая в молодом романисте «томительное

неверие в собственные силы». «Чтение помогало мне справиться с колебаниями, чтение именно русских писателей» (Толстого, Тургенева, Гончарова).

Не удивительно, что молодому романисту такой непредвиденный отход от изначального замысла мог показаться чуть ли не восстанием *самого романа* (той *жизни*, поэтическим воплощением которой он являлся) против предвзятого авторского произвола, как нисколько не удивительно и то, что это странное *ощущение подвластности* какой-то сторонней мощной силе навсегда сохранилось в памяти автора «Будденброков».

Но критик, исследователь не вправе довольствоваться подобными — всегда глубоко субъективными — показаниями творца-художника, как бы ни были они сами по себе содержательны и захватывающе интересны. Художники редко бывают лучшими толкователями собственных произведений и тех потаенных путей, которыми они пришли к блистательным творческим своим результатам. Отказ писателя от первичной мысли сосредоточить действие романа на образе маленького Ганно и его бегстве от жизни в *музыку* (здесь представляющую искусство в целом) поддается иному, более отчетливому уяснению.

Ганно (как до того герой новеллы «Паяц») являлся для Томаса Манна пусть только *преходящим* (да и тогда уже отнюдь не адекватным) символом его собственного «я», а вместе с тем и символом *творца-художника* как такового, каким себя, все с большим на то основанием, осознавал автор «Будденброков», по мере того как лист за листом накоплялась внушительная рукопись романа.

Не в этом ли неправомерном отождествлении таился коренной изъян первоначального замысла? Ведь в первом (несостоявшемся) «варианте романа» едва ли не центральное место должна была занять тема «искусство и общество». А годился ли в качестве репрезентанта Искусства и его судьбы в сугубо враждебную искусству эпоху грюндерства и зарождавшегося империализма этот пятнадцатилетний подросток с его «бегством» в музыку, оказавшимся так скоро «бегством в объятия смерти»?

Сдается, что *не годился* — уже потому, что Ганно Будденброк прожил слишком мало...

Томас Манн выписал трагический образ злосчастного «наследного принца сходящей с исторической сцены династии» с мастерством, редкостным безотносительно и уж тем более беспримерным, если учесть юношеский возраст его создателя; но *как художник* этот хрупкий мальчик — скорее замедленного, нежели самоуверенно скороспелого развития — сам еще «не выписался» за тот безжалостно краткий отрезок времени, который был ему отпущен.

Писатель наделил своего любимца качествами, без которых нельзя себе представить большого художника,— повышенно острой впечатлительностью, безотказным музыкальным слухом и вкусом и тем особым настороженным «чувством новизны и первичности», которое только и делает возможным жизнь в искусстве. Но все эти столь драгоценные предпосылки творчества все же не составляют еще творца-художника. К ним надо добавить беспримерное долготерпение, честолюбивое усердие, неустанную борьбу с неизбежными трудностями, без чего не могут создаваться истинно прекрасные произведения. А на это потребны годы, вся жизнь, посвященная самозабвенному служению Искусству, то есть именно те *резервы* времени, заполненного напряженным трудом, которыми бедный маленький Ганно как раз и не располагал.

Ставить на примере его горестно-краткой жизни проблему «искусство и общество» оказалось невозможным. Для этой цели был избран — еще во время работы над «Будденброками» — другой мученик Искусства: Тонио Крегер, герой одноименной новеллы. Томас Манн позднее вспоминал, что первое мысленное предвосхищение этой новеллы у него зародилось за чтением «Обрыва» Гончарова летом 1898 года, проведенным в Альсгарде-на-Зинде. Никакого явного влияния Гончарова в новелле «Тонио Крегер» не обнаружить, но тем возможнее в ней усмотреть некое «влияние с отрицательным знаком», то есть сознательное *отталкивание* автора от образа Райского, этого «вечного недоросля» в искусстве, и прямое ему *противопоставление* художника, для которого ничего, кроме упорной работы, кроме творческих мук и внезапных озарений, не существовало.

Что же касается образа маленького Ганно, то он неразрывно связан с темой «истории гибели одного семейства», с элегической концепцией юношеского романа, в котором, по слову автора, «уходящий бюргерский мир растворяется в музыке» — равнозначной смерти.

Ничто в реальном мире (в исторической действительности) не может, конечно, «раствориться» в какой-либо сфере духа, в том числе и в музыке: парадоксальное применение этого глагола — не более чем поэтическая метафора. Но именно на таком невнятно-метафорическом языке изъяснялись художники и мыслители на рубеже прошлого и нынешнего века; не удивительно, что к нему нередко прибегал и юный автор «Будденброков». Отрицать причастность «раннего» Томаса Манна к искусству и мышлению декаданса невозможно.

Декадентство, по верному замечанию Блока, весьма «разностороннее явление». Оно отнюдь не сводится к одному лишь беспечному гедонизму — к откровенному прославлению утонченного разврата на фоне светских салонов и элегантных будуаров, «битком набитых изысканными вещами — гобеленами, старинной мебелью, дорогим фарфором, роскошными тканями и всякого рода драгоценнейшими произведениями искус-

ства»; так — в книге господина Шпинеля (из манновской новеллы «Тристан»), так — в романе Гюисманса и в некоторых главах «Портрета Дориана Грея» Уайльда.

Напротив, в произведениях более чутких и глубоких художников эпохи декаданса (таких, как Верлен, как — позднее — Александр Блок) возобладало тревожное предчувствие неизбежных исторических катаклизмов. Их ужас перед неотразимыми бедами близкого будущего:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней! [1] —

был продиктован не столько своекорыстным страхом перед нараставшим натиском угнетенных классов, открыто стремившихся к революционному преображению мира, сколько трагическим предвидением того, какой непомерной ценой будет куплено всемирно-историческое обновление, к каким преступным средствам самообороны прибегнут властители обреченного миропорядка. Истребительные войны, массовые казни, лживые посулы — всё будет признано «дозволенным», лишь бы продлить свое пребывание на исторической сцене, отстоять — хотя бы только на краткий срок — свое «священное право» на беспощадную эксплуатацию большей части человечества.

О, не хотеть, о, не уметь уйти! [2]

Но как бы ни были благородны помыслы лучших представителей искусства декаданса и по-своему зорки их тревожные предвидения, подняться до *трезвого познания* окружавшей их действительности и тех исторических сил, которым предстояло сокрушить твердыню капитализма, они не сумели. Для этого надо было покончить с «невнятицей» декадентского мышления...

Позднее — много лет спустя по написании «Будденброков» — Томас Манн о себе отозвался как о писателе, «вышедшем из декаданса», но вместе с тем возымевшем решимость «освободиться и отречься» от декадентства. «Более зоркие умы найдут во всех моих работах следы такого устремления, попыток и доброй воли».

Следы этого устремления (в те годы еще подсознательного) явственно проступают уже в «Будденброках». Томас Манн и в первом своем романе не «декадент», а зоркий летописец определенного периода в истории немецкого бюргерства, трезвый аналитик причин, породивших этот период — «эпоху под знаком конца», говоря на языке того вре-

[1] Заключительные строки из стихотворения А. Блока «Голос из хора».

[2] Строка из сонета Верлена «Томление» в переводе Б. Пастернака.

мени. Именно для того, чтобы разобраться в объективных предпосылках (биологического и социально-исторического порядка), Томас Манн и сделался летописцем. Это *познавательное значение* «беспристрастно-летописного стиля», которым написаны «Будденброки», было угадано уже одним из первых рецензентов романа,— правда, им был Райнер Мария Рильке.

Если бы причины, обусловившие падение и гибель «династии Будденброков», были понятны молодому романисту, он не стал бы так пытливо вчитываться в семейную хронику ничем, по сути, не примечательного рода любекских оптовых торговцев пшеницей, рожью и овсом. Ни одна из этих причин, отдельно взятая, не обладала столь уж очевидно разрушительной силой. Досадные убытки, почти неизбежные в большом торговом деле, уравновешивались немалыми прибылями. Но с некоторых пор капитал старинной фирмы «Иоганн Будденброк» хоть и не убывал, однако прирост его был ничтожен — в пугающем несоответствии со стремительно преумножавшимся богатством господ Хагенштремов и им подобных разбогатевших «выскочек». *Беда* — то есть возраставшее преобладание убытков над прибылями — складывалась постепенно из сотен малых просчетов и упущенных «счастливых возможностей» в часы хандры, телесной и душевной усталости.

Когда начался этот сперва почти незаметный, а потом все более крутой и стремительный спуск с вершины, казалось, столь прочного благополучия,— спуск, а там уже и срыв, провал в отверстую бездну, в «ничто»?

Уж не тогда ли, когда прадед и дед маленького Ганно — Иоганн Будденброк-старший и его сын, консул Иоганн Будденброк,— «вернулись домой к обеду злые и расстроенные»? Фирма «Штрунк и Хагенштрем» перехватила выгодную поставку большой партии ржи в Голландию... «Ну и лиса же этот Хинрих Хагенштрем!.. Пакостник, каких свет не видывал...»

А может быть, позже, когда обанкротился зять консула, господин Бендикс Грюнлих? Как настаивал на этом мнимовыгодном браке своей дочери консул Иоганн Будденброк четыре года тому назад! И Тони смирилась: из дочернего пиетета вышла за нелюбимого человека, поступилась мечтой о «браке по любви» с сыном старого лоцмана, Мортеном Шварцкопфом, студентом-медиком, геттингенским вольнолюбцем, умным и довольно красивым малым... Но такой брак, по мнению ее семьи и всех «правящих семейств» славного города, был бы недопустимым мезальянсом... «Это ненадолго, Тони! Время свое возьмет... Все забудется...» Так пытался ее утешить старший брат — Томас Будденброк. «Но я как раз и не хочу забыть! — в отчаянии крикнула Тони.— Забыть... Да разве это утешение?»

Она и *не забыла,* не забыла и после двух неудачных браков и скандальных разводов с пройдохой Грюнлихом и добродушным, ленивым

обывателем Перманедером. Словечки и рассуждения Мортена сохранились в памяти ее бесхитростного сердца. Его «сидеть на камнях» (в смысле «отлучения от счастья»); его резкие отзывы о ничтожестве немецкой прессы; его: «Сотовый мед вы можете кушать спокойно, фрейлейн Будденброк... Тут, по крайней мере, известно, что вводишь в организм...»; даже ученое его объяснение отека легких: «При этом заболевании легочные пузырьки наполняются такой водянистой жидкостью... Если болезнь принимает дурной оборот, человеку невозможно дышать, и он умирает...» — все это не позабылось, время от времени всплывало из бездонной глуби ее ранних впечатлений, стало в романе «лейтмотивом», неразрывно связанным с образом Тони Будденброк, вернее: с трагическим пластом ее подсознания, о котором и не догадывался ее инфантильный рассудок.

Но здесь — не об этом, а об уроне, нанесенном фирме «Иоганн Будденброк» банкротством Бендикса Грюнлиха. Он был не так уж велик, этот урон... Консул Будденброк не стал вызволять из беды своего негодяя зятя. Ему без труда удалось получить согласие дочери на развод с «этим Грюнлихом», оказавшимся низким обманщиком, а теперь «ко всему еще и банкротом»: «Ах, папа, если ты возьмешь меня и Эрику домой... с радостью!» (то есть: «с радостью с ним расстанусь»). «Недоставало, чтобы еще ты обанкротился! Хватит! Никогда!»

«Трудно сказать, что отразилось на лице Иоганна Будденброка. Глаза у него сделались испуганными и печальными, и все же он сжал губы так крепко, что в уголках рта и на щеках образовались складки, а это у него обычно служило признаком удовлетворенности при заключении выгодной сделки».

Еще бы! Если б Тони решилась связать свою судьбу с судьбою мужа, ему пришлось бы — это он все же считал своим долгом — уплатить по векселям господина Грюнлиха, поддержать его *дело*, что обошлось бы ему в сто двадцать тысяч марок! А так все сводилось к сорока тысячам, да и то в перспективе, то есть в случае, если Тони выйдет вторично замуж. Вот и все! Не считая, конечно, «черного пятна» — развода, впервые занесенного в доселе безупречную семейную хронику Будденброков.

Когда, вслед за Иоганном Будденброком-старшим, покинул земную юдоль и младший носитель этого имени, главою фирмы стал Томас Будденброк; и сразу же в старинном торговом доме «повеяло свежим духом» более смелой предприимчивости. Благодаря уверенным светским манерам, своей покоряющей любезности и такту, новому шефу удалось заключить не одну выгодную сделку; при консуле Иоганне Будденброке такие связанные с риском блестящие успехи не замечались... Но что-то уже и тогда, на заре его деятельности, угнетало Томаса Будденброка: он частенько жаловался Стефану Кистенмакеру, своему неизменному

другу и почитателю, на то, что «личное вмешательство коммерсанта во все дела, увы, выходит из моды», что «в наше время» курсы узнаются все скорее, благодаря чему уменьшается риск, а тем самым снижаются и барыши. «Время идет вперед, и лучшее, как мне кажется, оставляет позади... Мой дед, например, в пудреном парике и туфлях, отправился в Южную Германию в качестве поставщика прусской армии. Он обольщал всех, кто с ним соприкасался, пускался на всевозможные уловки и заработал уйму денег... Ах, Кистенмакер! Боюсь, что коммерсантов ждет жизнь все более и более серая...»

Эта тоска по былому, а говоря «презренной прозой» — по торговой конъюнктуре времен его деда, то есть времен освободительных войн против «великого корсиканца», она-то и отличала Томаса Будденброка от Хинриха Хагенштрема и прочих коммерсантов новейшей формации.

Те, напротив, твердо знали, что нет такого прошлого, о котором стоило бы печалиться, то с деловитой зоркостью присматривались к *сегодняшней* экономической конъюнктуре и, уж конечно, не брали примера со своих дедов, зане сами были родоначальниками вновь возникавших купеческих династий.

Личное обаяние Томаса Будденброка, его умение «дирижировать ходом событий — глазами, словом, любезным жестом», пожинало немалые плоды, но не столько на коммерческом, сколько на гражданском и светском поприще. Он женился на блестящей и умной женщине, дочери миллионера Герде Арнольдсен, женился «по любви», но и на «очень большом приданом»; вдобавок она превосходно играла на скрипке, как, впрочем, и ее отец, «крупный коммерсант и, быть может, еще более крупный скрипач». Блистательны были успехи Томаса Будденброка и в качестве общественного, можно даже сказать, государственного деятеля — конечно, лишь в малых масштабах ганзейского города-республики. Его, а не Германа Хагенштрема (сына старого Хинриха) избрали в сенаторы; более того, он стал «правой рукой» правящего бургомистра.

Но все эти успехи имели и обратную сторону. Болезненная потребность Томаса Будденброка в постоянном «взбадривании» своих легко иссякающих сил (он переодевался три раза на дню, и это «обновление» действовало на него, как морфий на наркомана) на сей раз привела к неразумной затее воздвигнуть новый дом, затмивший роскошью современного комфорта почтенное родовое гнездо на Менгштрассе,— затее, вполне отвечавшей высокому званию сенатора, но никак не скромным результатам его коммерческой деятельности.

Быть может, это дорогостоящее «обновление» и подорвало благосостояние старинной фирмы? Так или иначе, но именно с той поры один удар судьбы следовал за другим: то нежданный град побил пшеницу, купленную на корню Томасом Будденброком (не в наказание ли за нарушенный завет прадеда: «Сын мой, с охотой приступай к дневным

делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя»?); то старая консульша, без ведома Томаса, пошла навстречу предсмертной просьбе младшей дочери и завещала «наследственную долю Клары» ее мужу, пастору Тибуртиусу; то зять Тони, один из директоров страхового общества, Гуго Вейншенк, присуждался к трем с половиною годам тюремного заключения за тяжкий должностной проступок.

Но как бы ни был велик материальный и моральный урон, нанесенный фирме «Иоганн Будденброк», не в нем таилась причина неотвратимой «гибели семейства», а в общем упадке жизнеспособности некогда преуспевавшего рода. О Томасе Будденброке и утраченной им «воле к успеху» мы уже говорили, а он был все же «счастливым исключением», гордостью семьи, тогда как о его брате Христиане старик Иоганн Будденброк-старший однажды сказал: «Обезьяна он! Может, ему стать поэтом?» — а на смертном одре обратился к нему с настоятельным призывом: «Постарайся стать человеком!»

Ни «человеком», пригодным к какой-либо деятельности, ни, тем менее, «поэтом» Христиан Будденброк так и не стал, но «обезьяной», виртуозным имитатором и пересмешником, он остался. Члены купеческого клуба умирали со́ смеху, когда он с бесподобным комизмом воспроизводил голоса и гениальные повадки известных артистов и музыкантов, а также (поразительная бестактность, конечно!) знаменитого берлинского адвоката Бреслауэра, блистательно, но безуспешно выступившего защитником на процессе Гуго Вейншенка, как-никак причастного семейству Будденброков... Судьба Христиана Будденброка кончилась плачевно: постоянное копание в собственных телесных и психических изъянах вконец расшатало его нервную систему, и это дало основание гамбургской кокотке (на которой женился Христиан, усыновив ее «сборное» потомство) заточить своего супруга в психиатрическую лечебницу, «хотя по состоянию здоровья он мог бы жить и дома».

В силу своенравных биологических процессов, последний Будденброк, маленький Ганно, унаследовал от матери ее «одержимость музыкой»; на то, чтобы, подобно деду Арнольдсену, стать крупным коммерсантом и, быть может, еще более крупным музыкантом, его ущербных жизненных сил уже не хватало. А Ганно был единственным наследником сенатора Будденброка: после первых трудных родов Герда Будденброк, по совету врачей, отказалась от деторождения...

Здесь действовал с убеждающей наглядностью пресловутый «закон вырождения», о котором так много толковали на стыке минувшего и нынешнего века. Но этот «частный закон» не охватывал избыточно богатого содержания, представленного в первом романе писателя. В упорных поисках всеобъемлющего закона жизни в бессчетных ее проявлениях Томас Манн не мог не соприкоснуться с кругом философских воззрений Шопенгауэра (1788—1860), раннего предвестника и «замогильного»

властителя умов эпохи декаданса (прижизненной славы автор книги «Мир как воля и представление», как известно, не удостоился).

Этот страстный проповедник поистине *глобального* пессимизма утверждал с беспощадной последовательностью и с никогда ему не изменявшим блеском саркастической риторики извечную «вину существования», искуплением которой может быть только *отмена жизни*, упразднение существования как такового. Да так оно, по Шопенгауэру, и быть должно, поскольку постоянным свойством всего сущего является *страдание*.

От страданий не избавлен никто: богатый и нищий, удачник и пасынок жизни. Но сколько бы не разнились друг от друга людские жребии, атрибутом существования *в его целокупности* всегда остается страдание: торжествующему крику победителя вторит предсмертный хрип поверженного; богатство предполагает нищету бессчетного множества рабов, наемных и ненаемных, и разорение сотен соискателей счастья и довольства. Перехватив у фирмы «Иоганн Будденброк» выгодную поставку, фирма «Штрунк и Хагенштрем» наносит ощутимый урон конкуренту. Но и Будденброки — с этого и начинается роман — вьют свое «родовое гнездо» в доме, купленном у разорившихся Ратенкампов; позднее же старинный патрицианский дом на Менгштрассе становится собственностью преуспевших Хагенштремов. И так — в большом и в малом — «война всех против всех», человек человеку волк, homo homini lupus est.

Шопенгауэр хочет нас уверить, будто бы человек, уже в силу несовершенного устройства его интеллекта, его скудного «эмпирического мышления», не способен осознавать себя частью чего-то большего, нежели малый мир его телесных потребностей и корыстно-эгоцентрических умственных усилий; более того, будто он не может допустить или хотя бы только догадаться, что «другой» живет, радуется и страдает подобно ему, его обособившемуся «я»; каждый мнит себя «центром мира» или по меньшей мере первой персоной мироздания: «Я (а не *ты* и не *он*) должен быть или стать всех умнее, богаче, счастливее»,— таков-де постулат «воли к существованию», заложенной в человеке и во всем, что живет и плодится на земле...

Но так ли это? Не клевещет ли автор труда «Мир как воля и представление» на человека и человеческий разум?

Догадка о том, что «другой» — тот же «я», вовсе не столь уж «эзотерична» (доступна одним лишь посвященным), как то полагает Шопенгауэр. Ведь уже древняя индийская мудрость утверждала, что любое существо на земле, живое или мертвое,— «там тван áси» (это *ты*), твое «другое я»; а Ветхий завет повелевал: «Возлюби *реа* (другого), как самого себя!» Мы вправе смотреть на эти призывы к борьбе со стародавним варварским обычаем (согласно которому «чужак», представитель

иного племени, должен быть обращен в рабство или предан смерти) как на нравственные усилия раннего человечества, стремящегося *улучшить мир*, установить более справедливые отношения между людьми, племенами, народами. Но Шопенгауэр меньше всего верил в *улучшение мира*, да и не хотел в него верить: всякий оптимизм, и уж тем более применительно к *исторической действительности*, был для него «мерзостным оптимизмом»; и это убеждение стояло в прямой связи с его реакционно-политическими взглядами [1].

Полагая, что человек, его поступки и помыслы всецело обусловлены безотчетной «волей к существованию», Шопенгауэр вместе с тем признает его представления о мире и о своем первенствующем положении в нем — пагубной *иллюзией*. Ибо «на самом деле», как то утверждает философ, «отдельных существ *нет*»; они только обманчивые образы, реющие под «покрывалом Маи», накинутым на мир и на сознание отдельного человека; *реально* же существует одна лишь животворная Воля, неустанно и слепо творящая жизнь, обрекая ее на страдания.

Этика Шопенгауэра, последнее, венчающее звено его философской системы, и ставит себе задачу: уяснить человеку *мнимую реальность* его существования, рабскую зависимость его индивидуальной воли и его интеллекта от извечной Воли — начала и первопричины всего сущего, неуемной силы, порождающей жизнь, не справляясь о ценности и назначении ею сотворенного,— чтобы тем самым довести до сознания человека его сопричастность к исконной «вине существования», каковая, по Шопенгауэру, может быть искуплена только смертью. И притом не смертью отдельного лица, а всеобщей смертью, упразднением существования как такового и неразрывно связанного с ним страдания.

Из самой постановки Шопенгауэром этической проблемы видно, что он — вопреки собственному признанию полной детерминированности всех людских поступков и помыслов безраздельно царящей в мире «волей к существованию» — все же признает за человеком способность освобождаться из-под власти первородной метафизической Воли, и притом с помощью все того же интеллекта, в познавательной немощи которого он так настойчиво пытался нас убедить. Здесь концы с концами явно не сходятся. Но как бы то ни было, в двух областях духовной деятельности человека такое освобождение, по Шопенгауэру, возможно, а именно: в *сфере искусства*, где творческая воля отрекается от «своекорыстной заинтересованности» и, в силу этого, проникает в суть миро-

---

[1] Напомним в этой связи, что во время революции 1849 г. Шопенгауэр одалживал австрийскому лейтенанту свой полевой бинокль для лучшего поражения «живых целей» из окон его квартиры, а позднее завещал весь свой капитал «Комитету по оказанию вспомоществования воинам, пострадавшим при подавлении мятежников, и их семьям».

здания; и в *этической сфере* — стремлении достигнуть истинной святости, сиречь аскетической способности не поддаваться соблазнам, страстям и влечениям, в том числе и влечению к женщине, что при всеобщем возобладании этого монашеского идеала и впрямь привело бы к пресечению рода человеческого, к полному вымиранию существ, наиболее способных страдать и причинять страдания...

Изумляет не то, что у Шопенгауэра хватило таланта, знаний и безотказного красноречия, чтобы сообщить своим парадоксальным утверждениям и человеконенавистническим инвективам видимость строго продуманной философской системы. Удивляет другое: беспримерный посмертный успех его учения, намотившийся еще в семидесятые годы минувшего века и достигший своего апогея на стыке двух последних столетий. Кто только тогда не испытал на себе «демонического» воздействия Шопенгауэра! Достаточно напомнить, что даже Лев Толстой поддался обаянию его философской мысли, что так отчетливо сказалось на «Смерти Ивана Ильича» и, быть может, еще сильнее на «Крейцеровой сонате».

Но так ли приходится этому удивляться? Нежданный «возврат к Шопенгауэру» совпал с трагическим кризисом европейского гуманизма, с утратой веры в буржуазную демократию и со страхом перед надвигавшимися историческими катаклизмами, охватившим не столько даже господствующие классы, надеявшиеся в сознании своей силы устоять в схватках предстоящей гражданской войны, сколько значительную часть буржуазной интеллигенции, испуганной размахом революционного движения, а также резким спадом культурных интересов, которым ознаменовалась эпоха бряцавшего оружием империализма.

То, что искусство декаданса не устояло перед «обольщением смертью», повеявшей со страниц книги «Мир как воля и представление»,— в порядке вещей. Тоска по уходу от «земной суеты», по погружению в «нирвану» индийского столпничества, стала одной из навязчивых тем верленовской лирики:

Под чьей-то рукой
Я — зыбки качанье
В пещере пустой...
Молчанье. Молчанье.

(Перевод Ф. Сологуба)

Но *глобальный пессимизм* Шопенгауэра был отчасти созвучен и не менее *глобальному* критицизму великих реалистов второй половины XIX века если не прямым своим содержанием, то беспощадным «пафосом отрицания» наличной действительности. Признание Шопенгауэром земного мира не «лучшим», а «худшим из миров» в какой-то мере перекликалось с «арзамасским ужасом», охватившим Льва Толстого на вер-

шине его писательской славы и «неправедного материального благополучия».

Томас Манн очень верно заметил, что художник (и уж тем более великие писатели-реалисты) весьма «неадекватно» воспринимает абстрактное философское мышление. Это всецело относится и к философии Шопенгауэра, в связи с нею и сказано. «Если жизнь человеческая бесцельна,— так рассуждает Позднышев (из «Крейцеровой сонаты»),— то правы Шопенгауэр и Гартман, и род человеческий должен прекратиться». Но в том-то и дело, что ни Толстой, ни его Позднышев вовсе не считают всякую жизнь бесцельной; бессмысленна в их глазах только жизнь современного «образованного общества», которому Толстой полемически противопоставлял осмысленную трудовую жизнь патриархального крестьянства.

Молодой автор «Будденброков» отнюдь не думал полемизировать с Шопенгауэром. Напротив, он полагал, что всецело подчиняет идейную концепцию своего романа шопенгауэровской сути, лишь несколько усложнив и дополнив ее восславляющими «жестокую и могучую жизнь» декларациями Ницше. В поисках более полного постижения жизни начинающий романист соприкоснулся с философией Шопенгауэра и решил, что нашел у него всеобъемлющий закон жизни, разъясняющий загадку окружавших его явлений, их темную подоплеку — «войну всех против всех», неустанную метафизическую «распрю мира» и связанную с нею извечную «вину существования». А рядом с жизнью, непрозреваемой, непостижной для «дневного создания»,— смерть, сулящая подарить человеку в час его разлуки с земной юдолью — «весь мир, клочки которого он видел в молодости, целиком».

Если Гете прав и не только он сам, а каждый большой художник способен понять в творениях философов преимущественно то, что было и раньше ему известно или хотя бы смутно угадывалось им, то можно с уверенностью сказать, что Толстого подкупила тонкая психологическая трактовка Шопенгауэром помутившегося сознания и сопутствующих полному его угасанию мучительно-радостных озарений. Кто не помнит гениальной сцены полубреда тяжко раненного князя Андрея на Аустерлицком поле или его же предсмертное отчуждение от всего живого из более поздней главы? Все это было написано задолго до знакомства писателя с книгой «Мир как воля и представление» и с одной из центральных глав трактата — «О смерти и ее отношении к нерушимости нашего существа в себе». И все же наиболее сильная и философски насыщенная разработка темы смерти и последних вспышек меркнущего сознания содержится в «Смерти Ивана Ильича». В этой повести парадоксальная и более чем спорная шопенгауэровская «теория смерти», перенесенная в область конкретно-индивидуальной психологии обреченного мучительному умиранию героя, стала непреложной *эстетической реальностью.*

Позднее Томас Манн говорил, что никогда бы не мог создать «Будденброков», «если б его не возбуждало и не поддерживало чтение Толстого».

От Толстого идет сама композиция любекского романа — эта пестрая смена разнородных эпизодов, не только не нарушающая, а, напротив, артистически воссоздающая неторопливое, почти неприметное течение жизни, конечно же, отливающей другим местным колоритом, другой социальной и национальной самобытностью. Более того, мы склонны приписать и эти густо вплетенные в ткань повествования манновские «лейтмотивы» влиянию не столько музыкальной техники Вагнера, сколько литературной техники Толстого, который так часто прибегал к тому же приему — к повторным упоминаниям отличительных внешних черт, повадок и характерных словечек своих героев, а также к сквозным образам, сопровождающим иные сатирические зарисовки, как-то: к неоднократно повторяющемуся сравнению с неустанно работающей ткацкой мастерской великосветского салона Аннет Шерер.

В 1900 году впервые вышли в немецком переводе «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната» и были тогда же прочитаны Манном, еще продолжавшим работать над «Будденброками». Большой художник, собственно, никогда не подражает, не поддается влияниям; он *активно* испытывает воздействие великого искусства и смело вступает с ним в творческое соперничество. Не попадись тогда в руки Томасу Манну «Крейцерова соната», он, быть может, и не заставил бы пережить не по годам одряхлевшего сенатора Будденброка чувство ревности. Но толстовская повесть была прочитана, и можно только удивляться, как оригинально — вслед за Толстым, но по-своему — была разработана *тема ревности* молодым романистом.

Это мучительное чувство пробудилось в Томасе Будденброке в период глубокой его депрессии. Любекский старожил, он знал, как пошатнулся его престиж в связи с резким сокращением торговых оборотов его фирмы. И вот теперь — новая беда, эти частые посещения его жены молодым лейтенантом фон Трота, их тесная «музыкальная дружба». Что только не подумают, не могут не подумать почтенные горожане, сопоставляя его, постаревшего, обрюзгшего, с Гердой Будденброк, по-прежнему блиставшей своей холодной молодостью. Правда, он знал, что этот странный лейтенант не был «обольстителем женщин», по слухам, и вовсе не интересовался ими, всецело предавшись музыке. Но этого не знали *они*, другие, и сенатор невольно думал их мыслями, их грубопрямолинейными представлениями, силясь оживить в себе «инстинкты своих предков: скептическое недоверие усидчивого и бережливого купца к легкомысленной, охочей до приключений, несолидной военной касте».

Некоторые детали главы, посвященной теме ревности, почти текстуально совпадают со сходными положениями в «Крейцеровой сонате»:

к примеру, этот страх перед внезапно наступающей тишиной вслед за экстатическим неистовством звуков («Ни одна половица не скрипнет, никто даже стулом не двинет. Греховная, немая, сомнительная тишина!»); или смутное понимание маленьким Ганно отцовских мучений, а также эта полная невозможность объясниться с женой из боязни «сделать себя смешным и в ее глазах». Но вместе с тем все эти, казалось бы, столь очевидные заимствования вытекают из самой сути индивидуально-психологического конфликта Томаса Будденброка, его личной и социальной душевной драмы.

Испытывал ли ревность сенатор Будденброк? Он сомневался в этом. Если испытывал, то не по-позднышевски, не отдаваясь пусть сумасбродному и безобразному, но все же сильному чувству. Да и ревновал он не кого-то к кому-то, не к музыканту-офицеру, а к *музыке*, которой отгородились от него и от дела его жизни жена и единственный сын и наследник. И, в довершение полного развала фирмы и давних семейных традиций, еще эти выставлявшие его в смешном виде городские пересуды!

Естественно, что именно теперь, в состоянии тяжкой депрессии, когда он сполна осознавал, что в битве «всех против всех» он потерпел поражение и что даже былые его успехи — «сенатор» и «дом» — были только лживыми символами мнимого счастья и расцвета, этот вконец затравленный человек нашел нежданное утешение в пессимистической метафизике Шопенгауэра. Весь мир «явлений» и «мнимоотдельных существ», не сознающих своей нерасторжимой причастности к единой всемирной жизни, Шопенгауэром объявлялся преходящим и иллюзорным. Преодоление метафизической, первородной «воли к существованию», частица которой живет и действует в каждом живом существе, стремясь *охватить* и *отхватить* все больший и больший участок жизни в ущерб другим существам,— вот что вменяет Шопенгауэр в этический долг человеку, призывая его досрочно погрузиться в «нирвану» и тем самым прижизненно выйти из порочного круга страданий.

Томасу Будденброку случайно попадает в руки «Мир как воля и представление». С биением в сердце он читает главу «О смерти» и тут же начинает думать в духе шопенгауэровского пессимизма, для которого смерть — редкий час счастливого озарения: «Где я буду, когда умру? Но ведь это ясно как день, поразительно просто! Я буду во всех, кто когда-либо говорил, говорит или будет говорить «я», *и прежде всего в тех, кто скажет это «я» сильнее, радостнее...* Где-то в мире подрастает юноша, талантливый, наделенный всем, что нужно в жизни, способный развивать свои задатки, статный, не знающий печали, чистый, жестокий, жизнерадостный, один из тех, чья личность делает счастливых еще счастливее, а несчастных повергает в отчаяние,— вот это мой сын! *Это я* в скором, в очень скором времени — как только смерть освободит меня от

жалкого безумного заблуждения, будто *я* не столько *он,* сколько *я*... Разве я ненавидел жизнь, эту чистую, жестокую и могучую жизнь? Вздор, недоразумение! Я ненавидел только себя — за то, что не умел побороть ее. Но я люблю вас, счастливые, всех вас люблю, и скоро тюремные тесные стены уже не будут отделять меня от вас; скоро то во мне, что вас любит,— моя любовь к вам,— станет свободным; я буду с вами, буду в вас... с вами и в вас, во всех! — Он заплакал».

Это — монолог страдающего человека, больного, предчувствующего близкую смерть, но вместе с тем и вольное переложение шопенгауэровских мыслей, к тому же перетасованных с мыслями Ницше о «не знающем печали, чистом, жестоком, жизнерадостном юноше», иначе: о «белокурой бестии» — *вопреки* позднейшему утверждению Манна: «Я ничего не повторял за Ницше дословно, не верил почти ни одному из его утверждений (и меньше всего в «белокурую бестию», в его «мораль господ» и в «философию воли к власти», как мы знаем из других признаний писателя.— *Н. В.*); но это-то как раз и сообщало моей страстной приверженности необычную глубину и сугубую прочность». Однако здесь, в приведенном монологе, реакционно-романтическая метафизика Шопенгауэра восполняется восславлениями Ницше «жестокой и могучей жизни», чем, казалось бы, только усугубляется ее реакционность.

Но это не так. На самом деле мы вправе видеть в этом (философски несостоятельном) смешении двух родственных, но все же друг от друга разнящихся мировоззрений *первую,* еще только инстинктивную, попытку писателя вступиться за права жизни, поставленной под угрозу шопенгауэровским прославлением смерти. *«Ради добра и любви,*— прочтем мы спустя много лет в «Волшебной горе»,— *человек не должен дозволять смерти властвовать над его помыслами».* Автор «Будденброков» был, конечно, еще очень далек от этой жизнеутверждающей формулы гуманизма.

Нет, кое-что Томас Манн все же «повторял за Ницше дословно». У него он перенял опасные — в своей абсолютной противопоставленности — антитезы: *жизнь* и *смерть, здоровье* и *болезнь;* и, в точном соответствии с ницшеанским метафизическим толкованием этих терминов, вкладывал в понятия *жизни* и *здоровья* представление о кипучей, не знающей пощады и угрызений совести практической деятельности под знаком «воли к власти»; в понятия же *смерти* и *болезни* — все, что относится к сфере духа, к сфере искусства, якобы неразрывно связанных с *убылью жизни,* с вырождением, декадансом.

Но сколько бы ранний Томас Манн ни держался иных идей и даже философской терминологии Шопенгауэра или Ницше, его «Будденброки» все же отнюдь не «романизированное философское размышление», а — вопреки метафизическим увлечениям молодого писателя — прежде всего социально-конкретное, *реалистическое* отображение жизни.

4

В соответствии со своей (пусть тогда еще не осознававшейся) *реалистической*, социально-конкретной позицией, Томас Манн сообщил метафизическому понятию «извечной распри мира», «войны всех против всех», иной, не предусмотренный Шопенгауэром, *исторический* смысл. Историк немецкого бюргерства XIX столетия — роман начинается в 1830 году и кончается на исходе века, уже в эпоху грюндерства и зарождавшегося империализма,— автор «Будденброков» уделил подобающее место в своем раздольном эпическом повествовании также и победоносной конкуренции более хищных «рыцарей наживы без страха и упрека совести», предпринимателей нового типа, со старинными фирмами патрицианского купечества.

Историзм Томаса Манна, по существу, полемически направлен против воззрения Шопенгауэра на историю. Философ глобального пессимизма решительно отрицал специфику отдельных эпох и общественно-исторических формаций, утверждая, что история «на каждой своей странице показывает одно и то же» и что различные ее главы, «в сущности, отличаются друг от друга только именами и датами», иначе: что весь «исторический мир» — лишь некое «nunc stans» (неподвижное настоящее), а посему *содержание* истории «едва ли представляет для человеческого духа достойный предмет серьезного и тщательного рассмотрения». Но именно этому «несерьезному» занятию — «тщательному рассмотрению» истории человечества и, в частности, немецкой истории в эпоху империализма — Томас Манн и предавался всю свою жизнь, начиная от «Будденброков», в глубоком разномыслии с Шопенгауэром.

Отображая реальную действительность во всем ее пестром — смешном и трагическом — многообразии, писатель не мог не отречься и от определения жизни, данного Ницше. Эпитеты «чистая» и «жестокая», которые Ницше прилагает к понятию *жизни*, разве они друг от друга так уж неотделимы? Разве не *чист* душою, ничуть не будучи *жестоким*, юный Мортен со своими добрыми серо-голубыми глазами, с наивным геттингенским вольнолюбием и с «настоящим скелетом, хоть кое-где и скрепленным проволокой», на который он, у себя в студенческой келье, напялил полицейский мундир в знак протеста против полицейского строя, царящего во всех немецких землях? Разве жизнь в высоких сферах духа и жизнь в искусстве во всех случаях равнозначны «обручению» с декадансом и со смертью? И разве маленький Ганно должен был неизбежно умереть лишь потому, что он родился истым музыкантом и композитором? Он умер от брюшного тифа, маленький Ганно, хотя летальному исходу болезни, быть может, и поспособствовала та «горечь жизни», каковую вселило в хрупкого подростка опруссаченное учебное заведение, подорвавшее его непрочную нервную систему...

Но «так только в книге»,— поясняет Томас Манн в статье «К одной главе из «Будденброков». «Так только по Шопенгауэру и Ницше, повлиявшим на идейную концепцию первого романа писателя»,— добавим мы. «В действительности же,— продолжает Манн, сопоставляя свою судьбу с судьбою своего героя,— он остался жить... И лучше послужил своему народу, чем его честные ограниченные предки».

То, что автор «Будденброков» ограничил себя изображением гибели «всего лишь одной ганзейской северонемецкой семьи», ему не помешало показать важные сдвиги в развитии капиталистического общества (преимущественно внутриклассовую борьбу крупной буржуазии). Но «большая история» — немецкая революция 1848—1849 годов — в романе дана лишь в виде «анекдота», потешной легенды, сочиненной себе на потребу бравыми бюргерами, успевшими успокоиться после краткого испуга.

Вот небольшой отрывок из «политического диалога», возникшего в октябре 1848 года между консулом Иоганном и складским рабочим Корлом Смолтом: «— Эй, ребята, что за ерунду вы затеяли?.. Ну, говори хоть ты, Корл Смолт! Пора уж! Вы тут околачиваетесь с самого обеда...— Эх, господин консул... Так-то оно так, а только нам революция нужна, это уж как пить дать. Сейчас везде революция, в Берлине, в Париже.— Ну, так чего же вы хотите, Смолт? Говори же, наконец! — Эх, господин консул, я же сказал: республику хотим, так и говорю...— Ну и дурак же ты! Да ведь у нас и без того республика.— Эх, господин консул, так нам, значит, другую надо». В толпе раздался смех. Консул Будденброк вышел из дискуссии победителем.

В пору работы над «Будденброками» Томас Манн еще не «пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть в бытии человечества, принадлежит к единой проблеме гуманизма». Проблема, интересовавшая молодого романиста, «была не политической проблемой, а проблемой биологической, психологической; ...момент социально-политический я учитывал попутно, почти бессознательно». Это ему, однако, нисколько не помешало тонко обрисовать выразительный образ маклера Гоша, немецкого либерала и эстета, в котором типически отражено «двоедушие», политическая неустойчивость немецкой бюргерской интеллигенции. Этот чудак — маклер, переводчик Лопе де Вега и почитатель всего прекрасного (в том числе и холодной красоты сенаторши Герды Будденброк, которая даже не подозревала о его существовании) — одинаково восхищался как мятежным народом («Великолепные парни, у многих глаза пылали ненавистью и воодушевлением!..»), так и умением консула Иоганна Будденброка говорить с толпой и подавлять в ней дух непокорства («Консул Будденброк, милостивые государи!.. О, что за человек! — так отзывался он о Томасе Будденброке.— Я стоял бок о бок с его отцом в тысяча восемьсот сорок восьмом году, когда тот в мгновенье ока усмирил ярость взбунтовавшейся черни...»).

Но в борьбе *буржуазии с бюргерством* (такова терминология Манна) он все же занял достаточно определенную позицию, решительно встав на сторону «бюргерства» с его прочными духовными традициями, бюргерства, которое в пору своего восхождения и расцвета обогатило немецкую культуру бессмертными произведениями Лессинга, Гете, Шиллера, Баха, Моцарта, Бетховена. Эти «всходы Добра» не удалось заглушить ни глобальному пессимизму Шопенгауэра, ни «философии молотом» Ницше, ни «эзотерическим звучаниям» Рихарда Вагнера. Напротив, к «хагенштремам», к дельцам новой формации — к «буржуазии», Томас Манн относился с презрением, видел в них темную силу, враждебную большой культуре.

5

Какова же все-таки была «политическая позиция», занятая «аполитичным» автором «Будденброков»? Кто он? Буржуазный консерватор? Пожалуй! Но и такая «исходная позиция» в иных случаях может привести к вполне неожиданным результатам.

Именно «консервативная» верность высоким гуманистическим идеалам, которыми проникнута «великая старая немецкая поэзия», как выражался Ленин, не позволила Томасу Манну примкнуть к реакционным силам, идеологически подготовлявшим пришествие Гитлера и нацистского варварства. Именно «консервативная» верность великой европейской и, в частности, русской литературе удержала Томаса Манна в русле реалистического искусства.

«Консервативный бюргер по своему духовному складу», как принято определять Томаса Манна, как он и сам себя при случае аттестовал, был все же очень далек от того, чтобы мечтать о возврате былых времен. «Будденброки», эта книга «пессимистического юмора», была для него ранним, но окончательным прощанием с «уходящим бюргерским миром», чертой, которую символически провел маленький Ганно под родословной своих предков, ибо «дальше ничего не будет». Пришедший ему на смену «буржуазный» мир эпохи империализма был ненавистен писателю. Он возлагал надежды на иное, лучшее будущее...

Эти смутные надежды претворились в твердые убеждения только после Великой Октябрьской революции и под прямым ее влиянием: «Новый мир, мир, социально упорядоченный единым планом, который освободит человечество от унизительных, ненужных, оскорбляющих достоинство разума страданий, этот мир придет, ...ибо должен быть создан или, в худшем случае, введен путем насильственного переворота разумный порядок... для того, чтобы душевное вновь могло получить право на жизнь и человечески чистую совесть»,— так утверждал Томас Манн в своей юбилейной речи о Гете в 1932 году, за год до нового испытания, постигшего его родину,— прихода к власти Гитлера и его банды.

На то, чтобы достичь такой зрелости исторического видения, потребовалось время. Надо было отречься от многих былых заблуждений и прежде всего от своей книги — «Размышления аполитичного», написанной в годы первой мировой войны, в защиту Германии и ее «культурной миссии», но ведь тем самым и в оправдание ее агрессивной политики.

Далеко идущее «идейное отречение» писателя от многих «опасных пристрастий» приняло монументальную форму большого романа — «Волшебная гора» (1924). Герой романа, казалось бы, ничем не примечательный юный отпрыск почтенного бюргерского рода, в силу необычайного стечения обстоятельств, попадает в высокогорный санаторий для легочных больных. В этом странном мире, как бы «выключенном» из объективного — исторического — течения времени «равнины», он остается целых семь лет. Там этот «ищущий и вопрошающий» герой становится пытливым свидетелем горячих словесных поединков между носителями двух «полярных идей» современной буржуазной идеологии — итальянцем Сеттембрини, апостолом разума, твердо верившим в торжество буржуазной демократии, и иезуитом Нафтой, апологетом иррационализма, темных, безотчетных инстинктов и тотального государства во главе с новым Цезарем — словом, всего комплекса человеконенавистнических тенденций, позднее взятых на вооружение фашизмом. Ганс Касторп не поддается ни бесплодному либеральному краснобайству Сеттембрини, ни человеконенавистнической демагогии Нафты, желающего выдать реакцию за революцию. Он говорит решительное *нет* буржуазной идеологии во всех ее разновидностях. Но его *да* — пока еще только смутное предчувствие какого-то иного, не буржуазного, мироустройства, которое невольно сливается в воображении Касторпа с образом русской женщины, его покорившей, непонятной ему, но тем более влекущей — строптивой внутренней своей независимостью.

Оставаясь реалистом, историком довоенной Европы, автор и не мог сообщить мечтательным надеждам своего героя бо́льшую четкость. Ведь конец повествования совпадает с «ударом грома» — с началом войны 1914 года. А кому тогда был ясен предлежащий путь истории, тем более — там, на «волшебной горе», в комфортабельном санатории для обеспеченных буржуа?

Работая над «Волшебной горой», Томас Манн пытливо вдумывался в те новые задачи, которые вставали перед его соотечественниками после бесславно проигранной войны и после Великой Октябрьской революции, положившей начало новой эры социализма.

Но эти раздумья не укладывались в рамки романа, действие которого протекало в предвоенные годы, и это не раз заставляло писателя браться за перо публициста, прерывая работу над романом. В 1922 году Томас Манн произнес свою памятную речь «О Германской республике»,

в которой он пытался «найти общий язык» с немецкой академической молодежью, все больше подпадавшей под влияние реакционных демагогов, все дальше отступавшей от высоких идеалов гуманизма и демократии. В том же году он публикует очерк «Гете и Толстой». В нем он порывает с шопенгауэровско-ницшеанским воззрением на искусство, на духовную культуру. Нет, не всякая духовная деятельность, не все искусство стоит под «знаком смерти», возражает им писатель, а только культура упаднической эпохи, стоящей под тем же ущербным знаком. Существует и другое, здоровое искусство, способное помочь человечеству в его поисках лучшего будущего, истинной человечности.

В 1926 году Томас Манн все больше сознает животворность идей социализма, неизбежность прихода социалистической эры на смену капиталистической, буржуазной. В речи «Любек, как форма духовной жизни» писатель решительно заявляет: «Мировая революция стала непреложным фактом, отрицать ее равносильно отрицанию жизни и развития; упорствовать в консерватизме перед ее лицом значит добровольно поставить себя вне жизни и развития». В пространном дневнике «Парижский отчет» Томас Манн смело признает Октябрьскую революцию «величайшим благодеянием истории», сколько бы ее ни обвиняли в жестокости и кровопролитии. «А разве не больше человеческих жертв стоила мировая война, которую спровоцировала буржуазия?» — вопрошает он русского писателя-белоэмигранта, «беднягу Шмелева».

В 1930 году, когда нацисты открыто рвались к власти, Томас Манн не уставал предупреждать своих соотечественников — в ряде статей, в публичных лекциях, в пророческом рассказе «Марио и волшебник» — о грозящей опасности, о неизбежности новой мировой войны, уже «запланированной» Адольфом Гитлером, «войны, которая не может кончиться иначе, как полным разгромом Германии».

С приходом к власти Гитлера Томас Манн покидает свою оскверненную родину. Его отважная борьба с нацистским режимом достигает наибольшего размаха в годы второй мировой войны. В своих многочисленных «Обращениях к немецким радиослушателям» он призывает свой народ покончить с войной и с преступной шайкой, покрывшей позором Германию и немцев.

Но удивительно: неутомимая общественно-политическая деятельность не прервала художественного творчества великого писателя. В 1943 году Томас Манн заканчивает свою тетралогию «Иосиф и его братья», утверждающую доброе начало, с незапамятных времен главенствующее в человеке. В 1947 году выходит в свет едва ли не замечательнейший его роман, писавшийся в военные годы,— «Доктор Фаустус», в котором Манн отваживается на полное отрицание буржуазного общественного строя, породившего фашизм и ввергнувшего мир в кровопролитные войны; социализм ему представляется теперь единственным

выходом из трагических бедствий, на которые обрек человечество капиталистический миропорядок. «Доктор Фаустус. Жизнеописание немецкого композитора» — не только глубочайший ответ европейского художника на жгучие вопросы современной буржуазной культуры, но и страстный призыв писателя-гуманиста к борьбе за счастье исстрадавшихся народов и вместе с ним исстрадавшейся души художника, которая, по самой своей сути, не может безнаказанно отрываться от народной жизни и народных чаяний.

Томас Манн и в послевоенные годы не слагал оружия, вел открытую борьбу с агрессивной политикой капиталистических держав. В разгар «холодной войны» он демонстративно покинул США и поселился в Швейцарии. Оттуда он совершал поездки в ГДР и ФРГ, стремясь объединить Германию на демократической основе.

Оставаясь «все тем же», наследником и продолжателем великих традиций немецкого гуманизма, Томас Манн, под воздействием времени, отважно ратовал за мир во всем мире, за лучшее будущее, за обновление общества, которое он уже не представлял себе «без коммунистических черт».

Таков итог благородной деятельности великого писателя, славным началом которой являются «Будденброки».

Н. ВИЛЬМОНТ

БУДДЕНБРОКИ

История гибели одного семейства

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— «Что сие означает?.. Что сие означает?..»

— Вот именно, черт возьми, c'est la question, ma très chère demoiselle! [1]

Консульша Будденброк, расположившаяся рядом со свекровью на длинной белой софе с сиденьем, обтянутым желтой шелковой тканью, и спинкой, увенчанной золоченой головою льва, бросила быстрый взгляд на супруга, сидевшего тут же в креслах, и поспешила на помощь дочке, которая примостилась на коленях у деда, поближе к окну.

— Тони,— подсказала она,— «Верую, что господь бог...».

Маленькая Антония, хрупкая восьмилетняя девочка в платьице из легчайшего переливчатого шелка, чуть отвернув белокурую головку от лица деда и напряженно вглядываясь в пустоту серо-голубыми глазами, повторила еще раз: «Что сие означает?» — затем медленно произнесла: «Верую, что господь бог...» — вдруг с прояснившимся лицом быстро добавила: «...создал меня вместе с прочими тварями»,— и, войдя в привычную колею, вся так и светясь радостью, единым духом выпалила весь член катехизиса, точно по тексту издания 1835 года, только что выпущенного в свет с соизволения высокомудрого сената.

«Когда уж разойдешься,— думала она,— то кажется, будто несешься с братьями на салазках с Иерусалимской горы. Все мысли вылетают из головы, и хочешь не хочешь, а нельзя остановиться».

---

[1] В том-то и вопрос, дорогая моя барышня! *(франц.)*

— «К тому же: платье и обувь,— читала она,— пищу и питье, дом и двор, жену и детей, землю и скот...»

Но при этих словах старый Иоганн Будденброк неожиданно разразился смехом, вернее — хихикнул, громко и саркастически; этот смешок он уже давно держал наготове. Старика радовало, что вот опять удалось потешиться над катехизисом,— цель, ради которой, вероятно, и был учинен весь этот домашний экзамен. Он тут же осведомился о количестве земли и скота у Тони, спросил, почем она продает мешок пшеницы, и предложил незамедлительно вступить с ней в торговую сделку. Его круглое розовое лицо, которому он при всем желании не умел придать выражения суровости, обрамлялось белыми, как снег, напудренными волосами, а на широкий воротник мышино-серого сюртука спускалось некое подобие косички. В семьдесят лет он все еще хранил верность моде своей юности, и хотя отказался от галунов между пуговицами и большими карманами, но длинных брюк в жизни не нашивал. Его широкий двойной подбородок уютно покоился на кружевном жабо.

Все стали вторить его смеху,— надо думать, из почтения к главе семьи. Мадам Антуанетта Будденброк, в девичестве Дюшан, захихикала совершенно как ее супруг. Эта дородная дама с тугими белыми буклями, спускавшимися на уши, в простом черном платье со светло-серыми полосами — что свидетельствовало о ее врожденной скромности,— держала в белоснежных, все еще прекрасных руках маленький бархатный мешочек-«помпадур». Черты ее лица с течением времени стали до странности схожи с чертами мужа. Только разрез и живость темных глаз выдавали ее полуроманское происхождение: уроженка Гамбурга, она со стороны деда происходила из франко-швейцарской семьи.

Ее невестка, Элизабет Будденброк, урожденная Крегер, смеялась тем крегеровским хохотком, который начинался неопределенным шипящим звуком; смеясь, она прижимала к груди подбородок. Как все Крегеры, консульша отличалась величавой осанкой, и хоть и не была красавицей, но ее чистый, ровный голос, ее спокойные, уверенные и мягкие движения радовали всех и каждого своей чинной неторопливостью. Рыжеватые волосы, на макушке уложенные в маленькую корону и крупными локонами спускающиеся на уши, превосходно гармонировали с нежной белизной ее кожи, на которой здесь и там проступали крохотные веснушки. Наиболее характерным в ее лице с несколько длинным носом и маленьким ртом было полное отсутствие углубления между нижней губой и подбородком.

Коротенький лиф с пышными буфами на рукавах, пришитый к узкой юбке из легкого, в светлых цветочках, шелка, оставлял открытой прекрасную шею, оттененную атласной ленточкой со сверкающим брильянтовым аграфом посередине.

Консул нервно заерзал в креслах. Он был одет в светло-коричневый сюртук с широкими отворотами, с рукавами, пышными наверху и плотно облегающими руку от локтя до кисти, и в узкие белые панталоны с черными лампасами. Плотный и широкий шелковый галстук, обвивая высокие стоячие воротнички, в которые упирался его подбородок, заполнял собою весь вырез пестрого жилета. Глаза консула, голубые и довольно глубоко посаженные, внимательным выражением напоминали глаза его отца, но казались более задумчивыми; серьезнее, определеннее были и черты его лица — нос с горбинкой сильно выдавался вперед, а щеки, до половины заросшие курчавыми белокурыми баками, были значительно менее округлы, чем щеки старика.

Мадам Будденброк слегка дотронулась до руки невестки и, уставившись ей в колени, тихонько засмеялась.

— Он неизменен, mon vieux![1] Не правда ли, Бетси? — Она выговаривала: «неизмэнен».

Консульша только слабо погрозила своей холеной рукой, на которой тихонько звякнули браслеты, и затем этой же рукой — излюбленный ее жест! — быстро провела по щеке от уголка рта ко лбу, словно откидывая непокорную прядь волос.

Но консул, подавляя улыбку, произнес с легким укором:

— Папа, вы опять потешаетесь над религией...

Будденброки сидели в «ландшафтной», во втором этаже просторного старинного дома на Менгштрассе, приобретенного главой фирмы «Иоганн Будденброк», куда совсем недавно перебралось его семейство. На добротных упругих шпалерах, отделенных от стен небольшим полым пространством, были вытканы разновидные ландшафты таких же блеклых тонов, как и чуть стершийся ковер на полу,— идиллии во вкусе XVIII столетия, с веселыми виноградарями, рачительными хлебопашцами, пасту́шками в кокетливых бантах, сидящими на берегу прозрачного ручья с чистенькими овечками на коленях или целующимися с томными пастушка́ми... Все это, за редким исключением, было изображено на фоне желтоватого заката, весьма подходившего к желтому штофу лакированной белой мебели и к желтым шелковым гардинам на окнах.

---

[1] Мой старик! *(франц.)*

Большая ландшафтная была меблирована относительно скупо. Круглый стол на тонких и прямых ножках, с золотым орнаментом, стоял не перед софой, а у другой стены, напротив маленькой фисгармонии, на крышке которой лежал футляр с флейтой. Кроме кресел, чопорно расставленных вдоль стен, здесь еще был маленький рабочий столик возле окна, а около софы — хрупкий изящный секретер, уставленный безделушками.

Против окон, в полутьме, сквозь застекленную дверь виднелись колонны, ротонда; белая двустворчатая дверь по левую руку вела в большую столовую, а направо, в полукруглой нише, стояла печь; за ее искусно сработанной и до блеска начищенной кованой дверцей уютно потрескивали дрова.

В этом году рано наступили холода. За окнами, на другой стороне улицы, уже совсем пожелтела листва молодых лип, которыми был обсажен церковный двор; ветер завывал среди могучих стрельчатых башен и готических шпилей Мариенкирхе, моросил холодный дождь. По желанию мадам Будденброк-старшей, в окна уже были вставлены вторые рамы.

Согласно заведенному порядку, Будденброки каждый второй четверг собирались вместе. Но сегодня, кроме всех членов семьи, проживавших в этом городе, приглашение запросто отобедать получили еще несколько друзей дома. Время близилось к четырем часам, Будденброки сидели в сгущающихся сумерках и ждали гостей...

Маленькая Антония все «неслась на салазках», не позволяя деду прервать себя, и только ее оттопыренная верхняя губка быстро-быстро выставлялась над нижней. Вот санки уже подлетели к подножию Иерусалимской горы, но, не в силах остановить их, она помчалась дальше...

— Ампиь,— сказала она.— Я еще и другое знаю, дедушка.

— Tiens![1] Она знает еще и другое! — воскликнул старик, делая вид, что его снедает любопытство.— Ты слышишь, мама? Она знает еще и другое! Ну кто мог бы сказать...

— Если теплый удар,— говорила Тони, кивая головкой при каждом слове,— так, значит, это молния; а если холодный удар, так, значит,— гром.

Тут она скрестила руки и окинула смеющиеся лица родных взглядом человека, уверенного в своем успехе. Но г-н Будденброк вдруг рассердился на ее премудрость и стал допытываться, кто набил голову ребенка таким вздором. А когда выясни-

[1] Каково! *(франц.)*

лось, что это Ида Юнгман, недавно приставленная к детям мамзель из Мариенвердера, то консулу пришлось взять бедную Иду под свою защиту.

— Вы слишком строги, папа. Почему бы в ее возрасте и не иметь своих собственных, пусть фантастических, представлений обо всем этом?..

— Excusez, mon cher, mais c'est une folie![1] Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда детям забивают мозги чепухой! Как? Гром? Да чтоб ее самое громом разразило! Оставьте меня в покое с вашей пруссачкой...

Старый Будденброк не выносил Иду Юнгман. Он не был ограниченным человеком и немало повидал на своем веку. Еще в 1813 году ему довелось (в карете, запряженной цугом) объездить Южную Германию, где он, будучи военным поставщиком, закупал хлеб для прусской армии, а позднее побывать в Париже и в Амстердаме. Почитая себя человеком просвещенным, он отнюдь не был склонен осуждать все, что находилось за воротами его родного готического городка. Но при всем том, если не говорить о его разнообразных торговых связях, был значительно строже в выборе знакомых, чем его сын, консул Будденброк, и куда менее охотно сближался с «чужестранцами». Посему, когда его дети, вернувшись из поездки в Западную Пруссию, привезли с собой упомянутую двадцатилетнюю девицу, сироту, дочь трактирщика из Мариенвердера, умершего за несколько дней до прибытия туда молодых Будденброков, консулу пришлось выдержать нешуточную сцену с отцом, во время которой старик говорил только по-французски и по-нижненемецки... Вообще же Ида Юнгман, усердная экономка и отличная воспитательница, благодаря своему врожденному такту и прусскому чинопочитанию как нельзя лучше пришлась ко двору в семействе Будденброков. Преисполненная самых аристократических воззрений, эта особа с неподражаемой тонкостью различала высший свет от просто света, среднее сословие — от пониже среднего, гордилась своей преданной службой людям столь высокопоставленным и бывала очень недовольна, если Тони заводила дружбу с какой-нибудь из своих одноклассниц, принадлежавшей, по мнению мамзель Юнгман, разве что к верхушке среднего сословия.

Легкая на помине, она в эту минуту как раз промелькнула за стеклянной дверью в ротонде и вошла в ландшафтную. Рослая, сухопарая, в черном платье, гладко причесанная и с доб-

[1] Уж прости, дорогой, но это вздор! *(франц.)*

родетельным выражением лица, она вела за руку маленькую Клотильду — необыкновенно худенькую девочку в пестром ситцевом платьице, с тусклыми пепельными волосами и постным личиком старой девы. Клотильда — отпрыск боковой и совершенно неимущей линии, тихое, малозаметное существо, взятая в дом как сверстница Антонии, была дочерью племянника старого Будденброка, управляющего небольшим имением под Ростоком.

— Стол накрыт,— объявила мамзель Юнгман — при этом «р», которое она в детстве вовсе не умела произносить, как-то странно пророкотало в ее глотке.— Клотильда так усердно помогала на кухне, что Трине почти не осталось работы.

Господин Будденброк ухмыльнулся в свое жабо («иноземное» произношение Иды всегда смешило его), консул же потрепал племянницу по щечке и одобрительно заметил:

— Молодец Тильда! Недаром говорится: трудись и молись! Нашей Тони следовало бы брать с тебя пример,— ее частенько одолевают лень и гордыня...

Тони опустила головку и снизу вверх поглядела на деда, зная, что он непременно вступится за нее.

— Э, нет! Так не годится,— сказал старик.— Голову выше, Тони, courage! [1] Каждому свое. Заметь себе: одинаковых людей не бывает. Тильда хорошая девочка, но и мы не плохи. J'ai raison [2], Бетси?

Он обернулся к невестке, которая обычно соглашалась с его мнениями, тогда как мадам Антуанетта, скорее из благоразумия, чем по убеждению, всегда становилась на сторону консула. Так оба поколения, словно в chassé croisé [3], протягивали друг другу руки.

— Вы очень добры к ней, папа,— сказала консульша.— Ну, Тони постарается стать умной и трудолюбивой... Что, мальчики еще не пришли из школы? — спросила она Иду.

Но в это время Тони, которая все еще сидела на коленях у деда и смотрела в «шпиона», воскликнула:

— Том и Христиан идут по Иоганнесштрассе... И господин Гофштеде... и дядя доктор тоже...

Тут колокола на Мариенкирхе заиграли хорал,— динь! динь! дон! — не очень стройно, так что с трудом можно было разобрать, что, собственно, они вызванивают, но все же торжественно и гулко. А когда затем вступили маленький и боль-

---

[1] Смелее! *(франц.)*

[2] Не так ли *(франц.)*.

[3] Крест-накрест — па в кадрили *(франц.)*.

шой колокола, радостно и величаво оповещая город, что вот уже четыре часа,— внизу, у обитой войлоком парадной двери, задребезжал колокольчик, и действительно вошли Том и Христиан вместе с первыми гостями: Жан-Жаком Гофштеде — поэтом, и доктором Грабовом — домашним врачом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Господин Гофштеде, местный поэт, уж наверное принесший с собой стишки по случаю сегодняшнего обеда, был всего на несколько лет моложе г-на Будденброка-старшего и носил костюм того же старинного покроя: зеленый сюртук, в который он сегодня облекся, только по цвету разнился от сюртука его старшего друга. Более худой и подвижный, нежели Иоганн Будденброк, г-н Гофштеде обращал на себя внимание живостью маленьких зеленоватых глаз и на редкость острым длинным носом.

— Приношу сердечную благодарность,— сказал он, пожав руки мужчинам и щегольнув перед дамами (в особенности перед консульшей, которую он почитал превыше всех остальных) парочкой-другой изысканнейших комплиментов, какие уже не умело отпускать новейшее поколение, к тому же сопровожденных приятнейшей и приветливейшей улыбкой.— Приношу сердечную благодарность за любезное приглашение, друзья мои. Эти два молодых человека,— он указал на Тома и Христиана, стоявших подле него в синих курточках с кожаными поясами,— повстречались нам, мне и доктору, на Кенигштрассе, по которой они возвращались со своих учебных занятий. Отличные ребята, госпожа консульша! Томас — о, это серьезный, положительный ум! Не подлежит сомнению, что он станет негоциантом. Христиан же — тот, напротив, чуть-чуть шарлатан, а? Чуть-чуть incroyable [1]. Но я не скрываю своего engouement [2] к нему. Он пойдет по ученой части: ум у мальчика острый — великолепные задатки!..

Господин Будденброк запустил два пальца в свою золотую табакерку:

— Обезьяна он! Может, ему стать поэтом? А, Гофштеде?

Мамзель Юнгман плотно задвинула занавеси на окнах, и мгновенье спустя комнату озарил слегка дрожащий, но покой-

---

[1] Оригинал *(франц.)*.
[2] Пристрастия *(франц.)*.

ный и отрадный для глаза свет многочисленных свечей в хрустальной люстре и в канделябрах, стоявших на секретере.

— Ну, Христиан,— обратилась к сыну консульша; волосы ее блеснули золотом,— чем вы занимались сегодня после обеда?

Выяснилось, что последними уроками были чистописание, арифметика и пение.

Христиан, семилетний мальчуган, уже сейчас до смешного походил на отца. Те же небольшие круглые, глубоко посаженные глаза, та же, теперь уже различимая, линия большого горбатого носа; что-то неуловимое в очертаниях скул свидетельствовало о том, что его лицо недолго будет хранить свою детскую округлость.

— Мы ужас как смеялись сегодня! — словоохотливо начал Христиан, и глаза его забегали.— Послушайте, что господин Штенгель сказал Зигмунду Кестерману! — Мальчик весь как-то сгорбился, тряхнул головой и, обратив свой взор в пространство, внушительно проговорил: — «Внешность, милое мое дитя, у тебя чинная и благопристойная, но душа, милое дитя,— душа у тебя черная...» — Последнее слово он произнес картаво, так что выходило «тшойная», и его лицо при этом со столь неподражаемым комизмом изобразило отвращение к «внешней» чинности и благопристойности, что все присутствующие разразились хохотом.

— Обезьяна он! — сдерживая смех, повторил старый Будденброк.

Господин Гофштеде был вне себя от восторга.

— Charmant! [1] — вскричал он.— Бесподобно! Надо знать Марцеллуса Штенгеля! Ну точь-в-точь! Нет, это прелестно!

Томас, начисто лишенный дара подражания, стоял рядом с братом и, не испытывая к нему ни малейшей зависти, только от души смеялся. Зубы у него были не очень хороши — мелкие и желтоватые, но зато нос отличался на редкость благородной формой; глазами и овалом лица он сильно напоминал деда.

Гости и хозяева сидели кто в креслах, кто на софе, болтая с детьми, обмениваясь впечатлениями о новом доме, о рано наступивших холодах. Г-н Гофштеде, стоя у секретера, любовался великолепной чернильницей севрского фарфора в виде муругой охотничьей собаки. Доктор Грабов, ровесник консула, с благодушной улыбкой на длинном добром лице, выглядывавшем из поросли жидких бакенбардов, рассматривал пирожные,

[1] Очаровательно! *(франц.)*

булочки с изюмом и всевозможные солонки, выставленные напоказ гостям. То была «хлеб-соль», которой друзья и родственники обильно одарили Будденброков по случаю новоселья. А дабы каждому было ясно, что дары исходят из богатых домов, роль хлеба здесь выполняло сладкое, пряное и сдобное печенье, а соль была насыпана в массивные золотые солонки.

— Да, работы у меня будет немало,— сказал доктор, глядя на эти сласти, и погрозил детям пальцем. Затем, покачав головой, взвесил на руке тяжелый золотой судок для соли, перца и горчицы.

— От Лебрехта Крегера,— сказал г-н Будденброк с насмешливой улыбкой.— Он неизменно щедр, мой любезный сват! Я ему ничего подобного не даривал, когда он выстроил себе летний дом за Городскими воротами. Но... что поделаешь: благородные замашки! Широкая натура! Вот уж в полном смысле cavalier à la mode [1].

Колокольчик у дверей прозвенел на весь дом. Явился пастор Вундерлих, приземистый пожилой господин в длиннополом черном сюртуке, белолицый, веселый, добродушный, с блестящими серыми глазами и со слегка припудренной шевелюрой. Он уже много лет вдовел и привык считать себя холостяком, таким же, как долговязый маклер Гретьенс, пришедший вместе с ним, который то и дело прикладывал к глазам сложенные трубкою руки, точно рассматривал картину: он был общепризнанный ценитель искусства.

Вслед за ними прибыл сенатор доктор Лангхальс с женой, давние друзья дома, и виноторговец Кеппен, большеголовый, с красным лицом, торчавшим между высокими буфами рукавов, в сопровождении своей дебелой супруги.

Уже пробило половину пятого, когда, наконец, явились Крегеры — старики и молодые: консул Крегер с женой и сыновьями, Якобом и Юргеном, однолетками Тома и Христиана. Почти одновременно с ними вошли родители консульши Крегер — оптовый лесоторговец Эвердик с женой, нежные супруги, и сейчас еще при всех именовавшие друг друга альковными кличками.

— «Важные господа не спешат никогда»,— произнес консул Будденброк и склонился к руке тещи.

— Но зато в полном сборе,— с этими словами Иоганн Будденброк широким жестом указал на многолюдную крегеровскую родню и пожал руку старику Крегеру.

---

[1] Светский лев *(франц.)*.

Лебрехт Крегер, cavalier à la mode, высокий, изысканный господин, хотя и продолжал слегка припудривать волосы, но одет был по последней моде. На его бархатном жилете сверкали два ряда пуговиц из драгоценных камней. Юстус, его сын, носивший маленькие бакенбарды и высоко подкрученные усы, фигурой и манерами очень походил на отца; даже движения рук у него были такие же округлые и грациозные.

Никто не спешил садиться, все стояли в ожидании, лениво ведя предобеденный разговор. Но вот Иоганн Будденброк-старший предложил руку мадам Кеппен и громко провозгласил:

— Ну-с, надо думать, что у всех уже разыгрался аппетит, а посему, mesdames et messieurs... [1]

Мамзель Юнгман и горничная распахнули белую дверь в большую столовую, и общество неторопливо направилось туда в приятной уверенности, что уж где-где, а у Будденброков гостей всегда ждет лакомый кусочек...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда все шествие двинулось в столовую, младший хозяин схватился за левый нагрудный карман своего сюртука,— там хрустнула какая-то бумага,— и любезная улыбка, внезапно сбежавшая с его лица, уступила место озабоченному, удрученному выражению; на висках у него напряглись и заиграли жилки, как у человека, крепко стиснувшего зубы. Для виду сделав несколько шагов по направлению к двери, он отступил в сторону и отыскал глазами мать, которая в паре с пастором Вундерлихом замыкала процессию и уже готовилась переступить порог столовой.

— Pardon, милый господин пастор... На два слова, мама.

Пастор благодушно кивнул, и консул Будденброк увлек старую даму обратно к окну ландшафтной.

— Я ненадолго задержу вас, мама,— торопливым шепотом произнес он, отвечая на вопросительный взгляд ее темных глаз.— Письмо от Готхольда.— Он извлек из кармана сложенный вдвое конверт, запечатанный сургучной печатью.— Это его почерк... Уже третье посланье, а папа ответил только на первое. Как быть? Его принесли в два часа, и я давно должен был вручить его отцу. Но неужели именно мне надо было испортить ему праздник? Что вы скажете? Я могу сейчас пойти и вызвать отца.

---

[1] Милостивые государыни и государи... *(франц.)*

— Нет, ты прав, Жан! Лучше повременить,— отвечала мадам Будденброк и быстрым привычным движением дотронулась до плеча сына.— И о чем только он может писать? — огорченно добавила она.— Все стоит на своем, упрямец, и требует возмещения за дом... Нет, нет, Жан, только не сейчас... Может быть, позднее вечером, когда гости разойдутся...

— Что делать? — повторил консул и уныло покачал головой.— Я сам не раз готов был просить отца пойти на уступки... Нехорошо, чтобы люди думали, будто я, единокровный брат, вошел в доверие к родителям и интригую против Готхольда... Да я не хочу, чтобы и отец хоть на минуту заподозрил меня в неблаговидном поступке... Но, по чести, я все-таки совладелец, не говоря уж о том, что мы с Бетси в настоящее время вносим положенную плату за третий этаж... Что касается сестры во Франкфурте, то здесь все в полном порядке. Ее муж уже сейчас, при жизни папá, получил отступные — четверть покупной стоимости дома... Это выгодное дело, и папа очень умно и тактично уладил его — не только в наших интересах, но и в интересах фирмы. И если он так непреклонен в отношении Готхольда, то...

— Ну, это, Жан, пустое. Твоя точка зрения на это дело ясна каждому. Беда в том, что Готхольд полагает, будто я, как мачеха, забочусь только о собственных детях и всячески стараюсь отдалить от него отца.

— Но он сам виноват! — воскликнул консул довольно громко и тут же, оглянувшись на дверь, понизил голос: — Он, и только он, виноват во всей этой прискорбной истории. Судите сами! Почему он не мог вести себя разумно? Зачем ему понадобилось жениться на этой демуазель Штювинг с ее... лавкой? — Выговорив последнее слово, консул досадливо и не без смущения рассмеялся.— Конечно, нетерпимость отца в отношении этой злополучной лавки — чудачество, но Готхольду следовало бы уважить маленькую слабость старого человека.

— Ах, Жан, самое лучшее, если бы папа уступил.

— Но разве я вправе ему это советовать? — прошептал консул, взволнованно потирая лоб.— Я заинтересованное лицо и потому должен был бы сказать: папа, заплати ему. Но, с другой стороны, я компаньон, обязанный блюсти интересы фирмы; и если отец не желает, идя навстречу требованиям непокорного, взбунтовавшегося сына, изымать из оборотного капитала такую сумму... ведь речь идет об одиннадцати тысячах талеров, а это немалые деньги... Нет, нет! Я не могу ему это советовать, но не могу и отговаривать его. Я ничего знать не желаю об этом деле. Мне неприятно только предстоящее объяснение с отцом.

— Вечером, Жан, вечером! Идем, нас ждут...

Консул поглубже засунул письмо в карман, предложил руку матери, и они вдвоем пошли в ярко освещенную столовую, где общество только что кончило рассаживаться по местам за длинным обеденным столом.

Статуи богов на небесно-голубом фоне шпалер почти рельефно выступали между стройных колонн. Тяжелые красные занавеси на окнах были плотно задвинуты. Во всех четырех углах комнаты в высоких золоченых канделябрах горело по восемь свечей, не считая тех, что были расставлены на столе в серебряных подсвечниках. Над громоздким буфетом, напротив двери в ландшафтную, висела большая картина — какой-то итальянский залив, туманно-голубые дали которого выглядели особенно красиво в этом освещении. Вдоль стен стояли большие диваны с прямыми спинками, обитые красным дамаском.

Лицо мадам Будденброк не хранило ни малейших следов тревоги или огорчения, когда она опустилась на свое место между стариком Крегером и пастором Вундерлихом.

— Bon appétit! [1] — произнесла она, торопливо и ласково кивнув головою, и быстрым взглядом окинула весь стол, вплоть до нижнего его конца, где разместились дети.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Ну-с, доложу я вам, есть с чем поздравить Будденброка! — Мощный голос г-на Кеппена перекрыл гул застольной беседы как раз в ту минуту, когда горничная с обнаженными красными руками, в домотканой полосатой юбке и в маленьком белом чепчике на затылке, при деятельном участии мамзель Юнгман и второй горничной «сверху» — то есть из апартаментов консульши — подала на стол гренки и дымящийся бульон с овощами, и кое-кто уже неторопливо приступил к еде.

— Поздравляю от всей души! Какой простор! Знатный дом, да и только! Да-с, доложу я вам, здесь жить можно!..

Господин Кеппен не был принят у прежних владельцев: он недавно разбогател, родом был отнюдь не из патрицианской семьи и, к сожалению, еще не расстался с привычкой пересыпать свою речь всевозможными «доложу я вам» и так далее. К тому же он говорил не «поздравляю», а «проздравляю».

---

[1] Приятного аппетита! *(франц.)*

— По цене и товар,— сухо вставил г-н Гретьенс, бывший маклером при покупке этого дома, и, сложив руки трубкой, принялся рассматривать залив.

Гостей — родственников и друзей дома — рассадили по мере возможности вперемежку. Но до конца выдержать этот распорядок не удалось, и старики Эвердики, сидя, как всегда, чуть ли не на коленях друг у друга, то и дело обменивались нежными взглядами. Зато старый Крегер, прямой и высокий, восседая между сенаторшей Лангхальс и мадам Антуанеттой, царственно делил свои впрок заготовленные шутки между обеими дамами.

— Когда, собственно, был построен этот дом? — обратился через стол г-н Гофштеде к старому Будденброку, который веселым и слегка насмешливым голосом переговаривался с мадам Кеппен.

— Anno...[1] погоди-ка... anno... тысяча шестьсот восьмидесятом, если не ошибаюсь. Впрочем, мой сын лучше меня это знает...

— В восемьдесят втором,— подымая глаза от тарелки, уточнил консул, сидевший несколько ниже; он остался без дамы, и его соседом был сенатор Лангхальс.— Постройку закончили зимой восемьдесят второго года. «Ратенкамп и компания» тогда быстро шли в гору... Тяжело думать об упадке, в котором вот уже двадцать лет находится эта фирма...

Разговор замолк, и с полминуты за столом царила тишина. Все уставились в тарелки, думая о семействе, некогда столь славном. Ратенкампы выстроили этот дом и жили в нем, а позднее, обедневши и опустившись, должны были его покинуть...

— Еще бы не тяжело,— произнес наконец маклер Гретьенс,— когда вспомнишь, какое безумие послужило причиной этого упадка... О, если бы не этот Геельмак, которого Дитрих Ратенкамп взял тогда себе в компаньоны! Я просто за голову схватился, когда тот начал хозяйничать. Мне-то, господа, достоверно известно, какими бесстыдными спекуляциями он занимался за спиной у Ратенкампа, как раздавал направо и налево векселя и акценты фирмы... Ну и доигрался! Сначала иссякли кредиты, потом не стало обеспечений... Вы себе и представить не можете... А кто склады контролировал? Геельмак? О нет, он и его присные годами хозяйничали там, как крысы! А Ратенкамп на все смотрел сквозь пальцы...

---

[1] В году... *(лат.)*

— На Ратенкампа нашла какая-то одурь,— сказал консул; его лицо приняло мрачное, замкнутое выражение; склонившись над тарелкой, он помешивал ложкой суп и только время от времени поглядывал своими маленькими круглыми, глубоко посаженными глазами на верхний конец стола.— Его словно пригибала к земле какая-то тяжесть. И, по-моему, в этом нет ничего удивительного. Что заставило его связаться с этим Геельмаком, у которого и капитала-то почти не было, а была только дурная слава? Видимо, он ощущал потребность свалить на кого-нибудь хоть часть своей огромной ответственности, ибо знал, что неудержимо катится в пропасть. Эта фирма окончила свое существование, старый род пришел в упадок. Вильгельм Геельмак явился только последним толчком к гибели...

— Вы, значит, полагаете, уважаемый господин консул,— сказал пастор Вундерлих, наполняя красным вином бокал своей дамы и свой собственный,— что все происшедшее совершилось бы и без этого Геельмака и его диких поступков?

— Ну, не совсем так,— отвечал консул, ни к кому в отдельности не обращаясь,— но мне думается, что встреча Дитриха Ратенкампа с Геельмаком была необходима и неизбежна, дабы могло свершиться предначертание рока... Он, видимо, действовал под неумолимым гнетом необходимости... Я уверен, что он в какой-то мере раскусил своего компаньона и не был в таком уж полном неведении относительно того, что творилось на складах. Но он словно окаменел...

— Ну, assez [1], Жан! — сказал старый Будденброк и положил ложку.— Это одна из твоих idées [2].

Консул с рассеянной улыбкой приблизил свой бокал к бокалу отца. Но тут заговорил Лебрехт Крегер:

— Оставим прошлое и вернемся к радостному настоящему.

С этими словами он осторожным и изящным жестом взял за горлышко бутылку белого вина с пробкой, украшенной маленьким серебряным оленем, слегка отодвинул ее от себя и принялся внимательно рассматривать этикетку.

— «К.-Ф. Кеппен»,— прочитал он и любезно улыбнулся виноторговцу.— Ах, что бы мы были без вас!

Горничные стали сменять мейссенские тарелки с золотым ободком, причем мадам Антуанетта зорко наблюдала за их движениями, а мамзель Юнгман отдавала приказания в переговорную трубу, соединявшую столовую с кухней. Когда принесли

---

[1] Довольно *(франц.)*.

[2] Здесь: навязчивая идея *(франц.)*.

рыбу, пастор Вундерлих, усердно накладывая себе на тарелку, сказал:

— А ведь настоящее могло быть и не столь радостным. Молодежь, которая сейчас сорадуется с нами, старыми людьми, и не представляет себе, что когда-то все шло по-другому. Я вправе сказать, что моя личная судьба нередко сплеталась с судьбами наших милых Будденброков... Всякий раз, как я смотрю на такую вот вещь,— он взял со стола одну из тяжеловесных серебряных ложек и обернулся к мадам Антуанетте,— я невольно спрашиваю себя, не ее ли в тысяча восемьсот шестом году держал в руках наш друг, философ Ленуар, сержант его величества императора Наполеона, и вспоминаю, мадам, нашу встречу на Альфштрассе...

Мадам Будденброк смотрела прямо перед собой с улыбкой, немного застенчивой и мечтательно обращенной в прошлое. Том и Тони на нижнем конце стола, которые терпеть не могли рыбу и внимательно прислушивались к разговору взрослых, почти одновременно закричали:

— Расскажите, расскажите, бабушка!

Но пастор, по опыту зная, что она неохотно распространяется об этом случае, для нее несколько конфузном, уже сам начал рассказ об одном давнем происшествии, который дети никогда не уставали слушать и который кому-нибудь из гостей, может быть, был и в новинку.

— Итак, представьте себе ноябрьский день; на дворе стужа и дождь льет как из ведра; я ходил по делам своего прихода и вот возвращаюсь по Альфштрассе, раздумывая о наступивших трудных временах. Князь Блюхер ретировался, город наш занят французами, но волнение, всех обуявшее, почти не чувствуется. Улицы тихи, люди предпочитают отсиживаться по домам. Мясник Праль, который, по обыкновению, засунув руки в карманы, вышел постоять у дверей своей лавки и вдруг громовым голосом воскликнул: «Да что же это делается? Бог знает что за безобразие!» — получил пулю в голову, и конец... Так вот иду я и думаю: надо бы заглянуть к Будденброкам; мое появление может оказаться весьма кстати: муж лежит больной — рожа на голове, а у мадам с постоями хлопот не обобраться.

И в эту самую минуту, как бы вы думали, кто попадается мне навстречу? Наша достоуважаемая мадам Будденброк! Но в каком виде! Дождь, а она идет — вернее, бежит — без шляпы, шаль едва держится на плечах, а куафюра у нее так растре-

пана...— увы, это правда, мадам! — что вряд ли здесь даже было применимо слово «куафюра».

«О, сколь приятный сюрприз,— говорю я и беру на себя смелость удержать за рукав мадам, которая меня даже не замечает, и мое сердце сжимается недобрым предчувствием.— Куда вы так спешите, любезнейшая?» Тут она меня узнает и кричит: «Ах, это вы... Прощайте! Все кончено! Я сейчас брошусь в Тра́ву».— «Боже вас упаси! — говорю я и чувствую, что кровь отливает у меня от лица.— Это место совсем для вас неподходящее. Но что случилось?» И я держу ее так крепко, как это допускает мое почтительное отношение к мадам Будденброк. «Что случилось? — повторяет она, дрожа всем телом.— Они залезли в мое серебро, Вундерлих! Вот что случилось! А у Жана рожа на голове, и он не в состоянии встать с постели. Да, впрочем, будь он на ногах, он тоже ничем не мог бы помочь мне. Они воруют мои ложки, мои серебряные ложки! Вот что случилось, Вундерлих! И я сейчас утоплюсь в Тра́ве».

Ну что ж, я держу нашу дорогую мадам Будденброк и говорю все, что говорят в таких случаях. Говорю: «Мужайтесь, дитя мое! Все обойдется!» И еще: «Мы попробуем поговорить с этими людьми. Возьмите себя в руки, заклинаю вас! Идемте скорее!» И я веду ее домой. В столовой мы застаем ту же картину, от которой бежала мадам: солдаты — человек двадцать — роются в ларе с серебром. «С кем из вас, милостивые государи, мне позволено будет вступить в переговоры?» — учтиво обращаюсь я к ним. В ответ раздается хохот: «Да со всеми, папаша!» Но тут один выходит вперед и представляется мне — длинный, как жердь, с нафабренными усами и красными ручищами, которые торчат из обшитых галунами обшлагов мундира. «Ленуар,— говорит он и отдает честь левой рукой, так как в правой держит связку из полдюжины ложек,— Ленуар, сержант. Чем могу служить?» — «Господин офицер! — говорю я, взывая к его point d'honneur[1].— Неужели подобное занятие совместимо с вашим блистательным званием? Город не сопротивлялся императору».— «Что вы хотите,— отвечает он,— война есть война! Моим людям пришлась по душе эта утварь...» — «Вам следует принять во внимание,— перебил я его, так как меня вдруг осенила эта мысль,— что дама,— говорю я, ибо чего не скажешь в таком положении,— не немка, а, скорее, ваша соотечественница, француженка...» — «Француженка?» — переспрашивает он. И что, по-вашему, добавил к этому сей долговязый

[1] Чувству чести *(франц.)*.

рубака? «Так, значит, эмигрантка? — добавил он.— Но в таком случае она враг философии». Я чуть не прыснул, но овладел собою. «Вы, как я вижу, человек ученый,— говорю я.— Повторяю, заниматься таким делом вам не пристало». Он молчит, потом внезапно заливается краской, швыряет ложки обратно в ларь и кричит: «С чего вы взяли, что я не просто любуюсь ими? Хорошенькие вещички, ничего не скажешь! И если кто-нибудь из моих людей возьмет штучку-другую себе на память...»

Ну, надо сказать, что они немало взяли себе на память, тут уж не помогли никакие призывы ни к божеской, ни к человеческой справедливости. Они не ведали иного бога, кроме этого ужасного маленького человека...

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Вы видели его, господин пастор?

Прислуга опять меняет тарелки. Подается гигантский кирпично-красный копченый окорок, горячий, запеченный в сухарях, а к нему кисловатая тушеная капуста и такая пропасть других овощей, что, кажется, все сидящие за столом могли бы насытиться ими. Резать ветчину вызвался Лебрехт Крегер. Изящно приподняв локти и сильно нажимая вытянутыми пальцами на нож и вилку, он бережно отделял сочные куски от окорока. В это время внесли еще и «русский горшок», гордость консульши Будденброк,— острую и слегка отдающую спиртом смесь из различных фруктов.

Нет, пастору Вупдерлиху, к сожалению, не пришлось лицезреть Бонапарта. Но зато старый Будденброк и Жан-Жак Гофштеде видели его своими глазами: первый — в Париже, как раз перед русской кампанией, на параде, устроенном перед дворцом Тюильри; второй — в Данциге...

— Да, по правде говоря, вид у него был довольно неприветливый,— сказал поэт, высоко подняв брови и отправляя в рот кусок ветчины, брюссельскую капусту и картофель, которые ему удалось одновременно насадить на вилку.— Хотя все уверяли, что в Данциге он еще был в хорошем настроении... Рассказывали даже такой анекдот. Весь день он расправлялся с немцами, притом достаточно круто, а вечером сел играть в карты со своими генералами. «N'est-ce pas, Rapp,— сказал он, захватив со стола полную пригоршню золотых,— les Allemands

aiment beaucoup ces petits Napoléons?» — «Oui, sir, plus que le Grand!» [1] — отвечал Рапп.

Среди всеобщего веселья, довольно шумного, ибо Гофштеде премило рассказал свой анекдот и даже легким намеком воспроизвел мимику императора,— старый Будденброк вдруг заявил:

— Ну, а, кроме шуток, разве величие его натуры не заслуживает восхищения?.. Что за человек!..

Консул с серьезным видом покачал головой.

— Нет, нет, наше поколение уже не понимает, почему надо преклоняться перед человеком, который умертвил герцога Энгиенского и отдал приказ уничтожить восемьсот пленных в Египте...

— Все это, может быть, и не совсем так, а может быть, сильно преувеличено,— вставил пастор Вундерлих.— Не исключено, что этот герцог и вправду был мятежным вертопрахом, а что касается пленных, то такая экзекуция, вероятно, была произведена в соответствии с решением военного совета, обусловленным необходимостью и хорошо продуманным.

И он принялся рассказывать о книге, которую ему довелось читать; написанная секретарем императора, она лишь недавно увидела свет и заслуживала всяческого внимания.

— Тем не менее,— настаивал консул и потянулся снять нагар со свечи, которая вдруг начала мигать,— для меня непостижимо, решительно непостижимо восхищение этим чудовищем! Как христианин, как человек религиозный, я не нахожу в своем сердце места для такого чувства.

На лице консула появилось задумчивое, мечтательное выражение, он даже слегка склонил голову набок, тогда как его отец и пастор Вундерлих, казалось, чуть-чуть улыбнулись друг другу.

— Что там ни говори, а те маленькие наполеончики неплохая штука, а? Мой сын положительно влюблен в Луи-Филиппа,— добавил он.

— Влюблен? — с легкой иронией переспросил Жан-Жак Гофштеде.— Забавное словосочетание: Филипп Эгалитэ и... влюблен!

— Ну, а я считаю, что нам, право же, есть чему поучиться у Июльской монархии.— Консул произнес это серьезно и горячо.— Дружелюбное и благожелательное отношение фран-

---

[1] «Не правда ли, Рапп? Немцы очень любят маленьких наполеонов?» — «Да, ваше величество, больше, чем Великого!» *(франц.)*

цузского конституционализма к новейшим практическим идеалам и интересам нашего времени — это нечто весьма обнадеживающее.

— Н-да, практические идеалы...— Старый Будденброк, решив дать небольшую передышку своим челюстям, вертел теперь в пальцах золотую табакерку.— Практические идеалы!.. Ну, я до них не охотник,— с досады он заговорил по-нижненемецки.— Ремесленные, технические, коммерческие училища растут, как грибы после дождя, а гимназии и классическое образование объявлены просто ерундой. У всех только и на уме что рудники, промышленные предприятия, большие барыши... Хорошо, ох, как хорошо! Но, с другой стороны, немножко и глуповато, если подумать... что? А впрочем, я и сам не знаю, почему Июльская монархия мне не по сердцу... Да я ничего такого и не сказал, Жан... Может, это и очень хорошо... не знаю...

Однако сенатор Лангхальс, равно как Гретьенс и Кеппен, держали сторону консула... Францию можно только поздравить с таким правительством, и стремление немцев установить подобные порядки нельзя не приветствовать... Г-н Кеппен опять выговорил «проздравить». За едой он стал еще краснее и громко сопел. Только лицо пастора Вундерлиха оставалось все таким же бледным, благородным и одухотворенным, хотя он с неизменным удовольствием наливал себе бокал за бокалом.

Свечи медленно догорали и время от времени, когда струя воздуха клонила вбок их огоньки, распространяли над длинным столом чуть слышный запах воска.

Гости и хозяева сидели на тяжелых стульях с высокими спинками, ели тяжелыми серебряными вилками тяжелые, добротные кушанья, запивали их густым, добрым вином и не спеша перебрасывались словами. Вскоре беседа коснулась торговли, и все мало-помалу перешли на местный диалект; в его тяжелых, смачных оборотах было больше краткой деловитости, нарочитой небрежности, а временами и благодушной насмешки над собою. «Биржа» в этом произношении звучала почти как «баржа», и лица собеседников при этих звуках принимали довольное выражение.

Дамы недолго прислушивались к разговору. Вниманием их овладела мадам Крегер, подробно и очень аппетитно повествовавшая о наилучшем способе тушить карпа в красном вине:

— Когда рыба разрезана на куски, моя милая, пересыпьте ее луком, гвоздикой, сухарями и сложите в кастрюльку, тогда уже добавьте ложку масла, щепоточку сахара и ставьте на

огонь... Но только не мыть, сударыня! Боже упаси, ни в коем случае не мыть; важно, чтобы не вытекла кровь...

Старик Крегер отменно шутил, в то время как консул Юстус, его сын, сидевший рядом с доктором Грабовом, ближе к детскому концу стола, занимался поддразниванием мамзель Юнгман; она щурила карие глаза и, держа, по свойственной ей странной привычке, нож и вилку вертикально, слегка раскачивалась из стороны в сторону. Даже Эвердики оживились и разговаривали очень громко. Старая консульша придумала новое нежное прозвание для своего супруга. «Ах ты, мой барашек!» — восклицала она, и чепец на ее голове трясся от наплыва чувств.

Разговор стал общим: Жан-Жак Гофштеде затронул свою излюбленную тему — путешествие в Италию, куда пятнадцать лет назад ему довелось сопровождать одного богатого гамбургского родственника. Он рассказывал о Венеции, о Риме и Везувии, о вилле Боргезе, где Гете написал несколько сцен своего «Фауста», восхищался фонтанами времен Возрождения, щедро дарующими прохладу, аллеями подстриженных деревьев, в тени которых так сладостно бродить... И тут кто-то вдруг упомянул о большом запущенном саде Будденброков, начинавшемся сразу за Городскими воротами.

— Честное слово,— отозвался старик Будденброк,— меня и сейчас еще досада берет, что я в свое время не удосужился придать ему несколько более благообразный вид! Недавно я там был; стыд, да и только — какой-то девственный лес! А какой был бы прелестный уголок, если бы посеять газоны, красиво подстричь деревья...

Но консул решительно запротестовал:

— Помилуйте, папа! Я с таким наслаждением гуляю летом в этих зарослях, и мне страшно даже подумать, что эту вольную прекрасную природу обкромсают садовые ножницы.

— Но если эта вольная природа принадлежит мне, то разве я, черт побери, не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению?..

— Ах, отец, когда я отдыхаю там под разросшимися кустами, в высокой траве, мне, право, кажется, что я принадлежу природе, а не то, что у меня есть какие-то права на нее...

— Кришан, не объедаться! — внезапно крикнул старый Будденброк.— Тильде — той ничего не сделается, уписывает за четверых, эдакая обжора-девчонка.

И правда, тихая худенькая девочка с длинным старческим личиком творила просто чудеса. На вопрос, не хочет ли она

вторую тарелку супу, Тильда протяжно и смиренно отвечала: «Да-а, по-о-жалуйста!» Рыбу, а также ветчину, она дважды брала с блюда, нацеливаясь на самые большие куски, и заодно горой накладывала себе овощей; деловито склонившись над тарелкой и не сводя с нее близоруких глаз, она все пожирала неторопливо, молча, огромными кусками. В ответ на слова старика она только протянула дружелюбно и удивленно: «О го-о-споди, дядюшка!» Она не оробела и продолжала есть, с инстинктивным, неутомимым аппетитом бедной родственницы за богатым столом, хоть и знала, что это не принято и что над нею смеются; улыбалась безразличной улыбкой и снова и снова накладывала себе на тарелку, терпеливая, упорная, голодная и худосочная.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Но вот на двух больших хрустальных блюдах внесли плетен-пудинг — мудреное многослойное изделие из миндаля, малины, бисквитного теста и заварного крема; в тот же миг на нижнем конце стола вспыхнуло пламя: детям подали их любимый десерт — пылающий плумпудинг.

— Томас, сынок, сделай одолжение,— сказал Иоганн Будденброк, вытаскивая из кармана панталон увесистую связку ключей,— во втором погребе, на второй полке, за красным бордо, две бутылки, понял?

Томас, охотно выполнявший подобные поручения, выбежал из-за стола и вскоре воротился с бутылками, запыленными и покрытыми паутиной. Но едва только из этой невзрачной оболочки полилась в маленькие бокальчики золотисто-желтая сладкая мальвазия, пастор Вундерлих встал и, подняв бокал, начал в мгновенно наступившей тишине провозглашать тост. Он говорил, изящно жестикулируя свободной рукой и слегка склонив голову набок,— причем на его бледном лице играла тонкая и чуть насмешливая улыбка,— говорил тем непринужденным, дружеским тоном, которого он любил держаться даже в проповедях:

— Итак, добрые друзья мои, да будет нам позволено осушить бокал этой превосходной влаги за благоденствие наших досточтимых хозяев в их новом, столь великолепном доме! За благоденствие семьи Будденброков и всех ее членов, как сидящих за этим столом, так и отсутствующих! Vivat!

«Отсутствующих? — думал консул, склоняя голову перед поднятыми в честь его семьи бокалами.— Кого он имеет в виду? Только ли франкфуртскую родню да еще, пожалуй, Дюшанов в

Гамбурге? Или у старого Вундерлиха иное на уме?» Он встал, чтобы чокнуться с отцом, и с любовью посмотрел ему прямо в глаза.

Но тут поднялся со своего стула маклер Гретьенс; на речь ему потребовалось немало времени, а когда она была наконец произнесена, он поднял бокал за фирму «Иоганн Будденброк», за ее дальнейший рост и процветание во славу родного города.

Тут Иоганн Будденброк, как глава семьи и старший представитель торгового дома, принес гостям благодарность на добром слове и послал Томаса за третьей бутылкой мальвазии, ибо расчет, что и двух будет достаточно, на сей раз не оправдался.

Лебрехт Крегер тоже провозгласил тост; он позволил себе вольность, оставшись сидеть: ему казалось, что легкое покачиванье головой и изящные движения рук должны были с места произвести еще более грациозное впечатление. Свою речь он посвятил обеим хозяйкам дома — мадам Антуанетте и консульше.

Но едва он кончил — к этому времени плеттен-пудинг был почти уже съеден, а мальвазия выпита,— как со стула, откашливаясь, поднялся Жан-Жак Гофштеде. У присутствующих вырвалось единодушное «ах!». А дети на нижнем конце стола от радости захлопали в ладоши.

— Да, excusez! [1] Я не мог себе отказать...— начал поэт, одной рукой слегка потеребив свой длинный нос, а другой вытаскивая лист бумаги из кармана.

В зале воцарилась благоговейная тишина. Бумага в его руках была премило и очень пестро разукрашена, а с наружной стороны листа в овале, обрамленном красными цветами и множеством золотых завитушек, было начертано: «По случаю радостного праздника новоселья в новоприобретенном доме Будденброков и в благодарность за ими присланное мне дружеское приглашение. Октябрь 1835 года».

Он развернул лист и начал своим уже чуть-чуть дрожащим старческим голосом:

Многочтимые! Под сводом
Этих царственных палат
Пусть восторженною одой
Песни дружбы прозвучат!

Среброкудрому я другу
Посвящаю песнь мою,
Двух малюток и супругу
В звучной песне воспою.

[1] Простите! *(франц.)*

Нежность дружбы безобманно
Говорит мне, что слита
С трудолюбием Вулкана
Здесь Венеры красота.

Пусть же Время годы косит,
Не печальтесь вы о том,—
Каждый день пускай приносит
Радость новую в ваш дом!

Пусть уносит счастье-птица
Вас в потоке ясных дней
И прекрасный век ваш длится
Вместе с дружбою моей!

Пусть бы дружбой и любовью
Светлый дом всегда встречал
И того, кто сердца кровью
Эти строки написал! [1]

Гофштеде отвесил низкий поклон, и все общество дружно зааплодировало.

— Charmant, Гофштеде! — воскликнул старый Будденброк.— Твое здоровье! Нет, это прелестно!

Когда же консульша подняла свой бокал, чтобы чокнуться с Гофштеде, ее нежные щеки слегка зарделись,— она поняла, на кого столь изящно намекал поэт, говоря о красоте Венеры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Всеобщее оживление дошло уже до предела, и г-н Кеппен ощутил неодолимую потребность расстегнуть несколько пуговиц на жилете, но, к сожалению, об этом нечего было и мечтать — ведь даже люди постарше его не позволяли себе такой вольности. Лебрехт Крегер сидел все так же прямо, как и в начале обеда; у пастора Вундерлиха было все такое же бледное и одухотворенное лицо; старый Будденброк, хоть и откинулся на спинку стула, но оставался воплощенной благопристойностью; и только Юстус Крегер был явно под хмельком.

Но куда исчез доктор Грабов? Консульша поднялась и незаметно вышла из столовой, ибо на нижнем конце стола пустовали стулья мамзель Юнгман, доктора Грабова и Христиана, а из ротонды доносился звук, похожий на подавляемое рыдание. Она проскользнула в дверь за спиной горничной, появившейся в эту минуту с маслом, сыром и фруктами. И правда, в полу-

[1] Все стихи в тексте переведены А. Глобой.— *Ред.*

тьме, на мягкой скамейке, кольцом окружавшей среднюю колонну, не то сидел, не то лежал, вернее же — корчился, маленький Христиан, испуская тихие жалобные стоны.

— Ах, боже мой, сударыня! — воскликнула Ида Юнгман, которая вместе с доктором стояла подле него.— Бедному мальчику очень плохо!

— Мне больно, мама! Мне черт знает как больно,— простонал Христиан, и его круглые, глубоко посаженные глаза над слишком большим носом беспокойно забегали. «Черт знает!» вырвалось у него от отчаяния, но консульша не преминула заметить:

— Того, кто говорит такие слова, господь наказывает еще большей болью.

Доктор Грабов щупал пульс мальчика, и его доброе лицо при этом казалось еще длиннее и мягче.

— Небольшое несварение, ничего серьезного, госпожа консульша,— успокоительно произнес он и затем добавил неторопливым «докторским» голосом: — Самое лучшее — немедля уложить его в постель. Немного гуфландова порошка и, пожалуй, чашечку ромашки, чтобы вызвать испарину... И, разумеется, строгая диета, госпожа консульша, очень строгая: кусочек голубя, ломтик французской булки...

— Я не хочу голубя! — вне себя завопил Христиан.— Я никогда больше не буду есть! Ни-че-го! Мне больно, мне черт знает как больно! — Недозволенное слово, казалось, сулило ему облегчение, с такой страстью он его выкрикнул.

Доктор Грабов усмехнулся снисходительной, почти скорбной усмешкой. О, он будет есть, еще как будет, этот молодой человек! И жить будет, как все живут. Как его предки, вся родня, знакомые, он будет сидеть в конторе торгового дома и четыре раза в день поглощать тяжелые, отменно приготовленные кушанья. А там... на все воля божья! Он, Фридрих Грабов, не таков, чтобы вступать в борьбу с привычками всех этих почтенных, благосостоятельных и благожелательных купеческих семейств. Он придет, когда его позовут, и пропишет строгую диету на денек-другой: кусочек голубя, ломтик французской булки — да, да! — и с чистой совестью заверит пациента: «Пока ничего серьезного». Еще сравнительно молодой, он уже неоднократно держал в своей руке руку честного бюргера, в последний раз откушавшего копченой говядины или фаршированной индейки и нежданно-негаданно отошедшего в лучший мир, сидя в своем конторском кресле или после недолгой болезни дома, в широкой старинной кровати. Это называлось удар, паралич,

скоропостижная смерть... Да, да, и он, Фридрих Грабов, мог бы предсказать им такой конец всякий раз, когда это было «так, пустячное недомогание», при котором доктора даже, быть может, не считали нужным беспокоить, или когда после обеда, вернувшись в контору, почтенный негоциант ощущал легкое, непривычное головокружение... На все воля божья! Он, Фридрих Грабов, и сам не пренебрегал фаршированной индейкой. Сегодня этот окорок в сухарях был просто восхитителен, черт возьми! А потом, когда всем уже стало трудно дышать, плетен-пудинг — миндаль, малина, сбитые белки — да, да!..

— Строгая диета, госпожа консульша: кусочек голубя, ломтик французской булки...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В большой столовой гости шумно вставали из-за стола.

— На доброе здоровье, mesdames et messieurs, на доброе здоровье! В ландшафтной любителей покурить дожидаются сигары, а всех нас глоток кофе, и если мадам расщедрится, то и ликер... Бильярды к вашим услугам, господа! Жан, ты проводишь дорогих гостей в бильярдную... Мадам Кеппен, честь имею...

Все собравшиеся, сытые, довольные, болтая и обмениваясь впечатлениями об обеде, двинулись обратно в ландшафтную. В столовой остались только консул и несколько заядлых бильярдистов.

— А вы не сыграете с нами, отец?

Нет, Лебрехт Крегер предпочел остаться с дамами. Но вот Юстусу лучше пойти в бильярдную. Сенатор Лангхальс, Кеппен, Гретьенс и доктор Грабов тоже примкнули к нему. Жан-Жак Гофштеде обещал прийти попозднее:

— Приду, приду немного погодя! Иоганн Будденброк хочет сыграть нам на флейте, я должен его послушать. Au revoir, messieurs... [1]

До слуха шестерых мужчин, уже вышедших в ротонду, донеслись из ландшафтной первые звуки флейты; консульша аккомпанировала свекру на фисгармонии, и легкая, грациозная, звонкая мелодия поплыла по обширным покоям будденброковского дома. Консул прислушивался к ней, пока еще можно было что-то услышать. Как охотно остался бы он в ландшафтной помечтать под эти звуки, успокоить свою встревоженную душу, если бы не обязанности хозяина дома!

[1] До скорой встречи, господа... *(франц.)*

— Подай в бильярдную кофе и сигары,— обратился он к горничной, встретившейся им на площадке.

— Да, Лина, живехонько! Гони-ка нам кофе,— повторил господин Кеппен голосом, идущим из самой глубины его сытой утробы, и сделал попытку ущипнуть красную руку девушки. Слово «кофе» прозвучало так гортанно, что казалось — он уже пьет и смакует вожделенный напиток.

— Можно не сомневаться, что мадам Кеппен все видела через стеклянную дверь,— заметил консул Крегер.

А сенатор Лангхальс спросил:

— Так ты, значит, поселился наверху, Будденброк?

Лестница справа вела на третий этаж, где помещались спальни консула и его семейства. Налево от площадки тоже находилась целая анфилада комнат. Мужчины с сигарами в зубах стали спускаться по широкой лестнице с белыми резными перилами. На следующей площадке консул снова задержался.

— В антресолях имеются еще три комнаты,— пояснил он,— маленькая столовая, спальня моих родителей и комната без определенного назначения, выходящая в сад; узенькая галерея здесь выполняет роль коридора... Но пойдемте дальше! Вот, смотрите, в эти сени въезжают груженые подводы и потом через двор попадают прямо на Беккергрубе.

Огромные гулкие сени были выстланы большими четырехугольными плитами. У входных дверей, а также напротив, в глубине, располагались конторские помещения. Кухня, откуда еще и сейчас доносился кисловатый запах тушеной капусты, и проход к погребам находились по левую руку от лестницы. По правую же, на довольно большой высоте, шли какие-то странные, нескладные, но тщательно покрашенные галерейки — помещения для прислуги. Попасть в них можно было только по крутой наружной лестнице. Рядом с этой лестницей стояли два громадных старинных шкафа и резной ларь.

Через высокую застекленную дверь, по ступенькам, настолько плоским, что с них могли съезжать подводы, мужчины вышли во двор, в левом углу которого находилась прачечная. Отсюда открывался вид на красиво разбитый, но теперь по-осеннему мокрый и серый сад, с клумбами, прикрытыми от мороза рогожами; вид этот замыкала беседка с порталом в стиле рококо. Но консул повел своих гостей налево во флигель,— через второй двор, по проходу между двумя стенами.

Скользкие ступеньки спускались в сводчатый подвал с земляным полом, служивший амбаром, с потолка которого свеши-

вался канат для подъема мешков с зерном. Они поднялись по опрятной лестнице во второй этаж, где консул распахнул перед гостями белую дверь в бильярдную.

Господин Кеппен в изнеможении плюхнулся на один из стульев с высокими спинками, стоявших вдоль стен большой, скупо обставленной комнаты.

— Дайте хоть дух перевести,— взмолился он, стряхивая мелкие дождевые капельки со своего сюртука.— Фу-ты, черт возьми, прогуляться по вашему дому — целое путешествие, Будденброк!

Здесь, так же как и в ландшафтной, за чугунной печной дверцей пылал огонь. Из трех высоких и узких окон виднелись красные, мокрые от дождя, островерхие крыши и серые дома.

— Итак, карамболь, господин сенатор? — спросил консул, доставая кии. Затем он обошел оба бильярдных стола и закрыл лузы.— Кто составит нам партию? Гретьенс? Или вы, доктор? All right[1]. Ну, тогда Гретьенс и Юстус будут играть вторыми? Кеппен, и ты не отлынивай.

Виноторговец поднялся с места и, раскрыв рот, полный сигарного дыма, прислушался к яростному порыву ветра, налетевшему на дом, дождем застучавшему по стеклам и отчаянно взвывшему в печной трубе.

— Черт возьми! — проговорил он, выпуская дым.— Не знаю, как «Вулленвевер» войдет в гавань. А, Будденброк? Ну и собачья же погодка!

— Да, вести из Травемюнде поступили весьма неутешительные,— подтвердил консул Крегер, намеливая кий.— Штормы вдоль всего берега. Ей-богу, в двадцать четвертом году, когда случилось наводнение в Санкт-Петербурге, погода была ничуть не хуже... А, вот и кофе!

Они отхлебнули горячего кофе и начали игру. Но вскоре заговорили о таможенном союзе... О, консул Будденброк всегда ратовал за таможенный союз!

— Какая блестящая мысль, господа! — воскликнул он, сделав весьма удачный удар, и обернулся ко второму бильярду, где только что было произнесено «таможенный союз».— Нам бы следовало вступить в него при первой возможности.

Господин Кеппен держался, однако, другого мнения. Нет, он даже засопел от возмущения.

— А наша самостоятельность, наша независимость? — обш-

[1] Отлично *(англ.)*.

женно спросил он, воинственно опершись на кий.— Все побоку? Посмотрим еще, как примет Гамбург эту прусскую выдумку! И зачем нам раньше времени туда соваться, а, Будденброк? Да боже упаси! Нам-то что до этого таможенного союза, скажите на милость? Что, у нас дела так плохи?..

— Ну да, Кеппен, твое красное вино и еще, пожалуй, русские продукты... не спорю! Но больше мы ничего не импортируем! Что же касается экспорта, то, конечно, мы отправляем небольшие партии зерна в Голландию, в Англию, и только... Ах, нет, дела, к сожалению, вовсе не так хороши... Видит бог, они в свое время шли куда лучше... А при наличии таможенного союза для нас откроются Мекленбург и Шлезвиг-Голштиния... Очень может быть, что торговля на свой страх и риск...

— Но позвольте, Будденброк,— перебил его Гретьенс; он всем телом палег на бильярд и медленно целился в шар, раскачивая кий в своей костлявой руке,— этот таможенный союз... Я ничего не понимаю! Ведь наша система так проста и практична. Что? Очистка от пошлин под присягой...

— ...прекрасная старинная институция.— С этим консул не мог не согласиться.

— Помилуйте, господин консул, с чего вы находите ее прекрасной? — Сенатор Лангхальс даже рассердился.— Я не купец, но, говоря откровенно,— присяга вздор. Нечего на это закрывать глаза! Она давно превратилась в пустую формальность, которую не так-то трудно обойти. А государство смотрит на это сквозь пальцы. Чего-чего только мы об этом не наслышались. Я убежден, что вхождение в таможенный союз сенатом будет...

— Ну, тогда не миновать конфликта! — Г-н Кеппен в сердцах стукнул кием об пол. Он выговорил «конфлихт», окончательно отбросив заботу о правильном произношении.— Будет конфлихт, как пить дать! Нет уж, покорнейше благодарим, господин сенатор! Это дело такое, что боже упаси! — И он начал все с тем же пылом распространяться об арбитражных комиссиях, о благе государства, о вольных городах и присяге.

Хорошо, что в эту минуту появился Жан-Жак Гофштеде! Он вошел рука об руку с пастором Вундерлихом — простодушные, жизнерадостные старики, воплощение иных, беззаботных времен.

— Ну-с, друзья мои,— начал поэт,— у меня есть кое-что для вас... веселая шутка, стишок на французский манер. Слушайте!

Он уселся поудобнее, напротив игроков, которые, опершись на свои кии, стояли возле бильярдов, вытащил листок

бумаги из кармана, потеребил свой острый нос указательным пальцем с кольцом-печаткой и прочитал веселым, наивно-эпическим тоном:

Саксонский маршал, будь ему судьей Амур,
В карете золотой катался с Помпадур.
При виде их сказал Фрелон, шутник безбожный:
«Вот королевский меч, а вот к нему и ножны».

Господин Кеппен замер, но мгновение спустя, позабыв про «конфлихт» и благо государства, присоединился к общему хохоту, повторенному сводами зала. Пастор Вундерлих отошел к окну и, судя по подергиванью его плеч, тоже от души смеялся.

Они еще довольно долго пробыли в отдаленной бильярдной, ибо у Гофштеде оказалась в запасе не одна такая шутка. Г-н Кеппен расстегнул уже все пуговицы своего жилета и пребывал в наилучшем настроении,— здесь он чувствовал себя куда привольнее, чем в большой столовой. Каждый удар по шару он сопровождал веселыми прибаутками на нижненемецком диалекте и время от времени, так и светясь довольством, повторял:

Саксонский маршал...

Произнесенный его густым басом, этот стишок звучал еще забавнее.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Было уже довольно поздно, около одиннадцати, когда гости, вновь воссоединившиеся в ландшафтной, стали прощаться. Консульша, после того как все кавалеры поочередно приложились к ее руке, поднялась наверх в свои апартаменты, спеша узнать, как чувствует себя Христиан; надзор за горничными, убиравшими посуду, перешел к мамзель Юнгман, а мадам Антуанетта удалилась к себе в антресоли. Консул же пошел вниз с гостями, провожая их до самого выхода.

Резкий ветер нагонял косой дождь, и старики Крегеры, закутанные в тяжелые меховые шубы, поспешили усесться в величественный экипаж, уже давно их дожидавшийся. Беспокойно мигали желтоватым светом масляные фонари, висевшие на протянутых через улицу толстых цепях, укрепленных на кронштейнах возле подъезда. На другой стороне улицы, круто спускающейся к реке, то там, то здесь из темноты высту-

пали дома с нависавшими друг над другом этажами, с решетками и скамейками для сторожей. Между булыжников старой мостовой кое-где пробивалась мокрая трава. Свет фонарей не достигал Мариенкирхе, и она стояла окутанная дождем и мраком.

— Merci,— сказал Лебрехт Крегер, пожимая руку консулу, стоявшему возле экипажа,— merci, Жан. Вечер был просто очарователен! — Дверцы с треском захлопнулись, и лошади тронули.

Пастор Вундерлих и маклер Гретьенс, в свою очередь изъявив благодарность хозяину, отправились восвояси. Г-н Кеппен, в шинели с пышнейшей пелериной и в высоченном сером цилиндре, взяв под руку свою дородную супругу, произнес густым басом:

— Покойной ночи, Будденброк!.. Иди-ка уж, иди, а то простынешь! Благодарствуй, благодарствуй! Давно так вкусно не едал... Так, значит, красное мое по четыре марки тебе по вкусу, а? Покойной ночи!..

Чета Кеппенов вместе с консулом Крегером и его семейством направилась вниз к реке, тогда как сенатор Лангхальс, доктор Грабов и Жан-Жак Гофштеде двинулись в обратную сторону.

Консул Будденброк, несмотря на то что холод уже начал пробирать его сквозь тонкое сукно сюртука, постоял еще немного у двери, засунув руки в карманы светлых брюк, и только когда шаги гостей замолкли на безлюдной, мокрой и тускло освещенной улице, обернулся и посмотрел на серый фасад своего нового дома. Взгляд его задержался на высеченной в камне старинной надписи: «Dominus providebit» [1]. Потом он, чуть наклонив голову, заботливо запер за собой тяжело хлопнувшую наружную дверь, закрыл на замок внутреннюю и неторопливо зашагал по гулким плитам нижних сеней. Кухарка с полным подносом тихонько звеневших бокалов сходила ему навстречу по лестнице.

— Где хозяин, Трина? — спросил он.

— В большой столовой, господин консул...— Лицо ее стало таким же красным, как и руки; она недавно приехала из деревни и смущалась от любого вопроса.

Он поднялся наверх, и, когда проходил через погруженную во мрак ротонду, рука его непроизвольно потянулась к нагрудному карману, где хрустнула бумага. В углу столовой в одном

---

[1] «Господь провидит» *(лат.)*.

из канделябров мерцали огарки, освещая уже пустой стол. Кисловатый запах тушеной капусты еще стоял в воздухе.

Вдоль окон, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался взад и вперед Иоганн Будденброк.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Ну, сын мой Иоганн, как себя чувствуешь? — Старик остановился и протянул консулу руку, белую, коротковатую и все же изящную руку Будденброков. Его моложавая фигура отделилась от темно-красного фона занавесей, в тусклом и беспокойном свете догорающих свечей блеснули только пудреный парик и кружевное жабо.— Не очень устал? Я вот хожу здесь да слушаю ветер... Дрянь погода! А капитан Клоот уже вышел из Риги...

— С божьей помощью все обойдется, отец!

— А могу ли я положиться на божью помощь? Правда, вы с господом богом приятели...

У консула отлегло от сердца, когда он увидел, что отец в наилучшем расположении духа.

— Я, откровенно говоря, собирался не только пожелать вам доброй ночи, папа...— начал он.— Но уговор, не сердитесь на меня. Вот письмо, оно пришло еще сегодня утром, да я не хотел расстраивать вас в такой радостный день...

— Мосье Готхольд, voilà! [1] — Старик притворился, будто его нисколько не волнует голубоватый конверт с сургучной печатью, который протягивал ему сын.— «Господину Иоганну Будденброку sen. [2] в собственные руки... Благовоспитанный человек твой единокровный братец, Жан! Ничего не скажешь! Насколько мне помнится, я не ответил на его второе письмо, а он уже мне и третье шлет.— Розовое лицо старика становилось все более и более мрачным; он сковырнул ногтем печать, быстро развернул тонкий листок, повернулся так, чтобы свет падал на бумагу, и энергично расправил ее ладонью. Даже в самом почерке этого письма виделись измена и мятеж,— ибо если у всех Будденброков строчки, бисерные и легкие, косо ложились на бумагу, то здесь буквы были высокими, резкими, с внезапными нажимами; многие слова были торопливо и жирно подчеркнуты.

Консул отошел в сторону, к стене, где были расставлены стулья; он не сел — ведь его отец стоял,— но, нервным движе-

---

[1] Вот! *(франц.)*

[2] То есть senior — старший *(лат.)*.

нием схватившись за спинку стула, стал наблюдать за стариком, который, склонив голову набок, насупил брови и, быстро-быстро шевеля губами, читал:

«Отец!

Я, надо думать, напрасно полагаю, что у вас достанет чувства справедливости понять, как я был *возмущен,* когда мое второе, столь *настоятельное* письмо по поводу хорошо известного вам дела осталось без ответа; ответ (я умалчиваю о том, какого рода) последовал лишь на первое мое письмо. Не могу не сказать, что своим упорством вы только углубляете пропасть, по воле божьей легшую между нами, и это *грех,* за который вы в свое время *жестоко* ответите перед престолом всевышнего. Весьма прискорбно, что с того дня и часа, как я, пусть против вашей воли, последовав влечению сердца, сочетался браком с нынешней моей супругой и вступил во владение розничным торговым предприятием, тем самым нанеся удар вашей *непомерной* гордыне,— вы так жестоко и окончательно от меня отвернулись. Но то, как вы теперь обходитесь со мной, уже вопиет к небесам; и ежели вы решили, что вашего молчанья достаточно, чтобы заставить и меня замолчать, то вы *жесточайшим образом* ошибаетесь. Стоимость вашего благоприобретенного дома на Менгштрассе равна ста тысячам марок; как мне стало известно, с вами на правах жильца проживает ваш сын от второго брака и компаньон *Иоганн,* который после вашей смерти станет единоличным хозяином не только фирмы, но и дома. С моей единокровной сестрой во Франкфурте и ее супругом вы выработали определенное соглашение, в которое я вмешиваться не собираюсь. Но мне, старшему сыну, вы, по злобе, *недостойной христианина,* наотрез отказываетесь уплатить какую бы то ни было компенсацию за неучастие во владении упомянутым домом. Я смолчал, когда при моем вступлении в брак и выделе вы уплатили мне сто тысяч марок и такую же сумму положили завещать мне. Я тогда даже толком не знал размеров вашего состояния. Теперь мне многое уяснилось, и поскольку у меня нет оснований считать себя лишенным наследства, то я и *предъявляю свои права* на тридцать три тысячи триста тридцать пять марок, то есть на треть покупной стоимости дома. Не стану высказывать предположений относительно того, чьему *низкому* и *коварному* влиянию обязан я вашим обхождением, которое до сих пор вынужден был терпеть; но я *протестую* против него с полным сознанием своей правоты *христианина* и *делового человека* и в последний раз заверяю

вас, что если вы не решитесь удовлетворить мои справедливые притязания, то я больше не смогу уважать вас ни как *христианина,* ни как *отца,* ни, наконец, как *негоцианта.*

Готхольд Будденброк».

— Прости, пожалуйста, что мне приходится вторично вручать тебе эту мазню,— voilà! — И Иоганн Будденброк гневным движением перебросил письмо сыну.

Консул поймал бумагу, когда она затрепыхалась на уровне его колен, продолжая смятенным, печальным взором следить за тем, как отец ходит взад и вперед по комнате. Старик схватил длинную палку с гасильником на конце, которая стояла у окна, и быстрыми, сердитыми шажками засеменил в противоположный угол к канделябрам.

— Assez! — говорят тебе.— N'en parlons plus![1] Точка! Спать пора! En avant![2]

Огоньки свечей один за другим исчезали, чтобы не вспыхнуть больше, под металлическим колпачком гасильника. В столовой горели лишь только две свечи, когда старик опять обернулся к сыну, которого уже с трудом мог разглядеть в глубине комнаты.

— Eh bien, что ты стоишь и молчишь? Ты в конце концов обязан говорить!

— Что мне сказать, отец? Я в нерешительности...

— Ты часто бываешь в нерешительности! — гневно выкрикнул старик, сам зная, что это замечание несправедливо, ибо сын и компаньон не раз превосходил его решительностью действий, направленных к их обоюдной выгоде.

— «Низкое и коварное влияние»,— продолжал консул.— Эту фразу нетрудно расшифровать... Вы не знаете, как это меня мучит, отец! И он еще попрекает вас нехристианским поведением!

— Так, значит, эта галиматья запугала тебя, да? — Иоганн Будденброк направился к сыну, сердито волоча за собой гасильник.— Нехристианское поведение! Гм! А по-моему, это благочестивое стяжательство просто смешно. Что вы за народ такой, молодежь, а? Голова набита христианскими и фантастическими бреднями и... идеализмом! Мы, старики, бездушные насмешники... А тут еще Июльская монархия и практические идеалы... Конечно, лучше писать старику отцу глупости и грубо-

[1] Не будем об этом говорить! *(франц.)*
[2] Пошли! *(франц.)*

сти, чем отказаться от нескольких тысяч талеров!.. А как деловой человек он, видите ли, презирает меня! Хорошо же! Но я как деловой человек знаю, что такое faux frais! [1] Faux frais,— повторил он, и по-парижски произнесенное «р» грозно пророкотало в полутьме комнаты.— Этот экзальтированный негодяй, мой сынок, не станет мне преданнее оттого, что я смирюсь и уступлю...

— Дорогой отец, ну что мне сказать вам на это? Я не хочу, чтобы он оказался прав, говоря о «влиянии». Как участник в деле я являюсь лицом заинтересованным и именно поэтому не смею настаивать, чтобы вы изменили свое решение, ведь я не менее добрый христианин, чем Готхольд, хотя...

— Хотя?.. По моему разумению, тебе следовало бы продолжить это «хотя», Жан! Как, собственно, обстоит дело? Когда он воспылал страстью к этой своей мамзель Штювинг и стал устраивать мне сцену за сценой, а потом, вопреки моему решительному запрещению, все же совершил этот мезальянс, я написал ему: «Mon très cher fils [2], ты женишься на лавке, точка! Я тебя не лишаю наследства, так как не собираюсь устраивать spectacle, но дружбе нашей конец. Бери свои сто тысяч в качестве приданого, вторые сто тысяч я откажу тебе по завещанию — и баста! Ты выделен и больше ни на один шиллинг не рассчитывай». Тогда он смолчал. А теперь ему-то какое дело, что мы провели несколько удачных операций и что ты и твоя сестра получите куда больше денег, а из предназначенного вам капитала куплен дом?

— Если бы вы захотели понять, отец, перед какой дилеммой я стою! Из соображений нашего семейного блага мне следовало бы посоветовать вам уступить... Но...

Консул тихонько вздохнул, по-прежнему не выпуская из рук спинки стула. Иоганн Будденброк, опираясь на гасильник, пристально вглядывался в тревожный полумрак, стараясь уловить выражение лица сына. Предпоследняя свеча догорела и потухла; только один огарок еще мерцал в глубине комнаты. На шпалерах то там, то здесь выступала светлая фигура со спокойной улыбкой на устах и вновь исчезала.

— Отец, эти отношения с Готхольдом гнетут меня!— негромко сказал консул.

— Вздор, Жан! Сантименты! Что тебя гнетет?

— Отец, нам сегодня было так хорошо всем вместе, это был наш праздник, мы были горды и счастливы сознанием, что

---

[1] Непроизводительные расходы! *(франц.)*

[2] Любезный сын *(франц.)*.

многое сделано нами, многое достигнуто. Благодаря нашим общим усилиям наша фирма, наша семья получили признание самых широких кругов, нас уважают... Но, отец, эта злобная вражда с братом, с вашим старшим сыном... Нельзя допустить, чтобы невидимая трещина расколола здание, с божьей помощью воздвигнутое нами... В семье все должны стоять друг за друга, отец, иначе беда постучится в двери.

— Все это бредни, Жан, вздор! Упрямый мальчишка...

Наступило молчание; последний огонек горел все более тускло.

— Что ты делаешь, Жан?— спросил Иоганн Будденброк.— Я тебя больше не вижу.

— Считаю,— коротко отвечал консул. Свеча вспыхнула, и стало видно, как он, выпрямившись, внимательно и пристально, с выражением, в тот вечер ни разу еще не появлявшимся на его лице, смотрел на пляшущий огонек.— С одной стороны, вы даете тридцать три тысячи триста тридцать пять марок Готхольду и пятнадцать тысяч сестре во Франкфурте, в сумме это составит сорок восемь тысяч триста тридцать пять марок. С другой — вы ограничиваетесь тем, что отсылаете двадцать пять тысяч во Франкфурт, и фирма таким образом выгадывает двадцать три тысячи триста тридцать пять. Но это еще не все. Предположим, что Готхольду выплачивается требуемое им возмещение. Это будет нарушением принципа, будет значить, что он был не окончательно выделен,—и тогда после вашей смерти он вправе претендовать на наследство, равное моему и моей сестры; иными словами: фирма должна будет поступиться сотнями тысяч, на что она пойти не может, на что не могу пойти я, в будущем ее единоличный владелец... Нет, папа,— заключил он, делая энергичный жест рукой и еще более выпрямляясь,— я советую вам не уступать!

— Ну и отлично. Точка! N'en parlons plus! En avant! Спать!

Последний огонек задохся под металлическим колпачком. Отец и сын в полнейшей темноте вышли в ротонду и уже на лестнице пожали друг другу руки.

— Покойной ночи, Жан... Голову выше! А? Все эти неприятности... Встретимся утром, за завтраком!

Консул поднялся к себе наверх, старик ощупью, держась за перила, отправился на антресоли. И большой, крепко запертый дом погрузился во мрак и молчанье. Гордыня, надежды и опасения отошли на покой, а за стенами, на пустынных улицах, лил дождь, и осенний ветер завывал над островерхими крышами.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Два с половиною года спустя, в середине апреля, когда весна не по времени была уже в полном разгаре, свершилось одно событие, заставившее старого Иоганна Будденброка то и дело напевать от радости, а его сына растрогаться до глубины души.

Воскресным утром, в девять часов, консул сидел у окна в маленькой столовой перед громоздким коричневым секретером, выпуклая крышка которого благодаря хитроумному механизму была вдвинута внутрь. Перед ним лежал толстый кожаный бювар, набитый бумагами; но он, склонившись над золотообрезной тетрадью в тисненом переплете, усердно что-то вписывал в нее своим тонким, бисерным, торопливым почерком, отрываясь лишь затем, чтобы обмакнуть гусиное перо в массивную металлическую чернильницу.

Оба окна были раскрыты настежь, и из сада, где солнце ласково пригревало первые почки и какие-то две пичужки дерзко перекликались меж собою, веял свежий, чуть пряный весенний ветерок, временами мягко и неслышно шевеливший гардины. На белую скатерть с еще не сметенными хлебными крошками ложились ослепительные лучи солнца, и веселые зайчики суетливо прыгали на позолоте высоких чашек...

Ведущие в спальню двери стояли распахнутыми, и оттуда чуть слышно доносился голос Иоганна Будденброка, мурлыкавшего себе под нос смешную старинную песенку:

Он предостойный человек
С галантерейным глянцем.
Он варит суп, растит детей
И пахнет померанцем.

Он тихонько раскачивал колыбельку с зелеными шелковыми занавесочками, почти вплотную придвинутую к высокой кровати с пологом, на которой лежала консульша. И она, и ее супруг, желая избежать излишней суеты, перебрались на время сюда, вниз, а отец и мадам Антуанетта, которая, в фартуке поверх полосатого платья и в кружевном чепце на тугих, толстых буклях, сейчас хлопотала у стола, заваленного кусками полотна и фланели, устроили себе спальню в третьей комнате антресолей.

Консул Будденброк почти не оглядывался на раскрытые двери, до такой степени он был погружен в свое занятие. С его лица не сходило серьезное, почти страдальческое, но в то же время и умиленное выражение. Рот консула был полуоткрыт, на глаза время от времени набегали слезы. Он писал:

«Сегодня, 14 апреля 1838 года, утром в шесть часов, моя возлюбленная супруга Элизабет, урожденная Крегер, с господнего соизволения благополучно разрешилась дочкой, которая при святом крещении будет наречена Кларой. Милостив был к ней господь, хотя доктор Грабов и признал, что роды наступили несколько преждевременно, да и до того не все с ней обстояло благополучно; страдания, которые претерпела бедная Бетси, были жестоки. Господи боже наш! Ты один помогаешь нам во всех бедах и злоключениях и внятно возвещаешь волю свою, дабы мы, убоявшись тебя, покорились повелениям и заветам твоим! Господи боже наш, блюди и паси нас в этой земной юдоли...»

Перо его торопливо, безостановочно, ровно выводило строчки, взывавшие к богу, лишь изредка запинаясь, чтобы сделать кудрявый купеческий росчерк. Двумя страничками ниже он начертал:

«Я выписал на имя своей новорожденной дочери полис на сто пятьдесят талеров. Веди ее по пути своему, господи! Даруй ей чистое сердце, дабы она, когда пробьет ее час, вступила в обитель вечного блаженства! Знаю, сколь трудно всем сердцем веровать, что сладчайший Иисус есть достояние наше, ибо немощно земное, ничтожное сердце наше...»

Исписав еще три страницы, консул поставил: «Аминь», но его перо, чуть поскрипывая, еще долго продолжало скользить по бумаге. Оно писало о благодатном источнике, освежающем усталого путника, о кровоточащих ранах божественного искупителя, о пути узком и пути широком, о великом милосердии господа бога. Не будем скрывать, что порой консул уже испытывал потребность остановиться, отложить перо, войти в спаль-

пю к жене или отправиться в контору. Но как же? Неужто так скоро утомила его беседа с творцом и вседержителем? Не святотатственно ли уже сейчас прекратить ее? Нет, нет и нет, он не остановится! И, дабы покарать себя за нечестивые помыслы, консул еще долго цитировал длинные куски из Священного писания, выписывал молитвы за здравие и благоденствие своих родителей, за жену и детей, за себя самого, а также за своего брата Готхольда и, наконец, начертав последнее библейское изречение и поставив троекратное «аминь», насыпал золотистого песку на бумагу, с облегчением вздохнул и откинулся на спинку кресла.

Заложив ногу за ногу, он неторопливо полистал в тетради, перечитывая записанные его собственной рукой события и размышления, и еще раз возблагодарил господа, что своей десницею отвел все опасности, когда-либо грозившие ему, консулу Будденброку. В младенчестве он болел оспой так сильно, что его уже считали не жильцом на этом свете,— и все же выздоровел. Однажды, еще ребенком, он наблюдал, как на их улице готовились к чьей-то свадьбе и варили пиво (по старому обычаю, свадебное пиво должно было быть домашней варки); для этой цели у наружных дверей был установлен громадный котел. И вот эта махина опрокинулась, с шумом покатилась и со страшной силой ударила его дном; сбежавшиеся соседи вшестером едва-едва подняли котел. Голова мальчика была поранена, кровь лилась ручьями. Его снесли в соседнюю лавку и, поскольку жизнь еще теплилась в нем, послали за врачом и хирургом. Отца уговаривали покориться воле божьей: сын не останется в живых... Но всеблагой господь направил руку врача, и вскоре мальчик был здоров, как прежде.

Заново пережив в душе это событие, консул взял перо и написал под своим последним «аминь»: «Вечно буду возносить хвалу тебе, господи!»

В другой раз, когда он еще совсем молодым человеком приехал в Берген, господь спас его от погибели в море.

«Во время путины,— гласила запись,— когда рыбачьи суда прибыли с севера, нам пришлось немало поработать, чтобы, пробившись сквозь чащу судов, пришвартоваться к своему причалу. Я стоял на самом борту трешкота, упершись ногами в дубовую уключину, а спиной в борт соседнего рыбачьего судна, и старался подвести свой трешкот как можно ближе к причалу. На мою беду, уключина сломалась, и я головою вниз полетел в воду. Мне удалось вынырнуть, но — увы! — никто не мог схватить меня; с величайшим трудом я всплыл вторично, но

тут на меня надвинулся трешкот. На нем было достаточно людей, желавших меня спасти, но они должны были сперва оттолкнуться, дабы трешкот или одно из соседних суденышек не потопили меня. Надо думать, все их усилия остались бы тщетными, если бы на одном баркасе сам собою не оборвался канат, отчего трешкот подался в сторону,— и я, господним соизволением, оказался на свободном пространстве! В третий раз мне уже не удалось вынырнуть на поверхность, над водою мелькнули только мои волосы, но так как все уже склонились над бортом, то кто-то схватил меня за вихор, я же уцепился за руку своего спасителя. Тут этот человек, потеряв равновесие, поднял такой вой и крик, что другие бросились к нему на помощь и ухватили его за ноги,— теперь ему уже не грозила опасность свалиться в воду. Я тоже крепко держался за него, хотя он укусил мне руку. Таким-то образом я и спасся...»

Засим следовала длинная благодарственная молитва, которую консул перечитал увлажненными глазами.

«Я мог бы сказать о многом,— стояло в другом месте,— если бы хотел говорить о своих страстях, однако...» Эти страницы он счел за благо перевернуть и принялся читать отдельные записи, относящиеся к его женитьбе и к первой поре отцовства. По чести говоря, брак консула не мог быть назван браком по любви. Однажды старый Будденброк, похлопав сына по плечу, рекомендовал ему обратить внимание на дочь богача Кретера — она могла бы принести фирме большое приданое; консул охотно пошел навстречу желаниям отца и с тех пор почитал свою жену как богоданную подругу жизни...

Со второй женитьбой отца дело, в сущности, обстояло не иначе.

Он предостойный человек
С галантерейным глянцем...—

доносился из спальни голос старика Будденброка. Его-то, к сожалению, очень мало интересовали все эти старые записи и бумаги. Он жил только настоящим и не вникал в прошлое семьи, хотя в былое время тоже заносил кое-что в эту золотообрезную тетрадь своим затейливым почерком; эти записи касались главным образом его первого брака.

Консул перевернул листки, более грубые и плотные, чем те, которые он сам подшил в тетрадь, и уже начинавшие покрываться желтизной... Да, Иоганн Будденброк-старший был, видимо, трогательно влюблен в первую свою жену, дочь бременского купца; похоже, что тот единственный быстролетный год,

который ему суждено было прожить с нею, был счастливейшим в его жизни. *«L'année la plus heureuse de ma vie»* [1],— вписал он однажды и подчеркнул эти слова волнистой линией, не убоявшись, что они попадутся на глаза мадам Антуанетте.

А потом явился на свет Готхольд, и Жозефина заплатила жизнью за этого ребенка. Странные заметки о первенце Иоганна Будденброка хранила пожелтевшая бумага. Отец яро и горько ненавидел это новое существо с той самой минуты, как его энергичные движения начали причинять ужасающую боль матери, ненавидел за то, что, когда сын явился на свет, здоровый и жизнеспособный, она, откинув на подушки бескровное лицо, отошла в вечность,— и так никогда и не простил непрошеному пришельцу убийства матери. Консул отказывался это понять. «Она умерла,— думал он,— выполнив высокое назначение женщины, и я бы перенес любовь к ней на существо, которому она подарила жизнь, которое она оставила мне, отходя в лучший мир... Но отец всегда видел в старшем сыне только дерзкого разрушителя своего счастья. Позднее он сочетался браком с Антуанеттой Дюшан из богатой и уважаемой гамбургской семьи, и они долгие годы шли одним путем, неизменно почтительные и внимательные друг к другу».

Консул еще полистал тетрадь. Прочитал на последних страницах краткие записи о собственных детях, о кори у Тома, о желтухе у Антонии, о том, как Христиан перенес ветряную оспу; пробежал глазами свои заметки о путешествиях вместе с женой в Париж, Швейцарию и Мариенбад и снова вернулся к началу тетради, где жесткие, как пергамент, местами надорванные и пожелтевшие страницы хранили выцветшие размашистые каракули, нацарапанные его дедом Будденброком, тоже Иоганном. Эти записи начинались с пространной генеалогии, с перечисления прямых предков. В XVI столетии, значилось здесь, некий Будденброк -- первый, к кому можно было возвести их род,—жительствовал в Пархиме, а сын его сделался ратсгерром в Грабау. Один из последующих Будденброков, портной и старшина портновского цеха, женился в Ростоке, «жил в отличном достатке» (эти слова были подчеркнуты) и наплодил кучу детей, живых и мертвых, как судил господь... Далее рассказывалось о том, как другой Будденброк, уже звавшийся Иоганном, занялся торговлей там же в Ростоке и, наконец, как много лет спустя прибыл сюда дед консула и учредил хлеботорговую фирму. Об этом предке все уже было известно.

---

[1] «Самый счастливый год в моей жизни» *(франц.)*.

Здесь были точно обозначены даты: когда у него была ветряная и когда настоящая оспа, когда он свалился с чердака сушилки и остался жив, хотя, падая, мог наткнуться на балки, и когда с ним случилась буйная горячка. К этим своим заметкам он приобщил ряд наставлений потомству, из которых прежде всего бросалось в глаза одно, тщательно выписанное высокими готическими буквами и обведенное рамкой: «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя». Далее обстоятельно рассказывалось о принадлежащей ему старинной Библии виттенбергской печати, которая должна перейти к его первенцу, а от того, в свою очередь,— к старшему сыну.

Консул Будденброк поближе придвинул к себе бювар, чтобы вынуть и еще раз перечитать кое-какие бумаги. Здесь лежали старые-престарые, желтые, полуистлевшие письма, которые заботливые матери слали своим работавшим на чужбине сыновьям, с пометками последних: «Благополучно прибыло и принято к сердцу». Грамоты с гербом и печатями вольного ганзейского города о даровании гражданских прав, полисы, поздравительные стихи, приглашения в восприемники. Были здесь и трогательные деловые письма из Стокгольма или Амстердама, писанные сыном «отцу и компаньону», в которых наряду с утешительными вестями о ценах на пшеницу стояли просьбы «незамедлительно передать привет жене и детям»... Был и дорожный дневник самого консула, повествующий о его поездке в Англию и Брабант,— тетрадь в переплете, с медными украшениями — видами Эдинбургского замка и Сенного рынка. Здесь же хранились и печальные документы — злобные письма Готхольда к отцу, и наконец — в качестве радостного финала — стихотворное поздравление Жан-Жака Гофштеде с новосельем...

Тут послышался тоненький торопливый звон. В церковную башню на выцветшей картине, что висела над секретером и изображала рыночную площадь, были вставлены настоящие часы, которые и прозвонили десять. Консул закрыл бювар, бережно вложил его в потайной ящик и пошел в спальню к жене.

Стены спальни были обиты темной материей в крупных цветах; из нее же были сделаны занавески и полог над кроватью роженицы. Казалось, что миром и отдохновением от недавно пережитого страха и мук веял самый воздух этой комнаты, слегка нагретый печью и пропитанный смешанным запахом одеколона и лекарств. Сквозь закрытые шторы едва пробивался свет.

Старый Будденброк и мадам Антуанетта стояли, склонившись над колыбелью, погруженные в созерцание спящего ребенка. Консульша в изящном кружевном матине, с тщательно расчесанными рыжеватыми волосами, еще бледная, но радостно улыбающаяся, протянула мужу свою прекрасную руку, на которой, даже сейчас, тихонько зазвенели золотые браслеты. При этом она, по привычке, вывернула ее ладонью вверх, что должно было сообщить этому жесту особую сердечность.

— Ну как ты себя чувствуешь, Бетси?

— Отлично, отлично, мой милый Жан.

Не выпуская ее руки из своей, он, как и старики, только с другой стороны, склонился над ребенком, часто-часто посапывавшим, и с минуту вдыхал исходивший от него теплый и трогательный запах.

— Да будет над тобою милость господня,— тихонько произнес он, целуя лобик крохотного создания, чьи желтые морщинистые пальчики до ужаса напоминали куриные лапки.

— Она насосалась,— сказала мадам Антуанетта,— и сразу потяжелела...

— Хотите — верьте, хотите — нет, а она очень похожа на Нетту.— Иоганн Будденброк сегодня весь светился счастьем и гордостью.— У нее огненно-черные глаза, черт меня побери!

Мадам Будденброк из скромности запротестовала:

— Ах, о каком сходстве можно сейчас говорить!.. Ты собираешься в церковь, Жан?

— Да, уже пробило десять, значит — пора. Я только жду детей...

Тут как раз послышались их голоса. Дети шумели на лестнице самым неподобающим образом; Клотильда шикала на них. Но вошли они в своих меховых шубках,— ведь в Мариенкирхе было еще по-зимнему холодно,— тихо и осторожно: во-первых, чтобы не побеспокоить маленькую сестренку, главное же потому, что перед богослужением полагалось сосредоточиться. Лица у всех были красные и возбужденные. Сегодня праздник так праздник! Аист,— верно, очень крупный и сильный аист! — кроме сестренки, принес еще целую кучу всякого добра: новый ранец из тюленьей кожи для Томаса, большую куклу с настоящими волосами — просто диво! — для Антонии, книгу с пестрыми картинками для примерной девочки Клотильды,— впрочем, она, молчаливая и благодарная, занялась почти исключительно кулечками со сластями, тоже принесенными аистом,— а для Христиана кукольный театр со всеми атрибутами — с султаном, чертом и смертью...

Они поцеловали мать, получили дозволение еще раз заглянуть за зеленую шелковую занавеску и вслед за отцом, который тем временем облекся в крылатку и взял в руки молитвенник, молча и чинно отправились в церковь, преследуемые пронзительным криком вдруг проснувшегося нового члена семьи Будденброков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На лето уже в мае или в начале июня Тони Будденброк всегда перебиралась к деду и бабке за Городские ворота, и, надо сказать, с превеликой радостью.

Хорошо жилось там среди природы, в роскошно обставленном загородном доме с многочисленными службами, пристройками, конюшнями; огромный фруктовый сад, огороды и цветники крегеровского владения спускались до самой Трáвы. Старики жили на широкую ногу. Между этим щегольским богатством и несколько тяжеловатым благосостоянием в родительском доме существовало заметное различие. Здесь все выглядело куда более роскошным, и это производило немалое впечатление на юную мадемуазель Будденброк.

О работе по дому, а тем более на кухне здесь не было и речи, тогда как на Менгштрассе, хотя дедушка и мама не придавали этому особого значения, бабушка и отец, напротив, нередко заставляли Тони вытирать пыль, ставя ей в пример покорную, набожную и трудолюбивую кузину Тильду. Аристократические наклонности материнской семьи невольно пробуждались в юной девице, когда она, лежа в качалке, отдавала приказания горничной или лакею. Кроме них, в услужении у стариков состояли еще кучер и две служанки.

Что ни говори, а приятно утром проснуться в просторной спальне, обитой светлым штофом, и тут же ощутить под рукой атлас тяжелого стеганого одеяла; очень недурно также, когда к первому завтраку в так называемой «балконной», куда сквозь растворенную в сад стеклянную дверь проникает свежий утренний воздух, тебе подают не кофе и не чай, а шоколад,— да, да, каждый день праздничный шоколад! И к нему большой кусок сладкого пирога.

Правда, этот завтрак Тони — за исключением воскресных дней — поедала в одиночестве, так как старики Крегеры спускались вниз многим позднее. Дожевав свой пирог, она хватала

ранец, сбегала вниз с террасы и шла по заботливо ухоженному саду, окружавшему дом.

Она была очень мила, эта маленькая Тони Будденброк. Из-под ее соломенной шляпы выбивались густые кудрявые волосы, белокурые, но с каждым годом принимавшие все более пепельный оттенок; чуть выдававшаяся вперед верхняя губка придавала задорное выражение ее свежему личику с серо-голубыми веселыми глазами; эта хорошенькая головка венчала изящную маленькую фигурку, упруго и уверенно, хотя и чуть-чуть вразскачку, ступавшую тонкими ножками в белоснежных чулках. Многие горожане знали и весело приветствовали дочку консула Будденброка, когда она из ворот сада выходила в Каштановую аллею. Какая-нибудь торговка овощами в большой соломенной шляпе, подвязанной зелеными лентами, восседая в своей деревенской повозке, приветливо кричала ей: «С добрым утром, барышня», а дюжий грузчик Маттисен, в черной куртке, в широких штанах и в башмаках с пряжками, из почтительности даже снимал перед нею свой шершавый цилиндр...

Здесь Тони останавливалась, поджидая Юльхен Хагенштрем, с которой они обычно вместе отправлялись в школу. У Юльхен были немного слишком высокие плечи и большие блестящие черные глаза; она жила рядом с Крегерами на вилле, сплошь увитой диким виноградом. Ее отец, г-н Хагенштрем, семья которого лишь недавно обосновалась в этом городе, женился на молодой особе из Франкфурта, с очень густыми черными волосами и огромными бриллиантами в ушах, каких не было ни у одной из местных дам; в девичестве ее фамилия была Землингер. Г-н Хагенштрем, компаньон экспортной конторы «Штрунк и Хагенштрем», выказывал много усердия и честолюбия, участвуя в обсуждении общегородских дел, но более строгие блюстители традиций, как-то: Меллендорфы, Лангхальсы и Будденброки, несколько чуждались его из-за этой женитьбы; да и вообще его недолюбливали, несмотря на то что он был деятельным членом всевозможных комитетов, коллегий и правлений. Хагенштрем словно задался целью по любому поводу спорить с представителями старинных домов; он хитроумно опровергал их мнения, противопоставляя таковым свои, якобы более передовые, и всячески стремился доказать, что он человек деловой и для города незаменимый. Консул Будденброк говорил о нем: «Хинрих Хагенштрем только и знает, что пакостить нам... Мне лично он просто проходу не дает... Сегодня он устроил спектакль на заседании главного благотворительного комитета, а несколько дней назад — в финансовом депар-

таменте...» Иоганн Будденброк-старший добавлял: «Пакостник, каких свет не видывал...»

Как-то раз консул и его отец вернулись домой к обеду злые и расстроенные. Что случилось? Ах, ничего особенного. Просто мимо носа прошла поставка большой партии ржи в Голландию — ее перехватили «Штрунк и Хагенштрем». Ну и лиса же этот Хинрих Хагенштрем!..

Тони достаточно часто слышала такие разговоры, чтобы не питать к Юльхен Хагенштрем особенно нежных чувств. Они ходили в школу вместе, потому что им было по пути, но при этом всячески старались досадить друг другу.

— У моего папы тысяча талеров,— говорила Юльхен, воображая, что беспардонно лжет.— А у твоего?

Тони отмалчивалась, изнемогая от зависти и унижения. А потом замечала спокойно и как бы мимоходом:

— Ах, до чего вкусный был сегодня шоколад... А что ты пьешь за завтраком, Юльхен?

— Да, пока я не забыла,— отвечала Юльхен,— скушай-ка яблочко, у меня много с собой. Много-то много, а тебе не дам ни одного,— заключала она, поджимая губы, и ее черные глаза становились влажными от удовольствия.

Иногда с ними вместе шел в школу брат Юльхен, Герман, постарше ее года на два или на три. У нее был и второй брат, Мориц, но тот из-за слабого здоровья учился дома. У Германа были белокурые волосы и слегка приплюснутый к верхней губе нос. Кроме того, он беспрестанно чмокал губами, так как дышал только через рот.

— Вздор,— заявлял он,— у папы куда больше тысячи!

Но самое интересное в нем было то, что он брал с собою в школу на завтрак не хлеб, а плюшку: мягкую сдобную булочку овальной формы с коринками, на которую он клал еще кусок языковой колбасы или гусиной грудки. Такой уж у него был вкус!

Тони Будденброк никогда ничего подобного не видывала. Сладкая плюшка с гусиной грудкой — да ведь это должно быть превкусно! И когда он однажды позволил ей заглянуть в свою жестянку с завтраком, она призналась, что очень хотела бы попробовать кусочек.

Герман сказал:

— От своего я урвать не могу, но завтра я захвачу и для тебя такой бутерброд, если ты дашь мне кое-что взамен.

На следующее утро Тони прождала в аллее целых пять минут, Юльхен все не шла. Она постояла еще с минуту, и вот

появился Герман, один, без сестры; он раскачивал висевшую на ремне жестянку с завтраком и тихонько чмокал губами.

— Ну,— сказал он,— вот тебе плюшка с гусиной грудкой; я постарался выбрать без жиру, одно мясо... Что ты мне за это дашь?

— А что тебе надо? — осведомилась Тони.— Хочешь шиллинг?

Они стояли посередине аллеи.

— Шиллинг? — повторил Герман; потом проглотил слюну и объявил: — Нет, я хочу совсем другого.

— Чего же? — спросила Тони. Она уже готова была отдать что угодно за лакомый кусочек.

— Поцелуя! — крикнул Герман Хагенштрем, облапил Тони и стал целовать куда попало, так, впрочем, и не коснувшись ее лица, ибо она с необыкновенной увертливостью откинула голову назад, уперлась левой рукой, в которой держала сумку с книгами, ему в грудь, а правой три или четыре раза изо всей силы ударила его по физиономии. Он пошатнулся и отступил, но в то же мгновенье из-за какого-то дерева, словно черный дьяволенок, выскочила сестричка Юльхен, шипя от злости, бросилась на Тони, сорвала с нее шляпу и отчаянно исцарапала ей щеки. После этого происшествия они уже никогда не ходили в школу вместе.

Впрочем, Тони отказала юному Хагенштрему в поцелуе отнюдь не из робости. Она была довольно резвым созданием и доставляла своими шалостями немало огорчений родителям, в особенности консулу. Тони обладала сметливым умом и быстро усваивала всю школьную премудрость, но поведение ее было настолько неудовлетворительно, что в конце концов начальница школы, некая фрейлейн Агата Фермерен, потея от застенчивости, явилась на Менгштрассе и весьма учтиво посоветовала г-же Элизабет Будденброк сделать дочери серьезное внушение, ибо та, несмотря на многократные увещевания, снова была уличена в неблаговидном поведении, да еще вдобавок вне стен школы, на улице.

Не беда, конечно, что Тони знала решительно всю округу и решительно со всеми вступала в разговор: консул, не терпевший гордыни, даже сочувствовал этому, как проявлению простодушия и любви к ближнему. Она толкалась вместе с Томасом в амбарах на берегу Трáвы среди наваленных на земле груд пшеницы и ржи, болтала с рабочими и писцами, сидевшими в маленьких темных конторах с оконцами на уровне земли, помогала грузчикам подымать мешки с пшеницей. Она

знала всех мясников, проходивших по Брейтенштрассе в белых фартуках, с лотками на голове; подсаживалась к молочницам, приезжавшим из деревень в повозках, уставленных жестяными жбанами; заговаривала с седоволосыми ювелирами, которые сидели в маленьких деревянных будках, приютившихся под сводами рынка; дружила со всеми торговками рыбой, фруктами, зеленью, так же как с рассыльными, меланхолически жевавшими табак на перекрестках. Хорошо, пускай!

Но чем, например, виноват бледный безбородый, грустно улыбающийся человек неопределенного возраста, который по утрам выходит на Брейтенштрассе подышать чистым воздухом, что всякий внезапный и резкий окрик, вроде «эй» или «о-го-го!», заставляет его дрыгать ногой? И все же Тони, едва завидев его, всякий раз кричала: «Эй!» Или что хорошего неизменно преследовать маленькую, худенькую, большеголовую женщину, при любой погоде держащую над собой громадный дырявый зонтик, кличками «Мадам Зонт» или «Шампиньон»? Еще того хуже, пожалуй, являться с двумя или тремя столь же озорными подругами к домику старушки, торгующей тряпочными куклами в узеньком закоулке близ Иоганнесштрассе, у которой и правда были на редкость красные глаза, изо всей силы дергать колокольчик, с притворной учтивостью спрашивать у отворившей дверь старушки, здесь ли проживают господин и госпожа Плевок, и затем с гиканьем улепетывать. Тем не менее Тони Будденброк все это проделывала, и проделывала, надо думать, с чистой совестью. Ибо если очередная ее жертва пыталась угрожать ей, то надо было видеть, как Тони отступала на шаг назад, закидывала хорошенькую головку, оттопыривала верхнюю губку и полувозмущенно, полунасмешливо произносила: «Пфф!» — точно желая сказать: «Попробуй только мне что-нибудь сделать. Или ты не знаешь, что я дочь консула Будденброка?»

Так расхаживала она по городу, словно маленькая королева, знающая за собою право быть то доброй, то жестокой, в зависимости от прихоти или расположения духа.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Жан-Жак Гофштеде высказал в свое время достаточно меткое суждение о сыновьях консула.

Томас, с самого рождения предназначенный к тому, чтобы стать коммерсантом, а в будущем владельцем фирмы, и потому посещавший реальное отделение школы в старом здании с го-

тическими сводами, был умный, подвижный и смышленый мальчик, что, впрочем, не мешало ему от души веселиться, когда Христиан, учившийся в гимназии, не менее способный, но недостаточно серьезный, с невероятным комизмом передразнивал своих учителей, и в первую очередь бравого Марцеллуса Штенгеля, преподававшего пение, рисование и прочие занимательные предметы.

Господин Штенгель, у которого из жилетного кармана всегда высовывалось не менее полудюжины великолепно отточенных карандашей, носивший ярко-рыжий парик, долгополый светло-коричневый сюртук и такие высокие воротнички, что их концы торчали почти вровень с висками, был заядлый остряк и большой охотник до философских разграничений, вроде: «Тебе надо провести линию, дитя мое, а ты что делаешь? Ты проводишь черту!» Он выговаривал не «линия», а «линья». Нерадивому ученику он объявлял: «Ты будешь сидеть в пятом классе не положенный срок, а бессрочно» (звучало это как «шрок» и «бешшрочно»). Больше всего он любил на уроке пения заставлять мальчиков разучивать известную песню «Зеленый лес», причем некоторым из учеников приказывал выходить в коридор и, когда хор запевал:

Мы весело бродим полями, лесами...—

тихо-тихо повторять последнее слово, изображая эхо. Если эта обязанность возлагалась на Христиана, его кузена Юргена Крегера или приятеля Андреаса Гизеке, сына городского брандмайора, то они, вместо того чтобы изображать сладкоголосое эхо, скатывали по лестнице ящик из-под угля, за что и должны были оставаться после уроков на квартире г-на Штенгеля. Впрочем, там они чувствовали себя совсем неплохо. Г-н Штенгель, успевавший за это время все позабыть, приказывал своей домоправительнице подать ученикам Будденброку, Крегеру и Гизеке по чашке кофе «на брата» и вскоре отпускал молодых людей восвояси...

И в самом деле, ученые мужи, просвещавшие юношество в стенах старой некогда монастырской школы, под мягким руководством добродушного, вечно нюхавшего табак старика директора, были люди безобидные и незлобивые, все, как один, полагавшие, что наука и веселье отнюдь не исключают друг друга, и старавшиеся внести в свое дело снисходительную благожелательность.

В средних классах преподавал латынь некий долговязый господин с русыми бакенбардами и живыми блестящими гла-

зами, по фамилии Пастор, ранее и вправду бывший пастором, который не переставал радоваться совпадению своей фамилии со своим духовным званием и устанавливать, что латинское слово «pastor» означает: «пастырь», «пастух». Любимым его присловьем было: «Безгранично ограниченный», и никто так никогда и не узнал, говорилось ли это в шутку или всерьез.

Развлекал он учеников и своим виртуозным умением втягивать губы в рот и вновь выпускать их с таким треском, словно выскочила пробка из бутылки с шампанским. Он любил также, большими шагами расхаживая по классу, с невероятной живостью описывать тому или другому ученику его будущее, с целью расшевелить воображение мальчиков. Но тут же становился серьезен и переходил к работе, то есть приказывал им читать стихи — вернее, ловко облеченные им в стихотворную форму правила затруднительных грамматических построений и речевых оборотов, которые он сам «декламировал» с несказанной торжественностью, отчеканивая ритм и рифмы...

Юность Тома и Христиана... Ничего примечательного о ней не расскажешь. В ту пору дом Будденброков был озарен солнечным светом, и дела в конторе и ее отделениях шли как по маслу. Правда, иногда все же случались грозы или досадные происшествия, вроде следующего.

Господин Штут, портной с Глокенгиссерштрассе, супруга которого промышляла скупкой старой одежды и потому вращалась в высших кругах, г-н Штут, чье округлое брюхо, обтянутое шерстяной фуфайкой, мощно выпирало из панталон, сшил за семьдесят марок два костюма для молодых Будденброков, но, по желанию обоих, согласился поставить в счет восемьдесят и вручить им разницу чистоганом,— дельце пусть не совсем чистое, но не такое уж из ряда вон выходящее.

Беда заключалась в том, что какими-то неисповедимыми путями все это выплыло наружу, так что г-ну Штуту пришлось облачиться в черный сюртук поверх шерстяной фуфайки и предстать перед консулом Будденброком, который в его присутствии учинил строжайший допрос Тому и Христиану. Г-н Штут, стоявший подле кресла консула, широко расставив ноги и почтительно склонив голову, заверил последнего, что, «раз уж такое вышло дело», он рад будет получить и семьдесят марок,— «ничего не попишешь, коли так повернулось...». Консул был в негодовании от этой выходки сыновей. Впрочем, по зрелом размышлении, он решил впредь выдавать им больше карманных денег, ибо сказано: «Не введи нас во искушение».

На Томаса Будденброка явно приходилось возлагать больше надежд, чем на его брата. У Томаса был характер ровный, ум живой и сметливый. Христиан, напротив, отличался неуравновешенностью, был порой нелепо дурашлив и мог вдруг невероятнейшим образом напугать всю семью...

Сидят, бывало, все за столом, приятно беседуя; на десерт поданы фрукты. Христиан кладет надкусанный персик обратно на тарелку, лицо его бледнеет, круглые, глубоко посаженные глаза расширяются.

— Никогда больше не буду есть персиков! — объявляет он.

— Почему?.. Что за глупости? Что с тобой?

— А вдруг я по нечаянности... проглочу эту здоровенную косточку, вдруг она застрянет у меня в глотке... Я начинаю задыхаться... вскакиваю, меня душит, все вы тоже вскакиваете...— У него неожиданно вырывается отчаянный и жалобный стон: «О-о!» Он беспокойно ерзает на стуле, потом встает и делает движение, словно собираясь бежать.

Консульша, а также мамзель Юнгман и вправду вскакивают с места.

— Господи боже ты мой! Но ведь ты же ее не проглотил, Христиан?

По виду Христиана можно подумать, что косточка уже встала у него поперек горла.

— Нет, конечно, нет,— отвечает он, мало-помалу успокаиваясь.— Ну а что, если бы проглотил?

Консул, тоже бледный от испуга, начинает его бранить, дед гневно стучит по столу, заявляя, что впредь не потерпит этих дурацких выходок. Но Христиан действительно долгое время не ест персиков.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В один морозный январский день, через шесть лет после того как Будденброки переехали в дом на Менгштрассе, мадам Антуанетта слегла в свою высокую кровать под балдахином, чтобы уже больше не подняться; и свалила ее не одна только старческая слабость. До последних дней старая дама была бодра и с привычным достоинством носила свои тугие белые букли; она посещала вместе с супругом и детьми все торжественные обеды, которые давались в городе, а во время приемов в доме Будденброков не отставала от своей элегант-

ной невестки в выполнении обязанностей хозяйки. Однажды она вдруг почувствовала какое-то странное недомогание, поначалу лишь легкий катар кишок — доктор Грабов прописал ей кусочек голубя и французскую булку,— потом у нее начались рези и рвота, с непостижимой быстротой повлекшие за собою полный упадок сил и такую слабость и вялость, что одно это уже внушало опасения.

После того как у консула состоялся на лестнице краткий, но серьезный разговор с доктором Грабовом и вместе с тем стал приходить второй врач, коренастый, чернобородый, мрачного вида мужчина, как-то переменился даже самый облик дома. Все ходили на цыпочках, скорбно перешептывались. Подводам было запрещено проезжать через нижние сени. Словно вошло сюда что-то новое, чужое, необычное — тайна, которую каждый читал в глазах другого. Мысль о смерти проникла в дом и стала молчаливо царить в его просторных покоях.

При этом никто не предавался праздности, ибо прибыли гости. Болезнь длилась около двух недель, и уже к концу первой недели приехал из Гамбурга брат умирающей — сенатор Дюшан с дочерью, а двумя днями позднее, из Франкфурта,— сестра консула с супругом-банкиром. Все они поселились в доме, и у Иды Юнгман хлопот было не обобраться: устраивать спальни, закупать портвейн и омаров к завтраку, в то время как на кухне уже парили и жарили к обеду.

Наверху, у постели больной, сидел Иоганн Будденброк, держа ослабевшую руку своей старой Нетты; брови у него были слегка приподняты, нижняя губа отвисла. Он молча смотрел в пространство. Стенные часы тикали глухо и прерывисто, но еще глуше и прерывистее было дыхание больной. Сестра милосердия в черном платье приготовляла мясной отвар, который врач пытался дать мадам Антуанетте; время от времени неслышно входил кто-нибудь из домочадцев и вновь исчезал.

Возможно, Иоганн Будденброк вспоминал о том, как сорок шесть лет назад впервые сидел у постели умирающей жены; возможно, сравнивал дикое отчаяние, владевшее им тогда, и тихую тоску, с которой он, сам уже старик, вглядывался теперь в изменившееся, ничего не выражающее, до ужаса безразличное лицо старой женщины, которая никогда не заставила его испытать ни большого счастья, ни большого страдания, но долгие годы умно и спокойно жила бок о бок с ним и теперь медленно угасала.

Он ни о чем, собственно, не думал и только, неодобрительно покачивая головой, всматривался в пройденный путь, в

жизнь, ставшую вдруг какой-то далекой и чуждой, в эту бессмысленно шумную суету, в круговороте которой он некогда стоял и которая теперь неприметно от него отступала, но, както назойливо для его уже отвыкшего слуха, продолжала шуметь вдали. Время от времени он вполголоса бормотал:

— Странно! Очень странно!

И когда мадам Будденброк испустила свой последний, короткий и безболезненный, вздох, когда в большой столовой носильщики подняли покрытый цветами гроб и, тяжело ступая, понесли его, он даже не заплакал, но с тех пор все тише, все удивленнее покачивал головой, и сопровождаемое кроткой улыбкой: «Странно! Очень странно!» — сделалось его постоянным присловьем. Без сомнения, сочтены были и дни Иоганна Будденброка.

Отныне он сидел в кругу семьи молчаливый и отсутствующий, а если брал на руки маленькую Клару и начинал петь ей одну из своих смешных песенок, как, например:

Подходит омнибус к углу...

или:

Гуляла муха по стеклу...—

то случалось, что он вдруг умолкал и, точно обрывая долгую чреду полубессознательных мыслей, спускал внучку с колен, покачивая головой, бормотал: «Странно!» — и отворачивался... Однажды он сказал:

— Жан, assez? А?..

И вскоре по городу разошлись аккуратно отпечатанные и скрепленные двумя подписями уведомления, в которых Иоганн Будденброк senior учтиво оповещал адресатов о том, что преклонный возраст понуждает его прекратить свою торговую деятельность и посему фирма «Иоганн Будденброк», учрежденная его покойным отцом еще в 1768 году, со всем своим активом и пассивом переходит под тем же названием в единоличное владение его сына и компаньона — Иоганна Будденброка-младшего. Далее следовала просьба удостоить сына такого же доверия, каким пользовался он сам, и подпись: «Иоганн Будденброк senior, отныне уже не глава фирмы».

Но после того как эти уведомления были разосланы и старик заявил, что ноги его больше не будет в конторе, его задумчивость и безразличие возросли до степени уже устрашающей. И вот в середине марта, через несколько месяцев после

кончины жены, Иогани Будденброк, схватив пустячный весенний насморк, слег в постель. А вскоре наступила ночь, когда вся семья собралась у одра больного, и он обратился к консулу:

— Итак, счастливо, Жан, а? И помни — courage!

Потом к Томасу:

— Будь помощником отцу!

И к Христиану:

— Постарайся стать человеком!

После этих слов старик умолк, оглядел всех собравшихся и, в последний раз пробормотав: «Странно!» — отвернулся к стене.

Он до самой кончины так и не упомянул о Готхольде, да и старший сын на письменное предложение консула прийти к одру умирающего отца ответил молчанием. Правда, на следующее утро, когда уведомления о смерти еще не были разосланы и консул спускался по лестнице, чтобы отдать неотложные распоряжения в конторе, произошло примечательное событие: Готхольд Будденброк, владелец бельевого магазина «Зигмунд Штювинг и К°» на Брейтенштрассе, быстрым шагом вошел в сени. Сорока шести лет от роду, невысокий и плотный, он носил пышные, густые белокурые бакенбарды, в которых местами уже сквозила седина. На его коротких ногах мешком болтались брюки из грубой клетчатой материи. Заторопившись навстречу консулу, он высоко поднял брови под полями серой шляпы и тут же нахмурил их.

— Что слышно, Иогани? — произнес он высоким и приятным голосом, не подавая руки брату.

— Сегодня ночью он скончался,— взволнованно отвечал консул и схватил руку брата, державшую зонтик.— Наш дорогой отец!

Готхольд насупил брови; они нависли так низко, что веки сами собой закрылись. Помолчав, он холодно спросил:

— До последней минуты так ничего и не изменилось, Иогани?

Консул тотчас же выпустил его руку, более того — поднялся на одну ступеньку вверх; взгляд его круглых глубоко посаженных глаз вдруг стал ясным, когда он ответил:

— Ничего!

Брови Готхольда снова взлетели вверх к полям шляпы, а глаза выжидательно уставились на брата.

— Могу ли я рассчитывать на твое чувство справедливости? — спросил он, понизив голос.

Консул потупился, но затем, так и не поднимая глаз,

сделал решительное движение рукой — сверху вниз и ответил тихо, но твердо:

— В эту тяжкую и трудную минуту я протянул тебе руку как брату. Что же касается деловых вопросов, то я могу обсуждать их только как глава всеми уважаемой фирмы, единоличным владельцем которой я являюсь с сегодняшнего дня. Ты не можешь ждать от меня ничего, что противоречило бы долгу, который налагает на меня это звание. Здесь все другие мои чувства должны умолкнуть.

Готхольд ушел. Тем не менее на похороны, когда толпа родственников, знакомых, клиентов, грузчиков, конторщиков, складских рабочих, а также депутаций от всевозможных фирм заполнила комнаты, лестницы и коридоры и все извозчичьи кареты города длинной вереницей выстроились вдоль Менгштрассе, он, к нескрываемой радости консула, все же явился в сопровождении супруги, урожденной Штювинг, и трех уже взрослых дочерей: Фридерики и Генриетты — сухопарых и долговязых девиц, и младшей — коротышки Пфиффи, непомерно толстой для своих восемнадцати лет.

После речи, которую произнес над открытой могилой в фамильном склепе Будденброков, на опушке кладбищенской рощи за Городскими воротами, пастор Келлинг из Мариенкирхе, мужчина крепкого телосложения, с могучей головой и грубоватой манерой выражаться,— речи, восхвалявшей воздержанную, богоугодную жизнь покойного, не в пример жизни некоторых «сластолюбцев, обжор и пьяниц»,— так он и выразился, хотя при этом многие, помнившие благородную скромность недавно умершего старого Вундерлиха, недовольно переглянулись,— словом, после окончания всех церемоний и обрядов, когда не то семьдесят, не то восемьдесят наемных карет уже двинулись обратно в город, Готхольд Будденброк вызвался проводить консула, объяснив это своим желанием переговорить с ним с глазу на глаз. И что же: сидя рядом с братом в высокой, громоздкой и неуклюжей карете и положив одну короткую ногу на другую, Готхольд проявил неожиданную кротость и сговорчивость. Он объявил, что чем дальше, тем больше понимает правоту консула в этом деле и что не хочет помянать лихом покойного отца. Он отказывается от своих притязаний тем охотнее, что решил вообще покончить с коммерцией и, уйдя на покой, жить на свою долю наследства и на то, что ему удалось скопить. Бельевой магазин все равно доставляет ему мало радости и торгует так вяло, что он не рискнет вложить в него дополнительный капитал.

«Господь не взыскует милостью строптивого сына»,— подумал консул, возносясь душою к богу.

И Готхольд, вероятно, подумал то же самое.

По приезде на Менгштрассе консул поднялся с братом в маленькую столовую, где оба они, продрогшие от долгого стояния на весеннем воздухе, выпили по рюмке старого коньяку. Потом Готхольд обменялся с невесткой несколькими учтивыми, пристойными случаю словами, погладил детей по головкам и удалился, а неделю спустя приехал на очередной «детский день» в загородный дом Крегеров. Он уже приступил к ликвидации своего магазина.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Консула очень огорчало, что отцу не суждено было дожить до вступления в дело старшего внука,— события, которое свершилось в том же году, после пасхи.

Томасу было шестнадцать лет, когда он вышел из училища. За последнее время он сильно вырос и после конфирмации, во время которой пастор Келлинг в энергических выражениях призывал его к умеренности, начал одеваться как взрослый, отчего казался еще выше. На шее он носил оставленную ему дедом длинную золотую цепочку, на которой висел медальон с гербом Будденброков — гербом довольно меланхолическим: его неровно заштрихованная поверхность изображала болотистую равнину с одинокой и оголенной ивой на берегу. Старинное фамильное кольцо с изумрудной печаткой, предположительно принадлежавшее еще «жившему в отличном достатке» портному из Ростока, и большая Библия перешли к консулу.

С годами Томас стал так же сильно походить на деда, как Христиан на отца. В особенности напоминали старого Будденброка его круглый характерный подбородок и прямой, тонко очерченный нос. Волосы его, разделенные косым пробором и двумя заливчиками отступавшие от узких висков с сетью голубоватых жилок, были темно-русые; по сравнению с ними ресницы и брови — одну бровь он часто вскидывал кверху — выглядели необычно светлыми, почти бесцветными. Движения Томаса, речь, а также улыбка, открывавшая не слишком хорошие зубы, были спокойны и рассудительны. К будущему своему призванию он относился серьезно и ревностно.

То был в высшей степени торжественный день, когда консул после первого завтрака взял с собой сына в контору, что-

бы представить его г-ну Маркусу — управляющему, г-ну Хаверманну — кассиру и остальным служащим, хотя Том давно уже состоял со всеми ими в самых лучших отношениях; в этот день наследник фирмы впервые сидел на вертящемся стуле у конторки, усердно штемпелюя, разбирая и переписывая бумаги, а под вечер отправился вместе с отцом вниз, к Тра̀ве, в амбары «Липа», «Дуб», «Лев» и «Кит», где он тоже, собственно говоря, давно чувствовал себя как дома, но теперь шел туда представляться в качестве сотрудника.

Он самозабвенно предался делу, подражая молчаливому, упорному рвению отца, который работал не щадя сил и не раз записывал в свой дневник молитвы о ниспослании ему помощи свыше,— ведь консулу надлежало теперь возместить значительный капитал, утраченный фирмой по смерти старика Будденброка, фирма же в их семье была понятием священным.

Однажды вечером в ландшафтной он довольно подробно обрисовал жене истинное положение дел.

Было уже половина двенадцатого, дети и мамзель Юнгман спали в комнатах, выходивших в коридор, ибо третий этаж теперь пустовал, и там лишь время от времени ночевали приезжие гости. Консульша сидела на белой софе, рядом с мужем, который просматривал «Городские ведомости» и курил сигару. Она склонилась над вышиваньем и, чуть-чуть шевеля губами, иголкой подсчитывала стежки. Около нее, на изящном рабочем столике с золотым орнаментом, в канделябре горело шесть свечей; люстру в этот вечер не зажигали.

Иоганн Будденброк, которому давно уже перевалило за сорок, в последнее время заметно состарился. Его маленькие круглые глаза, казалось, еще глубже ушли в орбиты, большой горбатый нос и скулы стали резче выдаваться вперед, а белокурые волосы, разделенные аккуратным пробором, выглядели слегка припудренными на висках. Что же касается консульши, то она на исходе четвертого десятка полностью сохранила свою пусть не безупречно красивую, но блестящую внешность, и даже матовая белизна ее кожи, чуть-чуть тронутой веснушками, не утратила своей природной нежности. Ее рыжеватые, искусно уложенные волосы мерцали золотом в свете канделябров. Отведя на мгновение от работы светло-голубые глаза, она сказала:

— Я прошу тебя подумать, дорогой мой Жан: не следует ли нам нанять лакея?.. По-моему, это очень желательно. Когда я вспоминаю о доме моих родителей...

Консул опустил газету на колени и вынул изо рта сигару;

взгляд его сделался напряженным: ведь речь шла о новых денежных издержках.

— Вот что я тебе скажу, моя дорогая и уважаемая Бетси.— Он прибег к столь длинному обращению, чтобы иметь время придумать достаточно веские возражения.— Ты говоришь, лакея? После смерти родителей мы оставили в доме всех трех служанок, не говоря уж о мамзель Юнгман, и мне думается...

— Ах, Жан, дом такой огромный, что я иногда прихожу в отчаяние. Я, конечно, говорю: «Лина, милочка, в задних комнатах бог знает как давно не вытиралась пыль». Но не могу же я допустить, чтобы люди выбивались из сил; ты не знаешь, сколько они и без того возятся, стараясь хоть эту часть дома содержать в чистоте и порядке... Лакея можно посылать с поручениями, да и вообще... Нам следовало бы взять толкового и непритязательного человека из деревни. Кстати, пока я не забыла: Луиза Меллендорф собирается отпустить своего Антона; я видела, как он умело прислуживает за столом...

— Должен признаться,— сказал консул и с неудовольствием задвигался на софе,— что я никогда об этом не думал. Мы сейчас почти не посещаем общества и сами не даем вечеров...

— Верно, верно, но гости у нас бывают часто, и ты знаешь, что они приходят не ко мне, дорогой мой, хотя я от души им рада. Приезжает к тебе старый клиент из другого города, ты приглашаешь его к обеду,— он еще не успел снять номер в гостинице,— и, само собой разумеется, ночует у нас. Потом приезжает миссионер и гостит у нас дней семь-восемь... Через две недели мы ждем пастора Матиаса из Канштата... Словом, расход на жалованье так незначителен, что...

— Но сколько таких расходов, Бетси! Мы оплачиваем четырех людей в доме, а ты забываешь жалованье конторским служащим.

— Неужели уж нам не под силу держать лакея? — с улыбкой спросила консульша, склонив голову и искоса взглядывая на мужа.— Когда я думаю о количестве прислуги у моих родителей...

— У твоих родителей, милая Бетси? Нет, я все-таки должен спросить: достаточно ли ясно ты себе представляешь, как обстоят наши дела?

— Ты прав, Жан, я не очень-то во всем этом разбираюсь.

— Сейчас я разъясню тебе,— сказал консул. Он уселся поудобнее, закинул ногу на ногу, затянулся сигарой и, слег-

ка прищурившись, начал бойко оглашать цифры: — Без лишних слов: покойный отец до замужества моей сестры имел круглым счетом девятьсот тысяч марок, не считая, разумеется, земельной собственности и стоимости фирмы. Восемьдесят тысяч ушли во Франкфурт в качестве приданого. Сто тысяч были даны Готхольду на обзаведение. Остается, как видишь, семьсот двадцать тысяч. Затем был приобретен этот дом, обошедшийся — помимо суммы, которую мы выручили за наш старый домик на Альфштрассе,— со всеми улучшениями и нововведениями ровно в сто тысяч марок; остается шестьсот двадцать тысяч. Сестре уплатили компенсацию в размере двадцати пяти тысяч,— следовательно, в остатке пятьсот девяносто пять тысяч. Таким капитал и остался бы до смерти отца, если бы все эти расходы не были в течение нескольких лет возмещены прибылью в двести тысяч марок. Следовательно, наше состояние вновь возросло до семисот девяноста пяти тысяч. По смерти отца Готхольду было выплачено еще сто тысяч марок, франкфуртской родне — двести шестьдесят семь тысяч. Если прибавить к этому еще несколько тысяч марок, составившихся из небольших сумм, завещанных отцом больнице Святого духа, купеческой вдовьей кассе и тому подобное, останется четыреста двадцать тысяч, а с твоим приданым на сто тысяч больше. Вот тебе итог. Конечно, без учета известного колебания ценностей. Мы не так уж страшно богаты, дорогая моя Бетси. И вдобавок следует помнить, что наше дело хоть и сократилось, но расходы остались те же; оно так поставлено, что у нас нет возможности их урезать... Ты поняла меня?

Консульша, все еще державшая вышиванье на коленях, кивнула, впрочем, несколько неуверенно.

— Отлично поняла, мой милый Жан,— отвечала она, хотя отнюдь не все было ей понятно. А главное, она не могла взять в толк: почему все эти крупные суммы должны помешать ей нанять лакея?

Сигара консула вновь вспыхнула красным огоньком, он откинул голову, выпустил дым и продолжал:

— Ты полагаешь, что, когда господь призовет к себе твоих родителей, нам достанется довольно солидный капитал? Это верно. Но тем не менее... Мы не вправе легкомысленно на него рассчитывать. Мне известно, что твой отец понес довольно значительные убытки; известно также, что это случилось из-за Юстуса... Юстус превосходный человек, но делец не из сильных, и к тому же ему очень не повезло. При нескольких операциях со старыми клиентами он понес значительный урон,

а результатом уменьшения оборотного капитала явилось вздорожание кредитов, по соглашению с банками, и твоему отцу пришлось вызволять его из беды с помощью довольно крупных сумм. Подобная история может повториться, боюсь даже, что повторится обязательно, ибо — ты уж прости меня, Бетси, за откровенность — то несколько легкое отношение к жизни, которое так симпатично в твоем отце, давно удалившемся от дел, отнюдь не пристало твоему брату, деловому человеку. Ты понимаешь меня... он недостаточно осторожен... Что? Как-то слишком опрометчив и поверхностен... А твои родители — и я этому душевно рад — до поры до времени ничем не поступаются; они ведут барскую жизнь, как им и подобает при их положении.

Консульша снисходительно усмехнулась: она знала предубеждение мужа против барственных замашек ее семьи.

— Так вот,— продолжал он, кладя в пепельницу окурок сигары,— я, со своей стороны, полагаюсь главным образом на то, что господь сохранит мне трудоспособность, дабы я, с его милосердной помощью, мог довести капитал фирмы до прежнего размера... Надеюсь, тебе теперь все стало гораздо яснее, Бетси?

— О да, Жан, конечно! — торопливо отвечала консульша, ибо на этот вечер она уже решила отказаться от разговора о лакее.— Но пора спать, мы сегодня и так засиделись...

Впрочем, несколько дней спустя, когда консул вернулся из конторы к обеду в отличнейшем расположении духа, было решено взять Антона, отпущенного Меллендорфами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Тони мы отдадим в пансион; к мадемуазель Вейхбродт, конечно,— заявил консул Будденброк, и притом так решительно, что никто его не оспаривал.

Как мы уже говорили, Тони и Христиан подавали больше поводов к неудовольствию домашних, нежели Томас, рьяно и успешно вживавшийся в дело, а также быстро подраставшая Клара и бедная Клотильда с ее завидным аппетитом. Что касается Христиана, то ему — и это было еще наименьшее из зол — почти каждый день после уроков приходилось пить кофе у г-на Штенгеля, так что консульша, которой это в конце концов наскучило, послала учителю любезную записочку с просьбой почтить ее посещением. Г-н Штенгель явился на Менгштрассе в своем праздничном парике, в высочайших воротничках, с торчащими из жилетного кармана острыми, как копья,

карандашами, и был приглашен консульшей в ландшафтную. Христиан подслушивал это собеседование из большой столовой. Почтенный педагог красноречиво, хотя и немного конфузясь, изложил хозяйке дома свои взгляды на воспитание, поговорил о существенной разнице между «линьей» и «чертой», упомянул о «Зеленом лесе» и угольном ящике и в продолжение всего визита непрестанно повторял «а стало быть» — словечко, по его мнению, наилучшим образом соответствовавшее аристократической обстановке Будденброков. Минут через пятнадцать явился консул, прогнал Христиана и выразил г-ну Штенгелю свое живейшее сожаление по поводу дурного поведения сына.

— О, помилуйте, господин консул, стоит ли об этом говорить. У гимназиста Будденброка бойкий ум, живой характер. А стало быть... Правда, и много задору, если мне позволено будет это заметить, гм... а стало быть...

Консул учтиво провел г-на Штенгеля по всем комнатам дома, после чего тот откланялся.

Но это все еще с полбеды! Беда же заключалась в том, что на поверхность всплыло новое происшествие. Гимназист Христиан Будденброк однажды получил разрешение посетить вместе с приятелем Городской театр, где в тот вечер давали драму Шиллера «Вильгельм Телль»; роль сына Вильгельма Телля, Вальтера, как на грех, исполняла молодая особа, некая мадемуазель Мейер де ла Гранж, за которой водилось одно странное обыкновение: независимо от того, подходило это к ее роли или нет, она неизменно появлялась на сцене с брошкой, усыпанной бриллиантами, подлинность которых не внушала никаких сомнений, ибо всем было известно, что эти бриллианты — подарок молодого консула Петера Дельмана, сына покойного лесоторговца Дельмана с Первой Вальштрассе у Голштинских ворот. Консул Петер, как, впрочем, и Юстус Крегер, принадлежал к людям, прозывавшимся в городе «suitiers» [1],— то есть вел несколько фривольный образ жизни. Он был женат, имел даже маленькую дочку, но уже давно разъехался с женой и жил на положении холостяка. Состояние, оставленное ему отцом, чье дело он продолжал, было довольно значительно; поговаривали, однако, что он уже начал тратить основной капитал. Большую часть времени консул Дельман проводил в клубе или в погребке под ратушей, где он имел обыкновение завтракать. Чуть ли не каждое утро, часа в четыре, его видели на улицах города; кроме того, он часто

[1] Прожигатели жизни *(франц.)*.

отлучался в Гамбург по делам. Но прежде всего он был страстным театралом, не пропускал ни одного представления и выказывал большой интерес к личному составу труппы. Мадемуазель Мейер де ла Гранж была последней в ряду юных артисток, которых он в знак своего восхищения одаривал бриллиантами.

Но вернемся к нашему рассказу. Упомянутая молодая особа в роли Вальтера Телля выглядела очаровательно (на груди мальчика сверкала неизменная брошка) и играла так трогательно, что у гимназиста Будденброка от волнения выступили слезы на глазах; более того, ее игра подвигла его на поступок, который может быть объяснен только бурным порывом чувства. В антракте он сбегал в цветочный магазин напротив театра и приобрел за одну марку восемь с половиной шиллингов букет, с которым этот четырнадцатилетний ловелас, длинноносый и круглоглазый, проник за кулисы и, поскольку никто его не остановил, дошел до самых дверей уборной мадемуазель Мейер де ла Гранж, возле которых она разговаривала с консулом Дельманом. Консул чуть не умер от смеха, завидев Христиана, приближавшегося с букетом; тем не менее сей новый «suitier», отвесив изысканный поклон Вальтеру Теллю, вручил ему букет и голосом, почти скорбным от полноты чувств, произнес:

— Как вы прекрасно играли, сударыня!

— Нет, вы только полюбуйтесь на этого Кришана Будденброка! — воскликнул консул Дельман, по обыкновению растягивая гласные.

А мадемуазель Мейер де ла Гранж, высоко подняв хорошенькие бровки, спросила:

— Как? Это сын консула Будденброка? — и весьма благосклонно потрепала по щечке своего нового поклонника.

Всю эту историю Петер Дельман в тот же вечер разгласил в клубе, после чего она с невероятной быстротой распространилась по городу и дошла до ушей директора гимназии, который, в свою очередь, сделал ее темой разговора с консулом Будденброком. Как тот отнесся ко всему происшедшему? Он не столько рассердился, сколько был потрясен и подавлен. Рассказывая об этом консульше в ландшафтной, он выглядел вконец разбитым человеком.

— И это наш сын! И так идет его развитие!..

— Боже мой, Жан, твой отец просто бы посмеялся!.. Не забудь рассказать об этом в четверг у моих родителей. Папа будет от души веселиться.

Тут уж консул не выдержал:

— О да, я убежден, что он будет веселиться, Бетси. Он будет радоваться, что его ветреность, его легкомысленные повадки передались не только Юстусу, этому suitier, но и внуку... Черт возьми, ты вынуждаешь меня это высказать! Мой сын отправляется к такой особе, тратит свои карманные деньги на лоретку! Он еще сам не осознает этого, нет, но врожденные наклонности сказываются,— да, да, сказываются...

Что и говорить, пренеприятная вышла история. И консул тем более возмущался, что и Тони, как мы говорили выше, вела себя не вполне благонравно. Правда, с годами она перестала дразнить бледного человека и заставлять его дрыгать ногой, так же как перестала звонить у дверей старой кукольницы, но она откидывала голову с видом все более и более дерзким и все больше и больше, в особенности после летнего пребывания у старых Крегеров, впадала в грех высокомерия и суетности.

Как-то раз консул очень огорчился, застав ее и мамзель Юнгман за чтением «Мимили» Клаурена; он полистал книжку и, ни слова не говоря, раз и навсегда запер ее в шкаф. Вскоре после этого выяснилось, что Тони — Антония Будденброк! — отправилась, без старших, вдвоем с неким гимназистом, приятелем братьев, гулять к Городским воротам. Фрау Штут, та самая, что вращалась в высших кругах, встретила эту парочку и, зайдя к Меллендорфам на предмет покупки старого платья, высказалась о том, что вот-де и мамзель Будденброк входит в возраст, когда... А сенаторша Меллендорф самым веселым тоном пересказала все это консулу. Таким прогулкам был положен конец. Но вскоре обнаружилось, что мадемуазель Тони достает любовные записочки — все от того же гимназиста — из дупла старого дерева у Городских ворот, пользуясь тем, что оно еще не заделано известкой, и, в свою очередь, кладет туда записочки, ему адресованные. Когда все это всплыло на свет божий, стало очевидно, что Тони необходим более строгий надзор, а следовательно — нужно отдать ее в пансион мадемуазель Вейхбродт, Мюлленбринк, дом семь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Тереза Вейхбродт была горбата,— так горбата, что, стоя, едва возвышалась над столом. Ей шел сорок второй год, но она не придавала значения внешности и одевалась, как дама лет под шестьдесят или под семьдесят. На ее седых, туго закрученных буклях сидел чепец с зелеными лентами, спускавши-

мися на узкие, как у ребенка, плечи; ее скромное черное платьице не знало никаких украшений, если не считать большой овальной фарфоровой брошки с портретом матери.

У маленькой мадемуазель Вейхбродт были умные, пронзительные карие глаза, нос с горбинкой и тонкие губы, которые она порою поджимала с видом решительным и суровым. Да и вообще вся ее маленькая фигурка, все ее движения были полны энергии, пусть несколько комичной, но бесспорно внушающей уважение. Этому немало способствовала и ее манера говорить. А говорила она быстро, резко и судорожно двигая нижней челюстью и выразительно покачивая головой, на чистейшем немецком языке, и вдобавок старательно подчеркивая каждую согласную. Гласные же она произносила даже несколько утрированно, так что у нее получалось, к примеру, не «бутерброд», а «ботерброд», или даже «батерброд»; да и свою капризную, брехливую собачонку окликала не «Бобби», а «Бабби». Когда она говорила какой-нибудь из пансионерок: «Не будь же так гл-о-опа, дитя мое», и при этом дважды ударяла по столу согнутым в суставе пальцем, то это неизменно производило впечатление; а когда мадемуазель Попинэ, француженка, клала себе в кофе слишком много сахару, Тереза Вейхбродт, подняв глаза к потолку и побарабанив пальцами по столу, так выразительно произносила: «Я бы уже сразу взе-ела всю сахарницу», что мадемуазель Попинэ заливалась краской.

Ребенком — бог ты мой, до чего же она, вероятно, была мала ребенком! — Тереза Вейхбродт называла себя Зеземи, и это имя за ней сохранилось, ибо самым лучшим и прилежным ученицам, равно живущим в пансионе и приходящим, разрешалось так называть ее.

— Называй меня Зеземи, дитя мое,— в первый же день сказала она Тони Будденброк, запечатлев на ее лбу короткий и звонкий поцелуй.— Мне это приятно!

Старшую сестру Терезы Вейхбродт, мадам Кетельсен, звали Нелли.

Мадам Кетельсен, особа лет сорока восьми, оставшись после смерти мужа без всяких средств, жила у сестры в маленькой верхней комнатке и ела за столом вместе с пансионерками. Одевалась она не лучше Зеземи, но, в противоположность ей, была необыкновенно долговяза; на ее худых руках неизменно красовались напульсники. Не будучи учительницей, она не имела понятия о строгости, и все существо ее, казалось, было соткано из кроткой и тихой жизнерадостности. Если какой-нибудь из воспитанниц случалось напроказить, она разра-

жалась веселым, от избытка добродушия почти жалобным смехом и смеялась до тех пор, покуда Зеземи, выразительно стукнув по столу, не восклицала: «Нелли!» — что звучало как «Налли».

Мадам Кетельсен беспрекословно повиновалась младшей сестре и позволяла ей распекать себя, как ребенка, Зеземи же относилась к ней с нескрываемым презрением. Тереза Вейхбродт была начитанной, чтобы не сказать ученой девицей; ей пришлось приложить немало усилий, дабы сохранить свою детскую веру, свое бодрое, твердое убеждение, что на том свете ей воздастся сторицей за ее трудную и серую земную жизнь. Мадам Кетельсен, напротив, была невежественна, неискушенна и простодушна.

— Добрейшая Нелли,— говаривала Зеземи,— бог мой, да она совершенный ребенок! Ни разу в жизни ею не овладевало сомнение, никогда она не ведала борьбы, счастливица...

В этих словах заключалось столько же пренебрежения, сколько и зависти,— кстати сказать, чувство зависти было дурным, хотя и простительным свойством характера Зеземи.

Во втором этаже красного кирпичного домика, расположенного в предместье города и окруженного заботливо выращенным садом, помещались классные комнаты и столовая; верхний этаж, а также мансарда были отведены под спальни. Воспитанниц у мадемуазель Вейхбродт было немного; она принимала только девочек-подростков, ибо в ее пансионе имелось лишь три старших класса — для живущих и для приходящих учениц. Зеземи строго следила за тем, чтобы к ней попадали девицы лишь из бесспорно высокопоставленных семейств.

Тони Будденброк, как мы уже говорили, была принята с нежностью; более того — в честь ее поступления Тереза сделала к ужину бишоф — красный сладкий пунш, подававшийся холодным, который она приготовляла с подлинным мастерством. «Еще биш-афа?» — предлагала она, ласково тряся головой. И это звучало так аппетитно, что никто не мог отказаться.

Мадемуазель Вейхбродт, восседая на двух жестких диванных подушках во главе стола, осмотрительно и энергично управляла трапезой. Она старалась как можно прямее держать свое хилое тельце, бдительно постукивала по столу, восклицала: «Налли!», «Бабби!» — и уничтожала взглядом мадемуазель Попинэ, когда та еще только собиралась положить себе на тарелку все желе от холодной телятины. Тони посадили между двумя другими пансионерками: Армгард фон Шиллинг, белокурой и пышной дочерью меклепбургского землевладельца, и Гердой Арнольдсен из Амстердама, выделявшейся своей изящной и

своеобразной красотой: темно-рыжие волосы, близко посаженные карие глаза и прекрасное белое, немного надменное лицо. Напротив нее неумолчно болтала француженка, которую огромные золотые серьги делали похожей на негритянку. На нижнем конце стола, с кислой улыбкой на устах, сидела мисс Браун, сухопарая англичанка, тоже проживавшая у мадемуазель Вейхбродт.

Благодаря бишофу, приготовленному Зеземи, все быстро подружились. Мадемуазель Попинэ сообщила, что прошедшей ночью ее снова душили кошмары. «Ah, quelle horreur!»[1] Она так кричала: «Помогайть! Помогайть! Ворри!» — что все повскакали с постелей. Далее выяснилось, что Герда Арнольдсен играет не на фортепьяно, как другие, а на скрипке и что ее папа — матери Герды не было в живых — обещал подарить ей настоящего Страдивариуса. Тони, как большинство Будденброков и все Крегеры, была немузыкальна. Она даже не различала хоралов, которые играли в Мариенкирхе. О, зато у органа в Nieuwe kerk[2] в Амстердаме поистине vox humana — человеческий голос, и как он великолепно звучит!

Армгард фон Шиллинг рассказывала о коровах у них в имении. Эта девица с первого же взгляда произвела на Тони сильнейшее впечатление,— уже тем, что она была первой дворянкой, с которой ей пришлось соприкоснуться. Именоваться фон Шиллинг — какое счастье! Родители Тони жили в старинном и едва ли не прекраснейшем доме города, дед и бабка были люди с аристократическими повадками,— но звались-то они просто «Будденброки», просто «Крегеры». Дворянство Армгард кружило голову внучке элегантного Иеврехта Крегера, хотя она иной раз втихомолку и подумывала, что это великолепное «фон» гораздо больше подошло бы ей,— ведь Армгард, боже правый, ничуть не ценила этого счастья; она безмятежно заплетала свою толстую косу, смотрела на все добродушными голубыми глазами, растягивала слова на мекленбургский манер и вовсе не думала о своем дворянстве. На Армгард не было ни малейшего налета «аристократизма», она ни капельки на него не претендовала и никакого вкуса к нему не имела. «Аристократизм!» — это словцо крепко засело в головке Тони, и она убежденно применяла его к Герде Арнольдсен.

Герда держалась немного особняком, в ней было что-то чужеземное и чужеродное; она любила, несмотря на неудовольствие Зеземи, несколько вычурно причесывать свои великолеп-

---

[1] Какой ужас! *(франц.)*
[2] Новая церковь *(голл.)*.

ные волосы, и многие считали «ломаньем»,— а это было серьезное осуждение,— ее игру на скрипке. И все же нельзя было не согласиться с Тони, что в Герде и правда «бездна аристократизма»!

Печать этого аристократизма лежала не только на ее не по годам развитой фигуре, но даже на ее привычках, на вещах, ей принадлежащих,— вот, например, парижский туалетный прибор из слоновой кости. Тони сразу сумела оценить его по достоинству, так как в доме Будденброков имелось много подобных, бережно хранимых предметов, вывезенных из Парижа ее родителями или еще дедом с бабкой.

Три молодые девушки быстро вступили в дружеский союз. Все они учились в одном классе и жили в одной — самой просторной — комнате верхнего этажа. Как приятно и весело проводили они время после десяти вечера, когда полагалось расходиться по комнатам! Сколько они болтали, раздеваясь,— правда, вполголоса, так как за стеной мадемуазель Попинэ уже начинали мерещиться воры. Мадемуазель Попинэ спала вместе с маленькой Евой Эверс из Гамбурга, отец которой, любитель искусств и коллекционер, теперь жил в Мюнхене.

Коричневые полосатые шторы в это время были уже спущены, на столе горела низенькая лампа под красным абажуром; чуть слышный запах фиалок и свежего белья наполнял комнату, и девушек охватывало слегка приглушенное настроение усталости, безмятежности и мечтательности.

— Боже мой,— говорила полураздетая Армгард, сидя на краю кровати,— до чего же красноречив доктор Нейман! Он входит в класс, становится у стола и начинает говорить о Расине...

— У него прекрасный высокий лоб,— вставляла Герда, расчесывавшая волосы перед освещенным двумя свечами зеркалом в простенке между окнами.

— Да,— быстро соглашалась Армгард.

— А ты и начала весь разговор, Армгард, только для того, чтобы это услышать. Ты не сводишь с него своих голубых глаз, словно...

— Ты его любишь? — спросила Тони.— Никак не могу развязать ботинок... Пожалуйста, Герда, помоги... Так!.. Ну вот, если ты его любишь, Армгард, выходи за него замуж: право же, это хорошая партия. Он будет преподавать в гимназии...

— Господи, до чего вы обе несносны! Я вовсе не люблю его. И вообще я выйду не за учителя, а за помещика...

— За дворянина? — Тони уронила чулок, который она держала в руке, и в задумчивости уставилась на Армгард.

— Не знаю, но, во всяком случае, у него должно быть большое имение. Ах, я уж и сейчас радуюсь, девочки! Я буду вставать в пять часов утра и приниматься за хозяйство...— Она натянула на себя одеяло и мечтательно вперила взор в потолок.

— Перед ее духовным оком уже пасутся пятьсот коров,— сказала Герда, глядя в зеркало на подругу.

Тони еще не совсем разделась, но уже улеглась, положив руки под голову, и тоже смотрела в потолок.

— А я, конечно, выйду за коммерсанта,— заявила она.— Только у него должно быть очень много денег, чтобы мы могли устроить дом аристократично и на широкую ногу. Это мой долг по отношению к семье и к фирме,— серьезно добавила она.— Вот посмóтрите, так оно и будет.

Герда кончила убирать волосы на ночь и стала чистить свои широкие белые зубы, разглядывая себя в ручное зеркальце в оправе из слоновой кости.

— А я, скорей всего, совсем не выйду замуж,— проговорила она не без труда, так как ей мешал мятный порошок во рту.— Зачем мне это? У меня нет ни малейшего желания! Я уеду в Амстердам, буду играть дуэты с папой, а потом поселюсь у своей замужней сестры.

— О, как скучно будет без тебя! — живо вскричала Тони.— Ужасно скучно! Тебе надо выйти замуж и остаться здесь навсегда... Послушай, выходи за кого-нибудь из моих братьев!..

— За этого, с длинным носом? — Герда зевнула, сопровождая зевок легким пренебрежительным вздохом, и прикрыла рот зеркальцем.

— Можно и за другого, не все ли равно... Господи, как бы вы могли устроиться! Нужно только пригласить Якобса, обойщика Якобса с Фишерштрассе, у него благороднейший вкус. Я бы каждый день ходила к вам в гости...

Но тут раздавался голос мадемуазель Попинэ:

— Ah, voyons, mesdames! Спать! спать, s'il vous plaît![1] Сегодня вечером вы уж все равно не успеете выйти замуж.

Все воскресенья, а также каникулярное время Тони проводила на Менгштрассе или за городом у старых Крегеров. Какое счастье, если в светлое Христово воскресенье выдается хорошая погода, ведь так приятно разыскивать яйца и марципановых

---

[1] Ну-ка, сударыни! Извольте! *(франц.)*

зайчиков в огромном крегеровском саду! А до чего хорошо отдыхать летом у моря — жить в кургаузе, обедать за табльдотом, купаться и ездить на ослике. В годы, когда дела у консула шли хорошо, Будденброки предпринимали путешествия и более дальние. А рождество с подарками, которые получаешь в трех местах — дома, у деда с бабкой и у Зеземи, где в этот вечер бишоф льется рекой!.. Но, что ни говори, всего великолепнее сочельник дома! Консул любит, чтобы этот вечер протекал благоленно, роскошно, подлинно празднично: все семейство торжественно собиралось в ландшафтной, а в ротонде уже толпились прислуга и разный пришлый люд, городская беднота, какие-то старики и старушки,— консул всем пожимал их сизо-красные руки — и за дверью вдруг раздавалось четырехголосное пение, хорал, исполняемый певчими из Мариенкирхе, такой ликующий, что сердце начинало сильнее биться в груди, а из-за высоких белых дверей в это время уже пробивался запах елки. Затем консульша медленно прочитывала из фамильной Библии с непомерно большими буквами главу о рождестве Христовом; когда она кончала, за стенами комнаты снова раздавалось церковное пение, а едва успевало оно отзвучать, как все уже затягивали: «О, елочка! О, елочка!» — и торжественным шествием направлялись в большую столовую со статуями на шпалерах, где, вся в белых лилиях и в дрожащих блестках, ароматная, сверкающая, к потолку вздымалась елка и стол с рождественскими дарами тянулся от окон до самых дверей.

На улице, покрытой смерзшейся снежной пеленой, играли итальянцы-шарманщики, и с рыночной площади доносился гул рождественской ярмарки. В этот вечер все дети, за исключением маленькой Клары, принимали участие в позднем праздничном ужине, происходившем в ротонде, за которым в устрашающем изобилии подавались карпы и фаршированные индейки.

Надо еще добавить, что в течение этих лет Тони Будденброк дважды гостила в мекленбургских имениях. Около месяца она пробыла со своей подругой Армгард в поместье г-на фон Шиллинга, расположенном на берегу залива, напротив Травемюнде. В другой раз поехала с кузиной Клотильдой в имение, где г-н Бернгард Будденброк служил управляющим. Оно называлось «Неблагодатное» и не приносило ни гроша дохода, но летом там жилось очень неплохо.

Так шли годы. Так протекала счастливая юность Тони Будденброк.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В июне месяце, под вечер, часов около пяти, семья консула Будденброка кончала пить кофе в саду перед «порталом», куда консульша распорядилась принести из беседки легкую, изящной работы бамбуковую мебель. Внутри беседки, в побеленной комнатке, где на большом стенном зеркале были нарисованы порхающие птицы, а задние двустворчатые лакированные двери, если приглядеться, оказывались вовсе не дверьми,— даже ручки были просто к ним пририсованы,— воздух слишком накалился.

Консул, его супруга, Тони, Том и Клотильда сидели за круглым столом, на котором поблескивала еще неубранная посуда. Христиан со скорбным выражением лица учил в сторонке вторую речь Цицерона против Катилины. Консул курил сигару, углубившись в чтение «Ведомостей». Консульша, положив на колени вышиванье, с улыбкой следила за маленькой Кларой, которая под присмотром Иды Юнгман искала фиалки, изредка попадавшиеся на зеленом лужку. Тони, подперев голову обеими руками, с увлечением читала «Серапионовых братьев» Гофмана, а Том потихоньку щекотал ей затылок травинкой, чего она благоразумно старалась не замечать. Клотильда, тощая и старообразная, в неизменном ситцевом платье в цветочках, читая рассказ под названием «Слеп, глух, нем — и все же счастлив», время от времени сгребала в кучу бисквитные крошки на скатерти, потом брала их всей пятерней и бережно препровождала в рот.

Небо с недвижно стоявшими на нем редкими белыми облаками мало-помалу начинало бледнеть. Маленький, пестреющий цветами, опрятный сад с клумбами и симметрично проложен-

ными дорожками покоился в лучах предвечернего солнца. Легкий ветерок время от времени доносил запах резеды, окаймлявшей клумбы.

— Ну, Том,— сказал благодушествовавший сегодня консул, вынимая изо рта сигару,— дело относительно ржи с «Ван Хенкдомом и компания», о котором я тебе говорил, видимо, устраивается.

— Сколько он дает? — заинтересовался Томас и перестал мучить Тони.

— Шестьдесят талеров за тонну... Неплохо, а?

— Отлично! — Том сразу оценил выгодность этой сделки.

— Кто так сидит, Тони! Это не comme il faut[1],— заметила консульша; и Тони, не отрывая глаз от книги, сняла один локоть со стола.

— Не беда,— сказал Томас.— Пусть сидит, как хочет, все равно она остается Тони Будденброк. Тильда и Тони бесспорно первые красавицы у нас в семье.

Клотильда была поражена.

— О, бо-оже, Том,— проговорила она.

Удивительно, до чего ей удалось растянуть эти короткие слова.

Тони терпела молча. Том был находчив, и с этим обстоятельством приходилось считаться,— он ведь опять сумеет ответить так, что все расхохочутся и примут его сторону. Она только сердито раздула ноздри и передернула плечами. Но когда консульша заговорила о предстоящем бале у консула Хунеуса и упомянула что-то о новых лакированных башмачках, Тони сняла со стола второй локоть и живо подхватила разговор.

— Вы все болтаете и болтаете,— жалобно воскликнул Христиан,— а у меня адски трудный урок! О, я бы тоже хотел быть коммерсантом!

— Ты каждый день хочешь чего-нибудь другого,— отрезал Том.

Но тут в саду показался Антон с подносом, на котором лежала визитная карточка, и все взоры с любопытством обратились к нему.

— «Грюнлих, агент,— прочитал консул,— из Гамбурга». Весьма приятный человек, наилучшим образом мне рекомендованный; сын пастора. У меня с ним дела, нам надо кое-что обсудить... Ты не возражаешь, Бетси? Антон, проси господина Грюнлиха пожаловать сюда.

---

[1] Не подобает *(франц.)*.

По дорожке, с палкой и шляпой в правой руке, вытянув вперед шею, уже семенил мужчина среднего роста, лет тридцати двух, в зеленовато-желтом ворсистом длиннополом сюртуке и в серых нитяных перчатках. Жидкие белокурые волосы осеняли его розовое, улыбающееся лицо, на котором около носа гнездилась большая бородавка. Подбородок и верхняя губа у него были гладко выбриты, а со щек, на английский манер, свисали длинные бакенбарды золотисто-желтого цвета. Он еще издали, с видом, выражающим нелицеприятную преданность, взмахнул своей большой светло-серой шляпой.

Последний шаг перед столом он сделал нарочито длинный, причем описал верхней частью корпуса такой полукруг, что его поклон мог быть отнесен ко всем сразу.

— Я помешал, я вторгся в недра семьи,— произнес он бархатным голосом.— Здесь все заняты чтением интересных книг, беседой... Прошу прощения!

— Добро пожаловать, уважаемый господин Грюнлих! — отвечал консул. Он поднялся с места, как и оба его сына, и теперь пожимал руку гостю.— Рад случаю приветствовать вас у себя, вне стен конторы. Бетси, господин Грюнлих, наш давнишний клиент... Моя дочь Антония... Клотильда, моя племянница... С Томасом вы уже знакомы... а это мой младший сын, Христиан, гимназист...

После каждого имени г-н Грюнлих отвешивал поклон.

— Смею вас уверить,— продолжал он,— что я не хотел нарушить ваш покой. Я пришел по делу, и если мне позволено будет просить господина консула прогуляться по саду...

Консульша перебила его:

— Вы окажете нам любезность, если, прежде чем приступить к деловым разговорам с моим мужем, побудете немного с нами. Садитесь, прошу вас!

— Премного благодарен,— прочувствованно отвечал г-н Грюнлих. Он опустился на краешек стула, подставленного ему Томасом, положил палку и шляпу на колени, затем уселся поудобнее, пригладил одну из бакенбард и легонько кашлянул, издав звук вроде «хэ-эм». Все это выглядело так, словно он хотел сказать: «Ну, хорошо, это вступление. А что дальше?»

Консульша немедленно начала занимать гостя.

— Вы ведь из Гамбурга, господин Грюнлих? — осведомилась она, слегка склонив голову набок и по-прежнему держа вышиванье на коленях.

— Так точно, сударыня,— подтвердил г-н Грюнлих с новым поклоном.— Проживаю я в Гамбурге, но мне приходится

много времени проводить в разъездах, я человек занятой. А дело мое, надо сказать, очень живое... хэ-эм!

Консульша подняла брови и пошевелила губами. Это должно было означать одобрительное: «Ах, вот как!»

— Неустанная деятельность — первейшая моя потребность,— добавил г-н Грюнлих, полуобернувшись к консулу, и опять кашлянул, заметив взгляд фрейлейн Антонии — холодный, испытующий взгляд, каким девушки мерят незнакомых молодых людей и который, кажется, вот-вот готов изобразить уничижительное презрение.

— У нас есть родные в Гамбурге,— произнесла Тони, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Дюшаны,— пояснил консул,— семейство моей покойной матери.

— О, мне это отлично известно,— поторопился заявить г-н Грюнлих.— Я имел честь быть им представленным. Все члены этой семьи превосходные люди, люди с большим умом и сердцем, хэ-эм! Право, если бы во всех семьях царила такая атмосфера, мир был бы много краше. Тут и вера, и отзывчивость, и подлинное благочестие — короче говоря, мой идеал: истинное христианство. И наряду с этим изящная светскость, благородство манер, подлинный аристократизм. Меня, госпожа консульша, все это просто очаровало!

«Откуда он знает моих родителей? — подумала Тони.— Он говорит именно то, что они хотят услышать...»

Но тут консул заметил:

— Такой идеал, господин Грюнлих, я могу только приветствовать.

Консульша тоже не удержалась и в знак сердечной признательности протянула гостю руку ладонью вверх; браслеты тихонько зазвенели при этом движении.

— Вы будто читаете мои мысли, дорогой господин Грюнлих!

В ответ г-н Грюнлих привстал и поклонился, потом снова сел, погладил бакенбарды и кашлянул, словно желая сказать: «Ну что ж, продолжим!»

Консульша обмолвилась несколькими словами о майских днях сорок второго года, столь страшных для родного города г-на Грюнлиха.

— О да,— согласился он,— этот пожар был страшным бедствием, тяжкой карой. Убытки, по сравнительно точному подсчету, равнялись ста тридцати пяти миллионам. Впрочем, мне лично оставалось только возблагодарить провидение... я ни в

малейшей мере не пострадал. Огонь свирепствовал главным образом в приходах церквей святого Петра и святого Николая... Какой прелестный сад! — перебил он сам себя и, поблагодарив консула, протянувшего ему ящичек с сигарами, продолжал: — В городе редко можно встретить сад таких размеров. И цветник необыкновенно красочный. О, цветы и природа вообще, признаться, моя слабость! А эти маки, в том конце, пожалуй, наилучшее его украшение.

Далее г-н Грюнлих похвалил расположение дома, город, сигару консула и для каждого нашел какое-то любезное слово.

— Разрешите полюбопытствовать, мадемуазель Антония, что за книжка у вас в руках? — с улыбкой спросил он.

Тони почему-то нахмурила брови и отвечала, не глядя на г-на Грюнлиха:

— «Серапионовы братья» Гофмана.

— О, в самом деле? Это писатель весьма выдающийся,— заметил он.— Прошу прощения, я позабыл, как звать вашего младшего сына, госпожа консульша.

— Христиан.

— Прекрасное имя! Мне очень нравятся имена, которые, если можно так сказать,— г-н Грюнлих снова обернулся к хозяину дома,— уже сами по себе свидетельствуют, что носитель их христианин. В вашем семействе, насколько мне известно, из поколения в поколение переходит имя Иоганн. Как при этом не вспомнить о любимом ученике спасителя? Я, например, разрешите заметить,— словоохотливо продолжал он,— зовусь, как и большинство моих предков, Бендикс. Имя это, в сущности, лишь просторечное сокращение от Бенедикта... И вы тоже погружены в чтение, господин Будденброк? Ах, Цицерон! Нелегкая штука речи этого великого римского оратора. «Quousque tandem, Catilina?»[1] Хэ-эм. Да, я тоже еще не совсем позабыл латынь.

Консул сказал:

— В противоположность моему покойному отцу, я никогда не одобрял этого систематического вдалбливанья латыни и греческого в головы молодых людей. Ведь есть так много серьезных, важных предметов, необходимых для подготовки к практической жизни...

— Вы высказываете мое мнение, господин консул,— поторопился вставить г-н Грюнлих,— которое я еще не успел облечь в слова! Это трудное и, по-моему, с точки зрения морали, не слишком полезное чтение. Не говоря уж обо всем прочем, в

[1] «Доколе же, Катилина?» *(лат.)*

этих речах, насколько мне помнится, есть места прямо-таки предосудительные.

Все замолчали, и Тони подумала: «Ну, теперь мой черед», ибо взор г-на Грюнлиха обратился на нее. И правда, настал ее черед. Г-н Грюнлих вдруг подскочил на стуле, сделал короткое, судорожное и тем не менее грациозное движение рукой в сторону консульши и страстным шепотом проговорил:

— Прошу вас, сударыня, обратите внимание! Заклинаю вас, мадемуазель,— здесь голос его зазвучал уже громче,— не двигайтесь! Обратите внимание,— он снова перешел на шепот,— как солнце играет в волосах вашей дочери! В жизни не видывал более прекрасных волос! — во внезапном порыве восторга уже серьезно воскликнул он, ни к кому в отдельности не обращаясь, а как бы взывая к богу или к собственному сердцу.

Консульша благосклонно улыбнулась, а консул сказал:

— Право, не стоит забивать девочке голову комплиментами.

Тони молча нахмурила брови. Через минуту-другую г-н Грюнлих поднялся.

— Не буду дольше мешать вам, сударыня, я и так злоупотребил... Ведь я пришел по делу... но кто бы мог устоять... теперь мне пора... Если я смею просить господина консула...

— Я была бы очень рада,— сказала консульша,— если бы вы на время своего пребывания здесь избрали наш дом своим пристанищем.

Господин Грюнлих на мгновенье онемел от благодарности.

— Я бесконечно признателен, сударыня,— растроганно произнес он наконец.— Но не смею злоупотреблять вашей любезностью. Я снял несколько комнат в гостинице «Город Гамбург».

«Несколько комнат»,— подумала консульша, то есть именно то, что она и должна была подумать, по замыслу г-на Грюнлиха.

— Во всяком случае,— заключила она, еще раз сердечно протягивая ему руку,— я надеюсь, что мы видимся не в последний раз.

Господин Грюнлих поцеловал руку консульши, подождал несколько секунд, не протянет ли ему Тони свою, не дождался, описал полукруг верхней частью туловища, отступил назад, сделав очень длинный шаг, еще раз склонился, широким жестом надел свою серую шляпу, предварительно откинув голову, и удалился вместе с консулом.

— Весьма приятный молодой человек,— объявил консул, когда возвратился к своим и снова подсел к столу.

— А по-моему, он кривляка,— налегая на последнее слово, позволила себе заметить Тони.

— Тони! Господь с тобой! Что за суждение! — возмутилась консульша.— Молодой человек, в такой мере проникнутый христианскими чувствами...

— И вдобавок весьма благовоспитанный и светский! — дополнил консул.— Ты сама не знаешь, что говоришь! — Супруги из взаимной учтивости иногда менялись точкой зрения; это давало им бóльшую уверенность в незыблемости их авторитета.

Христиан наморщил свой длинный нос и сказал:

— До чего же он напыщенно выражается! «Вы заняты беседой!» А мы сидели молча. «Эти маки в конце сада — наилучшее его украшение! Я помешал, я вторгся в недра семьи! Никогда не видывал более прекрасных волос...» — И Христиан до того уморительно передразнил г-на Грюнлиха, что даже консул не удержался от смеха.

— Да, он ужасно кривляется,— снова начала Тони.— И все время говорит о себе! Его «дело живое», он любит природу, он предпочитает какие-то там имена, его зовут Бендикс... Нам-то до этого что, скажите на милость! Что ни слово, то похвальба! — под конец даже злобно выкрикнула она.— Он говорил тебе, мама, и тебе, папа, только то, что вы любите слышать, чтобы втереться к вам в доверие!

— Тут ничего дурного нет, Тони,— строго отвечал консул.— Человек, попав в незнакомое общество, старается показать себя с наилучшей стороны, выбирает слова, желая понравиться,— вполне понятно...

— А по-моему, он приятный человек,— кротко протянула Клотильда, хотя она была единственной, кого г-н Грюнлих не удостоил ни малейшего внимания.

Томас от суждения воздержался.

— Короче говоря,— заключил консул,— он хороший христианин, дельный, энергичный и образованный человек. А тебе, Тони, взрослой восемнадцатилетней девице, с которой он так мило и галантно обошелся, следовало бы быть посдержаннее на язык. У всех у нас есть свои слабости, и — уж извини меня, Тони,— не тебе бросать камень... Том, нам пора за работу!

Тони буркнула: «Золотисто-желтые бакенбарды»,— и нахмурила брови, как хмурила их уже не раз в этот вечер.

— О, как я был огорчен, мадемуазель, что не застал вас,— объявил г-н Грюнлих несколькими днями позднее, встретив на углу Брейтенштрассе и Менгштрассе Тони, возвращавшуюся домой с прогулки.— Я позволил себе нанести визит вашей матушке и очень сетовал, узнав о вашем отсутствии... Но теперь я бесконечно счастлив, что все же встретил вас.

Фрейлейн Будденброк пришлось остановиться, поскольку г-н Грюнлих заговорил с нею; но, полузакрыв внезапно потемневшие глаза, она так и не подняла их выше уровня груди г-на Грюнлиха, и на ее губах появилась та насмешливая и беспощадно жестокая улыбка, которой молодые девушки обычно встречают мужчину, от которого они решили тут же отвернуться. Губы ее шевелились. Что ему ответить? Надо найти слово, которое раз и навсегда оттолкнет, уничтожит этого Бендикса Грюнлиха, внушит ему уважение к ней и в то же самое время больно его ранит.

— Не могу сказать того же о себе,— ответила она, так и не отводя взора от груди г-на Грюнлиха.

Выпустив эту коварную и ядовитую стрелу, она отвернулась, закинула голову и, вся красная от гордого сознания своей находчивости и саркастической язвительности, пошла домой, где ей сообщили, что г-н Грюнлих зван к ним в ближайшее воскресенье отведать телячьего жаркого.

И он явился. Явился в несколько старомодном, но хорошо сшитом широком сюртуке, придававшем ему серьезный и солидный вид, все такой же розовый, улыбающийся, с аккуратно расчесанными на пробор жидкими волосами и пышно взбитыми бакенбардами. Он ел рыбу, запеченную в раковинах, суп жюльен, телячье жаркое с гарниром из картофеля и цветной капусты под бешемелью, мараскиновый пудинг и пумперникели с рокфором, сопровождая каждую перемену блюд похвальным словом, не лишенным даже некоторого изящества. Так, например, вооружась десертной ложкой, он отставлял руку, вперял взор в одну из статуй на шпалерах и, как бы ни к кому не обращаясь, но тем не менее вслух, произносил:

— Видит бог, я в себе не волен: я уже съел изрядный кусок этого пудинга, но он так вкусен, что мне приходится просить у нашей щедрой хозяйки еще кусочек!

При этом он лукаво поглядывал на консульшу. Он беседовал с консулом о делах и о политике, высказывая серьезные и

дельные суждения; болтал с консульшей о театре, о приемах в обществе и о туалетах; у него нашлось приветливое слово для Тома, Христиана, для бедной Клотильды, даже для маленькой Клары и для мамзель Юнгман. Тони молчала, и он не пытался заговаривать с нею, а только время от времени, склонив набок голову, смотрел на нее, и взор его выражал горесть и надежду.

Господин Грюнлих откланялся, оставив по себе впечатление еще более выгодное, чем в свой первый визит.

— Он очень хорошо воспитан,— сказала консульша.

— И к тому же весьма почтенный человек и добрый христианин,— подтвердил консул.

Христиан с еще большим совершенством воспроизвел жесты г-на Грюнлиха и его манеру говорить, а Тони, мрачно нахмурив брови, пожелала всем доброй ночи. Ее тяготило смутное предчувствие, что она отнюдь не в последний раз видит этого господина, сумевшего столь быстро покорить сердце ее родителей.

И правда, вернувшись как-то вечером из гостей, она обнаружила, что г-н Грюнлих, удобно расположившись в ландшафтной, читает консульше «Веверлея» Вальтера Скотта,— надо отдать ему справедливость, с отличным произношением, ибо, путешествуя по надобностям своего «живого дела», он частенько, по его словам, бывал и в Англии. Тони уселась в сторонке с другой книгой, и г-н Грюнлих кротко обратился к ней:

— То, что я читаю, вам, видимо, не по вкусу, мадемуазель?

Тони все так же колко и саркастически ответила нечто вроде:

— Да, нимало.

Он не смутился и начал рассказывать о своих безвременно скончавшихся родителях. Отца своего, проповедника и пастора, он охарактеризовал как человека, преисполненного христианских чувств, но в то же время и весьма светского.

Тем не менее г-н Грюнлих вскоре отбыл в Гамбург. Тони не было дома во время его прощального визита.

— Ида,— сказала Тони мамзель Юнгман, поверенной всех ее тайн,— этот человек уехал!

На что Ида ответила:

— Вот посмотришь, деточка, он еще вернется.

Неделю спустя в маленькой столовой разыгралась следующая сцена: Тони спустилась вниз в девять часов утра и была очень удивлена, застав отца еще сидящим за столом вместе с консульшей. Она подставила родителям лоб для поцелуя, уселась на свое место, свежая, проголодавшаяся, с сонными еще

глазами, положила сахар в кофе, намазала маслом хлеб, придвинула к себе зеленый сыр.

— Как хорошо, папа, что я застала тебя! — проговорила она, обертывая салфеткой горячее яйцо и стуча по нему ложечкой.

— Я сегодня решил дождаться нашей сонливицы,— отвечал консул.

Он курил сигару и непрерывно похлопывал по столу свернутой газетой. Консульша неторопливо закончила свой завтрак и грациозно откинулась на спинку стула.

— Тильда уже хлопочет на кухне,— многозначительно продолжал консул,— и я тоже давно принялся бы за работу, если бы нам, твоей матери и мне, не нужно было обсудить с нашей дочкой один серьезный вопрос.

Тони, прожевывая бутерброд, посмотрела на отца и потом перевела взгляд на мать со смешанным чувством испуга и любопытства.

— Поешь сперва, дитя мое,— сказала консульша.

Но Тони, вопреки ее совету, положила нож и воскликнула:

— Только, ради бога, не томи меня, папа!

Консул, по-прежнему хлопая по столу газетой, повторил за женой:

— Ешь, ешь!

Тони в молчанье и уже без всякого аппетита допивала кофе и доедала яйцо и хлеб с сыром,— она начала догадываться, о чем будет речь. Краска сбежала с ее лица, она побледнела, решительно отказалась от меда и тут же тихим голосом объявила, что уже сыта.

— Милое дитя мое,— начал консул после нескольких секунд молчания,— дело, которое мы хотели обсудить с тобой, изложено вот в этом письме.— И он опять хлопнул по столу, но уже не газетой, а большим бледно-голубым конвертом.— Одним словом, господин Бендикс Грюнлих, которого мы все считаем весьма достойным и приятным молодым человеком, пишет мне, что за время своего пребывания здесь он проникся самыми нежными чувствами к моей дочери и теперь официально просит ее руки. Что ты на это скажешь, дитя мое?

Тони, откинувшись на спинку стула и опустив голову, медленно вертела правой рукой серебряное кольцо от салфетки. Внезапно она подняла глаза, потемневшие, полные слез, и сдавленным голосом крикнула:

— Что надо от меня этому человеку? Что я ему сделала? — и разрыдалась.

Консул бросил быстрый взгляд на жену и в замешательстве начал внимательно рассматривать свою уже пустую чашку.

— Дорогая моя,— мягко сказала консульша,— зачем горячиться? Ты ведь не сомневаешься, что родители желают тебе только блага, а потому-то мы и не можем советовать тебе отказаться от того положения в жизни, которое тебе сейчас предлагается. Я охотно верю, что ты не питаешь к господину Грюнлиху каких-либо определенных чувств, но это придет со временем,— смею тебя уверить, придет. Такое юное создание, как ты, не сознает, чего ему, собственно, надо... В голове у тебя такой же сумбур, как и в сердце... Сердцу надо дать время, а тебе следует прислушаться к советам опытных людей, пекущихся только о твоем счастье.

— Да я ровно ничего о нем не знаю,— прервала ее вконец расстроенная Тони и прижала к глазам батистовую салфетку с пятнышками от яиц.— Я знаю только, что у него золотисто-желтые бакенбарды и «живое дело»...— Верхняя ее губка, вздрагивавшая от всхлипываний, производила невыразимо трогательное впечатление.

Консул во внезапном порыве нежности пододвинул свой стул поближе к ней и, улыбаясь, стал гладить ее по волосам.

— Дочурка моя,— проговорил он,— что же тебе и знать о нем? Ты еще дитя, и проживи он здесь не месяц, а целый год, ты бы узнала о нем не больше... Девушка твоих лет не разбирается в жизни и должна полагаться на суждение зрелых людей, которые желают ей добра.

— Я не понимаю... не понимаю...— всхлипывала Тони и, как кошечка, терлась головой о ласкающую ее руку.— Он является сюда... Говорит всем все самое приятное... уезжает... И потом вдруг пишет, что хочет на мне... Почему он такое надумал? Что я ему сделала?

Консул снова улыбнулся.

— То, что ты второй раз говоришь это, Тони, только доказывает, какое ты еще дитя. Но моя дочурка никак не должна думать, что я собираюсь принуждать, мучить ее... Все это можно и должно обдумать и взвесить на досуге, ибо шаг это серьезный. В таком духе я и отвечу пока что господину Грюнлиху, не отклоняя, но и не принимая его предложения. Надо еще о многом поразмыслить... Ну, так? Решено? А теперь папе пора и на работу... До свидания, Бетси.

— До свидания, мой милый Жан.

— Я все-таки рекомендую тебе взять немножко меду, Тони,— сказала консульша, оставшись наедине с дочерью,

которая сидела все так же неподвижно, опустив голову.— Кушать надо как следует.

Мало-помалу глаза Тони высохли. Мысли беспорядочно теснились в ее пылающей голове.

«Господи! Вот так история!» Конечно, она знала, что рано или поздно станет женой коммерсанта, вступит в добропорядочный, выгодный брак, который не посрамит достоинства ее семьи и фирмы Будденброк. Но сейчас-то ведь впервые кто-то по правде, всерьез хочет на ней жениться! Как следует вести себя при такой оказии? Подумать только, что теперь к ней, к Тони Будденброк, относятся все эти до ужаса весомые слова, которые она раньше только читала в книжках: «дала согласие», «просил руки», «до конца дней»... Бог мой! Все это так ново и так внезапно!

— А ты, мама? — проговорила она.— Ты, значит, тоже советуешь мне... дать согласие? — Она на мгновение запнулась, слово «согласие» показалось ей чересчур высокопарным, неудобопроизносимым, но она все же выговорила его, и даже с большим достоинством. Она уже немного стыдилась своей первоначальной растерянности. Брак с г-ном Грюнлихом казался ей теперь не меньшей нелепостью, чем десять минут назад, но сознание важности нового своего положения преисполняло ее гордостью.

Консульша сказала:

— Что я могу советовать, дитя мое? Разве папа тебе советовал? Он только не отговаривал тебя. Ибо с его стороны, да и с моей тоже, это было бы безответственно. Союз, предложенный тебе, милая Тони, в полном смысле то, что называется хорошая партия... У тебя будут все возможности, переехав в Гамбург, зажить там на широкую ногу...

Тони сидела неподвижно. Перед ее внутренним взором промелькнуло нечто вроде шелковых портьер — таких, какие она видела в гостиной у стариков Крегеров... Будет ли она в качестве мадам Грюнлих пить шоколад по утрам? Спрашивать об этом как-то неудобно.

— Как уже сказал отец, у тебя есть время все обдумать,— продолжала консульша.— Но мы должны обратить твое внимание на то, что подобный случай устроить свое счастье представляется не каждый день. Этот брак в точности соответствовал бы тому, что предписывают тебе твой долг и твое предназначение. Да, дитя мое, об этом я обязана тебе напомнить. Путь, который сегодня открылся перед тобой, и есть предначертанный тебе путь. Впрочем, ты это и сама знаешь...

— Да,— задумчиво отвечала Тони.— Конечно.— Она отлично понимала свои обязанности по отношению к семье и к фирме, более того — гордилась ими. Она, Антония Будденброк, перед которой грузчик Маттисен снимал свой шершавый цилиндр, она, дочка консула Будденброка, словно маленькая королева разгуливавшая по городу, назубок знала историю своей семьи.

Уже портной в Ростоке жил в отличном достатке, а с тех пор Будденброки все шли и шли в гору. Ее предназначение состояло в том, чтобы, вступив в выгодный и достойный брак, способствовать блеску семьи и фирмы. Том с этой же целью работал в конторе. Партия, которую ей предлагают, как ни взгляни, весьма подходящая. Но г-н Грюнлих!.. Ей казалось, что она видит, как он семенит ей навстречу, видит его золотисто-желтые бакенбарды, розовое улыбающееся лицо и бородавку около носа. Она ощущала ворсистое сукно его костюма, слышала его вкрадчивый голос.

— Я знала,— заметила консульша,— что благоразумие нам не чуждо... Может быть, мы уже и приняли решение?

— О, боже упаси! — вскричала Тони, вложив в этот возглас свое возмущение.— Какая нелепость — выйти замуж за Грюнлиха! Я все время донимала его колкостями... Непонятно, как он вообще еще меня терпит! Надо же иметь хоть немного самолюбия...

И она принялась намазывать мед на ломтик домашнего хлеба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этом году Будденброки никуда не уехали, даже во время каникул Христиана и Клары. Консул заявил, что его «не пускают дела»; кроме того, неразрешенный вопрос относительно Антонии удерживал все семейство на Менгштрассе. Г-ну Грюнлиху было отправлено в высшей степени дипломатическое послание, написанное консулом; дальнейший ход событий задерживался упорством Тони, проявлявшимся в самых ребяческих формах: «Боже меня упаси, мама»,— говорила она, или: «Да я его попросту не выношу». Последнее слово она произносила, четко скандируя слоги. А не то торжественно заявляла: «Отец (во всех других случаях она звала консула «папа»), я никогда не дам ему своего согласия».

Все бы так и застряло на этой точке, если бы дней через десять, то есть как раз в середине июля, после объяснения

родителей с дочкой в малой столовой, не произошло новое событие.

День уже клонился к вечеру, теплый, ясный день. Консульша куда-то ушла, и Тони с романом в руках в одиночестве сидела у окна ландшафтной, когда Антон подал ей карточку. И прежде чем она успела прочитать имя, стоявшее на ней, в комнату вошел некто в сборчатом сюртуке и гороховых панталонах. Само собой разумеется, это был г-н Грюнлих; лицо его выражало мольбу и нежность.

Тони в ужасе подскочила на стуле и сделала движение, точно намеревалась спастись бегством в большую столовую. Ну как прикажете разговаривать с человеком, который сделал ей предложение? Сердце отчаянно колотилось у нее в груди, лицо покрылось бледностью. Покуда г-н Грюнлих находился вдали, серьезные разговоры с родителями и внезапная значительность, приобретенная ее собственной персоной, которой надлежало принять важное решение, очень занимали Тони. Но вот он опять здесь! Стоит перед ней! Что будет? Она чувствовала, что готова заплакать.

Г-н Грюнлих направлялся к ней, растопырив руки и склонив голову набок, как человек, собирающийся сказать: «Вот я перед тобой! Убей меня, если хочешь!»

— Это судьба! — воскликнул он.— Вы первая, кого я вижу здесь, Антония! — Да, так он и сказал: «Антония!»

Тони застыла с книгой в руках, потом выпятила губки и, сопровождая каждое свое слово кивком головы снизу вверх, в негодовании крикнула:

— Да... как... вы... смеете!

Но слезы уже душили ее.

Господин Грюнлих был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на этот возглас.

— Разве я мог еще дожидаться?.. Разве я не должен был вернуться сюда? — проникновенным голосом спрашивал он.— На прошлой неделе я получил письмо от вашего папеньки — письмо, которое окрылило меня надеждой. Так мог ли я еще дольше пребывать в состоянии неполной уверенности, мадемуазель Антония? Я не выдержал... Вскочил в экипаж и помчался сюда... Я снял несколько комнат в гостинице «Город Гамбург»... Я приехал, Антония, чтобы из ваших уст услышать последнее, решающее слово, которое сделает меня несказанно счастливым!

Тони остолбенела от изумления; слезы высохли у нее на глазах. Так вот чем обернулось дипломатическое послание кон-

сула, которое должно было отложить всякое решение на неопределенный срок! Она пробормотала подряд раза три или четыре:

— Вы ошибаетесь... Вы ошибаетесь!

Господин Грюнлих пододвинул одно из кресел вплотную к ее стулу у окна, уселся, заставил Тони опуститься на место, наклонился и, держа в своих руках ее помертвевшую руку, продолжал взволнованным голосом:

— Мадемуазель Антония... С первого мгновенья, с того самого вечера... Вы помните этот вечер?.. Когда я впервые увидел вас в кругу семьи... ваш облик, такой благородный, такой сказочно прелестный, навек вселился в мое сердце...— Он поправился и сказал: «внедрился».— С того мгновенья, мадемуазель Антония, моим единственным страстным желаньем стало: завладеть вашей прекрасной рукой. Так претворите же в счастливую уверенность ту надежду, которую подало мне письмо вашего папеньки. Правда? Я ведь могу рассчитывать на взаимность?.. Могу быть уверен в ней? — С этими словами он сжал ее руку и заглянул в ее широко раскрытые глаза. Сегодня он явился без перчаток; руки у него были белые, с длинными пальцами и вздутыми синеватыми жилами.

Тони в упор смотрела на его розовое лицо, на бородавку возле носа, на глаза, тускло-голубые, как у гуся.

— Нет, нет,— испуганно и торопливо забормотала она. И добавила: — Я не даю вам согласия!

Она старалась сохранить твердость, но уже плакала.

— Чем заслужил я эти сомнения, эту нерешительность? — спросил он упавшим голосом, почти с упреком.— Вы избалованы нежной заботой, любовным попечением... Но клянусь вам, заверяю вас честным словом мужчины, что я буду вас на руках носить, что, став моей женой, вы ничего не лишитесь, что в Гамбурге вы будете вести достойную вас жизнь...

Тони вскочила, высвободила руку и, заливаясь слезами, в отчаянии крикнула:

— Нет, нет! Я же сказала: нет! Я вам отказала! Боже милостивый, неужто вы этого не понимаете?

Тут уж и г-н Грюнлих поднялся с места. Он отступил на шаг, растопырил руки и произнес решительным тоном человека, оскорбленного в своих лучших чувствах:

— Разрешите заметить вам, мадемуазель Будденброк, что я не могу позволить оскорблять себя подобным образом.

— Но я нисколько не оскорбляю вас, господин Грюнлих,— отвечала Тони, уже раскаиваясь в своей горячности. О, господи, и надо же, чтобы все это случилось именно с ней!

Она не ожидала столь настойчивых домогательств и думала, что достаточно сказать: «Ваше предложение делает мне честь, но я не могу принять его», чтобы разговор более не возобновлялся.

— Ваше предложение делает мне честь,— произнесла она, стараясь казаться спокойной,— но я не могу принять его... А теперь я должна... должна вас оставить. Простите, у меня больше нет времени!

Господин Грюнлих преградил ей дорогу.

— Вы отвергаете меня? — беззвучно спросил он.

— Да,— ответила Тони и из учтивости добавила: — К сожалению.

Тут г-н Грюнлих громко вздохнул, отступил на два шага назад, склонил туловище вбок, ткнул пальцем вниз — в ковер — и вскричал страшным голосом:

— Антония!

Несколько мгновений они так и стояли друг против друга: он в позе гневной и повелительной, Тони бледная, заплаканная, дрожащая, прижав к губам взмокший платочек. Наконец он отвернулся и, заложив руки за спину, дважды прошелся по комнате,— как у себя дома! — затем остановился у окна, вглядываясь в сгущающиеся сумерки.

Тони медленно и осторожно направилась к застекленной двери, но не успела дойти и до середины комнаты, как г-н Грюнлих вновь очутился подле нее.

— Тони,— почти шепотом проговорил он, тихонько дотрагиваясь до ее руки, и опустился, медленно опустился перед ней на колени; его золотисто-желтые бакенбарды коснулись ее ладони.— Тони,— повторил он,— вот до чего вы меня довели!.. Есть у вас сердце в груди, живое, трепетное сердце? Тогда выслушайте меня... Перед вами человек, обреченный на гибель! Человек, который будет уничтожен, если... человек, который умрет от горя,— вдруг спохватился он,— если вы отвергнете его любовь! Я у ваших ног... Достанет ли у вас духа сказать: вы мне отвратительны?

— Нет, нет!

Тони неожиданно заговорила успокаивающим голосом. Она уже не плакала больше, чувство растроганности и сострадания охватило ее. Бог мой, как же он ее любит, если эта история, на которую она смотрела равнодушно, даже как-то со стороны, довела его до такого состояния! Возможно ли, что и ей пришлось пережить подобное? В романах Тони читала о таких чувствах. А теперь вот, в жизни, господин в сюртуке стоит

перед ней на коленях и умоляет ее!.. Мысль выйти за него замуж казалась ей нелепой, ибо она находила его смешным... Но в это мгновенье... право же, ничего смешного в нем не было! Его голос, его лицо выражали столь непритворный страх, столь пламенную и отчаянную мольбу.

— Нет, нет! — потрясенная, говорила она, склоняясь над ним.— Вы мне не отвратительны, господин Грюнлих. Как вы могли это подумать! Встаньте, пожалуйста, встаньте!...

— Так вы не казните меня? — спросил он.

И она опять отвечала успокаивающим, почти материнским тоном:

— Нет, нет!

— Вы согласны! — крикнул г-н Грюнлих и вскочил на ноги, но, заметив испуганное движение Тони, снова опустился на колени, боязливо заклиная ее: — Хорошо, хорошо! Не говорите больше ни слова, Антония! Не надо сейчас, не надо... Мы после поговорим... в другой раз... А теперь прощайте... Я еще приду, прощайте!

Он вскочил на ноги, рывком сдернул со стола свою большую серую шляпу, поцеловал руку Тони и выбежал через застекленную дверь.

Тони видела, как он схватил в ротонде свою трость и скрылся в коридоре. Она стояла посреди комнаты, обессиленная, в полном смятении, с мокрым платочком в беспомощно опущенной руке.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Консул Будденброк говорил жене:

— Если бы я мог предположить, что у Тони имеются какие-то тайные причины не соглашаться на этот брак! Но она ребенок, Бетси, она любит развлечения, до упаду танцует на балах, принимает ухаживанья молодых людей отнюдь не без удовольствия, так как знает, что она красива, из хорошей семьи... Может быть, втайне, бессознательно, она ищет чего-то... Но я ведь вижу, что она, как говорится, еще и сама не знает своего сердца... Спроси ее, и она начнет придумывать то одно, то другое... но назвать ей некого. Она дитя, птенец, у нее ветер в голове... Согласись она на его предложение — это будет значить, что ее место в жизни уже определено; у нее будет возможность устроить дом на широкую ногу, а этого ей очень и очень хочется. И не пройдет и нескольких дней, как

она полюбит мужа... Он не красавец... видит бог, совсем не красавец... Но все же весьма представителен, а ведь в конце концов где они, эти овцы о пяти ногах?.. Ты уж прости мне этот купеческий жаргон!.. Если она хочет ждать, пока явится какой-нибудь красавец и вдобавок выгодный жених,— что ж, бог в помощь! Тони Будденброк, конечно, без женихов не останется. Хотя, с другой стороны, есть все-таки риск. Ведь опять-таки, выражаясь купеческим языком, рыбы в море полно, да сеть порой пустая бывает... Вчера утром я имел длительное собеседование с Грюнлихом — он и не думает отступаться. Я смотрел его конторские книги... Он мне их принес. Книги, скажу тебе, Бетси, просто загляденье! Я выразил ему свое живейшее удовольствие! Дело у него хоть и молодое, но идет отлично. Капитал — сто двадцать тысяч талеров. Но это, надо думать, первоначальный: Грюнлих каждый год немало зарабатывает... Дюшаны, которых я запросил, тоже дают о нем самые утешительные сведения. Ничего точного о положении его дел они, правда, не знают, но он ведет жизнь джентльмена, вращается в лучшем обществе, а его предприятие,— им это известно из достоверных источников,— идет очень живо и широко разветвляется... То, что я разузнал у других гамбуржцев, у некоего банкира Кессельмейера, например, тоже вполне меня удовлетворило. Короче говоря, ты и сама понимаешь, Бетси, что я всей душой хочу этого брака, который пойдет на пользу семье и фирме! Но, господи, конечно, мне больно, что девочка попала в такое трудное положение! Ее осаждают со всех сторон, она ходит как в воду опущенная, от нее слова не добьешься. И тем не менее я не могу решиться попросту указать Грюнлиху на дверь... Ведь я уже не раз говорил тебе, Бетси: в последние годы дела наши не очень блестящи. Не то чтобы господь бог отвернулся от нас — нет, честный труд вознаграждается по заслугам. Дела идут потихоньку... увы, очень уж потихоньку. И то лишь потому, что я соблюдаю величайшую осторожность. Со времени смерти отца мы не приумножили капитала или только очень незначительно. Да, времена сейчас не благоприятствуют коммерции. Словом, радости мало. Дочь наша уже взрослая, ей представляется возможность сделать партию, которую все считают выгодной и почтенной. Бог даст, так оно и будет! Ждать другого случая неблагоразумно, Бетси, очень неблагоразумно! Поговори с ней еще разок. Я сегодня всячески старался убедить ее.

Консул был прав, Тони находилась в очень тяжелом положении. Она уже не говорила «нет», но, бедная девочка, не в

силах была выговорить и «да». Она и сама толком не понимала, что заставляет ее еще упорствовать.

Между тем ее то отводил в сторону отец для «серьезного разговора», то мать усаживала рядом с собой, домогаясь от нее окончательного решения. Дядю Готхольда и его семейство в это дело не посвящали, так как те всегда несколько насмешливо относились к родичам с Менгштрассе. Но даже Зеземи Вейхбродт проведала о сватовстве Грюнлиха и, как всегда четко выговаривая слова, подала Тони добрый совет; мамзель Юнгман тоже не преминула заметить: «Тони, деточка, что тебе расстраиваться, ты ведь останешься в высшем кругу». Не было случая, чтобы Тони, заглянув в милую ее сердцу штофную гостиную в доме у Городских ворот, не услышала замечания старой мадам Крегер: «А propos, до меня дошли кое-какие слухи. Надеюсь, что ты будешь вести себя благоразумно, малютка...»

Как-то в воскресенье, когда Тони со всем семейством была в Мариенкирхе, пастор Келлинг так страстно и красноречиво толковал библейский текст о том, что жене надлежит оставить отца и матерь своих и прилепиться к мужу, что под конец впал в ярость, уже не подобающую пастырю. Тони в ужасе подняла на него глаза: не смотрит ли он именно на нее?.. Нет, слава богу, его раскормленная физиономия была обращена в другую сторону; он проповедовал, обращаясь ко всей благоговейно внимавшей пастве. И все же было ясно, что это новая атака на нее и каждое его слово относится к ней и ни к кому другому.

— Юная девушка, почти ребенок,— гремел он,— еще не имеющая ни собственной воли, ни самостоятельного разума и все же противящаяся советам родителей, пекущихся о ее благе,— преступна, и господь изрыгнет ее из уст своих...

При этом обороте, любезном сердцу пастора Келлинга, который он выкрикнул с великим воодушевлением, его пронзительный взгляд, сопровожденный устрашающим мановением руки, и впрямь обратился на Тони. Она увидела, как отец, сидевший рядом с нею, слегка поднял руку, словно говоря: «Ну, ну! Потише...» И все же она теперь уже не сомневалась, что пастор Келлинг изрекал все это по наущению ее родителя. Тони сидела вся красная, втянув голову в плечи,— ей чудилось, что весь свет смотрит на нее; в следующее воскресенье она наотрез отказалась идти в церковь.

Она молча и уныло бродила по комнатам, редко смеялась, потеряла аппетит и временами вздыхала нестерпимо жалостно,

словно борясь с какой-то навязчивой мыслью, и, вздохнув, грустно оглядывалась на тех, кто был подле нее. Не сострадать ей было невозможно. Она очень похудела и выглядела уже не такой свеженькой. Кончилось тем, что консул сказал:

— Дольше так продолжаться не может, Бетси! Девочка просто извелась. Ей надо на время уехать, успокоиться, собраться с мыслями. Вот увидишь, в конце концов она одумается. Мне вырваться не удастся, да и лето уже на исходе... Мы все можем спокойно остаться дома. Вчера ко мне случайно зашел старик Шварцкопф из Трáвемюнде; знаешь, Дидрих Шварцкопф, старший лоцман. Я перемолвился с ним несколькими словами, и он с удовольствием согласился на время приютить девочку у себя. Расходы я ему, конечно, возмещу... Там она устроится по-домашнему, будет купаться, дышать морским воздухом и, без сомнения, придет в себя. Том отвезет ее; это самый лучший выход, и не надо откладывать его в долгий ящик.

Тони с радостью согласилась на это предложение. Хотя она почти не видела г-на Грюнлиха, но знала, что он здесь, ведет переговоры с ее родителями и ждет. Боже мой, ведь он в любой момент может предстать перед ней, поднять крик, умолять ее. В Трáвемюнде, в чужом доме, она, по крайней мере, будет в безопасности. Итак, в последних числах июля Тони торопливо и даже весело упаковала чемодан, уселась вместе с Томом, которого послали сопровождать ее, в величественный крегеровский экипаж, весело распрощалась с домашними и, облегченно вздохнув, покатила за Городские ворота.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Дорога на Трáвемюнде идет прямиком до парома через реку, да и дальше опять никуда не сворачивает. Том и Тони знали ее вдоль и поперек. Серое шоссе быстро мелькало под глухо и равномерно цокающими копытами раскормленных мекленбургских гнедых Лебрехта Крегера; солнце пекло неимоверно, и пыль заволакивала неприхотливый пейзаж. Будденброки, в виде исключения, пообедали в час дня, а ровно в два брат и сестра выехали из дому, рассчитывая к четырем быть на месте,— ибо если наемному экипажу требовалось три часа на эту поездку, то крегеровский кучер Иохен был достаточно самолюбив, чтобы проделать весь путь за два.

Тони, одетая в зеленовато-серое изящное и простое платье, в мечтательной полудремоте кивала головой, затененной большой плоской соломенной шляпой; раскрытый зонтик того же зеленовато-серого цвета с отделкой из кремовых кружев она прислонила к откинутому верху коляски. Словно созданная для катанья в экипаже, она сидела в непринужденной позе, слегка откинувшись на спинку сиденья и грациозно скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой.

Том, уже двадцатилетний молодой человек, в хорошо сидящем серовато-синем костюме, сдвинув со лба соломенную шляпу, курил одну за другой русские папиросы. Он не очень вырос, но усы, более темные, чем волосы и ресницы, за последнее время у него очень распушились. Слегка вскинув, по своей привычке, одну бровь, он вглядывался в клубы пыли и убегающие деревья по обочинам шоссе.

Тони сказала:

— Я еще никогда так не радовалась поездке в Травемюнде, как сейчас... Во-первых, по известным тебе причинам... ты, Том, пожалуйста, не насмешничай; конечно, мне хочется уехать еще на несколько миль подальше от неких золотисто-желтых бакенбард... Но главное — я ведь еду в совсем другое Травемюнде, возле самого моря, к Шварцкопфам... До курортного общества мне никакого дела не будет... Признаться, оно мне порядком наскучило, и меня совсем к нему не тянет... Не говоря уже о том, что этот человек знает там все ходы и выходы. В один прекрасный день он, нимало не церемонясь, мог бы появиться возле меня со своей неизменной улыбкой.

Том бросил папиросу и взял другую из портсигара с искусно инкрустированной крышкой, на которой была изображена тройка и нападающая на нее стая волков,— подарок, полученный консулом от одного русского клиента. Том в последнее время пристрастился к этим тонким и крепким папиросам со светло-палевым мундштуком; он курил их в огромном количестве и усвоил себе скверную привычку втягивать дым глубоко в легкие, а затем, разговаривая, клубами выпускать его.

— Да,— согласился он,— тут ты права, парк в Травемюнде так и кишит гамбуржцами... Консул Фриче, владелец курорта, сам ведь из Гамбурга... Папа говорит, что он делает сейчас крупнейшие обороты. Но если ты не будешь посещать парк, ты упустишь много интересного... Я уверен, что Петер Дельман уже там: в эти месяцы он всегда уезжает из города.

Его дело может ведь идти и само собой — ни шатко ни валко, разумеется. Смешно! Да... По воскресеньям, конечно, будет наезжать и дядя Юстус — подышать воздухом, а главное, поиграть в рулетку... Меллендорфы и Кистенмакеры, надо думать, уже прибыли туда в полном составе. Хагенштремы тоже...

— Еще бы! Без Сары Землингер нигде не обойдется!..

— Кстати, ее зовут Лаурой. Справедливость, друг мой, прежде всего!

— Конечно, и Юльхен с нею... Юльхен решила этим летом обручиться с Августом Меллендорфом и, уж будь покоен, на своем поставит. Тогда они окончательно утвердятся в обществе! Вернись, Том, я просто возмущена! Эти выскочки...

— Да полно тебе!.. Штрунк и Хагенштрем очень выдвинулись в деловом мире, а это главное...

— Ну конечно! Но ни для кого не секрет, как они этого добиваются... Лезут напролом, не соблюдая приличий... Дедушка говорил про Хиприха Хагенштрема: «У него и бык телится»... Да, да, я сама слыхала.

— Так это или не так, но не в этом суть. У кого деньги, тому и почет. А помолвка эта — дело весьма разумное. Юльхен станет мадам Меллендорф, Август получит выгодную должность.

— Ах, ты опять дразнишь меня, Том! Но все равно я презираю этих людей...

Том расхохотался:

— Презирай не презирай, а со счетов их не скинешь, это запомни. Папа недавно сказал: «Будущее принадлежит им», тогда как те же Меллендорфы... Кроме всего прочего, они способные люди, эти Хагенштремы. Герман очень толково работает в деле, а Мориц, несмотря на свою слабую грудь, блестяще окончил школу. Сейчас он изучает право и, говорят, подает большие надежды.

— Пусть будет по-твоему... Но я, Том, по крайней мере, рада, что не всем семьям приходится гнуть спину перед ними и что, например, мы, Будденброки, как-никак...

— Ну, пошла! — сказал Том.— А нам ведь, между прочим, тоже нечем хвастаться. В семье не без урода! — Он взглянул на широкую спину Иохена и понизил голос: — Одному богу известно, что творится в делах у дяди Юстуса. Папа всегда качает головой, когда говорит о нем, а дедушке Крегеру пришлось раза два выручать его довольно крупными суммами... С нашими кузенами тоже не все обстоит как долж-

но. Юрген хочет продолжать ученье, а все никак не сдаст экзамена на аттестат зрелости. Что касается Якоба, то говорят, что у Дальбека в Гамбурге им очень недовольны. Ему вечно не хватает денег, хотя получает он их предостаточно. Если бастует дядя Юстус, то посылает тетя Розалия... Нет, по-моему, нам бросать камень не приходится. А если тебе охота тягаться с Хагенштремами, то изволь, выходи замуж за Грюнлиха!

— Не для того мы с тобой поехали, чтобы разговаривать на эту тему! Да, да, может быть, ты и прав, но сейчас я об этом думать не желаю. Я хочу забыть о нем. Сейчас мы едем к Шварцкопфам. Я ведь их, собственно, совсем не знаю. Приятные они люди?

— О, Дидрих Шварцкопф парень хоть куда,— как он выражается о себе после пятого стакана грога. Он был как-то у нас в конторе, и оттуда мы вместе отправились в морской клуб... Насчет выпивки он не промах. Его отец родился на судне норвежской линии и потом на этой же линии сделался капитаном. Дидрих прошел хорошую школу, старший лоцман — ответственная должность и весьма прилично оплачивается. Он старый морской волк, но с дамами неизменно галантен. Погоди, он еще начнет за тобой ухаживать...

— Вот это мило! А жена?

— Жену его я не знаю; наверно, достойная женщина. У них есть сын. Когда я учился, он тоже был то ли в последнем, то ли в предпоследнем классе. Теперь он, наверно, студент... Смотри-ка, море! Еще какие-нибудь четверть часа...

Они проехали по аллее молодых буков, возле освещенного солнцем моря, тихого и мирного. Затем вдруг вынырнула желтая башня маяка, и глазам их открылась бухта, набережная, красные крыши городка и маленькая гавань с теснящимися на рейде парусниками. Они миновали несколько домов, оставили позади церковь, покатили по Первой линии, вытянувшейся вдоль реки, и остановились у хорошенького маленького домика с увитой виноградом верандой.

Старший лоцман Шварцкопф стоял у двери и, когда экипаж подъехал, снял с головы морскую фуражку. Это был коренастый, плотный мужчина с красным лицом, водянисто-голубыми глазами и колючей седой бородою веером, от уха до уха обрамлявшей его лицо. Его красный рот с толстой и гладко выбритой верхней губой, слегка искривленный, так как он держал в зубах деревянную трубку, хранил выражение достоинства и прямодушия. Под расстегнутым кителем с золо-

тым шитьем сверкал белизною пикейный жилет. Лоцман стоял, широко расставив ноги и слегка выпятив живот.

— Право слово, мадемуазель, я за честь почитаю, что вы к нам пожаловали...— Он бережно высадил Тони из экипажа.— Господину Будденброку мое почтение! Папенька, надеюсь, в добром здравии и госпожа консульша тоже?.. Рад, душевно рад! Милости просим! Жена уже приготовила нам закусочку. Отправляйся-ка на заезжий двор к Педерсену,— сказал он кучеру, вносившему чемодан Тони.— Там уж накормят твоих лошадок! Вы ведь у нас переночуете, господин Будденброк? Как же так нет? Лошадям надо передохнуть, да и все равно вы не успеете засветло вернуться в город.

— О, да тут нисколько не хуже, чем в кургаузе,— объявила Тони четверть часа спустя, когда все уже пили кофе на веранде.— Какой дивный воздух! Даже водорослями пахнет! Я ужасно рада, что приехала в Травемюнде!

Между увитых зеленью столбиков веранды виднелась широкая, поблескивающая на солнце река с лодками и многочисленными причалами; и дальше, на сильно выдавшейся в море Мекленбургской косе,— домик паромщика на так называемом «Привале». Большие чашки с синим ободком, похожие на миски, казались странно неуклюжими по сравнению с изящным старинным фарфором в доме на Менгштрассе, но весь стол, с букетом полевых цветов перед прибором Тони, выглядел очень заманчиво, тем более что голод после путешествия в экипаже уже давал себя знать.

— Мадемуазель надо хорошенько у нас поправиться,— сказала хозяйка.— А то в городе вы уж и с личика спали. Ну, да известно, какой в городе воздух, да еще всякие там балы...

Госпожа Шварцкопф, дочь пастора из Шлутупа, с виду женщина лет пятидесяти, была на голову ниже Тони и довольно тщедушного сложения. Свои еще черные, аккуратно и гладко зачесанные волосы она подбирала в крупно сплетенную сетку. Одета она была в темно-коричневое платье с белым воротничком и такими же манжетами. Опрятная, ласковая и приветливая, она усердно потчевала гостей домашними булочками с изюмом из хлебницы в форме лодки, которая стояла посреди стола в окружении сливок, сахара, масла и сотового меда; края хлебницы были разукрашены бисерной бахромой — работа маленькой Меты. Сама Мета, благонравная восьмилетняя девочка в клетчатом платьице, с белой, как лен, торчащей косичкой, сидела сейчас рядом с матерью.

Госпожа Шварцкопф сокрушалась из-за того, что комната, единственная, которую она могла предоставить гостье, «такая простенькая». Тони уже побывала в ней, переодеваясь после дороги.

— Да нет, она премилая! Из окон видно море, что же может быть лучше? — отвечала Тони, макая в кофе четвертый ломтик булочки с изюмом. Том разговаривал со стариком о «Вуленвевере», который сейчас ремонтировался в городе.

В это время на веранду вошел молодой человек лет двадцати, с книгой под мышкой, он покраснел, быстро сдернул свою серую фетровую шляпу и застенчиво поклонился.

— А, сынок! — сказал лоцман.— Поздновато ты сегодня...— И представил: — Мой сын.— Он назвал какое-то имя, а какое, Тони не разобрала.— Учится на доктора и вот приехал провести у нас каникулы...

— Очень приятно,— произнесла Тони, как ее учили.

Том поднялся и пожал ему руку. Молодой Шварцкопф еще раз поклонился, положил книгу и, снова покраснев, уселся за стол.

Это был на редкость светлый блондин, среднего роста и довольно стройный. Чуть пробивающиеся усы, такие же бесцветные, как и коротко остриженные волосы на слегка удлиненном черепе, оставались почти незаметными, а кожа у него была необыкновенно белая, точно фарфоровая, по малейшему поводу заливавшаяся алой краской. Его глаза, несколько более темные, чем у отца, отличались тем же не столько оживленным, сколько добродушно-испытующим выражением. Черты лица были пропорциональны и довольно приятны. Когда он начал есть, Тони заметила, что у него необыкновенно красивые зубы, ровные и блестящие, как отполированная слоновая кость. Одет он был в серую куртку с накладными карманами, присобранную на спине.

— Прошу извинить меня за опоздание,— сказал он, выговаривая слова несколько тяжеловесно и медлительно.— Я был на взморье, зачитался и вовремя не посмотрел на часы.— Затем он стал молча есть и только иногда испытующе взглядывал на Тома и Тони.

Немного погодя, когда хозяйка опять начала усиленно потчевать Тони, он заметил:

— Сотовый мед вы можете кушать спокойно, фрейлейн Будденброк. Это натуральный продукт... Тут, по крайней мере, известно, что вводишь в организм... Вам надо хорошо питаться, здешний воздух очень изнурителен, он ускоряет обмен ве-

ществ. Если вы не будете хорошо питаться, то потеряете в весе.— У него была наивная и симпатичная манера во время разговора слегка наклонять голову и временами смотреть не на того, к кому он обращался.

Мать с нежностью прислушивалась к тому, что он говорит, и по лицу Тони старалась отгадать, какое впечатление производят на нее его слова. Но тут вмешался старик Шварцкопф:

— Ну, хватит из себя доктора строить, бог с ним, с твоим обменом веществ!.. Мы его и знать не хотим!

Молодой человек в ответ рассмеялся, покраснел и скользнул взглядом по тарелке Тони.

Старший Шварцкопф несколько раз назвал сына по имени. Тони послышалось что-то вроде Моор или Морд,— старик так растягивал слова на нижненемецкий лад, что разобрать было невозможно.

После еды Дидрих Шварцкопф, расстегнув китель так, что снова открылся его белый жилет, и благодушно щурясь на солнце, закурил коротенькую трубку. То же самое сделал его сын, а Том опять принялся за свои папиросы. У обоих молодых людей завязался разговор о былых школьных временах, в котором и Тони приняла оживленное участие. Вспомнили, конечно, и г-на Штенгеля: «Тебе сказано было провести линию, а ты что сделал? Ты провел черту...» Жаль, что не приехал и Христиан, уж он бы сумел это показать в лицах!

Взглянув среди разговора на цветы, стоявшие подле Тони, Том вдруг заметил ей:

— Господин Грюнлих сказал бы: «Они чрезвычайно украшают стол!»

В ответ Тони, покраснев от злости, толкнула его в бок и испуганно показала глазами на молодого Шварцкопфа.

В этот день у Шварцкопфов и кофе пили позднее обыкновенного, и за столом сидели дольше, чем всегда. Было половина седьмого; вдали над «Привалом» уже стали сгущаться сумерки, когда лоцман поднялся с места.

— Прошу прощения,— сказал он.— Мне надо еще побывать в лоцманском доме... Ужинаем мы, с вашего позволения, в восемь часов. Или сегодня позднее, Мета? А ты,— он снова буркнул его имя,— слишком долго не рассиживайся... Пойди да займись своими скелетами... Мадемуазель Будденброк, верно, надобно разобрать вещи... Или, может, наши гости хотят прогуляться к морю? Так ты их не задерживай.

— Помилуй, Дидрих! Да почему же ему и не посидеть здесь? — с ласковым упреком воскликнула г-жа Шварцкопф.— А если молодые люди вздумают прогуляться к морю, так почему ему не пойти с ними? У него ведь каникулы, Дидрих. Неужто же мальчику и гостям-то порадоваться нельзя?..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На следующее утро Тони проснулась в опрятной комнатке с мебелью, обитой веселым ситчиком, и сразу ощутила то радостное возбуждение, которое испытывает человек, открывая глаза на новом месте.

Она села на кровати, обхватила руками колени, тряхнула растрепавшимися волосами и, прищурившись на узкую ослепительную полоску дневного света, пробивавшуюся сквозь закрытые ставни, стала неторопливо припоминать все события вчерашнего дня.

О г-не Грюнлихе она почти позабыла. Город, омерзительная сцена в ландшафтной, настойчивые увещания родителей и пастора Келлинга — все это осталось далеко позади. Здесь она каждое утро будет просыпаться беззаботно... Шварцкопфы на редкость славные люди. Вчера за ужином был апельсиновый крюшон, и все чокнулись за радостное совместное пребывание. Как было весело! Старик Шварцкопф потешал гостей разными морскими историями, а сын рассказывал о Геттингене, где он учится. Странно, она так до сих пор и не узнала его имени! Она внимательно прислушивалась, но за ужином никто его по имени не называл, а спросить, конечно, было неудобно. Тони мучительно раздумывала: «Господи, ну как же его зовут, этого юношу? Моор, Морд?» В общем, он очень понравился ей, этот самый Моор или Морд. Как он добродушно и хитро улыбался, когда, спрашивая воды, вместо слова «вода» называл две какие-то буквы и цифру, чем всякий раз выводил из себя старика Шварцкопфа. Это будто бы была химическая формула воды, но не здешней, потому что здешняя, трáвемюндовская, куда сложней по составу. В ней, того и гляди, можно даже медузу обнаружить. Но у начальства свои собственные представления о пресной воде. Тут он снова получил нагоняй от отца за непочтительность к начальству. Фрау Шварцкопф все время поглядывала на Тони: не отразится ли на ее лице восхищение, а студент и вправду говорил очень интересно — весело и в то же время по-ученому. Кроме того, он всячески

старался оказать ей внимание, этот молодой человек. Она пожаловалась, что во время еды у нее кровь приливает к голове,— наверно, она слишком полнокровна. И что же он на это сказал? Смерил ее испытующим взглядом и объявил, что если кровь приливает к височным артериям, то это еще не значит, что в голове слишком много крови, то есть, вернее, красных кровяных шариков. Не исключено даже, что Тони несколько малокровна.

Кукушка высунулась из резных часов на стене и закуковала высоким, звонким голоском. «Семь, восемь, девять,— отсчитала Тони,— пора вставать!» Она соскочила с кровати и распахнула ставни. Небо было не безоблачно, но солнце светило. За селеньем и башней маяка открывался широкий вид на слегка взволнованное море, справа ограниченное Мекленбургской косой; на всей его необозримой поверхности чередовались зеленые и синие полосы, сливавшиеся вдали с туманным горизонтом.

«Позднее пойду купаться,— решила Тони,— но сначала надо хорошенько позавтракать, чтобы обмен веществ не вовсе изнурил меня...» Она улыбнулась и быстрыми, энергическими движениями стала умываться и совершать свой туалет.

Когда пробило половину десятого, Тони была уже совсем готова. Двери соседней комнаты, в которой ночевал Том, были открыты настежь,— он чуть свет уехал обратно в город. Даже здесь, в верхнем этаже, где помещались только спальни, стоял аромат кофе. Казалось, весь маленький домик насквозь пропитан им; этот запах еще усилился, когда Тони спустилась по лестнице со сплошными деревянными перилами и пошла по светлому коридору мимо гостиной, столовой и рабочей комнаты старшего лоцмана. Свежая и сияющая, в белом пикейном платье, Тони вышла на веранду.

Госпожа Шварцкопф вдвоем с сыном сидели за столом, с которого уже была убрана почти вся посуда. На этот раз поверх коричневого платья она надела синий клетчатый фартук; около ее прибора стояла корзиночка с ключами.

— Вы уж не обессудьте, мадемуазель Будденброк, что мы вас не подождали,— сказала, вставая, г-жа Шварцкопф.— Мы люди простые, поднимаемся рано. С утра хлопот не оберешься... Шварцкопф в конторе. Ну, да ведь мадемуазель не сердится? Правда?

Тони, в свою очередь, извинилась:

— Ради бога, не думайте, что я всегда так долго сплю. Мне очень совестно, но вчерашний крюшон...

Тут хозяйский сын рассмеялся. Он стоял у стола, держа в руке свою деревянную трубку. Перед ним лежала газета.

— Да, это вы во всем виноваты,— сказала Тони.— С добрым утром!.. Вы то и дело чокались со мной. И теперь я не заслуживаю ничего, кроме простывшего кофе. Мне уже давно следовало позавтракать и искупаться...

— Ну, для вас это было бы слишком рано; в семь часов вода еще холодная, всего одиннадцать градусов... После теплой постели она просто обжигает тело...

— А с чего вы взяли, monsieur, что я люблю купаться в теплой воде? — Тони села за стол.— О, вы даже позаботились, чтоб мой кофе не остыл, сударыня! Ну, налью-то уж я сама... Большое спасибо!

Госпожа Шварцкопф хозяйским глазом следила, чтобы гостья хорошенько ела.

— Ну, как спалось мадемуазель на новом месте? Ведь матрас-то у нас набит одной морской травой, мы люди простые!.. А теперь уж позвольте пожелать вам приятного аппетита и хорошего гулянья. Мадемуазель, наверно, встретит на взморье немало знакомых... Если угодно, мой сын вас проводит, мадемуазель. Прошу прощенья, мне больше никак нельзя задерживаться, надобно присмотреть на кухне. У нас сегодня жареная колбаса, вот я и хочу приготовить ее повкуснее...

— Итак, я принимаюсь за сотовый мед,— сказала Тони, когда они остались вдвоем,— «тут, по крайней мере, известно, что вводишь в организм»!

Молодой Шварцкопф встал и положил свою трубочку на перила веранды.

— Курите, пожалуйста! Мне это нисколько не мешает. Дома, когда я сажусь завтракать, комната уже полна дыма от папиной сигары... Скажите-ка,— внезапно спросила она,— правда, что одно яйцо по питательности равно четверти фунта мяса?

Он жарко покраснел.

— Вам угодно потешаться надо мной, фрейлейн Будденброк? — спросил он, не зная, смеяться ему или сердиться.— Мне и так отец вчера вечером задал головомойку за умничанье и важничанье, как он выразился.

— Да ведь я спросила без всякой задней мысли! — Тони от смущенья на миг даже перестала есть.— Важничанье? Бог с вами! Я так хочу что-то узнать... Ведь я же круглая

невежда, честное слово! У Зеземи Вейхбродт я считалась отъявленной лентяйкой. А вы, по-моему, так много знаете...— И подумала про себя: «Важничанье? Человек, попав в незнакомое общество, старается показать себя с наилучшей стороны: выбирает слова, желая поправиться, вполне понятно...»

— Ну да, в известной мере они равноценны,— сказал он, явно польщенный,— поскольку речь идет об определенных питательных веществах.

И они стали болтать — Тони уписывая завтрак, а молодой Шварцкопф продолжая курить свою трубочку — о Зеземи Вейхбродт, о житье-бытье в ее пансионе, о подругах Тони — Герде Арнольдсен, которая теперь вернулась в Амстердам, и об Армгард фон Шиллинг, чей белый дом был виден со здешнего берега,— в ясную погоду, конечно.

Кончив есть и вытерев рот салфеткой, Тони спросила, указывая на газету:

— Есть что-нибудь новенькое?

Молодой Шварцкопф рассмеялся и покачал головой насмешливо и с сожалением.

— Да нет... Что здесь может быть нового? Ведь эти «Городские ведомости» — жалкий листок!

— Да неужели? А папа и мама всегда их выписывают.

— Ну, разумеется,— пробормотал он и залился краской.— Я ведь их тоже читаю, как видите, раз ничего другого нет под рукой. Но, по правде говоря, сообщения вроде того, что оптовый торговец и консул имярек собирается справлять серебряную свадьбу, не так-то уж захватывающе интересны! Да-да! Вы смеетесь?.. А вам следовало бы почитать и другие газеты, например «Гартунгские известия», выходящие в Кенигсберге, или «Рейнскую газету». В них найдется кое-что и поинтереснее! Что бы там ни говорил король прусский...

— А что он говорит?

— Да нет... К сожалению, при даме я этого повторить не могу. — Он снова покраснел.— Одним словом, он весьма немилостиво отозвался об этих газетах,— продолжал он с несколько деланной иронией, на мгновенье неприятно поразившей Тони.— Они, видите ли, недостаточно почтительно пишут о правительстве, о дворянстве, о попах и о юнкерстве... и вдобавок умеют водить за нос цензуру.

— А вы? Вы тоже непочтительно отзываетесь о дворянстве?

— Я? — переспросил он и смешался.

Тони встала.

— Ну, об этом мы поговорим в другой раз. Что, если мне сейчас отправиться на взморье? Смотрите, как прояснилось. Сегодня уж дождя не будет. Ох, как хочется снова окунуться в море! Вы меня проводите?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Она надела свою большую соломенную шляпу и раскрыла зонтик, так как, несмотря на легкий морской ветерок, жара стояла немилосердная. Молодой Шварцкопф, в фетровой шляпе, с книгой под мышкой, шагал рядом и время от времени искоса на нее поглядывал. Пройдя Первую линию, они вошли в пустынный парк; в этот час солнце заливало все его розарии и усыпанные гравием дорожки. Напротив кургауза, кондитерской и двух швейцарских домиков, соединенных между собою каким-то длинным строением, безмолвствовала полускрытая в ельнике раковина для оркестра. Время близилось к полудню, и все еще были на взморье.

Они пересекли детскую площадку со скамейками и большими качелями, обогнули ванное заведение и медленно пошли по направлению к маяку. Солнце так накалило землю, что от нее подымался жгучий, пряный аромат клевера и других трав, и в этом пахучем воздухе с жужжаньем вилась мошкара. Море шумело глухо и однообразно. Где-то вдали на нем вдруг появлялись и опять исчезали белые барашки.

— Что это у вас за книга? — полюбопытствовала Тони.

Молодой человек тотчас же, не глядя, перелистал ее.

— Ах, вам это будет неинтересно, фрейлейн Будденброк! Здесь все про кишки, кровь и болезни. Вот видите, на этой странице рассказывается об отеке легких. При этом заболевании легочные пузырьки наполняются такой водянистой жидкостью... Это очень опасное следствие воспаления легких. Если болезнь принимает дурной оборот, человеку становится невозможно дышать, и он умирает. И обо всем этом здесь говорится совершенно хладнокровно...

— Фу!.. Но, конечно, если хочешь быть доктором... Я похлопочу, чтобы со временем, когда доктор Грабов уйдет на покой, вы сделались у нас домашним врачом. Вот увидите!

— Весьма признателен!.. А можно поинтересоваться, что вы читаете, фрейлейн Будденброк?

— Вы знаете Гофмана? — спросила Тони.

— Этого с капельмейстером и золотым горшком? Что ж,

очень мило. Но это,— как бы вам сказать? — это все же дамское чтение. Мужчины в наши дни должны читать другое.

— Теперь я хочу задать вам один вопрос,— решилась наконец Тони, пройдя еще несколько шагов.— Как, собственно, ваше имя? Мне ни разу не удалось его разобрать, и это даже начало меня сердить. Я все гадаю и гадаю...

— Гадаете, как меня зовут?

— Ну да! Ах, пожалуйста, не смущайте меня! Конечно, это не полагается спрашивать, но меня вдруг разобрало любопытство. Я знаю, что мне в жизни не понадобится ваше имя, но...

— Что ж, меня зовут Мортен,— сказал он и покраснел так, как еще ни разу не краснел до сих пор.

— Мортен... Красивое имя!

— Что ж в нем красивого?

— Ах, боже мой, но ведь красивее же, чем Хинц или Кунц. В вашем имени есть что-то необычное, иностранное...

— У вас романтическая душа, фрейлейн Будденброк! Вы начитались Гофмана... На самом деле все обстоит гораздо проще: мой дед был наполовину норвежец, его звали Мортен, по нему и меня окрестили Мортеном. Вот и все.

Тони, осторожно ступая, пробиралась через камыш, росший вдоль песчаного берега. Отсюда было уже рукой подать до деревянных павильончиков с коническими крышами; между этими павильончиками, ближе к воде, были расставлены плетеные кабинки, вокруг которых нежились на песке целые семейства. Дамы в синих пенсне для защиты глаз от солнца, с книжками из местной библиотеки в руках, мужчины в светлых костюмах, от нечего делать рисующие тросточкой на песке, загорелые дети в больших соломенных шляпах; они возились в песке, рыли канавки, пекли пирожки в деревянных формочках, прокладывали туннели и бегали босиком по воде, пуская кораблики. Справа в море вдавалось деревянное здание купален.

— Сейчас мы наткнемся на меллендорфский павильон,— сказала Тони.— Давайте свернем немного в сторону.

— Охотно, но вы ведь все равно подойдете к ним. А я сяду вон там, на камнях.

— Сидеть с ними я не собираюсь, а поздороваться мне, конечно, придется. Да и то, скажу вам по совести, без всякого удовольствия. Я хочу, чтобы меня хоть здесь оставили в покое...

— В покое?

— Ну да, в покое...

— Знаете, фрейлейн Будденброк, я тоже хочу задать вам

один вопрос... Но не сейчас, а как-нибудь при случае, на досуге. А пока разрешите откланяться. Я буду там, на камнях...

— А вы не хотите, чтобы я представила вас, господин Шварцкопф? — с важностью спросила Тони.

— Ох, нет, нет! — поспешно отказался Мортен.— Очень вам благодарен. Ведь я, знаете, им все равно чужой человек. Я пойду и посижу на камнях.

Мортен свернул вправо, к груде больших камней, омываемых морем, которые громоздились возле купален, а Тони направилась к довольно многолюдной компании, расположившейся вокруг одного из павильонов и состоявшей из семейств Меллендорфов, Хагенштремов, Кистенмакеров и Фритше.

За исключением консула Фритше, владельца курорта, и Петера Дельмана — suitier, здесь были только женщины и дети, так как день был будничный и большинство мужчин находилось в городе. Консул Фритше, пожилой человек с гладко выбритым тонким лицом, стоя в павильоне, наставлял подзорную трубу на виднеющийся вдали парус. Петер Дельман, щеголявший круглой «шкиперской» бородкой, в широкополой соломенной шляпе на голове, болтал с дамами, которые лежали на расстеленных пледах или сидели в маленьких парусиновых креслицах. Среди них была сенаторша Меллендорф, урожденная Лангхальс, в ореоле растрепанных седых волос, небрежно игравшая своей лорнеткой, и г-жа Хагенштрем с дочерью Юльхен, все еще похожей на девочку, но уже, как и ее мать, носившей брильянты в ушах; консульша Кистенмакер с дочерьми и консульша Фритше, морщинистая низенькая дама в чепце, в качестве хозяйки курорта вечно обремененная всевозможными хлопотами. Всегда красная, усталая, она только и думала что о пикниках, детских балах, лотереях и катанье под парусами. Несколько поодаль сидела ее компаньонка и чтица. У самой воды возились дети.

«Кистенмакер и сын» была входившая в моду виноторговая фирма, в последние годы начавшая оттеснять К.-Ф. Кеппена. Оба сына Кистенмакера, Эдуард и Стефан, уже работали в отцовском деле.

Консул Дельман отнюдь не обладал теми изысканными манерами, которые отличали других suitiers,— Юстуса Крегера, например; напротив, он даже похвалялся добродушной грубоватостью и в обществе, особенно дамском, позволял себе очень многое, учитывая свою репутацию шумливого, дерзкого и веселого оригинала. Однажды во время званого обеда у Будденброков, когда задержались с подачей какого-то блюда и

хозяйка уже пришла в замешательство, а праздно сидевшие за столом гости начали испытывать некоторую неловкость, он восстановил общее веселье, крикнув на весь стол своим зычным голосом: «Я уж устал дожидаться, хозяюшка!»

В настоящую минуту он рассказывал своим громким и грубым голосом довольно сомнительные анекдоты, обильно уснащенные нижненемецкими оборотами. Сенаторша Меллендорф, смеясь до слез, то и дело восклицала в изнеможении: «О, боже, господин консул, да замолчите вы хоть на минутку!»

Тони Будденброк была холодно встречена Хагенштремами и, напротив, очень сердечно всей остальной компанией. Даже консул Фритше оставил свое занятие и спустился с лесенки павильона: он не терял надежды, что Будденброки, хотя бы в следующем году, будут вновь способствовать процветанию его курорта.

— Ваш покорный слуга, мадемуазель! — воскликнул консул Дельман, стараясь как можно чище выговаривать слова, так как знал, что мадемуазель Будденброк не очень-то жалует его за распущенные манеры.

Мадемуазель Будденброк!

— И вы здесь?

— Как приятно!

— А давно ли?

— Какой прелестный туалет!

— Где вы остановились?

— У Шварцкопфов?

Как, у старшего лоцмана?

— Оригинальная мысль!

— О да, это необыкновенно оригинально!

— Так вы живете в городе? — переспросил консул Фритше, стараясь ни единым словом не выдать своей досады.

— Надеюсь, вы не откажетесь принять участие в нашем ближайшем празднике? — осведомилась его супруга.

— И надолго вы в Травемюнде? — поинтересовалась другая дама.

— Вам не кажется, моя дорогая, что Будденброки держатся уж слишком аристократично? — шепнула г-жа Хагенштрем сенаторше Меллендорф...

— И вы даже не успели искупаться? — полюбопытствовала третья.— Кто еще из девиц не купался сегодня? Марихен, Юльхен, Луисхен? Ваши подруги, конечно, с удовольствием составят вам компанию, мадемуазель Антония...

Несколько молодых девушек вызвались идти с Тони, и

Петер Дельман не отказал себе в удовольствии прогуляться с ними по нагретому солнцем песку.

— Помнишь, как мы с тобой ходили в школу? — обратилась Тони к Юльхен Хагенштрем.

— Н-да, и ты еще всегда строила из себя злюку,— снисходительно откликнулась Юльхен.

Они шли по узенькому деревянному настилу, ведущему к купальням, и когда поравнялись с камнями, на одном из которых сидел Мортен с книгой в руках, Тони издали быстро-быстро покивала ему головой.

— С кем это ты здороваешься, Тони? — спросила одна из девушек.

— Это молодой Шварцкопф,— отвечала Тони.— Он проводил меня сюда.

— Сын старшего лоцмана? — переспросила Юльхен, и ее блестящие черные глаза так и впились в Мортена, который довольно меланхолично созерцал эту нарядную компанию.

Тони же громким голосом заявила:

— Как жаль, что здесь нет... ну хотя бы Августа Меллендорфа. В будни на взморье, наверно, отчаянная скука.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Так начались для Тони Будденброк эти летние дни, счастливые и быстролетные, каких она еще не знавала в Травемюнде. Ничто больше не угнетало ее, она расцвела, слова и движения ее стали по-прежнему резвы и беззаботны. Консул с удовлетворением смотрел на дочь, когда по воскресным дням приезжал в Травемюнде вместе с Томом и Христианом. В эти дни они обедали за табльдотом, слушали курортный оркестр, сидя за чашкой кофе под тентом кондитерской, смотрели на рулетку в курзале, вокруг которой толпилась веселящаяся публика, как, например, Юстус Крегер и Петер Дельман. Консул никогда не позволял себе играть.

Тони грелась на солнце, купалась, ела приправленную хреном жареную колбасу и совершала дальние прогулки с Мортеном: по прибрежному шоссе в соседнее селенье и к «Храму моря», с высоты которого открывался далекий вид на море и сушу, или в рощицу на пригорке, позади курзала, где висел большой гонг, созывавший гостей к табльдоту. А не то они садились в лодку и переезжали через Траву к «Привалу», где среди камней попадался янтарь.

Мортен был занимательным спутником, хотя все его речи отличались излишней пылкостью и нетерпимостью. По любому вопросу у него было наготове строгое и справедливое суждение, которое он и высказывал с достаточной откровенностью,— правда сильно при этом краснея. Тони огорчалась и бранила его, когда он, неуклюже и гневно взмахнув рукой, объявлял всех дворян жалкими идиотами, но в то же время очень гордилась, что он чистосердечно и доверительно высказывал ей те свои взгляды, которые тщательно скрывал от родителей. Однажды он сказал:

— Ну, в это я вас должен посвятить. У меня в Геттингене есть скелет. Да-да, настоящий скелет, хоть кое-где и скрепленный проволокой; и я на него напялил полицейский мундир... Здорово, правда? Но только, ради бога, ни слова моему отцу.

Разумеется, Тони встречалась временами на взморье или в парке со своими городскими знакомыми, и они увлекали ее на пикник или на прогулку по морю под парусами. В такие дни Мортен «сидел на камнях». Эти камни сразу же стали у них символическим понятием. «Сидеть на камнях» значило: быть в одиночестве и скучать. Когда погода стояла дождливая и серая пелена, куда ни глянь, окутывала море, так что оно сливалось с низко нависшими тучами и песок на взморье становился мокрым, а дороги и вовсе размывало, Тони говорила:

— Сегодня уж нам придется «сидеть на камнях», то есть я хочу сказать — на веранде или в гостиной. И единственное, что мне остается, это слушать ваши студенческие песни, Мортен, хотя они мне ужас как надоели.

— Что ж,— отвечал Мортен,— посидим. Хотя, по правде говоря, когда сидишь с вами, так это уже не камни!..

При отце он, впрочем, от таких заявлений воздерживался, но матери нисколько не стеснялся.

— Так-с, а теперь куда? — спрашивал старший лоцман, когда Тони и Мортен одновременно поднимались из-за стола, торопясь уйти.— Далеко ли собрались, молодые люди?

— Фрейлейн Антония разрешила мне проводить ее к «Храму моря»!

— Вот как, разрешила! А скажи-ка мне, сынок мой, филиус, не лучше бы тебе пойти к себе в комнату и малость подзубрить эти самые... нервные узлы? Пока ты вернешься в Геттинген, ты все перезабудешь...

Тут деликатно вмешивалась г-жа Шварцкопф:

— Но, боже мой, Дидрих, почему бы и мальчику не прогуляться? Пусть идет, ведь у него каникулы! И потом — что ж,

ему так и не иметь никакого удовольствия от общества нашей гостьи?

И они оба уходили. Они шли берегом у самой воды, где насыщенный влагой песок так тверд и гладок, что ходьба по нему нисколько не утомляет, и где в изобилии рассыпаны мелкие белые ракушки, самые обыкновенные, но попадаются и крупные, продолговатые, переливчатые, как опал; а также желтовато-зеленые мокрые водоросли с полыми плодами, которые издают треск, если их раздавишь, и множество медуз — простых, цвета воды, или ядовито-красных и желтых — стоит наступить на такую во время купанья, и тебе обожжет ногу.

— Хотите, я вам расскажу, какой глупышкой я была когда-то,— сказала Тони,— я все старалась добыть из медузы пеструю звезду. Я набирала в носовой платок целую кучу этих тварей, приносила их домой и аккуратненько раскладывала на балконе, когда там было солнце, чтобы они испарялись... ведь звезды-то должны были остаться! Как бы не так!.. Придешь посмотреть, а там только большое мокрое пятно и пахнет прелыми водорослями.

Они шли, и у их ног мерно рокотали грядами набегающие волны, в лицо бил соленый свежий ветер — тот, что мчится из дальних стран вольно и безудержно, звоном наполняет уши, дурманит, вызывает головокружение... Они шли среди необъятной мирной тишины, наполненной равномерным гулом моря, тишины, которая любому шороху, близкому и дальнему, сообщает таинственную значительность.

Слева от них тянулись откосы из желтой глины и гальки, все в расселинах, за внезапными резкими выступами которых скрывались с глаз извивы берега. Почва под ногами становилась все каменистее, и они карабкались наверх, чтобы продолжать путь к «Храму моря» по отлогой тропинке среди кустарника. «Храмом моря» назывался круглый балаган с дощатыми стенами, внутри сплошь испещренными надписями, инициалами, сердечками, стихами... Тони и Мортен усаживались на узкую, грубо сколоченную скамеечку в одной из обращенных к морю загородок, остро пахнувших деревом, как и кабины купален.

В предвечерние часы здесь, наверху, стояла торжественная тишина. Только птицы перекликались между собой да шелест деревьев сливался с негромким рокотом простертого далеко внизу моря, где виднелись мачты какого-то судна. Укрывшись наконец от ветра, так долго свистевшего у них в ушах, Тони

и Мортен вдруг ощутили тишину, настраивавшую на задумчивый лад.

Тони спросила:

— Это судно приближается или уходит?

— Что? — отозвался Мортен своим низким голосом. И, словно очнувшись от забытья, торопливо пояснил: — Уходит. Это «Бургомистр Стенбок», оно идет в Россию... Вот уж куда меня не тянет,— добавил он, помолчав.— Там все обстоит еще хуже, чем у нас.

— Так,— сказала Тони,— сейчас начнется поношение дворянства, я вижу это по вашему лицу, Мортен. Право же, это некрасиво. Знавали вы хоть одного дворянина?

— Нет,— чуть ли не с возмущением крикнул Мортен,— бог миловал!

— Вот видите! А я знавала! Правда, девушку — Армгард фон Шиллинг, вон оттуда; да я уж вам рассказывала о ней. Она была добрее, чем вы и чем я, нисколько не кичилась своим «фон», ела итальянскую колбасу и вечно говорила о коровах...

— Бесспорно, исключения встречаются, фрейлейн Тони,— охотно согласился Мортен.— Но послушайте, вы барышня и смотрите на все с сугубо личной точки зрения. Вы знакомы с каким-то дворянином и объявляете: да он же превосходный человек! Но для того чтобы осуждать их всех вкупе, не надо знать ни одного! Поймите, что здесь дело в принципе, в социальном устройстве... Как? Кому-то достаточно родиться на свет, чтобы уже стать избранным, почитаемым, иметь право с презрением смотреть на нас, грешных, ибо все наши заслуги не возведут нас на его высоту!

Мортен говорил с возмущением, наивным и добродушным; он даже попытался выразительно жестикулировать, но, убедившись, что это получается у него довольно неуклюже, оставил свою попытку. Однако он не замолчал. Сегодня он молчать не мог. Он сидел, наклонившись вперед, засунув большой палец между пуговицами куртки, и старался придать задорное выражение своим добрым глазам.

— Мы, бюргеры, так называемое третье сословие, хотим, чтобы существовала только аристократия заслуги, мы больше не признаем тунеядствующего дворянства, отрицаем современную сословную иерархию... Мы хотим свободы и равенства, хотим, чтобы ни один человек не подчинялся другому и чтобы все были равны перед законом. Пора покончить с привилегиями и произволом! Все должны стать равноправными сынами

государства. И так же как не существует более посредничества между богом и мирянином, так и гражданин должен быть непосредственно связан со своим государством. Мы хотим свободы печати, промыслов, торговли... Хотим, чтобы люди, не зная никаких привилегий, знали бы только свободную конкуренцию и получали награду лишь по заслугам!.. Но мы связаны по рукам и ногам, у нас кляп во рту... Что я хотел сказать?.. Ах да, слушайте же! Четыре года назад были пересмотрены законы Германского союза об университетах и печати. Хороши законы! Они не дозволяют ни в печати, ни с кафедры провозглашать истину, которая может быть истолкована как подрыв существующего строя... Вы понимаете? Правду подавляют, не дают ей вымолвить слова... А почему, спрашивается? В угоду идиотическому, устарелому, прогнившему строю, который — это ясно и ребенку — рано или поздно все равно будет свергнут... Мне кажется, вы не понимаете всей этой подлости! Ведь это насилие, тупое, грубое полицейское насилие, полнейшее непонимание духовных потребностей человека, требований времени... Нет, помимо всего, скажу только... Прусский король совершил величайшую несправедливость! В тринадцатом году, когда французы хозяйничали в нашем отечестве, он ко всем нам обратился и посулил конституцию... Мы пришли, мы освободили Германию...

Тони, которая сидела, подперев рукой подбородок, и искоса наблюдала за ним, на мгновенье даже задумалась: уж не принимал ли он и сам участие в изгнании Наполеона?

— И как вы думаете, исполнил он свое обещание? Как бы не так! Нынешний король — краснобай, мечтатель, романтик... вроде вас, фрейлейн Тони! Заметьте себе одно обстоятельство: стоит философам, поэтам преодолеть и объявить устаревшей какую-нибудь истину или принцип, как король, только что до нее дошедший, объявляет таковую самоновейшей и наилучшей и считает нужным упорно ее держаться... Королевской власти так уж на роду написано. Имейте в виду, что короли не только люди, но еще и посредственные люди, и потому всегда плетутся в хвосте... Ах, с Германией вышло, как с тем студентом, который во времена освободительной войны был молод, смел, страстен, а теперь не более как жалкий филистер...

— Понятно, понятно,— подтвердила Тони.— Пусть так. Но позвольте спросить: вам-то какое до всего этого дело? Вы же не пруссак...

— Ах, не все ли равно, фрейлейн Будденброк! Да, я называю вас по фамилии и делаю это нарочно... Мне следовало бы

даже сказать: мадемуазель Будденброк, в соответствии с вашим сословным положением. Разве у нас больше свободы, равенства, братства, чем в Пруссии? Что там, то и здесь: сословные перегородки, иерархия, аристократия... Вы симпатизируете дворянам? А хотите знать почему? Потому что вы сами аристократка. Да, да! А вы и не знали? Ваш отец — важная персона, а вы так и впрямь принцесса! Целая пропасть отделяет вас от таких, как я, не принадлежащих к избранному кругу правящих семейств. Вы можете, конечно, забавы ради прогуляться с одним из нас на взморье, но вы все равно вернетесь в свой круг избранных и привилегированных, и тогда наш брат... «сиди на камнях».— Его голос звучал до странности взволнованно.

— Вот видите, Мортен,— печально сказала Тони.— Значит, вы все-таки злились, когда сидели там, на камнях! Я же хотела вас представить...

— Повторяю, вы барышня и на все смотрите с очень уж личной точки зрения! Я говорю вообще... Я утверждаю, что у нас не больше равенства и братства, чем в Пруссии... Если же говорить о личном,— продолжал он, помолчав и понизив голос, но все так же страстно и взволнованно,— то я имею в виду не столько настоящее, сколько будущее... когда вы, в качестве мадам имярек, с головой уйдете в ваш избранный круг, а мне... мне до конца моих дней останется только «сидеть на камнях».

Он замолчал, и Тони не отвечала ему. Она смотрела в другую сторону, на дощатую стену. Несколько минут в «Храме моря» царило неловкое молчание.

— Вы, наверно, помните,— опять заговорил Мортен,— что я хотел задать вам один вопрос? Говоря откровенно, этот вопрос занимает меня с того самого дня, как вы сюда приехали... Не старайтесь отгадать, вы никакими силами не можете отгадать, что я скажу. Нет, я спрошу вас в другой раз, при случае. Торопиться с этим нечего, да, собственно, это меня вовсе не касается... Я просто так... из любопытства. Нет, сегодня я расскажу вам кое-что совсем другое... Вот смотрите! — С этими словами он извлек из кармана своей куртки узкую полосатую ленточку и с видом победоносным и выжидающим посмотрел Тони прямо в глаза.

— Хорошенькая,— наивно сказала она.— Это что-нибудь значит?

Мортен торжественно отвечал:

— Это значит, что в Геттингене я принадлежу к некоей корпорации... Ну, теперь вы все знаете! У меня есть и фуражка этих же цветов, но, уезжая сюда, я нахлобучил ее на скелет в

полицейском мундире... Здесь мне все равно нельзя было бы в ней показаться. Понимаете? Могу я положиться на вашу скромность? Если отец об этом узнает, беды не миновать...

— Довольно, Мортен, вы же знаете, что на меня-то можно положиться. Но я никак не пойму... Что же — вы в заговоре против дворян? Чего вы, собственно, хотите?

— Мы хотим свободы,— отвечал Мортен.

— Свободы? — переспросила Тони.

— Да, свободы! Поймите — свободы! — повторил он и сделал несколько неопределенный и неловкий, но восторженно-воодушевленный жест — простер руку, потом опустил ее, указывая на море, но не туда, где бухту ограничивала Мекленбургская коса, а дальше, где начиналось открытое море, все в зеленых, синих, желтых, серых полосах, чем дальше, тем больше суживающихся, волнующееся, великолепное, необозримое и где-то, бесконечно далеко, сливающееся с блеклым горизонтом.

Тони взглянула в направлении, на которое указывал Мортен, и в то время как их руки, лежавшие рядом на грубо отесанной деревянной скамье, уже почти соприкоснулись, взгляды их дружно обратились вдаль. Они долго молчали. Море спокойно и мерно рокотало где-то там внизу, и Тони вдруг показалось, что она и Мортен слились воедино в понимании великого, неопределенного, полного упований и страсти слова «свобода».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Как странно, Мортен, у моря невозможно соскучиться. Попробуйте-ка полежать часа три или четыре на спине где-нибудь в другом месте, ничего не делая, без единой мысли в голове...

— Верно, верно... Хотя, знаете, фрейлейн Тони, раньше я все-таки иногда скучал. Но это было с месяц назад...

Пришла осень, впервые подул резкий ветер. По небу торопливо неслись разорванные серые, жиденькие облака... Море, угрюмое, взлохмаченное, было, сколько глаз хватает, покрыто пеной. Высокие грузные валы с неумолимым и устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод, и с грохотом обрушивались на песок.

Сезон кончился. Та часть берега, на которой обычно толпились приезжие, теперь казалась почти вымершей, многие павильоны были уже разобраны, и только кое-где еще стояли пле-

тяные кабинки. Тем не менее Тони и Мортен предпочитали уходить подальше, к желтым глинистым откосам, где волны, ударяясь о «Камень чаек», высоко взметали свою пену. Мортен сгреб в кучу песок и накрепко утрамбовал его за спиной у Тони; она сидела на этом песчаном кресле, скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой, одетая в жакетку из мягкой серой материи, с большими пуговицами; Мортен лежал на боку, обернувшись к ней лицом и подперев рукой подбородок. Над морем время от времени проносилась с хищным криком чайка. Они смотрели на валы, словно поросшие водорослями, которые грозно приближались, чтобы разбиться в прах о торчащую из моря скалу с тем извечным неукротимым шумом, который оглушает человека, лишает его дара речи, убивает в нем чувство времени.

Наконец Мортен зашевелился и, словно заставив себя проснуться, спросил:

— Теперь вы, наверное, уже скоро уедете, фрейлейн Тони?

— Нет... Почему вы думаете? — рассеянно, почти бессознательно отвечала она.

— О, господи! Да ведь сегодня уже десятое сентября... Мои каникулы скоро кончаются... Сколько же это еще может продолжаться? Вы, верно, уже радуетесь началу сезона? Ведь вы любите танцевать с галантными кавалерами, правда? Ах, бог мой, я совсем не то хотел спросить. Ответьте мне на другой вопрос.— Набираясь храбрости, он стал усиленно теребить подбородок.— Я уже давно откладываю... вы знаете что? Так вот! Кто такой господин Грюнлих?

Тони вздрогнула, в упор взглянула на Мортена, и в ее глазах появилось отсутствующее выражение, как у человека, которому вдруг вспомнился какой-то давний сон. Но так же мгновенно в ней ожило чувство, испытанное ею после сватовства г-на Грюнлиха,— сознание собственной значительности.

— Так вы это хотели узнать, Мортен? — серьезно спросила она.— Что ж, я вам отвечу. Поверьте, мне было очень неприятно, что Томас упомянул его имя при первом же нашем знакомстве. Но раз вы его уже слышали... Словом, господин Грюнлих, Бендикс Грюнлих,— это клиент моего отца, зажиточный коммерсант из Гамбурга. Он... просил моей руки... Да нет! — торопливо воскликнула она, как бы в ответ на движение Мортена.— Я ему отказала. Я не могла решиться навеки связать с ним свою жизнь.

— А почему, собственно, если мне будет позволено задать такой вопрос? — Мортен смешался.

— Почему? О, господи, да потому, что я его терпеть не могу! — воскликнула она, почти негодуя.— Вы бы посмотрели, каков он на вид и как он вел себя! Кроме того, у него золотисто-желтые бакенбарды... Это же противоестественно! Я уверена, что он присыпает их порошком, которым золотят орехи на елку... К тому же он втируша... Он так подъезжал к моим родителям, так бесстыдно подпевал каждому их слову...

— Ну, а что значит...— перебил ее Мортен,— на это вы мне тоже должны ответить: что значит «они чрезвычайно украшают»?

Тони как-то нервно засмеялась.

— У него такая манера говорить, Мортен! Он никогда не скажет: «как это красиво», или: «как это приятно выглядит», а непременно: «чрезвычайно украшает»... Он просто смешон, уверяю вас! Кроме того, он нестерпимо назойлив. Он не отступался от меня, хотя я относилась к нему с нескрываемой иронией. Однажды он устроил мне сцену, причем чуть не плакал... Нет, вы только подумайте: мужчина — и плачет!..

— Он, верно, очень любит вас,— тихо сказал Мортен.

— Но мне-то до этого какое дело? — словно удивляясь, воскликнула Тони и круто повернулась на своем песчаном кресле.

— Вы жестоки, фрейлейн Тони! Вы всегда так жестоки? Скажите, вот вы терпеть не можете этого господина Грюнлиха, но к кому-нибудь другому вы когда-нибудь относились с симпатией? Иногда я думаю: да, да, у нее холодное сердце. И вот еще что я должен вам сказать, и я могу поклясться, что это так: совсем не смешон тот мужчина, который плачет оттого, что вы его знать не хотите, уверяю вас. Я не поручусь, отнюдь не поручусь, что и я тоже... Вы избалованное, изнеженное существо! Неужели вы всегда насмехаетесь над людьми, которые лежат у ваших ног? Неужели у вас и вправду холодное сердце?

Веселое выражение сбежало с лица Тони, ее верхняя губка дрогнула. Она подняла на него глаза, большие, грустные, наполнившиеся слезами, и прошептала:

— Нет, Мортен, не надо так думать обо мне... Не надо!

— Да я и не думаю! — крикнул Мортен со смехом, взволнованным и в то же время ликующим. Перекатившись со спины на живот, он стремительно приблизился к ней, уперся локтями в песок, схватил обеими руками ее руку и стал восторженно и благоговейно смотреть ей в лицо своими серо-голубыми добрыми глазами.— И вы, вы не будете насмехаться надо мной, если я скажу, что...

— Я знаю, Мортен.— Она тихонько перебила его, не сводя глаз со своей руки, медленно пересыпавшей сквозь пальцы тонкий, почти белый песок.

— Вы знаете!.. И вы... фрейлейн Тони...

— Да, Мортен. Я верю в вас. И вы мне очень по душе. Больше, чем кто-либо из всех, кого я знаю.

Он вздрогнул, взмахнул руками — раз, второй, не зная, что ему сделать. Потом вскочил на ноги, снова бросился на песок подле Тони, крикнул голосом сдавленным, дрожащим, внезапно сорвавшимся и вновь зазвеневшим от счастья:

— Ах! Благодарю, благодарю вас! Поймите, я счастлив, как никогда в жизни! — и начал покрывать поцелуями ее руки.

Потом он сказал совсем тихо:

— Скоро вы уедете в город, Тони. А через две недели кончатся мои каникулы, и я вернусь в Геттинген. Но обещайте, что вы будете помнить этот день здесь, на взморье, пока я не вернусь уже доктором и не обращусь к вашему отцу насчет, насчет... нас обоих. Хотя это и будет мне очень трудно. А тем временем вы не станете слушать никаких Грюнлихов. Да? О, это все будет недолго, вот посмотрите! Я буду работать, как... и... Ах, да это совсем нетрудно!

— Да, Мортен, да,— проговорила она блаженно и рассеянно, не отрывая взора от его глаз, губ и рук, держащих ее руки.

Он притянул ее руку еще ближе к своей груди и спросил глухим, умоляющим голосом:

— После того, что вы сказали... можно, можно мне... закрепить...

Она не отвечала, она даже не взглянула на него, только слегка подвинулась в его сторону на своем песчаном кресле. Мортен поцеловал ее в губы долгим, торжественным поцелуем. И оба они, застыдившись свыше меры, стали смотреть в разные стороны.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Дражайшая мадемуазель Будденброк!

Сколько уж времени прошло с тех пор, как нижеподписавшийся не видел вашего прелестного лица? Пусть же эти немногие строчки засвидетельствуют, что сие лицо неотступно стояло перед его духовным оком и что все эти долгие и тоскливые недели он неизменно вспоминал о драгоценных минутах в гостиной вашего родительского дома, где с ваших уст сорвалось обещанье, еще не окончательное, робкое, но все же сулящее

блаженство. Уже много времени прошло с тех пор, как вы удалились от мира, имея целью собраться с мыслями, сосредоточиться, почему я и смею надеяться, что срок искуса уже миновал. Итак, дражайшая мадемуазель, нижеподписавшийся позволяет себе почтительно приложить к письму колечко — залог его неувядаемой нежности. Со всенижайшим приветом, покрывая самыми горячими поцелуями ваши ручки, я остаюсь

вашего высокоблагородия покорнейшим слугой

Грюнлихом».

«Дорогой папа!

Бог ты мой, как я рассердилась! Прилагаемое письмо и кольцо я только что получила от Гр., от волнения у меня даже голова разболелась, и единственное, что я могла придумать,— это немедленно отослать тебе и то и другое. Грюнлих никак не хочет меня понять; того, что он так поэтично называет моим «обещанием», просто никогда не было; и я прошу тебя немедленно растолковать ему, что я теперь еще в тысячу раз меньше, нежели полтора месяца назад, могу помыслить о том, чтобы навеки связать себя с ним, и пусть он наконец оставит меня в покое, ведь он себя же выставляет в смешном свете. Тебе, добрейшему из отцов, я могу признаться, что я дала слово другому человеку, который любит меня и которого я люблю так, что и словами не скажешь! О папа! О своей любви я могла бы исписать целый ворох листов! Я имею в виду г-на Мортена Шварцкопфа, который учится на врача и, как только получит докторскую степень, явится к тебе просить моей руки. Я знаю, что полагается выходить замуж за коммерсанта, но Мортен принадлежит к другому, очень уважаемому разряду людей,— к ученым. Он не богат, а я знаю, какое вы с мамой придаете значение деньгам, но на это, милый папа, как я ни молода, а скажу тебе: жизнь многих научала, что не в богатстве счастье. Тысячу раз целую тебя и остаюсь

твоей покорной дочерью *Антонией.*

P. S. Я сейчас разглядела, что кольцо из низкопробного золота и очень тонкое».

«Моя дорогая Тони!

Письмо твое я получил. В ответ на него сообщаю, что я почел своим долгом, разумеется в подобающей форме, поставить г-на Грюнлиха в известность относительно твоей точки зрения, и результат поистине потряс меня. Ты взрослая девушка, и

сейчас в твоей жизни настала пора, до такой степени серьезная, что я считаю себя вправе напомнить тебе о последствиях, которые может возыметь для тебя необдуманный шаг. От моих слов г-н Грюнлих впал в беспредельное отчаяние и объявил, что если ты будешь упорствовать в своем решении, то он лишит себя жизни, так велика его любовь к тебе. Поскольку я не могу принять всерьез того, что ты пишешь относительно твоей склонности к другому, то прошу тебя умерить свое негодование по поводу присланного тебе кольца и еще раз как следует все взвесить. Мои христианские убеждения, дорогая моя дочь, подсказывают мне, что каждый человек должен уважать чувства другого. И кто знает, не придется ли тебе в свое время держать ответ перед всевышним судией за то, что человек, чьи чувства ты так жестоко и упорно отвергала, совершил великий грех самоубийства. Еще раз напоминаю о том, что я уже не раз тебе говорил, и радуюсь возможности закрепить сказанное мною в письменной форме, ибо если изустная речь и воздействует на собеседника живее и непосредственнее, то начертанное слово имеет другие преимущества: его выбираешь не спеша, не спеша наносишь на бумагу, и вот, запечатленное в той самой форме, в том самом месте, которое выбрал пишущий, оно обретает прочность, может быть не раз перечитано адресатом и потому в состоянии оказывать на последнего длительное, прочное воздействие. Мы, дорогая моя дочь, рождены не для того, что, по близорукости своей, склонны считать нашим маленьким, личным счастьем, ибо мы не свободные, не независимые, вразброд живущие существа, но звенья единой цепи, немыслимые без долгой череды тех, что предшествовали нам, указуя нам путь,— тех, что, в свою очередь, не оглядываясь по сторонам, следовали испытанной и достойной преемственности. Твой путь, думается мне, уже в течение добрых двух месяцев четко обозначен и ясно предопределен, и ты не была бы моей дочерью, не была бы внучкой твоего блаженной памяти деда и вообще достойным членом нашей семьи, если бы вздумала упорствовать в легкомысленном желании идти своим собственным, непроторенным путем. Все это, дорогая моя Антония, я и прошу тебя взвесить в сердце твоем.

Твоя мать, Томас, Христиан, Клара и Клотильда (она довольно долго прогостила у отца в «Неблагодатном»), а также мамзель Юнгман шлют тебе нансердечнейший поклон. Все мы с радостью готовимся вновь заключить тебя в свои объятия.

Горячо любящий тебя *отец*».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дождь лил без передышки. Земля, вода и небо точно смешались воедино. Ветер налетал, злобно подхватывал косые струи дождя и бил ими об окна домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи. Жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах.

Когда вскоре после обеда Мортен Шварцкопф с трубкой в зубах вышел на веранду посмотреть, что делается на небе, перед ним неожиданно вырос господин в длиннополом клетчатом ульстере и серой шляпе. Возле дома стояла наемная коляска с блестящим от дождя поднятым верхом и сплошь облепленными грязью колесами. Мортен в изумлении уставился на розовое лицо незнакомца. Бакенбарды этого господина выглядели так, словно их присыпали порошком, которым золотят орехи для елки.

Господин в ульстере взглянул на Мортена, как не смотрят и на слугу, то есть скользнул по нему невидящим взором, и бархатным голосом спросил:

— Могу я видеть господина старшего лоцмана?

— Ну конечно,— пробормотал Мортен.— Отец, если не ошибаюсь...

При этих словах господин в ульстере пристально взглянул на него мутно-голубыми, как у гуся, глазами.

— Вы господин Мортен Шварцкопф? — осведомился он.

— Да, я,— отвечал Мортен, силясь придать своему лицу выражение спокойствия и уверенности.

— Ах, так. В самом деле...— начал было приезжий, но перебил себя: — Будьте любезны доложить обо мне вашему отцу, молодой человек! Моя фамилия Грюнлих.

Мортен провел г-на Грюнлиха через веранду в коридор, отворил перед ним дверь справа, которая вела в контору старшего лоцмана, и направился в гостиную доложить отцу о посетителе. Г-н Шварцкопф вышел, Мортен же сел возле круглого стола, уперся в него локтями и, не обращая ни малейшего внимания на мать, штопавшую чулки у помутневшего окна, видимо, углубился в «жалкий листок», сообщавший разве что о серебряной свадьбе консула имярек. Тони отдыхала наверху в своей комнате.

Старший лоцман вошел в контору с выражением человека, который очень доволен только что съеденным обедом. Форменный сюртук его был расстегнут, так что виднелся белый жи-

лет, плотно обтягивавший его основательное брюшко. Морская бородка топорщилась вокруг его красного лица. Он проводил языком по зубам, отчего его рот принимал самые причудливые очертания. Поклонился он быстро, рывком, словно говоря: вот, смотрите, как надо кланяться.

— Честь имею,— произнес он.— Чем могу служить?

Господин Грюнлих, в свою очередь, отвесил чинный поклон, причем углы его рта слегка опустились. Потом негромко произнес:

— Хэ-эм!

«Конторой» называлась небольшая комната с побеленными вверху, а внизу обшитыми деревом стенами. Окно, о которое неумолчно барабанил дождь, было завешено насквозь прокуренными гардинами. Справа от двери стоял длинный некрашеный стол, сплошь заваленный бумагами, на стене над ним была приколота большая карта Европы и поменьше — Балтийского моря. Посредине комнаты с потолка свешивалась тщательно сделанная модель судна с поднятыми парусами.

Старший лоцман указал гостю на диван напротив двери, обитый обтрепанной и растрескавшейся черной клеенкой. Сам он удобно уселся в деревянное кресло, тогда как г-н Грюнлих, в наглухо застегнутом ульстере, со шляпой на коленях, присел на самый краешек дивана.

— Повторяю,— сказал он,— моя фамилия Грюнлих, Грюнлих из Гамбурга. Чтобы вам было понятнее, добавлю, что я являюсь постоянным и давнишним клиентом оптового торговца консула Будденброка.

— А ля бонер! Весьма польщен! Не угодно ли вам расположиться поудобнее? Может быть, стаканчик грогу с дороги? Я сейчас прикажу.

— Позволю себе заметить,— спокойно проговорил г-н Грюнлих,— что у меня каждая минута на счету. Мой экипаж ждет, и потому я вынужден просить вас о наикратчайшей беседе.

— К вашим услугам,— повторил г-н Шварцкопф, несколько озадаченный.

Наступила пауза.

— Господин старший лоцман! — начал г-н Грюнлих, решительно мотнув головой и затем горделиво ее вскинув. Он помолчал, видимо для того, чтобы сделать свое обращение более выразительным, и при этом так сжал губы, что его рот стал походить на кошелек, туго стянутый завязками.— Господин старший лоцман...— повторил он и потом вдруг выпалил: —

Дело, приведшее меня сюда, касается одной молодой особы, уже более месяца проживающей у вас в доме.

— Мадемуазель Будденброк? — спросил г-н Шварцкопф.

— Совершенно верно,— почти беззвучно подтвердил г-н Грюнлих и поник головой, в углах рта у него залегли глубокие складки.— Я... вынужден сообщить вам,— продолжал он модулирующим голосом, в то время как его глаза с выражением напряженного внимания быстро перебегали из одного угла комнаты в другой, пока наконец не уставились в окно,— что в недавнем времени я просил руки упомянутой мадемуазель Будденброк, получил безусловное согласие ее родителей и что сама она, хотя формальное обручение еще и не имело места, недвусмысленно обещала мне свою руку...

— Истинный бог? — с живейшим любопытством переспросил г-н Шварцкопф.— А я-то и не знал... Поздравляю, господин Грюнлих! От всего сердца поздравляю! Ну, вам, надо сказать, достается настоящее сокровище, самое что ни на есть...

— Премного обязан,— с подчеркнутой холодностью отвечал г-н Грюнлих.— Должен, однако, заметить, господин старший лоцман,— продолжал он все тем же модулирующим, но уже слегка угрожающим голосом,— что на пути к упомянутому мной брачному союзу совсем недавно возникли препятствия, причину которых будто бы следует искать в вашем доме.— Все это он произнес вопросительным тоном, словно спрашивая: возможно ли, что слух этот правилен?

Единственным ответом г-на Шварцкопфа было то, что он высоко вскинул свои седые брови и обеими руками, загорелыми, волосатыми руками моряка, схватился за подлокотники кресла.

— Да, так я слышал,— уверенным, хотя грустным тоном продолжал г-н Грюнлих.— До меня дошли слухи, что ваш сын, студент медицинского факультета, позволил себе... пусть без заранее обдуманного намерения... посягнуть на мои права и воспользовался пребыванием мадемуазель Будденброк в вашем доме, чтобы выманить у нее известные обещания...

— Что? — крикнул старший лоцман и, изо всей силы упершись ладонями в подлокотники, мгновенно вскочил на ноги.— Ну, это я сейчас... Ну, этого я им...— Он в два шага очутился у двери, рванул ее и голосом, который мог бы заглушить рев бури, закричал: — Мета! Мортен! Идите сюда! Оба идите!

— Весьма сожалею, господин старший лоцман,— проговорил г-н Грюнлих с тонкой усмешечкой,— если заявлением

о большей давности своих прав я разрушил ваши отцовские расчеты...

Дидрих Шварцкопф обернулся и уставился ему прямо в лицо своими голубыми, в лучистых морщинках глазами, как бы силясь понять, что он такое говорит.

— Сударь,— произнес он наконец голосом человека, только что глотнувшего не в меру горячего грога,— я простой моряк и ни в каких там тонкостях и деликатностях не разбираюсь. Но ежели вы полагаете... ну, тогда позвольте вам заметить, сударь, что вы на ложном пути и сильно заблуждаетесь насчет моих правил! Я знаю, кто мой сын, и знаю, кто мадемуазель Будденброк, и у меня, сударь, довольно разума, да и гордости тоже, чтобы не заниматься «отцовскими расчетами»... А ну, говорите-ка, отвечайте! Это еще что такое, а? Что мне еще тут приходится выслушивать, ну-те!

Госпожа Шварцкопф с сыном стояли в дверях: первая, ровно ничего не подозревая, оправляла сбившийся передник; Мортен же имел вид закоснелого грешника... При их появлении г-н Грюнлих даже не пошевелился: сидя на самом краешке дивана в своем наглухо застегнутом ульстере, он сохранял все то же величавое спокойствие.

— Ты, значит, вел себя, как глупый мальчишка?— крикнул старший лоцман Мортену.

Молодой человек стоял, засунув большой палец между пуговиц своей куртки; взор его был мрачен, от сдерживаемой злобы он даже надул щеки.

— Да, отец,— отвечал он,— фрейлейн Будденброк и я...

— Ну, так я тебе заявляю, что ты дурак, балбес, губошлеп! Завтрашний день чтоб духу твоего здесь не было! Изволь с самого утра отправляться в Геттинген. Что это за чепуха такая?! Вздор! Чтоб больше я об этом не слышал.

— О, господи, Дидрих,— воскликнула г-жа Шварцкопф, умоляюще складывая руки,— как же это можно так сгоряча?.. Кто знает...— Она умолкла. Лучшие ее надежды здесь, на ее глазах, рассыпались прахом.

— Угодно вам видеть барышню? — не умеряя своего голоса, спросил старший лоцман г-на Грюнлиха.

— Она у себя в комнате и сейчас спит,— вмешалась г-жа Шварцкопф; она успела привязаться к Тони, и голос ее звучал растроганно.

— Весьма сожалею,— сказал г-н Грюнлих, в глубине души почувствовав облегчение, и поднялся.— Как я уже заявлял, у меня каждая минута на счету, и экипаж ждет. Разрешите,—

продолжал он, взмахнув перед Шварцкопфом своей шляпой сверху вниз,— господин старший лоцман, выразить вам мое полное удовлетворение по поводу вашего мужественного и решительного поведения. Честь имею!

Дидрих Шварцкопф и не подумал подать ему руку, он только мотнул верхней частью своего грузного тела, как бы говоря: «А как же иначе?»

Господин Грюнлих размеренным шагом проследовал к выходу мимо Мортена и его матери.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Томас явился с крегеровским экипажем. Настал день отъезда.

Приехал он утром в десять часов и вместе с Тони и Шварцкопфами позавтракал в столовой. Все опять сидели вместе, как в первый день; только лето уже прошло, и на веранде есть было невозможно из-за холода и ветра, да не было Мортена, уехавшего в Геттинген. Они с Тони даже как следует не простились. Старший лоцман не спускал с них глаз в последнюю минуту.

— Ну так! Стоп! Пора! — сказал он.

В одиннадцать брат и сестра уже сидели в экипаже, к задку которого был привязан внушительный чемодан Тони. Она была бледна и в своей пушистой осенней кофточке дрожала от холода, усталости, волнения, всегда связанного с отъездом, и тоски, которая время от времени ее охватывала, мучительно стесняя ей сердце. Она поцеловала маленькую Мету, пожала руку ее матери и кивнула г-ну Шварцкопфу в ответ на его слова:

— Ну-с, не забывайте нас, сударыня, и не поминайте лихом! Идет?

— Счастливого пути, поклон папеньке и госпоже консульше!

Тут дверца экипажа захлопнулась, раскормленные гнедые тронули, и все трое Шварцкопфов взмахнули платками...

Тони, прижавшись головой к стенке кареты, смотрела в окно. Небо было затянуто белесой пеленой; ветер гнал по Тра́ве мелкую рябь; мелкие капли дождя стучали по окну кареты. В конце Первой линии рыбаки сидели у дверей своих домишек и чинили сети; любопытные босоногие ребятишки сбегались со всех сторон посмотреть на экипаж,— они-то остаются здесь...

Когда последние дома селения были уже позади, Тони подалась вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк, потом отки-

нулась на спинку и закрыла глаза, усталые и сейчас болезненно чувствительные. Она почти не спала ночь от волнения, спозаранку начала укладывать чемодан и ничего не ела за завтраком. Во рту у нее пересохло. Она чувствовала себя до того слабой, что даже не пыталась сдерживать горячие слезы, настойчиво и непрерывно набегавшие ей на глаза.

Стоило ей сомкнуть веки, и она снова была в Трàвемюнде на веранде. Снова видела перед собой Мортена Шварцкопфа — он говорил с ней, как всегда слегка наклонив голову и время от времени пытливо и благодушно взглядывая на кого-нибудь из сидящих за столом; видела, как он смеется, открывая свои великолепные зубы, о красоте которых он и не подозревал,— и на душе у нее становилось покойно и весело. Она вспоминала все, что слышала от него, все, что узнала во время их долгих и частых разговоров, и, давая себе клятву сохранить все это в памяти, как нечто священное и неприкосновенное, испытывала чувство глубокого удовлетворения. То, что король Пруссии совершил несправедливость, то, что «Городские ведомости» — жалкий листок, и то, что четыре года назад были пересмотрены законы Германского союза об университетах,— все это навеки останется для нее прекрасными, утешительными истинами, тайным сокровищем, которым она сможет наслаждаться в любой день и час... Она будет думать об этом на улице, в семейном кругу, за столом... Кто знает? Возможно, что она пойдет по предначертанному ей пути и станет женой г-на Грюнлиха. Какое это имеет значение? Ведь когда он с чем-нибудь обратится к ней, она вдруг возьмет да и подумает: а я знаю что-то, чего ты не знаешь... Ведь в принципе-то дворяне заслуживают только презрения.

Она удовлетворенно улыбнулась и вдруг в стуке колес с полной, поразительной отчетливостью различила говор Мортена; она слышала каждый звук его благодушного, немного тягучего голоса, произносившего: «Сегодня нам, фрейлейн Тони, придется сидеть на камнях...» Это воспоминание переполнило меру. Боль и тоска сдавили грудь Тони, безудержные слезы хлынули из ее глаз... Забившись в угол, обеими руками прижав к лицу платочек, она плакала навзрыд.

Томас, с неизменной папиросой во рту, стал растерянно смотреть на шоссе.

— Бедная моя Тони,— проговорил он наконец и погладил рукав ее кофточки.— Мне так тебя жалко! И я... как бы это сказать, очень хорошо тебя понимаю. Но что поделаешь? Через это надо пройти. Верь мне, уж я-то знаю...

— Ах, ничего ты не знаешь, Том,— всхлипывая, отвечала она.

— Ну, не говори. Теперь окончательно решено, что в начале следующего года я уеду в Амстердам. Папа уже подыскал там место для меня... у «Ван Келлена и компания»... И мне придется на долгие, долгие времена распроститься...

— Ах, Том! Распроститься с родителями, с домом — не велика беда!

— Да-а,— протянул он, вздохнул, словно желая сказать еще что-то, но промолчал; переложил папиросу из правого угла рта в левый, вскинул одну бровь и отвернулся.— Это ненадолго, Тони! — сказал он немного погодя.— Время свое возьмет... Все забудется...

— Но я как раз и не хочу забыть! — в отчаянии крикнула Тони.— Забыть... Да разве это утешение?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Но вот и паром, а за ним Израэльдорфская аллея, Иерусалимская гора, Бургфельд. Экипаж проехал через Городские ворота, по правую руку от которых высились стены тюрьмы, и покатил вдоль Бургштрассе, через Коберг... Тони смотрела на серые дома с островерхими крышами, на масляные фонари, привешенные к протянутым через улицу цепям, на госпиталь Святого духа и почти уже оголенные липы вокруг него. Боже мой, все здесь осталось таким, как было! Все и стояло так — неизменно, величественно, покуда она в Травемюнде вспоминала об этом, как о давнем, полузабытом сне. Эти серые стены олицетворяли то старое, привычное, преемственное, что она как бы заново увидела сейчас и среди чего ей предстояло жить. Она перестала плакать и с любопытством огляделась вокруг. Боль разлуки стихла от вида этих улиц, этих издавна знакомых людей, проходивших по ним. В это самое мгновенье экипаж, уже катившийся по Брейтенштрассе, поравнялся с грузчиком Маттисеном; он снял свой шершавый цилиндр с такой озлобленно-смиренной миной, словно хотел сказать: «Что я? Я человек маленький».

Вот уже и поворот на Менгштрассе. Раскормленные гнедые, фыркая и перебирая ногами, остановились у будденброковского дома. Том заботливо высадил сестру, в то время как Антон и Лина уже кинулись отвязывать чемодан. Впрочем, войти в дом им удалось не сразу. Три громадные подводы, гру-

женные мешками с зерном, на которых размашистыми черными буквами было выведено название фирмы: «Иоганн Будденброк», завернули в ворота, прогромыхали по каменному настилу и въехали во двор. Очевидно, часть зерна предполагалось сгрузить в дворовом амбаре, а остальное переправить в амбары «Кит», «Лев» или «Дуб».

Консул с пером, заткнутым за ухо, вышел из конторы и раскрыл дочери объятия.

— Добро пожаловать, Тони, душенька моя!

Она поцеловала отца и взглянула на него заплаканными глазами; нечто вроде стыда промелькнуло в ее взоре. Но консул был добрый человек и ни единым словом не упрекнул ее. Он сказал только:

— Уже поздно. Мы ожидали тебя ко второму завтраку.

Консульша, Христиан, Клотильда, Клара и Ида Юнгман уже столпились на площадке лестницы, чтобы приветствовать Тони...

Первую ночь на Менгштрассе Тони спала крепко и на следующее утро сошла вниз, в маленькую столовую, посвежевшая и успокоенная. Время было раннее, около семи часов. Никто еще не вставал, только Ида Юнгман заваривала кофе к завтраку.

— Ай, ай, Тони, деточка,— сказала она, взглянув на нее своими маленькими карими, еще заспанными глазами,— что это ты так рано?

Тони села у секретера — крышка его была откинута,— заложила руки за голову и стала смотреть на блестящие и черные от сырости каменные плиты двора, на мокрый пожелтевший сад, потом принялась с любопытством перебирать визитные карточки и записки.

Возле чернильницы лежала хорошо знакомая ей большая тетрадь из разносортной бумаги, в тисненом переплете с золотым обрезом. Отец вынул ее, надо думать, еще вчера вечером; странно только, что он не вложил ее, по обыкновению, в кожаный бювар и не запер в потайной ящик.

Она взяла тетрадь в руки, перелистала ее, начала читать — и увлеклась. В большинстве своем это были незатейливые записи о знакомых ей событиях, но каждый из пишущих перенимал у своего предшественника торжественную, хотя и не напыщенную, манеру изложения, инстинктивно и невольно воспроизводя стиль исторических хроник, свидетельствовавший о

сдержанном и потому тем более достойном уважении каждого члена семьи к семье в целом, к ее традициям, ее истории. Для Тони ничего нового здесь не было, не впервые читала она эти страницы. Но никогда еще то, что стояло на них, не производило на нее такого впечатления, как в это утро. Благоговейная почтительность, с которой здесь трактовались даже самые маловажные события семейной истории, потрясла ее.

Опершись локтями о доску секретера, она читала серьезно, со все возрастающим увлечением и гордостью.

Ее собственное маленькое прошлое тоже черта за чертой было воссоздано здесь. Появление на свет, детские болезни, первое посещение школы, поступление в пансион мадемуазель Вейхбродт, конфирмация... Все это рачительно записывал консул своим мелким, беглым, «купеческим» почерком: записывал, почти религиозно преклоняясь перед фактами; ибо разве и самомалейший из них не был волею господа, предивно руководившего судьбами семьи?

Что еще будет стоять здесь под ее именем, унаследованным от бабушки Антуанетты? Что бы ни стояло, отдаленные потомки будут читать это с тем же трепетом, с которым она сейчас мысленно следит за событиями прошлого.

Тони вздохнула и откинулась на стуле, сердце торжественно билось в ее груди. Все ее существо было преисполнено бесконечного почтения к себе, знакомое чувство собственной значительности, удесятеренное духом, веявшим со страниц тетради, охватило ее с такой силой, что мурашки побежали у нее по спине. «Звено единой цепи»,— писал мне папа. Да! Да! Это-то и налагало на нее такую серьезную, такую высокую ответственность. Ведь и она была призвана содействовать делами и помыслами возвеличению своего рода.

Она опять перелистала тетрадь до самого конца, где на плотном листе in folio рукою консула было изображено генеалогическое древо Будденброков со всеми положенными скобками, рубриками и четко выписанными датами: начиная с бракосочетания родоначальника Будденброков и пасторской дочери Бригитты Шурен до женитьбы самого консула на Элизабет Крегер в 1825 году. От этого брака, гласила запись, произошло четверо детей. Далее, в строгой последовательности, были проставлены годы, месяцы и числа рождений, а также имена, полученные детьми при святом крещении. Под именем старшего сына значилось еще, что в 1842 году, на святой, он в качестве ученика вступил в отцовское дело.

Тони долго смотрела на свое имя, на незаполненное пространство под ним. И вдруг лицо ее приняло болезненно-напряженное выражение. Она порывисто схватила перо, не обмакнула, а стукнула им о дно чернильницы и затем, изо всей силы нажимая на него согнутым указательным пальцем и низко склонив пылающую голову, вывела своим неловким, косо взбегающим кверху почерком: «...22 сентября 1845 года обручилась с господином Бендиксом Грюнлихом, коммерсантом из Гамбурга».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Я полностью согласен с вами, друг мой! Вопрос это важный и требующий скорейшего разрешения. Короче говоря: по установившемуся обычаю, приданое девушки из нашей семьи составляет семьдесят тысяч марок наличными.

Господин Грюнлих бросил на своего будущего тестя быстрый и деловитый взгляд.

— Вам известно...— произнес он, и это «вам известно» протяженностью точно соответствовало длине его левой золотисто-желтой бакенбарды, которую он задумчиво пропускал сквозь пальцы и выпустил не раньше, чем произнес эти два слова,— уважаемый батюшка, то глубокое почтение, которое я неизменно питаю к традициям и принципам! Но... не кажется ли вам, что в данном случае такое точное соблюдение однажды установленных правил граничит с некоторым педантизмом?.. Дело ширится, семейство процветает, обстоятельства разительно изменились к лучшему...

— Друг мой,— прервал его консул.— Вы знаете, что я человек широкий! Господи боже мой! Вы ведь мне даже не дали договорить. А я как раз хотел сказать, что, учитывая все обстоятельства, я готов пойти вам навстречу и к положенным семидесяти, не обинуясь, прибавить десять тысяч.

— Значит, всего восемьдесят тысяч...— подытожил г-н Грюнлих и пошевелил губами, что, по-видимому, должно было означать: не слишком много, но сойдет и так.

Соглашение было достигнуто, ко взаимному удовольствию, и консул, поднявшись со стула, с довольным видом побрякал в кармане увесистой связкой ключей: приданое девиц Будденброк, «по установившемуся обычаю», как раз и составляло восемьдесят тысяч марок наличными.

После этого разговора г-н Грюнлих отбыл в Гамбург. Тони почти не ощущала новизны своего положения. Никто не мешал

ей ни танцевать у Меллендорфов, Лангхальсов, Кистенмакеров и дома на Менгштрассе, ни кататься на коньках по реке, ни принимать ухаживанья молодых людей. В середине октября она была приглашена к Меллендорфам по случаю обручения их старшего сына с Юльхен Хагенштрем.

— Том,— воскликнула она,— я ни за что не пойду, это возмутительно!

Но все-таки пошла и веселилась до упаду.

Помимо всего прочего, несколькими строчками, вписанными ее рукой в семейную историю, она завоевала себе право, в сопровождении консульши или даже одна, покупать все, что ей приглянется, в лучших городских магазинах для своего приданого, разумеется изысканного и «аристократичного». Две швеи с утра до ночи сидели в маленькой столовой у окна, подрубали, метили белье и поглощали неимоверное количество домашнего хлеба с зеленым сыром.

— Полотно от Лентфера уже прислали, мама?

— Нет еще, дитя мое; смотри-ка, две дюжины чайных салфеток уже готовы.

— Очень хорошо. Но он обещал непременно прислать сегодня утром. Надо ведь еще успеть подрубить простыни.

— Ида, мадемуазель Биттерих спрашивает, где кружева для наволочек.

— В бельевом шкафу, деточка, в сенях направо.

— Лина!

— Можешь и сама пробежаться, душенька...

— О, боже мой! Я не для того выхожу замуж, чтобы самой бегать по лестницам.

— Ты уже решила что-нибудь относительно подвенечного платья, Тони?

— Moiré antique[1], мама!.. Без moiré antique я венчаться не стану.

Так прошел октябрь, за ним ноябрь. К рождеству прибыл г-н Грюнлих, чтобы провести сочельник в кругу семьи Будденброков; от приглашения на праздник к старикам Крегерам он тоже не отказался. Обхождение его с невестой было исполнено предупредительной деликатности — чего, впрочем, и ждали от него,— без излишней церемонности, но и без навязчивости, без каких бы то ни было неуместных нежностей. Скромный и ласковый поцелуй в лоб в присутствии родителей скрепил обряд обручения. Временами Тони удивлялась, как мало его радость

[1] Шелковая материя *(франц.)*.

соответствовала отчаянию, которое он выказал при ее отказе. Теперь в его глазах, когда он смотрел на нее, читалось разве что довольство собственника. Правда, изредка, когда они оставались вдвоем, на него находило веселое настроение: он поддразнивал ее, пытался усадить к себе на колени и голосом, срывающимся от игривости, спрашивал:

— Ну что, все-таки изловил я тебя, зацапал, а?

На что Тони отвечала:

— Сударь, вы забываетесь,— и торопилась высвободиться.

Вскоре после рождества г-н Грюнлих снова отбыл в Гамбург: «живое дело» безотлагательно требовало его присутствия. Будденброки молчаливо согласились с тем, что у Тони и до помолвки было достаточно времени узнать его.

Вопрос о покупке дома для молодых был улажен в письмах. Тони, заранее радовавшаяся жизни в большом городе, выразила желание поселиться в самом центре Гамбурга, где, кстати, на Госпитальной улице помещалась и контора г-на Грюнлиха. Но жених с чисто мужской настойчивостью добился полномочий на покупку пригородной виллы в Эймсбюттеле, немноголюдной и живописной местности, весьма подходящей для идиллического гнездышка молодой четы — «procul negotiis» [1],— нет, он еще не совсем позабыл свою школьную латынь.

Так прошел декабрь, а в начале 1846 года была отпразднована свадьба. На традиционный вечер накануне венчания к Будденброкам собрался чуть ли не весь город. Подруги Тони, среди них и Армгард фон Шиллинг, для этого случая прибывшая из своего имения в высокой, как башня, карете, танцевали в большой столовой и в коридоре, где пол посыпали тальком, с приятелями Тома и Христиана; в числе последних был Андреас Гизеке, сын брандмайора и studiosus juris [2], а также Стефан и Эдуард Кистенмакеры, представлявшие фирму «Кистенмакер и К°».

О том, чтобы все шло как полагается, позаботился консул Петер Дельман, расколотивший о каменные плиты нижних сеней все горшки, которые ему удалось раздобыть в доме.

Фрау Штут с Глокенгисссерштрассе снова представился случай повращаться в высших кругах: она помогала мамзель Юнгман и портнихе одевать Тони к венцу. Накажи ее бог, если она когда-нибудь видела невесту красивее! Позабыв о своей

---

[1] Вдали от дел *(лат.)*.

[2] Студент-юрист *(лат.)*.

толщине, фрау Штут ползала по полу и, закатывая глаза от восторга, пришпиливала миртовые веточки к moiré antique. Церемония эта происходила в маленькой столовой.

Господин Грюнлих во фраке с длинными фалдами и в белой жилетке дожидался у двери. На его розовой физиономии застыло серьезное и корректное выражение; бородавка возле левой ноздри хранила явственные следы пудры, а золотисто-желтые бакенбарды были тщательно расчесаны.

Наверху, в ротонде, где должен был свершиться обряд венчания, собралась вся семья — изрядное множество народа: старики Крегеры, уже несколько одряхлевшие, но, как всегда, элегантные, консул Крегер с сыновьями Юргеном и Якобом (последний, так же как и Дюшаны, нарочно прибыл из Гамбурга); на этот раз присутствовал и Готхольд Будденброк с супругой, урожденной Штювинг, и с дочерьми Фридерикой, Генриеттой и Пфиффи, из которых, к сожалению, ни одна уже не имела надежды выйти замуж. Боковая, мекленбургская линия была представлена отцом Клотильды, приехавшим из «Неблагодатного» и все время таращившим глаза на невероятно величественный дом богатых родственников. Франкфуртская родня ограничилась присылкой подарков,— путь был уж очень неблизкий, вместо них присутствовали — единственные не принадлежавшие к семье — доктор Грабов — домашний врач, и мадемуазель Вейхбродт — престарелая подруга Тони, Зеземи Вейхбродт, в чепце с новыми зелеными лентами и в черном платьице. «Будь счастлива, милое дитя мое»,— сказала она, когда Тони об руку с г-ном Грюнлихом вошла в ротонду, и звонко чмокнула ее в лоб. Вся семья осталась довольна невестой. Тони держалась бодро, непринужденно и выглядела очень красивой, хотя и была несколько бледна от любопытства и предотъездного волнения.

В правой стороне украшенной цветами ротонды был воздвигнут алтарь. Обряд венчания совершал пастор Келлинг из Мариенкирхе, не преминувший в энергичных выражениях призвать молодых к умеренности. Все шло по раз навсегда установленному порядку. Тони с наивной готовностью произнесла «да», между тем как г-н Грюнлих перед этим предварительно издал свое «хэ-эм», чтобы прочистить глотку. После венчания приступили к ужину, еще более вкусному и обильному, чем обычно.

В то время как гости с пастором во главе продолжали ужинать наверху, консул с супругой вышли на заснеженную улицу — проводить молодых. Громоздкая дорожная карета с при-

вязанными к ней чемоданами и баулами уже стояла у подъезда.

Высказав — и неоднократно — твердую уверенность, что она вскоре приедет погостить домой и что родители, в свою очередь, не станут слишком долго откладывать приезд к ней в Гамбург, Тони в безмятежнейшем расположении духа уселась в карету, предоставив консульше укутать ей ноги меховой полостью. Супруг занял место рядом с ней.

— Запомните, Грюнлих,— сказал консул,— новые кружева лежат в маленькой сумке, с самого верху. Подъезжая к Гамбургу; спрячьте их под пальто, понятно? Эти таможенные пошлины... по мере возможности надо стараться обходить их. Будьте здоровы! Еще раз будь здорова, Тони, душенька! Господь с тобою!

— Надеюсь, что в Аренсбурге имеется удобная гостиница? — сказала консульша.

— Все уже предусмотрено, дорогая матушка; номер заказан,— ответил г-н Грюнлих.

Антон, Лина, Трина, София подошли проститься с мадам Грюнлих. Казалось, все уже кончено, пора захлопнуть дверцы кареты, но тут Тони подалась внезапному порыву: она выпуталась из полости, хотя это было не так-то просто, бесцеремонно перебралась через колени г-на Грюнлиха, который проворчал что-то себе под нос, и в волнении обняла отца.

— Прощай, папа, милый мой папа! — и снова прошептала: — Доволен ты мною?

Консул на мгновенье молча прижал к себе дочь, затем легонько ее оттолкнул и горячо пожал ей обе руки.

Больше делать было нечего. Дверца захлопнулась, кучер щелкнул бичом, лошади тронули так, что окна кареты задребезжали. Консульша махала своим батистовым платочком, покуда карету, громыхавшую по Менгштрассе, не застлала снежная пелена.

Консул в задумчивости стоял рядом с женой. Консульша с обычной своей грацией поплотней запахнула на плечах меховую пелерину.

— Вот она и уехала, Бетси.

— Да, Жан. И первая из детей оставила нас. Ты веришь, что она будет счастлива с ним?

— Ах, Бетси, она довольна собой; а более прочного счастья человеку на земле не дождаться.

Они вошли в дом и вернулись к гостям.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Томас Будденброк спустился по Менгштрассе вниз к Фюнфгаузену. Идти вéрхом по Брейтенштрассе ему не хотелось, чтобы не раскланиваться с поминутно встречающимися знакомыми. Засунув руки в карманы своего темно-серого пальто с меховым воротником, он задумчиво шагал по смерзшемуся, искристому, скрипучему снегу. Он шел привычной ему дорогой, о которой никто не подозревал. Небо голубело, холодное и ясное; воздух был свеж, душист и прозрачен; мороз доходил до пяти градусов; стоял на редкость погожий, безветренный, прозрачный и приятный февральский день.

Томас миновал Фюнфгаузен, пересек Беккергрубе и узким переулочком вышел на Фишергрубе. Пройдя несколько шагов по этой улице, параллельной Менгштрассе и также круто сбегающей к реке, он очутился у маленького домика, в котором помещался скромный цветочный магазин с узенькой входной дверью и небольшим окном, где на зеленых подставках было выставлено несколько горшков с луковичными растениями.

Он вошел в магазин; жестяной колокольчик над дверью залился, словно усердная дворовая собачонка. У прилавка, занятая разговором с молоденькой продавщицей, стояла приземистая и толстая пожилая дама в турецкой шали. Она внимательно разглядывала горшки с цветами, брала их в руки, нюхала, ставила назад и болтала так ретиво, что ей приходилось то и дело вытирать рот платочком. Томас Будденброк учтиво поклонился и отошел в сторону. Покупательница эта была бедная родственница Лангхальсов, добродушная и болтливая старая дева, которая, несмотря на свою громкую и аристократическую фамилию, отнюдь не принадлежала к высшему кругу. «Тетю Лотхен», как ее, за редкими исключениями, звал весь город, никогда не приглашали на парадные обеды и балы, а разве что на чашку кофе. С горшком, завернутым в шелковистую бумагу, она наконец направилась к двери, а Том, вторично поздоровавшись с продавщицей, громким голосом сказал:

— Попрошу вас несколько хороших роз... О, мне все равно, пусть французских...

Когда же «тетя Лотхен» скрылась за дверью, он тихо добавил:

— Ну так убери их, Анна! Здравствуй, моя малютка! Сегодня, увы, я пришел к тебе с тяжелым сердцем!

У Анны поверх простого черного платья был надет белый фартук. Она была поразительно хороша собой. Нежная, как

газель, с лицом почти малайского типа — чуть выдающиеся скулы, раскосые черные глаза, излучавшие мягкий блеск, и матовая кожа с желтоватым оттенком. Руки ее, тоже желтоватые и узкие, были на редкость красивы для простой продавщицы.

Она прошла позади стойки в правый угол магазина, не видный через окно с улицы. Томас, последовавший за ней с внешней стороны прилавка, наклонился и поцеловал ее в губы и в глаза.

— Да ты совсем замерз, бедный! — сказала она.

— Пять градусов,— отвечал Том.— Но я даже не почувствовал холода, у меня было так грустно на душе.

Он сел на прилавок и, не выпуская ее рук из своих, продолжал:

— Ты слышишь, Анна?.. Сегодня нам надо набраться благоразумия. Пришла пора.

— О, боже! — воскликнула она и робким, скорбным жестом поднесла к глазам подол фартука.

— Когда-нибудь это должно было случиться, Анна... Не плачь, не надо! Мы ведь с тобой решили быть благоразумными, правда! Ну, что поделаешь! Через это надо пройти!

— Когда? — сквозь слезы спросила она.

— Послезавтра.

— О, боже!.. Почему послезавтра? Еще одну недельку... Ну я прошу тебя!.. Хоть пять дней!..

— Невозможно, дорогая. Обо всем уже договорено в точности... Они ждут меня в Амстердаме... Я при всем желании не могу ни на один день отсрочить отъезд!

— Это так ужасно далеко!

— Амстердам? Ничуть не бывало! А думать друг о друге можно сколько угодно, ведь верно я говорю? Я буду писать тебе! Не успею приехать, как уже напишу...

— А помнишь еще,— сказала она,— как полтора года назад на стрелковом празднике...

Он перебил ее, зажегшись воспоминаниями:

— О, боже, подумать только — полтора года!.. Я принял тебя за итальянку... Я купил у тебя гвоздику и вдел ее в петлицу... Она и сейчас у меня... Я возьму ее с собой в Амстердам... А какая пылища и жара были тогда на лугу!..

— Да, и ты принес мне стакан лимонада из соседнего киоска... Я помню как сейчас! Там еще так пахло печеньем и толпой...

— И все-таки было замечательно! Разве мы сразу, по глазам и улыбкам, не отгадали, что будет дальше?

— Да и еще ты хотел прокатиться со мной на карусели... Но не могла же я оставить торговлю... Хозяйка бы так меня разбранила...

— Конечно, не могла, Анна, я отлично понимаю...

Она тихонько добавила:

— Но больше я уж ни в чем тебе не отказывала.

Он снова поцеловал ее в губы и в глаза.

— Прощай, моя дорогая, прощай, моя крошка, девочка моя! Да, пора уже начинать прощаться!

— О, но ведь завтра ты еще придешь?

— Конечно, приду, в это же время. И послезавтра утром тоже, я уж как-нибудь вырвусь... А сейчас я вот что хотел тебе сказать, Анна... Я уезжаю далеко, ведь что ни говори, а Амстердам не близко... А ты остаешься здесь... Только не погуби себя, Анна, ты слышишь меня? До сих пор ты вела себя благоразумно, это я говорю тебе.

Она плакала, закрыв лицо передником.

— А ты?.. А ты?..

— Одному богу известно, Анна, как сложится жизнь! Но всегда я буду молод... Ты умная девочка, ты никогда не заикалась о браке или о чем-то подобном...

— Боже избави, мне требовать от тебя?..

— Человек в себе не волен... Если я буду жив, ко мне перейдет дело отца, я должен буду сделать подходящую партию... Ты видишь, я ничего не таю от тебя и в последние минуты... Я всей душой желаю тебе счастья, милая, хорошая моя девочка!.. Только не губи себя, Анна, слышишь? До сих пор, повторяю тебе, ты была благоразумна.

В маленьком магазине было тепло. Влажный аромат земли и цветов наполнял его. А за окном зимнее солнце уже клонилось к западу. Нежная, чистая, словно нарисованная на фарфоре, вечерняя заря позолотила небо над рекою. Уткнувшись в поднятые воротники, люди торопливо проходили мимо окна, не видя тех двоих, что прощались в углу маленького цветочного магазина.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«30 апреля 1846 года.

Дорогая мама,
от всей души благодарю тебя за письмо, в котором ты сообщаешь об обручении Армгард фон Шиллинг с г-ном фон Майбомом, владельцем Пеппенраде. Сама Армгард тоже прислала мне извещение (очень аристократического вида, с золотым обрезом) и письмо, в восторженных выражениях рассказывающее о ее женихе. По словам Армгард, он писаный красавец и прекрасный человек. Как она, верно, счастлива! Все кругом выходят замуж! Из Мюнхена я тоже получила извещение, от Евы Эверс. Ей достался директор пивоварни.

А теперь позволь задать тебе один вопрос, милая мама: почему это до сих пор ничего не слышно насчет визита консула Будденброка в наши края? Уж не ждете ли вы официального приглашения от Грюнлиха? Совершенно напрасно, потому что он, по-моему, вовсе об этом не помышляет, а когда я ему напоминаю, говорит: «Да, да, дитя мое, но у твоего отца и без того много дела». Или вы, чего доброго, боитесь обеспокоить меня? Да нет же, ни вот настолечко! Или думаете, что я, увидев вас, затоскую по дому? Господи, да я ведь разумная, зрелая женщина и хорошо знаю жизнь.

Я только что была на чашке кофе у соседки, мадам Кезелау; это очень приятная семья; наши соседи слева, некие Гусманы (впрочем, их дом отстоит довольно далеко от нашего), тоже люди обходительные. У нас есть еще два друга дома, они живут неподалеку: доктор Клаасен (о нем я еще расскажу тебе в конце письма) и банкир Кессельмейер, закадычный друг

Грюнлиха. Ты даже и вообразить себе не можешь, что это за забавный старичок! У него седые, коротко подстриженные бакенбарды и черные с проседью волосы на голове, больше похожие на пух, которые ужасно смешно колышутся от малейшего ветерка. А так как он очень болтлив и вдобавок еще вертит головой, как птица, то я его прозвала «Сорокой». Грюнлих на меня за это сердится и говорит, что сорока — воровка, а г-н Кессельмейер честный человек. При ходьбе он горбится и загребает воздух руками. Пух у него растет только до половины головы, а затылок красный и морщинистый. Он очень смешной и веселый. Иногда он треплет меня по щеке и говорит: «Славная вы женщина, ну и повезло же этому Грюнлиху, что он вас заполучил!» Тут он вытаскивает пенсне (у него их всегда три штуки при себе, все на длинных шнурках, вечно перепутывающихся на его белом жилете), морщит нос, вскидывает на него пенсне и, раскрыв рот, смотрит на меня с таким восхищением, что я начинаю громко хохотать. Но он на это не обижается.

Грюнлих очень занят; каждое утро он уезжает в город в нашем маленьком желтом шарабане и возвращается домой только поздно вечером. Иногда он сидит около меня и читает газету.

Когда мы едем в гости, к Кессельмейеру, например, или к консулу Гудштикеру на Альтерсдам, или к сенатору Боку на Ратгаузштрассе, нам приходится нанимать карету. Я уже не раз просила Грюнлиха купить ландо: когда живешь за городом, это прямо-таки необходимо! Обещать-то он мне обещал, но както наполовину. Как ни странно, но Грюнлих вообще неохотно со мной выезжает и злится, когда я разговариваю с кем-нибудь из городских знакомых. Может быть, ревнует?

Наша вилла, дорогая мама, которую я тебе уже описывала в подробностях, и вправду очень хороша, а теперь, после покупки новой мебели, стала еще лучше. Гостиная у нас в первом этаже такая, что даже ты осталась бы довольна: вся коричневого шелка. Рядом, в столовой, очень красивые панели; за каждый стул плачено 25 марок. Я сейчас сижу в кабинете, который в то же время служит нам маленькой гостиной. Кроме того, у нас есть еще курительная комната, где стоит и ломберный стол. Для зала — он находится по другую сторону коридора и занимает всю вторую половину этажа — мы недавно купили желтые шторы; это выглядит очень аристократично. Наверху — спальня, ванная, гардеробная и помещения для прислуги. Для желтого шарабана мы держим мальчика-грума. Обеими девушками я, в общем, довольна. Правда, я не вполне уверена в их чест-

ности, но мне ведь, слава богу, не приходится считать каждый грош! Короче говоря, дом у меня поставлен так, что вы не будете за меня краснеть.

Ну, а теперь, дорогая мама, расскажу самое важное, что я приберегла к концу. С недавних пор я чувствую себя как-то странно: не совсем здоровой, понимаешь, но и не то чтобы больной; при случае я поделилась этим с доктором Клаасеном. Это маленький человек с большой головой, на которую он к тому же насаживает огромную шляпу. У него длинная борода почти зеленого цвета, так как он много лет подряд ее чернил; он вечно тычет в эту бороду круглым набалдашником своей трости. Ох, хотела бы я, чтобы ты на него посмотрела! Он ничего не ответил на мои слова, поправил пенсне, подмигнул мне своими красноватыми глазками, посопел носом, похожим на картошку, хихикнул и окинул меня таким бесцеремонным взглядом, что я не знала, куда и деваться. Потом он меня осмотрел, объявил, что все идет как нельзя лучше, и велел пить минеральную воду, так как я «возможно» несколько малокровна. О мама! Осторожненько сообщи эту новость моему милому папе; пусть он внесет ее в семейную тетрадь. В ближайшее время снова напишу тебе.

Поцелуй от меня папу, Христиана, Клару, Тильду и Иду Юнгман. Томасу я недавно писала в Амстердам.

Твоя покорная дочь *Антония*».

«2 августа 1846 года.

Мой милый Томас,

с удовольствием прочитал твое письмо о вашей с Христианом встрече в Амстердаме. Надо думать, у вас выдалось несколько приятных деньков. Вестей о дальнейшем путешествии твоего брата через Остенде в Англию я пока не имею, но надеюсь, что с божьей помощью оно завершилось благополучно. Хочу верить, что время не упущено и что Христиан, после того как он поставил крест на ученой карьере, еще сможет научиться у своего принципала, м-ра Ричардсона, толково вести дела,— дай бог ему удачи на новом для него пути коммерсанта. М-р Ричардсон (Триниддлстрит), как тебе известно, наш давнишний клиент. Я благодарю бога за то, что мне удалось пристроить обоих моих сыновей в дружественные нам торговые предприятия. Ты, верно, уже и сейчас чувствуешь, как это тебе полезно; я, со своей стороны, испытываю глубокое удовлетворение от того, что г-н

ван дер Келлен в первую же четверть года не только повысил тебе жалованье, но и предоставил тебе возможность побочного заработка. Убежден, что ты своей работой и поведением и впредь будешь оправдывать оказанное тебе доверие.

При всем том меня тревожит не вполне удовлетворительное состояние твоего здоровья. То, что ты пишешь о своей нервности, напомнило мне собственную мою молодость, когда я, работая в Антверпене, вынужден был уехать в Эмс и пройти там курс лечения. Если и тебе, сын мой, понадобится что-либо подобное, то знай, что я в любую минуту готов морально и материально поддержать тебя, хотя в последнее время, столь неспокойное в смысле политических событий, я и воздерживаюсь от излишних расходов.

Несмотря на это, в середине июня мы с мамой совершили поездку в Гамбург, чтобы повидать твою сестру Тони. Супруг ее нас не приглашал, но принял с большой сердечностью и в течение двух дней, которые мы у него провели, до такой степени усердно занимался нами, что даже забросил свои дела, и мне лишь с трудом удалось выбрать время для одного-единственного визита — к Дюшанам. Антония на пятом месяце; врач, ее пользующий, заверяет, что все идет нормально и за исход не опасается.

Хочу еще упомянуть о письме г-на ван дер Келлена, из которого я с радостью узнал, что ты и privatim [1] желанный гость в его семействе. Ты, сын мой, уже достиг возраста, когда пожинают плоды воспитания, данного человеку его родителями. В этой связи я хочу сказать тебе, что в твои годы, работая в Бергене и в Антверпене, я всегда почитал своим долгом по мере сил угождать супругам моих принципалов, что, без сомнения, принесло свои плоды. Не говоря уже о лестном чувстве, которое испытываешь, общаясь с семейством принципала, молодой человек обретает в лице его супруги покровительницу и заступницу — на случай, правда, крайне нежелательный, но все же возможный, если им будет допущена какая-либо оплошность в деле или если он по другой причине вызовет неудовольствие главы фирмы.

Что касается твоих планов на будущее, сын мой, то они радуют меня тем, что в них сквозит живейший интерес к делу. Но полностью я их одобрить не могу. Ты исходишь из того положения, что сбыт продуктов, производимых или перерабатываемых в окрестностях нашего города, а именно: зерна, брюквы,

---

[1] Как частное лицо *(лат.)*.

кур, мехов, шерсти, растительного масла, жмыхов, костей и т. п., и есть то, чем естественно и закономерно должны заниматься наши коммерсанты, и потому ты собираешься наряду с некоторыми комиссионными делами заняться также и этой отраслью торговли. В свое время, когда конкуренция была у нас еще не так велика (теперь она, конечно, изрядно возросла), я носился с теми же мыслями и, поскольку у меня имелось время и возможность, даже проделал некоторые опыты. Я и в Англию ездил главным образом для того, чтобы завязать там связи, полезные для этого начинания. Я добрался до Шотландии, познакомился кое с кем из нужных мне людей, но вскоре понял, сколь рискованны подобные экспортные операции, и счел за благо от них отказаться. Кроме того, у меня в памяти всегда свежо предостережение одного из наших предков, основателя фирмы: «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя».

Этому завету я намерен свято следовать до конца моих дней, хотя временами меня и охватывают сомнения, ибо я вижу, что люди, не придерживающиеся таких принципов, значительно лучше преуспевают. Я имею в виду Штрунка и Хагенштрема — их дело непрерывно разрастается, тогда как наше движется очень уж потихоньку. Ты знаешь, что капитал фирмы сократился после смерти твоего деда, и я молю бога лишь о том, чтобы оставить тебе дело хотя бы в нынешнем его состоянии. Ведь в лице нашего управляющего, г-на Маркуса, я имею неизменно дельного и опытного помощника. Ах, если бы семья твоей матери была хоть немного бережливее! Наследство Крегеров должно сыграть для нас важнейшую роль.

Дела фирмы и городского управления не оставляют мне ни минуты времени. Я выбран старшиной Бергенской коллегии и депутатом от бюргерства в финансовый департамент, в коммерческую коллегию, в отчетно-ревизионную комиссию и в приют св. Анны.

Твоя мать, Клара и Клотильда шлют тебе наисердечнейший привет. Кроме того, меня просили передать тебе поклон: сенатор Меллендорф, доктор Эвердик, консул Кистенмакер, маклер Гош, К.-Ф. Кеппен, а из наших служащих г-н Маркус и капитаны Клоот и Клетерман. Господь да благословит тебя, сын мой!

Работай, молись и будь бережлив.

Любящий тебя и всегда пекущийся о тебе *отец*».

«8 октября 1846 года

Достоуважаемые и дорогие родители!

Нижеподписавшийся почитает приятнейшим своим долгом уведомить вас о благополучном разрешении от бремени вашей дочери, а моей горячо любимой супруги Антонии, последовавшем полчаса назад. По господнему соизволению — это девочка, и я не нахожу слов, чтобы высказать свою радость и умиление. Самочувствие нашей дорогой родильницы, а также ребенка не оставляет желать лучшего; доктор Клаасен выразил свое полное удовлетворение подобным исходом. Г-жа Гросгеоргис, акушерка, тоже считает, что все сошло прекрасно. Волнение побуждает меня отложить перо. С чувством глубочайшего уважения и нежности к досточтимым родителям

подписываюсь: *Б. Грюнлих.*

Для мальчика у меня было заготовлено очень красивое имя. А теперь я хочу назвать ее Метой, но Гр. стоит за Эрику.

Т.».

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Что с тобой, Бетси? — спросил консул, садясь за стол и снимая тарелку, которой заботливо прикрыли его суп.— Ты нездорова? В чем дело? У тебя страдальческий вид!

Большая столовая выглядела теперь очень пустынно. За круглым столом, кроме консула и консульши, обычно сидели только мамзель Юнгман, десятилетняя Клара и тощая смиренная, молча все поедающая Клотильда. Консул огляделся кругом. Лица у всех вытянутые, расстроенные. Что случилось? Он сам пребывал в нервном и тревожном состоянии: на бирже было неспокойно из-за этой дурацкой шлезвиг-голштинской истории... и еще другое беспокойство носилось в воздухе. Через несколько минут, когда Антон ушел за жарким, консулу сообщили о том, что стряслось в доме. Трина, кухарка Трина, до сих пор неизменно преданная и добросовестная, внезапно перешла к открытому возмущению. К вящему неудовольствию консульши, она в последнее время заключила дружбу, род духовного союза, с приказчиком из мясной лавки, и этот всегда окровавленный юноша, видимо, оказал гибельное влияние на развитие ее политических воззрений. Едва только консульша начала выговаривать ей за неудавшийся луковый соус, как она уперла обнажен-

ные руки в бока и сказала буквально следующее: «Помяните мое слово, сударыня, вам уж недолго царевать! Скоро заведутся другие порядки, скоро я буду сидеть на диване в шелковом платье, а вы будете мне прислуживать...» Само собой разумеется, ей было тотчас же отказано от места.

Консул покачал головой. Он и сам в последнее время чуял приближение грозы. Правда, старых грузчиков и складских рабочих не так-то просто было сбить с толку. Но из молодежи некоторые уже вели себя как одержимые новейшим духом — духом крамолы. Весной произошли уличные беспорядки, хотя уже был составлен проект новой конституции, учитывающий требования новейшего времени, который несколько позднее и был утвержден сенатом, не пожелавшим обратить внимание на протесты Лебрехта Крегера и еще нескольких старых упрямцев. После этого были выбраны народные депутаты и созвана городская дума. Но спокойствие не восстанавливалось. Всюду царила смута. Каждый хотел по-своему пересмотреть конституцию и избирательное право; все бюргеры перессорились. Одни, в том числе консул Иоганн Будденброк, требовали «сословного принципа». «Нет, всеобщее избирательное право!» — шумели другие, среди последних Хинрих Хагенштрем. Третьи кричали: «Общесословные выборы», сами не понимая хорошенько, что означает этот лозунг. В воздухе носились и такие идеи, как уничтожение различий между «бюргерами» и «жителями» и распространение гражданских прав на лиц нехристианского вероисповедания. Не удивительно, что будденброковской Трине взбрела на ум идея шелкового платья и сидения на диване! Ах, это было бы еще с полбеды! События грозили принять и вовсе страшный оборот.

Настал первый день октября 1848 года. Ясное небо с грядой легких, быстро бегущих облачков казалось светло-серебристым от пронизывающих его солнечных лучей, несших уже столь мало тепла, что у Будденброков в ландшафтной, за высокой, до блеска начищенной резной заслонкой печи, потрескивали поленья.

Маленькая Клара, девочка с пепельными волосами и строгим взглядом, вязала за рабочим столиком у окна, а Клотильда, тоже быстро перебиравшая спицами, сидела рядом с консульшей на диване. Клотильда Будденброк была не намного старше своей замужней кузины; ей недавно исполнился двадцать один год, но черты ее длинного лица уже заострились и гладко зачесанные волосы, не белокурые, а какие-то тускло-серые, завершали ее облик старой девы. Впрочем, она была довольна и в борьбу с обстоятельствами не вступала. Может быть, она даже

испытывала потребность поскорее состариться, поскорее разделаться со всеми сомнениями и надеждами. У нее гроша не было за душой, она знала, что во всем мире не сыщется человека, который бы женился на ней, и покорно смотрела в глаза будущему, не сулившему ничего, кроме жизни в маленькой комнатушке на пенсию, которую могущественный дядюшка исхлопочет для нее в каком-нибудь благотворительном заведении, пекущемся о бедных, но благородных девицах.

Консульша была занята чтением двух только что полученных писем. В одном Тони сообщала о добром здравии маленькой Эрики, в другом Христиан подробно и пылко описывал прелести лондонской жизни, не слишком распространяясь о своей деятельности у м-ра Ричардсона. Консульша, приближавшаяся к середине пятого десятка, горько сетовала на участь блондинок — раннюю старость. Нежный цвет лица, так прекрасно гармонирующий с рыжеватыми волосами, в эти годы блекнет, несмотря на все притирания, и ее волосы уже начали бы неумолимо седеть, если бы не рецепт одного парижского настоя, который на первых порах еще предохранял их. Она твердо решила никогда не быть седой. Когда настой перестанет действовать, она закажет себе парик цвета ее собственных волос в дни молодости. На самой верхушке все еще сложной и искусной прически консульши был приколот маленький атласный бант, обшитый кружевами: первый зачаток чепца, вернее — только легкий намек на него. Широкая шелковая юбка консульши ложилась крупными складками, а рукава для большей пышности были подбиты жесткой материей. Золотые браслеты, как всегда, тихонько звенели при каждом ее движении. Часы показывали три часа пополудни.

Внезапно с улицы послышались крики, возгласы, какой-то торжествующий гогот, свист, топот множества ног по мостовой, шум, неуклонно приближавшийся и нараставший.

— Что это, мама? — воскликнула Клара, смотревшая в «шпиона».— Сколько народу! Что там случилось? Чему они все радуются?

— О, господи! — Консульша отбросила письма, вскочила и в страхе кинулась к окну.— Неужто это... Господи боже мой! Да, да! Это революция. Это... народ!

Дело в том, что в городе с самого утра происходили беспорядки. Днем на Брейтенштрассе кто-то запустил камнем в окно суконщика Бентьена, хотя одному богу известно, какое отношение имела лавка Бентьена к высокой политике.

— Антон! — дрожащим голосом позвала консульша. (Антон был занят уборкой серебра в большой столовой.) — Поди вниз, запри дверь! Все запри! Это народ...

— Да как я пойду, сударыня,— отвечал Антон.— Я господский слуга, они, как увидят мою ливрею...

— Злые люди,— печально протянула Клотильда, не отрываясь от своего рукоделья.

В эту самую минуту из ротонды через застекленную дверь вошел консул. В руках он держал пальто и шляпу.

— Ты хочешь выйти на улицу, Жан? — ужаснулась консульша.

— Да, дорогая, мне нужно в...

— Но народ, Жан! Революция!..

— Ах, боже мой, это не так страшно. Бетси, все в руце божией. Они уже прошли наш дом. Я выйду через пристройку...

— Жан, если ты меня любишь... О, я боюсь, боюсь!

— Бетси, прошу тебя! Ты так волнуешься, что... Они пошумят перед ратушей или на рыночной площади и разойдутся... Может быть, это будет стоить городу еще нескольких разбитых окон — не больше!

— Куда ты, Жан?

— В городскую думу. Я и так опаздываю, меня задержали дела. Не явиться туда сегодня было бы просто стыдно. Ты думаешь, твой отец позволит удержать себя?.. Как он ни стар...

— Хорошо, иди с богом, Жан... Но будь осторожен, умоляю тебя! Будь осторожен! И присмотри за отцом. Если с ним что-нибудь случится...

— Не волнуйся, дорогая...

— Когда ты вернешься? — закричала консульша ему вслед.

— Так... в половине пятого, в пять... как освобожусь. На повестке дня сегодня важные вопросы. Мне трудно сказать...

— Ах, я боюсь, боюсь! — повторила консульша, растерянно озираясь вокруг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Консул торопливо миновал свой обширный участок. Выйдя на Беккергрубе, он услыхал позади себя шаги и, оглянувшись, увидел маклера Гоша: живописно завернувшись в длинный черный плащ, он тоже быстро шел вверх по улице на заседание городской думы. Приподняв одной рукой — длинной и худой — свою шляпу, смахивавшую на головной убор иезуита,

а другой сделав жест, как бы говоривший: «я покорен судьбе», Гош сдавленным, саркастическим голосом произнес:

— Господин консул... честь имею.

Маклер Зигизмунд Гош, холостяк лет под сорок, большой оригинал и натура артистическая, несмотря на свою несколько странную манеру держаться, был честнейшим и добродушнейшим человеком на свете. Черты его бритого лица отличались резкостью: крючковатый нос, острый, сильно торчащий подбородок и рот с опущенными углами; вдобавок он еще поджимал свои тонкие губы с видом таинственным и злобным. Он жаждал — и в известной мере это ему удавалось — выставлять напоказ свою будто бы неистовую, прекрасную, демоническую и коварную сущность, казаться человеком злым, лукавым, интересным и страшным — чем-то средним между Мефистофелем и Наполеоном. Его седеющие волосы низко спадали на мрачный лоб. Он от всей души сожалел, что не родился горбатым. Короче говоря, маклер Гош являл собою образ необычайный среди обитателей старого торгового города. Впрочем, и он был из их числа, так как занимался самым что ни на есть бюргерским, пусть скромным, но в своей скромности все же солидным и почтенным посредническим делом. Правда, в его узкой и темной конторе стоял большой книжный шкаф, доверху набитый поэтическими творениями на различных языках, и по городу ходил слух, что Гош с двадцатилетнего возраста трудится над переводом полного собрания пьес Лопе де Вега. Как-то раз ему довелось сыграть на любительской сцене роль Доминго в шиллеровском «Дон Карлосе». Это был высший миг его жизни. Маклер Гош никогда не произносил ни одного вульгарного слова и даже в деловых собеседованиях самые обычные обороты старался цедить сквозь зубы с таким видом, словно говорил: «А, негодяй! В гробу кляну я праотцев твоих». Во многих отношениях он был преемником и наследником покойного Жан-Жака Гофштеде; только нрав его был сумрачнее, патетичнее и не имел в себе ничего от той шутливой веселости, которую друг Иоганна Будденброка-старшего умудрился сохранить от прошлого века.

Однажды он в мгновенье ока потерял на бирже шесть с половиной талеров на двух или трех акциях, купленных им со спекулятивной целью. Тут уж он дал волю своей любви к драматическим положениям и устроил настоящий спектакль. Он опустился на скамью в такой позе, точно проиграл битву при Ватерлоо, стукнул себя по лбу сжатым кулаком и, подъяв глаза к небу, несколько раз подряд кощунственно произнес: «О, проклятье!» И так как мелкие, спокойные и верные зара-

ботки при продаже того или иного земельного участка нагоняли на него скуку, то эта потеря, этот неожиданный удар, ниспосланный господом на него, многоопытного интригана, явился для маклера Гоша наслажденьем, счастьем, которым он упивался долгие месяцы. На обращение: «Я слышал, вас постигла неудача, господин Гош, сочувствую от...», он, как правило, отвечал: «О друг мой! Uomo non educato dal dolore riman sempre bambino!» [1], чего, разумеется, никто не понимал. Уж не была ли то цитата из Лопе де Вега? Так или иначе, но все знали: Зигизмунд Гош — человек ученый, выдающийся.

— Да, времена, в которые мы живем,— обратился он к консулу Будденброку, шагая рядом с ним и опираясь на трость, как сгбенный старец,— поистине времена бурь и треволнений!

— Вы правы,— отвечал консул.— Время сейчас неспокойное. Очень интересно, что покажет сегодняшнее заседание. Сословный принцип...

— Нет, вы только послушайте,— прервал его г-н Гош.— Я весь день бродил по городу и наблюдал за чернью. Великолепные парни, у многих глаза пылали ненавистью и воодушевлением!..

Иоганн Будденброк рассмеялся.

— Вы верны себе, друг мой! Вам это, кажется, по душе? Нет уж, увольте! Все это ребячество, да и только! Чего они хотят? Это кучка распоясавшихся молодых людей, пользующихся случаем побуянить.

— Разумеется! И все же нельзя отрицать... Я был при том, как приказчик Беркенмейер из мясной лавки разбил окно у господина Бентьена. Он был похож на пантеру! — Последнее слово г-н Гош произнес, стиснув зубы почти до скрипа.— О, нельзя отрицать, что все это имеет и свою возвышенную сторону,— продолжал он.— Наконец что-то новое, такое, знаете ли, небудничное, мощное — ураган, неистовство, гроза! Ах, народ темен, я знаю! И тем не менее мое сердце, вот это сердце, оно с ним!..

Они уже подошли к невзрачному на вид дому, выкрашенному желтой масляной краской, в нижнем этаже которого помещался зал заседаний городской думы.

Собственно, этот зал принадлежал пивному и танцевальному заведению некоей вдовы Зуэркрингель, но по определенным дням предоставлялся в распоряжение господ из городской думы. Чтобы попасть в него, надо было пройти по узкому ко-

---

[1] «Человек, не изведавший горя, на всю жизнь останется младенцем!» *(итал.)*

ридору, выложенному каменными плитами, с правой стороны которого располагались ресторанные помещения, отчего там всегда стоял запах пива и кухни; оттуда в зал вела прорубленная слева зеленая дверь без каких бы то ни было признаков замка или ручки и до того узенькая и низкая, что за ней никак нельзя было предположить столь обширного помещения. Зал был холодный, голый, как сарай, с побеленным потолком, на котором четко выступали темные балки, и с побеленными же стенами. Три довольно высоких окна с зелеными рамами не имели никаких занавесок. Напротив окон амфитеатром возвышались скамьи; у подножия амфитеатра стоял стол, крытый зеленым сукном, с большим колокольчиком, папками, в которых хранились дела, и письменными принадлежностями, предназначавшийся для председателя, протоколиста и комиссаров сената. У стены против двери находились высокие вешалки, до отказа загроможденные верхней одеждой и шляпами.

Гул голосов встретил консула и его спутника, когда они, один за другим, протиснулись в узкую дверь. Консул и маклер Гош явились, видимо, последними. Зал был полон, бюргеры стояли группами и оживленно спорили, кто заложив руки в карманы, кто за спину, кто в пылу спора размахивая ими в воздухе. Из ста двадцати членов думы сегодня явилось не более ста. Некоторые депутаты сельских округов, учитывая создавшиеся обстоятельства, почли за благо остаться дома.

Почти у самого входа стояла группа бюргеров среднего достатка. Два или три владельца мелких предприятий, учитель гимназии, «сиротский папенька» — г-н Миндерман, да еще г-н Венцель, известный в городе парикмахер. Г-н Венцель, черноусый, низенький, плотный мужчина с умным лицом и красными руками, не далее как сегодня утром брил консула Будденброка, но здесь был с ним на равной ноге. Венцель обслуживал почти исключительно высший круг, брил Меллендорфов, Лангхальсов, Будденброков, Эвердиков, и избранием в городскую думу был обязан своей необыкновенной осведомленности во всех городских делах, своей обходительности, ловкости и, несмотря на его подчиненное положение, всем очевидному чувству собственного достоинства.

— Вы, господин консул, уже слыхали, вероятно, последнюю новость? — взволнованно воскликнул он при виде своего покровителя.

— Какую именно, любезный Венцель?

— Сегодня утром еще никто об этом не подозревал... Прошу прощения, господин консул, но это самая что ни на есть

последняя новость! Народ движется не к ратуше и не на рыночную площадь! Они идут сюда, чтобы угрожать городской думе! И подстрекнул их на это редактор Рюбзам...

— Да ну! Пустяки! — отвечал консул. Он протиснулся на середину зала, где заметил своего тестя, сенатора Лангхальса и Джемса Меллендорфа.— Вы слышали, что мне сейчас сказали? Можно верить этому? — спросил он, пожимая им руки.

Но в собрании уже ни о чем другом не говорили: смутьяны идут сюда, с улицы доносится шум...

— Сброд! — произнес Лебрехт Крегер холодно и презрительно. Он приехал сюда в собственном экипаже. Высокая, представительная фигура cavalier à la mode былых времен, сгорбившаяся под бременем восьмидесяти лет, при обстоятельствах столь необычных опять распрямилась; он стоял с полузакрытыми глазами, надменно и презрительно опустив углы рта, над которыми почти вертикально торчали его короткие седые усы; на черном бархатном жилете старика сияли два ряда бриллиантовых пуговиц.

Неподалеку от этой группы вместе со своим компаньоном г-ном Штрунке стоял Хинрих Хагенштрем, невысокий тучный господин с рыжеватыми бакенбардами, в расстегнутом сюртуке и голубом клетчатом жилете, по которому вилась массивная золотая цепочка. Он даже не повернул головы в сторону консула.

Чуть подальше суконщик Бентьен, человек с виду зажиточный, во всех подробностях рассказывал столпившимся вокруг него членам городской думы о происшествии с его окном:

— Кирпич, господа, добрая половина кирпича! Бац! Стекла вылетели, и он угодил прямо в штуку зеленого репса... Подлецы! Но теперь это дело уже государственного значения.

В углу неумолчно говорил что-то г-н Штут с Глокенгиссерштрассе. Он напялил сюртук поверх шерстяной фуфайки и принимал сегодня особо деятельное участие в дебатах, то есть непрестанно и возмущенно восклицал: «Неслыханная наглость!» — тогда как обычно говорил просто «наглость!».

Иоганн Будденброк обошел весь зал, поздоровался в одном конце со своим старым приятелем К.-Ф. Кеппеном, в другом — с конкурентом последнего, консулом Кистенмакером. По пути он пожал руку доктору Грабову и перебросился несколькими словами с брандмайором Гизеке, с архитектором Фойтом, председателем — доктором Лангхальсом, братом сенатора, и другими знакомыми коммерсантами, учителями и адвокатами.

Заседание еще не было открыто, но оживленный обмен мнениями уже начался. Все в один голос кляли *этого писаку*,

этого редактора, этого Рюбзама, который взбаламутил толпу. А спрашивается — зачем? Городская дума собралась здесь для того, чтобы обсудить, должен ли сохраниться сословный принцип в народном представительстве, или предпочтительнее ввести всеобщее и равное избирательное право? Сенат уже высказался за последнее. А чего хочет народ? Схватить бюргеров за горло, вот и все. Да, черт возьми, положение незавидное! Теперь все столпились вокруг комиссаров сената, чтобы узнать их мнение. Окружили и консула Будденброка: считалось, что он должен знать, как смотрит на все это бургомистр Эвердик, ибо с прошлого года, когда сенатор доктор Эвердик, зять консула Юстуса Крегера, стал президентом сената, Будденброки оказались в свойстве с бургомистром, что заметно повысило их вес в обществе.

Уличный шум, доносившийся издали, внезапно послышался совсем близко. Революция прибыла под самые окна зала заседаний! Взволнованные дебаты внутри его мгновенно оборвались! Онемелые от ужаса, скрестив руки на животах, все здесь собравшиеся смотрели друг на друга или в окна, за которыми вздымались кулаки и воздух сотрясался от безудержного, дикого и оглушающего рева и гиканья. Затем с поразительной внезапностью, словно бунтовщики сами испугались своей смелости, за окнами воцарилась такая же тишина, как в зале, и среди этого безмолвия, объявшего все кругом, в одном из нижних рядов амфитеатра, где сидел Лебрехт Крегер, послышалось холодно, злобно и явственно произнесенное слово: «Сброд!»

В углу какой-то голос отозвался глухо и возмущенно: «Неслыханная наглость!» И в это же самое мгновение в зале прошелестел торопливый, срывающийся, таинственный шепот суконщика Бентьена:

— Господа!.. Слушайте меня, господа!.. Я знаю этот дом... Стоит только залезть на чердак... Там есть слуховое окно... Я еще мальчишкой стрелял из него в кошек. Оттуда очень легко перебраться на соседнюю крышу и улизнуть...

— Презренная трусость! — сквозь зубы прошипел маклер Гош; со скрещенными на груди руками и поникшей главой он сидел за председательским столом, вперив в окно взор, грозный и устрашающий.

— Трусость, сударь, как так? Черта ли... они бросаются кирпичами! Я уж насмотрелся... Хватит!..

Тут с улицы снова послышался шум. Но теперь он уже не был бурным и неистовым, как вначале, а звучал ровно и непрерывно, напоминая какое-то назойливое, певучее, даже

довольное жужжание, только время от времени прерывавшееся свистками и отдельными выкриками, прислушавшись к которым можно было различить слова: «принцип», «гражданские права». Городская дума внимала им в почтительном молчанье.

— Милостивые государи,— несколько минут спустя приглушенным голосом обратился к собранию председатель — доктор Лангхальс.— Надеюсь, что, объявив наше собрание открытым, я поступлю в согласии с вашими намерениями...

Это было всего только товарищеское предложение, но оно не встретило ни малейшего отклика.

— Нет, уж простите, меня на мякине не проведешь! — произнес кто-то решительно и без стеснения. Это был некий Пфаль из округа Ритцерауэр, человек явно крестьянского обличья, депутат из деревни Клейн-Шретштакен. Никто еще не слыхал его голоса ни на одном из собраний, но при данном положении вещей мнение лица даже самого заурядного легко могло перевесить чашу весов. Г-н Пфаль, наделенный верным политическим чутьем, безбоязненно выразил точку зрения всего собрания.

— Боже нас упаси! — с негодованием произнес г-н Бентьен.— Если сидишь там, наверху, так тебя видно с улицы. Они бросаются кирпичами! Нет, благодарю покорно, с меня хватит.

— Да еще эта дверь, будь она неладна, такая узкая! В случае если придется бежать, мы друг друга передавим!

— Неслыханная наглость! — проворчал г-н Штут.

— Милостивые государи,— опять настойчиво заговорил председатель,— прошу вас учесть, что я обязался в трехдневный срок представить правящему бургомистру протокол сегодняшнего заседания. Город ждет, протокол наш будет опубликован в печати... Я бы считал нужным проголосовать, открывать заседание или...

Но если не считать нескольких членов думы, поддержавших председателя, никто из присутствующих не захотел перейти к повестке дня. Голосовать не имело никакого смысла. Опасно раздражать народ,— ведь никто не знает, чего он хочет,— так как же принимать решение, которое может пойти вразрез с желанием народа? Надо сидеть и ждать. Часы на Мариенкирхе пробили половину пятого.

Бюргеры всячески старались поддержать друг друга в решении терпеливо ждать. Они уже стали привыкать к шуму на улице, который нарастал, стихал, прекращался и начинался снова. Все немного поуспокоились, стали устраиваться поудобнее, кое-кто уже сидел в нижних рядах амфитеатра и на

стульях. В предприимчивых бюргерах начала пробуждаться потребность действовать, то тут, то там уже слышались разговоры о делах; в каком-то углу даже приступили к заключению сделок. Маклеры подсели к оптовикам. Все запертые здесь господа теперь болтали друг с другом, как люди, которые, пережидая сильную грозу, говорят о посторонних вещах и лишь изредка с робкой почтительностью прислушиваются к раскатам грома.

Пробило пять, потом половина шестого; наступили сумерки. Изредка кто-нибудь вдруг вздыхал: дома жена дожидается с кофе,— и тогда г-н Бентьен позволял себе напомнить о чердачном окне. Но большинство придерживалось в этом вопросе мнения г-на Штута, который, грустно покачав головой, объявил:

— Что касается меня, то я для этого слишком толст!

Иоганн Будденброк, памятуя просьбу жены, пробрался к тестю и спросил, озабоченно глядя на него:

— Надеюсь, отец, вы не слишком близко приняли к сердцу это маленькое приключение?

Консул встревожился, увидев, что на лбу Лебрехта Крегера под коком белоснежных волос вздулись две голубоватые жилы; одна рука старика, тонкая и аристократическая, теребила отливающие всеми цветами радуги пуговицы на жилете, другая, украшенная бриллиантовым перстнем и лежавшая на коленях, дрожала мелкой дрожью.

— Пустое, Будденброк,— проговорил он с какой-то бесконечной усталостью.— Мне скучно, вот и все! — Но тут же сам изобличил себя во лжи, процедив сквозь зубы: — Parbleu, Жан! Этих грязных оборванцев следовало бы с помощью пороха и свинца обучить почтительному обращению... Мразь! Сброд!..

Консул успокоительно забормотал:

— Да, да!.. Вы правы, это довольно-таки недостойная комедия... Но что поделаешь? Приходится и виду не подавать. Уже стемнело. Они скоро разойдутся...

— Где мой экипаж?.. Пусть мне немедленно подадут экипаж! — вдруг, выйдя из себя, крикнул Лебрехт Крегер; его ярость прорвалась наружу, он дрожал всем телом.— Я приказал подать его к пяти часам! Где он?.. Заседание не состоялось... Что мне здесь делать? Я не позволю себя дурачить!.. Мне нужен экипаж!.. Они еще, чего доброго, напали на моего кучера? Подите узнайте, в чем дело, Будденброк!

— Отец, умоляю вас, успокойтесь! Вы раздражены... это вам вредно! Конечно, я пойду и узнаю, что там с экипажем.

Я и сам уже сыт всем этим по горло. Я поговорю с ними, предложу им разойтись по домам...

И, несмотря на протест Лебрехта Крегера, несмотря на то что старик холодно и уничижительно отдал приказ: «Стоп! Ни с места! Вы роняете свое достоинство, Будденброк!..» — консул быстро направился к выходу. Когда он открывал узенькую зеленую дверь, Зигизмунд Гош схватил его за плечо своей костлявой рукой и громким страшным шепотом спросил:

— Куда, господин консул?

На лице маклера залегло неисчислимое множество складок. Когда он выкрикнул: «Знайте, я готов говорить с народом!» — острый его подбородок, выражая отчаянную решимость, подтянулся почти к самому носу, седые волосы упали на виски и мрачный лоб, а голову он так втянул в плечи, что и впрямь казался горбуном.

— Нет, уж лучше предоставьте это мне, Гош,— сказал консул.— У меня наверняка больше знакомых среди этих людей...

— Да будет так! — беззвучно отвечал маклер.— Вы человек более известный.— И уже громче продолжал: — Но я пойду с вами, я буду подле вас, консул Будденброк! Пусть ярость восставших рабов обрушится и на меня!.. Ах, какой день и какой вечер! — произнес маклер Гош уже за дверью; можно с уверенностью сказать, что он никогда не чувствовал себя столь счастливым.— О господин консул! Вот он, народ!

Через коридор они вышли на крыльцо и остались стоять на верхней из его трех ступенек. Улица имела вид необычный: она словно вымерла, и только в открытых и уже освещенных окнах теснились любопытные, вглядываясь в темневшую перед домом городской думы толпу бунтовщиков. Толпа эта численностью не намного превосходила собравшихся в зале и состояла из молодых грузчиков, складских рабочих, рассыльных, учеников городского училища, нескольких матросов с торговых судов и прочих обитателей городского захолустья, всех этих «тупиков», «проездов», «проулков» и «задворок». В толпу затесались и три или четыре женщины, видимо надеявшиеся, вроде будденброковской кухарки, извлечь из всего происходящего какие-то личные выгоды. Некоторые инсургенты, устав от долгого стояния, уселись прямо на панель, спустили ноги в водосточные канавки и закусывали бутербродами.

Время близилось к шести часам; сумерки уже сгустились, но фонари, подвешенные на протянутых через улицу цепях, не были зажжены. Такое явное и неслыханное нарушение порядка

сразу вывело из себя консула и заставило его обратиться к толпе тоном раздраженным и резким:

— Эй, ребята, что за ерунду вы затеяли?

Те, что надумали было поужинать, немедленно вскочили на ноги. Стоявшие на противоположном тротуаре поднялись на цыпочки. Несколько грузчиков, служивших у консула, сняли шапки. Толпа насторожилась, затопталась на месте, заговорила приглушенными голосами:

— Да это ж консул Будденброк! Консул Будденброк хочет речь держать! Заткнись, Кришан, этому если вожжа попадет под хвост, так уж держись! А вот маклер Гош! Глянь-ка, глянь! Обезьяна, да и только! У него, верно, в голове не все дома, а?

— Корл Смолт! — снова начал консул, глядя в упор своими маленькими, глубоко сидящими глазами на одного из складских рабочих, кривоногого парня лет двадцати двух, который стоял возле самого крыльца с шапкой в руке и жевал булку.— Ну, говори хоть ты, Корл Смолт! Пора уж! Вы тут околачиваетесь с самого обеда...

— Верно, господин консул! — с набитым ртом пробурчал Корл Смолт.— Это уж что и говорить, дело такое... Значит, до точки дошло... Мы революцию делаем...

— Что за ерунду ты мелешь, Смолт!

— Эх, господин консул, это вы так говорите, а коли до точки дошло... недовольны мы, как оно есть. Нам подавай другой порядок... Как оно есть — никуда не годится...

— Послушай, Смолт, да и вы, ребята! Кто поумнее, отправляйтесь-ка по домам, не суйтесь в революцию и не нарушайте порядка.

— Священного порядка! — свистящим шепотом перебил консула маклер Гош.

— Еще раз повторяю, не нарушайте порядка! —внушительно произнес консул.— Смотрите, даже фонари не зажжены... Уж больно вы далеко зашли с вашей революцией...

Но Корл Смолт уже дожевал булку и теперь, стоя впереди толпы на широко расставленных ногах, решил привести свои доводы.

— Эх, господин консул, вам легко говорить! Да нам-то вот охота, чтоб был всеобщий принцип... избирательных прав...

— Бог ты мой, что за дурень! — воскликнул консул.— Нет, ты подумай, какую ты несешь околесицу...

— Эх, господин консул.— Корл Смолт несколько оробел.— Так-то оно так, а только нам революция нужна, это уж как пить дать. Сейчас везде революция, в Берлине, в Париже.

— Ну, так чего же вы хотите, Смолт? Говори же наконец!

— Эх, господин консул, я же сказал: республику хотим, так и говорю...

— Ну и дурак же ты! Да ведь у нас и без того республика.

— Эх, господин консул, так нам, значит, другую надо.

В толпе кто-то, лучше разбиравшийся в политике, начал раскатисто и весело смеяться. И хотя большинство не расслышало слов Корла Смолта, но веселость стала быстро распространяться, пока не охватила всю толпу республиканцев. У окон зала появились любопытные с пивными кружками в руках. И только Зигизмунд Гош был разочарован, более того — обижен таким оборотом событий.

— Ну, ребята,— сказал под конец консул Будденброк,— теперь, по-моему, вам самое лучшее разойтись по домам.

На что Корл Смолт, несколько растерянный от произведенного им впечатления, ответил:

— Да-а, господин консул, этак тоже ладно! Я и сам рад. Дело-то как-нибудь утрясется, а вы уж за обиду не считайте... Счастливо оставаться, господин консул!

Толпа в наилучшем настроении начала расходиться.

— Эй, Смолт, погоди-ка минуточку! — крикнул консул.— Не попадался тебе на глаза крегеровский экипаж? Ну, знаешь, карета от Городских ворот?

— Как же, господин консул! Попадалась! Она вниз поехала, к вам на двор. Там и дожидается...

— Хорошо, сбегай-ка поживее, Смолт, и вели Иохену подавать. Господину Крегеру пора ехать домой.

— Слушаюсь, господин консул!..— И Корл Смолт, нахлобучив фуражку так, что кожаный козырек почти закрыл ему глаза, неровной торопливой походкой пустился вниз по улице.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда консул и Зигизмунд Гош воротились в зал, там все выглядело значительно веселее, чем четверть часа назад. На столе председателя горели две большие парафиновые лампы, отбрасывая желтоватый свет на бюргеров, которые — кто сидя, кто стоя — наливали пиво в блестящие кружки, чокались и переговаривались громко и благодушно. Г-жа Зуэркрингель, вдова, за это время наведалась к ним, выказала самое сердечное сочувствие к участи своих отрезанных от мира гостей и

со свойственным ей красноречием убедила их в необходимости подкрепиться: кто знает, сколько еще времени продлится осада. Так извлекла она пользу из смутных времен и сбыла значительную часть имевшегося у нее запаса светлого и довольно хмельного пива. Когда оба парламентера входили в зал, добродушно улыбающийся слуга с засученными рукавами вновь притащил изрядное количество бутылок. И хотя наступил вечер и было уже слишком поздно для того, чтобы пересматривать конституцию, никто не хотел прерывать собрания и отправляться домой. Питье кофе на сей раз было решительно отставлено.

Пожав немало рук в ответ на сыпавшиеся на него поздравления, консул поспешил подойти к тестю. Лебрехт Крегер был, наверно, единственный, чье настроение не изменилось к лучшему. Высокий, надменный, молчаливый, он сидел на прежнем месте и на сообщение консула, что экипаж сию минуту будет подан, ответил иронически, голосом, дрожавшим не столько от старости, сколько от горечи и обиды: «Так, значит, чернь соизволила разрешить мне возвратиться домой?»

Деревянными движениями, нимало не напоминавшими его обычную изящную жестикуляцию, он оправил накинутую ему на плечи шубу и с небрежным «merci» оперся на руку зятя, предложившего ему себя в провожатые.

Величественная карета с двумя большими фонарями по обе стороны козел уже стояла на улице, где, к вящему удовлетворению консула, наконец-то начали зажигать фонари; они сели в нее и захлопнули дверцы. Прямой, безмолвный, неподвижный, с ногами, укутанными меховой полостью, сидел Лебрехт Крегер по правую руку от консула, когда экипаж катился по улицам, и от презрительно опущенных уголков его рта, полускрытого короткими седыми усами, вниз к подбородку сбегали теперь две глубокие вертикальные складки. Гнев от пережитого унижения точил и грыз душу старика. Его глаза, тусклые и безучастные, уставились на пустое переднее сиденье.

Улицы были оживленнее, чем в иной воскресный вечер. Всюду царило праздничное настроение. Народ, радуясь благополучному исходу революции, допоздна не расходился по домам. Время от времени раздавалось пение. Кое-где мальчишки, завидев карету, кричали «ура» и кидали в воздух шапки.

— Право же, отец, я считаю, что вы слишком близко принимаете все это к сердцу,— начал консул.— Если подумать,— какая все это чепуха! Фарс! — И для того чтобы добиться от

старика ответа или хотя бы заставить его что-нибудь сказать, консул стал оживленно распространяться о революции вообще: — Если бы неимущие массы могли понять, как плохо служат они сейчас своим собственным интересам... И ведь везде одно и то же! Сегодня днем у меня был разговор с маклером Гошем, этим чудаком, который на все смотрит глазами поэта и драматурга... Да, отец, революция подготовлялась в Берлине досужими разговорами в эстетических салонах. А теперь народ взялся ее отстаивать, не щадя своей шкуры. Выиграет ли он от этого? Бог весть.

— Хорошо, если бы вы открыли окно с вашей стороны,— произнес г-н Крегер.

Иоганн Будденброк бросил на него быстрый взгляд и поспешно опустил стекло.

— Вы не совсем здоровы, отец? — озабоченно спросил он.

— Нет, я здоров,— строго отвечал Лебрехт Крегер.

— Вам нужно подкрепиться и отдохнуть,— сказал консул и, чтобы хоть что-нибудь сделать, поправил меховую полость на ногах тестя.

Вдруг — экипаж в это время громыхал по Бургштрассе — случилось нечто ужасное! Когда шагах в пятнадцати от обрисовывавшихся во мраке Городских ворот карета поравнялась с шумливой кучкой разгулявшихся уличных мальчишек, в ее открытое окно влетел камень. Это был безобидный камешек, величиной не больше голубиного яйца, и его несомненно без всякого злого умысла, скорей всего даже не целясь, а просто так, во славу революции, подбросила в воздух рука какого-нибудь Кришана Снута или Гайне Фосса. Он беззвучно влетел в окно, беззвучно ударился о покрытую толстым мехом грудь Лебрехта Крегера и так же беззвучно скатился по меховой полости и остался лежать на полу.

— Дурацкое озорство! — сердито произнес консул.— Что они сегодня, все с ума посходили, что ли?.. Надеюсь, он не ушиб вас, отец?

Старик Крегер молчал, как-то страшно молчал. В карете было слишком темно, чтобы консул мог различить выражение его лица. Видно было только, что он сидел еще прямее, надменнее, неподвижнее, по-прежнему не прислоняясь к подушкам. И только минуту-другую спустя, казалось из самых глубин его существа, послышалось медленно, холодно, брезгливо произнесенное слово: «Сброд!»

Боясь еще больше раздражить старика, консул ничего не ответил. Карета проехала под гулкими воротами и минуты

через три катилась уже вдоль решетки с позолоченными остриями, огораживавшей крегеровские владения. На обоих столбах широких въездных ворот, за которыми сразу начиналась каштановая аллея, ведущая к террасе, ярко горели фонари с позолоченными шишечками вверху. Консул содрогнулся, когда свет упал на лицо его тестя: оно было желто, дрябло и все изрыто морщинами. Высокомерное, упрямое и презрительное выражение, которое до последней минуты хранил его рот, сменилось расслабленной, кривой и нелепой старческой гримасой. Экипаж остановился у террасы.

— Помогите мне,— сказал Лебрехт Крегер, хотя консул, вылезший первым, уже успел откинуть меховую полость и подставить ему свою руку и плечо для опоры. Он медленно повел тестя по усыпанной гравием дорожке к сияющей белизною лестнице. Но старик еще не успел взойти и на первую ступеньку, как у него подкосились колени, а голова так тяжело упала на грудь, что отвисшая нижняя челюсть громко стукнулась о верхнюю. Глаза его закатились и померкли.

Лебрехт Крегер, cavalier à la mode, отошел к праотцам.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Год и два месяца спустя, в одно мглистое снежное утро 1850 года, чета Грюнлих и Эрика, их трехлетняя дочка, сидели в обшитой светлыми деревянными панелями столовой на стульях ценою по двадцать пять марок и завтракали.

За окнами в тумане лишь смутно угадывались обнаженные деревья и кусты. В низенькой, облицованной зеленым кафелем печке, рядом с растворенной дверью в будуар, где стояли всевозможные комнатные растения, потрескивали охваченные жаром дрова, наполняя комнату отрадным и пахучим теплом. Напротив печи, за полураздвинутыми портьерами из зеленого сукна, открывался вид на коричневую шелковую гостиную с высокой застекленной дверью, все щели которой были обиты ватными роликами, и маленькую террасу за ней, расплывавшуюся в густой снежной мгле. Третья дверь, сбоку, вела в коридор.

Круглый стол, с белоснежной скатертью и с вышитой зеленым дорожкой посередине, был уставлен фарфоровой посудой с золотыми ободками, до того прозрачной, что временами она мерцала, как перламутр. Шумел самовар. В плоской сухарнице из тонкого серебра, имевшей форму чуть свернувшегося зубчатого листа, лежали непочатые и нарезанные ломти-

ками сдобные булочки. Под одним хрустальным колпаком горкой высились маленькие рифленые шарики масла, под другим был разложен сыр разных сортов — желтый, светлый с зелеными мраморными прожилками и белый. Перед прибором хозяина стояла бутылка красного вина,— г-ну Грюнлиху всегда подавался горячий завтрак.

С тщательно расчесанными бакенбардами, в этот утренний час еще более розовощекий, чем обычно, он сидел спиною к гостиной, уже совсем одетый — в черном сюртуке, в светлых клетчатых брюках,— и поедал непрожаренную, на английский манер, котлету. Его супруга находила это блюдо «аристократичным», но в то же время и до того отвратительным, что никак не могла решиться и для себя заменить таким завтраком привычные яйца всмятку и хлеб.

Тони была в пеньюаре; она обожала пеньюары. Что может быть «аристократичнее» изящного неглиже! А так как в родительском доме ей нельзя было удовлетворить эту страсть, то она с тем большим рвением предалась ей, став замужней дамой. У нее было три таких утренних наряда — мягких, ласкающих, для создания которых требовалось больше изощренной фантазии и вкуса, чем для иного бального платья. Сегодня на ней был темно-красный утренний туалет — цвет его точно соответствовал обоям над деревянной панелью — из мягкой, как вата, материи с вытканными по ней большими цветами и покрытой россыпью крохотных красных бисеринок. От ворота до подола по пеньюару каскадом струились темно-красные бархатные ленты; бархатная же лента скрепляла ее густые пепельные волосы, завитками спадавшие на лоб. Хотя она, как ей и самой это было известно, достигла теперь полного расцвета, ребячески наивное и задорное выражение ее чуть оттопыренной верхней губки оставалось таким же, как прежде. Веки ее серо-голубых глаз слегка закраснелись — она только что умылась холодной водой; ее руки — коротковатые, но тонкие, будденброковские руки, с нежными запястьями, выступавшими из бархатных обшлагов пеньюара, в силу каких-то причин отрывистее и торопливее обычного расставляли тарелки, ножи и ложки.

Рядом с ней, на высоком детском стульчике, в забавно бесформенном вязаном платьице из голубой шерсти сидела маленькая Эрика, упитанный ребенок со светлыми кудряшками. Уткнувшись в большую чашку, которую она крепко держала обеими ручками, девочка тянула свое молоко, посапывая и жалобно вздыхая.

Госпожа Грюнлих позвонила, и Тинка, горничная, вошла в столовую, чтобы вынуть девочку из высокого стула и отнести наверх, в детскую.

— Поди погуляй с нею полчасика, Тинка,— распорядилась Тони,— но не больше. И надень на нее теплую кофточку, слышишь?.. Сегодня туман.

Супруги Грюнлих остались одни.

— Ты просто смешон,— сказала Тони после недолгой паузы, явно продолжая прерванный разговор.— Какие у тебя возражения? Приведи их! Не могу же я вечно возиться с ребенком!..

— Ты плохая мать, Антония.

— Плохая мать? Да я просто не успеваю. Хозяйство отнимает у меня все время! Я просыпаюсь с двадцатью замыслами в голове, которые нужно осуществить за день, и ложусь с сорока новыми, к исполнению которых я еще не приступила!..

— У нас две прислуги. Такая молодая женщина...

— Две прислуги? Вот это мило! Тинка моет посуду, чистит платье, убирает, подает к столу. У кухарки дел выше головы: ты с самого утра уже ешь котлеты... Подумай номножко, Грюнлих! Рано или поздно к Эрике придется взять бонну-воспитательницу.

— Нам не по средствам с этих лет держать для нее особого человека.

— Не по средствам? О, боже! Нет, ты действительно смешон! Да что мы, нищие, чтобы отказывать себе в самом необходимом? Насколько мне известно, я принесла тебе восемьдесят тысяч приданого!..

— Ох, уж эти твои восемьдесят тысяч!

— Да, да! И нечего говорить о них с пренебрежением... Тебе это было не важно... ты женился на мне по любви — пусть так. Но ты, по-моему, меня вообще уже больше не любишь. Ты перечишь самым скромным моим желаниям. Ребенку не нужно особого человека!.. О карете, которая необходима нам, как хлеб насущный, давно уже и речи нет... Почему же ты настаиваешь на жизни за городом, если нам не по средствам держать экипаж и ездить в общество, как все люди? Почему ты недоволен, когда я бываю в городе? По-твоему, нам надо раз и навсегда зарыться в этой дыре и не видеть ни одного человека! Ты нелюдим!

Господин Грюнлих подлил себе вина, снял хрустальный колпак и, не удостаивая ее ответа, принялся за сыр.

— Не пойму, любишь ты меня или нет? — продолжала Тони.— Твое молчание до того неучтиво, что я считаю себя вправе напомнить тебе одну сцену у нас в ландшафтной... Тогда ты вел себя несколько иначе!.. Ты с самых первых дней редко-редко проводил со мной вечер, да и то уткнувшись в газету. Но поначалу ты хоть до известной степени считался с моими желаниями, а теперь и этого нет. Ты мной пренебрегаешь...

— А ты? Ты разоряешь меня.

— Я?.. Я тебя разоряю?

— Да. Ты разоряешь меня своей леностью, желанием все делать чужими руками, неразумными издержками.

— О, пожалуйста, не попрекай меня моим хорошим воспитанием! В родительском доме мне не приходилось и пальцем шевельнуть. Теперь — и мне это не легко далось — я свыклась с обязанностями хозяйки, но я вправе требовать, чтобы ты не отказывал мне в необходимом. Мой отец богатый человек: ему и в голову не могло прийти, что у меня будет недостаток в прислуге...

— Ну, так погоди нанимать еще одну, пока нам не будет проку от его богатства.

— Ты, кажется, желаешь смерти моему отцу? С тебя станется!.. Я только сказала, что мы состоятельные люди и я пришла к тебе не с пустыми руками!..

Господин Грюнлих, не переставая жевать, улыбнулся,— улыбнулся с видом превосходства, скорбно и молчаливо. Это смутило Тони.

— Грюнлих,— уже спокойнее сказала она,— ты улыбаешься, говоря о наших средствах... Может быть, я ошибаюсь относительно нашего положения? У тебя плохо идут дела? Может быть, ты...

В это мгновенье кто-то коротко и отрывисто постучал в дверь из коридора, и на пороге появился г-н Кессельмейер.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Оставив в передней пальто и шляпу, г-н Кессельмейер в качестве друга дома вошел без доклада и остановился в дверях. Внешность его точно соответствовала описанию, сделанному в свое время Тони в письме к матери. Ни тонкий, ни толстый, но коренастый, он был одет в черный, уже немного залоснившийся сюртук, в такие же немного коротковатые и

узкие брюки и белый жилет, на котором длинная и тонкая часовая цепочка перепутывалась с тремя шнурками от пенсне. Седые, коротко подстриженные и остроконечные бакенбарды почти целиком закрывали его румяные щеки, оставляя открытыми только подбородок и рот — маленький, подвижный, смешной, с двумя зубами на всю нижнюю челюсть. Когда г-н Кессельмейер, засунув руки в карманы панталон, остановился в дверях, с видом рассеянным, таинственным и отсутствующим, эти два его желтых конусообразных зуба уперлись в верхнюю губу. Черно-белый пух на его голове легонько трепыхался, хотя в комнате не замечалось ни малейшего дуновения.

Наконец он вытащил руки из карманов, наклонился — при этом нижняя губа его отвисла — и с трудом высвободил один шнурок из клубка на своей груди. Затем, скорчив нелепейшую гримасу, одним взмахом насадил пенсне на нос, окинул взором чету Грюнлих и проговорил: «Ага!»

Господин Кессельмейер то и дело прибегал к этому междометию, а потому необходимо сказать, что бесконечные «ага» произносились им всякий раз по-другому и достаточно своеобразно. Он умел восклицать «ага», сморщив нос и закинув голову, с разверстым ртом и махая в воздухе руками, или, напротив, в нос, протяжно, с металлической поткой в голосе, так что это напоминало гуденье китайского гонга. Иногда он пренебрегал разнообразием оттенков и просто бормотал «ага» быстро, ласковой скороговоркой, что, пожалуй, выходило еще смешнее, ибо печальное «ага» звучало в его устах как-то гнусаво и уныло. На сей раз пресловутое междометие, сопровожденное судорожным кивком головы, было произнесено так приветливо и весело, что явно должно было свидетельствовать об отличном расположении духа г-на Кессельмейера. Но тут-то и надо было держать ухо востро, ибо чем коварнее были замыслы почтенного банкира, тем веселее он казался. Когда г-н Кессельмейер подпрыгивал на ходу, непрестанно бормоча «ага», насаживал пенсне на нос и вновь его ронял, махал руками, неумолчно болтал, словно одержимый приступом шутовства, можно было с уверенностью сказать, что душу его снедает злоба. Г-н Грюнлих, прищурившись, взглянул на него с нескрываемой опаской.

— Так рано? — удивился он.

— Ага,— ответил г-н Кессельмейер и помахал в воздухе своей красной, сморщенной ручкой, словно желая сказать: потерпи немного, сейчас будет тебе сюрприз!..— Мне нужно поговорить с вами, почтеннейший, и к тому же безотлагатель-

по! — И до чего же смешно он это сказал! Каждое слово он сначала как-то перекатывал во рту и потом выпаливал его со всей силой, на которую были способны его беззубые подвижные челюсти. «Р» раскатилось так, словно нёбо у него было смазано жиром.

Взгляд г-на Грюнлиха сделался еще тревожнее.

— Входите же, господин Кессельмейер,— сказала Тони.— Садитесь. Как мило, что вы пришли... Вы, кстати, будете у нас третейским судьей. Мы только что повздорили с Грюнлихом... Ну, скажите: нужна трехлетнему ребенку бонна или нет? Говорите прямо.

Но г-н Кессельмейер попросту не заметил ее. Он сел, постарался как можно шире раскрыть свой крохотный ротик, сморщил нос, почесал указательным пальцем в бакенбарде, отчего возник нестерпимо нервирующий звук, и с сияющим радостью лицом уставился поверх пенсне на нарядно сервированный стол, на серебряную сухарницу, на этикетку бутылки.

— Грюнлих утверждает,— продолжала Тони,— что я его разоряю.

Тут г-н Кессельмейер взглянул сначала на нее, потом на г-на Грюнлиха и, наконец, разразился гомерическим хохотом.

— Вы разоряете его?..— восклицал он.— Вы, вы его разо... Так, значит, вы его разоряете? О, господи ты боже мой, вот уж разодолжил! Забавно! В высшей степени забавно! — Засим последовал целый поток разнообразнейших «ага».

Господин Грюнлих ерзал на стуле и явно нервничал. Он то засовывал за воротничок длинный указательный палец, то судорожно оглаживал свои золотисто-желтые бакенбарды.

— Кессельмейер,— сказал он наконец.— Успокойтесь-ка! Вы что, с ума сошли? Перестаньте хохотать! Налить вам вина? Или, может быть, хотите сигару? Что, собственно, вас так смешит?

— Что меня смешит?.. Да, да! Налейте мне вина и сигару тоже дайте... Что меня смешит? Итак, значит, вы считаете, что ваша супруга вас разоряет?

— У нее непомерная склонность к роскоши,— досадливо отвечал г-н Грюнлих.

Тони отнюдь этого не оспаривала. Откинувшись на стуле и небрежно играя лентами своего пеньюара, она отвечала, задорно оттопырив верхнюю губку:

— Да, такая уж я. Ничего не поделаешь. Это у меня от мамы,— все Крегеры спокон веков питают склонность к роскоши.

С таким же спокойствием она объявила бы себя легкомысленной, вспыльчивой, мстительной. Резко выраженный родовой инстинкт лишал ее представления о свободной воле и моральной независимости и заставлял с фаталистическим равнодушием отмечать свойства своего характера, не пытаясь исправлять их или хотя бы здраво оценивать. Она безотчетно полагала, что любое ее свойство — плохое или хорошее — является наследственным, традиционным в ее семье, а следовательно, высоко достойным и бесспорно заслуживающим уважения.

Господин Грюнлих окончил свой завтрак, и аромат двух сигар смешался с теплым запахом горящих дров.

— Курится у вас, Кессельмейер? — осведомился хозяин.— А то возьмите другую. Я вам налью еще вина... Итак, вы хотели поговорить со мной? Что-нибудь спешное?.. Важное дело? Мы потом вместе поедем в город... Вам не кажется, что здесь жарковато?.. В курительной у нас прохладнее...

Но в ответ на все эти заигрывания г-н Кессельмейер только помахивал в воздухе рукой, как бы говоря: напрасно стараешься, голубчик!

Наконец все поднялись из-за стола. Тони осталась в столовой, чтобы присмотреть за горничной, убиравшей посуду, а г-н Грюнлих повел своего гостя через будуар в курительную. Г-н Грюнлих понуро шел впереди, рассеянно теребя левую бакенбарду; г-н Кессельмейер, загребая руками воздух, следовал за ним, пока оба не скрылись в курительной комнате.

Прошло минут десять. Тони зашла в гостиную, чтобы метелочкой из пестрых перьев собственноручно смахнуть пыль с полированной доски крохотного орехового секретера и с гнутых ножек овального стола, затем медленно прошествовала через столовую. Она ступала неторопливо и величаво. В качестве мадам Грюнлих мадемуазель Будденброк нимало не поступилась чувством собственного достоинства. Она держалась всегда прямо и на все взирала сверху вниз. Держа в одной руке изящную лакированную корзиночку для ключей, а другую засунув в карман темно-красного пеньюара, она двигалась плавно, стараясь, чтобы длинные складки мягкой ткани красиво ложились на ее фигуре; но наивно-чистое выражение ее рта сообщало этой величавости вид детской игры, что-то бесконечно ребячливое и наивное.

В будуаре она задержалась, чтобы полить из маленькой медной лейки цветы и декоративные растения. Тони любила свои пальмы за то, что они придавали ее дому «аристокра-

тизм». Она заботливо ощупала молодой побег на одном из толстых круглых стволов, с нежностью потрогала пышно распустившееся опахало и кое-где срезала ножницами пожелтевшие острия листьев. Внезапно она насторожилась. Голоса в курительной комнате, уже в течение нескольких минут весьма оживленные, стали настолько громкими, что, несмотря на плотно затворенную дверь и тяжелую портьеру, здесь было слышно каждое слово.

— Да не кричите вы так! Умерьте, ради бога, свой пыл! — восклицал г-н Грюнлих; его бархатный голос не вынес перенапряжения и, «пустив петуха», вдруг сорвался.— Возьмите еще сигару,— продолжал он с кротостью отчаяния.

— С величайшим удовольствием, благодарствуйте! — отвечал банкир, после чего наступила пауза: г-н Кессельмейер, видимо, закуривал. Наконец он произнес: — Короче говоря, угодно вам или не угодно? Одно из двух!

— Кессельмейер, продлите!

— Ага? Ну нет, почтеннейший, об этом не может быть и речи!..

— Почему? Какая муха вас укусила? Будьте же разумны, ради всего святого! Вы так долго ждали...

— Больше я не намерен ждать ни одного дня, почтеннейший! Ну, бог с вами — неделю, но ни часа более! Разве теперь хоть кто-нибудь может положиться на...

— Не называйте имени, Кессельмейер!

— Не называть имени? Сделайте одолжение. Разве кто-нибудь еще может положиться на вашего достопочтенного тес...

— Замолчите, Кессельмейер, я же вас просил!.. Боже милостивый, да перестаньте вы дурачиться!

— Будь по-вашему! Ну, так разве кто-нибудь еще может положиться на некую фирму, от которой целиком и полностью зависит ваш кредит, почтеннейший? Сколько она потеряла в связи с бременским банкротством? Пятьдесят тысяч? Семьдесят? Сто? И того больше? Каждый ребенок знает, что она пострадала на этом деле, очень пострадала. Это не может не отозваться на ее репутации. Вчера ваш... ладно, молчу, молчу!.. Вчера дела некоей фирмы шли бойко, и она, сама того не зная, вызволяла вас из беды; сегодня дела у нее идут тихо, а у Грюнлиха, следовательно, тише тихого!.. Ясно как божий день! Неужто вы этого не заметили? Уж кто-кто, а вы-то должны были почувствовать... Как с вами разговаривают? Как на вас смотрят? Бок и Гудштикер, конечно, сама предупредительность и доверие... А кредитный банк?..

— Он продлил.

— Ага? А вот и врете! Я знаю, что они еще вчера выставили вас за дверь! Или это было сделано в виде особого поощрения, а? Ну да ладно!.. Что это вы застеснялись? Понятно, в ваших интересах внушить мне, что другие еще и не думают тревожиться... Но меня-то не проведешь, почтеннейший! Пишите консулу. Я жду еще неделю.

— Договоримся о частичном погашении, Кессельмейер!

— Нет уж, увольте! На частичные погашения люди соглашаются для того, чтобы проверить платежеспособность клиента! А в вашем случае мне вряд ли надо *проверять*! Я, к сожалению, слишком хорошо знаю, как обстоит дело с вашей платежеспособностью! Ага-ага!.. Частичное погашение? Забавно!..

— Да не кричите вы так, Кессельмейер! И не смейтесь вашим богомерзким смехом! Мое положение серьезно,— да, я сам признаю, очень серьезно. Но у меня намечается много разных дел... Все еще может обернуться к лучшему... Слушайте, что я вам скажу: продлите, и я вам дам двадцать процентов...

— Не пройдет, не пройдет, почтеннейший! Забавно! Всему свое время! Вы предложили мне восемь процентов, и я продлил; предложили двенадцать, потом шестнадцать — я каждый раз продлевал. Теперь предлагайте хоть сорок, я и не подумаю согласиться... и не подумаю, почтеннейший!.. С тех пор как братья Вестфаль в Бремене сели в лужу, все только и мечтают распутаться с некоей фирмой и обезопасить себя. Я уже сказал: всему свое время! Я держал ваши векселя, пока Иоганн Будденброк крепко стоял на ногах!.. А я ведь имел полную возможность присчитать невыплаченные проценты к капиталу, а с вас содрать не восемь процентов, а побольше! Вы должны знать, что ценные бумаги держат на руках, покуда они поднимаются в цене или хоть стоят на приличном уровне... А начнут падать — так продавай!.. Короче говоря, мне нужен мой капитал!

— Кессельмейер, побойтесь бога!

— А-ага! Бога? Нет, это забавно! Да чего вы, собственно, хотите? Вам, как ни верти, придется обратиться к тестю! Кредитный банк в ярости, да и перед другими у вас рыльце в пуху.

— Нет, Кессельмейер... Заклинаю вас, выслушайте меня наконец спокойно! Я ничего не скрываю, я открыто признался

вам, что положение мое серьезно. Вы и кредитный банк ведь не единственные... Мои векселя поданы ко взысканию... Все точно сговорились...

— Вполне понятно! При таких обстоятельствах... Нашли чему удивляться!

— Нет, Кессельмейер, выслушайте меня!.. Сделайте одолжение, возьмите еще сигару...

— Да я и эту до половины не докурил! Отвяжитесь от меня с вашими сигарами! Платите деньги!..

— Кессельмейер, не сталкивайте меня в пропасть! Вы мне друг, вы сидели за моим столом...

— А вы за моим не сидели, почтеннейший?

— Да, да!.. Но не отказывайте мне в кредите, Кессельмейер!..

— В кредите? Так вы еще кредита захотели? Нет, вы, наверно, рехнулись! Новый заем?!

— Да, Кессельмейер, заклинаю вас... Немного, сущие пустяки! Если я произведу кое-какие уплаты и частичные погашения, я верну себе доброе имя, и все опять будут терпеливо ждать... Поддержите меня ради собственной выгоды! Говорю вам, у меня наклевываются крупные дела. Все уладится... Вы же знаете, я человек живой и находчивый...

— Вы дурак и балда, почтеннейший! Может быть, вы будете так любезны сообщить мне, что еще вы надеетесь найти со всей вашей находчивостью? Банк, который даст вам хоть ломаный грош? Или еще одного тестя?.. Ну нет, лучшая из ваших афер уже позади! Второй раз такую штуку не выкинешь! Это было ловко сделано, ничего не скажешь! Что ловко, то ловко!

— Да тише вы, черт возьми!..

— Дурак! Живой и находчивый? Может быть! Да только не для себя! Щепетильностью от вас и не пахнет, а своей выгоды соблюсти не умеете... Мошенническим способом нажили капитал и теперь платите мне вместо двенадцати шестнадцать процентов. Вышвырнули за борт свою честность и гроша ломаного на этом не заработали. Совести у вас не больше, чем у разбойника на большой дороге, и при всем этом вы разиня, неудачник, жалкий дурак! Есть такие люди на свете. Забавный народ, очень забавный!.. Почему вы, собственно, так боитесь выложить всю эту историю упомянутому лицу? Потому что вам будет как-то не по себе? Потому что и тогда, четыре года назад, не все было в порядке? Не так-то чисто

обстояло дело, а? Вы боитесь, как бы не выплыло на свет божий, что...

— Хорошо, Кессельмейер, я напишу. Но если он откажет? Если он не захочет поддержать меня?..

— Ага! В таком случае вы будете банкротом, маленьким, забавным банкротиком, почтеннейший! Меня это мало беспокоит, очень мало! Что касается меня, то проценты, которые вы каждый раз наскребали с таким трудом, уже почти покрыли мои издержки. Кроме того, в конкурсном управлении за мной будет преимущественное право. И я, заметьте себе, внакладе не останусь. Я знаю, как с вами обходиться, уважаемый! Инвентарная опись уже составлена и лежит у меня в кармане... ага! Я уж сумею позаботиться, чтобы ни одна серебряная сухарница, ни один пеньюар не ушли на сторону...

— Кессельмейер, вы сидели за моим столом...

— Отвяжитесь от меня с вашим столом!.. Через неделю я явлюсь за ответом. А сейчас я пойду в город, моцион будет мне очень и очень полезен. Всего наилучшего, почтеннейший! Всех благ!..

Господин Кессельмейер, видимо, поднялся. Да, он вышел. В коридоре послышались его смешные шаркающие шажки. Вот он идет и, верно, загребает руками воздух.

Когда г-н Грюнлих вошел в будуар, Тони, стоявшая там с медной лейкой в руке, посмотрела ему прямо в глаза.

— Ну что ты стоишь? Что ты на меня уставилась? — оскалился он. Руки его в это время выписывали какие-то кренделя в воздухе, а туловище раскачивалось из стороны в сторону. Розовое лицо г-на Грюнлиха не обладало способностью бледнеть,— оно пошло красными пятнами, как у больного скарлатиной.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Консул Будденброк прибыл в дом Грюнлихов часов около двух; в сером дорожном пальто он вошел в гостиную и со скорбной нежностью обнял дочь. Он был бледен и казался постаревшим. Его маленькие глаза еще глубже ушли в орбиты, нос из-за ввалившихся щек казался острее, губы тоньше, чем обычно; борода, которую он последнее время уже не носил в виде двух курчавых полосок, сбегавших с висков, теперь свободно росла под подбородком и, наполовину скрытая стоячими воротничками и высоко замотанным шейным платком, была почти так же седа, как и волосы на его голове.

Консулу пришлось пережить тяжелые, волнующие дни. У Томаса открылось кровохарканье; ван Келлен письмом известил отца о случившейся беде. Консул сдал все дела на руки своему верному управляющему и кратчайшим путем поспешил в Амстердам. На месте выяснилось, что болезнь не угрожает его сыну непосредственной опасностью, но врачи настоятельно рекомендовали Томасу подышать теплым воздухом на юге Франции, и так как оказалось, что сын его принципала, по счастливой случайности, тоже собирается на отдых в те края, то, едва только Томас достаточно окреп для путешествия, оба молодых человека отбыли в По.

Не успел консул вернуться домой, как его уже ждал новый удар, на краткий срок до основанья потрясший фирму,— бременское банкротство, вследствие которого консул в одно мгновенье потерял восемьдесят тысяч марок. Как это случилось? А так, что его векселя, дисконтированные «Бр. Вестфаль», по случаю прекращения платежей последними были возвращены фирме. Их оплата последовала, конечно, без промедления; фирма показала, на что она способна, без проволочек, без замешательства. И все же консулу пришлось столкнуться с той внезапной холодностью, сдержанностью, недоверием, которые вызывает у банков, у «друзей», у заграничных фирм такой несчастный случай, такое резкое уменьшение оборотного капитала.

Что ж, он собрался с силами! Все обдумал, взвесил, всех успокоил, упорядочил дела, отбил нападение. Но в разгаре всей этой суматохи, среди потока депеш, писем, счетов свалилась еще и эта новая беда: Грюнлих, «Б. Грюнлих», муж его дочери, прекратил платежи и в длинном сумбурном и бесконечно жалобном письме просил, вымаливал, клянчил у тестя ссуду от ста до ста двадцати тысяч! Консул коротко, не вдаваясь в подробности, дабы не слишком встревожить жену, сообщил ей о случившемся, холодно, ничего не обещая, ответил зятю, что должен прежде всего лично переговорить с ним и с упомянутым в его письме банкиром Кессельмейером, и выехал в Гамбург.

Тони приняла его в гостиной. Для нее не было большего удовольствия как принимать гостей в коричневой шелковой гостиной; а так как, не представляя себе истинного положения дел, она все же была проникнута сознанием важности и торжественности происходящего, то не сделала исключения и для отца. Она выглядела цветущей, красивой и важной в светло-сером платье с кружевами на лифе и на пышных рукавах, с бриллиантовой брошкой у ворота.

— Добрый день, папа, наконец-то ты снова у нас! Как мама?.. Хороши ли вести от Тома?.. Раздевайся же, садись, папочка! Может быть, ты хочешь привести себя в порядок с дороги? Наверху, в комнате для гостей, все уже приготовлено... Грюнлих тоже сейчас одевается...

— Не торопи его, дитя мое. Я подожду здесь, внизу. Ты знаешь, что я приехал для собеседования с твоим мужем? Для весьма, весьма важного собеседования, дорогая моя Тони. А что, господин Кессельмейер здесь?

— Да, папа, он сидит в будуаре и рассматривает альбом.

— А где Эрика?

— Наверху, в детской, с ней Тинка. Она чувствует себя превосходно и сейчас купает свою восковую куклу... ну, конечно, не в воде, а так, «понарошку»...

— Я понимаю.— Консул перевел дыханье и продолжал: — Мне кажется, дитя мое, что ты не вполне осведомлена... о положении, о положении дел твоего мужа.

Он сидел в одном из кресел у большого стола; Тони прикорнула у его ног на пуфе, состоявшем из трех шелковых подушек, косо положенных одна на другую. Пальцами правой руки консул медленно перебирал бриллиантовые подвески на ее брошке.

— Нет, папа,— отвечала Тони,— откровенно говоря, я ничего не знаю. Я ведь на этот счет дурочка, ни о чем таком понятия не имею! На днях я слышала кое-что из разговора Кессельмейера и Грюнлиха... Но под конец мне показалось, что господин Кессельмейер опять шутит... Что бы он ни сказал, всегда выходит ужасно смешно. Раз или два, впрочем, я разобрала твое имя...

— Мое имя? В какой связи?

— Вот этого-то я и не знаю, папа... Грюнлих с того самого дня только и делает, что злится. Просто невыносимо, должна тебе сказать! До вчерашнего вечера, впрочем. Вчера он размяк и раз десять, если не больше спрашивал, люблю ли я его и соглашусь ли замолвить за него словечко, если ему придется просить тебя кой о чем...

— Ах...

— Да, и еще он мне сказал, что послал тебе письмо и что ты приедешь... Хорошо, что ты уже здесь! У меня как-то неспокойно на душе... Грюнлих расставил ломберный стол и разложил на нем целую груду бумаги и карандашей... За этим столом вы будете совещаться — ты, он и Кессельмейер...

— Послушай, дитя мое,— сказал консул, гладя ее по волосам.— Я должен задать тебе один вопрос, вопрос весьма серьезный! Скажи мне... очень ты любишь своего мужа?

— Ну конечно, папа,— отвечала Тони с тем ребячески лицемерным выражением, которое появлялось на ее лице еще в давние времена, когда ее спрашивали: «Ты ведь не будешь больше дразнить кукольницу, Тони?»

Консул помолчал.

— Любишь ли ты его так,— снова спросил он,— что жить без него не можешь... не можешь, что бы ни случилось, а? Даже если, по воле божьей, его положение изменится и он уже не будет в состоянии окружать тебя... всем этим? — Консул повел рукой, и этот жест охватил мебель, портьеры, позолоченные часы на подзеркальнике и, наконец, платье Тони...

— Ну конечно, папа,— повторила Тони умиротворяющим тоном, к которому она обычно прибегала, когда с ней говорили серьезно. И вместо того чтобы посмотреть на отца, глянула в окно, за которым повисла тончайшая, почти сплошная сетка беззвучно моросящего дождя. В глазах ее отразилось то, что отражается в глазах ребенка, когда взрослый за чтением сказки вдруг начинает бестактнейшим образом высказывать собственные общие соображения касательно морали и долга,— то есть замешательство и нетерпение, притворное благонравие и досада.

Консул несколько мгновений, прищурившись, наблюдал за нею. Был ли он доволен ее ответом? Дома и по дороге сюда он все уже взвесил.

Каждому понятно, что первым и непосредственным побуждением Иоганна Будденброка было по мере сил вообще уклониться от помощи зятю. Но, вспомнив, с какой, мягко выражаясь, настойчивостью он содействовал этому браку, вспомнив, как смотрела на него Тони, его дитя, прощаясь с ним после свадьбы и спрашивая: «Доволен ты мною, папа?» — он не мог не осознать своей вины перед дочерью и не прийти к заключению, что ей, и только ей, надлежит решать в этом деле. Отлично зная, что не любовь толкнула ее на союз с г-ном Грюнлихом, он тем не менее считал возможным, что привычка и рождение ребенка многое могли изменить, могли заставить Тони душою и телом привязаться к мужу и теперь, по мотивам как христианским, так и житейским, отвергнуть даже самую мысль о разлуке с ним. «В таком случае,— размышлял консул,— я обязан пожертвовать любой суммой». Конечно, христианское чувство и супружеский долг предпи-

сывали Тони беспрекословно следовать за мужем и в несчастье; и в случае такого ее решения консул считал для себя невозможным ни за что ни про что обречь свою дочь на жизнь без привычных ей с детства удобств и удовольствий... Если так, то он обязан предотвратить катастрофу и любой ценой поддержать г-на Грюнлиха. Словом, все взвесив и обдумав, консул счел наиболее желательным взять к себе дочь вместе с ребенком, г-на же Грюнлиха оставить на произвол судьбы. Дай бог, конечно, чтоб до этого не дошло! Тем не менее он держал при себе статью закона, допускающую развод при неспособности супруга прокормить жену и детей. Но прежде всего необходимо дознаться, как смотрит на все это дочь.

— Я вижу,— сказал он, продолжая с нежностью гладить ее по волосам,— милое мое дитя, что ты воодушевлена самыми добрыми и достохвальными чувствами. Но все же мне не кажется, что ты смотришь на все происходящее так, как, увы, следует на это смотреть, то есть как на совершившийся факт. Я спрашивал тебя не о том, что бы ты сделала в одном или в другом случае, а о том, что ты решишь сделать теперь, сегодня, сию минуту. Я не уверен, что ты достаточно понимаешь положение или догадываешься о нем... И потому мне следует взять на себя печальную обязанность сообщить тебе, что твой муж прекратил платежи, что дела его, можно сказать, более не существует... Ты меня понимаешь, Тони?

— Грюнлих банкрот? — прошептала Тони, приподнимаясь и хватая консула за руку.

— Да, дитя мое,— скорбно подтвердил он.— Ты об этом не подозревала?

— Я не подозревала ничего определенного,— пролепетала она.— Так Кессельмейер, значит, не шутил?..— продолжала Тони, невидящим взором глядя на угол коричневого ковра.— О, господи! — внезапно простонала она и вновь опустилась на подушки.

Только сейчас открылось ей все, что таилось в слове «банкрот», все то смутное и жуткое, чего она безотчетно страшилась даже в раннем детстве. Банкрот! Это было хуже смерти. Это было смятенье, бедствие, катастрофа, позор, стыд, отчаяние и нищета!

— Грюнлих — банкрот! — повторила Тони; она была до того сражена и разбита этим роковым словом, что мысль о возможной помощи — помощи, которую бы мог оказать отец, даже не приходила ей в голову.

Консул, нахмурив брови, смотрел на нее своими маленькими, глубоко сидящими глазами, в которых сквозь печаль и усталость проглядывало напряженное ожидание.

— Итак, я спросил тебя,— мягко продолжал он,— дорогая моя Тони, пожелаешь ли ты разделить с мужем даже бедность? — Но тут же, почувствовав, что слово «бедность» инстинктивно сорвалось у него для устрашения, добавил: — Он может со временем снова встать на ноги...

— Конечно, папа,— отвечала Тони, но это не помешало ей разразиться слезами. Она плакала, уткнувшись в батистовый, обшитый кружевом платочек с меткой «А. Г.». Плакала, как в детские годы, не стесняясь и не жеманясь. Ее вздрагивавшая верхняя губка производила невыразимо трогательное впечатление.

Отец не сводил с нее испытующего взгляда.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сказала, дитя мое? — спросил он, чувствуя себя не менее беспомощным, чем она.

— Разве я не должна? — всхлипывала Тони.— Я ведь должна...

— Вовсе нет,— с живостью перебил ее консул, но, ощутив укор совести, тут же поправился: — Я ни к чему не собираюсь принуждать тебя, дорогая моя Тони. Речь об этом может идти лишь в том случае, если ты не чувствуешь себя в силах расстаться с мужем...

Она взглянула на него полными слез недоумевающими глазами:

— Как так, папа?

Консул замялся было, но нашел выход из положения:

— Милая моя девочка, поверь, что мне было бы очень больно подвергнуть тебя всем неприятностям и унижениям, которые неизбежно явятся следствием несчастья, постигшего твоего мужа,— ликвидации его дела, продажи с торгов дома... Я, конечно, хочу избавить тебя от всех этих трудностей... и потому думал на первых порах взять вас к себе, тебя и маленькую Эрику. Я полагаю, что ты не будешь возражать?

Тони молчала, вытирая слезы. Она старательно дула на платочек, прежде чем прижать его к глазам: это должно было предохранить веки от красноты и воспаления. Потом вдруг решительно, хотя все тем же тихим голосом, спросила:

— Папа, а что, Грюнлих виноват? Все это стряслось с ним из-за его легкомыслия и нечестности?

— Не исключено,— отвечал консул.— То есть... Да нет, я ничего не знаю, дитя мое. Я ведь уже сказал, что мне еще только предстоит разговор с ним и с его банкиром.

Но Тони, казалось, не слышала этих слов. Она сидела на пуфе согнувшись, уставив локти в колени, подперев подбородок ладонями, и снизу вверх смотрела на стены комнаты невидящим взором.

— Ах, папа,— сказала она чуть слышно, почти не шевеля губами,— разве не лучше было бы тогда...

Консул не видел лица дочери. А сейчас на нем было такое же выражение, как четыре года назад, в Трáвемюнде, в летние вечера, когда она сидела у окна своей маленькой комнатки... локоть ее правой руки лежал на коленях отца, а кисть вяло свешивалась вниз. И даже в этой беспомощной руке было какое-то бесконечно грустное, покорное самоотречение, тоска сладостных воспоминаний, уносивших ее далеко отсюда.

— Лучше?..— переспросил консул Будденброк.— Лучше — если бы что, дитя мое?

В сердце своем он уже готов был услышать, что лучше было бы ей вовсе не вступать в этот брак, но она, вздохнув, сказала только:

— Ах, нет! Ничего.

В плену у своих мыслей она витала где-то далеко и почти забыла о страшном слове «банкрот». Консул был вынужден сам высказать то, что он предпочел бы лишь подтвердить.

— Я, верно, угадал, о чем ты думаешь, милая Тони,— сказал он,— и, со своей стороны, должен открыто признаться, что шаг, четыре года назад казавшийся мне столь благим и разумным, теперь представляется мне ошибочным, и я раскаиваюсь, раскаиваюсь всей душой. Я полагал, что выполняю свой долг, стараясь обеспечить тебе существование, приличное твоему рождению... Господь судил иначе. Ты ведь не думаешь, что твой отец легкомысленно и необдуманно поставил на карту твое счастье? Грюнлих явился ко мне с наилучшими рекомендациями. Сын пастора, человек христианских убеждений и вдобавок вполне светский... Позднее я навел о нем справки в деловом мире, и они тоже были в высшей степени благоприятны. Я лично проверил состояние его дел... Все это темно, темно и нуждается в прояснении. Но ведь ты не винишь меня, правда?

— Конечно, нет, папа! И зачем ты так говоришь! Ты все это принимаешь слишком близко к сердцу, бедный мой папочка... ты побледнел!.. Я сбегаю наверх и принесу тебе желудоч-

ных капель.— Она обвила руками шею отца и поцеловала его в обе щеки.

— Спасибо тебе, Тони,— сказал он.— Ну, полно, полно, пусти меня, еще раз спасибо тебе. Мне много пришлось перенести в последнее время... Но что поделаешь! Это испытания, ниспосланные господом. И все же я не могу не чувствовать известной вины перед тобой, дитя мое. Теперь, Тони, все сводится к вопросу, на который ты так еще и не дала мне вразумительного ответа. Скажи мне откровенно, Тони... за эти годы брака ты полюбила своего мужа?

Тони снова разразилась слезами и, обеими руками прижимая к глазам батистовый платочек, сквозь слезы пробормотала:

— Ах, что ты говоришь, папа!.. Я никогда его не любила... Он всегда был мне противен... Разве ты этого не знаешь?

Трудно сказать, что отразилось на лице Иоганна Будденброка. Глаза у него сделались испуганными и печальными, и все же он сжал губы так крепко, что в уголках рта и на щеках образовались складки,— а это у него обычно служило признаком удовлетворенности при заключении выгодной сделки. Он прошептал:

— Четыре года!..

Слезы Тони мгновенно иссякли. С мокрым платочком в руках она выпрямилась и злобно крикнула:

— Четыре года! Да! За эти четыре года он провел со мной всего несколько вечеров... читая газету...

— Господь послал вам ребенка,— взволнованно продолжал консул.

— Да, папа... И я очень люблю Эрику, хотя Грюнлих утверждает, что я плохая мать... С ней я ни за что бы не согласилась расстаться... Но Грюнлих — нет! Грюнлих — нет! Очень мне надо! А теперь он ко всему еще и банкрот!.. Ах, папа, если ты возьмешь меня и Эрику домой... с радостью! Вот я все и сказала!

Консул снова сжал губы. Он был очень доволен. Правда, основной разговор еще предстоял ему, но, принимая во внимание решительность, проявленную Тони, он уже не таил в себе ничего угрожающего.

— За всем этим,— сказал консул,— ты позабыла, дитя мое, что беде как-никак можно помочь... Я могу помочь. Я уже сказал, что считаю себя виноватым перед тобой, и в случае... в случае, если ты на меня надеешься, если ждешь... я своим вмешательством могу предотвратить банкротство, могу так или иначе покрыть долги твоего мужа и поддержать его дело.

Он вопросительно смотрел на дочь, и выражение ее лица его удовлетворило: на нем было написано разочарование.

— О какой сумме, собственно, идет речь? — спросила Тони.

— Не в этом дело, дитя мое... О крупной, очень крупной сумме! — И консул Будденброк покачал головой, словно одна мысль об этой сумме уже подтачивала его силы.— Я, конечно,— продолжал он,— не вправе скрывать от тебя, что наша фирма понесла значительные убытки и выплата этой суммы тяжелым бременем легла бы на нее,— настолько тяжелым, что она бы не скоро... не скоро оправилась. Я говорю это отнюдь не затем...

Он не успел кончить. Тони вскочила на ноги, она даже отступила на несколько шагов и, все еще не выпуская из рук мокрого кружевного платочка, крикнула:

— Хватит! Довольно! Никогда!

Вид у нее был почти героический. Слово «фирма» решило все. Оно перевесило даже ее отвращение к Грюнлиху.

— Ты этого не сделаешь, папа! — вне себя продолжала она.— Недоставало, чтобы еще ты обанкротился. Хватит! Никогда!

В это мгновение кто-то нерешительно приотворил дверь из коридора, и на пороге появился г-н Грюнлих.

Иоганн Будденброк поднялся ему навстречу. Самое это движение, казалось, говорило: все кончено, сударь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Лицо г-на Грюнлиха было все в красных пятнах, но оделся он, как всегда, самым тщательным образом. На нем был черный сборчатый солидный сюртук и гороховые панталоны — почти точная копия того костюма, в котором он некогда являлся на Менгштрассе. Он продолжал стоять в дверях, словно обессилев, и, потупившись, слабо проговорил своим бархатным голосом:

— Отец!..

Консул холодно поклонился и энергичным движением оправил галстук.

— Благодарю вас за то, что вы приехали,— произнес г-н Грюнлих.

— Я считал это своим долгом, друг мой,— отвечал консул.— Боюсь только, что ничем другим я не смогу быть вам полезен.

Зять взглянул на него и принял позу еще более расслабленную.

— Я слышал,— продолжал консул,— что ваш банкир, господин Кессельмейер, ждет нас. Где мы будем вести переговоры? Я в вашем распоряжении.

— Будьте так добры пройти за мной,— невнятно прошептал Грюнлих.

Консул Будденброк запечатлел поцелуй на лбу дочери и сказал:

— Поди наверх к ребенку, Антония.

Затем он вместе с Грюнлихом, который шел то сзади его, то спереди, чтобы подымать портьеры и отворять двери, проследовал через столовую в маленькую гостиную.

Господин Кессельмейер, стоявший у окна, круто обернулся, причем черно-белый пух на его голове взъерошился и тут же мгновенно улегся на черепе.

— Господин банкир Кессельмейер... Оптовый торговец консул Будденброк, мой тесть...— скромно и внушительно представил их друг другу г-н Грюнлих.

Лицо консула осталось неподвижным. Г-н Кессельмейер поклонился, взмахнув руками и уперев оба своих желтых зуба в верхнюю губу, и сказал:

— К вашим услугам, господин консул. Разрешите выразить живейшее удовольствие по поводу...

— Простите великодушно за то, что мы заставили вас ждать, Кессельмейер,—сказал г-н Грюнлих. Он был сама учтивость по отношению к обоим гостям.

— Не перейти ли нам к делу? — предложил консул, озираясь и словно ища чего-то.

Хозяин дома поспешил сказать:

— Прошу вас, господа...

Они направились в курительную, и г-н Кессельмейер развязно осведомился:

— Как изволили проехаться, господин консул?.. Ага! Дождь? Н-да, неудачное время года, грязь непролазная. Вот если бы морозец, снежок. Но не тут-то было! Ливень! Грязища! Мерзость, мерзость, да и только...

«Странный человек»,— подумал консул.

В середине маленькой комнаты с обоями в темных цветах стоял довольно большой четырехугольный стол, крытый зеленым сукном. Дождь за окном усилился. В комнате стало так темно, что г-н Грюнлих поспешил зажечь все три свечи, стоявшие на столе в серебряных подсвечниках. На зеленом сукне

были разложены деловые письма в голубоватых конвертах со штемпелями различных фирм — захватанные, а местами даже надорванные бумаги, испещренные цифрами и подписями. Там же лежал толстый гроссбух и стоял металлический письменный прибор — песочница, чернильница и стакан, топорщившийся остро отточенными перьями.

Движения и слова г-на Грюнлиха были тактично сдержанны и учтиво торжественны, как на похоронах.

— Прошу вас, дорогой отец, садитесь в кресло,— любезно предлагал он.— Господин Кессельмейер, не будете ли вы так добры сесть вот здесь...

Наконец все разместились. Банкир напротив хозяина дома, а консул в кресле у широкой стороны стола; спинка этого кресла почти упиралась в дверь.

Господин Кессельмейер наклонился, отчего его нижняя губа тотчас же отвисла, высвободил один шнурок из клубка на своем жилете и вскинул пенсне на нос, при этом уморительно сморщившись и широко разинув рот; затем он почесал в своих коротко остриженных бакенбардах, отчего возник нестерпимо нервирующий звук, упер руки в колени, взглядом указал на бумаги и весело заметил:

— Ага! Вся история болезни!

— Вы позволите мне несколько подробнее ознакомиться с положением вещей? — сказал консул и потянул к себе гроссбух. Но г-н Грюнлих, словно защищая книгу, простер над нею обе руки со вздутыми голубоватыми жилами и воскликнул дрожащим, взволнованным голосом:

— Одну минуточку! Одну только минуточку, отец! О, позвольте мне предупредить вас!.. Да, вам все откроется, от вашего взора ничего не ускользнет... Верьте одному: вам откроется положение человека несчастного, но не виновного! Смотрите на меня, отец, как на человека, без устали боровшегося с судьбой и все-таки ею поверженного! В этом смысле...

— Посмотрим, друг мой, посмотрим! — нетерпеливо отвечал консул, и г-н Грюнлих отвел руки, положившись на волю божию.

Несколько долгих страшных минут прошло в молчанье. Все трое сидели, освещенные дрожащим светом, почти вплотную друг возле друга, замкнутые в четырех темных стенах. В немой тишине слышался только шорох страниц, которые перелистывал консул. За окнами журчал дождь.

Господин Кессельмейер, скрестив руки и засунув большие пальцы в проймы жилета, остальными барабанил по своей гру-

ди и переводил несказанно веселый взор с одного на другого. Г-н Грюнлих сидел совершенно прямо, положив руки на стол; он уныло глядел перед собой и лишь изредка опасливо косился на тестя. Консул листал в гроссбухе, водил ногтем по столбцам цифр, сличал даты, время от времени мелко и неразборчиво выписывал карандашом какие-то цифры. На его утомленном лице выражался ужас перед тем, что ему «открылось». Наконец он положил свою левую руку на руку г-на Грюнлиха и, потрясенный, сказал:

— Несчастный вы человек!

— Отец! — выдавил из себя г-н Грюнлих. Две крупные слезы скатились из его глаз и повисли на золотисто-желтых бакенбардах.

Господин Кессельмейер с нескрываемым интересом следил за путем следования этих двух капель; он даже слегка приподнялся, вытянул шею и, разинув рот, смотрел прямо в лицо своего клиента. Консул Будденброк был очень взволнован. Собственные беды смягчили его сердце; казалось, он вот-вот даст увлечь себя состраданию, но он быстро справился со своими чувствами.

— Невероятно! — сказал он, безнадежно покачав головой.— За какие-то несколько лет!

— Ерунда! — воскликнул г-н Кессельмейер, пребывавший в весьма благодушном настроении.— За четыре года можно великолепнейшим образом вылететь в трубу! Если вспомнить, как братья Вестфаль в Бремене еще недавно задирали нос...

Консул прищурился. Он не видел и не слышал Кессельмейера. Ни единым словом не выдал он мысли, которая сейчас неотступно его преследовала.

«Почему,— спрашивал он себя, подозрительно и вместе с тем ничего не понимая,— почему это должно было случиться именно теперь? Грюнлих мог уже два, а то и три года назад оказаться в положении, в которое он попал сейчас: это было ясно с первого взгляда на записи в его книгах. Но его кредит был неисчерпаем, банки ссужали его капиталом, солиднейшие фирмы — такие, как сенатор Бок и консул Гудштикер, поддерживали любое его начинание, векселя господина Грюнлиха ходили наравне с наличными деньгами. Почему же именно теперь, теперь, теперь!..» Собственно, глава фирмы «Иоганн Будденброк» уже давно понял, что значит это «теперь»: это окончательное крушение, это всеобщее недоверие, это единодушный, беспощадный натиск на г-на Грюнлиха при полном несоблюдении даже простейших форм вежливости. Консул не был настолько

наивен, чтобы не понимать, что после женитьбы Грюнлиха на Тони доброе имя фирмы «Иоганн Будденброк» способствовало успехам зятя. Но неужели кредит фирмы «Б. Грюнлих» так безраздельно, исключительно и безусловно зависел от его собственного кредита?

Значит, сам Грюнлих был ничто? А сведения, которые о нем собрал консул, книги, которые он самолично проверял?.. Как бы там ни было, а его решение и пальцем не шевельнуть в пользу зятя теперь еще более утвердилось. Да, значит он ошибся! По-видимому, Грюнлих сумел создать впечатление, что он и «Иоганн Будденброк» действуют заодно. Это непомерно широко распространившееся заблуждение надо рассеять раз и навсегда! Кессельмейер тоже будет удивлен! Есть ли у этого паяца совесть? Все ясно: он нагло спекулировал на том, что консул Будденброк не допустит банкротства мужа своей дочери, и ссужал деньгами давно уже разорившегося Грюнлиха под все более и более грабительские проценты.

— Это несущественно,— коротко сказал он наконец.— Перейдемте к делу. Если мне, как коммерсанту, предлагают дать свое заключение, то я, увы, принужден констатировать, что человек, попавший в такое положение, хоть и глубоко несчастен, но в такой же мере и виновен.

— Отец...— пролепетал г-н Грюнлих.

— Это обращение мне не по вкусу,— отрезал консул.— Ваши претензии к господину Грюнлиху, милостивый государь,— продолжал он, полуобернувшись к банкиру,— выражаются в шестидесяти тысячах марок...

— Вместе с невыплаченными и причисленными к основному капиталу процентами эта сумма составляет шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять марок и пятнадцать шиллингов,— с готовностью отвечал Кессельмейер.

— Отлично. И вы ни в коем случае не пожелали бы и впредь проявить терпение?

Господин Кессельмейер попросту расхохотался. Он смеялся, разинув рот, каким-то лающим смехом, впрочем отнюдь не издевательским, а скорее добродушным, и при этом смотрел консулу прямо в глаза, словно приглашая и его повеселиться.

Маленькие, глубоко сидящие глаза Иоганна Будденброка помрачнели, веки вдруг стали красными, минутой позже краска разлилась и по скулам. Он задал свой вопрос, собственно, лишь для проформы, отлично зная, что, даже если бы этот один кредитор и согласился на отсрочку, положение дел все равно бы почти не изменилось. Но манера, с которой г-н Кессельмейер

позволял себе разговаривать с ним, до крайности обидела и оскорбила консула. Резким движением он отодвинул все, что лежало перед ним, бросил карандаш на стол и объявил:

— Итак, ставлю вас в известность, что впредь я интересоваться этим делом не намерен.

— Ага! — воскликнул г-н Кессельмейер, потрясая в воздухе руками.— Вот это я понимаю! Вот это сказано так сказано! Господин консул готов уладить все простейшим образом! Без канители! Не сходя с места!

Иоганн Будденброк даже не удостоил его взглядом.

— Ничем не могу быть вам полезен, друг мой,— спокойно оборотился он к Грюнлиху.— Предоставим события их естественному ходу... Я не вижу возможности поддержать вас. Возьмите себя в руки, ищите сил и утешения у господа бога. Я вынужден считать этот разговор законченным.

Лицо г-на Кессельмейера совершенно неожиданно приняло серьезное выражение, что как-то удивительно не вязалось с ним. Но тут же он ободряюще кивнул г-ну Грюнлиху. Последний сидел неподвижно и ломал свои длинные, простертые на столе руки так, что трещали суставы.

— Отец... господин консул,— дрожащим голосом произнес он,— не может... не может быть, чтобы вы желали моего разорения, моей гибели! Выслушайте меня! Речь идет о ста двадцати тысячах... Вы можете спасти меня! Вы богатый человек! Рассматривайте эту сумму как угодно... как выдел, как наследственную долю вашей дочери, как процентную ссуду... Я буду работать... Вы знаете, я человек живой и находчивый...

— Я сказал свое последнее слово,— отвечал консул.

— Позвольте... Правильно ли я понял? Вы не желаете ему помочь? — осведомился г-н Кессельмейер и, сморщив нос, поглядел на консула через стекла пенсне.— Если мне позволено будет подать совет господину консулу... это было бы подходящим случаем доказать состоятельность фирмы «Иоганн Будденброк»...

— Вы поступили бы разумнее, милостивый государь, предоставив мне самому заботу о добром имени моей фирмы. Для доказательства своей платежеспособности мне нет нужды бросать деньги в первую попавшуюся лужу!..

— Ну, разумеется, нет! А-ага! Лужа... это очень остроумно! Но не полагаете ли вы, господин консул, что распродажа с торгов имущества вашего зятя бросит тень, представит в невыгодном свете... и вас тоже? Что?

— Я могу только еще раз посоветовать вам предоставить мне самому заботу о моей репутации в деловом мире,— твердо сказал консул.

Господин Грюнлих растерянно взглянул на банкира и начал снова:

— Отец, умоляю вас, подумайте о том, что вы делаете... Разве речь идет обо мне одном? О, я... пусть я погибну! Но ведь ваша дочь, моя жена, которую я боготворю, которой я так упорно добивался... и наш ребенок, наше невинное дитя... они тоже обречены на нищету! Нет, отец, я этого не вынесу! Я покончу с собой! Наложу на себя руки, верьте мне! И да отпустит вам господь ваше прегрешение!

Иоганн Будденброк откинулся в кресле; он побледнел, сердце его усиленно билось. Вот уже второй раз атакует его этот человек, давит на него своими переживаниями, вернее всего, непритворными. Опять он бросает ту же ужасную угрозу, как в день, когда консул сообщил ему о содержании письма своей дочери, отдыхавшей в Травемюнде, и опять — отличительная черта его поколения — консула пронизывает знакомый благоговейный трепет перед миром человеческих чувств, идущий вразрез с его трезвым умом коммерсанта. Но этот приступ длился не более секунды. «Сто двадцать тысяч марок»,— шепнул ему какой-то внутренний голос, и Иоганн Будденброк твердо и уверенно заявил:

— Антония — моя дочь. Я сумею оградить ее от незаслуженных страданий.

— Что вы хотите этим сказать? — Г-н Грюнлих обомлел.

— Вы это узнаете,— отвечал консул.— Сейчас мне больше нечего добавить.— С этими словами он поднялся, решительно отодвинул кресло и пошел к двери.

Господин Грюнлих сидел молча, прямо, словно неживой; только его губы судорожно дергались, хотя ни одно слово не срывалось с них. К г-ну же Кессельмейеру, напротив, после решительного, не допускающего дальнейших пререканий движения консула вернулась вся его резвость. Теперь она уже била через край, перешла всякие границы, сделалась почти зловещей! Пенсне свалилось с его носа, кончик которого высоко задрался, а крохотный рот с двумя одиноко торчащими желтыми зубами, казалось, вот-вот разорвется. Его маленькие красные руки изо всех сил загребали воздух, пух на голове трепыхался, лицо в рамке седых бакенбард, перекошенное от непомерной веселости, стало цвета киновари.

— А-ага! — вскричал он так, что голос его сорвался.— Весьма, весьма забавно! Я бы на вашем месте, господин консул Будденброк, призадумался, прежде чем швырнуть в канаву столь очаровательный, столь редкостный экземпляр зятька!.. На всем божьем свете не сыщешь такой находчивости и живости! Ага! Уже четыре года назад, когда нам приставили нож к горлу, мы раструбили на бирже о помолвке с мадемуазель Будденброк, хотя никакой помолвки не было еще и в помине. Ловко, ничего не скажешь! Ловко!..

— Кессельмейер,— взвизгнул г-н Грюнлих и судорожно замахал руками, словно отгоняя от себя призрак; затем он ринулся в противоположный угол комнаты, бессильно опустился на стул, закрыл лицо ладонями и согнулся так, что концы его бакенбард коснулись ляжек. Несколько раз у него даже подкинуло вверх колени.

— Как мы это сварганили? — продолжал г-н Кессельмейер.— Как нам удалось подобраться к дочке и к приданому в восемьдесят тысяч марок? Ого-го! У человека «живого и находчивого» за этим дело не станет! Надо только выложить перед папенькой хорошие, чудные, аккуратные книги, в которых все в образцовом порядке... За исключением одного... что они не вполне совпадают с суровой действительностью!.. Ибо в действительности три четверти приданого уже были предназначены для уплаты по векселям!

Консул, смертельно бледный, стоял, схватившись за ручку двери. Мороз подирал его по коже. Представить себе, что в этой маленькой, освещенной тревожным светом комнате он один лицом к лицу с мошенником и взбесившейся от злобы обезьяной!

— Сударь! Я презираю ваши слова,— не совсем уверенно проговорил он.— Я презираю вашу злобную клевету, тем более что она задевает и меня, который отнюдь не по легкомыслию вверг свою дочь в несчастье. Сведения о моем зяте я получил из достоверных источников... На остальное была воля божия!

Он повернулся. Он не хотел больше слушать и отворил дверь. Но г-н Кессельмейер заорал ему вслед:

— Ага! Из достоверных источников?.. А из каких? От Бока? От Гудштикера и Петерсена? От Масмана и Тамма? Да ведь они все были заинтересованы, и как еще заинтересованы! Этот брак и для них был прямо-таки находкой...

Консул захлопнул за собою дверь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В столовой хлопотала кухарка Дора, та, что была не чиста на руку.

— Попроси мадам Грюнлих вниз,— приказал консул.

— Собирайся, дитя мое,— сказал он, когда появилась Тони. Он прошел с ней в гостиную.— Приготовься как можно скорее и позаботься, чтобы и Эрика была готова к отъезду. Мы сейчас отправимся в город... Переночуем в гостинице и завтра уедем домой.

— Хорошо, папа,— отвечала Тони.

Лицо у нее было красное, растерянное, беспомощное. Она торопливо и бессмысленно шарила в карманах своего платья, не зная, с чего начать приготовления, и все еще не веря в действительность случившегося.

— Что мне брать с собою, папа? — боязливо и взволнованно спросила она.— Все? Все мои вещи? Один сундук или два?.. Так, значит, Грюнлих и вправду банкрот?.. Боже милостивый! Но драгоценности я все-таки могу взять с собой?.. Папа, прислуг надо отпустить... а мне нечем с ними расплатиться... Грюнлих должен был сегодня или завтра дать мне денег на хозяйство.

— Не тревожься, дитя мое! Это здесь уладят без тебя. Возьми самое необходимое, один сундук... небольшой. Твои вещи тебе пришлют. Только не мешкай, слышишь? Мы...

В это мгновенье портьеры раздвинулись, и в гостиную вошел г-н Грюнлих. Быстрым шагом, растопырив руки и склонив голову набок, с видом человека, который собирается сказать: «Вот я! Казни меня, если хочешь!» — он подошел к своей супруге и у самых ее ног опустился на колени. Вид его возбуждал сострадание. Растрепанные золотисто-желтые бакенбарды, измятый сюртук, сбившийся на сторону галстук, расстегнутый воротник и капельки пота, проступившие на лбу.

— Антония! — воскликнул он.— Вот я... есть у тебя сердце в груди, трепетное сердце?.. Тогда выслушай меня... Перед тобой человек, который будет уничтожен, повергнут во прах, человек, который умрет от горя, если ты отринешь его любовь! Я стою на коленях перед тобой... Неужели у тебя хватит духу сказать: «Ты мне противен! Я ухожу от тебя!»?

Тони плакала. Все было, как тогда, в ландшафтной. Опять это искаженное страхом лицо, эти устремленные на нее молящие глаза. И опять она удивлена и растрогана неподдельностью, искренностью этого страха, этой мольбы.

— Встань, Грюнлих,— плача, попросила она,— ради бога, встань! — Она даже попыталась поднять его за плечи.— Ты мне не противен! Как ты можешь такое говорить? — Не зная, что еще добавить, она беспомощно и растерянно повернулась к отцу. Консул схватил ее за руку, поклонился зятю и пошел с нею к двери.

— Ты уходишь? — крикнул Грюнлих и вскочил на ноги.

— Я уже заявлял вам,— сказал консул,— что я не вправе обречь на несчастье свое ни в чем не повинное дитя, а теперь заявляю, что и вы на это не имеете права. Вы, сударь, оказались недостойным моей дочери. И благодарите создателя, сохранившего ее сердце столь чистым и нетронутым, что она находит в себе силы оставить вас без отвращения! Прощайте!

Но тут уж г-н Грюнлих окончательно потерял голову. Он мог бы заговорить о возвращении Тони, о временной разлуке, о новой жизни и таким образом, быть может, спасти наследство. Но от его рассудительности, «живости и находчивости» ничего уже не осталось. Он мог бы схватить тяжелую небьющуюся бронзовую тарелку, стоявшую на подзеркальнике, но схватил хрупкую вазу, украшенную фарфоровыми цветами, и швырнул ее об пол так, что она разлетелась на сотни осколков.

— А! Хорошо же! Ладно! — закричал он.— Уходи! Думаешь, я заплачу, дурища ты эдакая? Ошибаетесь, уважаемая! Я женился на тебе только ради твоих денег, а так как их оказалось очень и очень недостаточно, то и убирайся, откуда пришла! Ты мне осточертела, осточертела, осточертела!..

Иоганн Будденброк молча вывел свою дочь из комнаты. Но сам тут же воротился, подошел к г-ну Грюнлиху, который, заложив руки за спину, стоял у окна и тупо глядел на дождь, мягко дотронулся до его плеча и наставительно прошептал:

— Крепитесь! Уповайте на волю божию!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

После того как мадам Грюнлих со своей маленькой дочерью вновь поселилась в большом доме на Менгштрассе, там долго царило подавленное настроение. Все ходили как в воду опущенные и очень неохотно говорили «об этом». Исключая, впрочем, главное действующее лицо,— ибо Тони со страстью предавалась воспоминаниям о случившемся и только за этим занятием чувствовала себя в своей стихии.

Вместе с Эрикой она поселилась на третьем этаже, в комнатах, которые некогда, при жизни старых Будденброков, зани-

мали ее родители. Тони была слегка разочарована тем, что папе и в голову не пришло взять для нее отдельную служанку, и пережила несколько горьких минут, когда он, стараясь говорить как можно мягче, разъяснил, что на первых порах ей не пристало вести светскую жизнь и бывать в обществе, ибо если она, по человеческим понятиям, и не несет ответственности за испытание, ниспосланное ей господом богом, то тем не менее положение разведенной жены обязывает ее к сугубо скромному и сдержанному поведению. Впрочем, у Тони был счастливый дар быстро и вдохновенно, от души радуясь новизне, приспосабливаться к любой жизненной перемене. Она вскоре сама полюбилась себе в роли незаслуженно несчастной женщины, одевалась в темное, гладко, как молодая девушка, зачесывала свои прелестные пепельные волосы и отсутствие общества с лихвой возмещала себе нескончаемыми, высокопарными разговорами о своем замужестве, о г-не Грюнлихе, о судьбе и жизни вообще,— разговорами, в которых сквозила горделивая радость по поводу необычности и важности ее теперешнего положения.

Беда только, что не с каждым удавалось ей затеять такой разговор. Консульша, например, хотя и была убеждена, что ее супруг поступил вполне правильно и по-отечески, всякий раз, когда Тони начинала говорить, поднимала свою прекрасную белую руку и останавливала дочь словами:

— Assez, дитя мое. Я не люблю слушать об этом.

Двенадцатилетняя Клара еще ровно ничего не понимала в таких делах, а Тильда была попросту слишком глупа. Удивленное и протяжное: «Ах, как это грустно, Тони!» — вот и все, что у нее нашлось сказать по поводу несчастья кузины. Но зато молодая женщина нашла внимательную слушательницу в лице мамзель Юнгман; последней уж минуло тридцать пять лет, и она имела полное право похваляться, что поседела на службе высшим кругам.

— Нечего тебе расстраиваться, дитятко,— говорила она.— Ты еще молода и опять выйдешь замуж.

Ида Юнгман теперь с любовью и рвением занялась воспитанием маленькой Эрики; она рассказывала ей те же истории из своей юности, которые пятнадцать лет назад выслушивали дети консула: главным образом они касались дяди из Мариенвердера, который «отшиб себе сердце» и умер от удушья.

Но все чаще и охотнее Тони болтала с отцом за обедом или по утрам, за первым завтраком. Ее отношение к нему теперь как-то сразу сделалось много теплее, чем раньше. До сих пор его почетное положение в городе, его неустанная солидная,

строгая и благочестивая деятельность внушали ей скорее робкую почтительность, чем нежность. Но во время объяснения с ним в ее гостиной он стал ей по-человечески близок, она была растрогана и горда тем, что он удостоил ее доверительного, серьезного разговора о создавшемся положении, предоставил решение вопроса ей самой, и, наконец, что он, такой непогрешимый, не постыдился почти смиренно признаться в своей вине перед нею. Можно с уверенностью сказать, что Тони никогда бы и в голову не пришла эта мысль; но, поскольку отец так сказал, она поверила, и ее чувство к нему стало теплее, сердечнее. Что касается консула, то он не переставал сознавать свою вину и старался удвоенной любовью облегчить тяжелую участь дочери.

Иоганн Будденброк не возбудил никакого преследования против своего мошенника-зятя. Правда, Тони и ее мать по некоторым разговорам поняли, к каким бесчестным приемам прибег г-н Грюнлих, добиваясь вожделенных восьмидесяти тысяч. Но консул поостерегся придать это гласности, а тем более обратиться в суд. Его гордость делового человека была больно уязвлена, и он предпочел молча скорбеть о том, что позволил так грубо себя одурачить.

Тем не менее, как только был назначен конкурс над фирмой «Б. Грюнлих», кстати сказать причинившей значительные убытки многим гамбургским предприятиям, консул решительно начал бракоразводный процесс, и Тони преисполнилась неописуемой важности от одного сознания, что она является главным действующим лицом «самого настоящего» судебного процесса.

— Отец,— сказала она однажды, ибо говоря на такие темы, никогда не называла консула папой.— Отец, что слышно о нашем деле? Ты ведь считаешь, что все кончится благополучно! Статья совершенно ясна: я-то уж ее изучила: «Неспособность мужа прокормить свою семью». Судьям придется это учесть. Будь у меня сын, он бы остался у Грюнлиха.

В другой раз она заметила:

— Я в последнее время много думала о своих отношениях с Грюнлихом, отец. Так вот почему этот тип ни за что не соглашался, чтобы мы жили в городе, чего я так сильно хотела! Вот почему он сердился, когда я ездила в гости! Там, конечно, я скорее, чем в Эймсбюттеле, могла бы узнать о всех его подвигах!.. Что за пройдоха!

— Не нам судить его, дитя мое,— отвечал консул.

А когда решение о разводе было уже вынесено судом, она вдруг спросила с важной миной:

— Ты уже занес это в семейную тетрадь, отец? Нет? О, тогда я сама это сделаю... Дай мне, пожалуйста, ключи от секретера.

И она под строками, четыре года назад начертанными ее же собственной рукой, горделиво и старательно вывела: «Этот брак расторгнут в феврале 1850 года», потом положила перо и на минуту задумалась.

— Отец,— сказала она,— я знаю, что мой развод — пятно на истории нашей семьи. Да, я уже не раз об этом думала. Словно кто-то посадил кляксу на эти страницы. Но будь покоен, я уж позабочусь о том, чтобы стереть ее! Я еще молода и... довольно красива... Ты не находишь? Хотя мадам Штут, увидев меня, и воскликнула: «О, боже, мадам Грюнлих, как вы постарели!» Нельзя весь век оставаться такой дурочкой, какой я была четыре года назад... Жизнь чему-чему только не научает нас... Короче говоря, я снова выйду замуж. Вот увидишь. Новая выгодная партия все загладит, правда?

— Все в руце божией, дитя мое. Но сейчас тебе никак не следует говорить об этом.

В ту пору Тони часто восклицала: «Чему-чему только не научает жизнь!» — и при слове «жизнь» подымала взор к небу так задумчиво и красиво, что каждый должен был понять, сколь глубоко она познала земную юдоль.

Теперь за круглый стол в большой столовой опять садилось много людей, и в августе этого года, когда Томас вернулся из По, Тони получила новую возможность изливать свою душу. Она горячо любила и почитала старшего брата, который еще тогда, при отъезде из Трáвемюнде, поверил в ее боль и посочувствовал ей и в котором она видела будущего главу семьи и фирмы.

— Да, да, нам с тобой уже многое довелось пережить, Тони! — Сказав это, он передвинул русскую папиросу в другой угол рта и задумался — вероятно, о маленькой цветочнице с малайским лицом, которая недавно вышла замуж за сына хозяйки магазина и теперь самостоятельно вела цветочную торговлю на Фишергрубе.

Томас Будденброк, все еще немного бледный, отличался приятной и элегантной внешностью. Последние годы, казалось, довершили его развитие. Фигура у него была коренастая и довольно широкоплечая, с нею отлично гармонировала его почти военная выправка. Волосы он носил слегка взбитыми над уша-

ми, а вытянутые щипцами усы закручивал вверх, по французской моде. Только голубоватые, слишком заметные прожилки на узких висках, где волосы, отступая, образовывали два глубоких заливчика, да некоторая склонность к лихорадочным состояниям, с каковой безуспешно боролся славный доктор Грабов, указывали на недостаточную крепость его конституции. Отдельные черты, как, например, подбородок, нос, а главное, руки — до смешного будденброковские руки,— придавали Томасу еще большее сходство с дедом.

Говоря по-французски, он многие гласные произносил на испанский манер и повергал в изумление всех окружающих своим пристрастием к модным писателям сатирико-полемического направления. Во всем городе только один демонический маклер Гош разделял его вкусы; отец осуждал их самым резким образом.

Несмотря на это, глаза консула так и светились счастьем и гордостью за своего старшего сына. Тотчас же по возвращении Томаса он растроганно и радостно вновь приветствовал его в качестве сотрудника конторы, в которой он и сам последнее время работал со значительно большим удовлетворением, в особенности после смерти старой мадам Крегер, последовавшей в самом конце года.

Эту утрату все перенесли спокойно. Мадам Крегер была очень стара и последнее время жила в полном уединении. Она отошла в лучший мир, а Будденброки получили кучу денег — сто тысяч талеров,— весьма ощутительно и как нельзя более кстати укрепивших оборотный капитал фирмы.

Дальнейшим следствием этой смерти явилось то, что шурин консула, Юстус, уставший от своих коммерческих неудач, ушел на покой тотчас же по получении остатков своей наследственной части. Юстус Крегер, suitier, жизнерадостный сын покойного cavalier à la mode, не был баловнем счастья. Врожденное легкомыслие и любовь к беззаботной жизни не позволили ему завоевать себе прочное, солидное и почетное положение в коммерческом мире; он уже давно забрал вперед значительную часть своего наследства, а теперь ему немало горя причинял еще и старший сын, Якоб.

Поселившись в столь большом городе, как Гамбург, Якоб связался с дурной компанией и ежегодно обходился своему отцу так дорого, что тот наконец отказался поддерживать его; но жена консула Крегера, женщина бесхарактерная и к тому же нежная мать, продолжала тайком посылать деньги непутевому сыну, отчего между супругами возникли весьма серьезные

нелады. В довершение всего, как раз в то время, когда «Б. Грюнлих» прекратил платежи, в Гамбурге у «Дальбека и К°», где работал Якоб, случилось еще нечто весьма и весьма неприятное: растрата, бесчестный поступок... В городе об этом не говорили, Юстуса Крегера никто ни о чем не спрашивал, но вскоре распространился слух, что Якоб получил место коммивояжера в Нью-Йорке и в ближайшее время отправится за океан. Перед отъездом его даже видели в городе, куда он, надо думать, приехал, чтобы, помимо «подъемных», присланных отцом, выпросить еще денег у матери. Якоб Крегер был фатоватый молодой человек с нездоровым цветом лица.

Одним словом, постепенно дошло до того, что консул Юстус стал себя вести так, словно у него один наследник, и, говоря «мой сын», разумел только Юргена. За последним, правда, никаких прегрешений не числилось, но ума он был очень ограниченного. С большим трудом окончив гимназию, он последнее время проживал в Иене, где не слишком успешно и без особого удовольствия изучал право.

Иоганн Будденброк очень болезненно переживал упадок в семье своей жены и с опаской приглядывался к собственным детям. У него были все основания возлагать большие надежды на старшего сына, человека серьезного и деловитого. О Христиане же его патрон, м-р Ричардсон, писал, что молодой человек хотя и проявил несомненные способности к усвоению английского языка, но далеко не всегда выказывает должный интерес к делу и питает чрезмерную слабость к соблазнам мирового города, в частности к театру. Сам Христиан в письмах не переставал твердить о своем желании повидать мир и настойчиво просил у отца разрешения подыскать себе должность «за океаном»,— он имел в виду Южную Америку, может быть Чили. Консул в ответном письме назвал его «искателем приключений» и потребовал, чтобы он еще один год, четвертый по счету, проработал у м-ра Ричардсона для пополнения своих практических знаний. Затем последовал дальнейший обмен письмами по поводу всех этих планов, а летом 1851 года Христиан Будденброк отбыл в Вальпараисо, где заранее исхлопотал себе место. Уехал он прямо из Англии, даже не побывав в родном городе.

Но не один только старший сын доставлял радость консулу, он с удовлетворением наблюдал и за тем, с какой решительностью и чувством собственного достоинства Тони отстаивала свою позицию «урожденной Будденброк», хотя можно было заранее предвидеть, что разведенной жене не раз придется стол-

кнуться с предвзятым отношением и злорадством других семейств.

— Ф-фу! — воскликнула она однажды, вернувшись с прогулки, вся красная, и бросила шляпу на софу в ландшафтной.— Эта Меллендорф, эта урожденная Хагенштрем, эта Землингер, эта Юльхен, эта тварь... Ты только подумай, мама, она мне не кланяется! Ждет, чтобы я поклонилась первая. Что ты на это скажешь? Я встретилась с ней на Брейтенштрассе и прошла мимо, высоко подняв голову; при этом я смотрела ей прямо в лицо...

— Ты слишком далеко заходишь, Тони! Все в конце концов имеет свои границы. Почему ты не можешь первая поклониться мадам Меллендорф? Вы однолетки, и она такая же замужняя женщина, какой и ты была недавно...

— Ни за что, мама! Боже! Какая-то мразь!..

— Assez, дорогая! Подобные выражения...

— О, тут уж не до выражений!

Ненависть Тони к этим «выскочкам» равно питалась как страхом, что Хагенштремы еще, пожалуй, возомнят себя вправе смотреть на нее сверху вниз, так и самим фактом удач и процветания этой семьи.

Старый Хинрих скончался в начале 1851 года, а его сын Герман — Герман со сладкой булочкой и оплеухой,— продолжавший вместе с г-ном Штрунком возглавлять прекрасно поставленное и доходное импортное дело, какой-нибудь год спустя женился на дочери консула Хунеуса, богатейшего человека в городе, который умудрился путем лесоторговых операций обеспечить каждому из своих трех детей двухмиллионное наследство. Брат Германа, Мориц, несмотря на свою слабую грудь, блестяще окончив университетский курс, обосновался в родном городе в качестве юриста и имел большую практику. Он слыл человеком недюжинного ума, хитрым, остроумным и даже тяготевшим к изящным искусствам. В его наружности не сохранилось никаких землингеровских черт, разве что желтое лицо да зубы острые и редкие.

Даже в кругу родных Тони должна была отстаивать свое достоинство. С тех пор как дядя Готхольд удалился от дел и только и знал, что беззаботно расхаживать на своих коротких ногах, облаченных в широчайшие панталоны, по нанятой им скромной квартирке и поедать из жестяной коробочки карамель от кашля,— он был большой сластена,— его отношение к любимцу отца — единокровному брату — становилось все более кротким и философическим, что, впрочем, не помешало ему,

отцу трех незамужних дочерей, испытать затаенное удовлетворение по поводу неудачного замужества Тони. Что же касается его жены, урожденной Штювинг, а главное, дочерей — трех старых дев двадцати шести, двадцати семи и двадцати восьми лет, то они выказывали к несчастью, постигшему их кузину, и к ее бракоразводному процессу интерес несколько чрезмерный, во всяком случае куда больший, чем в свое время к ее помолвке и свадьбе. В «детские дни», которые после смерти старой мадам Крегер стали устраиваться по четвергам на Менгштрассе, Тони приходилось быть настороже.

— Ах, бедняжка! — говорила Пфиффи — младшая, маленькая толстуха; при каждом слове она как-то смешно раскачивалась, а уголки ее рта увлажнялись.— Итак, значит, решение состоялось? И всего прошлого как не бывало?

— Напротив,— возражала Генриетта, такая же сухопарая и долговязая, как ее старшая сестра.— Положение Тони сейчас куда печальнее, чем до замужества.

— О да,— подтверждала Фридерика,— чем так, лучше уж совсем не выходить замуж.

— Ну нет, милочка,— отвечала Тони, гордо вскинув голову и торопливо придумывая, как бы поискуснее осадить кузину.— Тут ты глубоко заблуждаешься, верь мне! Как-никак, а я узнала жизнь! Я уже больше не наивная дурочка. А кроме того, второй раз выйти замуж куда легче, чем первый.

— Ах, да-ак? — в один голос воскликнули сестры.

И оттого, что они выговаривали «дак», а не «так», это восклицание звучало еще язвительнее и недоверчивее.

В противоположность им, Зеземи Вейхбродт была слишком добра и тактична, чтобы вообще упоминать об этом событии. Тони иногда навещала свою бывшую воспитательницу в ее красном домике (Мюлленбринк, 7), где и сейчас обитало несколько молодых девушек, хотя пансион начал мало-помалу выходить из моды; иногда же почтенная старая дева получала приглашение к Будденброкам отведать оленьего седла или фаршированного гуся. Придя к ним, она поднималась на цыпочки и чмокала Тони в лоб, растроганно, выразительно и звонко. Ее простодушная сестра, мадам Кетельсен, в последнее время стала быстро глохнуть и так никогда толком и не поняла, что, собственно, случилось с Тони. Она разражалась теперь своим ребячливым и от избытка искренности почти жалобным смехом в самые неподходящие минуты, так что Зеземи приходилось то и дело стучать кулачком по столу, восклицая: «Налли!..»

Годы шли. Впечатление, произведенное разводом дочери консула Будденброка, сглаживалось все больше и больше как в городе, так и в семье. Сама Тони лишь изредка вспоминала о своем замужестве, подмечая в чертах подрастающей Эрики сходство с Бендиксом Грюнлихом. Она опять стала одеваться в светлое, делать прическу с завитками на лбу и, как прежде, охотно бывала на вечерах в знакомых семьях.

Тем не менее она от души радовалась, когда летом ей представлялся случай на долгое время покинуть город, а здоровье консула, к сожалению, настоятельно требовало теперь длительного пребывания на курортах.

— Вы не знаете, что значит стариться! — говаривал он.— Стоит мне капнуть кофе на брюки и оттереть пятно холодной водой, как мне уже обеспечен острый приступ ревматизма... А прежде чего-чего только я себе не позволял!

Временами он испытывал сильные головокружения.

Будденброки ездили в Оберзальцбрунн, в Эмс, в Баден-Баден и Киссинген; совершали оттуда с образовательной целью поездки в Мюнхен через Нюрнберг, в Вену через Зальцбург и Ишль, возвращались домой через Прагу — Дрезден — Берлин. И хотя мадам Грюнлих из-за появившегося у нее в последние годы нервического катара желудка принуждена была во время пребывания на курортах придерживаться строгого режима, она относилась к этим путешествиям, как к весьма желательной смене впечатлений,— и ни от кого не скрывала, что дома ей живется скучновато.

— О, боже мой, чему-чему только не научает нас жизнь, отец! — говорила она, задумчиво устремив взор к потолку.— Конечно, я узнала жизнь... Но у меня становится как-то уныло на душе именно оттого, что я вечно сижу дома. Словно я дурочка какая-то! Надеюсь, ты не думаешь, папа, будто я хочу сказать, что мне у вас плохо? О, тогда бы меня следовало попросту вздуть за черную неблагодарность! Но знаешь, чему-чему только...

Сильнее всего Тони досадовала на тот религиозный дух, который все больше заполонял обширный дом ее отца, ибо с годами и со все обостряющимся болезненным состоянием консула возрастало и его благочестие, а теперь еще и стареющая консульша начала находить утешение в религии.

Застольные молитвы всегда были в обычае у Будденброков. Но в последнее время стало законом, чтобы семья и прислуга дважды в день — утром и вечером — собиралась в маленькой столовой послушать главу из Священного писания, ко-

торую читал хозяин дома. Кроме того, год от года на Менгштрассе учащались посещения пасторов и миссионеров, ибо этот почтенный патрицианский дом,— где, кстати сказать, так отлично кормили,— в мире лютеранского и реформатского духовенства, а также среди немецких и зарубежных миссионеров давно уже пользовался славой гостеприимнейшего приюта, и в него со всех концов стекались одетые в черное длинноволосые мужчины, чтобы прожить здесь несколько дней,— в уверенности, что их ждут в этом доме душеспасительные беседы, питательный стол и щедрая лепта на нужды церкви. Местные проповедники, давно ставшие друзьями консула, тоже нередко сюда наведывались.

Том был слишком сдержан и благовоспитан, чтобы позволить себе хоть легкую усмешку, но Тони просто-напросто потешалась над этими посетителями, более того — она словно поставила себе задачей при всяком удобном случае высмеивать духовных особ.

Случалось, что консульша страдала мигренью, и мадам Грюнлих брала на себя заботу о хозяйстве. Однажды, когда в доме гостил приезжий проповедник, аппетит которого возбуждал всеобщее удивление, она коварно заказала на обед шпековый суп, традиционное кушанье их города,— навар из свиного сала и кислой капусты, куда намешивался, можно сказать, целый обед: ветчина, картофель, маринованные сливы, земляные груши, цветная капуста, бобы, репа и прочая снедь, вдобавок еще сдобренная фруктовым соком; ни один человек на свете не мог есть этот суп, не будучи приучен к нему с детства.

— Ну как? Нравится вам, господин пастор? — приставала Тони.— Нет? О, боже, кто бы мог предположить! — Тут она состроила озорную гримаску и кончиком языка легонько облизала верхнюю губу: это всегда служило признаком, что она задумала какую-нибудь шалость или уже взялась за ее осуществление.

Толстяк смиренно положил ложку и простодушно объяснил:

— Я вознагражу себя следующим блюдом.

— Да, у нас будет еще небольшой десерт,— поторопилась заметить консульша. Ибо «следующее блюдо» после этого супа было просто немыслимо, и, несмотря на́ поданную затем шарлотку с яблоками, обманутый в своих ожиданиях пастор встал из-за стола полуголодным.

Тони втихомолку хихикала, а Том, подавляя приступ смеха, высоко вздернул бровь.

Как-то раз, когда Тони, стоя около кухни, вела хозяйственный разговор с кухаркой Стиной, пастор Матиас из Каштата, уже несколько дней гостивший у Будденброков, откуда-то вернулся и позвонил у входной двери. Стина, так и не отучившаяся от деревенской походки «уточкой», пошла открывать, а пастор, желая показать ей свою благосклонность и заодно добродушно попытать ее насчет веры, спросил:

— Чтишь ты отца, сына и...

— Что ж, у нас старый барин тихий, а молодой — так уж лучше и не сыщешь,— стыдливо зардевшись, ответила Стина.

Мадам Грюнлих не преминула во всеуслышанье рассказать об этом за столом, так что даже консульша разразилась своим отрывистым крегеровским смехом.

Консул сердито уставился в тарелку с супом.

— Недоразумение,— сконфуженно пробормотал пастор Матиас.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

То, о чем рассказывается ниже, произошло в конце лета 1855 года в воскресенье под вечер. Будденброки сидели в ландшафтной и дожидались консула, замешкавшегося внизу с одеванием. У них был уговор с семейством Кистенмакеров совершить совместную прогулку в увеселительный сад близ Городских ворот. За исключением Клары и Клотильды, которые по воскресным вечерам ходили к подруге вязать чулки для негритят, все остальные намеревались выпить кофе в саду и затем, если позволит погода, еще, пожалуй, и покататься на лодке.

— Нет, с папой просто рехнуться можно,— воскликнула Тони, прибегая, по своей привычке, к сильным выражениям.— Никогда он не бывает готов вовремя. Сидит за своей конторкой, сидит, сидит... То одно еще надо написать, то другое... Бог ты мой, может, оно и так, я ничего не говорю... Хотя, впрочем, уверена, что мы не обанкротимся оттого, что он положит перо на четверть часа раньше... Да... А опоздав минут на десять, он вдруг спохватывается и мчится наверх через две ступеньки, хотя отлично знает, что это вызовет прилив крови и сердцебиение. И так всякий раз, когда у нас гости или мы куда-нибудь собираемся! Вечно у него не хватает времени! Неужели нельзя кончить дела́ так, чтобы потом не спешить сломя голову? Просто возмутительно! Будь это мой муж, мама, я бы уж сумела внушить ему...

Тони, в модном переливчатом платье, сидела на софе рядом с матерью. Консульша была одета в пышное платье из рубчатого серого шелка с черными кружевами. Атласные ленты ее кружевного чепца, завязанные бантом под подбородком, спадали на грудь; гладко причесанные волосы неизменно сохраняли свой рыжеватый оттенок; в руках, белых, с голубоватыми жилками, она держала ридикюль. В кресле подле нее полулежал Том, куря папиросу, у окна — друг против друга — сидели Клара и Тильда. Удивительно, до какой степени Клотильде не шла впрок ежедневно поглощаемая ею вкусная и добротная пища: с каждым днем она становилась все костлявее, и ее не по моде гладкое платье не скрадывало этого прискорбного обстоятельства. На ее длинном, смиренном, сером лице под тусклыми прямыми волосами торчал прямой, книзу заметно утолщавшийся нос с очень пористой кожей.

— Вы думаете, сегодня обойдется без дождя? — спросила Клара.

У нее была привычка задавать вопросы, не повышая голоса и глядя в упор на вопрошаемого. Единственным украшением ее коричневого платья служил белый накрахмаленный воротничок и такие же манжеты. Сидела она очень прямо, сложив руки на коленях. Прислуга боялась ее больше, чем кого бы то ни было в доме. Последнее время утренние и вечерние молитвы в доме читала Клара, так как у консула от чтения вслух начиналась головная боль.

— Ты собираешься взять с собой башлык, Тони? — снова спросила она.— Он у тебя намокнет, если пойдет дождь. А жалко, башлык новый. По-моему, вам бы следовало отложить прогулку...

— Нет,— отвечал Том.— Кистенмакеры все равно придут. Да и вообще ничего не будет... Барометр слишком резко упал... Может, пронесется буря, ливень... но это ненадолго. Папа еще не готов, тем лучше: мы спокойно переждем, пока все это кончится.

Консульша испуганно подняла руку.

— Ты думаешь, будет гроза, Том? Ох, я ведь так боюсь...

— Не волнуйся, мама,— отвечал Том.— Сегодня утром я встретился в порту с капитаном Клоотом. Насчет погоды он непогрешим. Он говорит, что будет мгновенный ливень, даже без сильного ветра.

В том году в середине сентября стояло бабье лето. Дул юго-восточный ветер, и город изнывал от зноя, хуже чем в июле. Ярко-синее, будто нездешнее небо, на горизонте блеклое, как

в пустыне, вздымалось над островерхими крышами; после захода солнца дома и тротуары — словно печи — дышали жаром. Но сегодня ветер вдруг подул с запада, и тут же произошло это резкое падение барометра. Большая часть неба еще оставалась ясной, но сизые тучи уже начинали медленно наплывать — пышные, пухлые, как перины.

— По-моему, только приятно, если пройдет дождь,— добавил Том.— Мы истомились бы от ходьбы в такую духотищу. Жара какая-то неестественная. В По ничего подобного не бывало...

В эту минуту вошла Ида Юнгман, ведя за руку маленькую Эрику. В пышном батистовом платьице, пахнущем мылом и крахмалом, девочка выглядела очень забавно. У нее было розовое лицо и глаза точь-в-точь как у г-на Грюнлиха, но верхнюю губку она унаследовала от Тони.

Почтенная Ида стала совсем седой, хотя лишь недавно перешагнула за сорок. Впрочем, у них это было семейное: дядюшка, умерший от удушья, успел поседеть уже к тридцати годам. Но маленькие карие глаза Иды светились все той же энергией, преданностью и вниманием. Вот уже двадцать лет, как она жила у Будденброков, с гордостью сознавая свою незаменимость. Она надзирала за стряпней и припасами, на ее попечении находилось белье и фарфор, она производила наиболее ответственные закупки, читала вслух маленькой Эрике, шила платья ее куклам, помогала ей учить уроки, заходила за Эрикой в школу и, вооруженная свертком с бутербродами, отправлялась с ней гулять по Мельничному валу. Во всем городе не было дамы, которая не сказала бы консульше Будденброк или ее дочери: «Ах, душенька, что у вас за мамзель! Это просто клад. Двадцать лет в доме... Ну, да она и в шестьдесят будет молодцом! Эти сухопарые люди... А глаза у нее — сама преданность! Завидую вам, дорогая!»

Но Ида Юнгман и сама знала себе цену, знала, кто она такая, и когда на Мельничном валу к ней подсаживалась на скамейку простая нянька с ребенком и пыталась, как равная с равной, завести разговор с мамзель Юнгман, та немедленно вставала, говорила: «Идем, деточка, здесь дует», и удалялась.

Тони обняла Эрику и поцеловала ее в розовую щечку, а консульша, которой все больше опасений внушало быстро темневшее небо, с несколько рассеянной улыбкой протянула девочке руку ладонью вверх; левая ее рука в это время нервно

барабанила по дивану, а светлые глаза то и дело тревожно обращались к окну.

Эрику усадили рядом с бабушкой, Ида присела на кончик кресла и взялась за рукоделие. Так они сидели молча несколько минут, поджидая консула. Томленье и зной усилились. В небе исчез последний просвет, и оно нависло над городом — низкое, серое, грузное, чреватое бурей. В комнате сразу выцвели краски — зелень ландшафтов на шпалерах, желтизна обивки и занавесей, пестрые переливы на платье Тони. Глаза людей стали тусклыми. И ветер, западный ветер, который только что играл в верхушках деревьев — там, возле Мариенкирхе — и гонял по потемневшей улице маленькие смерчи пыли, внезапно стих. Воцарилась полная тишина.

И вот оно, наступило это мгновение. Что-то случилось — неслышное, страшное. Зной стал непереносим. Давление атмосферы за какую-то секунду так возросло, что мозг, казалось, не выдержит. У всех стеснило сердце, перехватило дыхание. Ласточка пролетела, прижимаясь к земле, ее крылья полоснули мостовую. И это напряжение, эта нарастающая тоска и тяжесть во всем организме стали бы нестерпимы, продлись такой мучительный зной еще хоть одно мгновение. Но когда гнет с молниеносной быстротой достиг высшей точки, вдруг наступила разрядка, перелом... едва заметная, где-то пробежала спасительная трещинка. И все же каждый почувствовал бы ее, если бы в ту же секунду не хлынул дождь, не предваренный даже падением первых капель,— такой, что вода вспенилась в водостоках и струйки высоко и весело запрыгали по тротуару.

Томас, приученный болезнью прислушиваться к показанью своих нервов, в этот необычный миг приложил руку ко лбу и загасил папиросу. Он взглянул на своих: ощутили, отметили ли и они то же самое? Мать казалась неспокойной, до остальных же, по-видимому, ничего не дошло. Консульша задумчиво смотрела на ливень, полностью скрывший от ее глаз Мариенкирхе. Потом она вздохнула:

— Слава тебе, господи!

— Ну вот,— сказал Том,— через две минуты станет прохладно. Только теперь будет капать с деревьев, и нам придется пить кофе на террасе. Открой-ка окно, Тильда!

В комнату ворвался шум почти оглушительный — все вокруг плескалось, барабанило, журчало и пенилось. Снова поднялся ветер и, весело налетая на плотную дождевую завесу, стал рвать ее, швырять из стороны в сторону. С каждым мгновением становилось прохладнее.

Вдруг через ротонду опрометью пробежала горничная Лина, она ворвалась в ландшафтную так стремительно, что Ида Юнгман поспешила осадить ее укоризненным возгласом:

— О, господи, ну можно ли?

Бессмысленные от испуга голубые глаза Лины были широко раскрыты, губы ее двигались... но с них не срывалось ни единого звука.

— Ах, госпожа консульша!.. Ах, боже ты мой!.. Да идите же скорей... Ах, господи, беда, беда!..

— Так,— произнесла Тони,— опять она что-нибудь расколотила! И, наверно, хороший фарфор! Ну знаешь, мама, и прислуга же у тебя!..

Но девушка испуганно забормотала:

— Нет, нет, мадам Грюнлих... Ох, кабы так!.. С хозяином беда! Я пришла им башмаки подать, а господин консул сидят в кресле, слова сказать не могут, только глядят на меня. Верно, плохо им совсем, господин консул желтый весь...

— За Грабовом! — крикнул Томас и ринулся к двери.

— Боже мой, боже мой! — зарыдала консульша и, молитвенно сложив руки, бросилась вон из комнаты.

— За Грабовом! Карету!.. Скорей!.. — едва дыша, повторила Тони.

Обгоняя друг друга, они сбежали с лестницы, ворвались в маленькую столовую, оттуда в спальню.

Но Иоганн Будденброк был уже мертв.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Добрый вечер, Юстус,— сказала консульша.— Надеюсь, ты здоров? Садись, пожалуйста!

Консул Крегер обнял ее с братской нежностью и пожал руку старшей племяннице, тоже присутствовавшей здесь, в большой столовой. Ему было теперь около пятидесяти пяти лет, и в последнее время он помимо маленьких усиков, стал носить еще изящно закругленные, но уже совсем седые бакенбарды, оставлявшие открытым подбородок. Большую розовую плешь консула прикрывало несколько тщательно заглаженных жидких прядей. На рукаве его элегантного сюртука была нашита широкая траурная повязка.

— Слышала ты последнюю новость, Бетси? — спросил он.— Тони, тебе это будет особенно интересно. Одним словом, наш участок у Городских ворот продан... Кому? Даже не одному человеку, а двоим сразу. Его разгородят забором, дом будет снесен, справа выстроит себе конуру почтенный коммерсант Бентьен, а слева не менее почтенный — Зеренсен... Что ж, бог в помощь!

— Ужасно! — воскликнула мадам Грюнлих, уронив руки на колени и подъяв взор к потолку.— Дедушкин участок! Что ж от него останется? Вся прелесть заключалась в его обширности, может быть излишней, но зато как там все было аристократично! Огромный сад, до самой Трáвы... и дом в глубине... и каштановая аллея... Так, значит, теперь все это разделят? Бентьен будет стоять у одной двери с трубкой в зубах, а Зеренсен у другой... Что ж, и я скажу: бог в помощь, дядя Юстус! Нет уж теперь в людях того аристократизма! Никто не нуждается в большом участке! Хорошо, что дедушка до этого не дожил...

В доме все еще царило подавленное и траурное настроение, и Тони, несмотря на все свое негодование, не решилась

прибегнуть к более энергичным выражениям. Разговор этот происходил в день вскрытия завещания — через две недели после кончины консула, вечером, в половине шестого. Консульша Будденброк попросила брата к себе на Менгштрассе, для того чтобы он вместе с Томасом и г-ном Маркусом, управляющим, ознакомился с завещанием покойного и с его имущественными распоряжениями. Тони объявила, что она тоже примет участие в семейном совете. «Это моя прямая обязанность по отношению к родным и фирме»,— пояснила она и действительно позаботилась придать этой встрече особо торжественный характер. Она затянула шторы на окнах и вдобавок к двум парафиновым лампам, горевшим на раздвинутом, покрытом зеленым сукном обеденном столе, зажгла все свечи в больших позолоченных канделябрах. Кроме того, она положила на стол целую груду бумаги и отточенных карандашей, хотя никто толком не знал, кому и для чего это, собственно, нужно.

Черное платье придавало фигуре Тони девическую стройность. И хотя ее, может быть, больше всех ранила смерть консула, который был так душевно близок ей последнее время, хотя она еще сегодня, думая о нем, дважды принималась горько рыдать,— предвиденье этого семейного совета, этой серьезной и важной беседы, в которой она надеялась достойно соучаствовать, заставило порозоветь ее хорошенькое личико, взор ее оживился, движения стали энергичными и величавыми. Консульша, утомленная всем пережитым — испугом, душевной болью, нескончаемыми траурными формальностями и погребальной церемонией,— выглядела вконец измученной. Лицо ее казалось еще бледнее от черных лент чепца, светло-голубые глаза смотрели устало. Но в заботливо расчесанных рыжеватых волосах по-прежнему не было ни единой серебряной нити. Продолжал ли то действовать чудотворный парижский настой, или на смену ему уже пришел парик — об этом знала только мамзель Юнгман, но она не выдала бы тайны консульши даже родным ее дочерям.

Втроем они сидели у стола и ждали, когда придут из конторы Томас и г-н Маркус. Белые боги горделиво взирали на них с небесно-голубых шпалер.

— Дело вот в чем, милый мой Юстус,— начала консульша.— Я побеспокоила тебя... Словом, речь идет о нашей меньшой, о Кларе. Покойный Жан предоставил мне выбор опекуна, в котором девочка будет нуждаться еще в течение трех лет... Я знаю, ты не любишь лишних хлопот, у тебя и так много обязательств по отношению к жене, к сыновьям...

— К сыну, Бетси.

— Не надо, не надо, Юстус! Будем милосердны!.. «Яко мы прощаем должникам нашим»,— гласит Писание. Подумай об отце небесном.

Брат не без удивления взглянул на нее. Подобные сентенции он привык слышать разве что из уст покойного консула.

— Но я полагаю,— продолжала она,— что звание опекуна не слишком обременит тебя. Поэтому я решилась просить...

— Охотно, Бетси. Верь мне, что я с удовольствием его приму... А не позовешь ли ты сюда мою подопечную? Славная девочка, пожалуй только слишком серьезная...

Клару позвали. Она явилась, бледная, вся в черном. Движения у нее были меланхолические и скованные. После смерти отца она большую часть времени проводила в молитвах, почти не выходя из своей комнаты. Взгляд ее темных глаз был неподвижен; казалось, она окаменела в скорби и страхе божием.

Дядя Юстус, неизменно галантный, поспешил встать и даже слегка склонился, пожимая руку племяннице; он сказал ей несколько пристойных случаю слов, и она опять удалилась, после того как консульша запечатлела поцелуй на ее неподвижных устах.

— Что слышно о нашем милом Юргене? — снова заговорила консульша.— Как он себя чувствует в Висмаре?

— Хорошо,— отвечал Юстус Крегер, опускаясь на стул и слегка пожимая плечами.— Хочу думать, что он нашел свое место в жизни. Он славный малый, Бетси, и весьма добропорядочный, но... после того как ему дважды не повезло с экзаменами, это был, пожалуй, наилучший исход... Юриспруденция как-то не пришлась ему по душе, а в почтовом ведомстве у него вполне респектабельная должность. Скажи-ка, Бетси: говорят, твой Христиан возвращается?

— Да, Юстус. Дай ему бог счастливого плаванья! Ох, это ведь такая даль! Хотя я написала ему на следующий же день после смерти Жана, но он еще не скоро получит письмо, а путешествие на корабле займет добрых два месяца. Но он должен приехать, Юстус, я так этого хочу. Правда, Том говорит, что Жан был бы против того, чтобы он оставил свое место в Вальпараисо... Но, подумай сам, скоро восемь лет, как я его не видела! И это при теперешнем моем положении! О, я хочу, чтобы в такое тяжелое время все дети были при мне... Это вполне естественно для матери...

— Ну конечно, конечно,— поспешил согласиться консул Крегер, заметив слезы у нее на глазах.

— Теперь уже и Томас согласен,— продолжала консульша.— Где же Христиану и служить, как не в деле своего отца, у Тома? Он может остаться здесь и работать... Ах, я все время дрожала, что тамошний климат будет для него губителен.

Тут в столовую вошел Томас Будденброк в сопровождении г-на Маркуса. Фридрих Вильгельм Маркус, старый управляющий покойного консула, человек очень высокого роста, был одет в коричневый сюртук с траурной повязкой на рукаве. Он говорил тихим голосом, с запинками, будто обдумывая каждое слово, и при этом либо медленно пропускал между указательным и третьим пальцем левой руки рыжеватые взъерошенные усы, почти закрывавшие его губы, либо непрерывно потирал руки. В разговоре он неуклонно отводил свои круглые карие глаза от собеседника и производил впечатление человека рассеянного и непонятливого, тогда как на самом деле пытливо вслушивался в каждое слово.

Отличительной чертой Томаса Будденброка, уже в столь юные годы ставшего главой большого торгового дома, было чувство собственного достоинства, сказывавшееся в выражении лица и в осанке; но он был все так же бледен, а руки его — на одной поблескивал фамильный перстень с изумрудной печаткой — белизной соперничали с манжетами, выглядывавшими из-под черного сукна рукавов; но неестественной, зябкой белизне этих рук можно было догадаться, что они всегда холодны и сухи. Эти руки с холеными ногтями чуть-чуть синеватого оттенка в иные минуты, при иных бессознательно принимаемых положениях, вдруг поражали, даже в какой-то мере отталкивали своей судорожной нервностью и боязливой скованностью, никогда раньше не присущей широким, отнюдь не аристократическим, хотя и изящным рукам Будденброков, первностью, очень уж к ним неподходящей... Войдя в комнату, Том тут же распахнул дверь в ландшафтную, чтобы дать доступ теплу,— там за чугунной решеткой пылали дрова.

Затем он обменялся рукопожатием с консулом Крегером и занял место за столом напротив г-на Маркуса; садясь, он вскинул одну бровь и не без удивления поглядел на присутствующую здесь сестру. Но она с таким независимым видом подняла голову, что он счел за благо воздержаться от какого бы то ни было замечания.

— Итак, значит, величать тебя «господином консулом» еще рановато? — спросил Юстус Крегер.— Видно, Нидерланды напрасно надеются на твое представительство, дружище?

— Да, дядя Юстус, я решил повременить. Я мог бы, конечно, сразу принять на себя консульские обязанности и целый ряд других, но, во-первых, у меня еще годы не те, а во-вторых, я предложил это дяде Готхольду. Он очень обрадовался и дал свое согласие.

— Весьма разумно, мой мальчик. И очень политично... Вполне gentlemanlike [1].

— Господин Маркус,— начала консульша,— дорогой мой господин Маркус! — И она протянула ему руку ладонью вверх.— Я попросила вас подняться к нам... Вы знаете, о чем будет речь, и, я уверена, не станете возражать. Согласно завещанию моего покойного мужа, мы просим вас отныне помогать фирме своим деятельным испытанным трудом уже не в качестве стороннего человека, а в качестве компаньона...

— Разумеется, разумеется, госпожа консульша,— проговорил г-н Маркус.— Верьте, госпожа консульша, что я глубоко признателен за честь, оказанную мне этим предложением, ибо средства, которые я могу внести в дело, весьма и весьма незначительны. И, конечно, самое разумное, что я могу сделать перед богом и людьми,— это с глубочайшей благодарностью принять предложение ваше и вашего сына.

— Да, Маркус, а мне позвольте, в свою очередь, от души поблагодарить вас за готовность взять на себя часть той ответственности, которая мне одному, пожалуй, была бы не по силам.— Томас проговорил это торопливо и как-то вскользь, пожимая руку своему компаньону. Между ними давно уже существовала договоренность, и вся эта церемония была пустой формальностью.

— Хоть и говорят: «в паю — в бою, а не в добыче», но я надеюсь, что вы оба опровергнете эту дурацкую поговорку,— заметил консул Крегер.— А теперь, друзья, посмотрим, как там у вас все обстоит. Меня, собственно, интересует только доля моей подопечной; остальное — дело ваше. Есть у тебя копия завещания, Бетси? А у тебя, Том, примерный расчет?

— Только в голове,— отвечал Томас; он откинулся в кресле, устремил взор на открытую дверь ландшафтной и, машинально водя по столу золотым карандашиком, принялся за выкладки.

Состояние, оставленное консулом, как выяснилось, было значительнее, чем кто-либо мог предположить. Правда, приданое его старшей дочери пошло прахом и потери, понесенные

[1] По-джентльменски *(англ.)*.

фирмой в связи с бременским банкротством в 1851 году, образовали значительную брешь в ее капитале; 48-й год, так же как и нынешний, 55-й, отмеченные войнами и беспорядками, тоже не принесли с собой ничего, кроме убытков. Но доля Будденброков в крегеровском наследстве, равнявшемся четыремстам тысячам марок,— поскольку Юстус очень многое забрал вперед,— исчислялась в триста тысяч, и хотя Иоганн Будденброк, по купеческому обыкновению, постоянно жаловался на недохватки, но ежегодный тридцатитысячный доход в продолжение пятнадцати лет вполне уравновесил потери. Итак, состояние Будденброков, не считая недвижимости, в общем итоге составляло семьсот пятьдесят тысяч марок.

Даже Томаса, бывшего в курсе всех дел, отец при жизни оставлял в неведении относительно этой цифры и, если консульша приняла ее теперь спокойно и скромно, если Тони, которая во всем этом ровно ничего не понимала, с очаровательной величавостью поглядывала на присутствующих, хотя и не могла согнать с лица недоумевающего выражения, говорившего: «Что, это много? Правда, мы богатые люди?» — если г-н Маркус медленно и нарочито рассеянно потирал руки, а консул Крегер уже явно скучал, то Томас, выговорив эту цифру, невольно проникся первической азартной гордостью, в данный момент, впрочем, обернувшейся чуть ли не недовольством.

— Нам давно уже следовало довести состояние до миллиона,— сказал он сдавленным от волнения голосом, и руки у него задрожали.— Дедушка в лучшие свои времена ворочал капиталом в девятьсот тысяч... А с тех пор сколько затрачено усилий! Какие успешные обороты, какие значительные куши по временам! Да еще мамино приданое и мамино наследство! Но это постоянное дробление... Бог мой, я понимаю, что оно в природе вещей! И простите меня за то, что я сейчас говорю почти исключительно с точки зрения фирмы, а не семейных взаимоотношений... Эти приданые, эти выплаты дяде Готхольду и во Франкфурт — сотни тысяч, которые пришлось изъять из оборота!.. А ведь тогда у главы торгового дома был только один брат и одна сестра... Ну, хватит об этом! Короче говоря, придется нам с вами основательно потрудиться, Маркус!

Воля к действию, к победе, к власти, стремление покорить себе счастье на мгновенье загорелись в его глазах. Ему казалось, что взоры всего мира устремлены на него: сумеет ли он достойно повести дела фирмы или хотя бы поддержать ее престиж, не посрамив старого купеческого имени? На бирже на него уже благодушно и насмешливо поглядывали умудренные

опытом дельцы, словно вопрошая: «Ну как, справишься, сынок?» «Справлюсь»,— думал он.

Фридрих Вильгельм Маркус продолжал задумчиво потирать руки, а Юстус Крегер сказал:

— Спокойствие, Том! Когда твой дедушка стал поставщиком прусской армии, были другие времена...

И они перешли к подробному обсуждению важнейших и второстепенных пунктов завещания, в котором уже все приняли участие, а консул Крегер даже внес в него юмористическую нотку, называя Томаса не иначе как «ваше высочество, ныне правящий герцог».

— Складской участок,— заметил он,— согласно традиции остается во владении короны.

Само собой разумеется, что распоряжения покойного консула преследовали цель — по мере возможности сохранить состояние нераздробленным. Универсальной наследницей назначалась г-жа Элизабет Будденброк, капитал по-прежнему должен был оставаться в деле. Тут г-н Маркус заметил, что в качестве компаньона он приумножит оборотные средства фирмы на сто двадцать тысяч марок. Томасу на первых порах в личное его распоряжение выделялось пятьдесят тысяч марок и столько же Христиану — на случай, если он пожелает устроиться самостоятельно. Юстус Крегер снова оживился, когда был зачитан пункт: «Определение суммы приданого моей горячо любимой дочери Клары в случае ее вступления в брак предоставляется моей горячо любимой жене...»

— Ну что ж, скажем — сто тысяч,— предложил консул Крегер. Откинувшись на спинку стула, он положил ногу на ногу и подкрутил обеими руками кончики своих усов — воплощенная щедрость! Однако сумма приданого, по традиции, была определена в восемьдесят тысяч.

При чтении следующего пункта: «В случае вторичного замужества моей горячо любимой дочери Антонии, принимая во внимание, что при первом браке ей было выделено в качестве приданого восемьдесят тысяч марок, во второй раз сумма такового не должна превышать семнадцати тысяч талеров...» — госпожа Антония взволнованно и грациозно простерла руки к собеседникам, тем самым оправив слегка сбившиеся рукава, подняла взор к потолку и воскликнула:

— Грюнлих! Да!

Это прозвучало как воинственный клич, как короткий зов фанфары.

— Вы, верно, даже и не знаете точно, как все получилось

с этим типом, господин Маркус,— произнесла она.— Сидим мы в один прекрасный вечер в саду перед «порталом». Вы ведь знаете, господин Маркус, наш «портал»... Хорошо! И кто же вдруг появляется? Неизвестная личность с золотистыми бакенбардами... Вот пройдоха!..

— Так,— сказал Томас.— А что, если мы после поговорим о господине Грюнлихе?

— Хорошо, хорошо! Но ты не можешь не согласиться со мной, Том,— ты ведь умный человек,— что в жизни,— я на опыте в этом убедилась, хотя еще так недавно была наивной девчонкой,— не все совершается честным и праведным путем...

— О да,— согласился Том.

И, вернувшись к завещанию, они зачитали распоряжения касательно семейной Библии, брильянтовых пуговиц консула и множества других мелочей. Юстус Крегер и г-н Маркус остались ужинать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В начале февраля 1856 года, после восьмилетнего отсутствия, Христиан Будденброк возвратился в родной город. Он приехал из Гамбурга в почтовой карете, одетый в желтый клетчатый костюм, в котором безусловно было что-то тропическое, привез с собой меч меч-рыбы, а также длинный сахарный тростник и с рассеянной задумчивостью позволил консульше заключить себя в объятия.

Он сохранил тот же рассеянно-задумчивый вид и на следующее утро, когда вся семья отправилась на кладбище у Городских ворот, чтобы возложить венок на могилу консула. Они стояли друг подле друга на заснеженной дорожке перед большой плитою, где высеченный в камне фамильный герб окружали имена тех, что почили здесь, у подножия мраморного креста, водруженного на опушке маленькой, по-зимнему обнаженной кладбищенской рощи,— все, кроме Клотильды, уехавшей в «Неблагодатное» ухаживать за больным отцом.

Тони положила венок на то место, где свежими золотыми буквами было запечатлено имя ее отца, несмотря на снег, опустилась на колени у могилы и начала молиться; черная вуаль ее развевалась на ветру, и широкое платье — что и говорить — очень живописно драпировалось вокруг ее склоненной фигуры. Одному богу известно, чего больше было в ее позе — тоски, религиозного экстаза или самолюбования красивой женщины. Томас не был в настроении размышлять об этом. Христиан же ис-

коса посматривал на сестру со смешанным выражением иронии и опаски, словно говоря: «Посмотрим, как ты сумеешь выпутаться! Смутишься ты, когда встанешь, или нет? Неприятное положение!»

Тони, поднявшись, поймала на себе этот взгляд, но отнюдь не смутилась. Она закинула голову, поправила вуаль, юбку и горделивой поступью пошла по дорожке. Христиан облегченно вздохнул.

Если покойный консул с его сентиментальной любовью к господу богу и спасителю был первым из Будденброков, познавшим и культивировавшим в себе такие небудничные, некупеческие и сложные чувства, то его сыновья — первые из Будденброков — нервно съеживались при открытом и наивном изъявлении этих чувств. Томас, бесспорно, острее и болезненнее пережил кончину отца, чем, например, его дед смерть своего родителя,— и все же он не преклонял колен у могилы, не разражался, подобно своей сестре Тони, рыданиями, как ребенок, уронив голову на стол, и воспринимал как нечто весьма неподобающее, когда мадам Грюнлих между жарким и десертом начинала в восторженных выражениях говорить о покойном отце. Он противопоставлял этим бурным проявлениям ее чувств благопристойную серьезность, молчаливую сдержанность и только едва заметно покачивал головой. Когда же никто не упоминал о покойном консуле и даже не думал о нем, глаза Томаса увлажнялись слезами, хотя лицо его и сохраняло неизменно спокойное выражение.

По-другому вел себя Христиан. Во время наивных и ребяческих излияний сестры ему никак не удавалось усидеть спокойно: он низко склонялся над тарелкой, готов был, казалось, провалиться сквозь землю, время от времени даже прерывал ее тихим, страдальческим: «О, господи, Тони!..» — и его длинный нос весь собирался в бесчисленные морщинки.

Да, он выказывал беспокойство и замешательство, когда речь заходила о покойном отце, избегая и страшась, по-видимому, не только неделикатных проявлений глубоких и серьезных чувств, но и самих этих чувств.

Он не пролил ни единой слезы по отцу. Объяснить это только долгой разлукой было невозможно.

Но самое удивительное, что, вопреки своей обычной неприязни к подобным разговорам, он то и дело отводил в сторону Тони и заставлял ее во всех подробностях пересказывать события того страшного дня,— из всей семьи мадам Грюнлих была самой лучшей рассказчицей.

— Так, значит, он весь пожелтел? — в пятый раз допытывался Христиан.— А что крикнула горничная, когда вбежала в ландшафтную? Пожелтел, значит, весь... и слова уже не выговорил до самой смерти? А что рассказывает горничная? Какие-то звуки ему все-таки удалось выдавить из себя: уа, уа... так?

Потом он замолкал, замолкал надолго, и в его маленьких, глубоко сидящих круглых глазах, быстро перебегавших с предмета на предмет, отражалась напряженная работа мысли. «Ужасно!» — внезапно восклицал он, вставая, и видно было, что дрожь пронизывает его; потом он начинал ходить взад и вперед все с тем же тревожным и задумчивым выражением в глазах. А Тони удивлялась, как это ее брат, конфузившийся, когда она вслух оплакивала отца, начинал вдруг с повергавшей ее в трепет старательностью воспроизводить те предсмертные звуки, о которых ему поведала — и не раз — горничная Лина.

За последние годы Христиан отнюдь не похорошел. Он был тощ и бледен. Кожа туго обтягивала его череп, между выдававшихся вперед скул торчал острый, костистый и горбатый нос, волосы на голове уже приметно поредели. Шея у него была тонкая и слишком длинная, а ноги кривые. Жизнь в Лондоне бесспорно наложила на него свой отпечаток, а так как он и в Вальпараисо общался главным образом с англичанами, то вся его внешность стала явно англизированной, что, впрочем, даже шло к нему. Эта англизированность давала себя знать в удобном покрое костюма из прочной шерстяной материи, в солидной элегантности широконосых башмаков, а также в его манере носить густые рыжеватые усы,— они как-то кисло свешивались вниз. Даже в его руках с овальными, опрятными, коротко подстриженными ногтями и прозрачной матовой и очень пористой кожей, как у людей, долго живших в жарком климате, было что-то неуловимо английское.

— Скажи, пожалуйста,— внезапно спросил он Тони,— знаешь ты такое чувство... мне трудно описать... вот когда проглотишь слишком твердый кусок и начинает болеть вся спина, сверху донизу? — При этих словах его нос опять собрался в неисчислимое множество морщинок.

— Подумаешь, какая невидаль! — отвечала Тони.— Надо выпить глоток воды — вот и все.

— Ах, так! — отвечал он, явно неудовлетворенный.— Нет, мы, по-видимому, говорим о разных вещах.— Тень беспокойства и тревоги опять пробежала по его лицу.

Христиан, первый из всей семьи, стал позволять себе вольности в поведении и забывать об уважении к семейному горю.

Он не разучился еще подражать покойному Марцеллусу Штенгелю и часами говорил его голосом. Как-то за столом он осведомился о Городском театре, хорошая ли там труппа и какие играют пьесы.

— Не знаю,— отвечал Том преувеличенно равнодушно, чтобы скрыть свое раздражение.— В настоящее время меня это не интересует.

Но Христиан, точно не слыша его слов, начал говорить о театре:

— Не могу вам сказать, как я люблю театр! Уже самое это слово делает меня счастливым. Не знаю, знакомо ли кому-нибудь из вас это чувство... Я, например, мог бы часами сидеть без движения и смотреть на спущенный занавес. При этом я радуюсь, как радовался ребенком, входя вот в эту комнату за рождественскими подарками... А чего стоит минута, когда в оркестре начинают настраивать инструменты! Этого одного достаточно, чтобы полюбить театр! Но самое лучшее — это любовные сцены... некоторые артистки так удивительно умеют сжимать обеими руками голову первого любовника!.. Вообще артисты... В Лондоне, да и в Вальпараисо, я много встречался с ними. Сначала я даже гордился, что в обыденной жизни запросто разговариваю с этими людьми. Ведь в театре я слежу за каждым их движением... Это очень интересно! Человек кончает свой монолог, спокойнейшим образом поворачивается и уходит медленно, уверенно, не смущаясь, хотя знает, что весь зал смотрит ему вслед... Как это они могут?.. Когда-то я только и мечтал попасть за кулисы, да, а теперь, признаться, я чувствую себя там как дома. Представьте себе, как-то раз в оперетте, это было в Лондоне, подняли занавес, когда я стоял на сцене... я разговаривал с мисс Уотерклоз... некоей Уотерклоз... прехорошенькой особой! И вдруг — передо мной разверзается зал! Бог ты мой! Не помню, как я и ушел со сцены!

Мадам Грюнлих, единственная из всех, прыснула, но глаза Христиана блуждали, и он не унимался. Он рассказывал об английских кафешантанных певичках, об одной даме, выступавшей в пудреном парике, которая, ударив пастушеским посохом об пол, начинала песенку «That's Maria».

— Мария, это, знаете ли, самая что ни на есть пропащая... Ну, например, совершила какая-нибудь женщина тягчайший грех: That's Maria! Мария — последняя из последних... олицетворенный порок...— При последнем слове лицо его приняло брезгливое выражение, он опять сморщил нос и поднял правую руку с конвульсивно согнутыми пальцами.

— Assez, Христиан,— сказала консульша.— Нас это нисколько не интересует.

Но Христиан отсутствующим взором смотрел куда-то мимо нее. Он, вероятно, прекратил бы разговор и без ее оклика: хоть его маленькие, круглые, глубоко сидящие глаза и продолжали без устали блуждать по сторонам, но сам он погрузился в тяжкое, неспокойное раздумье,— видимо, о Марии и пороке.

Неожиданно он воскликнул:

— Странно... иногда я вдруг не могу глотать! Ничего тут смешного нет; по-моему, это очень даже печально! Мне вдруг приходит в голову, что я не могу глотать, и я действительно не могу. Кусок уже во мне, где-то там глубоко, но вот здесь все — шея, мускулы — просто отказываются служить... отказываются повиноваться моей воле, понимаете? Более того, я даже не решаюсь энергично захотеть проглотить.

Тони вышла из себя:

— Христиан! Боже мой! Что за нелепица! Ты не решаешься захотеть проглотить!.. Смех, да и только! Ну можно ли городить такую чепуху?..

Томас молчал, но консульша сказала:

— Это все нервы, Христиан. Тебе уже давно следовало вернуться домой: тамошний климат мог бы окончательно расстроить твое здоровье.

После обеда Христиан уселся за фисгармонию, стоявшую в столовой, и стал изображать виртуоза. Он делал вид, что откидывает со лба длинные волосы, потирал руки, исподлобья оглядывал публику: беззвучно — не приводя в движение мехи, ибо он совершенно не умел играть и вообще был немузыкален, как большинство Будденброков,— низко склонившись над клавиатурой, он вдруг обрушивался на басы, словно разыгрывая безумные пассажи, откидывался на стуле, подымал взоры ввысь, отрывал руки от клавишей и мощным, победоносным движением вновь опускал их. Даже Клара не могла не рассмеяться. Он играл как настоящий шарлатан, удивительно правдоподобно, со страстью, с редкостным комизмом, носившим буфонный и эксцентрический характер, свойственный англо-американскому юмору, но ничуть не отталкивающий, ибо в этой стихии Христиан чувствовал себя как рыба в воде.

— Я всегда усердно посещал концерты,— объявил он.— Мне доставляет огромное удовольствие смотреть, как люди властвуют над инструментами!.. Да, прекрасно быть артистом!

И он снова принимался за «игру». Потом вдруг прекращал ее и делался серьезен до того неожиданно, что казалось, маска

упала с его лица; он вставал, приглаживал рукой редкие волосы, пересаживался на другое место, да так и оставался там сидеть — молчаливый, мрачный, с тревожным выражением лица, словно прислушиваясь к какому-то раздражающему шуму.

— Временами Христиан кажется мне странноватым,— заметила как-то вечером мадам Грюнлих своему брату Томасу, когда они остались вдвоем.— Как он разговаривает? То ли он уж слишком пускается в подробности, то ли не знаю уж как и сказать... Он все на свете видит не с той стороны, правда?

— Да,— отвечал Том,— я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Христиан лишен внутренней деликатности... трудно это выразить словами. Ему недостает того, что называется уравновешенностью, устойчивостью души. С одной стороны, он не в силах сохранять спокойствие при бестактных и наивных выходках других... они для него непереносимы, он не умеет их сглаживать и немедленно теряет самообладание; но, к сожалению, он теряет самообладание и в другом смысле — сам впадает в неприятнейшую болтливость и выворачивает всю душу наизнанку. Иногда это действует просто отталкивающе. Точно бред горячечного больного. Без связи, без оглядки на окружающих... А все дело в том, что Христиан слишком занят собой, слишком прислушивается к тому, что происходит внутри него. Иногда он, как маньяк, старается вытащить на свет, выболтать малейшие, сокровеннейшие свои переживания... такие, о которых разумный человек и не вспоминает, более того— о которых он знать не хочет,— по той простой причине, что о них стыдно говорить. В этой его сообщительности есть доля бесстыдства, Тони! Понимаешь, каждый может признаться, что любит театр, но он сделает это без нажима, вскользь, не распространяясь,— словом, скромно. А у Христиана такой тон, словно он хочет сказать: разве моя любовь к театру не есть нечто из ряда вон выходящее, исключительное? Он так подбирает слова, как будто ему нужно выразить что-то необыкновенно тонкое, неуловимое и необычайное... Одно я тебе скажу,— продолжал Томас, помолчав и бросив окурок через кованую решетку в печь.— Я много думал о таком опасливо-тщеславном и любопытном копанье в собственной душе, и у меня в свое время была к этому склонность... но я заметил, что она делает человека распущенным, ленивым, невыдержанным... а выдержка и уравновешенность для меня лично — самое главное. На свете всегда есть и будут люди, имеющие право на повышенный интерес к самому себе, на пристальное наблюдение за своими чувствами,— например, поэты, способные правильно и красиво воссоздать свой много-

образный внутренний мир и тем самым обогатить внутренний мир других. Но мы, друг мой, всего только простые коммерсанты, и нашему самосозерцанию, право же, грош цена. В лучшем случае нас хватает на то, чтобы объявить, что настройка инструментов в оркестре доставляет нам какое-то неизъяснимое удовольствие и что иногда мы не решаемся захотеть... сделать глотательное движение. Черт возьми, лучше нам пораскинуть мозгами да добиться чего-нибудь в жизни, как того добивались наши предки...

— Да, Том, ты высказываешь и мои мысли. Когда я думаю, что эти Хагенштремы с каждым днем все больше задирают нос... О, господи... эдакая мразь!.. Мама не хочет слышать этого слова, но как их еще прикажешь назвать? Может быть, они воображают, что, кроме них, во всем городе нет ни одной почтенной семьи? А? Право, тут уже остается просто расхохотаться. Ничего другого не придумаешь!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Глава фирмы «Иоганн Будденброк» по приезде брата смерил его долгим испытующим взглядом и первые дни неприметно, от случая к случаю, старался наблюдать за ним, а затем,— хотя по его неизменно спокойному лицу никто бы не мог сказать, что он уже вынес свое суждение,— видимо, решил, что любопытство его удовлетворено и мнение раз навсегда составлено. Он говорил с братом в семейном кругу безразличным тоном о безразличных вещах и смеялся наравне с другими, когда тот давал свои «представления».

Примерно через неделю он сказал Христиану:

— Итак, значит, мы будем работать вместе, друг мой?.. Насколько я знаю, ты согласен пойти навстречу маминому желанию, не так ли? Маркус, как тебе известно, стал моим компаньоном в доле, соответствующей его паю. Мне думается, что, как мой брат, ты займешь его прежнее место, то есть место управляющего... Во всяком случае, официально. Что же касается работы как таковой, то я ведь не знаю, в какой мере ты усвоил практику коммерческих дел. Что-то мне кажется, что до сих пор ты больше кутил, чем занимался делами, а? Ну, английская корреспонденция, наверно, придется тебе по вкусу. Я же попрошу тебя лишь об одном, мой дорогой. Как брат главы фирмы, ты, конечно, займешь привилегированное положение среди других служащих. Думается, незачем тебе напо-

минать, что ты внушишь им куда больше уважения товарищеским обхождением и ревностным выполнением своих обязанностей, нежели использованием своих привилегий и небрежностью. Итак, значит, будем держаться положенных часов работы и соблюдать les dehors [1], идет?

Затем он оговорил условия оплаты, на которые Христиан согласился не раздумывая и не торгуясь, с видом смущенным и рассеянным, свидетельствовавшим о желании поскорее закончить разговор и о явном отсутствии стяжательского духа.

На следующий день Томас представил его конторским служащим. Так началась деятельность Христиана во славу старинной фирмы.

Первое время после смерти консула дела шли все так же бесперебойно и солидно. Но вскоре в городе стали замечать, что, с тех пор как бразды правления принял Томас Будденброк, в старинном торговом доме повеяло свежим духом предприимчивости и смелости. Фирма то заключала в известной мере рискованные сделки, то разумно и уверенно использовала кредит, бывший при «старом режиме» только отвлеченным понятием, теорией, бесполезным предметом роскоши. Биржевики лукаво перемигивались: Будденброк хочет срывать большие куши, и радовались, что к Томасу, словно свинцовое ядро к ноге, привязан непоколебимо честный г-н Маркус. Влияние г-на Маркуса тормозило ход дел. Он тщательно разглаживал двумя пальцами усы, с педантической аккуратностью раскладывал свои письменные принадлежности, переставлял стакан с водой, неизменно стоявший на его конторке, и, напустив на себя отсутствующий вид, начинал всесторонне изучать очередное дело; вдобавок у него была привычка пять-шесть раз на дню выходить во двор и подставлять голову под водопроводный кран — для освежения.

— Они отлично дополняют друг друга,— говаривал глава одной крупной фирмы другому, к примеру — консул Хунеус консулу Кистенмакеру.

Среди моряков, складских рабочих и в бюргерских семьях помельче повторялось это же суждение, ибо весь город интересовался, удастся ли молодому Будденброку «набить мошну». Г-н Штут с Глокенгиссерштрассе тоже заметил своей супруге — той, что вращалась в высших кругах:

— Эти двое отлично дополняют друг друга, уж поверь мне!

Однако заправилой в деле, без сомнения, являлся младший

---

[1] Приличия *(франц.)*.

компаньон. Это видно было уже по тому, как он обходился со служащими фирмы, с капитанами, с представителями складских контор, с возчиками и портовыми рабочими: он умел говорить с ними на понятном им языке и в то же время держать их на почтительном от себя расстоянии.

Когда же г-н Маркус обращался к какому-нибудь бравому грузчику: «Ну, голубчик, смекнул, где тут собака зарыта?» — это звучало до того комично, что Томас, сидевший за конторкой напротив, не мог удержаться от смеха, и все служащие покатывались вслед за ним.

Томас Будденброк, горя желанием придать новый блеск фирме, соответствующий ее старому доброму имени, и повседневно борясь за эту цель, не любил отходить в тень, ибо прекрасно сознавал, что не одну выгодную сделку заключил он благодаря своим уверенным светским манерам, своей покоряющей любезности и такту.

— Деловому человеку не полагается быть бюрократом,— говорил он Стефану Кистенмакеру (фирма «Кистенмакер и сыновья»), своему бывшему однокашнику и неизменному почитателю, который прислушивался к каждому слову Томаса и затем выдавал его за собственное мнение.— Личность играет первостепенную роль в нашем деле, в этом я уверен! Нельзя добиться сколько-нибудь крупного успеха, сиднем сидя в конторе... во всяком случае, мне такой успех не доставил бы радости! Успех не поддается вычислению за письменным столом... Я всегда испытываю потребность дирижировать ходом событий — глазами, словом, любезным жестом, направлять таковые непосредственным воздействием моей воли, моих способностей или, как ты любишь выражаться, моего везенья. Но это личное вмешательство коммерсанта во все дела, увы, выходит из моды... Время идет вперед и лучшее, как мне кажется, оставляет позади... Средства сообщения становятся все совершеннее, курсы узнаются все скорее, уменьшается риск, а вместе с ним уменьшаются и барыши... Да, прежде было по-другому! Мой дед, например, в пудреном парике и в туфлях отправился на четверке лошадей в Южную Германию в качестве поставщика прусской армии. Он обольщал всех, кто с ним соприкасался, пускался на всевозможные уловки и заработал там уйму денег. Ах, Кистенмакер! Боюсь, что коммерсантов ждет жизнь все более и более серая!..

Так любил он иногда сетовать, и потому ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем, например, выехав на прогулку с семьей, зайти на мельницу, вступить в разговор

с польщенным хозяином и походя, за благодушной беседой, заключить выгодную сделку. Компаньон его ни на что подобное не был способен.

Что касается Христиана, то на первых порах он как будто ревностно и охотно взялся за работу; более того, казалось, что именно в работе он находит счастье и удовлетворение. Много дней подряд он ел с таким аппетитом, так смачно курил свою коротенькую трубочку и так поводил плечами под сукном своего английского жакета, что не оставалось никаких сомнений в бодром и радостном состоянии его духа. По утрам, почти в одно время с Томасом, он спускался вниз, в контору, и усаживался в вертящееся кресло рядом с г-ном Маркусом, наискосок от брата,— ибо, так же как и оба совладельца, пользовался привилегией сидеть в кресле; он начинал с просмотра «Ведомостей», с удовольствием при этом докуривая свою утреннюю папиросу, затем доставал из нижнего ящика конторки старый коньяк, наливал себе рюмку, потягивался, чтобы почувствовать себя бодрее, произносил: «Ну-с!» — и, быстро водя языком во рту, приступал к работе. Его английские письма были необыкновенно складны и деловиты, ибо писал он по-английски так же, как говорил,— свободно, непринужденно, не затрудняясь подбором выражений.

В кругу родных он, по обыкновению, всячески старался разъяснить свое состояние духа.

— Коммерция, в сущности, прекрасное занятие, поистине заставляющее человека чувствовать себя счастливым! — объявлял он.— Почтенное дело, возвышающее тебя в собственных глазах, живое, интересное. Я, можно сказать, рожден для него! Притом я ведь как-никак Будденброк!.. Нет, никогда в жизни я себя так хорошо не чувствовал! Утром со свежей головой придешь в контору, просмотришь газету, покуришь, подумаешь о том, о сем, опрокинешь рюмочку коньяку, немножко поработаешь — не успел оглянуться, уже обед. Ты ешь в кругу семьи, отдыхаешь и снова берешься за труды. Для писем тебе даются бланки, отпечатанные на превосходной гладкой бумаге, отличное перо, линейка, нож для разрезанья, печатка — все первейшего сорта, изящное... И вот ты начинаешь орудовать этими предметами — аккуратно, по порядку... а там, глядишь, и работе конец. Завтра тоже день. И когда подымаешься наверх к ужину, чувствуешь себя уж до того довольным... каждая частичка тела исполнена довольства... руки довольны!..

— Господи, Христиан, что за чушь ты несешь? — воскликнула Тони.— Руки довольны!..

— Да, да! Тебе это чувство незнакомо? Я имею в виду...—

И он стал подробно разъяснять это чувство, стараясь втолковать им: — Ну вот, например, ты сжала кулак, понимаешь?.. Не очень сильно, потому что утомлена работой! Но ладонь не потная, она тебя не раздражает. Ей хорошо, приятно. В душе у тебя поднимается ощущение самоудовлетворенности... ты можешь сидеть сложа руки и не скучать.

Все молчали. Затем Томас безразличным тоном, с целью скрыть свое раздражение, сказал:

— По-моему, работаешь не для того, чтобы...— Он не договорил, не повторил слов Христиана, только добавил: — Во всяком случае, когда я работаю, то вижу перед собой другую цель.

Но Христиан не слушал брата, его глаза блуждали, он погрузился в раздумье и затем начал рассказывать историю какой-то драки, виденной им в Вальпарансо и закончившейся смертоубийством.

— ...Тут этот малый выхватил нож!..

Нескончаемые рассказы Христиана, над которыми от души потешалась мадам Грюнлих, в то время как консульша, Клара и Клотильда ужасались, а мамзель Юнгман и Эрика слушали с открытыми ртами, у Томаса почему-то не пользовались ни малейшим успехом. Он обычно прерывал их холодными и колкими замечаниями, как бы желая сказать, что, по его мнению, Христиан преувеличивает и подвирает,— хотя на самом деле это было не так, он только рассказывал очень красочно и увлеченно. Может быть, Томаса уязвляло, что младший брат больше видел, чем он сам? Или же ему не по душе была хвала беспорядку, экзотике и насилию, слышавшаяся в этих рассказах о поножовщине и пистолетных выстрелах. Так или иначе, но Христиан нимало не смущался неодобрительным отношением брата к его повествованьям; он так упивался своим рассказом, что вопрос об успехе или неуспехе уже не заботил его, а кончив, озирался вокруг с видом задумчивым и отсутствующим.

Если со временем отношения обоих Будденброков и сложились неблагоприятно, то, во всяком случае, вина за это ложилась не на Христиана, никогда не выказывавшего, да и не питавшего к брату какой-либо неприязни и отнюдь не позволявшего себе осуждать его или вообще как-то оценивать. Хоть он ничего не говорил, но все его поведение доказывало, что он не оспаривает превосходства брата, его большей серьезности, лучших способностей, деловитости и положительности. Но как раз это-то беспредельное, безразличное, покорное подчинение и сердило Томаса, ибо Христиан заходил в нем уже так далеко, покорялся так охотно и неизменно, что невольно начинало

казаться, будто он вовсе не придает значения моральному превосходству, деловитости, серьезности и положительности.

Так, например, он просто не замечал, что глава фирмы, хотя тот тоже ничего не говорил, начинает со все возрастающим нерасположением относиться к нему, на что, впрочем, у Томаса имелись достаточные причины, ибо, увы, трудовое рвение Христиана после первой, а тем более второй недели заметно пошло на убыль. Выразилось это сперва в том, что приготовления к рабочему дню, бывшие поначалу как бы искусственно и утонченно растянутой радостью предвкушения, то есть чтение газеты, докуривание утренней папиросы и питье коньяку, постепенно стали занимать все больше и больше времени, а под конец на эти приготовления уходили уже все часы до обеда. Затем, как-то само собой вышло, что Христиан начал сваливать с себя бремя обязательного сиденья в конторе,— по утрам, с неизменной папиросой в зубах, он позже начинал эти свои приготовления, обедать отправлялся в клуб и возвращался с большим опозданием, а иногда и вовсе не возвращался.

Этот клуб, членами которого были главным образом холостые коммерсанты, арендовал в первом этаже одного ресторана несколько благоустроенных залов, где можно было пообедать, а также непринужденно и не совсем невинно провести время,— к услугам посетителей здесь имелась рулетка. Завсегдатаями клуба являлись и некоторые ветреные отцы семейств, как, например, консул Крегер и, уж само собой разумеется, Петер Дельман. Полицей-президент Кремер был здесь «главным у брандспойта», по выражению доктора Гизеке — Андреаса Гизеке, сына брандмайора и однокашника Христиана, теперь видного адвоката; младший Будденброк наново сдружился с ним, хотя тот и слыл заядлым suitier.

Христиан, или, как его чаще именовали, Кришан, издавна знакомый, даже приятель с большинством членов клуба,— почти все они были учениками Марцеллуса Штенгеля,— был встречен здесь с распростертыми объятиями. Правда, как коммерсанты, так и люди ученых профессий держались одинаково невысокого мнения о его умственных способностях, но умели ценить его дар развлекать общество. В клубе он давал лучшие свои «представления», рассказывал самые занятные истории. Усевшись за рояль, он изображал виртуоза, «показывал» английских и заатлантических актеров и оперных певцов, с невиннейшим видом повествовал о головокружительных любовных историях, случившихся в самых разных уголках земного шара, так что ни у кого уже не оставалось сомнений, что Христиан

Будденброк самый заправский suitier; он доверительно сообщал и о собственных любовных похождениях — на кораблях, в вагонах железных дорог, в Сан-Паоло, в Уайтчепеле, в девственных лесах...

Рассказывал он неутомимо, увлекательно, всецело завладевая вниманием слушателей, голосом немного жалобным и тягучим, затейливо и карикатурно, как английский юморист. Так, он поведал своим приятелям историю запаршивевшей собаки, которую переслали в ящике из Вальпараисо в Сан-Франциско. Одному богу известно, в чем заключалась соль этого анекдота, но в передаче Христиана он звучал необыкновенно комично. И в то время как все кругом с ног валились от хохота, он сам, горбоносый, худой, с непомерно длинной шеей и уже заметно поредевшими рыжеватыми волосами, сидел неподвижно, скрестив длинные кривые ноги и сохраняя на лице какое-то беспокойное, необъяснимо серьезное выражение, тогда как его маленькие глаза задумчиво перебегали с одного слушателя на другого... Минутами начинало казаться, что это его особа возбуждает смех, что смеются над ним... Но Христиана это не смущало.

Дома он больше всего любил рассказывать о конторе в Вальпараисо, о тамошней нестерпимой жаре и о некоем молодом лондонце по имени Джонни Тендерсторм, кутиле, «бесценном» парне, которого, «разрази меня господь, я никогда не видел за работой», и тем не менее весьма дельном коммерсанте...

— Боже милостивый! — восклицал Христиан.— В такую-то жару! Является в контору шеф... мы, восемь человек, валяемся, как сонные мухи, и курим, чтобы хоть москитов-то отогнать. Боже милостивый! «Ну-с,— говорит шеф,— что-то не видно, чтобы вы работали, милостивые государи!» — «No, sir,— отвечает Джонни Тендерсторм,— теперь вы убедились в этом собственными глазами, сэр!» И при этом мы пускаем дым ему прямо в физиономию. Боже милостивый!

— Почему, собственно, ты все время приговариваешь «боже милостивый»? — с раздражением спросил однажды Томас. Но на самом деле его раздражала не любимая приговорка брата, а то, что Христиан рассказывал эту историю лишь для того, чтобы презрительно и насмешливо отозваться о работе вообще.

В таких случаях мать старалась тактично замять разговор.

«Много есть уродливого на свете,— думала консульша Будденброк, урожденная Крегер.— Случается, что братья ненавидят и презирают друг друга. Это ужасно, и, однако, это бывает. Но не надо говорить об этом. Лучше делать вид, что ничего не замечаешь. Даже думать не надо».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В мае месяце, в одну роковую ночь, у дяди Готхольда — консула Готхольда Будденброка, недавно справившего свое шестидесятилетие,— вдруг сделались сердечные спазмы, и он скончался мучительной смертью на руках своей супруги, урожденной Штювинг.

Сын бедной мадам Жозефины, которому в сравнении с более поздним и более удачливым потомством мадам Антуанетты приходилось в жизни довольно туго, давно уже примирился со своей участью и в последние годы, в особенности после того как племянник уступил ему звание нидерландского консула, безмятежно поедал карамель от кашля из жестяной коробочки. Если кто-нибудь еще и вспоминал старинную семейную распрю, с годами вылившуюся в какую-то расплывчатую, неопределенную неприязнь, то разве что дамы из семейства дяди Готхольда, и не столько его добродушная и недалекая супруга, сколько дочери — три старые девы, которые без злобного огонька во взоре не могли смотреть ни на консульшу, ни на Антонию или Томаса.

По четвергам, в традиционные «детские дни», к четырем часам все Будденброки собирались в большом доме на Менгштрассе, чтобы вместе отобедать и провести вечер — иногда сюда наведывались еще консул Крегер с супругой или Зеземи Вейхбродт со своей неученой сестрой,— и тут уж дамам Будденброк с Брейтенштрассе не было большего удовольствия, как, наведя разговор на неудачное замужество Тони, выудить у мадам Грюнлих несколько высокопарных фраз и при этом обменяться быстрыми колючими взглядами... а не то высказать несколько общих суждений о том — какая это, собственно, недостойная суетность красить волосы, или с чрезмерным сочувствием осведомляться о Якобе Крегере, племяннике консульши.

Насмешки, которыми они донимали злополучную простодушную и долготерпеливую Клотильду, единственную из всех поневоле чувствовавшую их превосходство над собою, нимало не напоминали безобидных шуток Тома или Тони, вызывавших в ответ у этой бедной и вечно голодной девушки только протяжные, удивленные, но благодушные возгласы. Они потешались над строгостью и ханжеством Клары. Быстро проведав о дурных отношениях между Томом и Христианом, они пришли к выводу, что с последним, слава богу, считаться не приходится,

так как он просто чудак и пустомеля. Что касается Томаса, в котором они при всем желании не могли подметить никаких слабостей и который всегда относился к ним со снисходительным безразличием, как бы говорившим: «Я вас понимаю и жалею», то к нему они обращались с неизменной, несколько язвительной почтительностью. Зато уж о маленькой Эрике, розовой и выхоленной, хочешь не хочешь, приходилось сказать, что она самым нежелательным образом отстала в своем развитии. И тут же Пфиффи, раскачиваясь из стороны в сторону, причем уголки ее рта увлажнялись, добавляла, что девочка страх как похожа на мошенника Грюнлиха.

И вот теперь они, плача, стояли вместе с матерью вкруг постели умирающего отца, и хоть им и чудилось, что даже в этой смерти виновата родня с Менгштрассе, туда все же был послан гонец.

Звон дверного колокольчика огласил уснувший дом среди ночи. И так как Христиан поздно вернулся домой и чувствовал себя не совсем здоровым, то Томас дождливой весенней ночью один пустился в дорогу.

Он пришел как раз вовремя, чтобы застать последние конвульсивные содрогания Готхольда Будденброка; и когда все было кончено, долго стоял у смертного одра и, молитвенно сложив руки, смотрел на коренастую фигуру, обрисовывающуюся под покровом, на мертвое лицо с несколько расплывчатыми чертами и седыми бакенами.

«Жизнь не очень-то баловала тебя, дядя Готхольд,— думал он.— Слишком поздно ты научился уступать, считаться с обстоятельствами... а без этого не проживешь. Если бы я был, как ты, я бы тоже в свое время женился на лавочнице... Les dehors — их надо соблюдать! А, собственно, стремился ли ты к чему-нибудь?.. Ты хоть и был строптив, хоть и воображал, что эта твоя строптивость — своего рода служение идеалу, но дух твой не был достаточно окрылен, тебе не хватало фантазии, того идеализма, который заставляет человека с восторгом более сладостным, счастливым и упоительным, чем тайная любовь, вынашивать, лелеять, отстаивать какую-нибудь абстрактную величину вроде доброго имени или купеческого герба, бороться за его честь, мощь и блеск. Тебе недоставало чувства поэзии, хоть у тебя и достало смелости полюбить и жениться вопреки запрету отца. И честолюбия у тебя не было, дядя Готхольд. Конечно, наше старое имя — только бюргерское имя, и мы боремся за него, всеми силами способствуя процветанию какого-нибудь хлеботоргового дома, в маленьком уголке большого

мира добиваясь признания, почета и могущества для собственной персоны... Наверно, ты думал: «Я женюсь на Штювинг, которую люблю. Мне нет дела до практических соображений, ибо это мелочность, крохоборство». О, мы тоже бывалые, достаточно просвещенные люди и понимаем, что границы, поставленные нашему честолюбию, если взглянуть на них со стороны,— довольно узкие, жалкие границы. Но ведь все на земле только условность, дядя Готхольд! Разве ты не знал, что и в маленьком городке можно быть большим человеком? Что можно быть Цезарем в торговом городишке на берегу Балтийского моря? Правда, для этого требуется известная доля воображения, известная воодушевленность идеалом... а этого как раз у тебя и не было, что бы ты там о себе ни думал».

И Томас Будденброк отвернулся. Он подошел к окну, заложил руки за спину и стал смотреть на чуть виднеющийся в утреннем сумраке, полускрытый дождем готический фасад ратуши; улыбка озарила его умное лицо.

Само собой разумеется, что должность и звание нидерландского королевского консула, на которые Томас имел право после смерти отца, теперь, к безмерной гордости Тони Грюнлих, перешли к нему, и выпуклый щит со львами, гербом и короной снова был водружен на фасаде будденброковского дома под словами: «Dominus providebit».

Тотчас же по завершении всех формальностей, связанных со вступлением в новую должность, молодой консул, сам еще не зная, на какой срок,— предпринял путешествие — вернее, деловую поездку в Амстердам.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Смерть близкого человека нередко настраивает нас на возвышенно-благочестивый лад, и потому никто не удивлялся, что консульша после кончины мужа стала время от времени произносить сугубо религиозные тирады, прежде ей не свойственные.

Вскоре, однако, выяснилось, что это отнюдь не преходящее расположение духа, и в городе начали поговаривать о том, что консульша, по мере приближения старости все больше сочувствовавшая религиозным наклонностям своего супруга, видимо,

решила почтить память покойного, полностью усвоив его благочестивый образ мыслей.

Она всеми силами старалась внедрить в своем обширном доме любезный сердцу ее покойного мужа серьезный и кроткий дух истинного христианства, не чуждающийся и благородного веселия сердца. Утренние и вечерние молитвы стали длиться еще дольше. Все семейство собиралось в большой столовой, прислуга стояла в дверях ротонды, а хозяйка дома или Клара читали вслух главу из большой семейной Библии с гигантскими буквами, после чего консульша садилась за фисгармонию и начиналось пение хоралов. Иногда Библия заменялась одной из тех душеспасительных золотообрезных книг в черных переплетах, под названием «Сокровищница», «Псалтырь», «Утрословие» и «Страномудрие», которых слишком уж много развелось в доме консульши,— книг, до отвращения приторно славящих сладчайшего, благостного Иисуса.

Христиан был редким гостем молитвенных собраний. Осторожное же и полушутливое возражение Томаса против подобного времяпрепровождения встретило мягкий, но исполненный достоинства отпор. Что касается мадам Грюнлих, то она, к сожалению, держалась иногда даже и не вполне корректно. Однажды утром — у Будденброков в это время как раз гостил приезжий проповедник — всем собравшимся пришлось пропеть на торжественно-фанатическую и прочувствованную мелодию следующие слова:

В греховной скверне человек —
Как в луковице гниль,—
Грехами омрачен мой век,
Я ржа, я грязь, я пыль.
О господи, спаси меня,
Страшусь я адова огня!
Я смрадный пес, но сжалься — брось
Ты милосердия мне кость! —

после чего мадам Грюнлих с сердцем отшвырнула от себя книгу и покинула комнату.

Впрочем, к себе самой консульша предъявляла несравненно бо́льшие требования, чем к своим детям. Так, она основала воскресную школу. Утром по воскресеньям у подъезда на Менгштрассе то и дело звонили девочки из городского училища — Стина Фосс из-под Стены, Мики Штут с Глокенгиссерштрассе, Фике Снут из закоулков у Тра̀вы, или с Малой Грепельгрубе, или с Энгельсвиша,— со светлыми, как лен, волосами, для гладкости смоченными водой, проходили они через нижние сени

в залитую светом дальнюю комнату с окнами в сад, которую давно уже не использовали как конторское помещение; там были расставлены скамейки, и консульша Будденброк, урожденная Крегер, с благородным белым лицом в еще более белом кружевном чепчике и в платье из тяжелого черного атласа, восседая за столиком, на котором стоял стакан с сахарной водой, целый час читала им из катехизиса.

Сверх того она учредила еще и «Иерусалимские вечера», в которых, кроме Клары и Клотильды, приходилось волей-неволей принимать участие и Тони. Раз в неделю в большой столовой за раздвинутым столом, при свете ламп и канделябров, пили чай или бишоф не менее двадцати дам — в возрасте, заставляющем уже думать о тепленьком местечке в царстве божием,— ели вкуснейшие бутерброды и пудинги, а также читали вслух тексты из Священного писания и распевали духовные песнопения, занимаясь при этом рукоделием. Работы их в конце года распродавались на благотворительном базаре, а вырученные деньги пересылались в Иерусалим на поддержание миссионерской деятельности.

В благочестивое содружество, состоявшее главным образом из дам того же избранного круга, к которому принадлежала и консульша Будденброк, входили: сенаторша Лангхальс, консульша Меллендорф и старая консульша Кистенмакер; другие дамы, настроенные на более светский и менее благочестивый лад,— мадам Кеппен, например,— втихомолку подсмеивались над своей подругой Бетси. Неизменными посетительницами «Иерусалимских вечеров» были еще жены местных священников, вдовая консульша Будденброк, урожденная Штювинг, и Зеземи Вейхбродт со своей неученой сестрой. А так как перед лицом господа нашего Иисуса Христа не существует рангов и социальных различий, то на «Иерусалимских вечерах» изредка появлялись и дамы куда менее высокопоставленные — например, маленькое морщинистое существо, славное своим благочестием и образчиками вязаний, обиталищем которого был госпиталь Святого духа, некая Гиммельсбюргер, последняя в роде. «Последняя Гиммельсбюргер»,— скорбно представлялась она и при этом чесала спицей под чепцом.

Но куда примечательнее были два других члена содружества: весьма оригинальные старые девы — близнецы, которые рука об руку разгуливали по городу в сильно выцветших платьях, в пастушеских шляпах XVIII века и «творили добро». Фамилия их была Герхардт, и они утверждали, что происходят по прямой линии от Пауля Герхардта. Поговаривали, что сест-

ры вовсе не так бедны, но жизнь они вели самую жалкую и все раздавали бедным.

— Дорогие мои,— восклицала консульша Будденброк, слегка их стыдившая,— конечно, господь бог смотрит в сердце, но ваши туалеты слишком уж непрезентабельны... надо следить за собой.

В ответ они только целовали в лоб свою элегантную приятельницу, так и не сумевшую побороть в себе светскую даму, со снисходительным, любовным и сострадательным превосходством, которое внушает бедняку богач, алчущий доступа в царствие небесное. Ибо это были отнюдь не глупые создания; у них были маленькие, как у попугаев, головки с уродливыми сморщенными личиками и живые, чуть подернутые мутной пеленой карие глаза, смотревшие на мир со странным выражением кротости и всезнания. Таинственным, чудесным знанием были исполнены и сердца старых дев. Им было известно, что в наш последний час все некогда любимые нами и уже представшие господу с благостными песнопениями явятся препроводить нас в царствие небесное. Они произносили слово «господь» с уверенной непринужденностью первых христиан, из уст самого вседержителя слышавших: «Малый еще миг, и вы узрите меня». Сестры располагали также удивительнейшими теориями касательно внутренних озарений, предчувствий, передачи и внушения мыслей на расстоянии. Одна из них, Леа, была глуха и, несмотря на это, всегда знала, о чем идет речь.

Именно потому, что Леа Герхардт была глухой, ее чаще других сажали читать на «Иерусалимских вечерах»; кроме того, дамы находили, что она читает красиво, с захватывающей выразительностью. Она вынимала из объемистого ридикюля стариннейшую книгу, длина которой до смешного не соответствовала ее ширине, с гравированным на меди изображением своего предка — мужчины с неестественно раздутыми щеками,— брала ее в обе руки и, для того чтобы и самой хоть что-нибудь слышать, начинала читать страшным голосом, завывавшим, как ветер в печной трубе:

Пожрать меня желает сатана...

«Ну,— думала Тони Грюнлих,— сомневаюсь, чтобы сатана польстился на такую особу!» Но она ничего не говорила и, в свою очередь, поедая пудинг, размышляла, станет ли и она со временем такой уродиной, как эти Герхардт.

Счастливой Тони себя не чувствовала. Она скучала и злилась на пасторов и миссионеров, посещения которых после

смерти консула, пожалуй, еще участились; кроме того, она считала, что они забрали слишком уж много власти в доме и слишком дорого обходятся.

Последнее больше касалось Тома, но он молчал. Тони же время от времени разражалась гневными тирадами относительно тех, что пожирают «домы вдовиц» и произносят слишком долгие проповеди.

Она яростно ненавидела всех этих посетителей в черных одеждах. И, как зрелая женщина, знающая жизнь, а не какая-нибудь дурочка, не считала для себя обязательным верить в их безусловную добродетель.

— О, господи, мама! — говорила она.— Я знаю, что не следует порицать ближнего! Но одно я должна сказать: удивляюсь, как жизнь тебе еще не доказала, что те, кто ходит в длинных сюртуках и через каждые два слова говорит «господи, господи», сами отнюдь не безгрешны.

Как относился Томас к истинам, которые столь непререкаемо высказывала его сестра, оставалось невыясненным. У Христиана на этот счет вообще никакого мнения не сложилось; с него было достаточно и того, что он, сморщив нос, приглядывался к этим господам, а потом «показывал» их в клубе или дома.

Правда и то, что Тони больше, чем другим, докучали визитеры духовного звания. Однажды дело зашло так далеко, что некий миссионер по имени Ионатан, побывавший в Сирии и Аравии,— мужчина с укоризненным взором больших глаз и печально отвислыми щеками,— подошел к ней и с меланхолической строгостью в голосе потребовал от нее решения вопроса: совместимы ли ее завитые щипцами кудряшки на лбу с истинно христианским смирением?.. Ах, он недооценил колкую и саркастическую находчивость Тони Грюнлих. Несколько секунд она молчала, лицо ее свидетельствовало о напряженной работе мысли. Наконец воспоследовал ответ:

— Разрешите просить вас, господин пастор, впредь заботиться только о ваших собственных локонах! — И, шурша платьем, она выплыла из комнаты, слегка вздернув плечи и закинув голову.

Нельзя не заметить, что на черепе у пастора Ионатана росло прискорбно мало волос, точнее — у него был просто голый череп.

Но однажды на долю Тони выпало еще большее торжество. Пастор Тришке из Берлина, прозванный «Слезливым Тришке», ибо во время своей воскресной проповеди он, дойдя до одного определенного места, всякий раз проливал слезы,—

так вот, Слезливый Тришке, примечательный разве что своим бледным лицом, красными глазами и лошадиными челюстями, который уже больше недели гостил у Будденброков и попеременно то ел взапуски с бедной Клотильдой, то возносил молитвы господу, влюбился в Тони... и влюбился не в ее бессмертную душу,— о нет! — а в ее верхнюю губку, пышные волосы, красивые глаза и прельстительные формы! И сей слуга господень, оставивший в Берлине жену и целую кучу детей, не устыдился послать со слугой Антоном во второй этаж, где помещалась спальня мадам Грюнлих, письмо, являвшее собою удачную смесь из библейских текстов и льстиво-нежных слов. Ложась спать, Тони нашла это письмо, пробежала его глазами и тотчас же решительным шагом направилась вниз, в спальню консульши, где при свече, нимало не стесняясь, громким и твердым голосом прочитала матери послание благочестивого пастыря, после чего дальнейшее пребывание Слезливого Тришке на Менгштрассе стало уже невозможным.

— Таковы они все,— изрекла мадам Грюнлих.— Да, все! О, боже, мама, раньше я была дурочкой, наивным ребенком, но жизнь научила меня не доверяться людям. Большинство из них — мошенники... да! Увы, это так! Грюнлих! — Это имя прозвучало как воинственный клич, как короткий зов фанфары, который Тони, вздернув плечи и подъяв взоры к небесам, бросила в пространство.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Зиверт Тибуртиус был низкорослый, узкоплечий и большеголовый мужчина, с жидкими, но очень длинными белокурыми бакенбардами, которые он иногда, удобства ради, закидывал за плечи. Его круглый череп сплошь покрывали мелкие тугие завитки, а большие оттопыренные уши, сильно загнутые внутрь, заострялись кверху, как у лисы. Нос на его лице казался маленькой плоской пуговкой, скулы сильно выдавались, а серые, обычно прищуренные и немного растерянные глаза обладали способностью вдруг шириться, делаться все больше, больше, выкатываться, чуть ли не выскакивать из глазниц.

Таков был пастор Тибуртиус, родом из Риги. Он служил некоторое время в Средней Германии и теперь, по пути на родину, где ему достался приход, заехал сюда. Снабженный рекомендациями одного из своих собратьев, который уже отведал на Менгштрассе голубиного супа и ветчины с луковым соусом, он нанес консульше визит, получил приглашение прожить в ее

доме те несколько дней, которые должно было продлиться его пребывание в городе, и водворился в просторной комнате для гостей — второй этаж, по коридору.

Но пробыл он дольше, чем рассчитывал. Прошла уже неделя, а пастор Тибуртиус, как оказывалось, все еще не видел то одной, то другой достопримечательности — «пляски мертвых» и апостольских часов в Мариенкирхе, ратуши, «Дома корабельщиков», вращающего глазами солнца в соборе. Прошло наконец десять дней, он все заговаривал об отъезде, но по первому же слову консульши, предлагавшей ему еще погостить, вновь откладывал его.

Он выгодно отличался от пастора Ионатана и Слезливого Тришке. Его нимало не интересовали завитые кудряшки на лбу г-жи Антонии, и он не писал ей писем. Но зато тем внимательнее приглядывался к Кларе, младшей и более степенной дочери консульши. В ее присутствии, когда она говорила, двигалась, входила в комнату, его глаза начинали щуриться, делались все больше и больше, выкатывались, чуть ли не выскакивали из глазниц... он почти весь день проводил с нею то в духовных, то в светских беседах или читал ей вслух своим высоким срывающимся голосом с забавным отрывистым выговором, характерным для его балтийской родины.

В первый же день он сказал консульше:

— Не обессудьте меня, сударыня! Великим сокровищем благословил вас господь в лице вашей дочери Клары! Что за прекрасное дитя!

— Вы правы,— отвечала консульша. Но он так часто твердил это, что она стала пытливее вглядываться в него своими светло-голубыми глазами и заставила несколько подробнее рассказать о его родителях, имущественном положении, видах на будущее. Выяснилось, что он единственный сын, происходит из купеческой семьи, что мать его скончалась, а отец живет в Риге на проценты с капитала, который со временем перейдет к нему, пастору Тибуртиусу, но уже и сейчас приход может вполне обеспечить его.

Кларе Будденброк шел девятнадцатый год; высокая и стройная, с темными, гладко расчесанными на прямой пробор волосами, со строгим и вместе с тем мечтательным взглядом карих глаз, с чуть горбатым носом и, пожалуй, слишком плотно сжатыми губами, она несомненно была красива своеобразной, хотя и несколько холодной красотой. Из домашних Клара больше всего дружила со своей бедной и тоже набожной кузиной Клотильдой; отец Клотильды недавно скончался, и теперь она

носилась с мыслью «устроиться самостоятельно», то есть с доставшимися ей по наследству грошами и несколькими предметами обстановки перебраться в какой-нибудь пансион. Впрочем, в Кларе не было ничего от унылого, голодного и терпеливого смирения Тильды.

Напротив, в общении с домашними, даже с матерью, не говоря уж о прислуге, ей был присущ довольно властный тон, а ее голос — альт, способный разве что понижаться на решительных интонациях, но никогда не повышаться на вопросительных,— звучал повелительно, временами даже резко, с оттенком жесткой нетерпимости и высокомерия, особенно в те дни, когда Клара страдала головными болями.

До того как семейство облеклось в траур по случаю смерти консула, Клара с холодным достоинством принимала участие в вечерах, дававшихся в доме ее родителей и в других видных семьях города. Наблюдая за ней, консульша ясно отдавала себе отчет, что, несмотря на солидное приданое, энергичный характер и домовитость, Клару нелегко будет выдать замуж. Рядом с этой серьезной, богобоязненной девушкой нельзя было себе представить ни одного из насмешливых, охочих до красного вина, развязно-веселых коммерсантов их круга, а разве что лицо духовного звания. И так как мысль об этом служила некоторым утешением консульше, то нежные намеки пастора Тибуртиуса встретили с ее стороны сдержанное, но вполне доброжелательное отношение.

И правда, все пошло как по-писаному. В один из теплых и безоблачных июльских дней, особенно располагавших к прогулкам, консульша, Антония, Христиан, Клара, Тильда, Эрика Грюнлих, мамзель Юнгман и, конечно, пастор Тибуртиус отправились далеко за Городские ворота с намерением где-нибудь в сельской корчме, на вольном воздухе, сидя за деревянными некрашеными столиками, поесть земляники с топленым молоком или гречневой каши; подкрепившись, они пошли к речке через обширный плодовый сад и огород, идя то в тени фруктовых деревьев, среди кустов крыжовника, смородины, то полями, засаженными картофелем и спаржей.

Зиверт Тибуртиус и Клара немного поотстали. Пастор, на голову ниже ее, с бакенбардами, закинутыми за плечи, снял со своей большой головы черную соломенную шляпу, широко открыл глаза и, то и дело вытирая платком пот со лба, завел долгий вкрадчивый разговор, в разгаре которого они на мгновение замедлили шаг и Клара серьезным, спокойным голосом произнесла «да».

По возвращении домой, когда за окном уже царила предвечерняя задумчивая тишь воскресного дня и разомлевшая, утомленная консульша одна сидела в ландшафтной, пастор Тибуртиус подсел к ней и в сиянии закатного летнего солнца завел деликатную беседу, которую консульша прервала словами:

— Я вас поняла, мой дорогой господин пастор... Ваше предложение отвечает желаниям моего материнского сердца. Смею вас уверить, что и вы, со своей стороны, сделали неплохой выбор. Кто бы мог подумать, что господь бог так благословит ваше появление и пребывание в нашем доме? Но сегодня я еще воздержусь от окончательного ответа. Мне следует прежде всего написать моему сыну, консулу, который, как вам известно, находится за границей. Завтра вы, в добрый час, отправляйтесь в Ригу, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей, а мы, вероятно, поедем на месяц к морю... В скором времени вы получите от меня известие. И дай бог нам счастливой встречи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Амстердам, 20 июля 1856 года
Гостиница «Хет-Хаасье».

Дорогая мама!

Тотчас же по получении твоего столь обильного новостями письма спешу выразить тебе мою глубочайшую признательность за внимание, выразившееся в том, что ты по известному поводу решила испросить моего согласия. Разумеется, я не только с радостью изъявляю таковое, но спешу сопроводить его сердечнейшими поздравлениями, ибо не сомневаюсь, что ты и Клара сделали правильный выбор. Почтенное имя Тибуртиуса мне знакомо, и я почти уверен, что папа состоял с его отцом в деловых отношениях. Во всяком случае, Клара попадет в достойную ее обстановку, а положение супруги пастора будет как нельзя лучше отвечать ее наклонностям.

Итак, значит, Тибуртиус отбыл в Ригу и опять приедет в августе навестить свою невесту? Вот уж когда весело будет у нас на Менгштрассе — веселее, чем все вы можете предположить, ибо вам еще не известно, в силу какого удивительно счастливого совпадения меня так поразило известие о помолвке мадемуазель Клары. Да, добрейшая маменька, если я сегодня почел долгом препроводить с берегов Амстеля к берегам Балтийского моря свое благосклонное соизволение на счастливый земной удел Клары, то лишь при одном условии, а именно: что

с обратной почтой мною будет получено такое же соизволение и по такому же поводу, но начертанное твоей рукой! Я бы с легким сердцем отдал три гульдена, чтобы посмотреть на твое лицо, в особенности же на лицо нашей Тони, при чтении этих строк... но обратимся к существу дела.

Из маленькой уютной гостиницы в центре города, вблизи биржи, открывается прекрасный вид на канал, и дела, из-за которых я сюда приехал (речь ведь шла о том, чтобы завязать новые весьма для нас важные связи; а ты знаешь, что я предпочитаю делать это лично), с первого же дня пошли так, как мне было желательно. Меня знают в городе еще со времен моего ученичества, а потому, хотя многие семьи выехали на курорты, я оказался засыпанным приглашениями. Я побывал на семейных вечерах у ван Хенкдемов и Меленов и уже на третий день моего здешнего пребывания облекся в парадный костюм, чтобы отправиться на обед к бывшему моему принципалу, г-ну ван дер Келлену, который он, несмотря на то что сезон уже кончился, давал, видимо, в мою честь. К столу я вел... а ну, попробуйте угадать кого? Мадемуазель Арнольдсен, Герду Арнольдсен, подругу Тони по пансиону. Ее отец — крупный коммерсант и, может быть, еще более крупный скрипач — тоже присутствовал на обеде, равно как и его замужняя дочь с супругом.

Я помню, что Герда,— разрешите мне отныне называть ее просто по имени,— еще совсем юной девушкой, когда она училась у мадемуазель Вейхбродт на Мюлленбринке, произвела на меня сильнейшее, почти неизгладимое впечатление. И вот теперь я снова увидел ее: взрослой, похорошевшей, развившейся духовно и физически. Впрочем, увольте меня от описания той, которую вы вскоре увидите собственными глазами.

Нетрудно себе представить, что у нас нашлось достаточно тем для разговора за столом; но уже после первого блюда мы перестали ворошить старые воспоминания и перешли к разговорам значительно более серьезным и увлекательным. Что касается музыки, то тут я, конечно, оказался не на высоте, ибо все мы, бедные Будденброки, ничего в ней не смыслим, но в нидерландской живописи я разбираюсь уже много лучше, а когда речь зашла о литературе, то мы и вовсе сошлись во взглядах.

Не скрою, что время для меня летело как на крыльях. После обеда я попросил представить меня г-ну Арнольдсену, который отнесся ко мне весьма благосклонно. Позднее, когда все перешли в гостиную, он исполнил несколько музыкальных пьес, а вслед за ним выступила и Герда; выглядела она при этом восхитительно. И хотя я ровно ничего не понимаю в

скрипичной игре, но ее инструмент (настоящий Страдивариус) пел так, что слезы навертывались на глаза у слушателей.

На следующий день я отправился на улицу Бьютенкант с визитом к Арнольдсенам. Сначала меня приняла пожилая компаньонка, с которой мне пришлось говорить по-французски, потом вышла Герда, и мы добрый час без умолку болтали с нею, как и накануне, с тою только разницей, что на этот раз оба чувствовали себя непринужденнее, еще больше старались понять друг друга и найти общий язык. Опять мы вспоминали тебя, мама, Тони, наш славный старый город и мою в нем деятельность.

Уже в тот самый день я принял твердое решение: она, и никакая другая, теперь или никогда! Я встретился с нею еще раз на празднике, который устроил у себя в саду мой друг ван Свиндрен, и затем получил приглашение на музыкальный вечер к самим Арнольдсенам. На этом вечере я позондировал почву, полуобъяснился, если можно так выразиться, и был обнадежен... И вот — это было уже пять дней назад — я с утра отправился к г-ну Арнольдсену просить руки его дочери. Он принял меня в своем домашнем кабинете.

— Любезный консул,— отвечал он мне,— я не желал бы себе лучшего зятя, хотя мне, старому вдовцу, будет очень тяжело расстаться с дочерью. Но она сама? До сих пор ее решение не выходить замуж оставалось непреклонно. Есть у вас надежда?

Он был очень удивлен, когда я сказал, что дочь его дала мне право надеяться.

Он предоставил ей несколько дней на размышления и, думаю, что из чрезвычайного эгоизма, уговаривал ее не выходить замуж. Но тщетно, она избрала меня, и вчера состоялось обручение.

Нет, дорогая моя мама, сейчас я не прошу у тебя письменного благословения на этот союз, ибо уже послезавтра уезжаю; но Арнольдсены — отец, Герда и ее замужняя сестра — обещают в августе посетить нас, и тогда ты сразу поймешь, что я нашел ту, которая мне нужна. Надеюсь, тебя не смутит, что Герда всего на три года моложе меня? Но ты ведь никогда и не предполагала, что я введу в свой дом какую-нибудь юную особу из круга Мелленсдорф — Лангхальс — Кистенмакер — Хагенштрем.

Что же касается «партии»... Ну, тут я даже немного опасаюсь, что Стефан Кистенмакер, и Герман Хагенштрем, и Петер Дельман, и дядя Юстус, и весь город станут лукаво по-

сматривать на меня, узнав, на ком я женюсь: мой будущий тесть — миллионер... Бог мой, что тут сказать? В каждом из нас много половинчатого, много такого, что поддается самым разным толкованиям. Я люблю Герду Арнольдсен, безмерно восхищаюсь ею, но я не имею ни малейшей охоты копаться в своей душе и выяснять, способствовала ли моей любви, и если способствовала, то в какой мере, сумма ее приданого, о которой мне достаточно цинично шепнули при первом же знакомстве. Я люблю Герду, но мое счастье и моя гордость только усиливаются оттого, что, назвав ее своей женой, я вместе с тем обеспечу нашей фирме значительный приток капитала.

Кончаю, милая мама, ибо это письмо, если принять во внимание, что через несколько дней мы с тобой будем лично говорить о моем счастье, и без того слишком длинно. Желаю тебе с пользой и удовольствием провести время на курорте и прошу передать всем нашим мой самый сердечный привет.

Твой любящий и покорный сын *Т.*».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И правда, весело и празднично протекал в этом году конец лета в будденброковском доме.

Вернувшись в конце июля на Менгштрассе, Томас, как и другие занятые в городе мужчины, несколько раз выезжал к семье на взморье. Христиан же совсем переселился туда под предлогом каких-то неопределенных болей в левой ноге, с которыми доктор Грабов ничего не мог поделать, отчего Христиан тем более тревожился и уже ни о чем другом не думал.

— Это не боль. Так это ощущение назвать нельзя,— силился он объяснить, поглаживая ногу, морща нос и растерянно озираясь по сторонам.—Это мука, непрестанная, тупая, изнуряющая мука во всей ноге... и с левой стороны... где сердце... странно... очень странно! Как по-твоему, что это такое, Томас?

— Скоро это у тебя пройдет,— отвечал Томас,— ты отдохнешь, попринимаешь морские ванны...

И Христиан отправлялся либо к морю, где он разгуливал между кабинок и рассказывал истории, от которых все курортное общество покатывалось со смеху, либо в курзал — поиграть в рулетку за компанию с Петером Дельманом, дядей Юстусом и несколькими гамбургскими suitiers.

Консул Будденброк и Тони, как всегда по приезде в Травемюнде, навестили стариков Шварцкопфов в Первой линии.

— Добро пожаловать, мадам Грюнлих,— радостно приветствовал Тони старый лоцман.— Давненько, давненько мы вас не видывали. А хорошее было тогда время, черт подери!.. Мортен-то наш уж сколько лет доктором в Бреславле и практику себе, пострел, сколотил недурную!

Госпожа Шварцкопф суетилась, готовя кофе, и они завтракали на увитой зеленью веранде, как некогда... только все были на десять лет старше, да Мортен и маленькая Мета, вышедшая замуж за чиновника в Гафкруге, были далеко, и лоцман, седой как лунь, стал туг на ухо, а у жены его под сеткой тоже белели седые волосы, да мадам Грюнлих уже не была больше дурочкой и много чему успела научиться в жизни, что, впрочем, не мешало ей поедать пропасть сотового меда, оправдываясь тем, что это «натуральный продукт, тут уж, по крайней мере, известно, что вводишь в организм».

В начале августа Будденброки, как и большинство других семейств, вернулись в город, и вот настал торжественный миг — на Менгштрассе почти одновременно прибыли пастор Тибуртиус из России и Арнольдсены из Голландии.

Что это была за сцена, когда консул Будденброк впервые ввел свою невесту в ландшафтную и консульша, слегка склонив голову набок, раскрыла им свои объятия! Герда, рослая, элегантная, с непринужденной горделивой грацией, шла к ней навстречу по светлому ковру. Тяжелые темно-рыжие волосы, близко посаженные карие глаза с голубоватыми тенями под ними, широкие ослепительно-белые зубы, открывавшиеся в улыбке, прямой крупный нос и на редкость благородно очерченный рот — все в этой двадцатисемилетней девушке светилось какой-то чужеземной, покоряющей и таинственной красотой. Лицо у нее было матово-белое и немного надменное, но она тотчас склонила его, когда консульша взволнованно и нежно взяла ее голову обеими руками, чтобы запечатлеть поцелуй на белоснежном, прекрасном лбу.

— Приветствую тебя в нашем доме и в нашей семье, моя дорогая, прекрасная, богоданная дочь,— сказала она.— Ты сделаешь его счастливым... да он уже и теперь счастлив тобою.— И она правой рукой притянула к себе Томаса, чтобы поцеловать его.

Никогда еще, если не считать дедовских времен, не было так весело и людно в большом будденброковском доме, легко вмещавшем гостей. Один только пастор Тибуртиус из скромности облюбовал себе комнату во флигеле, рядом с бильярд-

пой; остальные: г-н Арнольдсен — живой, остроумный человек на исходе шестого десятка, с остроконечной седой бородкой и легкими, упругими движениями; его старшая дочь — дама болезненного вида; его зять — модный жуир, которого Христиан водил по городу и в клуб; и, наконец, Герда — разместились в пустовавших до их приезда комнатах второго этажа, выходящих в ротонду.

Антония Грюнлих радовалась, что Зиверт Тибуртиус был в настоящее время единственной духовной особой в их доме. Нет, назвать ее чувства радостью было бы недостаточно! Помолвка обожаемого брата, то, что избранницей его явилась Герда, ее подруга, блистательность этой партии, озарившей новым сиянием имя семьи и фирмы, триста тысяч марок приданого, о котором уже перешептывались в городе, мысль о том, что будут говорить о браке консула Будденброка в других видных семьях, а главное, в семье Хагенштремов,— от всего этого она находилась в состоянии непрерывного упоения. По меньшей мере трижды в час налетала она на свою будущую невестку с объятиями и поцелуями.

— О Герда,— восклицала она,— как я тебя люблю! Ты знаешь, я всегда любила тебя! Ты-то меня терпеть не можешь, ты всегда меня ненавидела, но...

— Помилуй, Тони,— отвечала та,— ну с какой стати мне тебя ненавидеть? Что, скажи на милость, ты мне сделала дурного?

Но по каким-то неизвестным причинам, а скорее всего, просто от избытка радости и потребности говорить, говорить, Тони упорно стояла на своем: Герда всегда ее ненавидела, она же — тут на глаза мадам Грюнлих навертывались слезы — за ненависть платила ей любовью. Она то и дело отзывала Томаса в сторону и шептала ему:

— Как хорошо ты сделал, Том! О, господи, как хорошо! И подумать, что папа не дожил до этой минуты... нет, просто плакать хочется! Да, Том, многое ты загладил этой партией, и, может быть, в первую очередь историю с некоей личностью... нет, сейчас я даже не хочу произносить это имя...

Затем ей почему-то пришло в голову зазвать Герду в пустую комнату и с удручающими подробностями рассказать ей все перипетии своего брака с Грюнлихом. Они часто вспоминали пансионскую пору, свои разговоры на сон грядущий, вспоминали Армгард фон Шиллинг из Мекленбурга, Еву Эверс из Мюнхена.

Зивертом Тибуртиусом и его помолвкой с Кларой Тони почти вовсе не интересовалась, но тех это не обижало; боль-

шую часть дня они тихонько сидели рука в руку, мирно и пространно беседуя о прекрасном будущем.

Так как траурный год еще не истек, то обе помолвки были отпразднованы в тесном семейном кругу; тем не менее Герда Арнольдсен быстро сделалась знаменитостью в городе: на бирже, в клубе, в Городском театре, в гостиных только и разговору было что о ней.

«Тип-топ», говорили suitiers, прищелкивая языком,— это было новомодное гамбургское словцо для обозначения всего утонченного, изысканного, будь то марка красного вина или сигар, обед или, наконец, ловко проведенное дело. Впрочем, более консервативные и степенные бюргеры покачивали головами: «Странно... эти туалеты, прическа, эти повадки и лицо... пожалуй, даже слишком странно».

Торговец Зеренсен выразил это следующим образом:

— Есть в ней что-то такое-эдакое...— Он скорчил кислую физиономию, словно ему на бирже предложили явно невыгодную сделку.— Но таков уж консул Будденброк, это на него похоже, все у него не как у людей и не так, как велось у них в роду.

Все, например, знали, а лучше всех суконщик Бентьен, что консул выписывает из Гамбурга не только все предметы туалета, которых у него и так слишком много,— изящные, модные сюртуки, шляпы, жилетки, панталоны и галстуки — но и белье. Говорили также, будто он каждый день, а то и два раза на дню меняет рубашку и душит свой носовой платок и усы, вытянутые и подкрученные à la Наполеон III. И, конечно, не ради фирмы и представительства — торговый дом «Иоганн Будденброк» в этом не нуждается,— а просто из любви ко всему... как бы это получше выразиться, черт побери... ко всему утонченному и аристократическому. Да еще эти цитаты из Гейне и других поэтов, которыми он так и сыплет по любому поводу, даже при обсуждении коммерческих или общегородских вопросов... А теперь еще эта жена... Видно, в нем самом, в консуле Будденброке, есть что-то такое-эдакое — к чему, однако, нельзя не отнестись с уважением, ибо семья эта весьма почтенная, фирма солиднейшая, а шеф ее толковый, обязательный человек; он любит город и, без сомнения, еще с пользой потрудится ему во славу... А затем партия-то ведь чертовски выгодная! Шутка ли — сто тысяч талеров!... И все же... Некоторые дамы находили Герду Арнольдсен просто «ломакой»,— а это, надо сказать, было очень серьезное обвинение.

Зато маклер Гош, встретившись на улице с невестой Томаса Будденброка, сразу же пришел в неистовый восторг.

— О-о! — говорил он в клубе или в «Доме корабельщиков», высоко поднимая стакан с пуншем, и его лицо матерого интригана при этом искажалось сатанинской гримасой.— О господа, что за женщина! Гера и Афродита, Брунгильда и Мелузина в одном лице!.. Да, жизнь прекрасна,— добавлял он.

И все же никто из бюргеров, сидевших с кружками в руках на массивных резных скамьях старинного «Дома корабельщиков» под свешивавшимися с потолка моделями парусных судов и гигантскими рыбами, не понимал, каким событием было появление Герды Арнольдсен в жизни скромного и вечно томящегося по необычному маклера Гоша.

Как мы уже говорили, больших приемов на Менгштрассе не устраивалось, и члены собравшегося там тесного кружка имели тем больше возможности хорошо узнать друг друга. Зиверт Тибуртиус, не выпуская из рук руки Клары, рассказывал о своих родителях, о детстве, о планах на будущее. Арнольдсены рассказывали о своих предках, жителях Дрездена,— в Нидерланды переселилась только одна ветвь этого рода. А однажды мадам Грюнлих потребовала ключ от секретера в ландшафтной и притащила бювар с семейными документами, в которых Томас уже успел проставить новейшие даты; с важным видом поведала она об истории Будденброков, о портном из Ростока, который «жил в отличном достатке», и прочитала старые поздравительные стихи:

Нежность дружбы безобманно
Говорит мне, что слита
С трудолюбием Вулкана
Здесь Венеры красота.

При этом она, водя языком по верхней губке, лукаво поглядывала на Тома и Герду. Из уважения к истории Тони не позволила себе опустить подробности вторжения в их семью некоей личности, чье имя ей даже и произносить не хотелось.

В четыре часа, по четвергам, являлись обычные гости: Юстус Крегер со своей слабохарактерной супругой, с которой он жил в постоянных неладах из-за того, что она и в Америку посылала деньги злополучному и лишенному наследства сыну Якобу. Она экономила их на хозяйстве и кормила своего мужа почти одной только гречневой кашей,— ну что было поделать с такой женщиной? Приходили и дамы Будденброк с Брейтенштрассе; не желая погрешить против истины, они констатировали, что Эрика Грюнлих по-прежнему плохо развивается, но зато теперь уже как две капли воды похожа на своего отца — мошенника Грюнлиха и что у невесты консула довольно-

таки вычурная прическа. Приходила и Зеземи Вейхбродт, подымалась на цыпочки, звонко чмокала в лоб Герду и растроганно шептала: «Дай бог тебе счастья, дорогое мое дитя!»

За столом г-н Арнольдсен произносил остроумные и витиеватые тосты в честь обеих молодых пар, а потом, когда все пили кофе, брал скрипку и играл, как цыган,— неистово, страстно и умело. Случалось, что и Герда вынимала своего Страдивариуса, с которым она никогда не расставалась, и тогда ее сладостная кантилена вливалась в его пассажи, и они играли великолепные дуэты в ландшафтной, стоя подле фисгармонии, на том самом месте, где дед консула некогда наигрывал на флейте свои бесхитростные веселые мелодийки.

— Божественно! — восклицала Тони, полулежа в кресле.— О, господи, как божественно! — И, подняв взоры к небесам, она начинала серьезно, неторопливо и настойчиво излагать обуревавшие ее чувства: — Да, чего-чего только не бывает в жизни!.. Не каждому дан такой талант... Мне господь отказал в нем, хоть я и не раз молила его по ночам даровать мне это счастье!.. Ну что ж, я дурочка, ничего не смыслящее существо... Да, Герда, позволь тебе сказать... я старше тебя и многого насмотрелась в жизни... Ты должна денно и нощно на коленях благодарить создателя за то, что он сподобил тебя такого дара!..

— Сподобил? — смеясь, переспрашивала Герда, обнажая свои прекрасные широкие белые зубы.

Затем все садились в кружок, чтобы обсудить планы на ближайшее будущее и кстати полакомиться винным желе. Решено было, что в конце августа, самое позднее в начале сентября, Зиверт Тибуртиус и Арнольдсены разъедутся по домам. Тотчас же после рождества должно было состояться венчанье Клары — в ротонде, с подобающей торжественностью. Свадьба же в Амстердаме, на которой намеревалась присутствовать и консульша, «если будет жива-здорова», откладывалась на начало нового года: необходимо передохнуть между двумя торжествами. Томас попробовал было возражать, но это ни к чему не привело.

— Прошу тебя,— сказала консульша, кладя руку ему на плечо.— За Зивертом право первенства.

Пастор и его невеста решили отказаться от свадебного путешествия, Герда и Томас намеревались совершить поездку по Северной Италии и закончить ее во Флоренции; они собирались пробыть в отсутствии около двух месяцев. Тем временем Антония с обойным мастером Якобсом должна была обставить

и устроить для них небольшой домик на Брейтенштрассе, принадлежавший одному перебравшемуся в Гамбург холостяку, с которым консул уже вел переговоры о покупке. О, тут Тони, несомненно, себя покажет!

— У вас все будет очень изящно и аристократично,— заверила она, и никто в этом не усомнился.

Длинноносый Христиан расхаживал на тонких кривых ногах по комнате, где рука в руку сидели две помолвленные пары и где только и речи было что о венчанье, шитье приданого, свадебных путешествиях. Он ощущал муку, непрестанную муку в левой ноге, и его маленькие круглые, глубоко сидящие глазки задумчиво и тревожно шныряли по сторонам. Наконец он голосом Марцеллуса Штенгеля обратился к своей бедной кузине, сидевшей тут же, среди счастливых,— старообразной, смиренной, сухопарой и голодной даже после обеда:

— Ну, Тильда, теперь и мы с тобой скоро сыграем свадьбу! То есть, конечно, каждый сам по себе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Месяцев семь спустя консул Будденброк с супругой возвратились из Италии. Талый мартовский снег еще лежал на Брейтенштрассе, когда, часов около пяти вечера, экипаж подъехал к скромному, выкрашенному масляной краской фасаду их нового дома. Несколько ребятишек и двое-трое прохожих остановились посмотреть на молодых, выходивших из экипажа. Г-жа Антония Грюнлих, гордая проделанной ею работой, стояла в дверях, из-за ее плеча выглядывали готовые к приему хозяев две предусмотрительно нанятые ею служанки в белых чепчиках и полосатых юбках.

Разгоряченная непрестанной хлопотней и радостью, она быстро сбежала по плоским ступенькам, покуда закутанные в шубы Томас и Герда выбирались из набитого чемоданами и баулами экипажа, и с поцелуями и объятиями повела их в дом.

— Ах, вот и вы! Вот и вы, счастливцы! Воображаю, чего-чего только вы не навидались! «Ты знаешь дом на мраморных столбах...» Герда, ты стала еще красивее, дай я тебя поцелую... нет, нет... в губы... вот так! Здравствуй, Том, старина, я и тебя хочу поцеловать! Маркус велит тебе передать, что все дела в порядке. Мама ждет вас на Менгштрассе, но сначала вы передохните... Сказать, чтобы подали чай? Или вы будете принимать ванну? У меня все приготовлено. Жаловаться вам будет

не на что. Якобс старался изо всех сил, и я тоже сделала все, что могла...

Все вместе они вошли в прихожую, куда девушки и кучер уже втаскивали багаж.

— Комнаты в первом этаже,— сказала Тони,— до поры до времени вряд ли будут вам очень нужны. До поры до времени...— повторила она и провела языком по верхней губке.— Вот здесь, по-моему, премило.— Она открыла дверь справа от входной.— Плюш перед окнами... простая деревянная мебель... дуб... Там дальше, по другую сторону коридора, еще одна комната — побольше. Направо кухня и кладовая... Ну, идемте наверх, я буду вам все показывать!

Они поднялись по удобной пологой лестнице, устланной темно-красной ковровой дорожкой. Стеклянная дверь с площадки вела в узкий коридор. Из коридора все трое вошли в столовую с массивным круглым столом посередине, на котором шумел самовар; вдоль стен, обитых темно-красной камчатной материей, стояли резные ореховые стулья с плетеными из тростника сиденьями и громоздкий буфет. Рядом находилась уютная маленькая гостиная, отделенная занавесью из серого сукна от большой, длинной комнаты с фонарем, меблированной мягкими креслами с обивкой из зеленого полосатого репса. Значительную часть всего этажа занимал трехоконный зал. Оттуда они прошли в спальню.

Спальня, где стояли две огромные кровати красного дерева и на окнах висели затканные цветами гардины, была расположена направо по коридору. Тони прошла в глубь комнаты, нажала ручку и открыла потайную дверцу на винтовую лесенку, которая вела в полуподвальный этаж — в ванную и в людскую.

— Здесь хорошо,— сказала Герда.— Здесь я и отдохну.— И она со вздохом облегчения опустилась в кресло подле одной из кроватей.

Консул наклонился над ней и поцеловал ее в лоб.

— Устала? Да и я тоже хочу немножко привести себя в порядок...

— А я пойду заварю чай и буду ждать вас в столовой,— сказала г-жа Грюнлих и вышла.

Чай уже дымился в чашках мейссенского фарфора, когда вошел Томас.

— Вот и я,— сказал он.— Герда хочет отдохнуть еще с полчасика. У нее голова разболелась... Итак, дорогая моя, значит, все благополучны? Мама, Эрика, Христиан?.. Но прежде всего,— он сделал прочувствованный жест рукой,— прими са-

мую горячую благодарность мою и Герды за все твои хлопоты, милая Тони. Как хорошо ты все устроила! Нам больше не о чем заботиться, разве что приобрести несколько пальм для фонаря в гостиной да несколько подходящих картин для моего кабинета. Но теперь расскажи о себе. Что у тебя слышно? Есть ли какие-нибудь новости?

Он подвинул стул для сестры, поближе к своему, за разговором продолжая торопливо пить чай с бисквитами.

— Ах, Том,— отвечала она,— какие у меня могут быть новости! Жизнь кончена!..

— Вздор, Тони! Все эти слова о жизни... Но ты, наверно, и вправду очень скучаешь?

— Ох, Том, ужасно! Временами я готова выть с тоски! Единственной моей отрадой были хлопоты с этим домом. И ты не можешь себе представить, как я счастлива, что вы наконец возвратились... Ведь, знаешь, дома на Менгштрассе мне всегда не по себе,— прости мне, господи, этот грех! Мне уже тридцатый год, но в этом возрасте еще нельзя все свое счастье полагать в дружбе с последней Гиммельсбюргер, или с сестрами Герхардт, или с кем-нибудь из маминых злыдней, пожирающих домы вдовиц... Я не верю им, Том. Это волки в овечьих шкурах... змеиное отродье!.. Все мы слабые люди, грешные в сердце своем,— и когда они с соболезнованием смотрят на меня, заблудшую овцу, я смеюсь над ними. Я всегда считала, что все люди равны и не нуждаются в посредниках между собой и господом богом. Ты знаешь и мои политические убеждения. Я стою за то, чтобы каждый гражданин по отношению к государству...

— Ты хочешь сказать, что чувствуешь себя одинокой? — перебил Томас сестру, чтобы помочь ей опять выбраться на дорогу.— Но, помилуй, у тебя ведь есть Эрика!

— Да, Том, и я люблю девочку всем сердцем, хотя некая личность и утверждала, что я плохая мать... Но понимаешь... я ничего от тебя не скрываю, я прямой человек, у меня что на уме, то и на языке, я не люблю фразерства...

— Это весьма похвально, Тони!

— Одним словом, грустно то, что Эрика очень уж напоминает мне Грюнлиха... Будденброки с Брейтенштрассе тоже уверяют, что она вылитый отец... И еще: когда я смотрю на нее, я поневоле думаю: вот, ты уже старая женщина, с взрослой дочерью... и все кончено. Несколько лет жизни и тебе выпало на долю, а теперь, доживи до семидесяти, до восьми-

десяти лет,— все равно ты будешь сидеть здесь и слушать чтение Лен Герхардт. От этой мысли у меня ком встает в горле и душит меня. Ведь сердце-то во мне еще молодо, понимаешь, и я так хочу еще пожить настоящей жизнью!.. И наконец: я чувствую себя нехорошо не только дома, но и в городе, потому что я, слава богу, не слепая и вижу все вокруг... Я разведенная жена, и мне это дают понять на каждом шагу. Поверь, Том, мне очень тяжело, что я... хотя моей вины тут нет... так запятнала наше имя. Что бы ты ни делал, сколько бы ни зарабатывал денег, стань ты хоть первым человеком в городе — а люди все равно будут говорить: «Да-а... но сестра-то у него разводка!» Юльхен Меллендорф, урожденная Хагенштрем, мне не кланяется... Ну, она дура... но ведь и другие... И все-таки, Том, я продолжаю надеяться, что это дело поправимое. Я еще молода... и недурна собой, правда? Мама не может много дать за мной, но и то, что мне предназначено, как-никак хорошие деньги. Что, если я опять выйду замуж? Откровенно говоря, Том, это мое заветное желание! О, тогда все будет в порядке — пятна как не бывало!... Господи, если бы мне сделать партию, достойную нашего имени, и заново устроить жизнь!.. Как, по-твоему, мыслимо это или нет?

— Помилуй, Тони, конечно, мыслимо! Я никогда не переставал считаться с этой возможностью. Но пока что тебе необходимо немножко освежиться, приободриться, повидать свет...

— Вот именно,— живо подхватила она.— Но тут я должна рассказать тебе одну историю.

Довольный этим предложением, Томас поудобнее уселся в кресле. Он курил уже вторую папиросу. В комнате становилось все сумеречнее.

— Так вот, во время вашего отсутствия я чуть было не взяла место компаньонки в Ливерпуле. Ты был бы возмущен, если бы я это сделала? Ну, все-таки счел бы это сомнительным поступком? Да, да, конечно, есть тут что-то унизительное.... Но я жаждала уехать! Короче говоря, у меня ничего не вышло. Я послала этой миссис свою фотографию, и она была вынуждена отказаться от моих услуг, потому что я слишком хорошенькая, а у нее взрослый сын в доме. Она так мне и написала: «Вы чересчур хорошенькая...» Да! Никогда в жизни я так не хохотала!

Они оба рассмеялись.

— Но теперь у меня есть в виду кое-что другое,— продолжала Тони.— Я получила приглашение от Евы Эверс навестить ее в Мюнхене... впрочем, теперь она Ева Нидерпаур,

муж у нее директор пивоварни. Она зовет меня в гости, и я думаю в ближайшее время воспользоваться ее приглашением. Эрике, конечно, со мной ехать нельзя. Но я бы отдала ее в пансион к Зеземи Вейхбродт. Там ей будет отлично. Что ты на это скажешь? Есть у тебя какие-нибудь возражения?

— Разумеется, нет! Так или иначе, но тебе необходимо пожить в другой обстановке.

— Да, это правда,— с благодарностью согласилась Тони.— Ну, а теперь о тебе, Том! Я ведь все время говорю о себе, такая уж я эгоистка! Теперь твоя очередь! О, господи, как ты, наверно, счастлив!

— Да, Тони,— убежденно произнес он. Они помолчали. Томас выпустил дым, облачком повисший над столом, и продолжал: — Прежде всего я рад, что женился и теперь заживу своим домом. Ты меня знаешь: в холостяки я не гожусь. В холостяцкой жизни есть привкус несолидности и распущенности, а я, как тебе известно, не лишен честолюбия. Я не считаю свою карьеру законченной ни в деловом, ни, шутки ради скажем, в политическом смысле... а подлинным доверием всегда пользуется только глава семьи, отец... И все это уже висело на волоске, Тони... Я, может быть, слишком разборчив. Долгое время мне казалось, что я никогда не найду ту, которая мне нужна. Но стоило мне увидеть Герду, и все решилось! Я тотчас же понял: вот она, единственная, та, что создана для меня... хоть я и знаю, что многие в городе очень не одобряют моего выбора. Она удивительное существо, таких не много на земле. Но она совсем другая, чем ты, Тони. Ты проще душой и естественнее... Одним словом, моя уважаемая сестрица особа более темпераментная,— продолжал он с напускным легкомыслием.— Что Герда тоже не лишена темперамента, доказывает ее игра на скрипке,— но иногда она бывает — как бы это сказать? — слишком холодна. Впрочем, ее нельзя мерить общей меркой. Она натура артистическая, существо своеобразное, загадочное и восхитительное.

— Да, да,— согласилась Тони. Она серьезно и внимательно слушала брата. Уже стемнело, а они даже не подумали о том, чтобы зажечь лампу.

Но вот дверь из коридора отворилась, и перед ними, окутанная сумраком, возникла высокая фигура в свободно ниспадающем платье из белого пике. Тяжелые темно-рыжие волосы обрамляли белое лицо, вкруг близко посаженных карих глаз лежали голубоватые тени.

Это вошла Герда, мать будущих Будденброков.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Томас Будденброк завтракал обычно один в своей изящно обставленной столовой, так как его супруга поздно выходила из спальни; по утрам она была подвержена мигреням и чувствовала общий упадок сил. Затем консул шел на Менгштрассе, где по-прежнему оставались конторские помещения, ко второму завтраку поднимался наверх, в маленькую столовую,— там его дожидались мать, Христиан и Ида Юнгман,— и с Гердой встречался уже только в четыре часа, за обедом.

Внизу деловая жизнь била ключом, но во всех остальных этажах огромного будденброковского дома царили тишина и запустенье. Маленькую Эрику отдали на воспитание к Зеземи Вейхбродт, бедная Клотильда с кое-какими унаследованными пожитками переселилась в дешевый пансион к вдове гимназического учителя, некоей докторше Крауземинц, даже слуга Антон был отпущен к молодым господам, где он был нужнее; и когда Христиану случалось задержаться в клубе, консульша и Ида Юнгман вдвоем садились за давно уже не раздвигавшийся круглый стол, который терялся в этом обширном храме чревоугодия с белыми богами на шпалерах.

Со смертью консула Будденброка светская жизнь затихла на Менгштрассе, ибо консульша, если не считать посещений той или иной духовной особы, принимала только по четвергам, да и то самых близких. Зато ее сын и невестка недавно дали свой первый званый обед — обед на такое количество гостей, что столы были накрыты не только в столовой, но и в маленькой гостиной, обед с приглашенной для этого случая «кухаркой за повара», с наемными официантами и кистенмакеровскими винами,— такой пир, что он хоть и начался в пять ча-

сов вечера, но и в одиннадцать в доме все еще стоял запах кушаний и звон бокалов. А за раздвинутыми столами сидели все Лангхальсы, Хагенштремы, Хунеусы, Кистенмакеры, Эвердики и Меллендорфы — коммерсанты и ученые, супружеские пары и suitiers, которых под конец еще порадовали вистом и исполнением нескольких музыкальных номеров,— словом, все было обставлено так, что на бирже еще много дней спустя шли одобрительные толки об этом обеде. Тут уж окончательно выяснилось, что молодая консульша отлично умеет принимать и быть любезной хозяйкой.

Оставшись с ней вдвоем после ухода гостей, среди сдвинутой со своих мест мебели, в комнатах, освещенных догорающими свечами и насыщенных пряным, сладостным и дурманящим запахом изысканных кушаний, духов, вина, кофе, сигар и цветов, которыми были украшены туалеты и приборы дам, консул сжал ее руки и сказал:

— Отлично, Герда! Нам с тобой краснеть не приходится. Такие приемы... это очень важно. У меня нет ни малейшей охоты устраивать балы и смотреть, как скачет здешняя молодежь; да у нас для этого и места мало. Но надо, чтобы людям солидным у нас нравилось. Такой обед, правда, обходится дороже, но эти деньги не брошены на ветер.

— Ты прав,— отвечала она, оправляя кружева, сквозь которые, как мрамор, мерцала ее грудь.— Я тоже, бесспорно, предпочитаю обеды. Обед действует успокаивающе... Я сегодня утром музицировала и при этом чувствовала себя как-то странно. А сейчас все во мне мертво так, что кажется, ударь молния в эту комнату, я бы и бровью не повела.

Когда на следующий день, в половине двенадцатого, консул пришел завтракать к матери, она прочитала ему следующее письмо:

«Мюнхен, 2 апреля 1857 года
Мариенплац, № 5.

Дорогая мама,
прости меня, пожалуйста! Это, конечно, безобразие, что я тебе еще не писала, хотя вот уже неделя, как я здесь. У меня просто голова закружилась от впечатлений... но об этом после. И вот я только сейчас собралась спросить, как вы там все, мои дорогие, ты, и Том, и Герда, и Эрика, и Христиан, и Тильда, и Ида, хотя это для меня самое важное.

Ах, чего-чего только я не повидала за эти дни! Пинакотеку, Глиптотеку, придворную пивоварню, и придворный оперный театр, и церкви, и еще много другого интересного. Об этом я расскажу, когда вернусь,— не то умрешь, а письма не кончишь. Мы уже успели прокатиться в долину Изара, а на завтра у нас намечен пикник к Вюрмскому озеру. Так вот оно и идет все изо дня в день. Ева очень мила со мною, а г-н Нидерпаур, директор пивоварни, вполне приятный человек. Мы живем на очень красивой площади в центре города, с фонтаном посередине, как у нас на Рыночной; от нашего дома два шага до ратуши. Такого здания я еще никогда не видела! Оно снизу доверху расписано святыми Георгиями, умерщвляющими драконов, и баварскими государями во всех регалиях и с гербами. Попробуйте себе это представить!

Да, Мюнхен мне очень, очень нравится. Говорят, что здешний воздух укрепляет нервы; и желудок у меня сейчас тоже в полном порядке. Я пью пиво с удовольствием и помногу, тем более что вода здесь не очень-то полезная, но вот к здешней кухне никак не могу привыкнуть. Слишком мало овощей и очень уж много мучного. Соуса такие, что не приведи бог! О порядочном телячьем жарком в Мюнхене и понятия не имеют,— мясники все кромсают на мелкие кусочки. Мне очень недостает рыбы. И потом, что ни говори, это безумие — с утра до вечера есть салат — картофель с огурцами — и запивать его пивом. В животе у меня урчит от такого сочетания.

Конечно, вы сами понимаете, что ко многому надо сначала привыкнуть, когда находишься в чужой стране! Другая монета; с простонародьем и с прислугой толком не объяснишься,— они считают, что я говорю слишком быстро; а для меня их язык какая-то тарабарщина; и вдобавок еще католицизм; вы же знаете, что я его ненавижу, слышать о нем не могу!..»

Тут консул, державший в руках бутерброд, посыпанный зеленым сыром, начал громко смеяться.

— Да, Том, ты смеешься...— сказала его мать, и пальцы ее непроизвольно забарабанили по столу.— А мне очень в ней нравится, что она так преданна вере отцов своих и чурается всех этих полуязыческих фокусов. Я знаю, что, побывав во Франции и в Италии, ты проникся известной симпатией к папизму, но у тебя, Том, это идет не от религиозных убеждений, а от чего-то совсем другого... я, впрочем,

понимаю от чего. И хотя мы, конечно, должны быть веротерпимы, но шутить такими вещами — все же великий грех; и я буду молить бога, чтобы он укрепил в вере тебя и твою Герду. Да, да, она еще очень нетверда в ней,— ты уж прости матери это замечание! «Фонтан, который виден из моего окна,— продолжала читать консульша,— украшен статуей пречистой девы, к ее подножию часто возлагают венки,— это очень красиво, когда простые люди с четками в руках становятся на колени и молятся, но ведь в Писании сказано: «Возноси молитву в тиши». На улицах здесь часто попадаются монахи, и вид у них вполне добропорядочный. Но ты только представь себе, мама: вчера на Театинерштрассе мимо меня проехал в карете какой-то важный священнослужитель, может быть даже архиепископ, пожилой уже человек,— и он стрельнул в меня глазами, как какой-нибудь офицеришка! Ты знаешь, мама, я не очень-то долюбливаю твоих друзей — миссионеров и пасторов, но Слезливый Тришке ничто по сравнению с этим князем церкви...» Фи,— вставила огорченная консульша.

— Узнаю нашу Тони,— заметил Томас.

— Что ты хочешь сказать, Том?

— Не сомневаюсь, что она в какой-то мере поощрила его к этому, чтобы испытать!.. Я уж ее знаю. Во всяком случае, этот обмен взглядами очень позабавил ее, что, наверно, и входило в намерение почтенного старца!

Последнее консульша предпочла оставить без ответа и снова взялась за письмо:

— «Третьего дня Нидерпауры давали вечер, очень удачный, хотя временами мне трудно было участвовать в разговоре, да и весь тон казался мне несколько équivoque [1]. Среди гостей был даже один певец из придворной оперы — он пел после ужина, и один молодой художник, который выразил желание писать с меня портрет, на что я не согласилась, так как сочла это неудобным. Больше всего я болтала с неким господином Перманедером. Ну, скажи, пожалуйста, кто бы мог подумать, что на свете бывают такие фамилии?! У него контора по продаже хмеля, а сам он очень милый, веселый человек, уже в летах и притом холостой. За столом он был моим кавалером, но я и после не отпускала его от себя, так как он оказался единственным протестантом во всей компании; он хоть и коренной мюнхенец,

[1] Двусмысленным *(франц.)*.

но семья его из Нюрнберга. Господин Перманедер заверил меня, что много наслышан о нашей фирме. И ты можешь себе представить, Том, как меня порадовала почтительность, с которой он о ней отзывался. Он очень подробно расспрашивал о нашей семье, сколько нас всех детей, и т. д. Спрашивал меня об Эрике и даже о Грюнлихе. Он частенько бывает у Нидерпауров и завтра, видимо, будет участвовать в пикнике к Вюрмскому озеру.

Ну, а теперь прощай, дорогая мама, не могу больше писать. Если я буду «жива-здорова», как ты любишь говорить, то пробуду здесь еще недели три или месяц, а затем уж сама подробно расскажу вам о Мюнхене, потому что, когда пишешь, мысли разбегаются. Во всяком случае, можете быть уверены, что мне здесь очень нравится... вот только если бы еще обучить кухарку прилично готовить соуса! Я, конечно, старая женщина, моя жизнь кончена, но вот если Эрика будет жива-здорова и со временем пожелает выйти замуж за кого-нибудь из здешних, я, конечно, возражать не стану».

Тут консулу опять пришлось прервать завтрак, он не мог удержаться от смеха.

— Нет, она неподражаема, мама! Если уж она начинает лицемерить, то никто с ней не сравнится. Я обожаю ее за то, что она не может притворяться — просто не может, хоть ты ее убей!

— Да, Том, она хорошая женщина и заслуживает счастья.— И консульша дочитала письмо до конца.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В конце апреля г-жа Грюнлих возвратилась в родительский дом. И хотя светлая полоса жизни опять осталась позади, хотя началось прежнее прозябание и ей снова приходилось присутствовать на молитвах и слушать чтение Леи Герхардт на «Иерусалимских вечерах», она явно была окрылена надеждами, и радужное настроение ее не покидало.

Когда Томас вез сестру с вокзала — она вернулась через Бюхен — и они поравнялись с Голштинскими воротами, консул не удержался от комплимента, заявив, что после Клотильды она все еще первая красавица в семье.

— Ну, знаешь, Том,— воскликнула Тони,— я тебя просто ненавижу! Насмехаться над старой женщиной...

Тем не менее в его словах была доля истины: мадам Грюнлих сохранилась на диво; при взгляде на ее густые пепельные волосы, расчесанные на прямой пробор, подобранные над изящными маленькими ушами и скрепленные на макушке черепаховым гребнем, на ее серо-голубые, по-прежнему наивные и кроткие глаза, на хорошенькую верхнюю губку, тонкий овал и нежный цвет лица,— никто бы не дал ей больше двадцати трех лет. В ушах у нее были длинные и очень нарядные золотые серьги, по форме несколько напоминавшие те, что носила еще ее бабушка. Свободный жакет из легкого темного шелка с атласными отворотами и прозрачными кружевными погончиками на плечах придавал восхитительную мягкость ее фигуре.

Как мы уже говорили, Тони пребывала в превосходном расположении духа, и по четвергам, когда к обеду собирались консул Будденброк и дамы Будденброк с Брейтенштрассе, консул Крегер, Клотильда, Зеземи Вейхбродт и Эрика, с упоением рассказывала о Мюнхене, пиве, клецках, о художнике, пожелавшем писать ее портрет, и о придворных каретах, которые произвели на нее сильнейшее впечатление. Вскользь упоминала она и о г-не Перманедере, а в тех случаях, когда Пфиффи Будденброк язвительно замечала, что поездка хоть и была занимательна, но практических результатов, видимо, не дала, г-жа Грюнлих, с невыразимым достоинством пропуская ее слова мимо ушей, высоко вскидывала голову и при этом все-таки старалась прижать подбородок к груди.

Последнее время у нее появилась привычка: едва только звон колокольчика огласит дом, выбегать на площадку лестницы и смотреть, кто пришел. Что бы это могло значить? Ответить на такой вопрос могла только Ида Юнгман, воспитательница и долголетняя поверенная всех тайн Тони, время от времени шептавшая ей:

— Тони, деточка, вот увидишь, он приедет! Кому же охота быть дураком!..

Все домашние невольно испытывали благодарность к Тони, возвратившейся из Мюнхена такой веселой; атмосфера в доме настоятельно требовала разрядки, главным образом потому, что отношения между главой фирмы и его младшим братом с течением времени не только не улучшались, но, к несчастью, становились все хуже и хуже. Консульше, с тоской наблюдавшей за этой рознью и всячески старавшейся

примирить сыновей, приходилось очень нелегко. На ее просьбы не пренебрегать занятиями в конторе Христиан отвечал рассеянным молчанием, а напоминания Томаса выслушивал серьезно, с видом тревожным, задумчивым и явно пристыженным, после чего несколько дней более или менее усердно занимался английской корреспонденцией. Но в старшем брате неуклонно росло гневное презрение к младшему, усиливавшееся еще оттого, что Христиан на проявления этих чувств отвечал только задумчиво блуждающим взглядом, не делая даже слабой попытки оправдаться.

Напряженная работа Томаса и состояние его нервной системы не позволяли ему участливо или хотя бы спокойно выслушивать подробнейшие сообщения Христиана о многоразличных симптомах его болезни; в разговоре с матерью и сестрой он характеризовал эти жалобы как «дурацкое следствие гнусной привычки копаться в себе».

«Мука», изнуряющая «мука» в левой ноге Христиана поддалась наконец лечению и утихла уже довольно давно, но затрудненное глотанье иногда давало знать о себе во время еды, а теперь к нему присоединились еще и приступы удушья — заболевание астматического характера; Христиан в течение нескольких недель считал, что у него туберкулез легких, и, морща нос, силился объяснить своим домашним, в чем состоит это заболевание и каковы его симптомы. На совет был призван доктор Грабов. Он установил, что сердце и легкие Христиана работают вполне исправно, временные же перебои дыханья объяснил вялостью некоторых мышц и для облегчения недуга предписал: во-первых, пользование веером, а во-вторых — зеленоватый порошок, который надо было зажечь и затем вдыхать его дым. Веером Христиан обмахивался даже в конторе и на недовольное замечание брата отвечал, что в Вальпарансо жара вынуждала каждого служащего держать при себе веер: «Джонни Тендерсторм, например... боже милостивый!» Но однажды, когда Христиан сначала долго и беспокойно ерзал на своем конторском кресле, а потом вытащил из кармана упомянутый порошок и все помещение наполнилось вонючим чадом, так что некоторые из служащих отчаянно закашлялись, а г-н Маркус даже побледнел,— произошел взрыв, открытый скандал, ужасное столкновение, которое привело бы к немедленному разрыву между братьями, если бы не вмешательство консульши, еще раз настойчиво призвавшей сыновей к сдержанности и терпимости.

Но этого мало. Жизнь, которую Христиан вел вне дома в тесном общении с Андреасом Гизеке, своим однокашником, еще больше раздражала консула. Он не был ни брюзгой, ни моралистом и хорошо помнил грешки своей собственной молодости. Он знал также, что родной его город — торговый приморский город, по улицам которого, постукивая тросточками, разгуливали почтенные бюргеры с безупречно честными минами,— отнюдь не был пристанищем высокой добродетели. За долгие часы, проведенные в конторе, здесь вознаграждали себя не только добрым вином и добротными кушаньями... Но все эти вольности поведения прикрывал густой покров степенности и благоприличия. И если консул почитал основным жизненным законом сохранение dehors, то прежде всего потому, что и он прочно усвоил мировоззрение своих сограждан. Адвокат Гизеке принадлежал не только к тем «ученым», которые охотно приспособились к образу жизни местных коммерсантов, но и к заядлым suitiers, что было видно уже по его внешности. Однако и он, подобно остальным городским жуирам, умел соблюдать необходимую благопристойность, не попадал в неприятные истории и сохранял в безупречной чистоте свое деловое и политическое имя. Только что была объявлена его помолвка с дочерью консула Хунеуса. А это значило, что ему обеспечено богатое приданое и прочное положение в высшем обществе. Гизеке с подчеркнутым интересом занимался делами города, поговаривали даже, что он метит в ратсгерры, а со временем, может быть, и на бургомистерское кресло старого доктора Эвердика.

Друг его Христиан Будденброк, тот самый, что некогда решительным шагом приблизился к мадемуазель Мейер де ла Гранж и со словами: «О, как вы играли!» — преподнес ей букет,— Христиан Будденброк, вследствие ли своего характера или долгих скитаний по свету, сделался suitier куда более наивного, беспечного склада и в сердечных делах, так же как и во всех других, был не склонен обуздывать свои чувства, соблюдать скромность и заботиться о сохранении собственного достоинства. Так, например, над его связью с одной из статисток летнего театра потешался весь город, и г-жа Штут с Глокенгиссерштрассе, та самая, что вращалась в высших кругах, рассказывала всем дамам, выражавшим готовность ее слушать, о том, что Кришана среди бела дня видели на улице с той, из «Тиволи».

Но и это еще с полбеды. Простодушные и скептические горожане не любили всерьез возмущаться и морализировать.

Христиан Будденброк, как, пожалуй, и Петер Дельман, которого полный развал его торгового дела толкал на такие же сумасбродства, слыли забавнейшими людьми и в мужской компании были просто незаменимы. Но всерьез их не принимали и по серьезным поводам к ним не обращались. Примечательно, что в городе, в клубе, на бирже и в порту их звали просто по именам: Кришан и Петер, а людям злонамеренным, например Хагенштремам, никто не возбранял смеяться не только над рассказами и остротами Кришана, но и над ним самим.

Христиан об этом попросту не думал или, по свойству своего характера, после нескольких минут крайне тревожных размышлений переставал думать. Но его брат, консул, это знал, как знал и то, что Христиан обнажает перед недоброжелателями Будденброков все их уязвимые места,— а уязвимых мест, увы, было немало. Эвердикам Будденброки приходились очень дальними родственниками, и после смерти бургомистра это родство неминуемо должно было потерять всякую цену. Крегеры никакой роли в обществе больше не играли, жили замкнуто и терпели кучу всяких неприятностей из-за сына. От мезальянса дяди Готхольда все еще оставался неприятный осадок. Сестра консула была разведенной женой, хотя, конечно, еще оставалась надежда на ее вторичное замужество. А его брат становился посмешищем; над его шутовскими выходками в часы досуга потешались местные дельцы — одни с язвительной, другие с благосклонной улыбкой; в довершение же всего он делал долги и в конце каждого квартала, когда у него иссякали деньги, без стеснения жил за счет доктора Гизеке, что было для фирмы уже прямым оскорблением.

Презрительная враждебность Томаса к брату, отвечавшему на нее задумчивым равнодушием, проявлялась в тех едва уловимых мелочах, которые наблюдаются только у людей, связанных близким родством. Если речь, к примеру, заходила об истории Будденброков и Христиан, что, кстати, было ему совсем не к лицу, вдруг начинал на все лады, с любовью и восхищением превозносить город и своих предков, консул старался каким-нибудь язвительным замечанием положить конец разговору. Для него это было нестерпимо. Он так презирал брата, что не мог позволить ему любить то, что любил сам. «Лучше бы уж Христиан произносил эти славословия голосом Марцеллуса Штенгеля»,— думал он. Как-то раз консул прочитал историческую книгу, которая

произвела на него сильнейшее впечатление; он отозвался о ней в самых прочувствованных выражениях. Христиан, человек ума несамостоятельного, который сам даже и не натолкнулся бы на такую книгу, но очень впечатлительный, поддающийся любому влиянию, в свою очередь, прочитал ее и, заранее подготовленный отзывом брата, также пришел в восхищение,— при этом он постарался точнейшим образом передать, какие именно чувства вызвала в нем книга. Для Томаса она тем самым перестала существовать. Отныне он отзывался о ней холодно и безразлично, более того — делал вид, что не прочитал, а только просмотрел ее. Пусть брат восторгается в одиночку!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Консул Будденброк вернулся из «Гармонии», «Общества интересного чтения», где он провел часок после завтрака, к себе на Менгштрассе. Войдя через задний двор и оставив в стороне сад, он прошел между поросших мхом стен по узкому проходу, соединявшему задний двор с передним, прямо в нижние сени, отворил дверь на кухню, осведомился, дома ли брат, и, узнав, что его нет, велел немедленно доложить, как только он вернется. Затем он прошел через контору, где служащие при его появлении ниже склонились над счетами и накладными, к себе в кабинет, положил шляпу и трость, переоделся в рабочий костюм и направился к своему месту у окна, напротив г-на Маркуса. Две глубокие складки залегли у него на лбу между на редкость светлыми бровями. Желтоватый мундштук почти уже докуренной русской папиросы быстро передвигался из одного угла рта в другой. Движение, которым консул придвинул к себе бумаги и письменные принадлежности, было так резко и отрывисто, что г-н Маркус методично провел двумя пальцами по усам и исподтишка бросил на своего компаньона вдумчивый, испытующий взгляд. Молодые конторщики удивленно переглянулись: шеф гневается!

Через полчаса, в течение которых слышался только скрип перьев да негромкое покашливанье г-на Маркуса, консул взглянул в окно поверх зеленого матерчатого щитка и увидел Христиана, возвращавшегося домой. В шляпе, слегка сдвинутой набекрень, он небрежно помахивал вывезенной «оттуда» желтой тросточкой, с набалдашником из черного

дерева в виде поясной статуэтки монахини. Христиан явно был в полном здравии и наилучшем расположении духа. Мурлыча себе под нос какую-то английскую песенку, он вошел в контору и с приветливым «доброе утро, господа»,— хотя стоял уже яркий весенний день,— направился к своему месту, чтобы «немножко поработать». Но тут консул поднялся и как бы мимоходом, не глядя на него, обронил:

— Ах да... На два слова, дорогой мой!

Христиан последовал за ним. Они шли быстро. Томас заложил руки за спину. Христиан машинально сделал то же самое, повернув к брату свой длинный нос, казавшийся еще более острым, костистым и крючковатым от впалых щек и отвислых, на английский манер, усов. Когда они шли по двору, Томас сказал:

— Придется тебе прогуляться со мною по саду, друг мой!

— Охотно,— отвечал Христиан.

Снова наступило молчание. Они зашагали по боковой дорожке мимо «портала» в стиле рококо; в саду уже распускались первые почки. Наконец консул, быстро глотнув воздуха, громким голосом проговорил:

— Мне сейчас пришлось пережить несколько крайне неприятных минут из-за твоего поведения.

— Моего поведения?

— Да. В «Гармонии» мне рассказали о замечании, которое ты вчера изволил сделать в клубе,— замечании столь неуместном и бестактном, что я просто не нахожу слов... Правда, тебя быстро одернули и сумели поставить на место. Может быть, ты возьмешь на себя труд припомнить этот случай?

— Ах, я только сейчас понял, что ты имеешь в виду... Кто же тебе рассказал?

— Это дела не меняет! Дельман рассказал, и, само собой разумеется, достаточно громко, чтобы те, кто еще не знал этой истории, тоже могли позабавиться...

— Да, Том, должен тебе сказать, мне было очень стыдно за Хагенштрема!

— Стыдно за... Ну, это уже слишком!.. Послушай! — Консул слегка склонил голову набок, вытянул перед собой руки ладонями вверх и взволнованно потряс ими.— В обществе, равно состоящем из коммерсантов и ученых, ты позволяешь себе во всеуслышанье заявить: «А ведь если хорошенько вдуматься, то всякий коммерсант — мошенник»... Ты сам коммерсант, имеющий достаточно прямое отношение

к фирме, которая изо всех сил стремится к абсолютной честности, к полнейшей безупречности...

— Бог ты мой, Томас, да ведь я пошутил! Хотя, с другой стороны...— Он вдруг сморщил нос, вытянул шею, чуть-чуть склонил голову набок и так прошел несколько шагов.

— Пошутил! Пошутил! — выкрикнул консул.— Льщу себя надеждой, что я тоже понимаю шутки. Но ты, кажется, видел, как отнеслись к твоей очаровательной остроте!.. «Что касается меня, то я очень высоко ставлю свою профессию»,— ответил тебе Герман Хагенштрем. Вот ты и сел в лужу, шалопай ты несчастный! Человек, который позорит дело своей жизни!..

— Да, Том! Ну что ты на это скажешь? Уверяю тебя, все наше веселое настроение полетело к чертям! Когда я отпустил эту шутку, все расхохотались, явно соглашаясь со мной... И вдруг этот Хагенштрем серьезнейшим тоном заявляет: «Что касается меня...» Дурак! Мне, честное слово, стало стыдно за него. Я еще вчера вечером в постели много думал об этой истории, и у меня было такое странное чувство... Не знаю, знакомо ли тебе...

— Придержи свой язык! Ради бога, придержи свой язык! — крикнул консул. Он всем телом дрожал от негодования.— Хорошо, я допускаю, что этот ответ не вязался с вашим настроением и был даже несколько дурного тона. Но ведь надо выбирать людей, к которым обращаешься с подобными сентенциями, если уж у тебя такая неодолимая потребность произносить их, и не ставить себя в столь идиотское положение! Хагенштрем воспользовался случаем, чтобы нанести нам удар. Да, не только тебе, но и нам! Понял ты, что значит его ответ? Он значит: «К этим выводам, господин Будденброк, вы, видимо, пришли в конторе вашего брата». Вот что он хотел сказать, осел ты эдакий!

— Ну, уж и осел! — пробормотал Христиан. Лицо его приняло смущенное, тревожное выражение.

— В конце концов ты принадлежишь не только себе,— продолжал консул.— И тем не менее мне все равно, если ты лично себя ставишь в смешное и дурацкое положение... А ничего другого ты вообще в жизни не делаешь! — вдруг выкрикнул он, побледнев, голубые жилки отчетливее проступили на его узких висках — там, где волосы образовывали два глубоких заливчика. Одна бровь вздернулась вверх, гневом дышали даже жесткие кончики его вытянутых щипцами усов, руки его двигались так, что казалось, будто он бросает слова под ноги

Христиану, на усыпанную гравием дорожку.— Ты смешон с твоими любовными интрижками, с твоими шутовскими выходками, с твоими болезнями и лекарствами!..

— О Томас,— проговорил Христиан, огорченно покачав головой и каким-то нелепым жестом поднимая кверху указательный палец.— Тут, видишь ли, ты не в состоянии меня понять... Дело в том... как бы тебе сказать... у человека совесть должна быть чиста... Не знаю, знакомо ли тебе это чувство... Грабов, например, прописал мне мазь для шейных мышц. Хорошо! Если я не стану ее употреблять, пренебрегу его предписанием, я буду чувствовать себя пропащим, беспомощным, вечно буду в тревоге, в страхе, в неуверенности — словом, не в себе; и опять начнутся затруднения с глотаньем. Если же я пользуюсь мазью, то чувствую, что исполнил свой долг, на душе у меня спокойно, совесть чиста, и я глотаю беспрепятственно. Дело тут, конечно, не в мази, а в том... ты, пожалуйста, пойми меня правильно, что одно представление может быть вытеснено только другим, так сказать контрпредставлением... Не знаю, знакомо ли тебе...

— Ну, где уж мне! — воскликнул консул и обеими руками стиснул себе голову.— И продолжай в том же духе, сделай одолжение! Но только держи язык за зубами, не болтай ты направо и налево! Не надоедай людям твоими мерзкими ощущениями. С такой непристойной болтливостью ты только и знаешь, что попадать в смешное положение! А я повторяю тебе... в последний раз повторяю: мне безразлично, строишь ты из себя дурака или нет, но я запрещаю,— слышишь ты? — запрещаю компрометировать фирму такими выходками, как вчерашняя!

На это Христиан ничего не ответил. Он только медленно провел рукой по своим редеющим рыжеватым волосам; лицо у него было серьезное и грустное, а взгляд безостановочно блуждал по сторонам. Мысли его, без сомнения, еще были прикованы к тому, что он сейчас говорил. Наступила пауза. Томас в молчаливом отчаянии шагал впереди.

— По-твоему, все коммерсанты жулики,— снова начал он.— Пусть так! Тебе надоел этот род занятий? Ты жалеешь, что вступил в торговое дело? В свое время ты выпрашивал у отца позволения...

— Да, Том,— задумчиво отвечал Христиан,— пожалуй, лучше было бы мне продолжать ученье! В университете, наверно, чувствуешь себя премило... Приходишь, когда тебе вздумается, по доброй воле. Сидишь и слушаешь... как в театре...

— Как в театре! Тебе бы в кафешантане выступать — вот твое истинное призвание... Я не шучу! Я уверен, что это и есть твой тайный идеал,— заключил консул.

Христиан ему не возражал и в задумчивости глядел прямо перед собой.

— И ты осмеливаешься высказывать подобные соображения! Ты, который понятия, малейшего понятия не имеешь о том, что такое работа; ты, который способен только ходить по театрам, кутить и заниматься шутовством, чтобы потом, вообразив, будто это наполнило тебя какими-то необыкновенными чувствами, ощущениями, мыслями, копаться в себе, наблюдать за собой и бесстыдно болтать об этом вздоре...

— Да, Том,— грустно согласился Христиан и погладил себя по темени.— Это правда, ты верно подметил. В этом-то, понимаешь, и разница между нами. Ты тоже не без удовольствия ходишь в театр, и, по совести говоря, у тебя в свое время были разные там историйки, стихами и романами ты тоже когда-то зачитывался... Но только ты всегда умел сочетать это с усердной работой, с серьезным отношением к жизни... А мне это, понимаешь ли, не дано. Меня этот вздор захватывает целиком, на что-нибудь такое... настоящее меня уже не хватает... Не знаю, понимаешь ли ты...

— А, так ты и сам с этим согласен! — воскликнул Том; он остановился и скрестил руки на груди.— Ты малодушно подтверждаешь мою правоту, и тем не менее все остается по-старому. Да что ты — человек или животное, Христиан? Должна же у тебя быть хоть какая-то гордость, господи ты боже мой! Как можно продолжать вести жизнь, в защиту которой у тебя и слов-то не находится! Но это на тебя похоже! Ты весь в этом! Для тебя главное — вникнуть в какую-нибудь ерунду, понять и описать ее... Нет! Моему терпению пришел конец!— Консул отступил на шаг и сделал энергичный жест рукой, словно что-то зачеркивая.— Конец, говорю я! Ты аккуратно являешься за жалованьем, а в контору и носа не кажешь... И это бы еще с полбеды! Управляйся со своей жизнью как знаешь, живи, как жил до сих пор. Но ты на каждом шагу компрометируешь нас! Нас всех! Ты выродок, нарыв на теле семьи! Язва нашего города! И будь этот дом моим, я бы вышвырнул тебя за дверь без всяких разговоров! — закричал он, широким, решительным жестом обводя все вокруг — сад, двор и амбары. Он окончательно утратил самообладание, давно сдерживаемая ярость прорвалась наружу.

— Опомнись, что с тобой, Том! — перебил его Христиан. Он был возмущен до глубины души, и выражалось это, надо сказать, довольно комично. Он остановился в позе, характерной для кривоногих,— чуть ссутулившись и при этом так выставив вперед голову, живот и колени, что издали смахивал на вопросительный знак. Его круглые, глубоко сидящие глаза, которые он раскрыл во всю ширь, начали краснеть по краям, как у отца, когда тот бывал в гневе, и краснота эта разлилась по скулам.

— Как ты говоришь со мной? — сказал он.— Что я тебе сделал? Я сам уеду отсюда, тебе незачем меня вышвыривать... Фу! — с глубокой укоризной добавил он и схватил воздух рукой, точно поймал муху.

Как это ни странно, но Томас не только не разъярился пуще прежнего, но молча склонил голову и опять медленно зашагал по дорожке. Казалось, он испытывал удовлетворение, даже радость оттого, что наконец-то вывел брата из себя, наконец-то подвигнул его на резкий отпор, на протест.

— Можешь мне поверить,— уже спокойно продолжал он, снова закладывая руки за спину,— что этот разговор мне крайне неприятен. Но когда-нибудь он должен был состояться. Подобные сцены между братьями ужасны, и все-таки нам нужно было выговориться. А теперь, мой друг, мы с тобой можем хладнокровно обсудить все дела. Ты, как я вижу, не удовлетворен своим положением. Не так ли?

— Да, Том, ты прав. Видишь ли, вначале я был очень, очень доволен... И, конечно, мне здесь лучше, чем в каком-нибудь чужом деле. Но мне, так я думаю, не хватает самостоятельности... Я всегда завидовал тебе, когда наблюдал, как ты сидишь и работаешь. Для тебя это, в сущности, даже не работа. Ты работаешь не потому, что тебя к этому принуждают. Ты хозяин, глава предприятия. Ты заставляешь других работать на себя, а сам только производишь расчеты, всем управляешь... Ты свободный человек. Это нечто совсем иное...

— Пусть так, Христиан! Но почему ты не сказал об этом раньше? Ты волен стать самостоятельным или хотя бы более самостоятельным. Ты же знаешь, что тебе, как и мне, отец выделил пятьдесят тысяч марок из наследственной доли; и я, само собой разумеется, готов в любую минуту выплатить тебе эту сумму для разумного и толкового ее применения. В Гамбурге, да и в любом другом городе, есть достаточно солидных предприятий, нуждающихся в притоке капитала. В одно из них ты мог бы вступить компаньоном. Давай подумаем об

этом каждый про себя, а потом при случае переговорим с матерью. Сейчас же мне надо идти в контору, а ты за эти дни мог бы закончить английские письма, которые у тебя еще остались... Что ты думаешь, например, о «Х.-К.-Ф. Бурмистер и К⁰» в Гамбурге, импортная и экспортная контора? — спросил он уже в сенях.— Я его знаю и уверен, что он ухватится за такое предложение...

Разговор этот происходил в конце мая 1857 года. А в начале июня Христиан уже отбыл в Гамбург через Бюхен,— тяжкая утрата для клуба, Городского театра, «Тиволи» и всех любителей веселого времяпрепровождения. Местные suitiers в полном составе, среди них доктор Гизеке и Петер Дельман, явились на вокзал, поднесли Христиану цветы и даже сигареты, причем все хохотали до упаду, видимо вспоминая истории, которые он им рассказывал. Под конец доктор прав Гизеке, при всеобщих воплях восторга, прикрепил к пальто Христиана огромный котильонный орден из золотой бумаги. Этот орден пожаловали Кришану за выдающиеся заслуги обитательницы некоего дома неподалеку от гавани, гостеприимного приюта, у дверей которого по ночам горел красный фонарь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Внизу задребезжал колокольчик, и г-жа Грюнлих, верная своей новой привычке, появилась на площадке, чтобы, перегнувшись через белые лакированные перила, посмотреть вниз. Но едва там отворили дверь, как она порывистым движением нагнулась еще ниже, потом отпрянула, одной рукой прижала к губам платочек, другой подобрала юбки и, так и не распрямившись, ринулась наверх. В следующем пролете она столкнулась с мадемуазель Юнгман и быстро шепнула ей несколько слов, на что Ида от радости и испуга ответила по-польски, нечто вроде: «Муй боже коханы!»

В это самое время консульша Будденброк сидела в ландшафтной и вязала двумя большими деревянными спицами не то шаль, не то одеяло. Было одиннадцать часов утра.

Внезапно в ротонде появилась горничная, постучала в застекленную дверь и, «уточкой» приблизившись к консульше, подала ей визитную карточку. Консульша взяла ее, поправила очки, без которых она уже не могла заниматься рукоделием,

взглянула на карточку, но тут же перевела взгляд на румяное лицо девушки, еще раз перечитала и опять поглядела на горничную. Наконец она произнесла вполне дружелюбно, но решительно:

— Что это значит, голубушка? Скажи, пожалуйста, а?

На карточке стояло: «Кс. Ноппе и К⁰». Но «Кс. Ноппе», равно как и союз «и», были зачеркнуты синим карандашом, оставалось одно «К⁰».

— Там какой-то господин спрашивает вас, сударыня,— отвечала девушка,— только он говорит не по-нашему и сам очень уж чудной!

— Проси,— распорядилась консульша, уразумев, что визит ей собирается нанести именно «К⁰».

Горничная ушла. Но застекленная дверь тут же открылась снова, пропуская коренастую фигуру, которая остановилась в дальнем углу комнаты и пробурчала нечто вроде «честь имею»...

— Доброго утра,— сказала консульша.— Не угодно ли вам подойти поближе? — При этом она оперлась рукой о сиденье софы и слегка приподнялась, так как еще не решила, уместно ли будет в данном случае встать.

— Я взял на себя смелость...— отвечал незнакомец благодушно певучим голосом и сильно растягивая слова; учтиво склонившись, он ступил два шага вперед и опять остановился, озираясь то ли в поисках стула, то ли места, куда положить трость и шляпу, ибо трость с роговой ручкой в виде крючка, размером в добрых полтора фута, и шляпу он зачем-то захватил с собой в комнаты.

Это был полный сорокалетний человек, с короткими руками и ногами, одетый в широко распахнутый сюртук грубого коричневого сукна и в плотно облегавший его выпуклое брюшко светлый жилет в цветочках, по которому змеилась золотая цепочка от часов, увешанная богатейшим набором, можно сказать целой коллекцией, брелоков — роговых, костяных, серебряных и коралловых; его слишком короткие зелено-серые панталоны были сшиты из такой жесткой материи, что колоколом стояли над голенищами коротких и широких сапог. Белокурые усы, бахромчатые и жидкие, придавали его круглой, как шар, голове с редкими и тем не менее растрепанными волосенками явное сходство с тюленем. Эспаньолка под нижней губой незнакомца, в противоположность его усам, топорщилась щеточкой. Его необыкновенно толстые и жирные щеки так подпирало кверху, что от глаз оставались только две свет-

ло-голубые щелочки, в уголках которых собирались морщинки. Это придавало его раздутой физиономии смешанное выражение свирепости и беспомощного, трогательного добродушия. От маленького подбородка в узкий белый галстук отвесно вползала зобастая шея, исключавшая даже самую мысль о ношении стоячих воротничков. Нижняя часть его лица, шея, темя и затылок представляли собой как бы сплошную, разве что местами примятую, перину. Кожа на его лице, вследствие этой общей распухлости, была так туго натянута, что возле ушей и по обе стороны носа на ней проступили красные пятна... В одной из своих коротких белых и жирных ручек незнакомец держал трость, в другой — тирольскую шапочку, украшенную пучком волос серны.

Консульша сняла очки; не желая ни встать, ни сесть, она все еще опиралась рукой о сиденье софы.

— Чем могу служить? — спросила она наконец учтиво, но твердо.

Тут незнакомец решительным жестом положил шляпу и трость на крышку фисгармонии, с удовольствием потер освободившиеся руки, благодушно взглянул на консульшу светлыми заплывшими глазками и сказал:

— Прошу прощенья, сударыня... карточка-то не того, да другой под рукою не оказалось... Фамилия моя Перманедер, Алоиз Перманедер из Мюнхена... Может, сударыня, слыхали про меня от вашей уважаемой дочки?..

Все это он проговорил с грубоватыми интонациями, на корявом своем диалекте, в котором одно слово неожиданно сливалось с другим, и при этом доверительно подмигивая консульше глазами-щелками, что, видимо, означало: «Ну теперь-то мы друг друга поняли».

Тут консульша уже поднялась совсем, склонила голову набок и, протянув вперед руки, шагнула к нему навстречу.

— Господин Перманедер? Так это вы? Конечно, моя дочь говорила о вас. Я знаю, как много вы содействовали приятности и занимательности ее пребывания в Мюнхене... И теперь судьба вас забросила в наш город?

— То-то и оно! — отвечал г-н Перманедер; он плюхнулся в кресло, на которое изящным движением указала ему хозяйка дома, и, нимало не стесняясь, начал обеими руками потирать свои короткие и толстые ляжки...

— Простите, я не расслышала,— деликатно переспросила консульша.

— То-то, говорю, и оно-то! — отвечал г-н Перманедер, оставив наконец в покое свои ляжки.

— Очень мило с вашей стороны,— ничего не понимая, проговорила хозяйка и с притворным удовлетворением откинулась на софе. Но г-н Перманедер это заметил; он наклонился, бог весть зачем, описал рукою круг в воздухе и с величайшим усилием выдавил из себя:

— Ну, небось и удивлены же вы, сударыня!

— О да, да, любезный господин Перманедер,— радостно подтвердила она.

Разговор оборвался. Желая поддержать его, гость протяжно вздохнул:

— Фу-ты, окаянство какое!

— Гм... Как вы изволили сказать?

— Окаянство, говорю, какое,— громогласно повторил г-н Перманедер.

— Очень мило,— опять примирительно произнесла ничего не разобравшая консульша.

Таким образом и эта тема была исчерпана.

— Позвольте узнать,— храбро продолжала она,— что заставило вас совершить столь дальнее путешествие, любезный господин Перманедер? От Мюнхена до нас, право, очень не близко...

— Дельце,— отвечал г-н Перманедер и покрутил в воздухе своей толстой рукой.— Маленькое дельце с пивоварней в Валькмюле, сударыня!

— Ах, правда, вы ведь ведете торговлю хмелем, любезный господин Перманедер! «Ноппе и К°», не так ли? Смею вас уверить, что я не раз слышала от моего сына, консула, самые лестные отзывы о вашей фирме,— учтиво добавила она.

Но г-н Перманедер скромно запротестовал:

— Так-то оно так, да не об этом речь. Главное, мне уж очень хотелось засвидетельствовать вам свое почтенье, сударыня, и еще раз повидать мадам Грюнлих! А коли уж приспичило, так и дальней дороги не побоишься.

— Благодарю вас,— тепло сказала консульша и еще раз протянула ему руку, но уже ладонью вверх.— А теперь надо известить дочь,— добавила она, вставая и направляясь к вышитой сонетке возле двери.

— У-ух ты, вот будет мне радость!..— воскликнул г-н Перманедер, вместе с креслом повертываясь к двери.

— Попроси мадам Грюнлих вниз, милочка,— обратилась консульша к вошедшей горничной и снова села на софу.

Господину Перманедеру пришлось еще раз ворочаться вместе с креслом.

— Вот будет мне радость! — повторил он, с мечтательным видом разглядывая шпалеры, большую севрскую чернильницу на секретере и всю обстановку ландшафтной. Потом он несколько раз повторил: — Фу-ты, окаянство какое! И не выдумаешь! — причем усиленно тер себе колени и, совершенно безотносительно к своим словам, испускал тяжелые вздохи. Это заполнило чуть ли не все время до прихода г-жи Грюнлих.

Она заметно принарядилась, надела светлый жакет, взбила волосы. Лицо у нее было свежее и прелестнее, чем когда-либо, а кончик языка время от времени лукаво облизывал уголки рта.

Не успела она показаться в дверях, как г-н Перманедер вскочил и с невероятной резвостью кинулся ей навстречу. Все в нем пришло в движение. Схватив ее за обе руки, он потрясал ими, восклицая:

— Вот она сама, госпожа Грюнлих! Здравствуйте, здравствуйте! Ну, как вы тут жили, а? Что поделывали на севере? У-ух ты, и рад же я, как дурак!.. Не забыли еще городишко Мюнхен и наши горы, а? Ну, и погуляли мы с вами, есть что вспомнить!.. У-ух, черт! И опять вот свиделись! Да кто бы подумал!..

Тони, в свою очередь, очень живо приветствовала г-на Перманедера, придвинула стул к его креслу и начала вспоминать Мюнхен. Теперь беседа потекла уже без всяких заминок, и консульша, улыбаясь, поощрительно кивала головой г-ну Перманедеру и мысленно переводила на литературный язык то один, то другой его оборот и, когда это ей удавалось, с удовлетворением откидывалась на спинку софы.

Господину Перманедеру пришлось еще раз, теперь уже г-же Антонии, объяснить причину своего появления в городе, но «дéльцу» с пивоварней он явно придавал столь малое значение, что трудно было в него поверить. Зато он с живейшим интересом расспрашивал о младшей дочери, а также о сыновьях консульши и громогласно сетовал на отсутствие Клары и Христиана, так как ему «очень уж в охоту было познакомиться со всем семейством».

На вопрос о продолжительности его пребывания здесь он ответил крайне туманно, но когда консульша сказала: «Я с минуты на минуту жду к завтраку сына. Не доставите ли вы нам удовольствие откушать с нами?» — он выразил свое согласие

еще раньше, чем она успела договорить, и с такой готовностью, словно только и ждал приглашения.

Консул пришел из конторы. Найдя маленькую столовую пустой, он взбежал наверх и в рабочем костюме, уже немного утомленный и озабоченный, заглянул в ландшафтную, чтобы поторопить своих с завтраком... Но, едва завидев тирольскую шапочку на фисгармонии и гостя в грубошерстном сюртуке, всего обвешанного брелоками, насторожился и, как только было произнесено имя, часто слышанное им из уст г-жи Антонии, бросил быстрый взгляд на сестру и приветствовал его с самой располагающей любезностью, на которую был способен. Он даже не успел сесть. Все тотчас же спустились вниз, где мамзель Юнгман уже накрыла стол, на котором шумел самовар — настоящий самовар, подарок пастора Тибуртиуса и его супруги.

— Ну, господи благослови! — возгласил г-н Перманедер, опускаясь на стул и окидывая взором стол, уставленный холодными закусками.

— Это, конечно, не мюнхенское пиво, господин Перманедер, но все же нечто более приемлемое, чем наше здешнее варево.— И консул налил ему коричневого пенящегося портера, который сам обычно пил за завтраком.

— Благодарствуйте, хозяин,— усердно прожевывая бутерброд, отвечал г-н Перманедер, не замечая исполненного ужасом взора мамзель Юнгман. Но портер он потреблял столь умеренно, что консульша велела принести бутылку красного вина, после чего гость заметно повеселел и снова пустился в оживленный разговор с мадам Грюнлих. Живот не позволял ему близко придвинуться к столу, и он сидел широко расставив ноги, свесив жирную белую руку со спинки стула и слегка склонив набок свою круглую голову с тюленьими усами; преданно поблескивая щелками глаз, он с выражением свирепым и умильным внимал болтовне Антонии.

Изящными и ловкими движениями очищая ему салаку, которой г-н Перманедер никогда в жизни не видывал, она не преминула высказать ряд житейских наблюдений.

— О, господи, как это грустно, господин Перманедер, что все хорошее и отрадное в жизни так быстро проходит,— заметила она, намекая на свое пребывание в Мюнхене, и, на минуту отложив нож и вилку, мечтательно возвела взор к потолку. Время от времени г-жа Антония делала столь же милые, сколь и безуспешные попытки говорить на баварском диалекте.

Когда все еще сидели за столом, раздался стук в дверь: мальчик-ученик принес из конторы телеграмму. Консул прочитал ее, медленно пропуская сквозь пальцы кончики усов, и хотя было очевидно, что содержание депеши заставило его мысль напряженно работать, спросил самым непринужденным тоном:

— Ну, как идут дела, господин Перманедер?.. Ответа не будет,— обратился он к мальчику, который сразу же исчез.

— Ох, хозяин,— отвечал г-н Перманедер, с трудом поворачивая свою короткую и толстую шею к консулу и кладя теперь на спинку стула правую руку.— Что уж тут говорить, горе, да и только! Мюнхен,— он выговаривал это слово так, что можно было только догадываться, какой именно город он имеет в виду,— Мюнхен город не деловой, там каждый норовит устроиться поскромней да поспокойней!.. И депеш у нас за столом не читают — это уж дудки! Тут у вас, на севере, все по-другому, черт подери!.. Благодарствуйте, что ж, можно и еще стаканчик! Невредное винцо! Мой компаньон Нонне день и ночь мечтает перебраться в Нюрнберг: там, говорит, и биржа, и народ оборотистый... Ну, а я из Мюнхена ни ногой... черта с два! Конечно, у нас конкуренция, можно сказать, дьявольская, а уж экспорт — об нем и говорить нечего!.. Теперь и в России сами собираются хмель разводить...— Но тут он вдруг кинул неожиданно быстрый взгляд на консула и сказал: — А в общем, жаловаться не приходится, хозяин! Дельце у нас неплохое. Мы немалые денежки зашибаем на акционерной пивоварне, где директором Нидерпаур. Слыхали, верно? Поначалу у них предприятие было маленькое, да мы им дали кредит из четырех процентов под закладную — пускай себе расширяются! Ну, а теперь это дело солидное. Да и у нас оборот дай бог — можно жить — не тужить! — заключил г-н Перманедер, поблагодарил консула за предложенные на выбор папиросы и сигары, попросил разрешения закурить увесистую трубку, которую он извлек из кармана, и, получив таковое, весь окутанный клубами дыма, вступил с консулом в деловую беседу, быстро перекинувшуюся на политику. Они обсудили взаимоотношения Баварии и Пруссии, поговорили о короле Максимилиане и императоре Наполеоне, причем г-н Перманедер уснащал свою речь никому не понятными оборотами, а паузы, без всякой видимой связи с предыдущим, заполнял восклицаниями, вроде: «Ну и ну!» или: «Вот это да!»

У мамзель Юнгман от удивления застревал во рту непрожеванный кусок; она не сводила с гостя своих широко откры-

тых карих глаз и, по свойственной ей привычке, вертикально держа нож и вилку, даже слегка помахивала ими в воздухе. Таких разговоров эти комнаты еще не слышали, столь густой табачный дым никогда их не окутывал, не видывали они и такой благодушной распущенности манер. Консульша, озабоченно осведомившись, не подвергается ли маленькая евангелическая община преследованию со стороны куда более многочисленных папистов, замкнулась в благожелательном недоумении, а Тони по мере приближения трапезы к концу становилась все более задумчивой и неспокойной. Зато консул веселился от души, он даже попросил у матери разрешения,— которое немедленно воспоследовало,— послать вниз за второй бутылкой вина, и пригласил г-на Перманедера к себе на Брейтенштрассе: «Моя жена будет в восторге...»

Прошло добрых три часа, прежде чем г-н Перманедер начал готовиться к уходу: выбил свою трубку, допил до дна стакан, пробурчал что-то насчет «окаянства» и, наконец, поднялся.

— Честь имею, сударыня!.. Помогай бог, мадам Грюнлих! Помогай бог, господин Будденброк! Добрый день, почтеннейшая!

При этом обращении Ида вздрогнула и изменилась в лице. Ко всему он, прощаясь, говорил «добрый день»!..

Консульша переглянулась с сыном: г-н Перманедер только что заявил о своем намерении возвратиться в скромную гостиницу на берегу Трáвы, где он остановился.

— Мюнхенская подруга моей дочери и ее супруг далеко,— обратилась к нему старая дама,— и нам, вероятно, не скоро представится случай отблагодарить их за гостеприимство. Но если вы, уважаемый господин Перманедер, решите доставить нам удовольствие и остановитесь в нашем доме,— право же, мы будем душевно рады.

Она протянула ему руку. И что же? Г-н Перманедер, не задумываясь, согласился! Принял предложенное ему гостеприимство так же быстро и охотно, как приглашение к завтраку. Он поцеловал дамам ручки, что было ему явно непривычно, принес из ландшафтной трость и шляпу, еще раз пообещал немедленно доставить на Менгштрассе свой чемодан и, поскорее управившись с делами, вернуться не позднее четырех часов. Консул потел проводить его вниз. Уже выходя на улицу, г-н Перманедер вдруг обернулся и, прочувствованно покачав головой, сказал:

— Не обессудьте меня, сударь, но ваша сестрица, ей-ей,

славный малый! Помогай бог! — и, все еще качая головой, исчез за дверью.

Консул не в силах был противостоять желанию подняться наверх и посмотреть, как себя чувствуют дамы.

Ида Юпгман уже носилась по дому с постельным бельем, приготовляя комнату гостю.

Консульша все сидела за столом, не сводя своих светлых глаз с какой-то одной точки на потолке; белые пальцы ее тихонько барабанили по столу. Тони сидела у окна, скрестив руки на груди, и с важным, даже строгим выражением лица упорно смотрела прямо перед собой. Тишина в столовой была полная.

— Ну как? — спросил Томас, остановившись в дверях и вынимая папиросу из портсигара с мчащейся тройкой. Плечи его вздрагивали от смеха.

— Приятный человек,— откликнулась консульша.

— И я того же мнения! — С этими словами консул галантно, хотя и не без юмора, расшаркался перед сестрой, словно почтительно осведомляясь и об ее мнении. Она молчала все с тем же строгим видом.

— Хотелось бы только, чтобы он не бранился,— не без робости заметила консульша.— Если я правильно поняла, то он через каждые два слова произносил какие-то проклятья...

— О, это пустяки, мама, он при этом ничего дурного не думал!..

— И потом эта nonchalance[1] в поведении... как ты считаешь, Том?

— Это у него чисто южное,— ответил консул, медленно выдохнул дым, улыбнулся матери и украдкой поглядел на Тони.

Консульша этого не заметила.

— Приходите сегодня с Гердой обедать. Пожалуйста, Том, сделайте это для меня.

— Охотно, мама, очень охотно! Откровенно говоря, я жду немало радостей от нашего нового гостя. А ты? Все-таки некоторое разнообразие после твоих духовных особ...

— У каждого свой вкус, Том.

— Разумеется! Ну, я пошел... да, кстати,— он обернулся уже в дверях,— ты, Тони, несомненно произвела на него сильнейшее впечатление! Я не шучу! Знаешь, как он о тебе отозвался, когда я его провожал? «Славный малый» — это его подлинные слова.

---

[1] Распущенность *(франц.)*.

Тут г-жа Грюнлих вышла из своей неподвижности и, обернувшись к брату, во всеуслышанье заявила:

— Не понимаю, Том, зачем ты мне это рассказываешь? Он, конечно, не просил тебя молчать, но я все же не уверена, что так уж уместно мне это передавать. Одно я знаю твердо и скажу тебе: в жизни важно не *что* и *как* говорится, а что у человека в сердце и на уме... И если ты насмехаешься над его манерой выражаться... если находишь господина Перманедера комичным...

— Да бог с тобой, Тони! У меня этого и в мыслях не было... Напрасно ты горячишься.

— Assez! — вмешалась консульша, бросив на сына строгий и в то же время просительный взгляд, как бы говоривший: пощади ее!

— Ну-ну, не сердись, Тони! — сказал он.— Я вовсе не хотел тебе досадить. Так! А теперь я и вправду ухожу и сейчас пошлю кого-нибудь из рабочих привезти чемодан... Всего хорошего!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Итак, г-н Перманедер водворился на Менгштрассе. На следующий день он обедал у Томаса Будденброка и его супруги, а на третий, в четверг, познакомился с четой Крегеров, с дамами Будденброк с Брейтенштрассе, которые нашли его ужасно смешным (*«Ужясно!»*, как они выговаривали), а также с Зеземи Вейхбродт, обошедшейся с ним довольно сурово, с бедной Клотильдой и с маленькой Эрикой, которой он преподнес «гостинец» — кулечек конфет.

Он благодушествовал! Благодушествовал с утра до вечера, хотя иногда и испускал тяжелые вздохи, которые, впрочем, ровно ничего не значили и вызывались только избытком удовольствия. С вечной своей трубкой в зубах, со своим смешным выговором, с поразительной способностью часами засиживаться за столом после еды и, приняв непринужденнейшую позу, курить, пить и болтать, он хотя и внес в размеренную жизнь старого дома совсем новый и чуждый ей дух, ибо все его существо удивительно не подходило к стилю этих покоев, но тем не менее ничуть не нарушил укоренившихся там обычаев. Г-н Перманедер неизменно присутствовал на утренних и вечерних молитвах, однажды испросил дозволения посетить воскресную школу консульши и даже на минуточку заглянул в большую столовую во время «Иерусалимского вечера», чтобы

представиться дамам, но когда Леа Герхардт начала читать, немедленно обратился в бегство.

В городе его особа быстро приобрела известность, и в патрицианских домах с любопытством говорили о баварском госте Будденброков, но знакомых ни на бирже, ни в обществе у него не было. А так как сезон кончился и большинство семей уже собиралось выехать на взморье, то консул и не делал попыток «ввести его в свет». Зато сам он очень много занимался г-ном Перманедером. Несмотря на обилие деловых и общественно-городских обязанностей, консул находил время водить его по городу, показывал ему все средневековые достопримечательности — церкви, ворота, колодцы, ратушу, рынок, «Дом корабельщиков», всеми силами стараясь развлекать его. На бирже он познакомил г-на Перманедера с ближайшими своими друзьями, а когда консульша как-то при случае поблагодарила его за такую самоотверженность, он только сухо ответил:

— Н-да, мама, чего-чего только не приходится делать...

Консульша эти слова пропустила мимо ушей, даже бровью не повела, взглянула на сына своими светлыми глазами и спросила о чем-то постороннем.

Она относилась к г-ну Перманедеру с ровным и сердечным дружелюбием, чего отнюдь нельзя было сказать о ее дочери. Баварский гость присутствовал уже на двух «четвергах», хотя на третий или четвертый день своего пребывания и заметил вскользь, что его «де́льце» со здешней пивоварней окончено. С тех пор прошли уже полторы недели, и на каждом из «четвергов», стоило только г-ну Перманедеру начать говорить и оживленно жестикулировать, как г-жа Грюнлих бросала тревожные, быстрые взгляды на дядю Юстуса, кузин Будденброк или Томаса, краснела, на несколько минут замыкалась в молчании, а не то даже выходила из комнаты...

Зеленые шторы на открытых окнах в спальне г-жи Грюнлих чуть-чуть колыхались от легкого дыханья ясной июньской ночи. На ночном столике, подле кровати с пологом, в стакане, до половины налитом водой, поверх которой плавал слой масла, горело несколько фитильков, освещавших покойным и слабым светом большую комнату с прямыми креслами в чехлах из сурового полотна. Г-жа Грюнлих лежала в постели. Ее хорошенькая головка покоилась на мягких подушках в наволочках с кружевными оборками, руки были простерты поверх стеганого одеяла. Но глаза ее, слишком задумчивые, чтобы сомкнуться

сном, следили за бесшумными, неустанными взмахами крыльев какого-то крупного насекомого с длинным тельцем, вьющегося вокруг ночника... Над кроватью, между двумя гравюрами со средневековыми видами города, висело в рамке изречение: «Вверяй пути свои господу...» Но разве может это служить утешеньем, когда вот так, с открытыми глазами, лежишь ночь напролет, и тебе не с кем посоветоваться, и надо совсем одной решаться на важный шаг, в самой себе искать мужества для окончательного «да» или «нет», которое определит всю твою дальнейшую жизнь...

Вокруг стояла тишина. Слышно было только, как тикают часы на стене да в соседней комнате, занавесью отделенной от спальни Тони, покашливает мамзель Юнгман. Там еще горел свет. Верная пруссачка, сидя за раздвижным столом под висячей лампой, штопала чулки маленькой Эрики, ровно и глубоко дышавшей во сне,— у питомиц Зеземи Вейхбродт были летние каникулы, и девочка жила на Менгштрассе.

Госпожа Грюнлих приподнялась и, опершись на локоть, вздохнула.

— Ида? — громким шепотом позвала она.— Ты что, еще сидишь и штопаешь?

— Да, да, Тони, деточка,— послышался голос Иды.— Спи... Завтра ведь рано вставать, ты не выспишься...

— Ида, так ты не забудешь разбудить меня завтра в шесть?

— Хорошо будет и в половине седьмого, деточка. Экипаж заказан к восьми. Спи, спи, чтобы встать свеженькой...

— Ах, да я еще совсем не спала!

— Ай-ай-ай! Это никуда не годится. Не хочешь же ты приехать в Швартау усталой и сонной? Выпей семь глотков воды, повернись на правый бок и считай до тысячи...

— Ах, Ида, подойди ко мне, пожалуйста! Я все равно не усну, я столько думаю, что голова у меня раскалывается... Пощупай-ка: по-моему, у меня жар... Да и желудок опять... А может быть, это от малокровия? Жилы у меня на висках вздулись и так бьются, что даже больно. Приливы к голове могут быть и при малокровии...

В соседней комнате двинули стулом, и из-за занавеси показалась сухопарая, крепко сшитая фигура Иды в простом коричневом платье.

— Ай-ай-ай, Тони! Жар? Дай-ка я пощупаю, деточка... Сейчас сделаем компрессик...

Крупным, почти мужским шагом она прошла к комоду, достала носовой платок, обмакнула его в таз на умывальнике, опять подошла к кровати и, осторожно положив на лоб Тони, разгладила ладонью.

— Спасибо, Ида! Как приятно!.. Ах, посиди немного со мной, моя хорошая, старенькая Ида. Вот здесь, на кровати... Понимаешь, я все время думаю о завтрашнем дне... Как мне быть? У меня голова кругом идет...

Ида уселась на краешек кровати, снова взяла в руки иголку и деревянный гриб с натянутым на него чулком, склонила голову с гладко расчесанными седыми волосами и, неустанно следя за каждым своим стежком, спросила:

— Ты думаешь, он завтра объяснится?

— Непременно, Ида, я не сомневаюсь. Такого удобного случая он не упустит. Помнишь, как было с Кларой? На такой же прогулке... Конечно, я могу этого избежать, могу не оставаться одна, не подпускать его близко к себе... Но тогда... тогда это конец! Послезавтра он уезжает, он сам сказал. Да ему и нельзя дольше оставаться здесь, если завтра ничего не будет решено... Завтра он непременно объяснится... Но что же мне сказать, Ида, если он спросит? Ты еще никогда не была замужем и поэтому не очень-то знаешь жизнь. Но ты честный, разумный человек, и тебе уже сорок два года. Неужели ты ничего не можешь посоветовать? Мне так нужен совет...

Ида Юнгман опустила чулок на колени.

— Да, да, Тони, я и сама об этом немало думала. И додумалась до того, что тут уж и советовать нечего, деточка моя! Он не может уехать, не переговорив с тобой и с твоей мамой. А если ты этого не хочешь, так надо было раньше отослать его...

— Да, ты права, Ида. Но я и на это не могла решиться, потому что чему быть, того не миновать! Но только я поневоле все время думаю: еще не поздно, еще можно отказаться! И вот я лежу и мучаюсь...

— Тебе он нравится, деточка, скажи по совести?

— Да, Ида! Если бы я стала это отрицать, я бы солгала. Он некрасив, но в жизни это не так уж важно; зато он добрейший человек, не способный ни на что дурное, это уж можешь мне поверить... Когда я вспоминаю Грюнлиха... О, господи!.. Тот вечно твердил: «Я живой, я находчивый», и старался этими словами прикрыть то, что он просто мошенник... Перманедер совсем другое... Он для таких штук, я бы сказала, слишком неповоротлив, слишком благодушен... хотя, с другой стороны, это

тоже недостаток,— можно голову дать на отсечение, что он никогда не станет миллионером. И по-моему, он даже слишком склонен распускаться, жить «спустя рукава», как они говорят на юге... Но там все такие, Ида, вот в чем дело. Ты пойми, в Мюнхене, когда он был среди таких же людей, которые так же говорят, как и он, и так же себя держат, я его, прямо скажу, любила. Он мне казался милым, простосердечным, добрым. И очень скоро я заметила, что это взаимно. Может быть, тут играло роль и то, что он считал меня богатой женщиной? Боюсь, более богатой, чем я есть... потому что, ты ведь знаешь, мама уже не может много дать за мной... Но это, я уверена, его не остановит. Он за деньгами не гонится... Да, так что же я хотела сказать, Ида?

— В Мюнхене, Тони! Ну, а здесь?

— А здесь, Ида... Ты сразу поняла, что я хочу сказать: здесь, где он вырван из привычной обстановки, где люди совсем другие — строже, честолюбивее... как бы это выразиться... благоприличнее,— здесь я часто за него краснею; да, да, откровенно признаюсь тебе, Ида, потому, что я всегда говорю, что думаю... я стесняюсь его, хотя это, может быть, и дурно с моей стороны. Ты знаешь, он уже не раз говорил «мне» вместо «меня». На юге так говорят, Ида, даже самые образованные люди, когда они весело настроены, и ничей слух это не режет, никого не сердит, никто даже и внимания не обращает... А здесь... мать на него косится, Том вскидывает бровь, дядя Юстус вздрагивает и еле сдерживается, чтобы не фыркнуть... Знаешь эту крегеровскую манеру... А Пфиффи Будденброк переглядывается со своей матерью или с Фридерикой и Генриеттой... И мне становится так стыдно, что, кажется, взяла бы да убежала из комнаты. И тогда я даже представить себе не могу, что выйду за него замуж...

— Ну, это не беда, Тони, ведь жить-то вы будете в Мюнхене.

— Это ты верно сказала, Ида. Ну, а помолвка? Ведь ее придется праздновать. И ты только представь себе, если мне все время будет стыдно перед нашими, перед Кистенмакерами, Меллендорфами и вообще перед всеми гостями из-за того, что в нем так мало внешнего благородства. Ах, с виду Грюнлих был куда аристократичнее, но душа, душа у него была черная, как — если верить Христиану — любил говорить покойный господин Штенгель... Ох, Ида, голова кругом идет! Перемени мне, пожалуйста, компресс... Нет! Видно, чему быть, того не миновать! — снова начала она после того, как со вздохом облегчения

приняла от Иды свежесмоченный платок.— Ведь самое, самое главное, что я опять стану замужней дамой и не буду больше прозябать здесь на положении разведенной жены!.. Ах, Ида, я последние дни все думаю о прошлом: как впервые появился Грюнлих и какие сцены он мне устраивал — отвратительно, Ида!.. А потом Трáвемюнде, Шварцкопфы...— медленно проговорила она, и взор ее несколько мгновений мечтательно покоился на заштопанной пятке чулка в руках у Иды.— А потом помолвка, Эймсбюттель... и наш дом — такой аристократический и красивый. И какие я тогда заказала себе пеньюары, Ида! С Перманедером, конечно, ничего этого не будет. Но что поделаешь, жизнь учит нас скромности... И визиты доктора Клаасена, а потом ребенок... и банкир Кессельмейер, и... конец! О, это было ужасно! Да, женщина, которая прошла через такие испытания... Но Перманедер ни в какие грязные аферы не пустится, в этом его заподозрить нельзя; в деловом отношении мы, думается, можем на него положиться. Я вполне верю, что они с Ноппе очень недурно зарабатывают на нидерпауровской пивоварне. А когда я стану его женой — вот посмотришь, Ида,— я уж сумею подстрекнуть его честолюбие и позабочусь о том, чтобы он преуспевал и не жалел своих сил и нам бы не пришлось краснеть за него. Потому что такое обязательство он, уж конечно, берет на себя, женясь на урожденной Будденброк...

Она заложила руки за голову и стала задумчиво смотреть на потолок.

— Да, уже целых десять лет прошло с того дня, как я дала свое согласие Грюнлиху... Десять лет! И вот все начинается сначала, и мне опять нужно говорить кому-то «да»! Знаешь, Ида, жизнь ведь ужасно серьезная штука!.. Только тогда разговоров было не обобраться, все ко мне приставали, мучили меня, а теперь все притихли и считают, что я обязательно соглашусь. Ты пойми, Ида, в этой моей помолвке с Алоизом — видишь, я уже зову его Алоиз, потому что чему быть, того не миновать,— нет ничего торжественного и радостного. И речь, собственно, идет совсем не о счастье. Я вступаю в этот брак, чтобы спокойно и трезво загладить первое свое замужество, ибо таков мой долг перед семьей и фирмой. И мать так считает, и Том тоже...

— Да ну что ты, деточка! Если он тебе не мил и не сумеет дать тебе счастья...

— Ида, я знаю жизнь, я теперь не какая-нибудь дурочка, и глаза у меня тоже есть. Мать... что ж, она, пожалуй, не стала бы настаивать, потому что все сомнительное в жизни она обходит со своим «assez». Но Том... Том этого хочет. Нет, уж тут ты

ничего не говори, я его знаю как свои пять пальцев. Хочешь, я тебе скажу, что он думает? Он думает: «Любой, любой, кроме абсолютно недостойного». Потому что речь сейчас идет уже не о блестящей партии, а о том, чтобы вторым браком хоть как-нибудь загладить неудачу с первым. Вот что думает Том. И будь уверена, что не успел господин Перманедер переступить порог нашего дома, как он уже потихоньку собрал все сведения о нем. И так как они оказались более или менее благоприятными, то для него это решенное дело. Том политик и знает, чего хочет. Кто выставил за дверь Христиана? Может, это сильно сказано, Ида, но так оно есть. А почему? Потому что Христиан компрометировал семью и фирму. А я, по мнению Томаса, делаю то же самое,— конечно, не словами или поступками, но самим фактом своего существования в качестве разведенной жены. Он хочет положить этому конец, и он прав! И я, честное слово, не меньше люблю его из-за этого и думаю, что он мне платит тем же. В конце концов я все эти годы только и мечтала снова начать жить, потому что очень уж мне тоскливо у матери,— прости меня, господи, если это грех! Но мне ведь едва минуло тридцать, и я чувствую себя молодой. Люди по-разному устроены, Ида. У тебя в тридцать лет были уже седые волосы, потому что у вас это семейное, и твой дядя Праль, который умер от удушья...

В эту ночь она высказала еще немало подобных соображений, время от времени восклицая: «В конце концов — чему быть, того не миновать!» И потом забылась на пять часов глубоким и мирным сном.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утренняя мгла еще стояла над городом, но г-н Лонгэ, извозопромышленник с Иоганнесштрассе, к восьми часам собственной персоной подавший на Менгштрассе вместительный экипаж с низкими боковыми стенками, объявил: «Через часок проглянет солнышко», и все на том успокоились.

Консульша, Антония, г-н Перманедер, Эрика и Ида Юнгман позавтракали вместе и теперь, уже одетые для прогулки, собрались внизу, дожидаясь Герды и Тома. Г-жа Грюнлих в кремовом платье с атласным бантом, завязанным под подбородком, несмотря на недолгий сон, выглядела очаровательно. Всем сомнениям и тревогам, видимо, пришел конец, ибо на ее лице, когда она, разговаривая с гостем, неторопливо застегивала пуговки своих ажурных перчаток, было написано уверенное спо-

койствие, даже торжественность. Давно забытые чувства вновь охватили ее. Сознание собственной значительности, важности решения, перед которым она поставлена, сознание, что вот опять для нее настала пора вписать новые строки в историю семьи, переполняли ее душу и заставляли сильнее биться сердце. Этой ночью она видела во сне страницу, где ей предстояло отметить свое вступление во второй брак,— событие, которое начисто сотрет то черное пятно в фамильной тетради. Она с трепетом ждала теперь мгновения, когда войдет Том, чтобы встретить его приветливым, величавым кивком головы.

С некоторым опозданием, ибо молодая консульша Будденброк не привыкла подниматься в такую рань, появился консул с супругой. Он был бодр и свеж; из-под широких отворотов его светло-коричневого в мелкую клетку сюртука виднелись борта светлого жилета. В его глазах мелькнул смех при виде неподражаемо важного лица Тони. Зато у Герды, чья несколько болезненная, загадочная красота странно контрастировала с цветущей прелестью ее невестки, настроение было отнюдь не оживленное и не праздничное. Видимо, она не выспалась. Густолиловый цвет платья, весьма своеобразно сочетаясь с красноватым оттенком пышных волос, еще больше подчеркивал матовую белизну ее кожи; голубоватые тени в уголках близко посаженных карих глаз сегодня казались темнее и больше, чем обычно. Она холодно подставила свекрови лоб для поцелуя и с несколько ироническим выражением протянула руку г-ну Перманедеру, а когда г-жа Грюнлих при ее появлении всплеснула руками и громко воскликнула: «О, господи, Герда, до чего ты сегодня хороша!» — ответила ей лишь безразличной улыбкой.

Герда терпеть не могла затей, вроде сегодняшней, тем более летом, да еще в воскресенье. Проводя почти весь день в полусумраке комнат со спущенными шторами, редко показываясь на улице, она боялась солнца, пыли, разряженных мещан, запаха кофе, пива, табака и больше всего на свете ненавидела суетливую толкотню и беспокойство.

— Друг мой,— сказала она Томасу, когда решено было для ознакомления гостя с окрестностями старинного города совершить поездку в Швартау и закусить в ресторане «На вольном воздухе»,— ты же знаешь, что господь создал меня для покоя и будничной обстановки... Таким людям, как я, всякое передвижение и суета просто нестерпимы. Я уверена, что вы извините меня...

Она бы не стала его женой, если бы в подобных случаях твердо не рассчитывала на его поддержку.

— Ты, понятно, права, Герда, в таких прогулках больше маеты, чем развлечения. Но отказываться от них не приходится — кому охота быть чудаком в глазах людей или... хотя бы в своих собственных. Может быть, это суетность, но она присуща всем. Наверно, и тебе, Герда?.. Иначе можно прослыть нелюдимом или просто несчастным человеком. А это уже подрывает престиж... И еще одно, моя дорогая... У всех нас есть причины поухаживать немножко за господином Перманедером. Не сомневаюсь, что ты тоже достаточно уяснила себе положение. Было бы очень, очень жаль, если бы то, что сейчас происходит, не пришло к благополучному концу...

— Не понимаю только, мой друг, в какой мере мое присутствие... но, впрочем, не важно. Раз ты этого хочешь, я поеду. Вкусим еще и от этого удовольствия!

— Я буду тебе бесконечно признателен.

Вся компания вышла на улицу. И правда, солнце уже начало пробиваться сквозь утреннюю дымку; празднично звонили колокола на Мариенкирхе, и птичий щебет наполнял воздух. Кучер снял шляпу, и консульша с патриархальным благоволением, иной раз смущавшим Томаса, наисердечнейшим тоном проговорила:

— И тебя с добрым утром, любезный!.. Итак, дорогие мои, давайте рассаживаться! Сейчас время утренней молитвы, но сегодня мы восславим господа в своих сердцах среди вольной природы, не так ли, господин Перманедер?

— Так точно, сударыня.

Взобравшись по двум железным ступенькам, они протискались один за другим через узенькую дверцу в экипаж, свободно вмещавший человек десять, и начали рассаживаться на мягких скамейках, обитых — уж не в честь ли г-на Перманедера? — белой материей в голубую полоску. Дверца захлопнулась, г-н Лонгэ щелкнул языком, крикнул «но-но!», откормленные гнедые тронули, и экипаж покатился вниз по Менгштрассе, потом вдоль Трáвы и, проехав Голштинские ворота, свернул вправо на шоссе, ведущее в Швартау.

Поля, луга, рощи, усадьбы... Там, наверху, в редеющей голубоватой дымке, заливались жаворонки; и все задирали головы, стараясь разглядеть невидимых певцов. Томас, не выпускавший изо рта папиросы, внимательно вглядывался в придорожные хлеба и что-то объяснял г-ну Перманедеру. Последний веселился, как юнец. Сдвинув набекрень свою тирольскую шапочку, он пытался балансировать тростью с гигантской роговой рукояткой, поставив ее на свою широчайшую белую ладонь или

даже на нижнюю губу,— трюк, ни разу ему не удавшийся, по тем не менее вызывавший шумный восторг маленькой Эрики. Он то и дело повторял:

— Прогулочка, ей-ей, выйдет недурная, хоть и придется нам пробежаться по жаре, черт ее возьми! Эх, хорошо жить на свете! Верно, мадам Грюнлих? А?

Затем он с превеликим пылом начал рассказывать о восхождении на горы с мешком за плечами и альпенштоком, за что консульша не раз награждала его удивленным: «Нет, это поразительно!» — и затем, одному богу известно, в какой связи, начал от души сокрушаться по поводу отсутствия Христиана, о котором он слышал, что это на редкость веселый господин.

— Как когда,— заметил консул.— Впрочем, при таких оказиях он и правда незаменим. Сегодня мы с вами поедим раков, господин Перманедер! — весело воскликнул он.— Раков и наших балтийских крабов! Вы уже отведали их у моей матери, но мой приятель Дикман, владелец ресторана «На вольном воздухе», мастер раздобывать самых первосортных. А пряники, знаменитые наши пряники! Или слава о них еще не докатилась до берегов Изара? Ну, да сами увидите!

Госпожа Грюнлих два или три раза останавливала экипаж, чтобы нарвать маков и васильков у дороги, и всякий раз г-н Перманедер готов был, казалось, ринуться ей на помощь, но, побаиваясь узкой дверцы, оставался сидеть на месте.

Эрика приходила в восторг от каждой взлетавшей воропы. Ида Юнгман, в просторном долгополом макинтоше, с которым она не расставалась даже в самую ясную погоду, и с дождевым зонтиком в руках, как истая воспитательница, не подделывавшаяся под настроения ребенка, но все простодушно переживавшая вместе с ним, вторила девочке громким смехом, несколько напоминавшим лошадиное ржание. Герда, в отличие от Будденброков, не знавшая верную Иду с незапамятных времен, всякий раз бросала на нее холодные, изумленные взгляды.

Вот и герцогство Ольденбургское. Буковые леса. Экипаж въехал в какой-то городишко, прокатил по рыночной площади с колодцем посередине, снова выехал на шоссе, прогромыхал по мосту через речку Ау и, наконец, остановился у одноэтажного здания гостиницы «На вольном воздухе». Ее фасад выходил на ровную площадку, местами поросшую травой, с песчаными дорожками и простенькими клумбами; позади здания амфитеатром вздымался лес. Отдельные ярусы этого амфитеатра соединялись между собой лестницами, ступеньками которым служили корневища деревьев и каменные уступы; на каждом таком

ярусе под деревьями были расставлены белые столы, стулья и скамейки.

Будденброки прибыли отнюдь не первыми. Две пухленькие служанки и кельнер в засаленном фраке то и дело перебегали через двор с подносами, уставленными холодными закусками, лимонадом, молоком и пивом, наверх к столикам, за которыми, правда на довольно большом расстоянии друг от друга, уже расположилось несколько семейств с детьми.

Хозяин заведения, г-н Дикман, в желтой вязаной шапочке и в рубашке с засученными рукавами, поспешил к экипажу высадить гостей; когда Лонгэ отъехал в сторонку, чтобы распрячь лошадей, консульша сказала хозяину:

— Мы сначала погуляем, любезный, а через часок или полтора придем завтракать. Прикажите накрыть нам наверху, но не слишком высоко, лучше всего на второй площадке.

— Я уж на вас полагаюсь, Дикман,— добавил консул.— Гость у нас взыскательный...

Господин Перманедер запротестовал:

— Да нисколько! Кружку пивца, кусочек сыру...

Но г-н Дикман ничего не понял и быстро проговорил:

— Что прикажете, господин консул? Есть раки, крабы, колбасы разные, сыр всех сортов, копчености — угорь, лососина, осетрина...

— На ваше усмотрение, Дикман. И, кроме того, дайте нам шесть стаканов молока и кружку пива, так ведь, господин Перманедер?

— Один раз пиво, шесть раз молоко! Какое прикажете: холодное, парное, пахтанное, топленое?..

— Три стакана парного и три топленого. Значит, через час...

И они стали подниматься вверх, на гору.

— Прежде всего мы пройдем к роднику, господин Перманедер,— сказал Томас.— Это родник Ау. На речушке того же названия расположен Швартау, а когда-то, в далеком средневековье, стоял и наш город; потом он весь выгорел — не очень-то надежно тогда строили! — и был вновь возведен на Тра́ве. С названием этой речушки у меня связаны воспоминания, я бы сказал, довольно болезненные. Мальчишками мы считали верхом остроумия щипать друг друга за руку, спрашивая: «Как называется река в Швартау?» И от боли немедленно произносили ее название... А,— внезапно перебил он себя,— нас уже опередили! Меллендорфы и Хагенштремы!

И правда, на третьем ярусе лесного амфитеатра, за сдвинутыми столами, оживленно беседуя и закусывая, сидели эти оба столь выгодно объединившиеся семейства. Председательствовал сенатор Меллендорф, бледнолицый старик с жидкими седыми и остроконечными бакенбардами, страдавший сахарной болезнью. Его супруга, урожденная Лангхальс, то и дело подносила к глазам лорнет на длинной ручке; седые волосы сенаторши были, по обыкновению, растрепаны. Рядом с ней сидел ее сын Август, белокурый молодой человек, типичный представитель золотой молодежи,— супруг Юльхен, урожденной Хагенштрем. Маленькая, бойкая, с большими блестящими черными глазами и почти такого же размера брильянтами в ушах, она сидела между своими братьями, Германом и Морицем. Консул Герман Хагенштрем в последнее время начал сильно толстеть, так как ни в чем себе не отказывал,— поговаривали, что он ест паштет из гусиной печенки даже за утренним завтраком. У него была короткая, но окладистая рыжеватая борода и нос точь-в-точь как у матери — длинный и приплюснутый. Доктор Мориц, плоскогрудый, желтый, скалил в оживленной беседе свои острые редкие зубы. Рядом с братьями сидели их супруги, ибо доктор прав тоже был уже давно женат на некоей Путфаркен из Гамбурга — даме с волосами соломенного цвета и с слишком уж бесстрастными, какими-то энглизированными, но вместе с тем прекрасными и правильными чертами лица,— доктор Хагенштрем, признанный ценитель изящного, никогда бы не позволил себе жениться на некрасивой девушке. Кроме них, за столом сидела еще маленькая дочка Германа и маленький сын Морица, одетые во все белое,— дети, уже считавшиеся чуть ли не помолвленными, ибо состояние Хунеусов — Хагенштремов не должно было распыляться. Все они ели яичницу с ветчиной.

Обе компании обменялись поклонами, только когда Будденброки подошли к ним на довольно близкое расстояние. Консульша наклонила голову несколько рассеянно и даже как будто удивленно. Томас приподнял шляпу и пожевал губами, словно произнося какое-то учтивое, но сухое приветствие. Герда холодно поклонилась. Зато г-н Перманедер, возбужденный подъемом на гору, высоко вскинув свою зеленую шапочку, весело закричал во весь голос: «Доброго вам утречка!» — так что сенаторша Меллендорф немедленно поднесла к глазам лорнетку. Тони же вздернула плечи, закинула голову и коротко кивнула им с высоты своего величия, скользнув взором поверх широкополой элегантной шляпы Юльхен. В эту минуту она приняла решение окончательно и бесповоротно.

— Слава богу, Том, что мы будем завтракать только через час! Я совсем не хочу, чтобы эта Юльхен смотрела мне в рот! Ты заметил, как она поклонилась? Едва-едва кивнула. И потом, с моей точки зрения, впрочем ни для кого не обязательной, ее шляпа верх безвкусицы.

— Ну, шляпа шляпой... а что касается поклона, то и ты была не слишком любезна, дорогая моя! Не сердись, Тони, это старит...

— Сердиться, Том? О нет! Если эти люди полагают, что они «главные у брандспойта», то мне это только смешно... Ну, скажи, пожалуйста, что за разница между Юльхен и мной? Что она вышла замуж не за мошенника, а за балбеса, как сказала бы Ида? И я еще далеко не уверена, что ей бы удалось найти второго мужа, очутись она в моем положении...

— А из чего следует, что ты найдешь такового?

— Балбеса, Том?

— Все лучше, чем мошенника.

— Ни то, ни другое, по-моему, не обязательно. Но оставим этот разговор.

— Согласен; и, кроме того, мы отстали. Смотри, как бодро берет подъем господин Перманедер.

Тенистая лесная дорога шла теперь по ровному месту, и они очень скоро добрались до родника — романтически красивого уголка с деревянным мостиком, перекинутым через овраг, по неровным, испещренным расселинами склонам которого росли деревья с могучими корневищами. Консульша запаслась складным серебряным стаканчиком, и они стали черпать воду из маленького, обложенного камнем водоема — холодную железистую воду. Г-н Перманедер в приступе галантности соглашался принять стакан только из рук Тони. В полном упоении, он то и дело восклицал: «У-ух, до чего же хорошо!» — и без умолку болтал с консульшей, с Томасом, с Гердой, с Тони, с маленькой Эрикой. Даже Герда, угнетенная жарой и поначалу замкнувшаяся в нервическом молчании, начала оживать, и когда они кратчайшим путем вернулись в гостиницу и расселись на втором ярусе лесной террасы за уставленным закусками столом, она первая высказала любезное сожаление по поводу предстоящего отъезда г-на Перманедера — теперь, когда уже реже стали происходить недоразумения на почве взаимного непонимания... а кроме того, она берется утверждать, что ее подруга и невестка Тони уже два или три раза виртуозно произнесла: «Помогай бог!..»

Господин Перманедер при слове «отъезд» воздержался от уточнения и занялся яствами, от которых ломился стол и которые по ту сторону Дуная ему не часто доводилось пробовать.

Они неторопливо поедали вкуснейшие изделия г-на Диксмана, причем маленькая Эрика больше всего радовалась салфеткам из тонкой бумаги, казавшимся ей несравненно красивей больших полотняных салфеток, подававшихся дома, так что несколько штук она, с разрешения кельнера, даже положила в карман на память. Откушав, они еще долго сидели за столом и болтали, г-н Перманедер потягивал пиво и одну за другой курил свои черные сигары, а консул, по обыкновению, не выпускал изо рта папиросы. Нельзя, однако, не отметить, что никто больше не упоминал об отъезде г-на Перманедера, да и вообще не затрагивал вопроса о будущем. Они обсуждали политические события последних лет; г-н Перманедер, всласть посмеявшись над анекдотами сорок восьмого года, которые консульша рассказывала со слов своего покойного мужа, в свою очередь, принялся рассказывать о революции в Мюнхене и о Лоле Монтез, безмерно интересовавшей мадам Грюнлих.

Был уже второй час пополудни, когда Эрика в сопровождении неизменной Иды, разгоряченная и усталая, с целой охапкой ромашек, сурепицы и разных трав, вернулась с прогулки и напомнила о пряниках. Вся компания встала из-за стола, чтобы отправиться за ними в город... после того как консульша, которая сегодня была хозяйкой, оплатила счет полновесной золотой монетой.

Спустившись к гостинице, они велели через час закладывать лошадей, так как перед обедом решено было еще немножко передохнуть в городке и затем медленно, ибо солнце изрядно припекало пыльную дорогу, направились к низеньким домикам у подножия горы.

Сразу же, после моста через Ау, как-то сам собою определился порядок шествия: во главе его шла быстрее всех шагавшая Ида Юнгман рядом с неутомимо прыгавшей и гонявшейся за бабочками-капустницами Эрикой, за ними консульша и Томас с Гердой, и, наконец, поодаль г-жа Грюнлих с г-ном Перманедером. Впереди было шумно, девочка весело смеялась, Ида вторила ей своим басовитым, добродушным ржанием. В середине царила тишина: Гердой от жары и пыли вновь овладело уныние, а старая консульша и ее сын погрузились каждый в свои мысли. В конце тоже было, или, вернее, казалось, тихо, ибо Тони и баварский гость беседовали приглушенно и задушевно.

О чем же они говорили? О г-не Грюнлихе...

Господин Перманедер справедливо заметил, что Эрика «прелесть какая девчушка», хотя и почти не похожа на мать, на что Тони отвечала:

— Да она вылитый отец... и, надо сказать, беды в этом нет, внешне господин Грюнлих был настоящий джентльмен, что правда, то правда! Так, например, у него были очень оригинальные золотисто-желтые бакенбарды; я ни у кого больше таких не видывала...

Затем, хотя Тони еще в Мюнхене, у Нидерпауров, довольно обстоятельно рассказала ему историю своего замужества, г-н Перманедер опять ее обо всем расспросил, осведомился о подробностях банкротства, сочувственно и робко поглядывая на Тони.

— Он был дурной человек, господин Перманедер, иначе отец не забрал бы меня от него, уж можете мне поверить. Не у всех людей доброе сердце. Увы, жизнь преподала мне этот урок, хотя я еще сравнительно молода для женщины, которая вот уже скоро десять лет вдова или что-то в этом роде! Злой человек. А Кессельмейер, его банкир, нелепый и дурашливый, как щенок, был и того злее. Но это совсем не значит, что себя я считаю ни в чем не повинным ангелом... не поймите меня ложно! Грюнлих пренебрегал мною, а если и оставался дома, то проводил весь вечер уткнувшись в газету; он обманом заставлял меня безвыездно сидеть в Эймсбюттеле, потому что в городе я бы немедленно узнала, в каком он увяз болоте... Но я всего только слабая женщина, со многими недостатками, и не всегда поступала правильно. Так, например, мое легкомыслие, расточительность и новые пеньюары давали ему повод для тревог и огорчений. Но добавлю в свое оправдание: я ведь была ребенком, когда вышла замуж, ничего не смыслящей дурочкой. Вы только подумайте, господин Перманедер, я уже чуть ли не перед самой помолвкой узнала, что за четыре года до того были установлены новые законы Германского союза для университетов и печати. Хорошие, правильные законы!.. Ах, господин Перманедер, как это грустно, что живешь только один раз и нельзя начать все сначала. О, теперь я бы на многое взглянула другими глазами!..

Тони умолкла и начала упорно смотреть себе под ноги; она довольно искусно повернула разговор так, чтобы сам собой напрашивался ответ: если жизнь и нельзя начать заново, то все же существует возможность второго, более счастливого замужества. Но г-н Перманедер упустил эту зацепку и вместо ответа

стал поносить г-на Грюнлиха так яростно, что эспаньолка встала дыбом под его нижней губой.

— У-ух ты, мерзавец, негодяй! Попадись только мне в руки, пес ты эдакий! Да я с тебя шкуру спущу!

— Фи, господин Перманедер! Прошу вас, перестаньте! Нам надлежит прощать и забывать... «Мне отмщение, и аз воздам»,— сказал господь. Мама всегда приводит эти слова. Боже меня упаси от такого греха. Я не знаю, где теперь Грюнлих и как сложилась его жизнь, и все-таки я желаю ему добра, хотя он, может быть, этого и не заслуживает...

Но вот уже и маленький домишко булочника. Сами того не замечая, они остановились и безотчетно, невидящим взглядом стали следить, как Эрика, Ида, консульша, Томас и Герда, нагибаясь, исчезали в до смешного низеньких дверях пекарни: так были они углублены в свой разговор, хотя до сих пор и говорили только о вздорном и ненужном.

Они стояли у забора, вдоль которого тянулась узенькая грядка с чахлой резедой. Г-жа Грюнлих, низко склонив разгоряченную голову, с невероятным рвением ковыряла черную рыхлую землю концом своего зонтика; г-н Перманедер в съехавшей на лоб тирольской шапочке, стоя вплотную подле нее, тоже время от времени с помощью своей трости участвовал в перекапывании грядки. Он поник головой, но его маленькие, светло-голубые заплывшие глазки, вдруг ставшие блестящими и даже слегка покрасневшие, взирали на нее снизу вверх со смешанным выражением преданности, грусти и ожидания, те же чувства выражали в этот миг и его бахромчатые усы.

— И вот теперь,— сказал он,— у вас, наверно, черт знает какой страх перед замужеством, и больше вы уж не захотите пробовать... так ведь, мадам Грюнлих?

«Как неудачно,— подумала Тони.— Мне ведь придется подтвердить»,— и ответила:

— Да, милый господин Перманедер, признаюсь, мне было бы очень нелегко еще раз сказать кому-нибудь «да», потому что жизнь показала мне, какой это серьезный шаг... И чтобы сделать это, я должна быть твердо уверена, что человек, который испрашивает моего согласия, действительно честный, хороший и добрый человек.

Тут г-н Перманедер позволил себе спросить, считает ли Тони его таким человеком, на что она ответила:

— Да, господин Перманедер, вас я таким считаю.

Затем они вполголоса обменялись еще несколькими словами, скрепившими их помолвку, и г-н Перманедер получил

дозволение по приезде домой переговорить с консульшей и Томасом.

Когда все остальные вышли из лавчонки с большими кульками пряников в руках, консул скромно отвернулся, так как оба они были в сильном смущении — г-н Перманедер нимало того не скрывая, Тони под маской почти царственного величия.

И вся компания торопливо зашагала к экипажу, потому что небо заволокло и уже начали падать первые капли дождя.

Как Тони и предполагала, ее брат вскоре после приезда г-на Перманедера навел подробные справки о его имущественном положении и выяснил, что «Кс. Ноппе и К°» фирма довольно скромная, но вполне солидная, получающая неплохой доход от совместных операций с акционерной пивоварней, директором которой состоял г-н Нидерпаур, из чего явствовало, что доля г-на Перманедера вместе с семнадцатью тысячами талеров, определенных в приданое Тони, могла обеспечить супружеской чете пристойное и безбедное существование. Консульша была об этом поставлена в известность, и в разговоре, состоявшемся в тот же вечер между нею, г-ном Перманедером, Антонией и Томасом, все имущественные вопросы были решены быстро и беспрепятственно, так же как и вопрос о маленькой Эрике, которая, по желанию Тони и с полного согласия растроганного жениха, должна была последовать за ними в Мюнхен.

Через два дня г-н Перманедер уехал: «не то Ноппе заругается», но уже в июле месяце Тони вновь встретилась с ним в его родном городе, где она побывала вместе с Гердой и Томом проездом на курорт Крейт; консульша предпочла остаться вместе с Эрикой и мамзель Юнгман на Балтийском побережье. Обе пары воспользовались случаем совместно осмотреть дом на Кауфингерштрассе, то есть почти рядом с Нидерпаурами. Этот дом г-н Перманедер собирался купить, с тем чтобы большую его часть сдать внаймы: очень забавный старинный дом, с лестницей без площадок и поворотов, совсем как библейская лестница на небо; во втором этаже по обе ее стороны шли коридоры, по которым надо было идти в самый конец, чтобы попасть в передние комнаты.

В середине августа Тони вернулась домой, намереваясь ближайшие недели посвятить хлопотам о приданом. Многое, правда, еще сохранилось со времен ее первого брака, но кое-

что необходимо было пополнить; и в один прекрасный день из Гамбурга, где Тони заказала ряд вещей, был прислан даже... пеньюар — правда, отделанный уже не бархатными, а суконными бантами.

Поздней осенью г-н Перманедер вновь прибыл на Мепгштрассе: свадьбу решено было долее не откладывать.

Торжество это протекало точно так, как того ждала и желала Тони: без особого шума.

— По-моему, ничего особенного устраивать не надо,— сказал консул,— ты снова замужем, словно ты никогда и не переставала быть замужней женщиной.

Приглашений разослано было очень немного, но, уж конечно, мадам Грюнлих сумела позаботиться, чтобы Юльхен Меллендорф, урожденная Хагенштрем, таковое получила. От свадебного путешествия новобрачные отказались: г-н Перманедер не понимал, зачем устраивать «эдакую гонку»; Тони же недавно вернулась с курорта, и даже путешествие в Мюнхен казалось ей не в меру утомительным. Обряд венчания происходил на этот раз не в ротонде, а в Мариенкирхе, где присутствовали только близкие родные. Тони высоко держала голову, украшенную уже не миртами, а флердоранжем, и пастор Келлинг, правда не таким громовым голосом, как некогда, но все еще в достаточно энергичных выражениях призывал молодых к умеренности.

Христиан прибыл из Гамбурга, весьма элегантно одетый и несколько усталый, но веселый, рассказал, что его дела с Бурмистером идут «тип-топ», объявил, что он и Клотильда, видно, вступят в брак уже «только там, на небесах, и, конечно, каждый сам по себе», и... опоздал к обряду венчания, так как замешкался в клубе. Дядя Юстус был очень растроган и проявил свою обычную широту, подарив новобрачным массивную, прекрасной работы серебряную вазу для фруктов. Он и его жена жили чуть ли не впроголодь, так как мягкосердечная мать продолжала из хозяйственных денег платить долги своего беспутного и уже давно отвергнутого отцом сына Якоба, который теперь находился в Париже. Дамы Будденброк с Брейтенштрассе заметили: «Ну, надо надеяться, что на сей раз будет прочнее!» И самое неприятное, что все почему-то усомнились в искренности их надежд. Зато Зеземи Вейхбродт поднялась на цыпочки, звонко чмокнула в лоб свою питомицу, ныне мадам Перманедер, и, растягивая гласные, тепло прошептала: «Будь счастлива, милое дитя мое!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В восемь часов утра, поднявшись с постели, консул обычно спускался по винтовой лестнице в полуподвальный этаж, принимал ванну и еще в халате начинал просматривать деловые бумаги. Вскоре в его гардеробную входил г-н Венцель, парикмахер и член городской думы; у него было умное лицо и очень красные руки, в которых он держал тазик с горячей водой, принесенной из кухни, и прочие принадлежности своего ремесла; консул, запрокинув голову, усаживался в широкое кресло, и, пока г-н Венцель взбивал пену, у них завязывался разговор, начинавшийся с учтивых вопросов о проведенной ночи, обмена впечатлениями о погоде и быстро переходивший на вопросы мировой политики, потом на городские дела и, наконец, просто на местные происшествия. Это очень затягивало процедуру бритья, ибо стоило только консулу открыть рот, как г-н Венцель отводил бритву в сторону.

— Как изволили почивать, господин консул?

— Благодарю вас, Венцель, хорошо. Какова погода?

— Морозец, и снег идет. Возле Якобкирхе ребятишки опять соорудили ледяную гору, метров десять в длину, и чуть не сбили меня с ног, когда я шел от бургомистра, будь они неладны!..

— Газеты уже просматривали сегодня?

— «Ведомости» и «Гамбургские известия». Только и речи что об Орсини и бомбах... Ужасно! По дороге в оперу! Ну и народ там у них!..

— Пустяки! Народ тут, собственно, ни при чем, и добьются они разве что еще большего усиления полицейского террора и нажима на печать... Он ведь тоже не зевает. Да, жизнь у него беспокойная, что и говорить: чтобы удержаться на престоле, надо то и дело что-нибудь измышлять. И все-таки я считаю, что он заслуживает уважения. Принимая во внимание традиции его страны, нельзя быть разиней, как говорит мамзель Юнгман; а эта история с хлебными кассами и удешевлением цен на хлеб мне прямо-таки нравится! Он, без сомнения, очень много делает для народа...

— Да, господин Кистенмакер того же мнения.

— Стефан? Мы с ним не далее как вчера об этом говорили.

— А что касается Фридриха-Вильгельма Прусского, то его дело худо. Поговаривают уже, что регентом будет принц...

— Да, это интересно! Он успел зарекомендовать себя ли-

беральным, этот Вильгельм, и, уж во всяком случае, не питает того тайного отвращения к конституции, которое так характерно для его брата... Это отвращение, видимо, и подрывает его силы. А что слышно нового в Копенгагене?

— Да ровно ничего, господин консул. Они не хотят. Сколько бы Союзный совет ни разъяснял, что общая конституция для Голштинии и Лауэнбурга не правомерна... они там, на севере, не желают ее упразднять, и дело с концом.

— Да, неслыханное упорство, Венцель. Они побуждают Союзный совет к действиям, и будь он немножко поразторопнее... Ох, уж эта мне Дания! Я как сейчас помню, что в детстве, когда пели:

Тебе, всевышний, дань! И я
Свою молитву вознесу...—

мне всегда слышалось: «Дания», и я недоумевал, почему именно эту страну избрал для себя всевышний... Осторожней, осторожней, Венцель, от смеха вы меня порежете... Да, или вот, например, наш проект прямого железнодорожного сообщения с Гамбургом! Сколько уж было на него затрачено дипломатических усилий и еще будет, пока они там, в Копенгагене, не согласятся на концессию.

— Да, господин консул, и самое глупое, что против этого проекта восстает железнодорожная компания «Альтона — Киль», а вернее — вся Голштиния. Впрочем, бургомистр доктор Эвердик это предсказывал. Они панически боятся возвышения Киля...

— Вполне понятно, Венцель: новая соединительная линия между Балтийским и Немецким морями... помяните мое слово, «Альтона — Киль» будет и дальше интриговать; они могут проложить конкурирующую линию: Восточная Голштиния — Неймюнстер — Нейштадт, это отнюдь не исключено. Но мы не можем позволить им запугать нас; прямое сообщение с Гамбургом нам необходимо, как хлеб насущный.

— Вы, господин консул, по-моему, достаточно горячо ратуете за это дело.

— Поскольку это в моих силах и поскольку мое влияние хоть что-нибудь да значит... Меня очень интересует наша железнодорожная политика, это у нас в семье... Мой отец уже в пятьдесят первом году был членом правления Бюхенской железной дороги, чем, вероятно, и объясняется, что меня в тридцать два года тоже избрали в члены... личные мои заслуги еще так незначительны...

— О господин консул, после той вашей речи в городской думе...

— Да, тогда мне действительно удалось произвести некоторое впечатление или хотя бы доказать наличие доброй воли с моей стороны. Я должен быть всей душой благодарен отцу, деду и прадеду за то, что они проложили мне путь: большая доля доверия и уважения, которое они снискали в городе, теперь механически переносится на меня, иначе разве бы мне удалось развить такую энергичную деятельность?.. Чего только не сделал мой отец после сорок восьмого года и в начале этого десятилетия для преобразования нашего почтового ведомства. Вспомните-ка, Венцель, как он настаивал в городской думе на объединении почты с компанией гамбургских дилижансов, а в пятидесятом году без устали осаждал сенат, в те времена еще возмутительно неповоротливый, своими проектами присоединения к германо-австрийскому почтовому союзу... Если у нас теперь низкая пошлина на письма и бандероли, если у нас есть почтовые ящики и телеграфная связь с Берлином и Травемюнде, то, право же, отец не последний, кому мы этим обязаны,— если бы он и еще несколько человек не докучали непрестанно сенату, то мы так до сих пор и оставались бы при датской и турн-таксийской почте. И конечно, теперь, когда я высказываю свое мнение по таким вопросам, к нему прислушиваются...

— Да, видит бог, господин консул, тут вы правы. А что касается гамбургской железной дороги, то не далее как третьего дня бургомистр доктор Эвердик говорил мне: «Когда дело дойдет до подыскания в Гамбурге подходящего участка для вокзала, мы пошлем туда консула Будденброка, в таких делах он смыслит больше любого юриста». Это были его точные слова.

— Что ж, я чувствую себя польщенным, Венцель. Вот тут, на подбородке, помыльте еще, а то будет недостаточно чисто... Да, короче говоря, надо нам пошевеливаться! Не хочу сказать ничего дурного об Эвердике, он уже стар, но, будь я бургомистром, многое, думается мне, пошло бы значительно быстрее. Не можете себе представить, какое я испытываю удовлетворение оттого, что у нас уже ведутся работы по устройству газового освещения и наконец-то исчезнут эти дурацкие керосиновые фонари на цепях; а в этом деле, откровенно говоря, есть доля и моего участия... Но сколько же еще необходимо сделать, Венцель! Времена меняются и налагают на нас множество новых обязательств. Когда я вспоминаю свое

отрочество... ну, да вы лучше меня знаете, как все у нас тогда выглядело. Улицы без тротуаров, на мостовой трава по щиколотку, дома с бесконечными и самыми разнородными выступами... Средневековые здания, обезображенные пристройками, постепенно разваливались, потому что у отдельных горожан, конечно, водились денежки, да и вообще никто с голоду не умирал, но у государства ломаного гроша не было, и все шло настолько «шаля-валя», как говорит мой зять, господин Перманедер, что о ремонте и благоустройстве города нечего было и думать. Это были счастливые, довольные жизнью поколения! Помните закадычного друга моего дедушки Жан-Жака Гофштеде? Он только и знал, что разгуливать по городу и переводить непристойные стишки с французского... Но дольше так продолжаться не могло; многое с тех пор изменилось и еще изменится. У нас уже не тридцать семь тысяч жителей, но пятьдесят, как вам известно,— а следовательно, и весь облик города должен стать другим. Везде выросли новые здания, пригороды расширились, улицы стали благоустроеннее, у нас появилась возможность реставрировать памятники былого величия... Но все это в конце концов внешнее. Самое важное еще только предстоит нам, любезный мой Венцель. И вот я, в свою очередь, возвращаюсь к ceterum censeo моего покойного отца — к таможенному союзу! Таможенный союз нам жизненно необходим, Венцель, это уже не подлежит обсуждению; и вы все должны меня поддержать в моей борьбе за него... Можете быть уверены, что в качестве коммерсанта я лучше разбираюсь в этих делах, чем наши дипломаты; страх утратить свободу и самостоятельность в данном случае просто смешон. Так мы установим связи с остальными немецкими землями, не говоря уж о Мекленбурге и Шлезвиг-Голштинии, что было бы тем более желательно теперь, когда наши торговые отношения с севером в известной степени разладились... Все в порядке, берите полотенце, Венцель,— заключал консул.

После этого они перебрасывались еще несколькими словами о ценах на рожь, скатившихся уже до пятидесяти пяти талеров и, увы, обнаруживавших дальнейшую тенденцию к понижению, или о каком-нибудь семейном событии, после чего Венцель удалялся по винтовой лестнице и выплескивал на улицу пену из блестящего маленького тазика, а консул поднимался наверх в спальню, целовал в лоб Герду, к этому времени уже проснувшуюся, и начинал одеваться.

Эти утренние беседы с просвещенным парикмахером служили вступлением к оживленным, деятельным дням, насыщен-

ным размышлениями, разговорами, делами, писаньем бумаг, производством расчетов, хожденьем по городу и приемом посетителей в конторе. Благодаря своим путешествиям, знаниям, обширному кругу своих интересов Томас Будденброк не был так по-бюргерски ограничен, как большинство людей, его окружавших, и, может быть, больше других ощущал узость и мелочность жизни своего родного города. Но и за пределами этого города, в обширном его отечестве, после подъема общественной жизни — естественного следствия революционных годов, наступил период расслабленности, застоя и реакции, слишком бессодержательный, чтобы дать пищу живой мысли. И у Томаса достало ума сделать своим девизом известное изречение о том, что вся человеческая деятельность лишь символ, и всю свою волю, способности, воодушевление и временами даже практическое вдохновение поставить на службу маленькой общине, где его имя произносилось в числе первых, а также на службу семье и фирме, которую он унаследовал; достало ума, чтобы одновременно иронизировать над своим стремлением достичь величия и мощи в этом маленьком мирке и принимать это стремление всерьез.

Едва окончив поданный ему Антоном завтрак, консул надевал пальто и отправлялся в контору на Менгштрассе. Там он обычно оставался не больше часа: писал два-три неотложных письма, составлял несколько телеграмм, делал то или иное указание — словно маховое колесо, давал толчок всему механизму предприятия, предоставляя надзор за дальнейшей его работой вдумчивому г-ну Маркусу.

Он посещал различные собрания и заседания, проводил немало времени под готическими аркадами биржи на Рыночной площади, с инспекционными целями отправлялся в гавань и амбары, выполняя свои обязанности судохозяина, совещался с капитанами. И так до самого вечера, с небольшими перерывами для завтрака со старой консульшей и обеда с Гердой, после которого он позволял себе полчаса посидеть на диване с сигарой в зубах, читая газету. Одно дело сменяло другое: были ли то хлопоты, связанные с его собственной фирмой, либо вопросы пошлин, налогов, городского строительства, железных дорог, почты, общественной благотворительности. Он старался вникнуть даже в области ему чуждые, отведенные «ученым»; и в одной из них, а именно в финансовой, проявил поистине блестящие способности.

Светской жизнью консул тоже остерегался пренебрегать. Правда, большим рвением в исполнении этих своих обязан-

постей он не отличался; он торопливо входил в последнюю секунду, когда жена его бывала уже совсем одета, а экипаж с добрых полчаса дожидался у подъезда, и со словами: «Прошу прощенья, Герда, дела», спешно облачался во фрак. Но когда сборы уже оставались позади, на обедах, балах и раутах он умел живо интересоваться всем, что творилось вокруг, и быть неизменно галантным и занимательным собеседником. Дом его и Герды в светском отношении нимало не уступал другим богатым домам, их кухня и погреб считались «тип-топ»; сам консул Будденброк слыл радушным и любезным хозяином, а остроумие его тостов значительно превышало средний уровень. Свободные от выездов или приемов вечера он проводил наедине с Гердой, курил, слушая ее игру на скрипке, или же читал ей вслух немецкие, французские и русские романы, по ее выбору.

Так он работал, добиваясь успеха, и уважение к нему все возрастало. Несмотря на уменьшение капитала вследствие выдела Христиана и второго замужества Тони, дела фирмы в эти годы шли превосходно. И все же заботы временами лишали консула мужества, ослабляли остроту его мысли, омрачали состояние духа.

Заботило его положение Христиана в Гамбурге, компаньон которого, г-н Бурмистер, весною 1858 года скоропостижно скончался от удара. Наследники покойного изъяли у фирмы его капитал, и консул весьма настойчиво советовал брату выйти из предприятия, зная, как трудно вести дело сравнительно крупного масштаба при внезапном и резком уменьшении оборотного капитала. Но Христиан упрямо держался за свою самостоятельность; он принял на себя актив и пассив фирмы «Бурмистер и К°», и теперь оставалось ждать неприятностей.

Далее, сестра консула Клара в Риге... О том, что господь не благословил детьми ее брак с пастором Тибуртиусом, особенно горевать не приходилось; Клара Будденброк никогда о детях не мечтала, и материнство, бесспорно, не было ее призванием. Куда больше тревожило консула то, что, судя по ее письмам и письмам ее мужа, головные боли, которыми Клара страдала еще молодой девушкой, теперь стали периодически возвращаться, причиняя ей невыносимые мученья.

Третья забота состояла в том, что и здесь, в собственном доме консула, еще не утвердилась надежда на продолжение рода. Герда относилась к этому вопросу с надменным безразличием, граничившим с уклончивой брезгливостью. Томас мол-

чал, скрывая свою скорбь, так что старая консульша почла долгом вмешаться и однажды отвела в сторону доктора Грабова.

— Между нами, доктор: надо что-нибудь предпринять. Ясно, что горный воздух в Крейте или морской в Глюксбурге и Травемюнде особой пользы не принесли. Как вы считаете?

И Грабов, понимая, что его благой рецепт — «строгая диета: кусочек голубя, ломтик французской булки», в этом случае вряд ли окажется достаточно эффективным, порекомендовал Пирмонт и Шлангенбад.

Таковы были три главные заботы консула. Ну а Тони? Бедная Тони!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Тони писала: «Когда я говорю «фрикадельки», она меня не понимает,— потому что здесь это называется «клецки»; а когда она говорит «карфиоль», то, право, ни один человек на свете не может догадаться, что речь идет о цветной капусте; если же я заказываю жареный картофель, она до тех пор кричит «че-его?», пока я не скажу: «картофель с корочкой»,— так они его называют, а «че-его» здесь означает «что прикажете». И это уже вторая! Первую такую особу, по имени Кати, я выставила из дому, потому что она вечно мне грубила; а может быть, это мне только казалось, как я теперь думаю,— потому что здесь вообще не разберешь, грубят тебе люди или разговаривают вежливо. У теперешней, которую зовут Бабетта (выговаривается: Бабетт), очень приятная внешность, совсем уже южная, в Мюнхене много таких встречается; она черноволосая, черноглазая, а зубы у нее... остается только позавидовать. Бабетта довольно услужлива и готовит под моим руководством наши северные блюда. Так, например, вчера у нас был щавель с коринкой, но ничего, кроме неприятности, из этого не вышло. Перманедер так из-за него разозлился (хотя и выковырял вилкой все коринки), что до самого вечера со мной не разговаривал, а только ворчал. В общем, мама, надо признаться: жизнь нелегкая штука».

Но, увы, не только клецки и щавель портили ей жизнь. Уже в медовый месяц ее постиг удар — нечто непредвиденное, нечаянное, непостижимое, что сразу лишило ее всей жизнерадостности и с чем она так и не смогла примириться...

Произошло следующее. Спустя две или три недели после того, как чета Перманедеров поселилась в Мюнхене, консул

Будденброк сумел высвободить пятьдесят одну тысячу марок, согласно завещанию отца назначавшихся в приданое Тони, и вся эта сумма, пересчитанная на гульдены, была вручена г-ну Перманедеру. Он поместил ее надежно и небезвыгодно, но после этого решительно и нимало не смущаясь объявил своей супруге:

— Тонерль...— он звал ее Тонерль,— Тонерль, с нас хватит. Больше нам и не надо. Довольно я намаялся, теперь, черт побери, можно и с прохладцей пожить. Мы сдадим первый и второй этаж, хорошая квартира нам все равно останется, на свининку хватит, а щеголять да пускать пыль в глаза нам с тобой ни к чему... По вечерам я буду ходить в погребок. В богачи я не мечу, денег копить не собираюсь, а спокойное житье — дело хорошее! С завтрашнего дня кончаю все дела, и заживем с тобой на проценты!

— Перманедер! — воскликнула она впервые тем гортанным голосом, которым восклицала «Грюнлих!». Но он ограничился ответом: «А, да ну тебя!» И тут возник спор — непримиримый, яростный, один из тех первых супружеских споров, которые навек расшатывают семейное счастье... Перманедер остался победителем. Ее страстное сопротивление сломилось о его тягу к спокойному житью, и все кончилось тем, что г-н Перманедер забрал капитал из хмелеторгового дела,— так что г-н Ноппе мог теперь, в свою очередь, зачеркнуть синим карандашом «К⁰» на своей визитной карточке. И с тех пор, как и большинство его приятелей, в компании которых он каждый вечер играл в карты и выпивал три литра пива, супруг Тони ограничил свою деятельность тем, что время от времени повышал квартирную плату жильцам да мирно и скромно стриг купоны.

Консульше об этом было сообщено без особых комментариев. Но в письмах, которые г-жа Перманедер по этому поводу писала брату, чувствовалось, какую она испытывает боль. Бедная Тони! Действительность превзошла самые мрачные ее опасения! Она заранее знала, что г-н Перманедер ни в малейшей степени не наделен той «подвижностью», которую в столь неумеренном масштабе проявлял ее первый супруг; но что он *так* посрамит ожидания, о которых она накануне своей помолвки поведала мамзель Юнгман, с такой беззастенчивостью отречется от обязанностей, налагаемых на него супружеством с урожденной Будденброк, этого она не предвидела!

Надо было смириться, и родные по письмам Тони могли судить, как она с собой боролась. Она жила довольно однооб-

разно со своим мужем и Эрикой, учившейся в школе, занималась хозяйством, дружила с жильцами первого и второго этажа, навещала Нидерпауров на Марienплаце, время от времени писала о посещениях придворного театра, куда она ездила вдвоем с Евой, так как г-н Перманедер подобных удовольствий не признавал и, как выяснилось, прожив сорок лет в своем милом Мюнхене, не удосужился побывать в Пинакотеке.

Время шло... Но Тони уже не могла радоваться своей новой жизни с тех пор, как г-н Перманедер, едва получив на руки ее приданое, ушел на покой. Надежды не окрыляли ее. Никогда уже не суждено будет ей сообщить своим об успехе, о расцвете. Как сейчас все шло спокойно, умеренно и, право, очень уж «не аристократично», так оно и останется до конца жизни. Вот что угнетало ее. Из писем Тони явствовало, что именно такое подавленное состояние духа не давало ей свыкнуться с жизнью в Южной Германии. К мелочам еще можно было привыкнуть: она научилась объясняться со служанками и поставщиками, говорить «клецки» вместо «фрикадельки» и не кормить своего мужа фруктовым супом, после того как он обозвал это блюдо «чертовым пойлом». И все-таки жила как чужая в своем новом отечестве, ибо сознание, что урожденная Будденброк здесь ни во что не ставится, означало для нее постоянное, непрекращающееся унижение. И когда она в письме рассказывала, что какой-то каменщик с кружкой пива в одной руке и редиской, которую он держал за хвостик, в другой, остановил ее на улице вопросом: «Который час, хозяюшка?», то, несмотря на шутливый тон письма, между строк читалось возмущение, и можно было с уверенностью сказать, что она закинула голову и не удостоила непочтительного парня не то что ответом, но и взглядом. К сожалению, не только непринужденность и вольность обращения отталкивали и отчуждали ее. Она не слишком глубоко соприкасалась с жизнью Мюнхена, и все же мюнхенский воздух окружал ее — воздух большого города, переполненного художниками и праздными обывателями, воздух, отдающий известной легкостью нравов, вдыхать который с должным юмором ей мешало душевное уныние.

Время шло... И вот проглянул луч счастья, того счастья, о котором тщетно мечтали на Брейтенштрассе и Менгштрассе,— незадолго до наступления 1859 года надежда Тони на вторичное материнство претворилась в уверенность.

Радостью дышали теперь ее письма, опять, как некогда, исполненные задора, ребячливости и спеси. Консульша, кото-

рая никуда больше не выезжала, если не считать летних поездок, да и то в последние годы ограничивавшихся Балтийским побережьем, выражала сожаление, что не может быть с дочерью в это время, и в письмах призывала на нее благословение божие. Зато Том и Герда обещали приехать на крестины, и мысли Тони были заняты мельчайшими подробностями «аристократического» приема... Бедная Тони! Этому приему суждено было стать бесконечно печальным, а крестинам, которые ей представлялись очаровательным семейным празднеством — с цветами, конфетами и шоколадом в маленьких чашках, и вовсе не суждено было осуществиться: ребенок — девочка — появился на свет лишь для того, чтобы через какие-то четверть часа, в течение которых врач тщетно пытался поддержать жизнь в бессильном маленьком тельце, вновь уйти из него.

Когда консул Будденброк и его супруга прибыли в Мюнхен, сама Тони еще находилась в опасности. Она лежала гораздо более измученная, чем после первых родов; желудок ее, уже раньше подверженный приступам нервной слабости, в течение нескольких дней вовсе отказывался принимать пищу. И все же она выздоровела — в этом отношении Будденброки могли уехать успокоенными; но они увозили с собой другую тревогу: слишком ясно они поняли, в особенности консул, что даже общее горе не смогло по-настоящему сблизить супругов.

Господина Перманедера нельзя было упрекнуть в черствости сердца: он был глубоко потрясен; при виде бездыханного ребенка крупные слезы полились из его заплывших глазок по жирным щекам на бахромчатые усы; много раз подряд он испускал тяжелые вздохи: «Ой, беда, беда! Вот так беда, ай-ай-ай!» Но любовь к спокойному житью, по мнению Тони, слишком скоро возобладала над его скорбью — вечера в погребке вытеснили горестные мысли, и он продолжал жить по-прежнему, «шаля-валя», с тем благодушным, иногда ворчливым и немножко туповатым фатализмом, который находил себе выражение в его вздохах: «Вот окаянство какое, черт возьми!»

В письмах Тони отныне уже неизменно слышалась безнадежность, даже ропот. «Ах, мама,— писала она,— что только на меня не валится! Сначала Грюнлих со своим злосчастным банкротством, потом Перманедер и его уход на покой, а теперь еще мертвый ребенок! Чем я заслужила эти несчастья?»

Читая ее излияния, консул не мог удержаться от улыбки, ибо, несмотря на боль, сквозившую в этих строках, он улавливал в них забавную гордость и отлично знал, что Тони Будденброк в качестве мадам Грюнлих и мадам Перманедер все

равно оставалась ребенком и что все свои — увы, очень взрослые — беды она переживала, сперва не веря в их «всамделишность», а потом с ребяческой серьезностью и важностью,— главное же, с ребяческой силой сопротивления.

Тони не понимала, чем она заслужила все эти испытания, так как хоть и подсмеивалась над чрезмерным благочестием матери, но сама была пропитана им настолько, что всей душой веровала в божественное возмездие на земле. Бедная Тони! Смерть второго ребенка была не последним и не самым жестоким ударом, ее постигшим.

В конце 1859 года стряслось нечто страшное...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Стоял холодный ноябрьский день, мглистое небо, казалось, уже сулило снег, хотя солнце время от времени и пробивалось сквозь клубящийся туман,— один из тех дней, когда в портовом городе колючий норд-ост злобно завывает вокруг церковных шпилей и нет ничего проще, как схватить воспаление легких.

Войдя около полудня в маленькую столовую, консул Будденброк застал свою мать с очками на носу, склонившейся над листком бумаги.

— Том,— сказала она, взглянув на сына, и обеими руками отвела от него листок.— Не пугайся! Какая-то неприятность... Я ничего не понимаю... Это из Берлина... Что-то, видимо, случилось...

— Я тебя слушаю,— коротко ответил Томас. Он побледнел, и жилки вздулись на его висках — так крепко он стиснул зубы. Затем он энергичным движением протянул руку, словно говоря: «Выкладывай, что там стряслось, только поскорей, пожалуйста! Я не нуждаюсь в подготовке».

Он, не присаживаясь, вздернув светлую бровь и медленно пропуская сквозь пальцы кончики длинных усов, прочитал несколько строчек, начертанных на телеграфном бланке. Это была депеша, гласившая: «Не пугайтесь. Я, Эрика будем транзитом. Все кончено. Ваша несчастная Антония».

— Транзитом? Транзитом? — раздраженно проговорил он и, мотнув головой, взглянул на консульшу.— Что это значит?

— Ах, да она просто так выразилась, Том, и ничего это не значит. Она имеет в виду «не задерживаясь в пути» или что-нибудь в этом роде...

— И почему из Берлина? Зачем она попала в Берлин? Что ей там делать?

— Не знаю, Том, я еще ровно ничего не понимаю. Депешу принесли каких-нибудь десять минут назад. Но, видимо, что-то случилось, и остается только ждать, пока все разъяснится. Бог даст, беда минует нас. Садись завтракать, Том.

Он опустился на стул и машинально налил себе портеру в высокий граненый стакан.

— «Все кончено»,— повторил он.— И почему «Антония»? Вечное ребячество!

И консул молча принялся за еду.

Несколько мгновений спустя консульша решилась проговорить:

— Наверно, что-нибудь с Перманедером, Том?

Он пожал плечами, не поднимая глаз от тарелки.

Уходя и уже схватившись за ручку двери, Томас сказал:

— Что ж, мама, остается ждать ее приезда. Поскольку она, надо надеяться, не пожелает ввалиться в дом среди ночи, то, видимо, это будет завтра. Пошли кого-нибудь известить меня...

Консульша с часу на час ждала Тони. Ночь она провела почти без сна, даже позвонила Иде Юнгман, которая спала теперь в крайней комнате на втором этаже, и, велев подать себе сахарной воды, до рассвета просидела на постели с вышиваньем в руках. Утро тоже прошло в тревожном ожидании. Но за завтраком консул объявил, что Тони если и приедет сегодня, то через Бюхен, поездом, прибывающим в три тридцать три пополудни. Около этого времени консульша сидела в ландшафтной, пытаясь читать книгу, на черном кожаном переплете которой красовалась тисненная золотом пальмовая ветвь.

День был такой же, как накануне: холод, мгла, ветер; в печи, за блестящей кованой решеткой, потрескивали дрова. Консульша вздрагивала и смотрела в окно всякий раз, когда с улицы доносился стук колес. А в четыре часа, когда она перестала прислушиваться и, казалось, забыла о приезде дочери, внизу вдруг захлопали двери. Она быстро обернулась к окну и протерла кружевным платочком запотевшие стекла: у подъезда стояла извозчичья пролетка и кто-то уже поднимался по лестнице!

Она обеими руками схватилась за подлокотники кресла, желая подняться, но передумала, снова опустилась на место и

с каким-то почти отсутствующим видом повернула голову к дочери, которая, оставив в дверях Эрику, уцепившуюся за Иду Юнгман, почти бегом приближалась к ней.

На г-же Перманедер была тальма, опушенная мехом, и высокая фетровая шляпа с вуалью. Она очень побледнела и выглядела усталой; глаза ее были красны, а верхняя губка дрожала, как в детстве, когда Тони плакала. Она воздела руки, потом уронила их, опустилась перед матерью на колени и, жалобно всхлипывая, зарылась лицом в складки ее платья. Все это производило такое впечатление, словно она прямо из Мюнхена бегом примчалась сюда и вот теперь поникла у цели, выбившаяся из сил, но спасенная. Консульша молчала.

— Тони,— произнесла она, наконец, с ласковым упреком в голосе; вытащила шпильку, с помощью которой шляпа мадам Перманедер держалась на ее прическе, положила шляпу на подоконник и обеими руками стала нежно и успокоительно гладить густые пепельные волосы дочери.— В чем дело, дитя мое? Что случилось?

Но ей надо было запастись терпением, так как прошло довольно долгое время, прежде чем последовал ответ.

— Мама,— пролепетала г-жа Перманедер,— мама!

И ни слова больше. Консульша обратила взор к застекленной двери и, одной рукой держа в объятиях дочь, другую протянула внучке, которая стояла в смущенье, закусив указательный палец.

— Пойди сюда, девочка, и поздоровайся. Ты выросла и, слава богу, выглядишь очень хорошо. Сколько тебе лет, Эрика?

— Тринадцать, бабушка.

— О, совсем взрослая девица...— И, поцеловав ее поверх головы Тони, она добавила: — Иди, дитя мое, наверх с Идой. Мы скоро будем обедать, а сейчас маме нужно поговорить со мной.

Они остались одни.

— Итак, моя милая Тони? Не довольно ли уже плакать? Если господу угодно послать нам испытание, мы должны безропотно терпеть. «Возьми свой крест и неси его»,— гласит Евангелие... Но, может быть, ты тоже хочешь сперва подняться наверх, немножко передохнуть и привести себя в порядок? Наша славная Ида приготовила тебе твою комнату... Спасибо за то, что ты дала нам телеграмму. Хотя мы все-таки порядком перепугались...

Она прервала свою речь, так как из складок ее платья донеслось трепетное и приглушенное:

— Он низкий человек... низкий... низкий человек!

К столь энергичной характеристике г-жа Перманедер была не в силах что-либо добавить. Казалось, эта характеристика полностью завладела ее сознанием. Она только глубже спрятала лицо в колени консульши, а руку, простертую на полу, даже сжала в кулак.

— Насколько я понимаю, ты говоришь о своем муже, дитя мое? — помолчав, осведомилась старая дама.— Нехорошо, что такая мысль пришла мне на ум, но что мне еще остается думать, Тони? Перманедер причинил тебе горе? Ты ведь о нем говоришь?

— Бабетт,— простонала г-жа Перманедер,— Бабетт!

— Бабетта?

Консульша выпрямилась, и взор ее светлых глаз обратился к окну. Она поняла. Наступило молчанье, время от времени прерываемое все более редкими всхлипываниями Тони.

— Тони,— спустя несколько мгновений проговорила консульша,— теперь я вижу, что тебя действительно заставили страдать... Но зачем было так бурно выражать свое огорчение? Зачем тебе понадобилась эта поездка сюда вместе с Эрикой? Ведь людям, менее благоразумным, чем мы с тобой, может показаться, что ты вообще не намерена возвратиться к мужу...

— Да я и не намерена!.. Ни за что!..— крикнула г-жа Перманедер. Она стремительно подняла голову и, помутившимся взором поглядев в глаза матери, с неменьшей стремительностью вновь приникла к ее коленям.

Этот возглас консульша пропустила мимо ушей.

— Ну, а теперь,— она слегка повысила голос и покачала головой,— а теперь, раз ты уже здесь, ты все мне расскажешь, облегчишь свою душу, и мы попытаемся осмотрительно, с любовью и снисхождением помочь этой беде!

— Никогда! — опять выкрикнула Тони.— Никогда! — И затем начала...

Хотя не все ее слова были понятны, так как они говорились прямо в широкую суконную юбку консульши, и вдобавок это бурное словоизвержение еще прерывалось возгласами крайнего негодования, но все же из него можно было уразуметь, что произошло следующее.

В ночь с 24-го на 25-е текущего месяца г-жа Перманедер, с утра страдавшая нервными желудочными болями, наконец задремала. Но вскоре ее разбудило движение на лестнице, какой-то непонятный, но явственный шум. Прислушавшись, она различила скрип ступенек, хихиканье, приглушенные возгла-

сы протеста, перемежающиеся покряхтыванием и сопеньем. Усомниться в том, что означал этот шум, было невозможно. И еще прежде, чем скованный дремотой слух г-жи Перманедер уловил эти звуки, она уже поняла, что происходит. Кровь отлила у нее от головы и бурно устремилась к сердцу, которое то замирало, то билось тяжко и неровно. Может быть, целую минуту, долгую и страшную, лежала она, словно оглушенная, не имея сил пошевелиться. Но так как бесстыдная возня не унималась, она дрожащими руками зажгла свет и в ночных туфлях, со свечою в руке побежала по коридору к лестнице — той самой, что, наподобие «небесной лестницы», от входной двери вела во второй этаж,— и там, на верхних ступеньках, ей воочию представилась картина, которую она уже видела духовным оком, лежа у себя в спальне и с широко открытыми от ужаса глазами прислушиваясь к недвусмысленной возне. Это была схватка, борьба, недозволенная и постыдная, между кухаркой Бабеттой и г-ном Перманедером. Девушка, со связкой ключей и тоже со свечой в руках,— видимо, она, несмотря на поздний час, все еще хлопотала по дому,— увертывалась от хозяина. Г-н Перманедер в съехавшей на затылок шляпе настойчиво пытался заключить ее в объятья и прижать свои моржовые усы к ее лицу, что ему нет-нет да и удавалось. При появлении Антонии у Бабетты вырвалось нечто вроде: «Иисус, Мария, Иосиф!» — «Иисус, Мария, Иосиф!» — повторил и г-н Перманедер, отпуская ее. Девушка в то же мгновение бесследно исчезла, а г-н Перманедер остался стоять перед своей супругой, весь поникший; его голова, руки, усы беспомощно свесились, и он бормотал нечто совершенно бессмысленное, примерно: «Ну и гонка!.. Ух ты, окаянство какое!..» Когда же он наконец отважился поднять взор, супруги уже не было перед ним. Он нашел ее в спальне, она сидела на постели и сквозь рыдания повторяла одно только слово: «Позор!» Сначала он бессильно оперся о косяк, потом двинул плечом, словно желая поощрительно подтолкнуть ее в бок, и сказал:

— Ну, чего ты, чего ты, Тонерль! Францель Размауэр сегодня справлял именины... Ну, мы все и накачались маленько...

Но сильный запах винного перегара, распространившийся в комнате, довел экзальтацию г-жи Антонии до предела. Она перестала плакать, всю вялость и слабость как рукой сняло; подстегнутая темпераментом и безмерным своим отчаянием, она высказала ему прямо в лицо все свое брезгливое презрение, все отвращение, которое ей внушала его личность, его поведение.

Господин Перманедер не стерпел. Голова его пылала, ибо он выпил за здоровье своего друга Размауэра не только обычные три литра пива, но и «шипучки». Он ответил ей. Ответил довольно несдержанно. Разгорелась ссора, куда более неистовая, чем при уходе г-на Перманедера «на покой». Г-жа Антония схватила со стула свою одежду и ринулась вон из спальни. И тут г-н Перманедер произнес, бросил ей вдогонку слово, которого она не может повторить, которое не выговорит ее язык... Такое слово!..

Вот, собственно, основная суть исповеди, которую мадам Перманедер прорыдала в складки материнского платья. Но слова, слова, заставившего ее в ту страшную ночь похолодеть от ужаса, она не выговорила,— нет, язык у нее не повернулся!..

— И никогда, никогда не повернется,— повторяла она, хотя консульша отнюдь на этом не настаивала, а только медленно и задумчиво покачивала головой, гладя прекрасные пепельные волосы Тони.

— Да,— сказала она наконец,— печальные признания пришлось мне выслушать, Тони. Я все понимаю, бедная моя дочурка, потому что я не только твоя мама, но и женщина... Теперь я вижу, как справедливо твое негодование, вижу, до какой степени твой муж в минуту слабости пренебрег своим долгом по отношению к тебе...

— В минуту слабости? — крикнула Тони, вскакивая на ноги. Она отступила на два шага и судорожным движением вытерла глаза.— В минуту слабости, мама?.. Он пренебрег долгом не только по отношению ко мне, но и ко всему нашему роду! Да что там, он никогда и не сознавал этого долга! Человек, который, получив приданое жены, просто-напросто уходит на покой! Человек без честолюбия, без стремлений, без цели! Человек, у которого в жилах вместо крови течет солодовое пиво! Да, да, я в этом уверена!.. И который еще вдобавок пускается в подлые шашни с Бабетт! А когда ему указывают на его ничтожество, отвечает... отвечает таким словом!..

Она опять преткнулась об это злополучное слово, произнести которое у нее не поворачивался язык. Но вдруг... шагнула вперед и вполне спокойным голосом, с живейшим интересом воскликнула:

— Какая прелесть! Откуда это у тебя, мама? — Тони подбородком указала на соломенный рабочий столик, украшенный атласными лентами.

— Я купила,— отвечала консульша,— мне негде было держать рукоделье.

— Очень аристократично! — одобрительно произнесла Тони и, склонив голову набок, принялась рассматривать ножки столика.

Взор консульши покоился на том же предмете, но, погруженная в задумчивость, она его не видела.

— Ну что ж, дорогая моя Тони,— проговорила она наконец, еще раз протягивая руку дочери,— как бы там ни было, а ты здесь, и я от души рада тебя видеть, дитя мое! Мы успокоимся и тогда уже все обсудим... А сейчас поди в свою комнату, отдохни и переоденься. Ида! — крикнула она, повернувшись к двери в столовую.— Велите, душенька, поставить приборы для мадам Перманедер и Эрики.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Тотчас же после обеда Тони ушла к себе в спальню, ибо за столом консульша подтвердила ее предположение, что Томас знает об ее приезде, а Тони не слишком стремилась к встрече с братом.

В шесть часов консул поднялся наверх. Первым долгом он прошел в ландшафтную, где у него состоялась продолжительная беседа с матерью.

— Ну как? — спросил Томас.— Как она держится?

— Ах, Том, боюсь, что она настроена непримиримо. О, боже, она так уязвлена!.. И потом это слово... Если бы я только знала, что он ей сказал...

— Я сейчас к ней пойду.

— Хорошо, Том. Но постучись потихоньку, чтобы не испугать ее, и постарайся сохранять спокойствие, слышишь? У нее очень расстроены нервы... За обедом она почти ничего не ела... желудок... Говори с ней спокойно...

Торопливо, по привычке перескакивая через ступеньку и в задумчивости покручивая ус, консул поднялся в третий этаж. Но в дверь он постучал уже с прояснившимся лицом, так как решил по мере возможности юмористически отнестись ко всей этой истории.

Заслышав страдальческое «войдите!», он отворил дверь и увидел г-жу Перманедер совершенно одетую, на кровати, полог которой был откинут, с подушкой за спиной; на ночном столике стоял пузырек с желудочными каплями. Она сделала едва заметное движение в его сторону, оперлась на локоть и с горькой усмешкой взглянула на него. Он отвесил ей низкий торжественный поклон.

— Сударыня!.. Чему мы обязаны честью лицезреть у себя столичную жительницу?

— Поцелуй меня, Том.— Она приподнялась, подставила ему щеку и снова опустилась на подушки.— Здравствуй, друг мой! Ты нисколько не изменился с тех пор, как мы виделись в Мюнхене!

— Ну, об этом, дорогая моя, трудно судить при спущенных шторах. И уж во всяком случае, не стоило вырывать у меня из-под носу комплимент, который я предназначал для тебя...

Не выпуская ее рук из своих, он пододвинул стул и уселся подле нее.

— Как я уже не раз отмечал, ты и Клотильда...

— Фу, Том!.. А как Тильда?

— Разумеется, хорошо! Мадам Крауземинц заботится о том, чтобы она не голодала. Что, впрочем, не мешает Тильде каждый четверг наедаться у нас про запас на целую неделю...

Она рассмеялась так весело, как уже давно не смеялась, но тут же со вздохом спросила:

— Ну, а как дела?

— Что ж, перебиваемся. Жаловаться нельзя...

— Слава тебе господи, что хоть здесь все идет как надо! Ах, но я отнюдь не расположена к веселой болтовне!

— Жаль! Юмор следует сохранять при любых обстоятельствах.

— Нет, Том, с этим покончено. Ты знаешь все?

— Знаешь все!..— повторил он, выпустив ее руки и резко отодвигая стул.— Бог ты мой, как это звучит: «Все!» Чего-чего только не заложено в этом слове!

Туда уж и любовь я,
И боль мою сложу...

Нет, послушай-ка...

Она скользнула по нему удивленным, обиженным взглядом.

— Да, такой вот мины я и ждал,— продолжал он,— иначе ты бы сюда не примчалась. Но если ты, милая Тони, относишься ко всему происшедшему с чрезмерной серьезностью, то мне уж разреши отнестись ко всему с легкостью, может быть тоже чрезмерной, и ты увидишь, что мы превосходно дополним друг друга.

— С чрезмерной серьезностью, Томас? Так ты сказал?

— Да! И ради бога, перестанем разыгрывать трагедию! Давай выражаться несколько сдержаннее, без этих «все кончено» и «ваша несчастная Антония». Пойми меня правильно, Тони! Ты же отлично знаешь, что я первый от души радуюсь твоему приезду. Мне уже давно хотелось, чтобы ты навестила нас одна, без мужа, хотелось опять посидеть en famille[1]. Но *такой* твой приезд и по *такому* поводу — это, уж не взыщи, голубушка моя, просто глупость!.. Да!.. Дай мне договорить! Пермаедер вел себя весьма недостойно, и, можешь не сомневаться, я дам ему это понять...

— О том, *как* он вел себя,— перебила она, приподнимаясь и прижимая руку к сердцу,— я уже дала ему понять... и не только понять! Но все дальнейшие разговоры с этим человеком я считаю ниже своего достоинства!

Тут она опять откинулась на подушки и вперила в потолок неподвижный, строгий взгляд.

Он сделал вид, будто тяжесть ее слов пригибает его к земле, но про себя улыбнулся.

— Ну что ж, значит, я не напишу ему резкого письма, если тебе так угодно. В конце концов это твое личное дело, и ты можешь сама задать ему хорошую головомойку; более того — как супруга ты обязана это сделать! Хотя, если вдуматься поглубже, то в деле имеется ряд смягчающих обстоятельств: приятель справляет именины, твой муж возвращается домой в праздничном настроении, несколько слишком праздничном, и позволяет себе небольшую вольность, так сказать, на стороне...

— Томас,— перебила она,— я тебя не понимаю. Не понимаю тона, которым ты об этом говоришь! Ты!.. Человек твоих правил!.. Впрочем, ты его не видел. Не видел, как он, пьяный, хватал ее! На кого он был похож!..

— Выглядел он достаточно комично, это мне нетрудно себе представить. Но в том-то и дело, Тони: ты относишься ко всему происшедшему недостаточно юмористически, и в этом виноват твой желудок. Ты застигла мужа в минуту слабости, в положении, я бы сказал, несколько смешном... Но зачем так ужасно негодовать? Это должно было скорее насмешить тебя и, почеловечески, еще больше вас сблизить... Скажу тебе одно: конечно, ты не могла просто посмеяться и промолчать,— боже избави! — ты уехала; это была демонстрация, может быть слишком поспешная, наказание, может быть не в меру суровое,— воображаю, как он сейчас убит и расстроен! — но все же спра-

---

[1] Своей семьей *(франц.)*.

ведливое. Я прошу тебя только отнестись к этой истории менее пылко и более благоразумно... Мы ведь говорим с глазу на глаз. Должен тебе заметить, что в браке совсем небезразлично, на чьей стороне моральный перевес. Пойми меня, Тони! Твой муж проявил недостойную слабость, это не подлежит сомнению. Он скомпрометировал себя, поставил в смешное положение... смешное именно потому, что поступок-то его в сущности безобидный, и всерьез к нему отнестись нельзя... Одним словом, достоинство его теперь весьма уязвимо, моральный перевес на твоей стороне. И, конечно, если ты сумеешь обернуть это обстоятельство в свою пользу, счастливое спокойствие тебе обеспечено. Когда ты... ну, скажем, недели через две — да, да, по крайней мере, две недели ты должна пробыть с нами! — вернешься в Мюнхен, ты сама убедишься...

— Я не вернусь в Мюнхен, Томас.

— Виноват, что ты сказала? — переспросил консул.

Лицо его вытянулось, он приложил ладонь к уху и нагнулся к сестре. Она лежала на спине, упершись головой в подушки так сильно, что подбородок ее выставился вперед, придавая лицу суровое выражение.

— Никогда! — произнесла она громко, выдохнув воздух, и откашлялась медленно и многозначительно.

Такое сухое покашливанье, постепенно превращавшееся у Тони в нервическую привычку, видимо, было следствием ее желудочного недомогания. Теперь они оба молчали.

— Тони,— внезапно сказал консул, вставая и крепко держась за спинку стула,— скандала я не потерплю!..

Она искоса взглянула на брата: он был бледен, и жилки бились у него на висках. Дольше оставаться в неподвижности Тони уже не могла. Она задвигалась и, чтобы скрыть страх, который он ей внушал, заговорила громко и гневно. Потом вскочила, спустила ноги с кровати — брови ее сдвинулись, щеки пылали — и, страстно жестикулируя, начала:

— Скандала, Томас?.. Ты велишь мне не устраивать скандала, когда меня позорят, просто-напросто плюют мне в лицо?! И это, по-твоему, достойно брата?.. Да, да, я смело спрашиваю тебя! Осмотрительность и такт — это очень хорошо, что и говорить, но существует в жизни такой предел, Том,— а я знаю жизнь не хуже тебя,— когда страх перед скандалом уже называется трусостью,— да, трусостью! И странно, что я, ничего не смыслящая дурочка, должна тебе об этом напоминать... Да, да, это так! Я допускаю, что Перманедер, возможно, никогда и не любил меня, потому что я старая, безобразная женщина и

Бабетт куда красивее. Но это не освобождало его от обязанности уважать мое происхождение, воспитание, которое я получила, мои чувства и понятия! Ты не видел, Том, в какой мере он пренебрег этим уважением, а кто этого не видел, ни о чем судить не может! Описать, до чего он был омерзителен, невозможно... И ты не слышал слов, которые он мне бросил вдогонку, мне, твоей сестре, когда я схватила свои вещи и кинулась вон из спальни, чтобы лечь в другой комнате, на софе... Да, он такое выкрикнул... такое слово... такое... Короче говоря, Томас, это слово заставило, принудило меня весь остаток ночи посвятить сборам в дорогу, а рано утром я разбудила Эрику и уехала. Оставаться с человеком, от которого мне приходится такое слышать, я не могла. И, повторяю, к этому человеку я никогда не вернусь!.. Иначе я была бы пропащая женщина, потерявшая всякое уважение к себе, женщина без нравственных устоев!

— Может быть, ты будешь так любезна сообщить мне это треклятое слово? Да или нет? Говори!

— Никогда, Томас! Никогда! У меня язык не повернется!.. Я знаю свой долг по отношению к тебе и к себе в этом доме...

— В таком случае мне с тобой говорить не о чем!

— И не надо: я предпочитаю оставить этот разговор.

— Что же ты намерена делать? Разводиться?

— Да, Том. Это мое окончательное решение. Решение, предписанное мне долгом перед собой, перед моим ребенком, перед всеми вами.

— Вздор, и больше ничего! — спокойно произнес он, повернулся на каблуках и пошел прочь от нее, как бы в доказательство, что разговор исчерпан.— Развод зависит не от тебя одной, и полагать, что Перманедер предупредительно пойдет тебе навстречу, по меньшей мере смешно...

— О, эту заботу уж предоставь мне,— нимало не смутясь, заявила Тони.— Ты думаешь, что он будет противиться, и конечно, из-за моих семнадцати тысяч талеров? Грюнлих тоже не хотел, тем не менее его заставили,— значит, это возможно. Я обращусь к доктору Гизеке, он друг Христиана и не откажет мне в содействии. Конечно, я знаю, ты скажешь, что тогда было по-другому. Тогда речь шла о «неспособности мужа прокормить свою семью». Видишь, как я хорошо разбираюсь в этих делах, а ты говоришь со мною так, словно я развожусь впервые!.. Но все равно, Том! Может быть, развод невозможен и ничего у меня не выйдет,— пусть ты прав! — но это дела не меняет. Не меняет моего решения. Тогда пускай деньги остаются у него...

В жизни есть кое-что и превыше денег! Но меня он уже никогда не увидит.

Тони откашлялась. Она перешла с кровати на кресло и так энергично подперлась кулачком, что казалось, будто ее согнутые пальцы вцепились в нижнюю губу. Сидя вполоборота к брату, она, не мигая, смотрела в окно возбужденными, покрасневшими глазами.

Консул расхаживал взад и вперед по комнате, вздыхал, качал головой, пожимал плечами. Наконец он остановился перед ней и скрестил руки.

— Ты ребенок, Тони,— сказал он как-то робко и просительно.— То, что ты тут наговорила,— ребячество! Не соблаговолишь ли ты снизойти к моей просьбе и хоть ненадолго взглянуть на все глазами взрослой женщины?! Разве ты сама не замечаешь, что ведешь себя так, словно тебе пришлось пережить невесть какое страшное горе, словно твой муж жестоко обманул тебя, выставил на позор перед всем светом?! Постарайся же уразуметь, что в конце концов ровно ничего не случилось! Что об этом дурацком происшествии у вас на лестнице ни одна живая душа не знает! Что ты не нанесешь ни малейшего урона ни своему, ни нашему достоинству, спокойно или, если уж тебе так хочется, с несколько вызывающей миной вернувшись к Перманедеру... И, напротив, что ты посягнешь на это достоинство, сделав то, что ты задумала, ибо тогда пустяковое происшествие перерастет в скандал.

Она быстро отняла руку от подбородка и посмотрела ему прямо в глаза.

— Теперь помолчи, Том! Теперь моя очередь, и говорить буду я, а ты послушай! Иными словами, позор и бесчестье только то, что выплывает наружу, становится всеобщим достоянием? О нет! Тайное бесчестие, которое в тиши грызет душу человека и заставляет его не уважать себя, куда страшнее! Разве мы, Будденброки, из тех, что хотят на людях казаться «типтоп», как вы тут говорите, а в своих четырех стенах готовы терпеть любые унижения? Том, я удивляюсь тебе! Вспомни об отце, подумай, как бы он вел себя в этом случае, и попытайся взглянуть на все его глазами. Нет, моральная чистоплотность и правдивость превыше всего!.. Ты вот в любой день любому человеку можешь показать свои книги: пожалуйста, смотрите! И так должен вести себя каждый из нас. Я знаю, какой меня создал господь! И ни капельки не боюсь. Пускай Юльхен Меллендорф не кланяется мне при встрече! Пускай Пфиффи Будденброк, сидя здесь по четвергам и раскачиваясь из стороны в

сторону от злорадства, говорит: «Увы, это уже второй раз! Но, конечно, оба раза виноваты мужья». Я выше этого, Томас! Я знаю, что поступила так, как считала правильным! Из страха перед Юльхен Меллендорф и Пфиффи Будденброк сносить оскорбления, выслушивать от неуча брань на жаргоне пивных заведений? Из страха перед ними оставаться с человеком... оставаться в городе, где волей-неволей приходится привыкать к таким словам, к таким сценам, как эта на «небесной лестнице», где надо забыть о своем происхождении, воспитании,— словом, полностью отречься от себя только для того, чтобы люди полагали, будто я счастлива и довольна?.. Вот это, да будет тебе известно, я и называю недостойным, называю бесчестьем!..

Она замолкла и, снова подпершись кулачком, не мигая, уставилась в окно. Томас стоял погруженный в раздумье и смотрел на нее невидящим взором, лишь изредка покачивая головой.

— Тони,— сказал он наконец,— ты меня не проведешь. Я уж и раньше все это подозревал, но сейчас ты сама проговорилась: дело не в том, что ты не ужилась с мужем,— ты не прижилась в городе. И эта ерундовая история на лестнице — последнее дело. Тут все соединилось. Ты там не прижилась, признайся откровенно!

— Ты прав, Томас! — воскликнула Тони.

Она даже вскочила на ноги и указательным пальцем почти коснулась его лица. Щеки ее раскраснелись. Она стояла в воинственной позе, одной рукой ухватившись за спинку стула, другой пылко жестикулируя, и держала речь — страстную, воодушевленную, льющуюся неудержимым потоком. Консул в глубоком изумлении смотрел на нее. Она едва успевала переводить дыхание, с такой быстротой вскипали, набегали новые слова. Да, она нашла эти слова, сумела выразить всю горечь, накапливавшуюся годами,— пусть немножко беспорядочно и сбивчиво, но сумела... Это было извержение, взрыв отчаявшейся честности. Из ее слов лавиной хлынуло то, против чего нельзя было возражать, то стихийное начало, с которым не спорят.

— Ты прав, Томас! И можешь еще раз повторить эту истину! Запомни раз и навсегда, что я больше не какая-нибудь дурочка и знаю, чего можно ждать от жизни. Я уже не холодею от ужаса, видя, что не все в жизни так уж добропорядочно устроено. Я знала таких людей, как Слезливый Тришке, я была замужем за Грюнлихом и вдоволь насмотрелась на ваших suitiers здесь, в городе. Пойми ты, бога ради, что я не деревенская простушка, и история с Бабетт сама по себе не заставила бы меня бежать из дому. Это уж можешь мне поверить! Беда в

том, что чаша переполнилась!.. Она и без того была полна... давно, очень давно! Капли было довольно, чтобы полилось через край! А тут такая история — сознание, что даже и в этом я не могу положиться на Перманедера! Конец! Терпение мое лопнуло! Я вмиг решилась удрать из Мюнхена; по правде говоря, это решение уже давно, давно зрело во мне, Том! Потому что я не могу жить там, на юге! Богом тебе клянусь, не могу! Как я была несчастна, ты не знаешь, Том! Ведь когда ты гостил у меня, я и виду не подавала. Конечно, нет! Я женщина тактичная, не охотница докучать людям своими жалобами и выбалтывать все, что у меня на сердце!.. Да и вообще характер у меня замкнутый. Но я страдала, Том, страдала непереносимо! Во мне живого места не оставалось! Как цветок,—ты уж извини меня за этот образ,— как цветок, пересаженный на чужую почву... Тебе это сравнение покажется смешным, потому что я некрасивая женщина, но более чужой почвы для меня нельзя было и придумать! Право, уж лучше жить в Турции! О, нам, северянам, не следует уезжать из своих краев! Нам надо жить на берегу родного залива и честно есть свой хлеб... Вы все подсмеивались над моим пристрастием к дворянству... А я в последние годы не раз вспоминала слова, давно-давно сказанные мне одним очень неглупым человеком. «Вы симпатизируете дворянам,— так он сказал.— А хотите знать почему? Потому что вы сами аристократка! Ваш отец важная персона, а вы и впрямь принцесса! Пропасть отделяет таких, как вы, от нас, грешных, не принадлежащих к избранному кругу правящих семейств...» Да, Том, мы чувствуем себя аристократами, чувствуем свою обособленность, и мы не должны даже пытаться жить там, где нас не знают и не умеют ценить, потому что ничего, кроме унижений, нам такая жизнь не сулит, да вдобавок нас еще сочтут до смешного спесивыми. Да, меня все находили до смешного спесивой. В глаза мне этого никто не говорил, но я все время это чувствовала и еще больше страдала, Том! О-о! В стране, где торт едят с ножа и где принцы не умеют как следует говорить по-немецки, где человека, который поднял даме упавший веер, уже обязательно считают влюбленным,— в такой стране не много надо, чтобы прослыть спесивой! Ты говоришь — не прижилась? Нет! Среди людей без чувства собственного достоинства, без морали и честолюбия, без благородства и солидности, среди бесцеремонных, неучтивых, неопрятных людей, людей неповоротливых и в то же время легкомысленных, толстокожих и поверхностных,— среди таких людей я не сумела прижиться и никогда не сумею! Это такая же истина,

как то, что я твоя сестра! Ева Эверс, та сумела... Что ж, в добрый час! Но Эверс ведь еще не Будденброк, и, кроме того, у нее есть муж, который хоть чего-нибудь да стоит. А каково было мне? Ты подумай, Томас, припомни все с самого начала! Отсюда, из этого дома, всеми уважаемого, из города, где люди к чему-то стремятся, где у каждого есть цель в жизни, я попала к Перманедеру, который с моим приданым «ушел на покой»... Да! Поступок, вполне соответствующий его натуре. Ничего другого от него ждать не приходилось! А дальше что? Дальше должен был появиться ребенок... Как я радовалась! Это бы все искупило! И что же? Ребенок умер, родился мертвым. В этом, конечно, Перманедер не виноват, боже упаси! Он делал все, что мог, и даже несколько дней не ходил в пивную, честное слово! Но все одно к одному, Томас! Счастливее я от этого не стала, как ты можешь себе представить. И я все снесла безропотно. Я бродила там одна как перст, никем не понятая, ославленная спесивой, и говорила себе: «Ты дала ему слово по гроб жизни. Пусть он ленив и неповоротлив, пусть он обманул твои ожидания, но все это не со зла, сердце у него чистое». А потом мне пришлось пережить еще и эту омерзительную историю. Ну, тут уж я узнала, как хорошо он меня понимает, с каким уважением ко мне относится! Ведь он крикнул мне вдогонку слово, которым твой рабочий постесняется назвать собаку! И я поняла, что ничто меня больше не удерживает и что остаться у него — позор! А здесь, когда я ехала с вокзала по Голштинштрассе, проходил грузчик Нильсен,— он снял цилиндр и низко мне поклонился; я ответила на его приветствие ни капельки не спесиво, а так, как отец им отвечал,— вот так, рукою... Теперь я здесь. Вели запрячь хоть два десятка лошадей, в Мюнхен тебе меня уже не вывезти, Том! Завтра же я иду к Гизеке.

Вот речь, произнеся которую Тони в изнеможении опустилась в кресло, подперлась кулачком и невидящим взором уставилась в окно.

Испуганный, ошеломленный, можно сказать — потрясенный, консул молча стоял перед ней. Потом он вздохнул и развел руками.

— Да, здесь ничего не поделаешь! — тихо проговорил он, медленно повернулся на каблуках и пошел к двери.

Тони смотрела ему вслед с тем же горестным выражением в глазах, с которым она его встретила.

— Том,— окликнула она брата,— ты на меня сердишься?

Взявшись за ручку двери, он устало махнул рукой.

— Ах, нет, нисколько!

Она склонила голову набок и потянулась к нему.

— Поди сюда, Том! Твоей сестре не очень-то задалась жизнь. Все на нее валится, и нет никого, кто бы ей посочувствовал.

Он вернулся и взял ее за руку: не глядя на нее, как-то сбоку, вяло и безразлично.

Внезапно верхняя губка Тони задрожала.

— Тебе теперь придется работать одному,— проговорила она.— От Христиана проку мало, а я — конченый человек, я свое отжила, с меня спросить нечего. Вы теперь будете кормить меня из милости, ни на что не пригодную женщину. Я все думала, что мне удастся хоть немного быть тебе в помощь, Том. Но ничего не поделаешь! Теперь тебе одному надо будет заботиться, чтобы нам, Будденброкам, не пришлось поступиться своим местом... Да поможет тебе господь!

Две большие, светлые, детские слезы скатились по ее щекам, уже несколько одряблевшим.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тони не сидела сложа руки, а немедленно начала действовать. Консул, в надежде, что сестра все же успокоится, одумается, на первых порах потребовал только одного — чтобы она вела себя тихо и, так же как и Эрика, не выходила из дому. Все еще может обернуться к лучшему. В городе пока что никто ничего не должен знать. Очередной «четверг» был отменен.

Но на следующий же день по приезде г-жи Перманедер адвокат доктор Гизеке собственноручным ее письмом был вытребован на Менгштрассе. Она приняла его одна, в средней комнате второго этажа, которую велела истопить и где, одному богу известно для какой надобности, заботливо разложила на громоздком столе письменные принадлежности и целую груду бумаги крупного формата, которую она принесла из конторы. Оба они уселись в кресла.

— Господин доктор,— произнесла она, скрестив руки, закинув голову и подъяв взор к потолку,— вы человек, знающий жизнь как по собственному опыту, так и в силу своей профессии. Я буду говорить с вами откровенно.— И она посвятила его во все, что произошло с Баббет и потом в спальне.

Выслушав г-жу Перманедер, доктор Гизеке объявил, что, увы, ни печальный случай на лестнице, ни бранные слова в ее

адрес,— повторить их она отказалась,— не являются достаточным поводом для развода.

— Хорошо,— сказала она,— благодарю вас,— и попросила доктора Гизеке перечислить все предусмотренные законом поводы для развода.

Внимательно и с живейшим интересом прослушав целую лекцию о правовой точке зрения на приданое, она величаво и дружелюбно распрощалась с ним. Затем спустилась вниз и заставила консула пройти с нею в его кабинет.

— Томас,— сказала она,— прошу тебя незамедлительно написать этому человеку — мне не хочется называть его имени. Обо всем, касающемся денежной стороны вопроса, я осведомлена полностью. Теперь пусть он объяснится. Но так или иначе меня ему больше не увидеть. Если он выразит согласие на формальный развод — отлично: тогда надо потребовать у него отчета и возвращения моего dot [1]. Если он ответит отказом, мы все равно не сложим оружия, так как, да будет тебе известно, Томас: хотя Перманедер и является юридически собственником моего dot — это совершенно бесспорно,— но закон, слава тебе господи, охраняет и мои имущественные права...

Консул, заложив руки за спину, расхаживал взад и вперед, время от времени нервически поводя плечами, ибо французское словечко «dot» Тони произносила с неописуемо горделивым выражением лица.

У него нет времени, он и без того по горло занят делами. Ей надо набраться терпения и еще много, много раз все обдумать и взвесить. В ближайшие дни, скорей всего даже завтра, ему предстоит поездка в Гамбург для крайне неприятных переговоров с Христианом. Христиан прислал письмо консульше с просьбой о поддержке, о помощи — в счет будущего наследства. Дела его в самом плачевном состоянии, а он, несмотря на целый ряд предъявленных ему исков, без счета тратит деньги в ресторанах, в цирке и в театрах, да и вообще, судя по обнаружившимся теперь долгам, которые ему удалось сделать благодаря своему почтенному имени, живет значительно выше средств. На Менгштрассе, в клубе и во всем городе знали, что виной тому Алина Пуфогель, одинокая дама и мать двух очень красивых детей. Из гамбургских коммерсантов не один Христиан состоял с нею в близких и дорогостоящих отношениях.

Одним словом, у него достаточно неприятностей и помимо бракоразводных затей Тони, а поездка в Гамбург не подлежит

---

[1] Приданого *(франц.)*.

отлагательству. Кроме того, весьма вероятно, что в ближайшее время Перманедер и сам напомнит о себе.

Консул уехал и возвратился в настроении подавленном и гневном. Но поскольку из Мюнхена все еще не было никаких вестей, он счел себя вынужденным сделать первый шаг. Он написал письмо, холодное, деловое и несколько высокомерное; не подлежит сомнению, что Антония в совместной жизни с г-ном Перманедером испытала ряд горьких разочарований... Но даже и не касаясь отдельных подробностей, нельзя не признать, что она не нашла желанного счастья в этом браке. Ее стремление расторгнуть брачные узы не должно было бы вызвать возражений со стороны разумно мыслящего человека, ибо ее решение не возвращаться в Мюнхен, к сожалению, твердо и непоколебимо... Далее следовал вопрос, как отнесется к вышеизложенному г-н Перманедер.

Напряженное ожидание. И вот пришел ответ — ответ, какого не ожидали ни доктор Гизеке, ни консульша, ни Томас, ни даже сама Антония.

Господин Перманедер без обиняков соглашался на развод. Он писал, что от души сожалеет о случившемся, но согласен пойти навстречу желаниям Антонии, так как и сам понимает, «что они люди не очень-то подходящие». Если он заставил ее пережить трудное время, то пусть она постарается забыть это и простить его... Верно, ему уж никогда не доведется увидеть ни ее, ни Эрику, но он желает им обеим всяческого счастья. «Алоиз Перманедер». За подписью шла приписка, в которой он выражал готовность немедля вернуть приданое. Он может безбедно прожить и на свои средства. Ни в каких отсрочках он не нуждается, так как деньги у него свободны, с домом он поступит по собственному усмотрению, а посему сумма в семнадцать тысяч талеров будет выплачена немедленно.

Тони была почти что пристыжена и впервые признала похвальным равнодушие г-на Перманедера к денежным вопросам.

Доктор Гизеке был снова призван к действию; он вступил с супругом в переписку касательно повода к разводу; таковым решено было признать «непреодолимое взаимное отвращение», и процесс начался — второй бракоразводный процесс Тони, за всеми фазами которого она следила с величайшей серьезностью, со знанием дела и необычайным рвением. Она только об этом и говорила, так что консул несколько раз даже сердился на нее. Но Тони не понимала, на что он досадует. Она всецело подпала под обаяние таких слов, как «доходы», «поступления», «приращение движимого имущества», «составные части прида-

ного», «косвенные статьи», и произносила их на каждом шагу, закинув голову и слегка вздернув плечи, с видом горделивого достоинства. Из всего, о чем толковал ей доктор Гизеке, наибольшее впечатление на нее произвел параграф касательно нахождения клада на «участке, полученном в приданое, каковой клад считается частью приданого и в случае расторжения брака подлежит возврату». Об этом несуществующем кладе она рассказывала всем: Иде Юнгман, дяде Юстусу, бедной Клотильде, дамам Будденброк с Брейтенштрассе! Кстати сказать, узнав о случившемся, дамы Будденброк всплеснули руками и изумленно переглянулись: неужели еще и эту радость послала им судьба? Рассказывала она об этом и Терезе Вейхбродт, опять принявшейся за обучение Эрики Грюнлих, и даже добрейшей мадам Кетельсен, которая, в силу многих причин, ровно ничего не понимала.

И вот настал день, когда суд вынес решение о разводе, и Тони выполнила последнюю, связанную с этим делом формальность,— попросила у Томаса фамильную тетрадь и собственноручно вписала в нее это событие. Теперь оставалось привыкать к новому положению вещей.

Она храбро взялась за дело: с неуязвимым достоинством пропускала мимо ушей шпильки дам Будденброк, с несказанной холодностью взирала на улице поверх голов Хагенштремов и Меллендорфов, когда они попадались ей навстречу, и окончательно поставила крест на светской жизни, которая, впрочем, в последние годы протекала не в отчем доме, а в доме брата. У нее были родные — консульша, Томас, Герда, была Ида Юнгман, Зеземи Вейхбродт — ее старшая подруга, и Эрика, об «аристократическом» воспитании которой Тони теперь усердно заботилась и с которой, надо думать, связывала свои последние, тайные надежды... Так она жила, и так шло время.

Много позднее и каким-то никому не понятным образом отдельные члены семьи узнали роковые слова, сорвавшиеся в ту достопамятную ночь с языка г-на Перманедера. Что же он сказал? «Иди ко всем чертям, паскуда эдакая!»

Так кончилось второе замужество Тони Будденброк.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Крестины!.. Крестины на Брейтенштрассе!

Все, что во дни надежд носилось перед внутренним взором г-жи Перманедер, все стало явью: в столовой горничная, стараясь не греметь, чтобы не нарушить благолепия таинства, происходящего рядом в зале, осторожно накладывает сбитые сливки в уже полные горячего, дымящегося шоколада чашки с изогнутыми золочеными ручками, которыми сплошь уставлен огромный круглый поднос. Слуга Антон разрезает на куски высоченный баумкухен, а мамзель Юнгман, оттопырив мизинцы на обеих руках, наполняет конфетами и живыми цветами серебряные вазы и затем, склонив голову набок, окидывает их испытующим взором.

Еще несколько минут, и все эти чудесные яства будут предложены гостям, когда они из зала перейдут в большую и малую гостиные; надо надеяться, что заготовленного хватит, хотя сегодня здесь собралась семья в самом широком смысле этого слова. Через Эвердиков и Будденброки состояли теперь в свойстве с Кистенмакерами, через последних — с Меллендорфами, и так далее. Провести границу невозможно!.. Важнее всего, что представлены Эвердики, и притом представлены главой семьи, правящим бургомистром, которому уже за восемьдесят.

Он приехал в карете и поднялся наверх, опираясь на свою крючковатую трость и на руку Томаса Будденброка. Его присутствие сообщает празднеству еще большую торжественность... А сегодня и правда есть основания торжествовать!

Ибо там, в зале, перед превращенным в алтарь и украшенным цветами столиком, за которым произносит свою проповедь молодой пастор в черном облаченье и белоснежных, туго

накрахмаленных, огромных, как жернов, брыжах, высокая, плотная откормленная женщина в пышном красном наряде держит на пухлых руках утопающее в кружевах и лентах маленькое существо... Наследника! Продолжателя рода! Маленького Будденброка!

Понимаете ли вы, что это значит? Понимаете ли вы ту немногословную радость, с которой эту весть принесли из дома консула на Менгштрассе, едва только было оброшено первое слово, первый, еще смутный намек? Понимаете ли немой восторг, обуявший г-жу Перманедер, тут же кинувшуюся обнимать старую консульшу, брата и — несколько осторожнее — невестку? И вот пришла весна, весна 1861 года, и он уже существует и воспринимает таинство святого крещенья — тот, с которым издавна связывалось столько надежд, о котором уже столько говорилось, долгожданный, вымоленный у господа бога; тот, из-за кого столько мучений принял доктор Грабов... Он здесь, маленький и невзрачный.

Крохотные ручки хватаются за золотой позумент на корсаже кормилицы; склоненная набок головка в кружевном чепчике с голубыми лентами непочтительно отвернута от пастора, глаза с каким-то старческим выражением обращены в сторону зала, к собравшейся родне. В этих глазах с очень длинными ресницами голубизна отцовских глаз и карий цвет материнских сочетались в неопределенный, меняющийся в зависимости от освещения, золотисто-коричневый; под ними, по обе стороны переносицы, залегли голубоватые тени,— это придает личику, величиной с кулачок, нечто преждевременно характерное, никак не вяжущееся с четырехнедельным созданием. Но, бог даст, это не дурная примета,— ведь и у матери, благополучно здравствующей, точно такие же тени... Как бы там ни было, он жив; и месяц назад сообщение о том, что родился мальчик, наполнило счастьем сердца его близких.

Он жив, а могло быть и по-другому. Консулу никогда не забыть рукопожатия, с которым месяц назад доктор Грабов, едва только он смог покинуть мать и ребенка, сказал ему:

— Благодарите бога, друг мой, еще немного — и...

У консула недостало духа спросить: «Еще немного — и что?» Он с ужасом отгоняет от себя мысль, что это долгожданное крохотное существо, появившееся на свет таким странно тихим, могло разделить участь второй дочурки Антонии. Но он знает, что месяц назад был роковой час для матери и ребенка, и со счастливым лицом нежно склоняется над Гердой, которая, скрестив на бархатной подушке ноги, обутые в лакированные

башмачки, сидит в кресле впереди него, рядом со старой консульшей.

Как она еще бледна! И как необычно красива в своей бледности — пышноволосая, темно-рыжая, с загадочным взглядом, не без затаенной насмешки устремленным на проповедника. Это Андреас Прингсгейм, pastor marianus [1], после скоропостижной смерти старого Келлинга получивший, несмотря на свои молодые годы, должность главного пастора. Ладони его молитвенно сложены под воздетым кверху подбородком. У него белокурые вьющиеся волосы и костлявое, гладко выбритое лицо, которое попеременно выражает то суровый фанатизм, то умильную просветленность и оттого кажется несколько актерским. Андреас Прингсгейм — уроженец Франконии, где он несколько лет был настоятелем маленькой лютеранской общины, затерянной среди сплошь католического населения. Его стремление к чистой и патетической речи привело к весьма своеобразному произношению с долгими и глухими, а временами подчеркнуто акцентированными гласными и раскатистым «р».

Он возносит хвалу господу то тихим и журчащим, то громким голосом, и все семейство слушает его: г-жа Перманедер, облекшись в величавую важность, под которой таятся ее восторг и гордость; Эрика Грюнлих, без малого пятнадцатилетняя цветущая девушка с подколотой косой и розовым, отцовским, цветом лица; Христиан, сегодня утром прибывший из Гамбурга и теперь смотрящий на всех растерянным взором глубоко посаженных круглых глаз; пастор Тибуртиус и его супруга, не убоявшись долгого пути из Риги, тоже прибыли на торжество: Зиверт Тибуртиус закинул за плечи концы своих жидких длинных бакенбард, и его маленькие серые глаза время от времени вдруг начинают шириться, становятся больше, больше, почти выскакивают из глазниц... Клара — серьезная, сумрачная и строгая — часто прикладывает руку ко лбу: голова все болит... Они привезли Будденброкам великолепный подарок: громадное чучело медведя на задних лапах, с разинутой пастью,— родственник Тибуртиуса пристрелил его где-то в глубине России. Теперь медведь стоит на лестничной площадке и держит в лапах поднос для визитных карточек.

У Крегеров гость — их сын Юрген, почтовый чиновник из Ростока, скромно одетый, тихий человек. Где сейчас Якоб, не знает никто, кроме его матери, урожденной Эвердик, сердо-

---

[1] Здесь: пастор из церкви св. Марии *(лат.)*.

больной женщины, которая потихоньку продает столовое серебро, чтобы послать денег отвергнутому сыну. Дамы Будденброк тоже, конечно, здесь; они искренне радуются счастливому событию в семье, что, впрочем, не мешает Пфиффи заметить, что у ребенка не очень-то здоровый вид; консульше, урожденной Штювинг, а также Фридерике и Генриетте, к сожалению, приходится согласиться с ней. Бедная Клотильда, тощая, серая, терпеливая и голодная, взволнована проповедью пастора и предвкушением шоколада с баумкухеном. Из посторонних на торжестве присутствуют только г-н Фридрих Вильгельм Маркус и Зеземи Вейхбродт.

Пастор наставляет восприемников в их обязанностях. Один из восприемников — консул Крегер. Вначале консул Будденброк хотел обойти его, заметив: «Не следует вызывать старика на сумасбродства! У него вечно происходят ужаснейшие столкновенья с женой из-за сына. Остаток его состояния тает не по дням, а по часам; с горя он даже перестал заботиться о своей внешности! Но вы сами понимаете, что, если мы попросим его в восприемники, никакие силы не удержат старика от подношения массивного золотого сервиза».

Однако дядя Юстус, узнав, что в крестные прочат Стефана Кистенмакера, приятеля консула, до того разобиделся, что не попросить его было невозможно. Золотой бокал, который он подарил крестнику, к вящему удовольствию консула Будденброка, оказался не столь уж тяжелым.

А второй восприемник? Седой как лунь, почтенный старец в высоко замотанном галстуке и черном сюртуке мягкого сукна, из заднего кармана которого всегда торчит кончик красного носового платка. Он сидит, опершись руками о трость, в самом покойном из кресел. Это бургомистр доктор Эвердик. Большое событие! Победа! Многие даже не понимают, как такое случилось. Боже мой, ведь даже и свойство-то самое отдаленное! Будденброки силком приволокли старика... И правда, консул совместно с мадам Перманедер пустились на небольшую интригу, чтобы этого добиться. Собственно, в первую счастливую минуту, когда выяснилось, что мать и дитя вне опасности, это было не более как шуткой.

— Мальчик, Тони! Тут уж впору звать в крестные самого бургомистра! — воскликнул консул.

Но Тони ухватилась за эту идею и всерьез все обдумала; консул, поразмыслив, тоже выразил согласие попытаться. Начали они с дяди Юстуса: тот послал жену к ее невестке, супруге лесоторговца Эвердика, которая, в свою очередь, взялась

соответственно «обработать» престарелого свекра. Почтительный визит Томаса Будденброка довершил дело.

Вот кормилица снимает чепчик с головки ребенка, и пастор, наклонившись над серебряной, вызолоченной внутри чашей, несколькими каплями кропит жидкие волосики маленького Будденброка, медленно и отчетливо возглашая имена, данные ему при святом крещении: Юстус, Иоганн, Каспар. Потом он читает короткую молитву, и каждый из присутствующих подходит запечатлеть поздравительный поцелуй на лбу тихонького, равнодушного существа. Тереза Вейхбродт приближается последней, и кормилица вынуждена немного опустить ребенка. Зеземи Вейхбродт дарит его двумя звонкими поцелуями и в промежутке между ними произносит: «Милое дитятко!»

Через три минуты собравшихся уже обносят сластями в большой и малой гостиных. Пастор Прингсгейм в брыжах и длинном облачении, из-под которого выглядывают широкие начищенные башмаки, сидит тут же и ложечкой снимает остуженные сбитые сливки с горячего шоколада; лицо у него просветленное, он оживленно и весело болтает, что, по контрасту с его проповедью, производит на всех сильнейшее впечатление. Каждый его жест как бы говорит: «Смотрите, я умею, забыв о своем сане, быть обыкновенным благодушным смертным!» Сейчас он и вправду светский, обходительный человек. Со старой консульшей он беседует елейно, с Томасом и Гердой — с непринужденной любезностью, сопровождая свои слова округлыми жестами; с г-жой Перманедер — ласковым, лукаво-шутливым тоном. Впрочем, время от времени вспомнив, кто он, пастор складывает руки на коленях, вскидывает голову, хмурит брови и напускает на себя солидную строгость. Смеясь, он рывками, с присвистом, втягивает воздух сквозь сжатые зубы.

Но вот из коридора доносится какой-то шум; слышно, как хохочет прислуга. И в дверях появляется своеобразный поздравитель: Гроблебен,— Гроблебен, на чьем костлявом носу, как всегда и во все времена года, висит продолговатая не упадающая капля. Он — рабочий в одном из амбаров консула, и хозяин дает ему возможность еще подработать на чистке обуви: каждое утро, чуть свет, Гроблебен является на Брейтенштрассе, собирает выставленную у дверей обувь и чистит ее в сенях. А в дни семейных торжеств приходит по-праздничному одетый, держа в руках букет цветов, и с каплей, дрожащей на кончике носа, плаксивым, слащавым голосом произносит речь, по окон-

чании которой ему вручается денежное поощрение. Но делает он это не ради денег!

На нем черный сюртук с плеча консула, смазные сапоги и синий шерстяной шарф, обмотанный вокруг шеи. В костлявой красной руке он держит большой букет блеклых, уже слишком распустившихся роз, лепестки которых один за другим осыпаются на ковер. Маленькие воспаленные глазки Гроблебена щурятся, но ничего не видят... Он останавливается в дверях, держа в вытянутой руке букет, и тотчас начинает свою речь. Старая консульша поощрительно кивает в такт каждому его слову и время от времени вставляет пояснительные реплики; консул смотрит на него, вскинув светлую бровь, а кое-кто, например мадам Перманедер, прикрывает рот платком.

— Я бедный человек, почтенные господа, но сердце у меня чувствительное, и коли уж радость в доме у моего хозяина, консула, от которого я ничего, кроме добра, не видел, так уж и я ее близко к сердцу принимаю. Вот я и пришел от всей души поздравить господина консула, и госпожу консульшу, и все ихнее уважаемое семейство. И чтоб сынок рос здоровый, потому что такой хозяин, ей-богу, это заслужил, такого другого хозяина не сыщешь; у него сердце благородное, и господь воздаст ему за это...

— Спасибо, Гроблебен! Очень хорошая речь! Что же вы так и стоите с розами?

Но Гроблебен еще не кончил, он напрягает свой плаксивый голос, стараясь перекрыть голос консула:

— ...да, да, за все воздаст господину консулу и ихнему уважаемому семейству, когда мы все предстанем пред его престолом,— потому что все ведь сойдут в могилу, бедный и богатый, на то уж воля господня, только что один заслужит красивый полированный гроб, а другой — сосновый ящик. А в прах мы обратимся, все будем прахом... Из земли вышли, в землю вернемся...

— Ну, ну, Гроблебен! У нас сегодня крестины, а вы вишь о чем заговорили!..

— И вот позвольте цветочки преподнесть...

— Спасибо, Гроблебен! Зачем такой большой букет? Очень уж вы транжирите, дружище! А такой речи мне давно не приходилось слышать!.. Вот, возьмите и погуляйте сегодня хорошенько! — Консул треплет его по плечу и дает ему талер.

— Вот вам и от меня, любезный,— говорит старая консульша.— Чтите вы господа нашего Иисуса Христа?

— Еще как чту, госпожа консульша, истинная правда!..

Гроблебен получает еще третий талер, от мадам Перманедер, после чего, расшаркавшись, удаляется, в рассеянности унося с собой те розы, что еще не успели осыпаться.

Бургомистр встает. Консул провожает его вниз до экипажа — это служит сигналом и для остальных гостей: ведь Герда Будденброк еще не совсем оправилась. В доме становится тихо. Последними остаются консульша с Тони, Эрикой и мамзель Юнгман.

— Вот что, Ида,— говорит консул,— я подумал... и мама согласна... Вы всех нас вырастили, и когда маленький Иоганн немного подрастет... Сейчас у него кормилица, потом мы возьмем няню — ну, а в дальнейшем не согласитесь ли вы перейти к нам?

— Да, да, конечно, господин консул, если ваша супруга ничего не имеет против.

Герда одобряет этот план. Решение считается принятым.

Распрощавшись, г-жа Перманедер идет к двери, но возвращается, целует брата в обе щеки и говорит:

— Какой прекрасный день, Том! Я уже много лет не была так счастлива! У нас, Будденброков, слава богу, есть еще порох в пороховницах! Тот, кто думает, что это не так,— жестоко заблуждается! Теперь, когда на свете есть маленький Иоганн,— как хорошо, что мы его назвали Иоганном! — теперь, кажется мне, для нас наступят совсем новые времена.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Христиан Будденброк, владелец гамбургской фирмы «Х.-К.-Ф. Бурмистер и К°», держа в руках новомодную серую шляпу и трость с набалдашником в виде бюста монахини, вошел в гостиную, где сидели за чтением его брат и невестка. Это было вечером, в день крестин.

— Добрый вечер,— приветствовал их Христиан.— Слушай, Томас, мне нужно безотлагательно переговорить с тобой... Прошу прощения, Герда... Дело очень спешное.

Они прошли в неосвещенную столовую; консул зажег одну из газовых ламп на стене и пристально поглядел на брата. Ничего хорошего он не ждал от этого разговора. Днем он успел только поздороваться с Христианом и еще не обменялся с ним ни единым словом, но во время обряда консул внимательно наблюдал за братом и отметил, что тот необычно серьезен и чем-то встревожен, а к концу проповеди пастора Прингсгейма

он даже почему-то покинул зал и долго не возвращался. Томас не написал Христиану ни строчки с того самого дня, когда в Гамбурге вручил ему на покрытие долгов десять тысяч марок в счет его наследственной доли. «Продолжай в том же духе,— присовокупил консул.— Денежки ты растрясешь быстро. Надеюсь, что ты впредь не слишком часто будешь попадаться мне на пути. В последние годы ты очень уж злоупотреблял моим дружественным к тебе отношением». Зачем он теперь явился? Только что-нибудь чрезвычайное могло привести его сюда.

— Итак? — спросил консул.

— Я больше не могу,— отвечал Христиан, опускаясь боком на один из стульев, с высокой спинкой, стоявших вокруг обеденного стола, и зажимая худыми коленями шляпу и трость.

— Разреши узнать, чего именно ты не можешь и что привело тебя ко мне? — осведомился консул, продолжая стоять.

— Я больше не могу,— отвечал Христиан, с отчаянно мрачным видом вращая головой, причем его маленькие круглые, глубоко сидящие глаза блуждали по сторонам. Ему было теперь тридцать три года, но выглядел он гораздо старше. Его рыжеватые волосы так поредели, что череп был почти гол; скулы резко выдавались над впалыми щеками; нос — большой, костлявый, длинный — казался неимоверно горбатым.— Если бы одно это,— продолжал он, потирая левый бок.— Это не боль, это мука,— понимаешь, неопределенная, но непрестанная мука. Доктор Дрогемюллер в Гамбурге говорит, что с этой стороны у меня все нервы укорочены! Ты только представь себе — по всей левой стороне нервы, все до одного, укорочены! Такое странное ощущение! Иногда мне кажется, что бок сводит судорога, что вся левая сторона вот-вот отнимется, и навсегда... Ты и вообразить себе этого не можешь! Ни разу я не заснул спокойно. Я вскакиваю в ужасном испуге, потому что сердце у меня перестает биться... и это случается не однажды, а по меньшей мере десять раз, прежде чем мне удается заснуть. Не знаю, знакомо ли тебе... Я постараюсь описать поточнее... Вот тут...

— Перестань,— холодно прервал его консул,— все равно я не поверю, что ты явился сюда только затем, чтобы мне это рассказывать.

— Ах, Томас, если бы только это; тут еще и другое! Моя контора!.. Я больше не могу.

— Ты опять запутался? — Консул не вздрогнул, не повысил голоса. Он задал свой вопрос спокойно, глядя на брата усталыми, холодными глазами.

— Не в том дело, Томас. Говоря по правде, я, собственно, никогда и не выпутывался, даже с теми десятью тысячами... да ты и сам знаешь... Они только помогли мне еще немного продержаться. Дело в том, что... после этого я потерпел новые убытки, с партией кофе и в связи с антверпенским банкротством... Что правда, то правда. С тех пор я уже ничего не предпринимал, сидел себе потихоньку. А ведь жить-то надо... И вот теперь векселя и... долги... Пять тысяч талеров. Ах, ты не знаешь, как плохо все обстоит у меня! И ко всему — еще эта мука...

— Так ты, значит, сидел себе потихоньку!— вне себя закричал консул. В эту минуту он все же не совладал с собой.— Ты бросил воз там, где он увяз, а сам отправился развлекаться! Ты что, воображаешь, будто я не знаю, как ты жил это время? Как ты таскался по театрам, циркам, клубам, путался с непотребными женщинами?..

— Ты имеешь в виду Алину?.. Ну, в этих делах ты мало что смыслишь, Томас, а я, верно на свое несчастье, смыслю слишком много. В одном ты прав: эта история немало мне стоила и немало еще будет стоить, потому что, должен тебе сказать (мы ведь говорим как братья), третий ребенок, девочка, которой сейчас полгода,— она от меня...

— Осел!

— Не говори так, Томас! Надо быть справедливым даже в гневе по отношению к ней и к... Почему бы ребенку и не быть от меня? Алина совсем не непотребная, этого ты утверждать не вправе. Ей отнюдь не безразлично, с кем жить. Из-за меня она бросила консула Хольма, у которого куда больше денег,— вот как она ко мне относится... Нет, ты и представления не имеешь, Томас, что это за прелестное создание! Она такая здоровая, такая здоровая!.. — повторил Христиан, прикрывая лицо ладонью, как он это делал, рассказывая о «That's Maria» и о порочности лондонских жителей.— Посмотрел бы ты на ее зубы, когда она смеется! Таких зубов я ни у кого на свете не видывал, ни в Вальпараисо, ни в Лондоне... Никогда в жизни не забыть мне того вечера, когда мы с ней познакомились... в аустерии Улиха. Она тогда жила с консулом Хольмом. Ну, я порассказал кое о чем, слегка за ней приударил, и потом, когда она стала моею... Ах, Томас! Это совсем не то чувство, которое испытываешь после удачно проведенного дела... Ну, да ты не охотник слушать такие вещи, я сейчас вижу это по твоему лицу. К тому же с этим покончено. Я теперь распрощаюсь с ней, хотя из-за ребенка и не смогу порвать окончательно.

Я, понимаешь, хочу расплатиться в Гамбурге со всеми долгами и закрыть дело. Я больше не могу. С матерью я уже переговорил. Она даст мне вперед пять тысяч талеров, чтобы я смог распутаться. Ты, конечно, возражать не станешь; пусть лучше говорят, что Христиан Будденброк ликвидирует дело и уезжает за границу, чем... Христиан Будденброк — банкрот. Тут уж ты не можешь со мной не согласиться. Я думаю опять поехать в Лондон, Томас, и подыскать себе какое-нибудь место. Самостоятельность мне не по плечу, я с каждым днем в этом убеждаюсь. Такая ответственность!.. Когда служишь, то вечером, по крайней мере, спокойно уходишь домой... В Лондоне я жить люблю... Есть у тебя какие-нибудь возражения?

Во все время этого разговора консул стоял спиной к брату, засунув руки в карманы брюк, и чертил ногой какие-то фигуры на полу.

— Хорошо, отправляйся в Лондон,— просто сказал он и, даже не повернув головы к Христиану, пошел обратно в гостиную.

Но Христиан последовал за ним; он приблизился к Герде, продолжавшей читать, и протянул ей руку.

— Спокойной ночи, Герда. Да, скоро я опять уезжаю в Лондон. Удивительно, как судьба швыряет человека! Опять передо мною неизвестность, и в таком, знаешь ли, большом городе, где тебя на каждом шагу подстерегают злоключения и где невесть что может с тобой стрястись. Странно! Знакомо тебе это чувство? Вот где-то здесь, в области желудка... Очень странно...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сенатор Джемс Меллендорф, старейший избранник купечества, умер страшной, трагикомической смертью. Этот старец, хворавший сахарной болезнью, в последние годы до такой степени утратил инстинкт самосохранения, что безраздельно поддался страсти к тортам и пирожным. Доктор Грабов, бывший домашним врачом и у Меллендорфов, воспротивился этому со всей энергией, на которую был способен, и напуганная семья стала под деликатными предлогами отнимать у старика все сладкое. Что же тогда сделал сенатор? Окончательно впавши в детство, он снял себе в каком-то захудалом квартале — то ли на малой Грепельгрубе, то ли под Стеной, то ли в Энгельсвише — комнатку, чулан, логово, куда он и пробирался тайком поедать торты... Там его нашли мертвым, с набитым пирож-

ными ртом, в замазанном сюртуке, возле убогого стола, усыпанного сладкими крошками. Апоплексический удар уберег сенатора от медленного изпурения.

Отвратительные подробности этой смерти семья покойного всеми силами старалась сохранить в тайне, но они быстро распространились по городу и стали главной темой разговоров на бирже, в клубе, в «Гармонии», в конторах, в городской думе, на балах, обедах и раутах,— ибо случилось это в феврале месяце 1862 года, в самый разгар сезона. Даже приятельницы консульши Будденброк на «Иерусалимских вечерах», когда Леа Герхардт делала передышку, обменивались впечатлениями о смерти сенатора Меллендорфа; даже маленькие посетительницы воскресной школы перешептывались о том же, благоговейно ступая по огромным сеням будденброковского дома; а у г-на Штута с Глокенгиссерштрассе состоялся по этому поводу продолжительный разговор с супругой, той, что вращалась в высших кругах.

Но всеобщее любопытство недолго было приковано к прошлому. Одновременно с известием о кончине престарелого сенатора всплыл животрепещущий вопрос: кто будет преемником? И когда земля приняла его прах, ничто другое уже не занимало умы.

Сколько волнения! Сколько закулисной суеты! Приезжий, явившийся сюда полюбоваться на средневековые достопримечательности и живописные окрестности города, ничего этого не замечает, но какая бурная деятельность, какая ажитация скрыта от его глаз! Трезвые, здравые, не тронутые скепсисом мнения расшибаются одно о другое, гремят убежденными тирадами, покуда не проникнутся сознанием частичной правоты противника и не сойдутся в общем решении. Страсти разгораются! Давно погребенные надежды оживают, крепнут и вновь рассыпаются в прах. Старый коммерсант Курц с Беккергрубе, на каждых выборах получающий три или четыре голоса, опять станет с трепетом дожидаться дома вестей из ратуши; но его и на этот раз не выберут, и он снова с миной честной и самоуверенной будет постукивать тросточкой по тротуару и сойдет в могилу с чувством горькой обиды, что так и не сделался сенатором...

Когда в четверг, за семейным обедом у Будденброков, обсуждалась смерть Джемса Меллендорфа, г-жа Перманедер, высказав пристойные случаю сожаления, вдруг провела язычком по верхней губе и стала хитро посматривать на брата, что заставило дам Будденброк обменяться неописуемо едкими взо-

рами и затем, как по команде, зажмурить глаза и поджать губы. На лукавую улыбку сестры консул ответил мимолетным взглядом и тут же переменил разговор. Он знал, что в городе уже высказывают мысль, которую с упоением лелеяла Тони...

Имена всплывали и отметались. Назывались новые и, в свою очередь, подвергались тщательному рассмотрению. Геннинг Курц с Беккергрубе был слишком стар. В конце концов городу нужны свежие силы. Консул Хунеус, лесопромышленник, чьи миллионы несомненно перевесили бы чашу весов, согласно конституции не подлежал избранию, ибо его брат был сенатором. В списке удержались: консул Эдуард Кистенмакер — винторговец, и консул Герман Хагенштрем. Но наряду с этими именами с самого начала упорно называлось еще одно имя: Томас Будденброк. И чем ближе подходил день выборов, тем яснее становилось, что больше всего шансов у него и у Германа Хагенштрема.

Герман Хагенштрем, без сомнения, имел своих приверженцев и почитателей. Его рвение во всем, что касалось городских дел, поразительная быстрота, с которой фирма «Штрунк и Хагенштрем» достигла расцвета, широкий образ жизни консула, его дом и паштет из гусиных печенок, подававшийся к утреннему завтраку, производили немалое впечатление. Этот рослый, несколько тучный человек с короткой, но окладистой рыжеватой бородой и сплющенным книзу носом, деда которого не знал никто, даже собственный внук, и чей отец из-за своей выгодной, но сомнительной женитьбы не был принят в обществе, но все же сумел породниться и стать вровень с несколькими наиболее видными семействами,— бесспорно, был из ряда вон выдающейся личностью, заслужившей всеобщее уважение. То новое и, в силу новизны, обаятельное, что отличало Германа Хагенштрема и, по мнению многих, ставило его выше других сограждан, заключалось в присущей ему терпимости и либерализме. Легкость и размах, с которыми он зарабатывал и тратил деньги, не имели ничего общего с размеренным, терпеливым, наследственным трудолюбием здешних коммерсантов. Этот человек, свободный от оков традиций и преемственности, был независим в своих действиях и чуждался всего старомодного. Он и жил-то не в одном из тех старинных, нелепо обширных патрицианских домов, где вокруг гигантских сеней тянутся выбеленные галереи. В его новом доме на Зандштрассе, являвшейся, собственно, только продолжением Брейтенштрассе,— доме с неказистым, выкрашенным масляной краской фасадом, но с умело и практично расположенными внутренними помещениями и

всеми современными удобствами, не было ничего чопорного. Недавно, по случаю большого раута, консул Хагенштрем пригласил в этот самый дом певицу из Городского театра; после ужина она пела перед гостями, в числе которых находился и его брат — доктор прав, тонкий ценитель искусств, и уехала, щедро одаренная хозяином. В городской думе он отнюдь не ратовал за ассигнование крупных денежных сумм на реставрацию памятников средневековья, но зато — факт неоспоримый — первым из всех горожан устроил у себя в доме и в конторе газовое освещение. Если консул Хагенштрем и руководствовался в жизни какой-нибудь традицией, то это была унаследованная от старого Хинриха Хагенштрема традиция свободного, прогрессивного и терпимого мировоззрения; на нем-то и основывалось почтительное удивление, которое он внушал своим согражданам.

Почетное положение Томаса Будденброка держалось на другом. В его лице чтили не только его самого, но и его еще не позабытых отца, деда и прадеда; помимо собственных деловых и общественных успехов, он являлся носителем старого купеческого имени, славного уже в течение столетия. Правда, немалую роль тут играла и его собственная непринужденная, обаятельная, светски обходительная манера носить и поддерживать это имя, так же как и его, необычная даже среди местных «ученых», общая образованность, в равной мере внушавшая почтение его согражданам и отчуждавшая их от него.

В четверг у Будденброков ввиду присутствия консула о предстоящих выборах говорилось немного, да и то в форме каких-то отдельных, почти безразличных замечаний, причем старая консульша скромно отводила в сторону голубые глаза. Только г-жа Перманедер не могла отказать себе в удовольствии нет-нет да и блеснуть своим поразительным знанием конституции, отдельные параграфы которой, а именно те, что относились к выборам в сенат, она изучила не менее досконально, чем в свое время законоположение о разводе. Она рассуждала об избирательных куриях, о составе избирателей, о бюллетенях, взвешивала все возможные случайности, без запинки произносила слова торжественной присяги, которую произносят избиратели, болтала о «нелицеприятном обсуждении» всех кандидатур в отдельных куриях и о том, как было бы замечательно, если бы она могла принять участие в «нелицеприятном обсуждении» личности Германа Хагенштрема. Затем она вдруг начала пересчитывать косточки от сливового компота на тарелке брата: «будет — не будет, будет — не бу-

дет», и быстро перебросила к нему недостающую косточку с соседней тарелки, а после обеда, не в силах больше сдерживать своих чувств, потянула консула за рукав в сторонку.

— О, господи, Том, если ты станешь... если наш герб будет водружен в ратуше, в оружейной палате... О! Я умру от счастья! Да, да, просто умру, вот увидишь!

— Тони, голубушка, веди себя поспокойнее и посолиднее, очень тебя прошу! Обычно тебе это так хорошо удается. Разве я суечусь, как Геннинг Курц? Мы и без сенаторского титула что-нибудь да значим... И я верю, что ты останешься в живых при любом исходе.

Волненье, дебаты, борьба мнений продолжались. Консул Петер Дельман, suitier, к этому времени совсем уже развалившийся свое дело, которое существовало разве что на вывеске, и благополучно проевший наследство своей двадцатисемилетней дочери, тоже принял участие в предвыборной кампании, выразившееся в том, что он сначала на обеде у консула Будденброка, а затем на обеде у Германа Хагенштрема, обращаясь к хозяину, громовым и раскатистым голосом восклицал: «Господин сенатор!» Зато старый маклер Зигизмунд Гош расхаживал по городу, словно рыкающий лев, грозясь без зазрения совести удушить каждого, кто не пожелает голосовать за консула Будденброка.

— Консул Будденброк, милостивые государи!.. О, что за человек! Я стоял бок о бок с его отцом в тысяча восемьсот сорок восьмом году, когда тот в мгновенье ока усмирил ярость взбунтовавшейся черни... Если бы существовала на свете справедливость, не то что консул Томас Будденброк, а его отец и отец его отца уже были бы сенаторами.

Но, собственно говоря, воспламенял сердце г-на Гоша не столько сам консул Будденброк, сколько г-жа консульша, урожденная Арнольдсен. Он не обменялся с нею ни единым словом, ибо не принадлежал к богатому купечеству, не обедал за их столом и не наносил им визитов, но, как мы уже говорили, едва только Герда Будденброк появилась в городе, как взор угрюмого маклера, вечно влекущийся к необычному, уже отметил ее. Он вмиг понял, что эта женщина создана для того, чтобы хоть отчасти наполнить содержанием его серую жизнь, и душою и телом рабски предался той, которая едва ли даже знала его по имени. С тех пор он, как тигр вокруг укротителя, мысленно петлял вокруг этой нервозной, крайне сдержанной дамы, которой никто не потрудился его представить; и все это со зловещим выражением лица и с теми же коварно-смиренными

повадками, с какими он, встречаясь с нею на улице, к великому ее изумлению, снимал перед ней свою иезуитскую шляпу. Заурядный мир, его окружавший, не позволял ему свершить ради этой женщины неслыханное злодейство, за которое он, конечно, уж предстал бы к ответу с сатанинским спокойствием, закутанный в неизменный свой плащ, горбатый, угрюмый, равнодушный. Будничность этого мира не позволяла ему путем убийств, преступлений и кровавых интриг возвести эту женщину на императорский трон. Единственное, что ему оставалось, это подать свой голос в ратуше за ее неистово почитаемого им супруга, да еще, может быть, со временем посвятить даме своего сердца перевод полного собрания пьес Лопе де Вега.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Любая вакансия, освободившаяся в сенате, должна быть замещена в течение одного месяца»,— так значилось в конституции. Прошло три недели со дня смерти Джемса Меллендорфа, и вот наступил день выборов, промозглый февральский день.

В час дня на Брейтенштрассе, перед ратушей, с ее украшенным глазурью фасадом, с остроконечными башнями и башенками, вздымающимися к белесому небу, с выступающими вперед колоннами крытого подъезда и готическими аркадами, открывающими вид на рыночную площадь с фонтаном посередине, собралась толпа. Люди упорно стоят на грязном рыхлом снегу, расплывающемся у них под ногами, переглядываются, смотрят на окна ратуши, вытягивают шеи. Ибо за этим порталом, в зале заседаний, где полукругом расставлено четырнадцать кресел, избирательное собрание, состоящее из сенаторов и членов городской думы, дожидается предложений избирательных курий.

Процедура очень затянулась. Видно, дебаты в куриях никак не улягутся, борьба идет не на шутку, и собранию будет предложена не одна, а несколько кандидатур,— в противном случае бургомистр просто объявил бы избранным названное куриями лицо... Странно! Никто не знает, где и как зарождаются слухи и каким образом просачиваются из ратуши на улицу, чтобы немедленно распространиться в толпе. Или, может быть, г-н Касперсен, старейший из двух служителей ратуши, тот, что именует себя не иначе как «государственным чиновником», стоя в подъезде с опущенным долу взором и сжатыми зубами, как-нибудь незаметно, уголками губ, сигнализирует толпе? Вот

уже стало известно, что предложения всех трех избирательных курий наконец поступили и что выставлены три кандидата: Хагенштрем, Будденброк, Кистенмакер! Дай бог, чтобы при подаче бюллетеней голоса не разделились! Те, на ком нет теплых ботиков, начинают усиленно приплясывать на месте — у них уже коченеют ноги.

Здесь, на улице, собрались представители всех классов общества. Моряки с открытыми татуированными шеями стоят, засунув руки в широкие и глубокие карманы брюк; грузчики в блузах и коротких штанах из черной промасленной парусины, с мужественными и простодушными лицами; ломовики с бичами в руках,— они слезли со своих доверху нагруженных мешками подвод, чтобы узнать результаты выборов; служанки в завязанных на груди косынках, в передниках поверх толстых полосатых юбок, в беленьких чепчиках на затылке, с корзинами в обнаженных руках; торговки рыбой и зеленью, даже несколько смазливеньких цветочниц в голландских чепчиках, в коротких юбках и белых кофточках с широкими сборчатыми рукавами, струящимися из вышитых лифов; тут и торговцы, без шапок выскочившие из близлежащих лавок; оживленно обменивающиеся мнениями и хорошо одетые молодые люди — сыновья зажиточных купцов, проходящие обучение в конторах своих отцов или их приятелей, даже школьники с сумками для книг в руках или ранцами за плечами.

За спинами двух бородатых рабочих, прилежно жующих табак, стоит дама; она от волненья все время вертит головой, стараясь из-за четырехугольных плеч этих дюжих парней увидеть ратушу. На ней длинная, опушенная коричневым мехом ротонда, которую она обеими руками придерживает изнутри; лицо ее скрыто под густой коричневой вуалью; ноги в резиновых ботиках без устали топочут по талому снегу.

— Вот помяни мое слово, твоего хозяина, господина Курца, опять провалят,— говорит один рабочий другому.

— Да уж его дело гиблое. Они и обсуждают-то только трех: Хагенштрема, Кистенмакера и Будденброка.

— Ага! Теперь спрашивается только, кто кого осилит.

— А как по-твоему?

— По-моему? Да, пожалуй, Хагенштрем.

— А ну тебя!.. На черта нам сдался этот Хагенштрем? — Он сплевывает табак себе под ноги, так как плюнуть «дугой» из-за тесноты невозможно, потом обеими руками подтягивает штаны вверх из-под ремня и продолжает: — Хагенштрем обжора, он до того разжирел, что через нос дышать не может...

Нет, уж если хозяина моего, господина Курца, опять прокатят, так я за Будденброка. У него башка что надо!

— Так-то оно так, да Хагенштрем побогаче будет.

— Не велика важность. Тут не в богатстве дело.

— А Будденброк очень уж охоч пыль в глаза пускать — манжетки какие-то, шелковые галстуки, усы закрученные... Видал ты, как он ходит? Подпрыгивает на каждом шагу, точно сорока.

— Ну и дурак же ты! При чем тут сорока?

— Это у него, что ли, сестра от двух мужей домой вернулась?

Дама в ротонде вздрагивает.

— Да, такое уж дело вышло. Ну, да мы про то ничего не знаем — консул за сестру не в ответе.

«Конечно, не в ответе! — думает дама под вуалью.— Не в ответе! Слава тебе, господи!»

— И потом,— продолжает тот, что стоит за Будденброка,— у него ведь сам бургомистр сына крестил, а это что-нибудь да значит, уж будь покоен!

— Конечно, значит! — шепчет дама.— Слава богу, это произвело впечатление!..

Она опять вздрагивает: новый слух пронесся в толпе, пробежал по рядам и достиг ее ушей. Выборы не дали никакого результата. Отпал Эдуард Кистенмакер, получивший наименьшее число голосов. Борьба между Хагенштремом и Будденброком продолжается. Какой-то горожанин с важным видом заявляет, что в случае, если голоса разделятся поровну, будут избраны пять «старейшин», которые и решат дело большинством голосов.

Внезапно с подъезда ратуши доносится голос:

— Выбрали Хейне Зеехазе!

А Зеехазе горький пьяница, который развозит на тележке свежевыпеченный хлеб. Все покатываются со смеху и стараются разглядеть остряка. Даму под вуалью тоже на мгновенье охватывает нервный смех, плечи ее вздрагивают, но она тотчас же овладевает собой: сейчас не время шутить,— и опять, замирая от ожидания, устремляет взгляд на ратушу через плечи рабочих. Но в тот же миг руки ее опускаются, так что ротонда распахивается на груди; она стоит поникшая, бессильная, уничтоженная...

«Хагенштрем!» Весть эта, неведомо каким путем, проникла в толпу. Может быть, выросла из-под земли или упала с неба, но она повсюду. Никто уже не спорит. Все решено: Хагенштрем! Да, да, значит, все-таки он! Больше ждать нечего.

Даме под вуалью следовало бы это знать заранее. Так всегда бывает в жизни. Сейчас остается только идти домой. Слезы душат ее.

Но это длится не больше секунды. Какой-то внезапный толчок вдруг заставляет толпу податься назад, движение пробегает по рядам, передние, пятясь, напирают на задних — и в то же мгновение у подъезда вспыхивает что-то ярко-красное — алые камзолы обоих служителей, Касперсена и Улефельдта. Они появляются бок о бок, в полном парадном облачении — при шпагах, в треуголках, в белых рейтузах, в ботфортах с желтыми отворотами, и прокладывают себе путь в расступающейся толпе.

Они шагают, как сама судьба: суровые, безмолвные, величественные, не глядя по сторонам, с неумолимой решительностью держась направления, предуказанного им исходом выборов. И идут они не к Зандштрассе,— нет, не туда! — а направо вниз, по Брейтенштрассе!

Дама под вуалью не верит своим глазам. Но все вокруг видят то же, что и она. Толпа устремляется вслед за служителями, уже слышны голоса: «Нет, нет, Будденброк! Хагенштрем не прошел!»

Из подъезда торопливо выходят какие-то господа, они оживленно переговариваются, заворачивают за угол и идут вниз по Брейтенштрассе, торопясь первыми принести поздравления.

Дама плотно запахивает ротонду и пускается бежать. Она бежит так, как, собственно, даме бегать не положено. Вуаль сбилась на сторону и открыла ее разгоряченное лицо, но она этого не замечает. И хотя один из ее обшитых мехом ботиков то и дело зачерпывает снег и отчаянно ей мешает, дама обгоняет вся и всех. Она первой достигает дома на углу Беккергрубе, отчаянно трезвонит в колокольчик, кричит отворившей ей дверь служанке: «Идут, Катрин, идут!» — опрометью взбегает по лестнице, врывается в гостиную, где брат, и впрямь несколько бледный, откладывает газету и делает движение, как бы умеряющее ее пыл... Она бросается ему на шею и снова восклицает:

— Идут, Том, идут! Ты, ты избран, а Герман Хагенштрем провалился!

Это было в пятницу. А уже на следующий день сенатор Будденброк, стоя в ратуше перед креслом покойного Джемса Меллендорфа, в присутствии отцов города и делегатов городской думы приносил торжественную присягу.

— Клянусь добросовестно выполнять свои обязанности, в меру сил стремиться ко благу родного города, свято придерживаться его конституции, честно управлять общественным достоянием и при несении службы, равно как и участвуя в выборах, не руководствоваться ни собственной выгодой, ни родственными или дружескими отношениями. Клянусь блюсти законы города и по справедливости судить о каждом, будь он богат или беден. Клянусь не оглашать того, что не подлежит оглашению, и особливо хранить в тайне то, что мне будет тайно доверено. И да поможет мне господь бог!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Все наши желания и поступки порождаются известными потребностями наших нервов, потребностями, которые нелегко определить словами. То, что считалось «суетностью» Томаса Будденброка — его забота о своей внешности, расточительное щегольство в одежде,— на самом деле было чем-то совершенно иным. В корне своем то было желанием деятельного человека сознавать себя неизменно подтянутым, безупречным с головы до пят,— поскольку такое сознание поддерживает иллюзию твердости и спокойствия духа. Однако с годами росли требования, которые он предъявлял к самому себе и которые окружающие предъявляли к его способностям и силам. Он был перегружен делами — личными и общественными. При распределении обязанностей между членами сената ему досталось управление департаментом налогов. Но железнодорожное дело, таможни и прочие государственные институции также требовали его неусыпного внимания. Во время бесчисленных заседаний всевозможных правлений и контрольных комиссий, в которых он неизменно председательствовал после своего избрания, ему требовались вся его осмотрительность, светскость и гибкость, чтобы не задеть самолюбия людей, много старше его годами, создать видимость уважения к их долголетнему опыту и при этом не выпустить власти из своих рук.

Если, ко всеобщему удивлению, в то же время разительно возросла и его «суетность», то есть потребность освежаться, физически обновляться, несколько раз на дню менять одежду, чтобы чувствовать себя бодрым и подтянутым, то, хотя Томасу Будденброку едва минуло тридцать семь лет, это указывало только на упадок его сил и быструю утомляемость.

Когда добрейший доктор Грабов уговаривал его немного отдохнуть, он отвечал:

— Нет, нет, мой милый доктор! С этим еще надо повременить!

Он хотел сказать, что ему предстоит еще неимоверно много работы, прежде чем он — в далеком будущем — почувствует, что достиг цели, завоевал себе право на отдых и приятный досуг. Но в глубине души сенатор не верил, что наступит такое время. Какая-то сила гнала его вперед, не давая ему покоя. Даже когда он будто бы и отдыхал — скажем, после обеда, с газетой в руках, неторопливо покручивая свой длинный ус,— у него на бледных висках бились жилки и тысячи замыслов роились в голове. Он с одинаковой серьезностью приступал к разработке какого-нибудь коммерческого маневра или публичной речи и к осуществлению своего давнишнего замысла — полностью обновить запас белья, чтобы хоть в этой области на время испытать ощущение законченности и порядка!

Поскольку такого рода приобретения и обновления доставляли ему — пусть временную — успокоенность, он не стеснял себя в расходах, тем более что в последние годы дела у него шли блестяще, как разве что в дедовские времена. Фирма становилась все более уважаемой не только в городе, но и далеко за его пределами. Все коммерсанты, кто с завистью, кто с дружеским уважением, воздавали должное его деловитости и оборотистости, тогда как он сам тщетно стремился работать спокойно и самоудовлетворенно, ибо с отчаянием сознавал, как отстает действительность от замыслов, непрерывно порождаемых его фантазией.

Вот почему никак нельзя было назвать заносчивостью то, что осенью 1863 года сенатор Будденброк задумал постройку нового большого дома. Счастливый человек с места не трогается. Принять такое решение его побудило внутреннее беспокойство, хотя сограждане и приписывали эту новую затею его «суетности», не находя ей другого объяснения. Новый дом, полная перемена внешнего образа жизни, сборы, переезд, устройство на новом месте — без всего старого, ненужного, того, что осело за долгие годы. Эта перспектива возбуждала в нем радостное ощущение опрятности, свежести, незапятнанности, казалась ему источником силы. А он, верно, очень нуждался в таком источнике, ибо тут же рьяно взялся за осуществление своего плана и уже облюбовал место для постройки.

Это был довольно большой участок, на нижнем конце Фишергрубе. Там продавался обветшалый, запущенный дом, хозяйка и единственная обитательница которого — старая дева, последний отпрыск обедневшего рода — недавно скончалась.

На этом месте сенатор хотел воздвигнуть свой новый дом и, по пути к гавани, зорко приглядывался к нему. Соседство было неплохое — добротные бюргерские дома с высокими фронтонами. Самым неказистым из них был дом насупротив — узенькое здание с цветочной лавкой внизу.

Сенатор горячо взялся за осуществление своего замысла. Набросал предварительную смету, и, хотя сумма, которую он определил на постройку, была изрядной, оказалось, что ее можно выделить без особых усилий. Тем не менее он побледнел при мысли, что все это окажется бесполезной затеей, и не мог не признаться себе, что нынешний его дом достаточно просторен для него, его жены, ребенка и прислуги. Но подсознательная потребность была сильнее, и вот, стремясь получить стороннюю поддержку, он решил открыться сестре.

— Итак, Тони, что ты на это скажешь? Наша винтовая лесенка в ванную комнату, конечно, очень мила, но в конце концов это не дом, а коробочка. Очень уж здесь все непрезентабельно, правда? И теперь, когда ты, можно сказать, сделала меня сенатором... Одним словом, я считаю, что теперь мне уже подобает...

О, господи! По представлениям г-жи Перманедер, что только ему не подобало! Она вся так и зажглась, скрестила руки на груди, вскинула плечи и, высоко подняв голову, зашагала по комнате.

— Ты прав, Том! Тысячу раз прав! Какие тут могут быть сомнения? Да еще когда у человека жена — урожденная Арнольдсен со ста тысячами талеров приданого. О, я очень горжусь, что ты мне первой рассказал об этом! Спасибо тебе, Том!.. И уж если браться за дело, так чтобы все выглядело по-настоящему аристократично.

— И я того же мнения, Тони! Скаредничать я не намерен. Проект надо поручить Фойту. Заранее предвкушаю, как мы с тобой будем его рассматривать. У Фойта превосходный вкус.

Вторым человеком, к которому Томас обратился за одобрением, была Герда. Она немедленно с ним согласилась. Правда, хлопоты с переездом не сулили ничего приятного, но перспектива иметь большую музыкальную комнату с хорошей акустикой не могла ее не порадовать. Что же касается старой консульши, то она просто сочла этот новый замысел логическим следствием всех прочих жизненных удач, за которые не уставала благодарить создателя. Со времени рождения наследника и избрания консула в сенат ее материнская гордость взыграла пуще прежнего. Она так произносила: «Мой сын, сенатор», что дам Будденброк с Брейтенштрассе всякий раз передергивало.

Стареющим девам, увы, нечем было себя вознаградить за досадное зрелище внешнего преуспевания Томаса Будденброка. Высмеивать по «четвергам» бедную Клотильду — не велика радость. Что же касается Христиана, который при содействии мистера Ричардсона, бывшего своего принципала, устроился на место в Лондоне и недавно телеграфировал оттуда о своем вопиюще нелепом желании сочетаться браком с мадемуазель Пуфогель — что, разумеется, встретило самый решительный отпор со стороны консульши,— то Христиан стоял теперь в одном ряду с Якобом Крегером: его особа никакого интереса уже не представляла. А посему дамам Будденброк оставалось разве что отыгрываться на маленьких слабостях консульши и г-жи Перманедер,— к примеру, заводить речь о прическах. Ведь консульша была способна с невиннейшей миной заявлять, что она предпочитает гладко зачесывать «свои волосы», тогда как всякий разумный человек — и в первую очередь дамы Будденброк — знал, что неизменно рыжеватые букли под чепцом консульши меньше всего были «ее волосами». Еще занятнее было наталкивать кузину Тони на разговор о лицах, сыгравших столь неблаговидную роль в ее жизни. Слезливый Тришке! Грюнлих! Перманедер! Хагенштремы!.. Эти имена слетали с уст Тони, как короткие и гневные звуки фанфар, и это приятно ласкало слух дочерей дяди Готхольда.

Далее: они прекрасно отдавали себе отчет — да и от других не считали нужным скрывать,— что маленький Иоганн неестественно медленно начинает ходить и говорить. И правда, Ганно,— это уменьшительное имя придумала для сына сенаторша Будденброк,— умевший уже довольно отчетливо произносить имена всех членов своей семьи, никак не мог сколько-нибудь разборчиво выговорить: Фридерика, Генриетта, Пфиффи. Да и с ходьбой у него действительно обстояло неважно: в год и три месяца он еще не сделал ни шага; и дамы Будденброк, безнадежно покачивая головами, начали уже поговаривать, что ребенок никогда не будет ходить и на всю жизнь останется немым.

Впоследствии им пришлось признать ошибочность этого мрачного пророчества, но в то время никто не мог отрицать, что Ганно несколько отставал в развитии. В раннем детстве он много болел и держал в непрерывном страхе своих близких. Он появился на свет таким тихим и слабеньким, что трехдневный приступ холерины, случившийся с ним вскоре после крестин, едва не остановил навек маленькое сердечко, которое доктор Грабов с превеликим трудом заставил биться в первые мгновения жизни. Но Ганно выжил, и славный доктор предписал осо-

бое питание и тщательнейший уход, для того чтобы время прорезывания зубов не стало для него роковым. И все же едва сквозь десну пробился первый беленький зубок, как ребенка начали сводить судороги,— припадок, повторившийся потом несколько раз в еще более жестокой и страшной форме. И опять дошло до того, что старый доктор только безмолвно пожимал руки родителям... Мальчик лежал в полном изнеможении, и недвижный взгляд его глаз, окруженных голубыми тенями, свидетельствовал о мозговом заболевании. Конец казался чуть ли не желательным.

Однако Ганно справился с болезнью, взгляд его начал различать отдельные предметы, и если перенесенные испытания и замедлили его развитие в смысле ходьбы и речи, то непосредственная опасность все же миновала.

Для своих двух лет Ганно был довольно крупным ребенком. Светло-русые, на редкость шелковистые волосы начали у него отрастать после болезни с необыкновенной быстротой и вскоре уже спадали на плечики, тонувшие в сборках свободного и широкого платьица. В нем уже явственно проступали черты семейного сходства: широкие, несколько коротковатые, но изящные будденброковские руки; нос в точности как у отца и прадеда — хотя ноздри Ганно, видимо, и в будущем должны были остаться более тонко очерченными; нижняя часть лица — удлиненная и узкая — нисколько не напоминала ни Будденброков, ни Крегеров, а выдалась в Арнольдсенов — губы смыкались скорбно и боязливо, что впоследствии прекрасно гармонировало с выражением его необычных, золотисто-карих глаз с голубоватыми тенями у переносицы.

Так начал он жизнь под сдержанно-нежными взглядами отца, заботливо опекаемый матерью, боготворимый теткой Антонией, задариваемый консульшей и дядей Юстусом. И когда его хорошенькая колясочка катилась по улицам, люди смотрели вслед младшему Будденброку с интересом и любопытством. За ним все еще ходила почтенная нянюшка, мадам Дехо, но было уже решено, что в новом доме ее место заступит Ида Юнгман, а консульша подыщет себе другую домоправительницу.

Сенатор Будденброк осуществил свои планы. Покупка участка на Фишергрубе обошлась без каких бы то ни было затруднений, а дом на Брейтенштрассе, за продажу которого с коварной миной взялся маклер Гош, был приобретен Стефаном Кистенмакером,— семья его увеличивалась, а он вместе со своим братом очень недурно зарабатывал на красном вине. Г-н Фойт принял на себя разработку проекта, и вскоре на се-

мейных «четвергах» уже можно было, развернув тщательно выполненный чертеж, любоваться будущим домом — великолепным зданием с кариатидами из песчаника и с плоской крышей, относительно которой Клотильда протяжно и простодушно заметила, что там можно будет пить кофе после обеда. С нижними помещениями на Менгштрассе, которым предстояло опустеть, так как консул решил перевести на Фишергрубе и свою контору, тоже все устроилось как нельзя лучше: городское общество страхования от огня охотно взяло их в аренду.

Настала осень, старое серое здание было превращено в щебень; и когда зима сменилась весною, над его обширными подвалами высился новый дом Томаса Будденброка. В городе только и разговоров было что об этом доме: «Вот дом так дом! Лучший особняк во всей округе! Красивее, пожалуй, и в Гамбурге не сыщешь! Ну и денежек же убухал на него сенатор! Его отец на такие траты не отважился бы!»

Соседи, обитатели домов с высокими фронтонами, с утра до вечера лежали на подоконниках, наблюдая за тем, как каменщики работают на лесах, дивясь быстро подвигающейся постройке и гадая, когда состоится освящение нового дома.

День этот наступил, и все свершилось честь по чести. Самый старый из каменщиков, стоя наверху, на плоской крыше, сказал речь, потом швырнул через плечо бутылку шампанского, и тут же среди поднятых флагов взвился в воздух и закачался на ветру огромный венок из роз и зелени, перевитый пестрыми лентами. А затем в ближайшем трактире всем рабочим было устроено угощение: пиво, бутерброды, сигары; и сенатор с супругой и маленьким сыном, которого несла на руках мадам Дехо, прошелся между длинных столов и благодарил рабочих, приветствовавших его криками «ура».

По выходе из трактира Ганно опять усадили в колясочку, а Томас с Гердой перешли на другую сторону, чтобы еще раз взглянуть на красный фасад с белыми кариатидами. Там, перед маленьким цветочным магазином с узкими дверцами и убогим окном, в котором на зеленой стеклянной подставке было выставлено несколько луковичных растений, стоял его владелец Иверсен, белокурый молодой гигант, и его хрупкая жена со смуглым лицом южанки. Она держала за руку пятилетнего мальчугана, другой рукой медленно катая взад и вперед колясочку, в которой спал ребенок поменьше, и, по всей видимости, ждала еще третьего.

Иверсен поклонился, почтительно и неловко, в то время как его жена, не переставая катать колясочку, внимательно и

спокойно разглядывала своими черными, чуть раскосыми глазами сенаторшу, приближавшуюся к ней под руку с мужем.

Томас остановился и указал тросточкой на венок вверху:

— Отличная работа, Иверсен!

— Я тут ни при чем, господин сенатор. Это жена постаралась.

— А! — коротко произнес сенатор Будденброк. Он резким движением вскинул голову, посмотрел на г-жу Иверсен открытым, ясным, дружелюбным взором и, ни слова не добавив, учтиво откланялся.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Раз как-то, в воскресенье,— было начало июля и сенатор Будденброк уже около месяца жил в новом доме,— г-жа Перманедер под вечер навестила брата. Она прошла через прохладный каменный холл, украшенный барельефами по мотивам Торвальдсена, откуда правая дверь вела в контору, позвонила у левой, открывавшейся автоматически — путем нажатия резинового баллона в кухне, и, встретив в обширной прихожей (где у подножия лестницы стоял медведь — подарок зятя Тибуртиуса) слугу Антона, узнала, что сенатор еще в конторе.

— Хорошо,— сказала она,— спасибо, Антон. Я пройду к нему.

Тем не менее она прошла вправо, мимо конторской двери, откуда ее взору открылась грандиозная лестничная клетка, во втором этаже являвшаяся продолжением литых чугунных перил и в третьем венчавшаяся пространной галереей — белой колоннадой, сверкавшей золотыми капителями; с головокружительной высоты стеклянного потолка свисала гигантская золоченая люстра.

— Очень аристократично! — тихо и удовлетворенно произнесла г-жа Перманедер, глядя на это море света, бывшее для нее прежде всего символом преуспеяния, мощи и блеска Будденброков. Но тут же вспомнила, что явилась сюда по весьма печальному поводу, и медленно направилась в контору.

Томас в полном одиночестве сидел на своем обычном месте у окна и писал письмо. Он поднял глаза, вскинул светлую бровь и протянул сестре руку:

— Добрый вечер, Тони. Что скажешь хорошего?

— Ах, хорошего мало, Том!.. Знаешь, твоя лестница прямо-таки великолепна!.. А ты сидишь впотьмах и что-то строчишь!

— Да, спешное письмо... Так, ты говоришь, ничего хорошего? Давай лучше пойдем в сад и там поговорим, так будет лучше.

Когда они спускались по лестнице, со второго этажа донеслось скрипичное адажио.

— Слушай! — сказала г-жа Перманедер и остановилась.— Герда играет! Божественно! О, господи, эта женщина настоящая фея! А как Ганно, Том?

— Он, верно, ужинает сейчас с Идой. Плохо, что у него все еще не ладится с ходьбой...

— Всему свое время, Том, не спеши! Ну как, довольны вы Идой?

— Да разве ею можно быть недовольным!

Они прошли через сени, мимо кухни и, открыв застекленную дверь, по двум ступенькам спустились в нарядный благоухающий цветник.

— Итак? — спросил сенатор.

Погода стояла теплая и тихая. Вечерний воздух был напоен ароматом, подымавшимся от многочисленных искусно возделанных клумб; фонтан, обсаженный высокими лиловыми ирисами, вздымал мирно журчащие струи навстречу темному небу, где уже зажигались первые звезды. В глубине сада маленькая лестница с двумя невысокими обелисками по бокам вела к усыпанной гравием площадке, на которой был воздвигнут открытый деревянный павильон; там, в тени спущенной маркизы, стояло несколько садовых стульев. Слева участок сенатора был отделен от соседнего сада высокой оградой; справа, по боковой стене соседнего дома, во всю вышину, была прилажена деревянная решетка, которую со временем должен был увить плющ. Возле лестницы и на площадке у входа в павильон росло несколько кустов смородины и крыжовника, но дерево в саду было только одно — сучковатый волошский орешник.

— Дело в том,— нерешительно начала г-жа Перманедер, шагая рядом с братом по дорожке, огибающей павильон,— что Тибуртиус пишет...

— Клара?! — воскликнул Томас.— Не тяни, пожалуйста, говори прямо!

— Да, Том, она слегла, ей очень плохо. Доктор опасается, что это туберкулез... туберкулез мозга. Даже выговорить-то страшно! Вот письмо, которое я получила от ее мужа. А эту приложенную к нему записку — в ней, по словам Тибуртиуса, стоит то же самое — мы должны передать маме, немного подготовив ее сначала. И вот еще одна записка маме: Клара сама с

трудом нацарапала ее карандашом. Тибуртиус пишет, что эти строки она назвала последними в своей жизни. Как это ни печально, но она совсем не борется за жизнь. Клара ведь всегда помышляла о небе,— заключила г-жа Перманедер, утирая слезы.

Сенатор, заложив руки за спину, понуро шагал рядом с нею.

— Ты молчишь, Том?.. В общем, ты прав: что тут скажешь? И все это сейчас, когда и Христиан лежит больной в Гамбурге...

Увы, так оно и было. За последнее время «мука» в левой ноге Христиана столь усилилась, превратилась в такую доподлинную боль, что он забыл о всех прочих своих недугах. Окончательно растерявшись, он написал матери, что должен вернуться домой, к ее материнским заботам,— отказался от места в Лондоне и уехал. Но, едва добравшись до Гамбурга, слег. Врач определил суставной ревматизм и, считая, что дальнейшее путешествие в таком состоянии для него невозможно, прямо из гостиницы отправил Христиана в больницу. Там он лежал теперь и диктовал ходившему за ним служителю грустные письма.

— Да,— вполголоса отвечал сенатор,— как нарочно, одно к одному.

Тони тихонько дотронулась до его плеча:

— Не унывай, Том! У тебя для этого нет никаких оснований! Тебе нужно набраться мужества...

— Да, видит бог, мужества мне требуется немало!

— Что ты, Том?.. Скажи, если не секрет, почему третьего дня, в четверг, ты был так неразговорчив за обедом?

— Ах, все дела, дитя мое! Я продал немалую партию ржи по не слишком выгодной цене,— а попросту говоря — очень большую, и очень невыгодно.

— Ну, это бывает, Том! Сегодня так, а завтра ты покроешь убытки. Из-за этого впадать в уныние...

— Нет, Тони.— Он покачал головой.— Я в таком дурном настроении вовсе не от деловой неудачи. Напротив, эта неудача — следствие моего дурного настроения.

— Так что же с тобой? — испуганно и удивленно воскликнула она.— Казалось бы... казалось бы, ты должен быть всем доволен, Том! Клара жива, с божьей помощью она еще поправится... А все остальное?.. Вот мы гуляем по твоему саду, и такой кругом стоит аромат. Вон твой дом — не дом, а мечта! Герман Хагенштрем живет в конуре по сравнению с тобой! И все это ты создал сам!

— Да, дом, пожалуй, даже слишком хорош, Тони. Я хочу

сказать — слишком он еще новый. Я в нем не успел обжиться. Оттого, наверно, и дурное настроение, которое меня гнетет, оттого у меня все и не ладится. Я так радовался ему заранее! Но радость предвкушения, как всегда бывает, осталась самой большой радостью,— потому что все хорошее приходит с опозданием, когда ты уже не можешь ему радоваться...

— Не можешь радоваться, Том? Ты? Еще такой молодой!

— Человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. И когда хорошее, желанное, с трудом добытое является слишком поздно, то на него уже насело столько всякой досадной мелкой дряни, столько житейской пыли, которой не может предусмотреть никакая фантазия, что оно тебя только раздражает и раздражает...

— Пусть так, пусть так, Том! Но ведь ты сам сказал: человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает?

— Да, Тони. Это может пройти — дурное настроение, я хочу сказать. Но в последнее время я чувствую себя старше своих лет. У меня деловые неполадки, а вчера еще, вдобавок ко всему, на заседании правления Бюхенской железной дороги консул Хагенштрем так разделал меня,— можно сказать, уложил на обе лопатки, чуть что не выставил меня на всеобщее осмеяние... И вот мне кажется, что раньше ничего подобного со мной не могло случиться. Мне кажется, что-то ускользает у меня из рук, я уже не умею держать это неопределенное «что-то» так крепко, как раньше... Что такое, собственно, успех? Это таинственная, необъяснимая сила — осмотрительность, собранность, сознание, что ты воздействуешь на ход жизненных событий уже самим фактом своего существования, вера в то, что жизнь угодливо приспособляется к тебе. Счастье и успех внутри нас. И мы должны держать их прочно, цепко. И как только тут, внутри, что-то начинает размягчаться, ослабевать, поддаваться усталости, тогда и там, вовне, все силы вырываются на свободу, противятся тебе, восстают против тебя, ускользают из-под твоего влияния... И тут все начинает наслаиваться одно на другое, удар следует за ударом, и... человеку — крышка! Я в последние дни все вспоминаю одну турецкую поговорку, не помню, где я ее вычитал: «Когда дом построен, приходит смерть». Ну, не обязательно смерть, но — движение вспять, спуск под уклон, начало конца... Помнишь, Тони,— он взял ее под руку и продолжал еще тише,— на крестинах Ганно ты сказала: «Мне кажется, что для нас опять наступят совсем новые времена». Я как сейчас помню. И мне тогда подумалось, что

ты права. Потому что как раз подоспели выборы в сенат, мне повезло, а здесь, как из-под земли, вырос дом... Но «сенатор» и «дом» — это все внешнее, а ведь мне, в отличие от тебя, известно — из жизни, из истории,— как часто бывает, что внешние, видимые, осязаемые знаки и символы счастья, расцвета появляются тогда, когда на самом деле все уже идет под гору. Для того чтобы стать зримыми, этим знакам потребно время, как свету вон той звезды,— ведь мы не знаем, может быть, она уже гаснет или совсем угасла в тот миг, когда светит нам всего ярче...

Он умолк, и несколько мгновений они шли, ни слова не говоря, только фонтан плескался в тиши да ветерок шелестел в листве орешника. Затем г-жа Перманедер вздохнула так тяжко, что это было похоже на всхлип.

— Как грустно ты говоришь, Том! Никогда еще я от тебя таких грустных речей не слыхала! Но хорошо, что ты выговорился,— теперь тебе легче будет выбросить все эти мысли из головы.

— Да, Тони, мне надо попытаться это сделать — по мере возможности. А теперь дай мне обе записки, пастора и Клары. Тебе же будет приятнее, если я все возьму на себя и завтра утром сам поговорю с мамой. Бедная мама! Но если это туберкулез — надо смириться.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— И ты даже не спросила меня, проделала все за моей спиной!

— Я поступила так, как должна была поступить!

— Ты поступила необдуманно и неразумно.

— Разум еще не высшее в этом мире!

— О, без красивых фраз, пожалуйста!.. Речь идет об обыкновенной справедливости, которою ты возмутительнейшим образом пренебрегла!

— Позволь тебе заметить, сын мой, что, разговаривая со мной таким тоном, ты пренебрегаешь уважением, которого я вправе ждать от тебя.

— А мне разреши сказать, милая мама, что, во-первых, я еще никогда не забывал об этом уважении, а во-вторых, что я перестаю быть сыном, когда дело касается фирмы и семьи, главой которой я являюсь в качестве правопреемника моего отца!..

— Прошу тебя замолчать, Томас!

— Нет, я не замолчу, пока ты не признаешь своего безмерного неразумия и слабости!

— Я распоряжаюсь своим капиталом по собственному усмотрению...

— Справедливость и благоразумие ставят пределы твоему усмотрению.

— Никогда я не предполагала, что ты способен так меня огорчить.

— А я никогда не предполагал, что ты нанесешь мне такой удар...

— Том! Том! Послушай! — раздался испуганный голос г-жи Перманедер. Она сидела, крепко стиснув руки, у окна ландшафтной, в то время как ее брат в нестерпимом волнении шагал по комнате, а консульша, в гневе и душевном смятении, одной рукой упиралась в сиденье, а другой барабанила по столу в такт своим негодующим репликам. Все трое были в трауре по Клара, уже отошедшей в другой мир, бледны и вне себя от волнения.

Что же там, собственно, происходило? Нечто непостижимое, страшное до ужаса, то, что самим участникам казалось чудовищным и невероятным: ссора, бурное столкновенье между матерью и сыном!

Был душный августовский вечер. Через десять дней после того, как сенатор со всевозможными предосторожностями передал консульше письма Зиверта и Клары Тибуртиусов, ему на долю выпала тяжелая задача — сообщить ей о смерти дочери. Сам он тотчас же уехал на похороны в Ригу и вернулся вместе со своим зятем Тибуртиусом, который провел несколько дней в семействе покойной жены и даже навестил Христиана в Гамбурге. И вот сейчас, когда пастор уже два дня как отбыл на родину, консульша, сильно робея, сообщила сыну это известие.

— Сто двадцать семь тысяч пятьсот марок! — воскликнул он, всплескивая руками.— Если бы речь шла только о приданом — пусть бы уж у него остались эти восемьдесят тысяч, хотя у них и не было детей! Но наследство! Отдать ему наследственную долю Клары! И ты даже меня не спросила! Проделала все за моей спиной!..

— Томас, бога ради, будь же справедлив! Как, ну как я могла... поступить иначе? Она — та, что теперь в царствии небесном, что отошла от всего земного... она пишет мне со смертного одра дрожащей рукой, карандашом... «Мама,— пишет она,— здесь мы уже не увидимся. Я чувствую, знаю, что это мои последние строки... В моем угасающем сознании одна только мысль, мысль о муже... Господь не благословил нас детьми. Но то, что стало бы *моим*, будь мне суждено пережить тебя,

оставь это, когда придет твой час последовать за мной, моему мужу, мама. Это моя последняя просьба, просьба умирающей... Ты мне не откажешь». Да, Томас, я ей не отказала, не могла отказать! Я ей телеграфировала, и она почила с миром...

Консульша разрыдалась.

— И мне не говорят ни слова! От меня все скрывают! Все проделывают за моей спиной! — снова воскликнул сенатор.

— Да, я смолчала, Томас. Я чувствовала, что должна исполнить последнюю просьбу умирающей дочери, и знала, что ты попытаешься этому воспрепятствовать!

— Да, видит бог, я бы не допустил!

— И ты не имел бы на это права, потому что трое из моих детей согласны со мной!

— О, я полагаю, что мое мнение стоит мнения двух дам и одного слабоумного...

— Ты так враждебно говоришь о брате и так жестоко обходишься со мной?!

— Клара была благочестивая, но ничего не смыслящая женщина, мама! А Тони — ребенок, и она тоже ничего не знала до последней минуты, иначе бы уж она проговорилась. Правда, Тони? А Христиан?.. Да, конечно, он заручился согласием Христиана, этот Тибуртиус! Вот уж от кого не ожидал такой прыти!.. Неужели ты еще не поняла, не раскусила этого хитроумного пастора? Кто он? Пройдоха! Авантюрист!..

— Все зятья мошенники! — глухо проговорила г-жа Перманедер.

— Авантюрист! И на какие штуки пускается! Поехал в Гамбург, уселся у кровати Христиана и давай его морочить! «Конечно,— говорит Христиан,— конечно, Тибуртиус! Бог в помощь! Понимаете ли вы, какую муку я терплю, вот здесь, с левой стороны...» О, видно, глупость и подлость вступили в заговор против меня! — И сенатор, дрожа от гнева и зябко прислонясь к печке, поднес ко лбу сплетенные пальцы обеих рук.

Такой взрыв негодования не был вызван обстоятельствами! Нет, не эти сто двадцать семь тысяч пятьсот марок привели сенатора в состояние, в каком никто и никогда его раньше не видывал! Объяснялось это тем, что его распаленному воображению случай с наследственной долей Клары представился еще одним звеном в цепи поражений и унизительных неудач, которые он последнее время терпел в коммерческих и общественных делах. Все не ладилось, все шло вразрез с его волей и желаниями! А теперь еще и в отчем доме важнейшие решения принимаются «за его спиной»!.. Неужели какому-то рижскому

пастору удалось одурачить его! Он бы сумел этому воспротивиться, но его просто не поставили в известность! Все совершилось без его участия! Ему казалось, что прежде этого не могло бы случиться, что события *не посмели бы* принять такой оборот! Его вера в свое счастье, в свои силы, в свое будущее претерпела новый удар. И сейчас, в этой сцене с матерью и сестрой, обнаружилась вся его внутренняя слабость, все его отчаяние.

Госпожа Перманедер встала и обняла брата.

— Том,— воскликнула она,— успокойся, приди в себя! Разве это так уж страшно? Ты себя доведешь до болезни! Ведь не обязательно же этому Тибуртиусу бог знает как долго жить. А после его смерти наследство Клары вернется к нам. Кроме того, можно все изменить, если ты так настаиваешь. Ведь еще не поздно, мама?

Консульша в ответ только всхлипнула.

— Нет! Ах, нет! — сказал сенатор, стараясь успокоиться, и безнадежно махнул рукой.— Будь по-вашему! Неужели вы думаете, что я начну бегать по судам и заведу тяжбу с собственной матерью, чтобы к домашнему скандалу прибавить еще и общественный? Будь что будет! — заключил он и устало пошел к двери, но на пороге остановился.— Не воображайте только, что наши дела так уж хороши,— негромко сказал он.— Тони потеряла восемьдесят тысяч марок. Христиан, кроме своей части — пятидесяти тысяч, истратил уже около тридцати — из наследства... и еще истратит, потому что он сейчас без места и ему надо лечиться в Эйнхаузене... А теперь не только приданое Клары пошло прахом, но и ее наследственная доля бог весть на сколько времени изъята из капитала... А дела плохи, ужас как плохи — с того самого времени, как я истратил больше ста тысяч на свой дом... Да и чего можно ждать хорошего в семье, где происходят такие сцены. Поверьте мне: будь сейчас жив отец, он бы молитвенно сложил руки и вверил нас милосердию божьему.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Война, бранные клики, постои, суета! Прусские офицеры расхаживают по навощенному паркету парадных комнат в новом доме сенатора Будденброка и целуют руки хозяйке. Христиан, вернувшийся из Эйнхаузена, водит их в местный клуб. А в доме на Менгштрассе мамзель Зеверин, Рикхен Зеверин,

новая домоправительница консульши, перетаскивает вместе с горничными целые груды матрасов в «портал», старинный садовый домик, где битком набито солдатами.

Повсюду сутолока, беспорядок, тревога. Воинские части выходят из Городских ворот, другие вступают им на смену, наводняют город, едят, спят, оглушают горожан барабанным боем, трубными звуками, командными выкриками и снова уходят. В город въезжают принцы королевской крови, маршируют войска. Потом опять тишина, ожидание.

Поздней осенью и в начале зимы войска, возвратившись с победой, опять размещаются по квартирам. И, наконец, под ликующие крики облегченно вздохнувших горожан уходят восвояси — мир, кратковременный, чреватый событиями, мир 1865 года!

В промежутке между двумя войнами маленький Иоганн, ничего не ведающий, безмятежный, в широком платьице, с рассыпанными по плечам шелковистыми локонами, играет в саду у фонтана или на «балконе», который устроили для него, огородив балюстрадой часть площадки второго этажа. Играет в игры под стать своим четырем с половиной годам — игры, глубокомыслие и прелесть которых уже не в состоянии понять ни один взрослый и для которых не требуется ничего, кроме нескольких камешков или деревянной дощечки с насаженным на нее цветком львиного зева, изображающим шлем. Здесь нужна чистая, пылкая, непорочная, не знающая тревог и страха фантазия этих счастливых лет, когда еще ни сознание долга, ни сознание вины не посмели коснуться нас своей суровой рукой, когда мы вправе смотреть, слушать, смеяться, дивиться и мечтать без того, чтобы окружающий мир требовал от нас взамен служения ему, и когда те, кого мы безотчетно любим, еще не требуют от нас доказательств, что мы со временем будем добросовестно служить миру сему... Ах! Еще недолго, и все эти обязанности, тяжко обрушившись на нас, начнут чинить над нами насилие, поучать нас житейской мудрости, ломать, корежить и портить нас...

Покуда Ганно играл, свершились большие события. Вспыхнула война, победа заколебалась на чаше весов — и определилась. Родной город Ганно Будденброка, разумно примкнувший к Пруссии, стал с удовлетворением взирать на богатый Франкфурт, заплативший своей независимостью за веру в Австрию.

Но в связи с крахом одной франкфуртской оптовой фирмы торговый дом «Иоганн Будденброк» за один день потерял немалую сумму — двадцать тысяч талеров!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда г-н Гуго Вейншенк, с недавнего времени назначенный одним из директоров городского общества страхования от огня,— мужчина с черными усиками и несколько отвисшей нижней губой, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы,— переходил тяжелым и важным шагом из одного конторского помещения в другое, оттопырив локти и сжав руки в мощные кулаки, он производил впечатление человека, бесспорно, энергичного и преуспевающего.

Эрике Грюнлих уже исполнилось двадцать лет. Рослая, цветущая девушка, с ярким румянцем на щеках, она была красива красотой молодости. Если Эрика случайно спускалась с лестницы или стояла на верхней площадке, когда г-н Вейншенк выходил из конторы,— а случайность эта повторялась довольно часто,— он приподнимал цилиндр над своей короткой черной шевелюрой, уже начинавшей седеть на висках, и приветствовал молодую девушку изумленным, восторженным взглядом своих нагловатых глаз. Она же немедленно убегала, садилась где-нибудь на подоконник и с добрый час плакала от растерянности и смущения.

Эрика выросла под строгой опекой Зеземи Вейхбродт и мало что смыслила в жизни. Она плакала над цилиндром г-на Вейншенка, над его манерой при встрече с ней высоко поднимать и тотчас же опускать брови, над его величавой осанкой и сжатыми кулаками.

Госпожа Перманедер отличалась куда большей дальновидностью. Будущее дочери уже годами тревожило ее, ибо по сравнению с другими девицами на выданье Эрика находилась

в невыгодном положении, Г-жа Перманедер не только не ездила в свет, но пребывала с ним в неукротимой вражде. Мысль, что в высших кругах ею пренебрегают из-за ее двукратного развода, превратилась у нее в своего рода навязчивую идею. Она усматривала презренье и неприязнь там, где, по всей вероятности, не было ничего, кроме безразличия. Трудно, например, предположить, чтобы консул Герман Хагенштрем, этот свободомыслящий и неизменно лояльный человек, которого богатство к тому же сделало добродушным и благожелательным, не поклонился бы ей при встрече, если бы его не останавливал ее высокомерный взгляд, если бы она так очевидно не презирала этого «пожирателя гусиных печенок, ненавистного ей, словно чума», как она выражалась. Так и вышло, что Эрика тоже осталась чуждой светской жизни, протекавшей в доме у ее дяди, сенатора, не ездила на балы и почти не имела случаев приобретать знакомства.

Тем не менее г-жа Антония, после того как она, по собственному утверждению, «свое отжила», больше всего мечтала, чтобы для дочери сбылись надежды, столь жестоко обманувшие мать; мечтала счастливо и выгодно пристроить ее — так, чтобы замужество Эрики сделало честь семье и заставило бы всех позабыть злую участь матери. Но прежде всего Тони жаждала доказать старшему брату, в последнее время столь безнадежно смотревшему на жизнь, что счастье не вовсе ушло из их семьи, что не все уже кончено... Ее второе приданое — семнадцать тысяч талеров,— с такой бескорыстной готовностью возвращенное г-ном Перманедером, было отложено для Эрики. И едва только зоркая и многоопытная г-жа Антония заметила чуть уловимую связь, установившуюся между ее дочерью и директором Вейншенком, как уже начала донимать господа бога мольбами, чтобы г-н Вейншенк нанес им визит.

Он это сделал: поднялся во второй этаж, где его приняли три дамы — бабушка, дочь и внучка, поговорил с ними минут десять и обещал опять как-нибудь зайти после обеда на чашку кофе.

Обещанье свое г-н Вейншенк сдержал, и знакомство завязалось. Директор был родом из Силезии, где и сейчас еще жил его старик отец, но семья, видимо, для него значила не много,— г-н Вейншенк был, что называется, self made man [1]. Отсюда и его манера держаться с чувством собственного достоинства, иногда даже несколько чрезмерным, но притом — не со-

[1] Человек, преуспевший без посторонней помощи *(англ.)*.

всем уверенная, немного недоверчивая, без светского лоска и, особенно в разговоре, очень уж простодушная. К тому же его сюртук, неважно сшитый, местами лоснился, а манжеты с большими агатовыми запонками всегда выглядели не совсем свежими; на третьем пальце левой руки у него был черный, наполовину сошедший ноготь — следствие какого-то несчастного случая. Внешние данные, казалось бы, не слишком привлекательные! Но тем не менее г-н Вейншенк был человек, заслуживающий всяческого уважения, усердный, энергичный, с двенадцатью тысячами годового дохода, а в глазах Эрики Грюнлих — еще и красивый мужчина.

Госпожа Перманедер живо обозрела и оценила положение. С консульшей и сенатором она переговорила откровенно: совершенно очевидно, что интересы обеих сторон сходятся и удачно дополняют друг друга. Директор Вейншенк, так же как и Эрика, не имеет никаких связей в обществе. Нет, они прямотаки созданы друг для друга, самим господом богом друг другу предназначены! Если начинающий лысеть директор, которому уже под сорок, хочет зажить собственным домом — что, конечно, вполне подобает ему в его возрасте и при его имущественных обстоятельствах,— то союз с Эрикой Грюнлих, сделав его членом одной из первых семей города, несомненно будет способствовать его карьере и значительно упрочит его положение. Что же касается благополучия Эрики, то тут у г-жи Перманедер, по крайней мере, есть уверенность, что дочь не повторит ее судьбы: г-на Перманедера Гуго Вейншенк ничем не напоминает, а от Бендикса Грюнлиха отличается хотя бы уже своим положением солидного служащего с твердым окладом и с видами на будущее.

Короче говоря, наличие доброй воли с обеих сторон и сильно участившиеся визиты г-на Вейншенка привели к тому, что в январе 1867 года он взял на себя смелость без обиняков и, как подобает мужчине, немногословно просить руки Эрики Грюнлих.

Отныне он уже вошел в семью, стал участвовать в «детских днях» и был любезно принимаем родственниками невесты. Без сомнения, он сразу же почувствовал себя здесь не ко двору и, чтобы скрыть это чувство, стал держаться еще развязнее, но консульша, дядя Юстус, сенатор Будденброк — о дамах Будденброк с Брейтенштрассе этого, правда, нельзя было сказать — проявляли великодушную снисходительность к этому усердному служаке, к представителю сурового труда, не обученному тонкостям обхождения.

А снисходительность была здесь более чем уместна. Как часто требовалось, например, каким-нибудь удачно вставленным замечанием прервать неловкое молчание, воцарявшееся в большой столовой, когда директор проявлял слишком уж резвый интерес к щечкам и плечам Эрики, или осведомлялся, не мучное ли кушанье апельсиновый шербет («муч-ное»,— смачно произносил он), или заявлял во всеуслышанье, что «Ромео и Джульетта» пьеса Шиллера. Все это он высказывал с величайшим апломбом и беззастенчивостью, весело потирая руки и сидя на стуле как-то боком.

Глаже всего у него проходили беседы с сенатором, который умело направлял разговор на политические и деловые вопросы, тем самым отдаляя возможность катастрофы. Но с Гердой Будденброк отношения у г-на Вейншенка никак не налаживались. Личность этой дамы до такой степени подавляла его, что ему не удавалось и двух минут проговорить с нею. Зная, что Герда играет на скрипке — обстоятельство, которое произвело на него чрезвычайное впечатление,— он при встрече с нею по «четвергам» всякий раз ограничивался одним шутливым вопросом: «Ну, как поживает ваша скрипка?» На третий раз сенаторша предпочла совсем воздержаться от ответа.

Христиан имел обыкновение, сморщив нос, наблюдать своего нового родственника и на следующий день в подробностях воспроизводить его манеры и речи. Младший сын консула Будденброка излечился в Эйнхаузене от своего суставного ревматизма, хотя временами и ощущал еще некоторую одеревенелость рук и ног, но периодическая «мука» в левой стороне — там, где у него все нервы были «укорочены», так же как и прочие недомогания, которым он был подвержен, а именно: затрудненное дыханье и глотанье, перебои в сердце и склонность к параличным явлениям,— вернее, страх перед таковыми,— отнюдь не были устранены. Внешне он выглядел много старше своих тридцати восьми лет. Голова его окончательно облысела, только на затылке и на висках еще торчали жиденькие рыжие волосенки, а круглые глаза, сумрачно и тревожно шныряющие по сторонам, глубже ушли в орбиты. Зато длинный горбатый нос теперь казался еще костистее от впалых щек и еще больше нависал над густыми рыжеватыми усами. На тощих ногах Христиана нелепо болтались брюки из прочной и элегантной английской материи.

Вернувшись к матери, он жил в своей прежней комнате, во втором этаже по коридору, но в клубе проводил значительно больше времени, чем на Менгштрассе, потому что дома чув-

ствовал себя неуютно. Рикхен Зеверин, преемница Иды Юнгман, заправлявшая теперь всем хозяйством и прислугой консульши, коренастая, краснощекая, толстогубая двадцатисемилетняя особа, недавно приехавшая из деревни и по-крестьянски здравомыслящая, быстро сообразила, что с этим праздным болтуном, иногда забавным, но чаще просто жалким, на которого сенатор — лицо почтенное — либо смотрит, насмешливо вскинув бровь, либо старается вовсе не смотреть, не стоит особенно считаться, а потому беззастенчиво им пренебрегала.

— Ах, господин Будденброк,— заявляла Рикхен,— мне, ей-ей, не до вас!

В ответ Христиан смотрел на нее, сморщив нос, как бы говоря: «И тебе не стыдно?» — и удалялся своей деревянной походкой.

— Может быть, ты воображаешь, что у меня в комнате всегда есть свеча? — жаловался он Тони.— Очень редко! Обычно я просто чиркаю спички, чтобы добраться до постели.— Или же, так как мать не очень щедро ссужала его карманными деньгами, говорил: — Плохие времена! Раньше все было по-другому! Ты пойми, что мне иногда приходится брать взаймы пять шиллингов на зубной порошок.

— Христиан! — восклицала г-жа Перманедер.— Это ни на что не похоже! Спички! Пять шиллингов! Ты бы уж лучше молчал! — Она возмущалась, негодовала, чувствовала себя оскорбленной, но ничего от этого не менялось.

Пять шиллингов на зубной порошок Христиан занимал у своего старого приятеля Андреаса Гизеке, доктора обоих прав. С этой дружбой Христиану повезло, он мог бы гордиться ею, ибо адвокат Гизеке, этот suitier, умевший постоять за свое достоинство, прошлой зимой, после того как мирно опочил старик Каспар Эвердик и его место занял доктор Лангхальс, был избран в сенаторы. Впрочем, на его образе жизни это не отразилось. Все знали, что, кроме большого дома в городе, принадлежавшего ему со времени женитьбы на мадемуазель Хунеус, он был еще владельцем маленькой, утопавшей в зелени, со вкусом обставленной виллы в предместье св. Гертруды, где в полном одиночестве обитала еще молодая и необыкновенно красивая дама, бог весть откуда сюда явившаяся. Над дверьми виллы изящными золотыми буквами была выведена надпись: «Квисисана». Под таким названием она была известна всему городу. Христиан Будденброк в качестве лучшего друга сенатора Гизеке получил доступ в «Квисисану» и там преуспел с помощью тех же методов, что и в Гамбурге у Алины Пуфогель

пли в Лондоне, Вальпарансо и в разных других точках земного шара. Он «кое-что порассказал», «слегка приударил» и с тех пор стал наведываться в зеленый домик не реже самого сенатора Гизеке. Происходило ли это с ведома и согласия последнего или нет, осталось невыясненным. Ясно было только, что Христиан Будденброк безвозмездно встречал в «Квисисане» любезный прием, тогда как сенатору Гизеке приходилось оплачивать его полновесной монетой из капиталов своей супруги.

Вскоре после помолвки с Эрикой Грюнлих Гуго Вейншенк предложил своему будущему родственнику поступить в страховое общество, и Христиан две недели честно прослужил делу страхования от огня. К сожалению, однако, выяснилось, что служба самым неблагоприятным образом отражается на его здоровье: усилилась не только «мука» в левой стороне, но и все прочие его трудно поддающиеся определению недуги. Вдобавок директор оказался не в меру вспыльчивым начальником и из-за какой-то пустячной ошибки не постеснялся назвать дядю своей невесты тюленем. Одним словом, Христиану пришлось отказаться и от этой должности.

Зато мадам Перманедер была счастлива. Ее восторженное настроение прорывалось даже в таких репликах, как: «Не все в этой жизни так уж плохо!» Она просто расцвела в ту пору. И правда, хлопоты, всевозможные планы на будущее, заботы об устройстве дома и лихорадочное шитье приданого живо напомнили ей время перед ее собственным первым замужеством. Она почувствовала себя помолодевшей и бесконечно жизнерадостной. В выражении лица, в ее движениях снова проглянуло грациозное высокомерие ее юношеских лет, более того — однажды она своим неуемным весельем так кощунственно нарушила благоление очередного «Иерусалимского вечера», что Леа Герхардт уронила на стол книгу своего предка и в смущении стала озираться по сторонам широко раскрытыми, недоверчивыми и непонимающими глазами глухой.

Эрика должна была и впредь жить с матерью. С согласия директора, даже по его настоянию, было решено, что г-жа Антония — во всяком случае, на первых порах — поселится у Вейншенков, чтобы помогать неопытной Эрике вести хозяйство. Это-то и наполняло ее чудесным ощущением, будто на свете никогда не было никакого Бендикса Грюнлиха, никакого Алоиза Перманедера, будто бесследно ушли куда-то все неудачи, разочарования и горести ее жизни и теперь, воодушевленная новыми надеждами, она все начинает сначала. Правда, она заставляла Эрику благодарить творца за то, что он соеди-

нил ее с любимым, единственным, тогда как ей, матери, во имя долга и разума пришлось вырвать из сердца свою первую и единственную любовь,— правда, в семейную тетрадь она нетвердым от радости почерком вписала рядом с именем директора имя Эрики, а не свое, но все же настоящей невестой была она, она, Тони Будденброк! Это *она* опытной рукой снова щупала ковры и портьеры, *она* рыскала по мебельным и бельевым магазинам, это *ей* предстояло снять и «аристократично» обставить новую квартиру! Это *ей* предстояло опять покинуть обширный и благочестивый родительский дом, прекратить наконец свое унылое существование разведенной жены; высоко подняв голову, она теперь начнет новую жизнь у всех на виду,— жизнь, которая послужит к чести семьи! И — уж не сон ли это? — на поверхности вновь появились пеньюары — два пеньюара, для нее и для Эрики, из мягкой пестротканой материи, с широкими шлейфами и целым каскадом бархатных лент от ворота до подола!

Но время шло, и шли к концу предсвадебные хлопоты. Невеста с женихом побывали с визитами лишь в очень немногих домах: директор, солидный, несветский, трудовой человек, в будущем намеревался проводить свой досуг у домашнего очага... На торжественном обеде в честь помолвленной пары, который сенатор давал в большом зале своего дома на Фишергрубе, кроме хозяина, жениха с невестой, ближайшей родни и дам Будденброк, присутствовали также друзья сенатора, и всех опять поразило, что директор то и дело похлопывал Эрику по обнаженной шее.

День свадьбы приближался.

Венчанье, как и в те давние времена, когда г-жа Грюнлих украсилась миртами, происходило в ротонде. Г-жа Штут с Глокенгиссерштрассе, та, что вращалась в высших кругах, расправляла складки белого атласного платья невесты и прикалывала к нему живые цветы. Сенатор Будденброк был первым, а друг Христиана, сенатор Гизеке, вторым шафером, две пансионские приятельницы Эрики выполняли роль подружек. Директор Гуго Вейншенк выглядел весьма статным и мужественным. На пути к импровизированному алтарю он только *один* раз наступил на пышную фату Эрики. Пастор Прингсгейм служил, как всегда, истово и торжественно. Все свершалось по чину. Когда молодые обменялись кольцами и в наступившей тишине два «да» были произнесены голосами высоким и низким,— впрочем, оба звучали несколько хрипло,— г-жа Перманедер, потрясенная прошлым, настоящим и будущим, разра-

зилась громким плачем — все тем же по-детски непосредственным, откровенным плачем, а дамы Будденброк — Пфиффи в ознаменование торжественного дня даже приценила золотую цепочку к своему пенсне — кисло подхихикнули. Зато мадемуазель Вейхбродт, Тереза Вейхбродт, в последние годы ставшая еще меньше ростом, Зеземи, с портретом матери на овальной броши у тоненькой шейки, проговорила с неестественной твердостью, прикрывавшей ее внутреннее волнение: «Будь счастлива, милое дитя мое!»

А затем под взглядами неизменно спокойных белых богов на небесно-голубом фоне шпалер состоялась столь же торжественная, сколь и обильная трапеза, к концу которой молодые исчезли — отбыли в свадебное путешествие.

Это было в конце апреля. А в течение последующих двух недель г-жа Перманедер с помощью обойщика Якобса сотворила одно из своих чудес: изящно и «аристократично» обставила обширный бельэтаж, снятый в доме на Беккергрубе. Обильно уставленная цветами, эта квартира дожидалась возвращения молодой четы.

И вот началось третье замужество Тони Будденброк.

Да, это почти точное обозначение,— даже сенатор в один из четвергов, когда Вейншенки отсутствовали, выразился именно так, а г-жа Перманедер польщенно рассмеялась. И правда, хотя на нее легли все заботы, она ощущала непрерывный прилив горделивой радости и однажды, встретившись на улице с консульшей Юльхен Меллендорф, урожденной Хагенштрем, с таким торжеством и вызовом взглянула ей прямо в глаза, что г-же Меллендорф осталось только поклониться первой. Та же радость светилась в выражении лица Тони и сообщала величавую торжественность ее осанке, когда она водила родственников из комнаты в комнату по новой квартире. Рядом с ней Эрика Вейншенк казалась лишь восхищенной гостьей. Волоча за собой шлейф пеньюара, вздернув плечи, высоко подняв голову, с украшенной атласными бантами корзиночкой для ключей на руке,— она обожала атласные банты,— г-жа Антония показывала гостям мебель, портьеры, прозрачный фарфор, блистающее серебро и большие картины, приобретенные директором: натюрморты, все до единого изображающие различную снедь, и голые женщины,— ничего не поделаешь, таков был вкус Гуго Вейншенка. Самые ее движения, казалось, говорили: «Смотрите, а я опять сумела всего этого добиться. Обстановка здесь не менее аристократична, чем у Грюнлиха, и уж, во всяком случае, получше, чем у Перманедера!»

Приходила старая консульша в полосатом — черном с серым — шелковом платье, распространявшая вокруг себя чуть слышный аромат пачулей, спокойно все оглядывала своими светлыми глазами и, вслух не высказывая особого восхищения, давала понять, что безусловно всем удовлетворена. Приходил сенатор с женой и с сыном, вместе с Гердой подтрунивал над Тони, так и светившейся гордостью, и с трудом отстаивал маленького Ганно, которого обожавшая его тетка норовила вконец закормить сластями. Приходили дамы Будденброк и в один голос заявляли, что им, скромным девушкам, было бы даже не по душе жить в столь красивой обстановке... Приходила бедная Клотильда, серая, тощая, терпеливая, сносила все подшучивания, выпивала четыре чашки кофе и затем протяжно и благожелательно высказывала свои одобрения. Время от времени, когда в клубе почему-либо бывало пусто, захаживал и Христиан, выпивал рюмочку бенедиктину, объявлял, что намеревается стать агентом одной винно-коньячной фирмы,— во-первых, он знает толк в этом деле, а во-вторых — работа эта легкая и приятная: «По крайней мере, ты сам себе хозяин, занесешь в записную книжку несколько адресов — и, глядь, уж заработал тридцать талеров», потом занимал у г-жи Перманедер сорок шиллингов на букет примадонне Городского театра, вспоминал вдруг — одному богу известно, в какой связи,— лондонскую «Марию» и «Порок», перескакивал на историю с шелудивой собакой, отправленной в ящике из Вальпараисо в Сан-Франциско, и, если был в ударе, рассказывал все это с таким комизмом, так ярко и увлекательно, что мог бы насмешить самую взыскательную публику.

Войдя в азарт, он говорил на разных языках — по-английски, по-испански, на нижненемецком наречии и на гамбургском диалекте, изображал в лицах чилийских авантюристов, вооруженных ножами, и уайтчепельских воров, потом вдруг заглядывал в свою книжечку с записями куплетов и начинал петь или декламировать, талантливо, с неподражаемой мимикой, с гротескными телодвижениями, что-нибудь вроде:

Бульварами, в тени аллей,
Я брел в один из летних дней.
Передо мною шла красотка,
И я поплелся вслед за ней.
Тарелка — шляпа и походка
Изящная, премилый взгляд,
И подлинно французский зад.
«Дитя,— сказал я ей несмело.—
Вы не пройдетесь ли со мной?»

«Дитя» в глаза мне посмотрело,
Промолвив: «Вот что, милый мой,—
Катись дорожкою прямой!»

Едва покончив с куплетами, он переходил к цирковому репертуару и воспроизводил антре английского клоуна так, что слушателям казалось, будто они сидят в цирке: сначала из-за кулис доносились пререкания со шталмейстером, внезапно обрывавшиеся возгласом: «Мой выход, пустите!»; затем следовал целый ряд рассказов на каком-то своеобразном и жалобном англо-немецком жаргоне. История о человеке, который проглотил мышь и посему обратился за помощью к ветеринару, а тот порекомендовал ему, раз уж так случилось, проглотить еще и кошку. Далее следовала история с «моей бабушкой, женщиной еще хоть куда»; эта самая бабушка спешит на вокзал, но по дороге с ней происходит уйма всевозможных приключений, и в конце концов перед самым носом «женщины хоть куда» уходит поезд. Все это Христиан заканчивал возгласом: «А теперь, господин капельмейстер, прошу!» — и, словно пробудившись от сна, удивлялся: почему же не вступает оркестр?

Внезапно он обрывал «представление», менялся в лице, весь как-то опускался. Его маленькие круглые, глубоко посаженные глаза начинали шнырять из стороны в сторону. Тревожно прислушиваясь к тому, что происходит внутри него, Христиан поглаживал себя по левому боку, выпивал еще рюмочку ликеру, приободрялся, опять начинал «представление», но обрывал его на полуслове и уходил в отнюдь не бодром расположении духа.

Госпожа Перманедер, в то время очень любившая посмеяться и уже вдосталь навеселившаяся, провожала брата до лестницы в самом легкомысленном настроении.

— До свиданья, господин агент! — кричала она ему вслед.— До свиданья, бабник-похабник! До свиданья, старый хрыч! Приходи, не забывай нас.— И, хохоча во все горло, удалялась в комнаты.

Христиан не обижался. Погруженный в свои мысли, он попросту не слышал ее слов.

«Ну-с,— думал он,— теперь неплохо бы заглянуть в «Квисисану». И, слегка сдвинув шляпу набекрень и опираясь на трость с бюстом монахини, медленно, деревянной походкой спускался с лестницы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Была весна 1868 года, когда г-жа Перманедер, часов около десяти вечера, поднялась во второй этаж дома на Фишергрубе. Сенатор Будденброк одиноко сидел в гостиной, обставленной оливкового цвета репсовой мебелью, у круглого стола, над которым висела большая газовая лампа, и читал «Берлинскую биржевую газету», держа между указательным и средним пальцами левой руки зажженную папиросу. Услышав шаги в столовой, сенатор снял золотое пенсне, без которого он в последнее время уже не обходился за работой, и выжидательно вглядывался в темноту, покуда из-за портьеры в освещенную часть комнаты не вошла Тони.

— А-а, это ты! Добрый вечер! Уже вернулась из Пеппераде? Ну, как там твои друзья?

— Добрый вечер, Том! Спасибо, Армгард здорова!.. Ты сидишь здесь совсем один?

— Да! Ты явилась как нельзя более кстати. Я сегодня и ужинал в одиночестве, как римский папа,— мамзель Юнгман ведь в счет не идет, она каждую минуту срывается с места и бежит проведать Ганно... Герда в казино. Там дает концерт скрипач Тамайо. За ней заехал Христиан...

— Ну и ну! — как говорит мама. По-моему, Герда и Христиан в последнее время прямо-таки подружились...

— Да, да! С тех пор как он опять обосновался здесь, Герда стала находить в нем вкус... Она очень внимательно слушает, когда он описывает свои болезни... Ну что ж, ее это забавляет. А на днях она мне сказала: «Он не бюргер, Томас! Он еще меньше бюргер, чем ты...»

— Бюргер, Том? О, господи! Да, по-моему, на всем свете не сыщется лучшего бюргера, чем ты!

— Возможно! Ты не совсем меня поняла!.. Раздевайся, Тони, и посиди со мной! Выглядишь ты отлично. Деревенский воздух явно пошел тебе на пользу.

— Да, да! — Г-жа Перманедер сняла мантилью, капор с лиловыми шелковыми лентами и величаво опустилась в кресло.— Желудок, сон — все наладилось, и за такой короткий срок! Тамошнее парное молоко, колбасы, ветчина... От всего этого прямо наливаешься здоровьем! А главное — свежий мед, Том, я всегда считала его одним из самых питательных кушаний. Чистый, натуральный продукт; по крайней мере, знаешь, что́ вводишь в организм! Со стороны Армгард было очень мило вспомнить о нашей пансионской дружбе и пригласить меня.

Г-н фон Майбом тоже был необыкновенно предупредителен. Они упрашивали меня погостить еще недельки две, но ведь, знаешь, Эрика с трудом без меня обходится, а теперь, когда на свет появилась маленькая Элизабет...

— А propos, как ребенок?

— Спасибо, Том, все в порядке. Для своих четырех месяцев девочка, слава богу, очень хорошо развита,— хотя Фридерика, Генриетта и Пфиффи и объявили, что она долго не проживет...

— А Вейншенк? Как он себя чувствует в роли отца? Я ведь вижу его только по четвергам и...

— О, все такой же! Понимаешь, Том, Вейншенк человек порядочный, работящий, в каком-то смысле его можно даже назвать образцовым мужем: он терпеть не может ресторанов, из конторы возвращается прямо домой и все свободное время проводит с нами. Но одно, Том,— мы с тобой с глазу на глаз, и я могу говорить откровенно,— он требует, чтобы Эрика всегда была весела, всегда болтала, шутила; потому что, говорит он, когда муж возвращается домой усталый, жена должна всячески занимать его, веселить, подбадривать. Для этого, говорит он, и существуют жены...

— Болван,— пробормотал сенатор.

— Что?.. Беда в том, что Эрика скорее склонна к меланхолии. У нее это, верно, от меня. Случается, что она настроена молчаливо и задумчиво. Тогда он возмущается и, надо сказать прибегает к выражениям не очень-то деликатным — попросту ругается. К сожалению, слишком часто замечаешь, что это человек не из хорошей семьи и не получивший добропорядочного воспитания. Ну вот, например, такой случай: дня за два до моего отъезда в Пеппенраде он хватил об пол крышкой от супницы из-за того, что суп был пересолен...

— Очень мило!

— Нет, напротив! Но мы не будем его осуждать. Бог ты мой! У всех нас пропасть разных недостатков, а он такой дельный, положительный, работящий человек... Нет, боже упаси, Том! Грубая оболочка, прикрывающая здоровое зерно,— это еще не так плохо. Я сейчас насмотрелась вещей куда более печальных. Когда мы оставались одни, Армгард глаз не осушала...

— Что ты говоришь? Господин фон Майбом?..

— Да, Том, к этому я и веду. Мы сидим с тобой здесь и болтаем, а ведь пришла-то я, собственно, по очень важному и серьезному делу.

— Да? Так что же с господином фон Майбомом?

— Ральф фон Майбом очень приятный человек, Томас, но легкомысленный и картежник. Он играет в Ростоке, играет в Варнемюнде, и долгов у него — что песку морского. Когда гостишь в Пеппенраде, это и в голову не приходит. Прекрасный дом, вокруг все цветет; молока, колбас, окороков хоть отбавляй. В жизни не догадаешься, как все у них обстоит на самом деле... Одним словом, они в отчаянном положении, Том! И Армгард, рыдая, мне в этом призналась.

— Печально, очень печально!

— Что и говорить! Но дело в том, что, как выяснилось, эти люди пригласили меня к себе не вовсе бескорыстно.

— То есть?

— Сейчас я тебе объясню, Том. Господину фон Майбому очень нужны деньги, довольно крупная сумма, и к тому же безотлагательно... Он знал о старой дружбе между мной и Армгард, так же как знал, что я твоя сестра. Попав в столь тяжелое положение, он открылся жене, а Армгард, в свою очередь, обратилась ко мне... Ты понимаешь?

Сенатор потер рукою лоб, лицо его сделалось серьезным.

— Кажется, понимаю,— отвечал он.— Если не ошибаюсь, твое серьезное и важное дело сводится к авансу под пеппенрадовский урожай, так? Но должен тебе сказать, что ты и твои друзья обратились не по адресу. Во-первых, я еще не вел никаких дел с господином фон Майбомом; а это, прямо скажем, довольно странный способ завязывать деловые отношения. Во-вторых, нам, то есть прадеду, деду, отцу и мне, случалось иногда выплачивать авансы землевладельцам, но только если их личность и разные другие обстоятельства внушали нам достаточную уверенность... В данном случае вряд ли можно говорить о такой уверенности: вспомни, как ты сама только что характеризовала господина фон Майбома...

— Ты ошибаешься, Том. Я тебя не перебивала, но ты ошибаешься. Ни о каком авансе и речи нет. Майбому нужны тридцать пять тысяч марок...

— Черт подери!

— Тридцать пять тысяч марок с выплатой в двухнедельный срок. Эта сумма нужна ему до зарезу, и он вынужден запродать весь урожай на корню.

— На корню? Ох, бедняга! — Сенатор, в задумчивости игравший своим пенсне, покачал головой.— В наших краях это случай довольно необычный, —сказал он.— Но в Гессене, как я слышал, такие операции проделывались неоднократно: там

множество землевладельцев попало в лапы к евреям... Неизвестно, на какого живодера напорется теперь этот несчастный Майбом.

— Евреи? Живодеры? — в изумлении воскликнула г-жа Перманедер.— Да ведь речь идет о тебе, Том, о тебе!

Томас Будденброк отбросил от себя пенсне так, что оно покатилось по газете, и резко повернулся к сестре.

— Обо мне? — беззвучно, одними губами, произнес он и уже громко добавил: — Поди спать, Тонп. Ты, видно, слишком устала.

— Ах, Том, точно те же слова говорила нам в детстве Ида Юнгман, когда мы не в меру резвились перед сном. Но смею тебя уверить, что я никогда не поступала сознательнее и трезвее, чем сегодня, чуть не ночью прибежав к тебе с предложением Армгард — иными словами, с предложением господина фон Майбома.

— Что ж, отнесем это предложение за счет твоей наивности и безвыходного положения Майбомов.

— При чем тут моя наивность и их безвыходное положение? Я просто отказываюсь понимать тебя, Том! Тебе предоставляется возможность помочь людям и в то же время сделать выгоднейшее дело.

— Ах, перестань, душенька, чепуху молоть! — воскликнул сенатор и нетерпеливо заерзал в кресле.— Прости, пожалуйста, но ты своей наивностью можешь довести человека до белого каления! Нельзя же в самом деле предлагать мне какую-то в высшей степени недостойную и нечистоплотную комбинацию! Ты что, полагаешь, что я стану ловить рыбу в мутной воде? Соглашусь кого-то бесчеловечно эксплуатировать? Воспользуюсь стесненным положением этого землевладельца и наживусь на нем? Заставлю его продать мне урожай целого года за полцены?

— Ах, ты вот как на это смотришь...— задумчиво протянула оробевшая г-жа Перманедер. Но тут же снова оживилась: — Я не понимаю, почему именно с этой стороны подходить к делу? Эксплуатировать! Да ведь *он* обращается к тебе с предложением, а не наоборот. *Ему* нужны деньги, *он* хочет, чтобы ему помогли выпутаться по-дружески, без огласки. Потому-то он и вспомнил о нас, потому-то я и получила это приглашение!

— Короче говоря, у него неправильное представление обо мне и о моей фирме. У нас есть свои традиции. Подобными делами фирма за все сто лет своего существования не занималась, и я положить начало таким операциям не намерен.

— Конечно, у фирмы есть свои традиции, Том, достойные всяческого уважения! И, конечно, папа бы на такое дело не пошел; говорить нечего. Но, как я ни глупа, я знаю, что ты совсем другой человек и что, когда фирма перешла к тебе, в ней повеяло новым духом и ты стал делать многое, на что папа бы не решился. Да что удивительного? Ты человек молодой, предприимчивый... Но мне вот все кажется, что в последнее время какие-то несколько неудач заставили тебя пасть духом... И если ты сейчас работаешь не так успешно, как раньше, то это потому, что из чрезмерной осторожности и совестливости упускаешь выгодные сделки...

— Ах, деточка, оставь, не раздражай меня,— резким голосом сказал сенатор и опять заерзал на месте.— Поговорим о чем-нибудь другом!

— Да, ты раздражен, Том, я это вижу. Но ты был раздражен с самого начала, я же продолжала разговор, надеясь, что ты поймешь, как не обоснована твоя обида. А раздражен ты — в этом я уверена — оттого, что по существу ты вовсе не против этого дела. Как я ни глупа, но знаю по себе, что люди возмущаются и злятся на какое-нибудь предложение, только когда чувствуют себя не вполне уверенными и ощущают соблазн пойти на это предложение.

— Весьма тонко! — Сенатор перекусил пополам мундштук папиросы и замолчал.

— Тонко? Да ничуть! Простейший урок, преподанный мне жизнью. Но не будем ссориться, Том. Заставить я тебя не могу; подбивать на такое дело не имею права,— я во всем этом недостаточно разбираюсь. Ведь я только глупая женщина. Жаль... ну, да все равно. Я с удовольствием взяла на себя это поручение: во-первых, я пожалела Майбомов, а во-вторых, я было порадовалась за тебя,— мне думалось: «Том последнее время ходит какой-то понурый. Раньше он хоть жаловался, а теперь и жаловаться перестал». Ты несколько раз понес убытки — такие уж времена!.. И надо же, чтобы это было как раз теперь, когда мое положение, с божьей помощью, улучшилось и я чувствую себя счастливой. И тут мне пришло в голову: «Это для него хороший случай: можно одним ударом и убытки покрыть, и показать людям, что счастье не вовсе изменило фирме «Иоганн Будденброк». И если бы ты на это пошел, я бы очень гордилась своим посредничеством. Ты ведь знаешь: моей всегдашней заветной мечтой было послужить чести нашего имени... Ну, да хватит об этом. Нет так нет! Меня одно огорчает: ведь Майбому все равно придется продавать

урожай на корню... Он приедет в город и, уж конечно, найдет покупателя... Конечно, найдет... И я уверена, что покупателем окажется Герман Хагенштрем, этот пройдоха...

— Да уж, он вряд ли упустит такой случай,— с горечью согласился сенатор; а г-жа Перманедер трижды подряд воскликнула:

— Вот видишь, вот видишь, вот видишь, Том!

Томас Будденброк вдруг разразился саркастическим смехом и покачал головой.

— Какая чепуха!.. Вот мы с тобой сидим здесь и рассуждаем вполне серьезно — ты, по крайней мере,— а о чем? О чем-то совершенно неопределенном и нереальном! Я ведь, насколько мне помнится, даже не спросил, о чем же, собственно, идет речь, *что* продает господин фон Майбом... В Пеппенраде я никогда не бывал...

— О, тебе, конечно, пришлось бы туда поехать! — быстро отвечала она.— До Ростока рукой подать, а оттуда два шага до Пеппенраде! Что он продает? Пеппенраде — большое имение... Я знаю наверняка, что они снимают больше тысячи кулей пшеницы... но подробности мне, конечно, не известны. Как там у них с рожью, ячменем, овсом... кулей по пятьсот? Может быть, больше, а может, и меньше,— не знаю. Знаю только, что хлеба стоят великолепные. Что же касается точных цифр, здесь я тебе никаких сведений дать не могу. Я на этот счет совсем дурочка. Разумеется, тебе нужно съездить самому.

Наступило молчанье.

— Ну, хватит, больше об этом ни слова,— отрывисто и твердо проговорил сенатор, схватил со стола свое пенсне, сунул его в жилетный карман, застегнул сюртук, поднялся и быстрыми, уверенными шагами, исключавшими самую мысль о сомнениях и нерешительности, заходил по комнате.

Затем он остановился у стола и, слегка постукивая по нему согнутым указательным пальцем, обратился к сестре:

— Сейчас я расскажу тебе одну историю, Тони, душенька, из которой ты поймешь, почему я так отношусь к этому делу. Я знаю твою слабость к аристократии вообще и к мекленбургской в частности, а потому не сердись за то, что в моем рассказе будет фигурировать один такой аристократ... Ты знаешь, многие из них не очень-то почтительно относятся к нашему брату, коммерсантам, хотя мы им зачастую нужнее, чем они нам. Есть у них эдакое — пожалуй, даже объяснимое — пренебрежение производителя к посреднику, в деловых разговорах проявляющееся достаточно явно. Одним словом, коммерсант

для них нечто вроде еврея-старьевщика, которому сбывают обноски по заведомо низкой цене. Вряд ли я обольщаюсь, полагая, что не произвожу на них впечатления низкопробного эксплуататора; среди этих аристократов многие значительно оборотистее меня. Но одного из них мне пришлось-таки предварительно слегка проучить, чтобы потом общаться с ним на равной ноге... Я говорю о владельце Гросс-Погендорфа, с которым я неоднократно вел дела,— ты, наверно, слышала о нем. Это некий граф Штрелиц, мужчина весьма феодальных убеждений; четырехугольный монокль в глазу (я всегда удивлялся, как он не порежется), лакированные ботфорты, стек с золотой ручкой... У него была привычка с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами взирать на меня с высоты своего недосягаемого величия... Мой первый визит к нему оказался весьма примечательным. Предварительно известив о своем приезде, я отправился в Гросс-Погендорф. Лакей проводил меня в кабинет. Граф Штрелиц сидел за письменным столом. Он ответил на мой поклон, чуть-чуть приподнявшись с кресла, дописал последнюю строчку, затем повернулся ко мне и, глядя поверх моей головы, начал деловой разговор. Я стою, прислонившись к столику у дивана, скрестив руки и ноги, и от души забавляюсь. За разговором прошло уже минут пять. По истечении следующих пяти минут я усаживаюсь на стол и сижу, болтая ногой в воздухе. Беседа продолжается. Минут через пятнадцать граф, сделав милостивый жест рукой, как бы вскользь замечает: «Кстати, не угодно ли вам присесть?» — «Как? — удивляюсь я.— Присесть? Да ведь я давно сижу».

— Ты так сказал? Так прямо и сказал?! — вне себя от восторга вскричала г-жа Перманедер. Весь предшествующий разговор сразу вылетел у нее из головы. Забавный анекдот, рассказанный братом, поглотил все ее внимание.— «Я уже давно сижу!» Нет, это бесподобно!..

— Да! И смею тебя уверить, что с того самого момента поведение графа круто изменилось. Он спешил пожать мне руку, как только я появлялся, предупредительно усаживал меня... В конце концов мы стали, можно сказать, друзьями. Но к чему, спрашивается, я тебе все это рассказываю? А к тому, чтобы спросить, как, по-твоему, хватило бы у меня духа, уверенности в себе, сознания своей правоты таким вот образом проучить господина фон Майбома, если бы он, уговариваясь со мной о цене, забыл предложить мне стул?..

Госпожа Перманедер ответила не сразу.

— Хорошо,— сказала она немного погодя и поднялась.— Возможно, что ты и прав, Том. Повторяю, я ни на что подбивать тебя не хочу; тебе виднее, за что браться и от чего отказываться. На этом мы кончим. Лишь бы ты верил, что я пришла к тебе с самыми добрыми намерениями... Ну да хватит! Спокойной ночи, Том... или нет, я еще забегу поцеловать твоего Ганно и поздороваться с нашей милой Идой. А на обратном пути опять загляну к тебе на минуточку.

И г-жа Перманедер вышла из комнаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Она поднялась на третий этаж и прошла мимо «балкона» по белой с золотом галерее в переднюю, откуда дверь вела в коридор, где по левую руку помещалась гардеробная сенатора. Г-жа Перманедер нажала ручку другой двери, в конце коридора, и вошла в огромную комнату с окнами, занавешенными сборчатыми шторами из мягкой материи в крупных цветах.

Стены этой комнаты поражали своей голизной. Кроме большой гравюры в черной раме, изображавшей Джакомо Мейербера в окружении персонажей из его опер, над кроватью мамзель Юнгман да нескольких цветных английских литографий с желтоволосыми бэби в красных платьицах, которые были приколоты булавками к светлым обоям, на них ничего не было.

Ида Юнгман сидела посреди комнаты за большим раздвижным столом и штопала чулочки Ганно. Хотя преданной пруссачке перевалило уже за пятьдесят и седеть она начала очень рано, ее гладко зачесанные волосы и теперь еще не вовсе побелели, а имели какой-то сероватый оттенок, крепко сшитая фигура Иды была так же пряма, как и в двадцать лет, и карие глаза по-прежнему светились неутомимой энергией.

— Добрый вечер, милая Ида,— сказала г-жа Перманедер приглушенным, но веселым голосом, ибо рассказ брата привел ее в наилучшее расположение духа.— Как дела, старушенция?

— Ну-ну, Тони, так уж и старушенция!.. Поздненько ты к нам пожаловала.

— Да, я была у брата по делам, не терпящим отлагательства... Жаль только, что ничего не вышло... Спит? — спросила она, кивнув в сторону кроватки с зеленым пологом, стоявшей у левой, узкой, стены, изголовьем к двери, ведущей в спальню сенатора Будденброка и его супруги.

— Ш-шш,— прошептала Ида,— не разбуди его.

Госпожа Перманедер на цыпочках приблизилась к кроватке, осторожно раздвинула полог и, склонившись, взглянула в лицо спящего племянника.

Маленький Иоганн Будденброк лежал на спине, но личико его, обрамленное длинными русыми волосами, было обращено в сторону комнаты. Он чуть слышно посапывал. Одна его рука, еле видная из-под длинного рукава ночной рубашки, лежала на груди, другая была вытянута на стеганом одеяле; согнутые пальцы мальчика иногда вдруг тихонько вздрагивали, полураскрытые губы слегка шевелились, словно силясь что-то произнести. Какая-то тень страдания время от времени набегала на маленькое личико: сначала чуть-чуть вздрагивал подбородок, потом трепет передавался губам, раздувались тонко очерченные ноздри, приходили в движение мускулы на узком лбу... Длинные опущенные ресницы не могли скрыть голубоватых теней под глазами.

— Ему что-то снится,— растроганно прошептала г-жа Перманедер. Затем она склонилась над ребенком, тихонько поцеловала его в разгоревшуюся от сна щечку, заботливо оправила полог и вернулась к столу, где Ида в желтом свете лампы, натянув на деревянный гриб другой чулочек и внимательно осмотрев дырку, уже начинала ее затягивать.— Штопаешь, Ида?.. Ты всегда мне так и представляешься за этим занятием!

— Да, милочка, да! С тех пор как он пошел в школу, чулок прямо не напасешься.

— Что ты? Ведь он такой нежный, тихий ребенок.

— Да, а вот видишь...

— Нравится ему в школе?

— Ох, нет, Тони, милочка! Он бы предпочел и теперь у меня заниматься. И я бы тоже этого хотела, потому что ведь учителя не знают его с самых первых дней, как я знаю, и не умеют к нему подойти. Ему бывает трудно следить за уроком, он ведь так быстро устает...

— Бедняжка! Что ж, ему уж и колотушки доставались?

— Ох, нет, муй боже коханы!.. Зачем бы они стали так жестоко с ним обходиться? Стоит только мальчугану посмотреть им в глаза...

— А что было, когда его отвели в первый раз? Плакал он?

— Да! Он ведь вообще легко плачет — не в голос, а так, потихоньку всхлипывает... Он уцепился за сюртук господина сенатора и все умолял его не уходить.

— А, так мой брат сам его отвел?.. О, это тяжелые минуты, Ида, очень тяжелые, можешь мне поверить. Как сейчас помню, я ревмя ревела, ей-богу! Была, как цепная собака, до того тяжело у меня было на сердце. А почему, спрашивается? Да потому, что дома мне было так же хорошо, как и Ганно. Дети из видных семейств все ревели, я это сразу заметила, а другим хоть бы что — только глядели на нас и ухмылялись... Господи, что это с ним, Ида?

Ее поднятая было рука застыла в воздухе. Она в испуге повернулась к кроватке, откуда послышался крик, прервавший их болтовню,— крик ужаса, тут же повторившийся, только еще более надрывно и жалобно. Этот крик раздался еще два, три, четыре раза, почти без перерыва. «О! О! О!» — громкий, полный ужаса и отчаяния вопль протеста против чего-то страшного и отвратительного, что привиделось мальчику... И в ту же секунду маленький Иоганн во весь рост вскочил на кроватке. Он бормотал что-то нечленораздельное, вглядываясь широко раскрытыми золотисто-карими глазами в какой-то иной мир и не замечая, что его окружало.

— Ничего,— сказала Ида,— это pavor [1]. Ах, иногда еще хуже бывает! — Она оставила работу, подошла своим широким, тяжелым шагом к Ганно, уложила его на подушки и, успокоительно что-то приговаривая, накрыла одеялом.

— Ах, так, pavor? — повторила г-жа Перманедер.— Что ж это? Он проснулся?

Нет, Ганно не проснулся, хотя остекленевшие глаза его были широко раскрыты и губы продолжали шевелиться.

— Что? Да, да! А теперь уж хватит нам болтать... Что ты говоришь? — спросила Ида Юнгман.

Госпожа Перманедер тоже подошла поближе, прислушиваясь к тревожному бормотанью.

Лишь пойду к своим тюльпанам
И начну их поливать,—

заплетающимся языком говорил Ганно.

— Это стишки, которые он учил,— покачивая головой, пояснила Ида Юнгман.— Ну, полно, полно, спи уж, дружок.

Входит в сад горбатый карлик,
Чтобы всех их обчихать,—

[1] Страх *(лат.)*.

проговорил Ганно и вздохнул. Внезапно выражение его лица изменилось, глаза полузакрылись, он задвигал головой по подушке и тихим, надрывающим душу голосом продолжал:

Луна на небе светит,
Плач детский будит спящих.
Бьет колокол двенадцать...
Утешь, господь, скорбящих!

Затем он всхлипнул, слезы проступили у него сквозь ресницы и медленно покатились по щекам... От этого он проснулся. Он обнял Иду, глядя на нее заплаканными глазами, пролепетал что-то о «тете Тони», устроился поудобнее и спокойно уснул.

— Странно! — сказала г-жа Перманедер, когда Ида снова уселась за стол.— Что это были за стихи?

— У него есть такая книжка,— отвечала мамзель Юнгман.— Называется она: «Волшебный рог мальчика». Чудные стишки... На днях ему пришлось учить их наизусть, и он все что-то толковал об этом карлике. Знаешь, по правде сказать, довольно жутко: этот горбатенький везде — он разбивает кухонный горшок, поедает кисель, крадет дрова, останавливает прялку, всех высмеивает, а под конец еще просит, чтобы его поминали в молитвах! Вот мальчик и расстроился. Он день и ночь думал об этом «человечке». И знаешь, что он все время твердил мне: «Ведь правда, Ида, горбатенький все это делает не со зла, не со зла!.. Просто ему грустно. А сделает плохо — и становится еще грустнее... Если за него помолиться, ему не надо будет больше так плохо поступать». Еще сегодня, когда мама пришла пожелать ему спокойной ночи, перед тем как ехать в концерт, он спросил, не помолиться ли ему за горбатенького...

— И помолился?

— Вслух нет, а про себя, наверно, помолился. А вот о другом стихотворении, «Нянины часы», он ничего не говорил, только плакал над ним... Он ведь очень легко плачет и никак не может остановиться.

— Разве оно такое печальное?

— По-моему — нет!.. Однако Ганно как дойдет вот до этого места, над которым он сейчас плакал во сне, так и запнется. А сколько он слез пролил из-за извозчика, который в три часа утра встает со своей соломенной подстилки...

Госпожа Перманедер растроганно засмеялась, но сейчас же сделала серьезное лицо.

— А я тебе скажу, Ида, что ничего хорошего тут нет. И, по-моему, очень даже плохо, что он все принимает так

близко к сердцу. Извозчик встает в три часа! Господи боже ты мой,— на то он и извозчик. Ганно — я уж в этом, слава богу, понимаю — слишком во все вникает, за всех печалится... Это не может не подтачивать его здоровья. Надо бы серьезно переговорить с Грабовом... Но беда в том,— продолжала она, скрестив руки на груди, слегка склонив голову набок и недовольно постукивая по полу носком башмачка,— что Грабов стареет, а кроме того, какой он ни прекрасный, честный, славный человек, но что касается его врачебных талантов, то я не слишком высоко ставлю их, и да простит мне господь, если я не права! Вот, например, эти беспокойства Ганно, эти вскакивания по ночам, эти приступы страха во сне... Грабов все это знает. И что же? Он заявляет нам, что по-латыни это называется pavor nocturnus — и все... Поучительно, конечно... Нет, нет, он милейший старик, истинный друг, что угодно... но не светило науки! Значительный человек и выглядит иначе, и уже с юных лет как-то проявляет себя. Грабов пережил сорок восьмой год — в ту пору он еще был молодым человеком,— но смею тебя уверить, что его нисколько не волновали идеи свободы и справедливости, ничуть не затрагивала борьба с произволом и с сословными привилегиями. Он ученый, а между тем, я уверена, безобразные законы Германского союза касательно университетов и печати его нисколько не возмущали. Никогда в жизни не совершил он ни одного неблагоразумного поступка, никогда не утратил самообладания... И всегда-то у него было такое же длинное доброе лицо, и всегда-то он прописывал голубя и французскую булку, а в особо серьезных случаях еще и ложку алтейного сиропа... Спокойной ночи, Ида. Ах, поверь мне, существуют совсем другие врачи!.. Жаль, что так поздно и мне не дождаться Герды... Спасибо, в коридоре еще горит свет. Спокойной ночи!

Когда г-жа Перманедер, проходя мимо дверей в столовую, приоткрыла их, чтобы, не заходя в гостиную, крикнуть брату «спокойной ночи», она увидела, что во всех смежных комнатах зажжен свет и Томас, заложив руки за спину, расхаживает по ним большими шагами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Оставшись один, сенатор уселся на прежнее место у стола, достал пенсне из кармана и снова принялся за чтение газеты. Впрочем, минуты через две он поднял глаза и, не меняя позы, устремил взор между портьер, во мрак большой гостиной.

Почти до неузнаваемости менялось лицо сенатора, когда он оставался один. Мускулы рта и щек, приученные к безусловному повиновению его напряженной воле, слабели, обмякали — словно маска спадала с этого лица. Выражение бодрости, деловитости, светскости и энергии, с давних пор уже наигранное, уступало место мучительной усталости; глаза, грустные, невидящие, тупо уставившиеся на первый попавшийся предмет, начинали слезиться. На то, чтобы обманывать самого себя, у него уже недоставало силы. И из всех мыслей, беспорядочно, назойливо и тревожно теснившихся в его мозгу, сенатор останавливался только на одной — мрачнейшей: что он, Томас Будденброк, в сорок два года конченый человек.

Медленно, с глубоким вздохом он проводил рукой по лбу и по глазам, зажигал новую папиросу, хоть и знал, что это вредит здоровью, и сквозь клубы дыма продолжал всматриваться в темноту. Какой контраст между страдальческой расслабленностью его черт и почти военной щеголеватостью надушенных, вытянутых щипцами усов, тщательно выбритых щек и подбородка, волос, заботливо зачесанных на лысеющую макушку, уже не вьющихся, но коротко подстриженных, чтобы скрыть пробивающуюся седину возле узких висков — там, где волосы отступали двумя продолговатыми заливчиками. Томас Будденброк сам ощущал это несоответствие и знал также, что ни от кого в городе не ускользало противоречие между энергической живостью его движений и тусклой бледностью лица.

Не то чтобы в свете он стал лицом менее значительным или менее уважаемым. Друзья его рассказывали направо и налево, а завистники не отрицали, что бургомистр доктор Лангхальс во всеуслышанье повторил слова своего предшественника Эвердика: «Сенатор Будденброк — правая рука бургомистра». Но вот что фирма «Иоганн Будденброк» была уже совсем не та — стало настолько общим мнением, что даже г-н Штут с Глокенгиссерштрассе беседовал об этом со своей супругой за тарелкой шнекового супа... И Томаса Будденброка это сокрушало.

Тем не менее никто больше его самого не способствовал установлению такой точки зрения. Он был богатый человек, и убытки, понесенные им даже в наиболее тяжелом 1866 году, не могли поставить под угрозу существование фирмы. Разумеется, он по-прежнему принимал у себя, и за его обедами подавалось не меньшее число блюд, чем ожидали гости. Но представление о том, что удачи и успехи миновали, основывавшееся скорей на каком-то внутреннем убеждении, чем

на внешних фактах, приводило его в состояние такой болезненной подавленности, что он — чего никогда в жизни не делал — стал придерживать деньги и даже в личной своей жизни наводить почти мелочную экономию. Сотни раз проклинал он свой новый, так дорого ему обошедшийся дом, который, казалось, принес фирме только одно несчастье. Летние поездки прекратились, и маленький садик при доме заменил теперь ему и его семье взморье и горы. Обеды, подававшиеся ему, Герде и маленькому Ганно, в соответствии с неоднократными и строгими требованиями сенатора, стали так незатейливы, что в этой огромной столовой с навощенным паркетом, с высоким и роскошным лепным потолком, с великолепной дубовой мебелью производили впечатление почти уже комическое. Десерт давно допускался только по воскресным дням. Внешне сенатор выглядел так же элегантно, как прежде, но старый слуга Антон рассказывал на кухне, что хозяин меняет теперь белые рубашки только через день, так как тонкое полотно слишком изнашивается от частой стирки. Антон знал еще и другое... А именно, что его скоро уволят. Герда протестовала: трех служанок недостаточно, чтобы содержать в порядке такой огромный дом. Но ее супруг был непреклонен, и Антон, столько лет неизменно восседавший на козлах, когда Томас Будденброк отправлялся в сенат, был отпущен с подобающим денежным вознаграждением за долгую службу.

Такие меры вполне соответствовали унылому темпу, в котором шли дела фирмы. От всего того нового и свежего, что Томас Будденброк некогда вдохнул в старый торговый дом, не осталось и воспоминания, а его компаньон, г-н Фридрих Вильгельм Маркус, уже в силу незначительности своей доли не могший сколько-нибудь заметно влиять на ход дел, вдобавок был и от природы лишен какой бы то ни было инициативы.

С течением лет его педантичность возросла и превратилась в настоящее чудачество. Ему требовалось не менее четверти часа, чтобы, поглаживая усы, откашливаясь и вдумчиво посматривая по сторонам, срезать кончик сигары и бережно спрятать его в кошелек; по вечерам, когда от газовых ламп в конторе было светло, как днем, он непременно зажигал на своей конторке еще и стеариновую свечу; каждые полчаса он становился под кран, чтобы смочить голову. Однажды утром у него под столом по чьему-то недосмотру оказался пустой мешок из-под зерна, который он принял за кошку и, к удовольствию всех служащих, стал, громко ругаясь, гнать из комнаты... Нет, не такой он был человек, чтобы, вопреки нынешней вялости

своего компаньона, способствовать процветанию фирмы. И сенатора нередко, как, например, в данный момент, когда он сидел, устало вглядываясь в сумрак гостиной, охватывало чувство раздражительного нетерпения при мысли о грошовых оборотах, о жалком крохоборстве, до которого теперь унизилась фирма «Иоганн Будденброк».

«Но, может быть, это к лучшему? Ведь и беде минует срок? — думал он.— Может быть, мудрее до поры до времени держаться тихо и, выжидая, накапливать силы?» И зачем понадобилось Тони именно теперь приступить к нему с этим предложением, выводить его из состояния разумного бездействия, вселять в него сомнения и тревогу? Или уже пришла пора, и это знак свыше? Может быть, настало время ободриться, воспрянуть духом и снова взяться за дело? Он отверг это предложение со всей решительностью, на какую был способен, но разве в минуту, когда Тони вышла из комнаты, с этим было покончено? Видно, нет, если он сидит здесь и думает, думает... «Возмущаешься и злишься на какое-нибудь предложение, только когда чувствуешь себя не вполне уверенным, когда ощущаешь известный соблазн на это предложение согласиться...» Чертовски хитрая особа его сестрица Тони!

Что он ей возразил? Насколько ему помнится, он говорил очень дельно и даже проникновенно: «Нечистоплотные махинации... Ловля рыбы в мутной воде... Бесстыдная эксплуатация... Бить лежачего... Ростовщические прибыли...» Отлично! Спрашивается только, стоило ли произносить столь громкие слова по этому поводу? Консул Герман Хагенштрем не стал бы их подыскивать, а следовательно, и не нашел бы. Кто же он, Томас Будденброк,— делец, человек действия или томимый сомнениями интеллигент?

Да! Вот вопрос! Вопрос, волнующий его с той самой поры, как он начал думать! Жизнь суровая штука, а безудержное, чуждое сантиментов течение деловой жизни — точный сколок с течения той, другой, жизни, большой и всеобъемлющей. Так вот: приспособлен ли он, Томас Будденброк, подобно своему отцу и деду, к этой суровой практической жизни? С давних пор — и часто, очень часто — были у него причины в этом сомневаться! Часто, очень часто, с самых юных дней, приходилось ему приноравливать свое мироощущение к этой всеобъемлющей жизни, учиться суровости, учиться сносить суровость, учиться воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся... Ужели лишь затем, чтобы так никогда и не постигнуть этой науки?

Он вспомнил впечатление, которое произвела на него катастрофа 1866 года, вызвал в памяти нестерпимо болезненные чувства, охватившие его тогда. Он потерял крупную сумму денег... Ах, но не это было нестерпимо! В те дни он впервые до конца ощутил. ощутил на собственной шкуре, грубую жестокость деловой жизни, когда все — доброта, мягкость, благожелательность — уступает место первобытному, обнаженному, властному инстинкту самосохранения, когда твое несчастье даже у друзей, у самых лучших друзей, вызывает не жалость, не сочувствие, а недоверие — холодное, отталкивающее недоверие. Но разве он этого не знал раньше? Разве пристало ему, Томасу Будденброку, этому удивляться? Как часто потом, в лучшие дни, окрепнув духом, он стыдился тех бессонных ночей, того гадливого возмущения, той непреходящей боли, которую причиняла ему уродливая, бесстыдная жестокость жизни!

Какая нелепость! Как смешна была такая душевная уязвимость! Как вообще могли в нем возникнуть подобные чувства? Ведь в таком случае снова встает вопрос: кто он? Деловой человек или расслабленный мечтатель?

Уже тысячи раз он задавался этим вопросом, в минуты бодрости, уверенности в себе отвечая на него *так*, в минуты уныния *иначе*. И все же он был слишком умен и честен, чтобы в конце концов не осознать, что в нем воссоединилось и то и другое.

Всю жизнь он старался слыть деятельным человеком. Но в той мере, в какой он *был* таковым, не происходило ли это в соответствии со столь близкой ему максимой Гете «о сознательном применении умственной энергии»?

В свое время он мог похвалиться успехами, но не были ли эти успехи лишь следствием энтузиазма, внезапного порыва, на который подвигла его рефлексия? Да и то, что он повержен, что его силы — даст бог, не навек! — теперь иссякли,— не есть ли это следствие его неуравновешенного душевного состояния, неестественного, мучительного внутреннего разлада, разъедавшего его душу?.. Интересно, купили бы его отец, дед, прадед пеппенрадовский урожай на корню?.. Впрочем, это несущественно, совершенно несущественно! Все равно, нет никакого сомнения, что они были люди куда более практические, жизнелюбивые, цельные, сильные и непосредственные, чем он!..

Тревога и беспокойство овладели Томасом. Он ощутил потребность в движении, в пространстве, в свете. Он встал, отодвинул стул, прошел в большую гостиную и зажег несколько газовых горелок в люстре, висевшей над столом. Там он по-

стоял, медленными, но судорожными движениями покручивая усы и глядя невидящим взором на великолепие этих апартаментов. Большая гостиная, занимавшая вместе с малой весь фасад дома и обставленная светлой гнутой мебелью, благодаря большому концертному роялю, на котором лежал футляр со скрипкой Герды, а также этажерке, заваленной нотами, резному пульту и барельефам с музицирующими амурчиками над дверями производила впечатление маленького концертного зала. Эркер был весь уставлен пальмами.

Несколько минут сенатор Будденброк стоял без движения; затем встряхнулся, прошел обратно в маленькую гостиную и оттуда в столовую; он зажег свет и здесь, взяв с буфета графин, выпил стакан воды, чтобы успокоить свои взбудораженные нервы, а вернее — чтобы хоть что-нибудь сделать, и, заложив руки за спину, двинулся дальше в глубь дома. Курительная комната, отделанная деревянными панелями, была выдержана в темных тонах. Он машинально отпер шкафчик, где хранились сигары, и тотчас же закрыл его, поднял крышку стоявшей на ломберном столе дубовой шкатулки с картами, книжечками для записей и тому подобными принадлежностями игры. Набрав полную горсть сухо застучавших костяных фишек, он стал неторопливо пропускать их сквозь пальцы, потом захлопнул шкатулку и снова зашагал по комнатам.

К курительной примыкала комнатка с цветным оконцем. В ней стояло только несколько легких столиков, вдвинутых один в другой, и на верхнем — ящик с ликерами. Отсюда был вход в зал с блестящим паркетом и четырьмя смотрящими в сад высокими окнами, на которых висели гардины винно-красного цвета. Зал тоже тянулся во всю длину дома. Из мебели в нем находилось два громоздких низких дивана, обитых такой же винно-красной материей, и множество стульев с высокими спинками, чинно расставленных вдоль стен. Был там и камин с искусственными углями — полосками глянцевитой бумаги, красной и золотой — казалось, тлевшими за решеткой. На верхней мраморной доске стояли две огромные китайские вазы.

Теперь по всей анфиладе, там и здесь, мерцали язычки газового пламени, как на исходе празднества, когда последний гость только-только покинул дом. Сенатор прошел вдоль зала, потом остановился у окна, напротив комнатки с цветным оконцем, и стал смотреть в сад.

Высоко вверху, среди перистых облаков, стоял молодой месяц, и его луч, казалось, тихо плескался в струях фонтана,

под низко свесившимися ветвями орешника. Томас перевел взгляд на павильон в глубине сада, на маленькую, блестевшую белизною террасу с двумя обелисками, на ровные, усыпанные гравием дорожки и свежевскопанные, аккуратно очерченные клумбы и газоны. Но вся эта изящная, ничем не нарушенная симметрия его не успокаивала, а, напротив, только сердила и уязвляла. Положив руку на скобу окна, он прижался к ней лбом, и мысли его снова потекли мучительно и тревожно.

Что с ним происходит? Он вспомнил свое замечание, оброненное в разговоре с сестрой. Не успело оно сорваться у него с языка, как он уже пожалел, что сболтнул лишнее. Он говорил о графе Штрелице, о земельной аристократии и попутно высказал мысль — отчетливо и ясно — о несомненном превосходстве производителя над посредником. А так ли это? Бог мой, да не все ли равно, так или не так! Но ему-то разве подобает высказывать такую мысль, обсуждать ее, даже просто на нее напасть? Разве можно себе представить, чтобы его отцу, деду или даже кому-нибудь из его сограждан приходили в голову подобные мысли? Человек, не ставящий под сомнение достоинство своей профессии, ни о какой другой не помышляет, никакой другой не интересуется и, уж во всяком случае, не ценит выше своей.

Внезапно он почувствовал, что кровь приливает у него к голове. Еще одно внезапно набежавшее воспоминание заставило его покраснеть до корней волос. Он увидел себя в саду на Менгштрассе вместе со своим братом Христианом. Между ними происходит ссора, одно из столь частых в ту пору запальчивых объяснений. Христиан, со свойственной ему бестактностью, накануне публично позволил себе пошлое замечание, и вот он, Томас, глубоко уязвленный и негодующий, яростно допрашивает его о подробностях. «Собственно говоря,— изрек Христиан,— всякий коммерсант мошенник...» И что же? По существу, так ли уж разнятся эти глупые слова от того, в чем он сам только что признался сестре? В то время он возмущался, со злостью опровергал Христиана, но — как она сегодня сказала, эта хитрюга Тони? «Кто сердится...»

— Нет! — громким голосом проговорил сенатор, резко вскинул голову, снял руку со скобы, чуть ли не отскочил от окна и столь же громко добавил: — С этим покончено! — Он кашлянул, чтобы отделаться от неприятного ощущения, вызванного в нем звуком собственного голоса, склонил голову, заложил руки за спину и снова зашагал по освещенным комнатам.— С этим покончено! — повторил он.— Должно быть по-

кончено! Я тунеядствую, увязаю в болоте, становлюсь не менее смешон, чем Христиан!..

О, как хорошо, что он не был в неведении относительно того, что с ним творилось! Ведь это значило, что есть еще возможность все исправить! Исправить разом, силой!.. Надо разобраться... хорошенько разобраться... что, собственно, за предложение ему сделано? Урожай? Пеппенрадовский урожай на корню?..

— Я пойду на это! — убежденно прошептал он и даже потряс в воздухе рукой.— Я пойду на это!

Вот то, что называется «случай». Случай удвоить,— впрочем, удвоить — это слишком сильно сказано,— капитал в сорок тысяч марок. Да, это указание свыше, ему предопределено воспрянуть! Здесь идет речь о смелом начинании, о первом шаге, а риск, с ним связанный,— не более как преодоление известных моральных предрассудков. Удастся ему — и он опять на коне, снова может дерзать, снова появится у него внутренняя хватка, уменье держать в тисках счастье, удачу.

Нет, господам Штрунку и Хагенштрему этот улов, увы, не достанется! Есть еще здесь в городе фирма, у которой благодаря личным связям имеются преимущества перед ними! И правда, в данном случае все решает личное знакомство. Это ведь не такое дело, к которому приступают хладнокровно, которое идет раз навсегда установленным порядком. Поскольку посредницей здесь явилась Тони, оно отчасти приобретает характер одолжения, услуги, требует такта, уменья молчать. Герман Хагенштрем для этого, право же, неподходящая фигура! Он, Томас, как истинный коммерсант, сегодня воспользуется конъюнктурой и — с божьей помощью — воспользуется ею и позднее, при продаже. С другой стороны, он оказывает услугу землевладельцу, попавшему в стесненное положение; а поскольку Тони дружит с г-жой фон Майбом, ясно, что именно *он* должен оказать эту услугу. Значит, надо написать Майбому, написать еще сегодня, и не на конторском бланке, а на бумаге с краткой пометкой «сенатор Будденброк», на какой он пишет частные письма... Написать крайне осмотрительно: просто спросить, желателен ли его приезд в ближайшие дни. А щекотливое все-таки предприятие, скользкая почва! Двигаться по ней надо с известной грацией... Что ж, значит, это тем более в его духе!

Шаги сенатора стали еще стремительнее, дыхание глубже. На мгновение он присел, потом опять вскочил и зашагал по комнатам. Надо еще раз продумать все в целом! Ему представился г-н Маркус, Герман Хагенштрем, Христиан, Тони; мыс-

ленным взором окинул он волнуемую ветром золотую ниву в Пеппенраде, помечтал о «подъеме», который будет ждать фирму после этого «случая», с негодованием отринул все сомнения, потряс рукою в воздухе и сказал:

— Я пойду на это!

Госпожа Перманедер приоткрыла дверь в столовую и крикнула:

— Спокойной ночи!

Он безотчетно ответил ей.

Вошла Герда (Христиан простился с ней у подъезда). Ее странные, близко посаженные карие глаза загадочно мерцали, как всегда под воздействием музыки. Сенатор машинально встал ей навстречу, машинально осведомился об игре испанского виртуоза и под конец заявил, что устал и немедленно последует за нею в спальню.

Но спать он не пошел, а опять стал шагать по комнатам. Он думал о мешках пшеницы, ржи, овса и ячменя, которыми до отказа заполнятся амбары «Лев», «Кит», «Дуб» и «Липа», обдумывал, какую цену — о, отнюдь не безобразно низкую! — он предложит за урожай... Около полуночи он тихонько спустился в контору и при свете стеариновой свечки г-на Маркуса быстро написал письмо г-ну фон Майбому в Пеппенраде, показавшееся, когда он его перечитал, его усталому и разгоряченному воображению самым дипломатичным из всех когда-либо им написанных.

Это было в ночь на 27 мая. На следующий день он легким, слегка даже юмористическим тоном сообщил сестре, что еще раз всесторонне обдумал дело и решил не отказывать сразу г-ну Майбому и не предавать его в руки первого встречного ростовщика. 30 мая он отправился в Росток и оттуда, в наемном экипаже, проехал в Пеппенраде.

Все последующие дни сенатор был в прекрасном настроении. Его походка опять стала упругой и легкой, выражение лица приветливым. Он поддразнивал Клотильду, от души смеялся над выходками Христиана, шутил с Тони, а в воскресенье целый час играл на «балконе» с Ганно, помогая ему поднимать на блоках крохотные мешки с зерном в маленький кирпичный амбар, и при этом искусно подражал протяжным крикам грузчиков. 3 июля в городской думе, говоря о скучнейшей в мире материи — о каком-то незначительном налоговом вопросе, он нашел слова, столь блистательные и остроумные, что одержал победу по всем пунктам, а консул Хагенштрем, ему возражавший, стал объектом всеобщих насмешек.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Было ли то случайным невниманием или умыслом со стороны сенатора, но он едва не позабыл об одной примечательной дате, которая только благодаря г-же Перманедер, проявлявшей неусыпный интерес к фамильным документам, стала достоянием гласности. Дело в том, что 7 июля 1768 года почиталось днем основания фирмы, а посему в скором времени предстояла столетняя годовщина этой даты.

Томаса как будто даже слегка передернуло, когда Тони взволнованным голосом сообщила ему об этом. Душевный подъем его продолжался недолго. Он быстро сник, впал еще в большее уныние. В разгар рабочего дня он вдруг уходил из конторы и, гонимый тревогой, бродил по саду. Время от времени он останавливался, словно натолкнувшись на препятствие, или, кем-то окликнутый, вздыхал, прикрывал глаза рукою. Он никому ничего не говорил. Да и кому бы? Г-н Маркус — это было удивительное зрелище! — впервые в жизни вспылил, когда компаньон сообщил ему о сделке с владельцем Пеппенраде и наотрез отказался в ней участвовать, а тем более нести за нее какую-либо ответственность. Однажды, впрочем, сенатор проговорился. Когда сестра, прощаясь в четверг вечером, намекнула ему на будущий урожай, он быстро сжал ее руку и торопливо, почти шепотом сказал:

— Ах, Тони! Если бы мне уж поскорее с ним разделаться!

После этих слов он круто повернулся и пошел, оставив г-жу Перманедер в полном недоумении. В этом внезапном рукопожатии было что-то от прорвавшегося наружу отчаяния, в этом шепоте проглянул давно таимый страх.

Когда Тони спустя некоторое время попыталась вновь заговорить о юбилее фирмы, он замкнулся в молчании, стыдясь поддаться слабости и с горечью сознавая себя неспособным нести на плечах всю тяжесть управления столетним предприятием.

Потом ответил угрюмо и досадливо:

— Ах, душенька! По-моему, об этой дате надо просто забыть!

— Забыть, Том? Невозможно! Немыслимо! И ты воображаешь, что такое событие можно обойти молчанием? Неужели ты думаешь, что город не придаст должного значения этому дню?

— Я не сказал, что это возможно. Я сказал только, что мне приятнее было бы обойти этот день молчанием. Праздновать прошлое приятно, когда радуешься настоящему и буду-

щему. Хорошо вспоминать об отцах и дедах, когда ты ощущаешь связь с ними, когда сознаешь себя продолжателем их дела... Если бы этот юбилей пришелся в другое время... Одним словом, я совсем не расположен «торжествовать»!

— Не надо так говорить, Том! Да ты так и не думаешь! Ты сам отлично знаешь, что было бы позором, просто позором, если бы столетний юбилей фирмы «Иоганн Будденброк» прошел никем не замеченный и не отмеченный. Все дело в том, что у тебя сейчас нервы не в порядке; и я даже знаю почему, хотя это совершенно безосновательно... И все-таки, когда день юбилея настанет, ты будешь умилен так же, как и мы все.

Тони оказалась права: обойти юбилейную дату молчанием было невозможно. Прошло немного времени, и в «Ведомостях» появилась статья, подробно излагающая историю старинного и уважаемого торгового дома,— впрочем, достопочтенное купечество не занамятовало бы этот день и без статьи. В семье о грядущем празднестве первым заговорил дядя Юстус на одном из «четверговых» обедов, а г-жа Перманедер, как только горничная обнесла всех десертом, торжественно положила на стол папку с семейными документами, и все собравшиеся, готовясь к праздничному дню, стали перечитывать и обсуждать различные события из жизни основателя фирмы, покойного Иоганна Будденброка, прапрадеда Ганно. Когда у него была просяница и когда настоящая оспа, как он свалился с чердака сушильни и потом захворал буйной горячкой. Все это г-жа Перманедер прочитала с почти религиозным благоговением. Она никак не могла остановиться и, не переводя дыхания, вернулась к шестнадцатому столетию, к записям родоначальника Будденброков — того самого, кто, как известно, был ратсгерром в Грабау,— а также к портному из Ростока, который «жил в отличном достатке» — эти слова были подчеркнуты — и наплодил необычайное множество детей, живых и мертвых...

— Какой замечательный человек! — вскричала Тони и снова принялась за чтение пожелтелых, надорванных писем и поздравительных стихов.

Утром 7 июля первым, как и следовало ожидать, сенатора поздравил г-н Венцель.

— Да, господин сенатор, сто лет,— говорил он, в то время как его красные руки ловко орудовали ремнем и бритвой.— А я уж чуть ли не полстолетия брею членов вашего уважаемого семейства; и, уж конечно, волей-неволей многое знаешь и

многое принимаешь близко к сердцу, когда из года в год первым являешься поутру к главе семьи и фирмы. Покойный господин консул в эти часы тоже был всего разговорчивее и частенько даже спрашивал меня: «Ну как, по-вашему, Венцель, продавать мне рожь? Или есть шансы, что она еще поднимется в цене?»

— Да, Венцель, я никак не могу себе представить жизнь в нашем городе без вас. В вашей профессии — впрочем, я вам уже не раз это говорил — есть немалые преимущества. Когда вы заканчиваете свой утренний обход, вы оказываетесь умнее всех нас, ибо уже успели «обработать» физиономии шефов чуть ли не всех крупных фирм, а следовательно — и узнать настроение каждого из них. Право же, вам можно позавидовать,— это ведь очень интересно.

— О да! Ну, а что касается настроения почтеннейшего сенатора Будденброка, то господин сенатор сегодня опять что-то бледен.

— Возможно. У меня голова болит и, надо думать, скоро не пройдет. Едва ли сегодня выдастся спокойный день.

— Да, на это господину сенатору нечего рассчитывать! Весь город в волнении. Не угодно ли господину сенатору взглянуть в окно: сколько флагов! А в гавани напротив Фишергрубе «Вулленвевер» и «Фридерика Эвердик» стоят под всеми вымпелами.

— Так, так! Поторапливайтесь, Венцель! Сегодня время дорого!

Сенатор, облачившись в светлые брюки, надел не обычную конторскую куртку, а черный сюртук, оставлявший открытым белый пикейный жилет. Гостей следовало ждать с самого утра. Он бросил последний взгляд в зеркало на туалетном столе, позволил Венцелю еще раз провести горячими щипцами по длинным кончикам своих усов и, вздохнув, направился к двери. Начинается канитель! О, если бы этот день уже остался позади! Удастся ли ему хоть одно мгновение побыть в одиночестве, хоть на несколько секунд ослабить напряжение лицевых мускулов? Гости будут толочься весь день, а значит, ему весь день придется со спокойным достоинством принимать поздравления по меньшей мере ста человек и для каждого подыскивать подходящие, точно взвешенные слова: почтительные, серьезные, дружелюбные, иронические, шутливые, снисходительные, сердечные, а с вечера до глубокой ночи просидеть в погребке под ратушей, где местное купечество дает обед в его честь...

Сенатор сказал неправду, голова у него не болела. Он просто устал, и то относительное спокойствие, которое он обычно ощущал по утрам, уже успело смениться неопределенной, гнетущей тоской... Зачем он солгал? Похоже, что дурное самочувствие вызывало у него угрызения совести? Но почему? Почему?.. Впрочем, сейчас не время размышлять об этом.

Когда он вошел в столовую, Герда живо встала ему навстречу. Она тоже уже оделась для приема гостей. На ней была гладкая юбка из шотландской материи, белая блузка и поверх нее легонькая «зуавская» безрукавка темно-красного цвета, в тон волос. Она улыбалась, открывая широкие ровные зубы, соперничавшие с белизной ее прекрасного лица; и даже глаза ее, близко посаженные, загадочные карие глаза с голубоватыми тенями в уголках, улыбались сегодня.

— Я уж чуть свет на ногах, Том, из чего ты можешь заключить, как горячо я тебя поздравляю.

— Смотрите-ка! Сто лет на тебя произвели впечатление?

— Огромное!.. А может быть, это просто праздничное настроение... Какой день! Вот смотри, хотя бы это,— она указала на стол, накрытый к завтраку и украшенный гирляндами цветов из их сада,— это работа мамзель Юнгман... Но, если ты воображаешь, что тебе можно уже пить чай, то ты ошибся: в большой гостиной тебя дожидаются все наши с праздничным подарком, к которому я тоже немного причастна... Послушай, Томас, это, конечно, только начало целой вереницы визитов. Первые я еще выдержу, но часов в двенадцать уйду к себе, предупреждаю заранее. Барометр хоть и упал немножко, но небо все еще нестерпимо синее. Правда, это прекрасно сочетается с флагами — ведь весь город во флагах,— но жара будет отчаянная. А сейчас иди! Завтрак подождет. Тебе надо было встать пораньше, теперь уже ничего не поделаешь: придется первые волнения испытать на голодный желудок.

В гостиной его ждали консульша, Христиан, Клотильда, Ида Юнгман, г-жа Перманедер и Ганно. Последние двое с трудом держали в руках праздничный дар семьи — большую картину в массивной раме. Консульша, растроганная до глубины души, обняла своего первенца.

— Прекрасный день, мой милый сын! Прекрасный! — повторяла она.— Нам следует денно и нощно воздавать хвалу господу за его милости, за все его милости! — Она расплакалась.

В этих объятиях сенатор поддался слабости. Ему показалось, будто внутри у него что-то смягчилось, оттаяло. Губы его дрогнули. Малодушное желание овладело им: закрыв глаза,

прильнуть к матери, забыться на ее груди в чуть слышном аромате духов, исходящем от мягкого шелка ее платья, ничего больше не видеть, ни о чем не говорить... Он поцеловал консульшу и выпрямился, чтобы протянуть руку брату, который пожал ее с видом не то смущенным, не то рассеянным. Клотильда, как всегда в торжественных случаях, произнесла какое-то приветствие, протяжно и благожелательно. Что касается мамзель Юнгман, то она ограничилась низким поклоном, ожесточенно теребя при этом часовую цепочку на плоской груди.

— Поди сюда, Том,— дрожащим голосом позвала г-жа Перманедер.— Мы с Ганно уже из сил выбились.

Поскольку от слабых рук Ганно проку было немного, она, можно сказать, одна держала тяжелую раму, являя в своем страстном усердии вид самозабвенной мученицы. Глаза ее были влажны, щеки пылали, кончиком языка она, не то лукаво, не то от избытка чувств, водила по верхней губе.

— Иду, иду! — отозвался сенатор.— Что у вас там такое? А ну, давайте-ка опустим ее.

Он прислонил картину к стене возле рояля и, окруженный всей семьей, остановился перед нею.

В массивной резной раме из орехового дерева красовались под стеклом портреты четырех владельцев фирмы «Иоганн Будденброк»; под каждым из них золотыми буквами — имя и соответствующие даты. Портрет Иоганна Будденброка, основателя фирмы, был списан со старинного изображения масляными красками; то был рослый, важный человек, с поджатыми губами и волевым взглядом, устремленным поверх пышного жабо. Рядом с ним улыбалось широкое, веселое лицо Иоганна Будденброка, закадычного друга Жан-Жака Гофштеде. Консул Иоганн Будденброк, с подбородком, упиравшимся в высокие стоячие воротнички, большим ртом, окруженным морщинками, и крупным горбатым носом, смотрел на зрителя одухотворенными, фанатическими глазами. Последним в ряду был Томас Будденброк, запечатленный в несколько более молодом возрасте. Стилизованный золотой колос обвивал все четыре портрета, под которыми стояли знаменательные даты 1768—1868. Всю композицию венчала надпись, высокие готические буквы которой воспроизводили почерк того, кто завещал сие изречение потомству: «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам твоим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя».

Заложив руки за спину, сенатор долго смотрел на портреты.

— О да,— проговорил он наконец не без иронии,— ночной покой — великое дело! — И, обернувшись к своим, добавил уже вполне серьезно, хотя, может быть, несколько торопливо: — Большое вам спасибо, дорогие! Прекрасный и весьма знаменательный подарок. Где бы нам его повесить? В моем кабинете?

— Да, Том! Над письменным столом в твоем кабинете,— отвечала г-жа Перманедер, обнимая брата; затем она потянула его к окну и указала на улицу.

Под ярко-синим летним небом реяли двухцветные флаги — вдоль всей Фишергрубе, от Брейтенштрассе до гавани, где, подняв вымпела в честь хозяина, стояли «Вулленвевер» и «Фридерика Эвердик».

— И так повсюду, Том,— сказала г-жа Перманедер; голос ее дрогнул.— Я уже успела пройтись сегодня по городу. Хагенштремы тоже вывесили флаги! Впрочем, что им еще оставалось? Я бы им все стекла повыбила...

Томас улыбнулся, и сестра потащила его обратно к столу.

— Вот телеграммы, Том! Самые первые! Конечно, личные, от родственников. От клиентов поступают прямо в контору.

Они распечатали несколько депеш: от гамбургской родни, от франкфуртской, от г-на Арнольдсена и его близких в Амстердаме, от Юргена Крегера из Висмара. Вдруг г-жа Перманедер вспыхнула.

— А все-таки он, по-своему, неплохой человек! — сказала она, передавая брату только что вскрытую телеграмму: на ней стояла подпись «Перманедер».

— А время-то идет и идет! — заметил сенатор, щелкнув крышкой часов.— Я хочу чаю. Хорошо бы, вы составили мне компанию. Позднее начнется такая кутерьма...

Однако жена, по знаку, поданному ей Идой Юнгман, остановила его.

— Минутку, Томас... Ганно сейчас надо будет идти на урок, а он хотел бы прочитать тебе стихотворение. Подойди поближе, Ганно, и постарайся представить себе, что здесь никого нет. Не волнуйся!

Маленькому Иоганну даже на каникулах,— а июль всегда был каникулярным временем,— приходилось брать уроки по арифметике, чтобы не отстать от класса. В предместье св. Гертруды, в душной комнатке, где не слишком-то хорошо пахло, его уже дожидался рыжебородый человек с грязными ногтями, старавшийся вдолбить ему злосчастную таблицу умножения. Но прежде чем идти к нему, надлежало прочитать папе стихо-

творение, то самое, которое он так прилежно разучивал с Идой на своем «балконе».

Ганно стоял, прислонившись к роялю, в копенгагенском матросском костюмчике с широким полотняным воротником, с белой вставкой, с галстуком, завязанным морским узлом, скрестив тонкие ноги и слегка склонившись набок,— в позе робкой и грациозной. Недели три назад его коротко обстригли, так как в школе уже не только мальчики, но и учителя стали смеяться над его длинными волосами. Но они все равно и теперь ложились мягкими волнами надо лбом и на прозрачных висках. Веки его были опущены, так что длинные темные ресницы скрывали голубоватые тени под глазами. Плотно сжатые губы мальчика слегка подергивались.

Ганно наперед знал, что сейчас произойдет. Он неминуемо расплачется, не сумеет дочитать стихотворения, от которого у него сжимается сердце не меньше, чем по воскресеньям, когда г-н Пфюль, органист Мариенкирхе, играет как-то особенно торжественно и проникновенно,— расплачется, как всегда, когда от него требуют, чтобы он «показал себя», когда его экзаменуют или испытывают его способности и присутствие духа, чем так любит заниматься папа. И зачем только мама просила его не волноваться! Она хотела его ободрить, а вышло еще хуже. Он это ясно чувствовал. Теперь они стоят и смотрят на него. Ждут, боясь, что он заплачет... А раз так, ну можно ли не заплакать? Он поднял ресницы, стараясь встретиться глазами с Идой; она теребила цепочку на груди и, грустно улыбаясь, поощрительно кивала ему головой. Им овладело неодолимое желание прижаться к ней, дать ей увести себя, не слышать ничего, кроме ее низкого голоса, успокоительно бормочущего: «Ну, полно, полно, мой мальчик, бог с ним, с этим стихотворением...»

— Итак, сынок, я тебя слушаю,— сказал сенатор; усевшись в кресло у стола, он ждал. Он не улыбался,— о нет! — он никогда не улыбался в подобных случаях. Вскинув одну бровь, он хмуро оглядывал фигурку маленького Иоганна испытующим, более того — холодным взглядом.

Ганно выпрямился, коснулся рукой блестящей крышки рояля, робко обвел глазами собравшихся и, несколько ободренный нежностью, светившейся в устремленных на него глазах бабушки и тети Тони, произнес тихим, немножко глуховатым голосом:

— Уланд, «Воскресная песнь пастуха».

— Э-э, друг мой! Это ни на что не похоже! — воскликнул сенатор.— Руки ты зачем-то сложил на животе, навалился на

рояль. Прежде всего — стой свободно! Говори свободно! Поди-ка встань вон там, между портьерами! Голову выше! Опусти руки!

Ганно встал на пороге малой гостиной и опустил руки. Он послушно поднял голову, но ресницы его остались опущенными, так что глаз не было видно. Наверно, в них уже стояли слезы.

Господен нынче день,—

проговорил он совсем тихо, отчего еще резче прозвучал голос отца, прервавший его:

— Выступление начинают с поклона, сын мой! И говорить следует гораздо громче! А ну, еще раз! «Воскресная песнь пастуха»...

Это было уже жестоко, и сенатор прекрасно знал, что отнимает у мальчика остаток сил и самообладания. Но надо, чтобы он умел постоять за себя! Не давал бы сбить себя с толку! Сохранял бы мужество и твердость духа.

— «Воскресная песнь пастуха»,— неумолимо, хотя и с оттенком поощрения, повторил он.

Но Ганно уже обессилел. Голова его упала на грудь, бледная ручка, выглядывавшая из темно-синего, узкого у запястья и украшенного якорем рукава матроски, судорожно вцепилась в парчовую портьеру.

В открытом поле я один,—

еще сумел он проговорить, но на этом иссяк. Он поддался настроению стихов. От безграничного сострадания к самому себе голос Ганно прервался, из-под ресниц начали проступать слезы. Тоска охватила его, тоска по тем ночам, когда он, прихворнув, с немного повышенной температурой и краснотой в горле, лежал в постели, а Ида подходила, чтобы напоить его, и, любовно склоняясь над ним, переменяла холодный компресс на его лбу... Он весь поник, положил голову на руку, уцепившуюся за портьеру, и расплакался.

— Этого еще только недоставало! — жестким, раздраженным голосом произнес сенатор и поднялся.— О чем ты плачешь? Плакать тебе надо о том, что даже в *такой* день ты не можешь собраться с силами и доставить мне удовольствие. Что ты, девчонка, что ли? Что из тебя получится, если и дальше так пойдет? Или ты собираешься всю жизнь купаться в слезах, когда тебе надо будет выступать публично?..

«Никогда,— в отчаянии думал Ганно,— никогда я не буду выступать публично!»

— Поразмысли-ка до обеда над тем, что я сказал,— заключил сенатор и пошел в столовую, а Ида Юнгман, стоя на коленях, вытирала глаза своему питомцу и ласково его журила.

Томас стал торопливо завтракать, а консульша, Клотильда, Тони и Христиан разошлись по домам: сегодня им предстояло еще обедать здесь, у Герды, вместе с Крегерами, Вейншенками и дамами Будденброк. Сенатору волей-неволей надо было присутствовать на обеде в ратуше, но он надеялся не слишком задержаться там и вечером еще застать у себя всех в сборе. За украшенным гирляндами столом он выпил несколько глотков чаю из блюдечка, быстро съел яйцо и уже на лестнице несколько раз затянулся папиросой.

Гроблебен, несмотря на июльскую жару, с шерстяным шарфом вокруг шеи, с башмаком, напяленным на левую руку, и с сапожной щеткой в правой — с носа у него, как всегда, свисала продолговатая капля — предстал перед хозяином на нижней площадке, где стоял на задних лапах бурый медведь, держа в передних поднос для визитных карточек.

— Да, господин сенатор, сто лет!.. А все один беден, другой богат...

— Ладно, ладно, Гроблебен! — И сенатор, сунув ему в руку со щеткой монету, прошел через сени в приемную при конторе. Там навстречу ему поднялся кассир, долговязый человек с преданными глазами, и в изысканных выражениях поздравил его от имени всех служащих. Сенатор коротко поблагодарил и сел на свое место у окна. Но не успел он еще придвинуть к себе газеты и нераспечатанные письма, как раздался стук в дверь и появились первые поздравители.

Это была делегация из шести человек от складских рабочих, они вошли, тяжело ступая, с простодушными улыбками на лицах и шапками в руках. Глава делегации сплюнул на пол бурый недожеванный табак, подтянул брюки и, собравшись с силами, заговорил что-то о «сотне лет» и еще «многих, многих сотнях лет...». Сенатор в ответ посулил им значительную прибавку жалованья за эту неделю и отпустил их.

Затем явились с поздравлениями служащие департамента налогов. На смену им в дверях показалась кучка матросов, присланных под командой двух штурманов с «Вулленвевера» и «Фридерики Эвердик», в настоящее время стоявших в здешней гавани. Следом за ними пришла депутация от грузчиков — парни в черных блузах, коротких штанах и цилиндрах. Кроме того, в контору заглядывал то один, то другой из сограждан, портной Штут с Глокенгиссерштрассе, в черном сюртуке поверх шер-

стяной фуфайки, кое-кто из соседей; принес свои поздравления и владелец цветочного магазина Иверсен. Старик почтальон, с белой бородой, вечно слезящимися глазами и серьгами в ушах, чудак, которого сенатор, когда бывал в духе, неизменно приветствовал как «господина обер-почтмейстера», крикнул еще с порога: «Я не затем, господин сенатор, ей-богу, не затем пришел! Люди хоть и говорят, что здесь никого без подарка не отпускают, да я-то не затем!..» Но деньги он все же принял с благодарностью и удалился. Поздравителям конца не было. В половине одиннадцатого горничная доложила сенатору, что в гостиной у г-жи сенаторши уже начался прием.

Выйдя из конторы, Томас Будденброк торопливо поднялся по парадной лестнице. Возле дверей гостиной он на мгновенье задержался перед зеркалом, поправил галстук и с наслаждением вдохнул запах смоченного одеколоном носового платка. Он был очень бледен, и, хотя все время покрывался потом, ноги и руки у него застыли. Бесконечные посетители в конторе довели его до полного изнеможения. Он вздохнул и вошел в залитую солнечным светом гостиную, чтобы приветствовать консула Хунеуса, лесоторговца и пятикратного миллионера, его супругу, их дочь с мужем, сенатором доктором Гизеке. Они все вместе прибыли из Трáвемюнде, где, как и большинство видных семей города, проводили июль месяц, прервав ради будденброковского юбилея курс морских купаний.

Не успели они просидеть и трех минут на светлых изогнутых креслах, как вошел консул Эвердик, сын покойного бургомистра, с супругой, урожденной Кистенмакер. А когда консул Хунеус распрощался и двинулся к двери, навстречу ему уже шел его брат, который хоть и имел на миллион меньше, но зато был сенатором.

С этого момента гости прибывали непрерывно. Большая белая дверь под барельефом с музицирующими амурчиками почти не затворялась, позволяя видеть ярко освещенную солнцем парадную лестницу, по которой то и дело спускались и поднимались поздравители. Но поскольку в гостиной и в прилегающем к ней коридоре было просторно и в отдельных группах гостей уже завязались интересные разговоры, число прибывающих быстро превысило число уходящих, так что вскоре горничная была освобождена от обязанности открывать и закрывать двери — их попросту оставили открытыми. Всюду гул мужских и женских голосов, рукопожатия, шутки, громкий, веселый смех, звенящий вверху между колонн и отдающийся под стеклянным потолком парадной лестницы.

Сенатор Будденброк, стоя на верхней площадке либо в дверях большой гостиной, принимает поздравления — то чисто формальные, сдержанные, то радостные, идущие от всего сердца. Вот все почтительно приветствуют бургомистра доктора Лангхальса, благообразного невысокого человека с тщательно выбритым подбородком, упрятанным в пышный белый галстук, с короткими седыми бакенбардами и утомленным взглядом дипломата. Вслед за ним входит виноторговец консул Эдуард Кистенмакер со своим братом и компаньоном Стефаном — старым другом и восторженным почитателем сенатора Будденброка, и с невесткой, пышущей здоровьем дамой, дочерью крупного землевладельца. Вдовствующая сенаторша Меллендорф уже восседает в гостиной на самой середине софы, когда ее сын, консул Август Меллендорф, со своей супругой Юльхен, урожденной Хагенштрем, появляются в дверях и, принеся поздравления хозяевам, проходят по гостиной, раскланиваясь налево и направо. Консул Герман Хагенштрем прислонился своим тяжелым телом к лестничным перилам и, громко дыша в рыжеватую бороду приплюснутым к верхней губе носом, болтает с сенатором доктором Кремером, начальником полиции; по лицу Кремера, обрамленному каштановой с проседью бородой, время от времени пробегает мягкая, но несколько лукавая улыбка. Прокурор, доктор Мориц Хагенштрем, рядом с которым стоит его красавица жена, урожденная Путтфаркен из Гамбурга, усмехаясь, скалит острые редкие зубы. Толпа на мгновенье расступается — видно, как старый доктор Грабов обеими руками пожимает руку сенатора Будденброка, но его тут же оттесняет архитектор Фойт. По лестнице, с распростертыми объятиями и просветленным лицом, поднимается пастор Прингсгейм; сегодня на нем партикулярное платье, и только сюртук, более длинный, чем принято, намекает на его духовный сан. Фридрих Вильгельм Маркус тоже здесь. Депутации, представляющие сенат, городскую думу и торговую палату, явились во фраках. Половина двенадцатого. Жара уже изрядная. Хозяйка дома с четверть часа как удалилась в свои комнаты.

Вдруг снизу, из парадных сеней, доносится такой стук и топот, словно туда ввалилась целая толпа, и тут же на весь дом раздается чей-то звучный, громовый голос. Из большой гостиной, из столовой и курительной все устремляются к лестнице, толпятся в коридоре и смотрят вниз через перила. А там уже выстраиваются музыканты, человек пятнадцать — двадцать, с инструментами в руках. Ими управляет господин в русом парике, с седой морской бородой и желтыми вставными зубами.

Что же там происходит? Консул Петер Дельман вступает в дом во главе оркестра Городского театра! Вот он уже шествует по ступенькам, потрясая пачкой программ в высоко поднятой руке!

И на гулкой лестнице с такой немыслимой акустикой, что сливаются отдельные звуки, аккорды поглощают друг друга, становятся бессмысленными и над всеми звуками доминирует громкое хрюканье фагота (в него с отчаянным выражением на лице дует какой-то толстяк),— раздается серенада в честь торгового дома «Иоганн Будденброк». Она начинается хоралом «Восславим днесь творца», затем следует парафраз из оффенбаховской «Прекрасной Елены», который, в свою очередь, сменяется попурри из народных песен... Словом, программа достаточно обширная.

Прекрасная идея осенила Дельмана! Все его прославляют, и никто не собирается уходить до окончания концерта. Гости стоят в коридоре, сидят в парадных комнатах, слушают, переговариваются...

Томас Будденброк стоит со Стефаном Кистенмакером, сенатором Гизеке и архитектором Фойтом на другой стороне площадки, у дверей в курительную, возле лестницы, ведущей на третий этаж. Он прислонился к стене, время от времени вставляет слово в общую беседу, но больше безмолвно смотрит поверх перил в пустоту. Жара стала еще сильнее, еще томительнее; но, может быть, скоро прольется дождь; тени, пробегающие по стеклянному потолку, говорят о том, что на небе появились облака. Теперь они уже мелькают так часто, так скоро следуют друг за другом, что от непрестанно меняющегося, неровного освещения начинают болеть глаза. Блеск лепной позолоты, кронштейнов и медных инструментов внизу то и дело потухает, чтобы вновь вспыхнуть еще ярче... Только однажды набежавшая тень задержалась подольше, и тут же стало слышно, как что-то легонько, с перерывами, раз пять или шесть стукнуло по стеклу потолка: наверно, упало несколько градинок. И солнечный свет опять сверху донизу залил дом.

Случается, человеком овладевает такое подавленное состояние духа, что все то, что обычно его сердит и вызывает в нем здоровую реакцию недовольства, вдруг начинает томить его долгой, тупой, безмолвной печалью... Так, Томаса печалило поведение маленького Иоганна, печалили чувства, вызванные в собственной его душе всем этим торжеством, а больше всего то, что многих чувств он, при всем желании, уже не мог в себе вызвать. Много раз пытался он ободриться, посмотреть на все

иным, просветленным взглядом, внушить себе, что это действительно счастливый день,— день, который не может не вдохнуть в него приподнятого, радостного настроения. И хотя грохот музыкальных инструментов, гул голосов и вид этого множества людей возбуждали его нервы и заодно с воспоминаниями о прошлом, об отце не раз заставляли его ощутить известную растроганность,— но над всем этим брало верх ощущение чего-то смешного и неловкого, неотделимое от этой пошлой музыки, искаженной нелепой акустикой, от всех этих заурядных людей, только и знающих, что болтать о биржевых курсах и званых обедах. Эта смесь растроганности и отвращения и повергала его в какое-то тоскливое уныние.

В четверть первого, когда программа, исполняемая оркестром Городского театра, уже близилась к концу, произошел ничем не примечательный случай, нисколько не нарушивший торжества, но заставивший хозяина на несколько минут покинуть гостей. В перерыве между двумя музыкальными номерами на парадной лестнице показался вконец смешавшийся при виде столь блестящего собрания конторский ученик, низкорослый горбатый юноша. Весь красный от смущения, еще ниже втянув голову в плечи и, видимо, стараясь вести себя непринужденно, он размахивал неестественно длинной и тонкой рукой, в которой держал сложенный вдвое листок бумаги — телеграмму. Уже поднимаясь по лестнице, он исподтишка искал глазами хозяина и, завидев его, стал пробираться сквозь толпу гостей, торопливо бормоча извинения.

Конфузился он напрасно, на него никто не обратил внимания. Гости на мгновенье расступились, пропуская его, и вряд ли кто-нибудь даже заметил, как он с поклоном передал сенатору телеграмму и как тот немедленно отошел от Кистенмакера, Гизеке и Фойта, чтобы прочесть ее. Даже в этот день, когда приходили почти сплошь поздравительные телеграммы, Томас Будденброк не отменил своего распоряжения: в служебное время немедленно передавать ему, чем бы он ни был занят, любую депешу.

У входа на третий этаж коридор образовывал колено и тянулся до черного хода, где была еще одна дверь в зал. Там же, напротив лестницы, находилась шахта подъемника, по которому из кухни подавались наверх кушанья, а рядом с ней, у стены, стоял довольно большой стол, обычно служивший для чистки серебра. Здесь сенатор остановился и, повернувшись спиной к горбатому ученику, вскрыл депешу.

Внезапно глаза его так расширились, что каждый, увидев это, отпрянул бы в ужасе: он вдохнул воздух столь быстро и судорожно, что в горле у него пересохло. Он закашлялся.

У сенатора достало сил проговорить: «Можете идти». Но шум в гостиной и в коридоре заглушил его голос. «Можете идти»,— повторил он, и последнее слово было произнесено уже почти беззвучно, одними губами.

Поскольку сенатор не двинулся, не обернулся, не сделал даже самого слабого движения рукой, горбун еще несколько мгновений недоуменно переминался с ноги на ногу. В конце концов он все-таки отвесил неловкий поклон и стал спускаться по черной лестнице.

Сенатор Будденброк продолжал стоять у стола. Руки его, все еще державшие развернутую депешу, беспомощно свесились вдоль туловища, он дышал полуоткрытым ртом, трудно и быстро, его грудь тяжело вздымалась и опускалась, он мотал головой бессознательно и беспрерывно, как человек, которого постиг удар.

— Небольшой град... небольшой град! — бессмысленно повторял он.

Но вот дыханье его стало глубже, спокойнее, мутная пелена усталости заволокла его полуоткрытые глаза. Он еще раз тяжело качнул головой и двинулся с места.

Сенатор отворил дверь и вошел в зал. С опущенной головой, медленно ступая по блестящему, как зеркало, полу, он пересек огромную комнату и в самом дальнем конце ее опустился на один из темно-красных угловых диванов. Здесь было прохладно и тихо. Из сада слышался плеск фонтана. Муха билась об оконное стекло. Многоголосый шум, наполнявший дом, сюда доносился глухо.

Обессиленный, он откинул голову на спинку дивана и закрыл глаза.

— Может быть, оно и к лучшему... к лучшему,— вполголоса пробормотал он, с силой выдохнул воздух и уже свободно, с облегчением повторил: — Да, так оно к лучшему!

Умиротворенный, с ощущением легкости во всем теле, он пролежал пять минут неподвижно, потом приподнялся, сложил телеграмму, сунул ее в карман сюртука и встал, чтобы снова выйти к гостям.

Но тут же, едва сдержав стон отвращения, опустился на диван. Музыка... Опять заиграла музыка... Этот нелепый шум, видимо, должен был изображать галоп. Литавры и тарелки отбивали ритм, которого не придерживались другие инструменты,

вступая то преждевременно, то с опозданием. Это была назойливая и в своей наивной непосредственности нестерпимо раздражающая какофония — треск, грохот, пиликанье,— вдобавок еще пронизываемая наглым взвизгиванием флейты-пикколо.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Да, Бах, сударыня, Себастиан Бах! — восклицал г-н Эдмунд Пфюль, органист Мариенкирхе, в волнении расхаживая по гостиной.

Герда сидела у рояля, подперев голову рукой, и улыбалась, а Ганно, примостившись в кресле, слушал, обхватив обеими руками колени.

— Конечно, вы правы... Это благодаря ему гармония одержала победу над контрапунктом... без сомнения, он создал современную гармонию! Но каким путем? Неужели же мне вам объяснять? Дальнейшим развитием контрапунктического стиля — вам это известно не хуже, чем мне! Какой же принцип лег в основу этого развития? Гармония? О нет! Ни в коем случае! Контрапункт, и только контрапункт, сударыня! К чему, скажите на милость, привели бы самодовлеющие эксперименты над гармонией? Я всех предостерегаю — да, покуда мой язык мне повинуется, всех предостерегаю от подобных экспериментов над гармонией!

Господин Пфюль вносил немало пыла в такие разговоры и даже не старался умерить его, ибо в этой гостиной чувствовал себя как дома. Каждую среду, в послеобеденный час, на пороге появлялась его рослая, угловатая, немного сутулая фигура в кофейного цвета сюртуке, полы которого доходили до колен. В ожидании своей партнерши он с любовью открывал бехштейновский рояль, ставил скрипичные ноты на резной пульт и несколько минут прелюдировал, искусно и непринужденно, склоняя от удовольствия голову то на одно, то на другое плечо.

Великолепная шевелюра — умопомрачительное множество мелких тугих, темно-рыжих с проседью, завитков — придавала его голове необыкновенную внушительность и тяжеловесность, хоть она и сидела на длинной, с огромным кадыком шее, торчавшей из отложных воротничков. Густые взъерошенные усы того же темно-рыжего цвета выдавались на его лице сильнее, чем маленький приплюснутый нос. Под его круглыми карими блестящими глазами, мечтательный взгляд которых во время занятий музыкой, казалось, проникает в суть вещей, по-

клясь уже по ту сторону внешних явлений, набухали мешки. Лицо это не было значительным, вернее — на нем не было печати живого и сильного ума. Веки г-н Пфюль обычно держал полуопущенными, а его бритый подбородок нередко отвисал безвольно и дрябло, и хотя губы и оставались сомкнутыми, это придавало рту какое-то размягченное, почти загадочное, неосмысленное и самозабвенное выражение, свойственное сладко спящему человеку.

Впрочем, внешняя мягкость отнюдь не соответствовала суровой прямоте его характера. Как органист, Эдмунд Пфюль был достаточно широко известен, а молва о его познаниях в теории контрапункта распространилась и за пределы родного города. Выпущенная им небольшая книжечка о церковных ладах была рекомендована в двух или трех консерваториях в качестве факультативного чтения, а его фуги и обработки хоралов время от времени исполнялись везде, где звучал орган во славу господа. Эти композиции, равно как и импровизации, которым он предавался по воскресеньям в Мариенкирхе, были безукоризненны, совершенны, насквозь проникнуты неумолимым нравственно-логическим величием и торжественностью «строгого стиля». В существе своем чуждые всякой земной красоты, они не могли затронуть чисто человеческих чувств непосвященного. В них торжествовала техника, доведенная до степени религиозного аскетизма, виртуозность, возвысившаяся до самоцели, до абсолютной святости. Эдмунд Пфюль невысоко ставил благозвучие и холодно отзывался о мелодических красотах. И при всем том, как ни странно, он не был сухарем, не окостенел в своем чудачестве.

— Палестрина! — восклицал он тоном, не терпящим возражений, и лицо его становилось грозным. Но не успевал он усесться за рояль и сыграть несколько старинных пьес, как на его лице появлялось несказанно мягкое, самозабвенное и мечтательное выражение. Взгляд г-на Пфюля покоился где-то в священной дали, словно вот сейчас, за роялем, ему открылся смысл всего сущего. То был взгляд музыканта, кажущийся пустым и смутным оттого, что он устремлен в пределы логики, более глубокой, чистой, беспримесной и безусловной, чем все наши языковые понятия и рассуждения.

Руки у него были большие, пухлые, как бы бескостные, и усыпанные веснушками. Мягким и таким глухим голосом, словно кусок застрял у него в пищеводе, приветствовал г-н Пфюль Герду Будденброк, когда она, приподняв портьеру, входила в гостиную:

— Ваш покорный слуга, сударыня.

Слегка привстав со стула, склонив голову и почтительно пожимая правой рукой протянутую ему руку, он левой уже брал квинты, уверенно и четко, а Герда быстро благодаря исключительной тонкости слуха настраивала своего Страдивариуса.

— Сыграем гемольный концерт Баха, господин Пфюль. В прошлый раз у нас не совсем хорошо получилось адажио...

И органист начинал играть. Но едва только успевали прозвучать первые аккорды, как дверь из коридора медленно, осторожно приоткрывалась и маленький Иоганн, неслышно ступая по ковру, прокрадывался в дальний угол, где стояло кресло. Там он усаживался, обеими руками обхватывал колени и, стараясь не шевелиться, прислушивался к музыке и к разговорам.

— Ну что, Ганно, пришел послушать? — спрашивала в перерыве Герда, глядя на него своими близко поставленными глазами, разгоревшимися от игры и блестевшими влажным блеском.

Мальчик вставал и с безмолвным поклоном протягивал руку г-ну Пфюлю, который ласково и бережно гладил его русые волосы, так мягко и красиво ложившиеся на лоб и виски.

— Слушай, слушай, сынок,— приветливо говорил органист, и Ганно, не без робости поглядывая на его огромный вздымавшийся кадык, снова быстро и бесшумно возвращался на свое место, горя желанием поскорее услышать продолжение игры и сопутствующие ей разговоры.

Начинали они обычно с пьески Гайдна, нескольких страниц Моцарта, сонаты Бетховена. Но затем, покуда Герда, держа скрипку под мышкой, разыскивала другие ноты, случалось необыкновенное: г-н Пфюль, Эдмунд Пфюль, органист Мариенкирхе, продолжая потихоньку что-то наигрывать, неожиданно переходил к музыке совсем иного, диковинного стиля, и в его отсутствующем взоре появлялся блеск стыдливого блаженства. Под его пальцами рождались ширь и цветенье, бурлила жизнь, пели сладостные голоса, и из этих звуков, вначале тихо, то возникая, то вновь улетучиваясь, а потом все отчетливее и осязаемее вырастал искусно контрапунктированный, по-старинному грандиозный, прихотливо торжественный мотив марша. Подъем, сплетение, переход... и в заключающее fortissimo вдруг вступала скрипка. Увертюра к «Мейстерзингерам».

Герда Будденброк была убежденной почитательницей новой музыки, но это ее пристрастие наталкивалось на такое неистово-возмущенное сопротивление г-на Пфюля, что она уже было отчаялась привлечь его на свою сторону.

В день, когда она впервые раскрыла перед ним клавираусцуг «Тристана и Изольды», он, сыграв двадцать пять тактов, вскочил с места и, выказывая признаки крайнего отвращения, забегал между окном и роялем.

— Я этого играть не стану, сударыня! Я ваш покорный слуга, но этого я играть не стану! Это не музыка, поверьте мне! Льщу себя надеждой, что в музыке я кое-что смыслю. Это хаос! демагогия! богохульство! безумие! Спрыснутый духами чад, который нет-нет да и прорежет молния. Тут конец всякой нравственности в искусстве. Я этого играть не стану! — С этими словами он снова рванулся к роялю, кадык его заходил вверх и вниз; давясь и откашливаясь, он сыграл еще двадцать пять тактов, видимо, лишь для того, чтобы захлопнуть крышку рояля и крикнуть: — Тьфу! Да простит меня господь, это уж слишком! Извините, сударыня, за откровенность... Вы меня вознаграждаете, годами оплачиваете мои услуги, а я человек небогатый... но я отказываюсь, отказываюсь служить вам, если вы станете принуждать меня к такому бесчестному занятию!.. А ребенок! Вон там, в уголке, сидит ребенок! Он тихонько пробрался сюда, чтобы послушать музыку. Неужто вы хотите вконец отравить его душу?

Но, как яростно он ни сопротивлялся, Герда медленно, шаг за шагом приучала его к этой новой музыке и в конце концов перетянула на свою сторону.

— Пфюль,— говорила она,— будьте же справедливы и не горячитесь! Вы сбиты с толку непривычными для вас принципами применения гармонии... Вы утверждаете, что в сравнении с этой музыкой Бетховен — сама чистота, ясность, естественность. Но вспомните, в какое негодование Бетховен приводил своих современников, воспитанных на иной музыке... Бог ты мой! Даже Баха упрекали в недостатке благозвучия и ясности!.. Вы упомянули о нравственности. Но что вы, собственно, понимаете под нравственностью в искусстве? Если я не ошибаюсь — это противоположность гедонизму? Но ведь здесь-то она и налицо. Так же как у Баха. Только грандиознее, глубже, осознаннее, чем у него. Верьте мне, Пфюль, эта музыка куда менее чужда вашей душе, чем вы полагаете.

— Прошу прощения! Сплошное фиглярство и софизмы! — ворчал г-н Пфюль.

Но Герда была права: по существу эта музыка была совсем не так чужда ему, как он думал вначале. Впрочем, с «Тристаном» он полностью так никогда и не примирился, хотя просьбу Герды переложить «Смерть Изольды» для скрипки и рояля в

конце концов выполнил с большим мастерством. Первыми заслужили его признание отдельные партии из «Мейстерзингеров», и с тех пор в нем уже неодолимо стала крепнуть любовь к этому искусству. Он боялся себе в ней признаться, ворчливо отрицал ее. Но партнерше уже не приходилось оказывать на него давление, для того чтобы он,— разумеется не давая в обиду старых мастеров,— усложнял свои пассажи и с выражением стыдливого, чуть ли не досадливого блаженства во взоре привносил в них кипучую жизнь лейтмотивов. Правда, после игры у них все же возникали споры по поводу соотношения этого стиля со «строгим стилем», но в один прекрасный день г-н Пфюль заявил, что считает своим долгом,— хотя его лично эта тема и не интересует,— дополнить свою книжечку о стиле церковных ладов главой о «Применении Рихардом Вагнером старинных созвучий в его церковной и народной музыке».

Слушая эти разговоры, Ганно сидел тихо-тихо, обхватив ручонками колени и непрестанно дотрагиваясь, по своей привычке, языком до одного из коренных зубов, отчего рот его казался немного искривленным. Он не сводил широко раскрытых глаз с матери и г-на Пфюля, вслушивался в их игру, в их споры. Так случилось, что первые же шаги на жизненном пути привели его к признанию музыки чем-то необыкновенно серьезным, важным, глубоким. Он вряд ли даже понимал, что они говорили, а вещи, ими исполняемые, в большинстве случаев превосходили его детское восприятие. И если он все-таки являлся и, не скучая, часами неподвижно сидел в своем кресле, то, очевидно, его приводили сюда вера, любовь и благоговение.

Ему было только семь лет, когда он впервые попытался самостоятельно воспроизвести на рояле звукосочетания, особенно его поразившие. Мать с улыбкой наблюдала за ним, с немым усердием исправляла подобранные им аккорды, объясняла, почему именно эта, и только эта, тональность необходима для перехода одного аккорда в другой. Правоту ее слов подтверждал мальчику его собственный слух.

Позволив ему некоторое время так позабавляться, Герда решила, что мальчику пора учиться музыке.

— По-моему, скрипка не его инструмент,— заметила она г-ну Пфюлю,— и я даже рада этому; ведь игра на скрипке имеет свои теневые стороны, не говоря уже о зависимости скрипача от аккомпанемента, хотя сплошь и рядом это играет первостепенную роль. Если бы не вы, не знаю даже... Кроме того, всякого, кто вступил на этот путь, подстерегает опасность в той или иной мере впасть в виртуозничанье... Я знаю тому немало

примеров. Если говорить откровенно, то я считаю, что для скрипача музыка начинается лишь на высокой ступени мастерства. Напряженная сосредоточенность на верхнем голосе, его фразировке и тональности, когда полифония доходит до сознания только смутно и в самых общих формах,— у ребенка не очень одаренного может привести к атрофии чувства гармонии, к неумению воспринимать гармонические построения, а это уж не исправишь потом. Я люблю скрипку и добилась в этом искусстве кое-каких успехов, но рояль все же ценю выше... Рояль, как средство, помогающее резюмировать разнообразнейшие, богатейшие звуковые построения, как непревзойденное средство музыкального воспроизведения, для меня означает более интимную, более чистую и глубокую связь с музыкой... Так вот, Пфюль, очень вас прошу, возьмите на себя обучение мальчика и приступайте к этому без промедления! Я знаю, что здесь, в городе, имеется еще двое или трое преподавателей, вернее преподавательниц, но это в точном смысле слова учительницы музыки. Вы меня понимаете. Не так важно обучить ребенка игре на каком-либо инструменте, как важно научить его пониманию музыки, не так ли? На вас я полагаюсь, вы к музыке относитесь серьезно. И вот посмотрите, у вас он будет успевать. У него будденброковские руки... Будденброки могут брать все ноны и децимы, но толку-то от этого немного,— со смехом заключила она.

Господин Пфюль выразил согласие стать учителем Ганно. Отныне он приходил еще и по понедельникам после обеда. Покуда они занимались, Герда сидела в соседней комнате. Это были не совсем обычные уроки, ибо г-н Пфюль чувствовал, что молчаливое и страстное рвение мальчика обязывает его к чему-то большему, нежели простое обучение игре на рояле. Как только Ганно усвоил первые, элементарнейшие основы, г-н Пфюль в простой и доступной форме начал знакомить его с теорией, с основами гармонического учения. И Ганно понимал, что все это, собственно, только подтверждает то, что всегда было ему открыто.

По мере возможности г-н Пфюль считался с неудержимым рвением мальчика, любовно и тщательно стремился он облегчить тяжкий груз материи, тянущий книзу фантазию и неукротимый талант. Он не придавал слишком большого значения гибкости пальцев при разучивании гамм,— во всяком случае, не считал эту гибкость основной целью. Цель, которую он себе ставил и которой быстро достиг, сводилась к тому, чтобы дать мальчику возможно более ясное представление обо всех тональ-

ностях, глубокое, разностороннее знание их взаимозависимостей и связей, которое помогает ученику очень скоро постичь многоразличные комбинационные возможности, дает ему ощущение власти над клавиатурой, поощряет к импровизации, к сочинительству. С трогательным уважением относился он к запросам своего маленького, но избалованного хорошей музыкой ученика, к его тяготению к серьезному искусству. Он не пытался оказывать отрезвляющее воздействие на склонность мальчика ко всему глубокому и торжественному, не принуждал разыгрывать банальные экзерсисы, а предоставлял ему играть хоралы, при этом неуклонно объясняя закономерности переходов одного аккорда в другой.

Герда, с вышиваньем или книгой в руках, следила из соседней комнаты за ходом занятий.

— Вы превзошли все мои ожидания,— как-то сказала она Пфюлю.— Но не слишком ли вы далеко заходите? Не забегаете ли вперед? Метода ваша, по-моему, отличная, а главное — творческая... Ведь он уже и вправду пытается сочинять... Но если он этой методы не заслуживает, если он для нее недостаточно одарен, то ничему не научится...

— Он заслуживает ее,— прервал Герду г-н Пфюль и в подтверждение своих слов кивнул головой.— Я иногда слежу за выражением его глаз... Оно многое говорит. Но губы мальчика всегда сомкнуты. Позднее, когда жизнь, быть может, еще плотнее сомкнет его уста, у него должна остаться возможность говорить...

Герда взглянула на него, на этого угловатого человека, на его рыжую шевелюру, мешки под глазами, на его взъерошенные усы и огромный кадык, протянула ему руку и сказала:

— Благодарю вас, Пфюль. У вас добрые намерения, и мы, вероятно, даже не подозреваем, как много вы для него делаете.

Благодарность самого Ганно и его доверие к учителю не знали границ. Ганно, который, несмотря на все занятия с репетиторами, тупо, без малейшей надежды что-либо понять, сидел над задачником,— за роялем понимал все, что говорил ему г-н Пфюль, понимал и усваивал так, как можно усвоить лишь то, что уже знаешь изнутри. И Эдмунд Пфюль, органист в долгополом сюртуке, представлялся ему ангелом, каждый понедельник берущим его в свои объятия, чтобы из будничной серости вознести в звучащий мир кротких, сладостных, умиротворяющих чувств.

Случалось, что занятия происходили у г-на Пфюля, в просторном старом доме с островерхой крышей, с множеством про-

хладных переходов и уголков, где он жил в полном одиночестве, если не считать старушки-домоправительницы. Иногда маленькому Будденброку дозволялось во время воскресного богослужения в Мариенкирхе сидеть на хорах возле органа, и он чувствовал себя совсем по-другому, чем внизу, среди прихожан. Высоко над паствой, даже над пастором Прингсгеймом, стоявшим на кафедре, сидели они оба среди гудящего, могучего потока звуков, который они освобождали из оков и подчиняли своей власти,— да, они, ибо Ганно, вне себя от счастья и гордости, время от времени помогал учителю в управлении регистрами. А когда смолкала заключительная импровизация после хорала, когда г-н Пфюль снимал пальцы с клавиш и только основной и басовый тоны, повинуясь его воле, еще звучали торжественно и негромко, и потом, после искусно выдержанной паузы, раздавался из-под навеса кафедры модулирующий голос пастора Прингсгейма,— случалось, что г-н Пфюль подсмеивался над проповедью и уж вовсе откровенно смеялся над стилизованным франконским выговором пастора, над его протяжными, глухими и резко подчеркнутыми гласными, его вздохами и постоянной сменой мрака и просветленности на его лице. Тогда смеялся и Ганно, потихоньку, но от всей души, ибо, не сговариваясь, оба они там, наверху, держались мнения, что проповедь — это довольно-таки пустячная болтовня, а подлинное богослужение — то, что пастору и его пастве представляется, вероятно, лишь подсобным средством для поднятия религиозного настроения,— иными словами, музыка.

Да, эти сидящие внизу сенаторы, консулы, бюргеры и их семейства мало что смыслят в его, Пфюля, искусстве; г-н Пфюль постоянно этим огорчается и потому тем более рад видеть рядом с собою своего маленького ученика,— ему хоть можно шепнуть: «Сейчас мы сыграем на редкость трудную пьесу». Он изощрялся во всевозможных технических тонкостях, сочинял «обратные имитации» — то есть такую мелодию, которая одинаково читается слева направо и справа налево, и на этой основе однажды создал «перевернутую фугу». Исполнив ее, он сложил руки на коленях.

— Никто и не заметил,— произнес г-н Пфюль, безнадежно покачав головой; и затем, покуда пастор Прингсгейм произносил проповедь, шепнул на ухо маленькому Иоганну: — Это была «раковая» имитация, Иоганн. Ты еще не знаешь, что это такое... Это воспроизведение темы в обратном порядке, от последней ноты к первой. Трудная штука. Со временем ты поймешь, что значит имитация в «строгом письме». Но «рако-

ходной» имитацией я тебя мучить не собираюсь и никогда не заставлю ею заниматься,— это не обязательно... И все-таки не верь тем, кто объявляет это пустой забавой, не имеющей музыкальной ценности. «Ракоходную» имитацию ты встретишь у великих композиторов всех времен. Только равнодушные посредственности высокомерно отрицают ценность подобных упражнений... А музыканту подобает *смирение,* запомни это, Иоганн!

Пятнадцатого апреля 1869 года, в день своего рождения, когда ему минуло восемь лет, Ганно вместе с матерью сыграл перед собравшейся родней маленькую фантазию собственного сочинения — простенький мотив, который он придумал, счел интересным и разработал в меру своих сил. Разумеется, г-н Пфюль стал поверенным этой тайны и изрядно раскритиковал творение Ганно.

— Что это за театральный финал, Иоганн? Он нисколько не соответствует целому; а дальше — зачем, скажи на милость, ты переходишь из H-dur в квартсекст-аккорд четвертой ступени с пониженной терцией? Это штукарство. И вдобавок у тебя еще тремоло... Это уж ты где-то подцепил. Но где?.. А, знаю, знаю! Ты слишком внимательно слушал, когда я играл твоей маме. Измени-ка конец, мой мальчик, и у тебя получится премилая вещица.

Но как раз moll-аккорду и финалу Ганно придавал наибольшее значение. Это показалось его матери настолько забавным, что решено было все оставить без изменений. Герда взяла скрипку, сыграла верхний голос и, в то время как Ганно просто повторил фразу, проварьировала дискант до конца в ритме одной тридцать второй. Это прозвучало великолепно, ликующий Ганно поцеловал мать, и 15 апреля они исполнили его произведение перед родней.

Консульша, г-жа Перманедер, Христиан, Клотильда, г-н и г-жа Крегер, директор Вейншенк с супругой, а также мадемуазель Вейхбродт по случаю дня рождения Ганно в четыре часа отобедали у сенатора; теперь все сидели в большой гостиной, слушали и смотрели на мальчика в матросском костюмчике, сидевшего за роялем, и на Герду, какую-то чужую и неизменно элегантную, которая сперва исполнила на струне соль блистательную кантилену, а затем с совершенством подлинного виртуоза разразилась целым каскадом искристых, пенящихся каденций. Серебряная рукоятка ее смычка поблескивала в свете газовых ламп.

Ганно, бледный от волнения, почти ничего не ел за обедом; а сейчас он так самозабвенно отдался своему творению, которое, увы, через минуты две уже должно было отзвучать, что все окружающее для него исчезло. Эта маленькая мелодическая пьеска носила скорее гармонический, чем ритмический характер; крайне своеобразное впечатление производил контраст между примитивными, ребячески наивными музыкальными средствами и значительностью, страстностью, даже изысканностью их подачи, их интонированья. Склонив голову немного набок, вытягивая шейку и всем корпусом подаваясь вперед, Ганно подчеркивал каждый переход, сообщая ему возможно большую значительность; он сидел на самом краешке стула и пытался с помощью правой и левой педали сообщить большую эмоциональную насыщенность каждому аккорду. И правда, когда он достигал какого-то эффекта, пусть только ему и заметного, то этот эффект носил скорее чувственный, чем чувствительный характер. Простейший гармонический прием благодаря полновесной, замедленной акцентировке приобретал своеобразное, таинственное значение. Какому-то аккорду, новому гармоническому ходу, вступлению Ганно, высоко вскидывая брови, наклоняясь и делая движение, словно он собирается взлететь, сообщал посредством неожиданно возникавшего, приглушенного звучания нервически напряженную действенность.

И вот уже близится финал, столь полюбившийся Ганно,— финал, своей наивной приподнятостью венчающий всю пьесу. Среди разлива жемчужных пассажей скрипки тихо, чисто, как серебряный колокольчик, тремолирует пианиссимо E-moll аккорда. Он нарастает, ширится, медленно, медленно наполняется звучанием. В forte Ганно прибег к диссонирующему cis, возвращающему к основному тону, и, в то время как Страдивариус плавно и звучно обтекает это cis, мальчик, напрягая все свои силы, доводит диссонанс до fortissimo. Он медлит с развязкой, приберегает ее для себя, для слушателей. Что она сулит, эта развязка, это восхитительное, самозабвенное погружение в H-dur? Беспримерное счастье, небывало сладостное удовлетворение. Мир! Блаженство! Небо!

Еще не конец... нет, еще не конец! Еще миг отсрочки, промедления, напряжения всех сил, пусть нестерпимого,— тем сладостнее будет разрядка... Еще последнее, самое последнее упоение этой зовущей, теснящей грудь страстью, этим томлением, этим последним усилием воли, которая еще не хочет свершенья, освобожденья,— ибо Ганно знал: счастье — это только миг... Мальчик медленно выпрямился, глаза его расши-

рились, сомкнутые губы затрепетали... он вздрогнул, втянул воздух носом и... блаженство неудержимо хлынуло на него. Оно обуяло, охватило все его существо. Мускулы Ганно ослабели, голова бессильно склонилась на плечо, глаза закрылись, печальная, почти болезненная улыбка несказанного счастья появилась на его губах, когда он, модулируя и нажимая педали, околдованный плеском, рокотом, пением, журчанием скрипичных пассажей, перенес свое тремоло, сопровожденное басовым аккомпанементом в H-dur, довел его до fortissimo и вдруг оборвал в коротком, чуть приглушенном всплеске звуков.

Конечно, его игра не могла захватить слушателей в той мере, в какой она захватила его самого. Г-жа Перманедер, например, ровно ничего не поняла в этом избытке музыкальных средств, но она видела улыбку ребенка, видела, как в блаженной истоме поникла нежно любимая ею головка. И это зрелище перевернуло ей душу, легко поддававшуюся умилению.

— Как он сыграл, мальчик мой! Как он сыграл, этот ребенок! — воскликнула она и, едва сдерживая слезы, ринулась заключить его в объятия.— Герда, Том, это будет второй Моцарт, Мейербер...— И, так и не подыскав третьего имени, она ограничилась тем, что осыпала поцелуями племянника, сидевшего в полном изнеможении, с руками, упавшими на колени, и отсутствующим взором.

— Ну полно, Тони, полно,— шепнул ей сенатор.— Прошу тебя, не кружи ты голову мальчугану.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В глубине души Томас Будденброк был недоволен склонностями и ходом развития маленького Иоганна.

В свое время, хотя удивленные филистеры неодобрительно покачивали головой, он взял себе в жены Герду Арнольдсен. Тогда он чувствовал себя достаточно сильным и достаточно свободным, чтобы, не в ущерб бюргерской деловитости, постоять за свой незаурядный и более изысканный вкус. Но неужели ребенок, этот долгожданный наследник, внешне, физически, во многом выдавшийся в отцовскую породу,— все же точный сколок с матери? Неужели этот мальчик со временем не только не продолжит более удачливо и уверенно, как он надеялся, дело его жизни, а в силу самой своей природы будет чуждаться и среды, в которой он призван жить и действовать, и даже его, своего отца?

До сих пор игра Герды на скрипке в сочетании с ее удивительными глазами, которые он любил, с ее тяжелыми темно-рыжими волосами, со всей ее необычной внешностью, была для Томаса еще одним очарованием, еще одним признаком ее своеобразной сущности. Но теперь, когда он увидел, что музыка, эта непонятная ему страсть, с первых же лет жизни целиком завладела его сыном, он стал относиться к ней, как к некой враждебной силе, вставшей между ним и его ребенком,— ребенком, из которого он, несмотря ни на что, надеялся сделать настоящего Будденброка — сильного, практически мыслящего человека, с волей, устремленной к власти, к стяжанию. Нервно взвинченному и подозрительному Томасу Будденброку казалось, что эта враждебная сила грозит сделать его чужим в собственном доме.

Он не умел понять и почувствовать ту музыку, которой предавались его жена и ее друг — этот г-н Пфюль; Герда же, замкнутая и нетерпимая во всем, что касалось искусства, с истинной жестокостью еще затрудняла ему это понимание.

Никогда бы он не поверил, что сущность музыки в такой мере чужда его семье, как это теперь оказалось. Его дед любил иногда поиграть на флейте, и сам он с неизменным удовольствием слушал красивые мелодии, грациозные, или смутно печальные, или бодрящие своей веселостью. Но он твердо знал, что стоит ему только заикнуться о своих вкусах, как Герда пожмет плечами и с сострадательной усмешкой заметит: «Пустое, друг мой! Пьеска, лишенная всякой музыкальной ценности...»

Он ненавидел эту «музыкальную ценность» — словцо, с которым у него неизменно связывалось представление о холодном высокомерии. Когда разговор о музыке заходил в присутствии Ганно, его так и подмывало перейти к открытому возмущению. И не раз случалось, что он, не в силах дольше сдерживаться, восклицал:

— А я тебе скажу, дорогая моя, что вечно козырять этой мало кому понятной «музыкальной ценностью» не очень-то хороший тон!

Герда отвечала:

— Томас, примирись раз и навсегда с тем, что ты ничего не понимаешь в музыке. И как ты ни умен, все равно никогда не поймешь, что музыка — нечто большее, чем услада для слуха или приятное послеобеденное развлечение. В музыке тебе изменяет ощущение банального, во всем остальном у тебя достаточно острое... а это единственный критерий для понима-

ния искусства. Насколько тебе чужда музыка, ты можешь судить уже хотя бы потому, что твой музыкальный вкус остался далеко позади всех прочих твоих запросов и воззрений. Что тебе нравится в музыке? Пошлый оптимизм. Но если бы им была пропитана книга, ты бы с досадой или насмешкой отшвырнул ее от себя. Быстрое осуществление любого чуть шевельнувшегося желания... Услужливое, торопливое удовлетворение слегка возбужденных чувств... Да разве жизнь похожа на красивую мелодию?.. Это, друг мой, несостоятельный идеализм...

Он понимал ее, понимал, что она говорила. Но не мог следовать за нею чувством, не мог уразуметь, почему мелодии, которые его веселят и трогают, жалки и ничтожны, а пьесы, по его представлению скучные и запутанные, непременно обладают высокой музыкальной ценностью? Он стоял в преддверии храма, откуда Герда презрительным мановением руки изгоняла его... И больно было ему смотреть, как она с ребенком исчезает в таинственной глубине святилища.

Он и виду не подавал, как его огорчает все растущее отчуждение между ним и маленьким сыном; добиваться благосклонности ребенка — это казалось ему унизительным. Он был очень занят и мало видел мальчика, за обедом же старался разговаривать с ним непринужденно-дружеским тоном, впрочем не без оттенка ободряющей жесткости.

— Ну-с, дружище,— говаривал он, похлопав сына по плечу и усаживаясь за столом рядом с ним, напротив жены,— что слышно? Чем мы сегодня занимались? Уроками?.. И игрой на рояле? Дело хорошее! Только меру надо соблюдать, а то пройдет охота ко всему остальному, и на пасхе опять придется засесть за зубрежку!

Ни один мускул на его лице не выдавал той напряженной озабоченности, с которой он ждал, как отнесется Ганно к его приветствию, как на него ответит; ни одним движением не показывал он, как болезненно сжималось его сердце, когда мальчик, скользнув по нему робким взглядом золотисто-карих, затененных глаз, взглядом, не достигавшим даже отцовского лица, молча склонялся над тарелкой.

Дико было бы огорчаться из-за этой ребяческой отчужденности. В перерывах между блюдами, пока горничная меняла тарелки, Томас почитал своей обязанностью заниматься мальчиком, задавать ему вопросы, проверять его практические знания: «Сколько жителей в городе? Какие улицы ведут от Трàвы в Верхний город? Как называются амбары фирмы

«Иогани Будденброк»? Отвечай живо, без запинки!» Но Ганно молчал. Не назло отцу, не затем, чтобы огорчить его,— но жители, улицы, даже амбары, обычно нисколько его не интересовавшие, будучи возведены в степень экзаменационных вопросов, вызывали в нем непреодолимое внутреннее торможение. До того он мог быть весел, мог даже болтать с отцом, но едва только разговор — хоть отдаленно — начинал смахивать на испытание, как он ощущал полнейший упадок сил, всякая способность к сопротивлению оставляла его. Глаза Ганно затуманивались, на губах появлялось выражение отчаяния, все мысли исчезали из его головы. Оставалось только жгучее, мучительное недоумение: зачем папа своей неосторожностью — он ведь отлично знал, что эти опыты никогда до добра не доводят,— испортил обед себе и ему? Ганно потуплял полные слез глаза в тарелку. Ида тихонько толкала его в бок, шептала названия улиц, амбаров. Ах, к чему? Все равно это было бесполезно, совершенно бесполезно! Она не понимала, в чем дело: он ведь знал эти названия, во всяком случае большую их часть, и ему было бы совсем нетрудно, ну хоть немного, порадовать папу, если бы... это было возможно, если бы этому не мешало какое-то неодолимо грустное ощущение... Строгий оклик отца, стук вилкой о подставку заставляли его вздрагивать. Он смотрел на мать, на Иду и пытался что-то ответить, но с первых же слов начинал всхлипывать. Ничего у него не получалось!

— Довольно! — гневно кричал сенатор.— Молчи! Я теперь и слушать не хочу. Можешь не отвечать мне. Можешь весь век сидеть молча и таращить глаза!

Дальше обед протекал уже в унылой тишине.

На эту мечтательную расслабленность, плаксивость, на это полное отсутствие бодрости, энергии и ссылался сенатор, восставая против страстного увлечения сына музыкой.

Здоровье Ганно всегда отличалось хрупкостью. Особенно много мучений и боли причиняли ему зубы. Прорезыванье молочных зубов, сопровождавшееся лихорадкой и судорогами, едва не стоило ему жизни, а впоследствии десны у него часто воспалялись и нарывали. Дождавшись, покуда такой нарыв созреет, мамзель Юнгман обычно прокалывала его булавкой. Теперь, когда стали выпадать молочные зубы, страдания Ганно приумножились. Боль почти превосходила его силы. Ночи напролет Ганно проводил без сна, плакал и тихонько стонал в полузабытьи и жару, не вызванном ничем, кроме этих болей. Его зубы, красивые и белые, как у матери, но необыкновенно

рыхлые и слабые, росли неправильно, напирая друг на друга. Чтобы положить конец всем этим неприятностям, маленькому Иоганну пришлось открыть доступ в свою жизнь страшному человеку — г-ну Брехту, зубному врачу Брехту с Мюленштрассе.

Уже самый звук этого имени, отвратительнейшим образом напоминавший треск челюсти, из которой тянут, выворачивают и выламывают корни зуба, сжимал страхом сердце Ганно, когда он, сидя в приемной г-на Брехта, напротив своей неизменной Иды, перелистывал иллюстрированные журналы и вдыхал особенный, едкий запах этого помещения, покуда г-н Брехт с учтивым, но внушающим трепет «прошу» не появлялся на пороге своего кабинета.

Но было в этой приемной и нечто своеобразно притягательное, а именно — большой пестрый попугай с злобными глазками, сидевший в самой середине медной клетки, в одном из углов комнаты, и по каким-то неизвестным причинам прозывавшийся Иозефусом. Голосом взбелененившейся старухи он выкрикивал: «Присядьте! Сию минутку!..» И хотя в данных обстоятельствах эти слова звучали как злая насмешка, Ганно все же влекло к нему смешанное чувство любви и страха. Попугай! Большая пестрая птица, которая зовется Иозефусом и умеет говорить,— словно прилетевшая из заколдованного леса, из сказки Гримма, которую Ида читает ему дома... «Прошу!» г-на Брехта Иозефус тоже повторял, притом весьма настоятельно, почему вдруг и оказывалось, что Ганно со смехом входил в кабинет и усаживался в весьма неуютном кресле у окна, возле бормашины.

Что касается особы г-на Брехта, то он был очень похож на Иозефуса: его нос загибался книзу, к черным с проседью усам, таким же крючком, как и клюв попугая. Но самое печальное, даже ужасное, заключалось в том, что г-н Брехт, будучи субъектом весьма нервным, сам страдал от мучений, которые он, в силу своей профессии, причинял другим.

— Придется совершить экстракцию, мадемуазель,— объявлял он Иде Юнгман и бледнел. И когда Ганно, весь в холодном поту, с расширенными от ужаса глазами, не в силах выразить протест, не в силах вскочить с кресла и убежать, в душевном состоянии, ничем не отличающемся от состояния приговоренного к смертной казни, видел, как г-н Брехт со щипцами, запрятанными в рукав, приближается к нему,— он мог бы заметить, что на голом черепе почтенного дантиста выступают капельки пота, а рот его, так же как рот пациента,

искривлен от страха. Когда отвратительная процедура бывала закончена и Ганно, бледный, трясущийся, с мокрыми от слез глазами и искаженным лицом, сплевывал кровь в синий тазик над подлокотником кресла, г-н Брехт присаживался тут же в сторонке, чтобы отереть лоб и выпить глоток воды.

Маленького Иоганна уверяли, что этот человек делает ему добро, спасая его от еще больших мучений. Но когда Ганно сравнивал боль, причиненную ему г-ном Брехтом, с положительными и ощутимыми результатами, достигнутыми путем таких страданий, то первая настолько перевешивала, что визиты на Мюленштрассе все равно казались ему самым жестоким изо всех бесполезных мучительств на земле. В ожидании зубов мудрости, которым еще бог знает когда предстояло появиться, решено было удалить четыре коренных зуба, только что выросших, белых, красивых, еще совершенно здоровых, и так как родители боялись перенапрячь слабые силы ребенка, то на это потребовалось целых четыре недели. Ужасное время! До бесконечности растянутая пытка, когда страх предстоящих страданий наступал раньше, чем восстанавливались силы от уже перенесенных! После того как г-н Брехт удалил последний зуб, Ганно целую неделю пролежал больной от пережитых мучений.

Эти неурядицы с зубами действовали не только на его настроение, но и на функции отдельных его органов. Невозможность хорошо прожевывать пищу неизбежно приводила к расстройству пищеварения, более того — к приступам гастрической лихорадки; а желудочные недомогания, в свою очередь, имели следствием сердцебиения или, напротив, упадок сердечной деятельности, сопровождавшийся головокружениями.

Наряду с этими недугами его по-прежнему одолевал, даже с еще большей силой, тот странный недуг, который доктор Грабов называл «pavor nocturnus». Редкая ночь проходила без того, чтобы маленький Иоганн раз, а то и два не вскакивал, ломая руки в мольбе о помощи, о пощаде. Можно было подумать, что он объят пламенем, что его душат, что вокруг происходит что-то невыносимо страшное... Наутро он ничего об этом не помнил. Доктор Грабов попытался было поить его на ночь черничным настоем, но пользы это не принесло ни малейшей.

Все эти недомогания, которым был подвержен Ганно, и боли, которые ему приходилось претерпевать, не могли не развить в нем преждевременного чувства умудренности жизнью. Правда, эта умудренность, вероятно в силу его врожденного хорошего вкуса, редко бросалась в глаза, и если время от вре-

мени все же сказывалась, то лишь в каком-то грустном превосходстве над окружающими.

— Как поживаешь, Ганно? — спрашивал его кто-нибудь из родных — бабушка или дамы Будденброк с Брейтенштрассе.

Ответом служила только едва заметная усмешка, кривившая его губы, да легкое пожатие плеч под голубым матросским воротником.

— Ты охотно ходишь в школу?

— Нет,— спокойно и откровенно отвечал Ганно, знавший жизнь с более серьезной стороны и потому убежденный, что лгать по таким пустякам не стоит.

— Нет? О! Но ведь надо же учиться — письму, арифметике, чтению...

— И так далее,— добавлял маленький Иоганн.

Да, он неохотно ходил в старую школу — бывшую монастырскую, с крытыми переходами и готическими сводами в классных комнатах. Частые пропуски по болезни и полнейшая невнимательность в часы, когда он думал о каком-нибудь гармоническом звукосочетании или о еще не разгаданных чудесах музыкальной пьесы, сыгранной матерью и г-ном Пфюлем, не способствовали его успехам в науках, а младшие учителя и студенты учительской семинарии, преподававшие в низших классах, подчиненное положение которых, равно как их духовное убожество и физическую нечистоплотность, он ощущал острее, чем нужно, внушали ему наряду со страхом наказания еще и тайное неуважение.

Господин Титге, учитель арифметики — старичок в засаленном черном сюртуке, служивший здесь еще во времена покойного Марцеллуса Штенгеля и до ужаса косоглазый — недостаток, скрываемый им при помощи очков, круглых и толстых, как корабельные иллюминаторы,— почитал своим долгом на каждом уроке напоминать Ганно, как прилежен и сообразителен был в свое время его отец. С г-ном Титге часто случались приступы кашля, и он отхаркивал мокроту прямо на пол.

Со своими маленькими товарищами Ганно особенно не сближался; его отношения с ними носили чисто поверхностный характер. Только с одним соучеником с первых же школьных дней его связала тесная дружба. Это был мальчик аристократического происхождения, но с виду крайне неряшливый — некий граф Мельн, по имени Кай.

Он был одного роста с Ганно, но носил не датскую матроску, а выцветший костюмчик, на котором кое-где недоставало пуговиц, а сзади на брюках красовалась большая заплата.

Узкие руки Кая — необыкновенно изящной формы, с длинными пальцами и длинными же овальными ногтями,— выглядывавшие из слишком коротких рукавов, были до того пропитаны пылью и грязью, что кожа на них казалась серой. В таком же запущенном состоянии находилась и его голова, растрепанная, непричесанная, но от природы отмеченная всеми признаками чистой и благородной крови. Рыжевато-золотистые волосы, разделенные посередине неровным пробором, оставляли открытым его лоб, белый, как алебастр, под которым блестели светло-голубые глаза, вдумчивые и в то же время пронзительные. Скулы на его лице слегка выдавались, а в носе с тонкими ноздрями и маленькой горбинкой было что-то очень характерное, так же как и в его слегка оттопыренной верхней губе.

Ганно Будденброку еще до поступления в школу довелось во время прогулок, которые он совершал с Идой, два или три раза мельком видеть Кая. К северу от Городских ворот, не доходя первой деревни, в стороне от дороги стоял хуторок — захудалая, бедная усадебка, не имевшая даже названия. За ее оградой виднелась только навозная куча, несколько кур, собачья конура да какое-то убогое строение с отлогой черепичной крышей — господский дом, обиталище отца Кая, графа Эбергарда Мельна.

Этот чудак и нелюдим, крайне редко показывавшийся в городе и всецело поглощенный разведением кур, собак и овощей, был высокий мужчина с голым черепом и седой бородой, огромной, как у сказочного великана. Он всегда ходил с моноклем под кустистой бровью, в ботфортах, в зеленой грубошерстной куртке и с хлыстом в руках — хотя лошадей у него не было в помине. Кроме него и его сына, ни одного графа Мельна больше не существовало. Отдельные ветви этого некогда богатого, гордого и славного рода мало-помалу впали в ничтожество, заглохли, вымерли; в живых оставалась еще только тетка маленького Кая, с которой его отец, впрочем, даже не переписывался. Она публиковала под каким-то вычурным псевдонимом романы в журналах для семейного чтения. О самом же графе Эбергарде рассказывали, что, переехав в свое именьице за Городскими воротами и желая раз и навсегда избавиться от поставщиков, нищих и тому подобных назойливых посетителей, он приколотил к своей низенькой двери дощечку со следующей надписью: «Здесь проживает граф Мельн в полном одиночестве. Он ни в чем не нуждается, ничего не покупает и никому ничего подавать не может». После того как эта дощечка, провисев довольно долгое время, сделала свое дело и никто ему больше не докучал, он сорвал ее.

Здесь-то и рос Кай без материнского присмотра,— графиня умерла, произведя его на свет, и хозяйством графа ведала какая-то старушонка,— рос, точно звереныш, среди кур и собак. Ганно Будденброк издали и, надо сказать, с великой робостью смотрел, как он, словно кролик, прыгал и кувыркался среди капустных гряд, возился со щенками и пугал кур.

Затем он встретился с ним в классе и первое время с такой же робостью поглядывал на одичалого маленького графа. Но только первое время. Вскоре он инстинктивно отвлекся от его неприглядной оболочки, получше присмотрелся к его белому лбу, узким губам, голубым миндалевидным глазам, смотревшим на мир с какой-то сердитой отчужденностью,— и проникся горячей симпатией к этому мальчику. Но Ганно был слишком сдержан и недостаточно смел, чтобы первому завязать дружбу; и если бы маленький Кай, со своей стороны, не проявил необходимой инициативы, то они, скорее всего, так бы и остались чужими друг другу. Поначалу безудержный напор Кая даже напугал Ганно. Этот маленький заброшенный мальчик с такой страстью, так настойчиво и по-мужски домогался благосклонности тихого, нарядно одетого Ганно, что сопротивление было немыслимо. Правда, во время уроков Кай ничем не мог быть полезен своему новому другу, ибо его необузданная, свободолюбивая натура не принимала таблицы умножения, так же, как и мечтательная, самоуглубленная натура маленького Будденброка. Но зато он одаривал его всем, что имел: стеклянными шариками, деревянными волчками, отдал ему даже погнутый оловянный пистолетик — лучшее из всего, чем он владел. На переменах они ходили взявшись за руки, и Кай рассказывал ему о своем домишке, о щенках и курах, а после занятий, хотя Ида Юнгман с пакетиком бутербродов в руках уже дожидалась у школьных дверей, чтобы вести гулять своего питомца, норовил как можно дальше проводить его. Во время таких проводов Кай узнал, что маленького Будденброка дома зовут Ганно, и с тех пор присвоил и себе право звать его этим уменьшительным именем.

Однажды он стал настаивать, чтобы Ганно вместо гулянья по Мельничному валу отправился на хутор его отца — посмотреть новорожденных морских свинок, и мамзель Юнгман в конце концов пришлось сдаться на просьбы мальчиков. Они вступили в графские владения, полюбовались на навозную кучу, на огород, собак, кур и морских свинок и под конец зашли в дом, где в низкой длинной комнате, даже не возвышавшейся над землей, граф Эбергард, упрямый нелюдим, читал

что-то за простым, некрашеным столом. Он весьма нелюбезно осведомился о цели их посещения.

После этого Иду Юнгман уже невозможно было соблазнить на повторный визит: она решительно заявила, что если уж им непременно надо быть вместе, то пусть лучше Кай приходит к Ганно. Так вот и случилось, что маленький граф впервые переступил — с изумлением, но без всякой робости — порог роскошного жилища своего друга. С того дня он стал к нему наведываться все чаще и чаще, и разве что глубокий снег иногда мешал ему зимою вторично совершать весь длинный путь, чтобы провести несколько часов у Ганно Будденброка.

Они сидели в просторной детской на третьем этаже и готовили уроки. Среди задач попадались такие, что приходилось вдоль и поперек исписывать аспидную доску сложением, вычитанием, умножением и делением, чтобы в результате получить просто ноль; если это не выходило, значит, где-то вкралась ошибка, которую надо было искать и искать, покуда не выловишь эту злобную зверюшку и не истребишь ее; хорошо еще, если она вкралась в конце, а то изволь все переписывать по второму разу. Приходилось им заниматься и немецкой грамматикой, зубрить степени сравнения и аккуратно, столбиком, выписывать наблюдения, вроде следующих: «Рог прозрачен, стекло прозрачнее рога, воздух всего прозрачнее». Далее, вооружившись тетрадками для диктанта, они разбирали предложения, исполненные всевозможных ловушек и подвохов. Когда со всем этим бывало покончено, мальчики убирали книжки и усаживались на подоконник послушать чтение Иды.

Простая душа, она читала им о Катерлизхен, о человеке, который никак не мог научиться страху, о Румпельштильцхене, о Рапунцеле и лягушином короле — низким ровным голосом, с полузакрытыми глазами,— ибо она уже столько раз в жизни читала эти сказки, что ей почти не приходилось заглядывать в книгу, и страницы, слегка послюнив указательный палец, она перевертывала машинально.

В результате такого времяпровождения случилось нечто весьма примечательное: в маленьком Кае шевельнулась и стала расти потребность, подражая книге, самому что-нибудь рассказывать; это было тем более желательно, что напечатанные сказки они знали уже вдоль и поперек, да и Иде, таким образом, удавалось хоть изредка передохнуть. Вначале Кай рассказывал истории очень короткие и простые, но мало-помалу они усложнялись, становились смелее. Прелесть их заключалась еще и в том, что они не были плодом чистой фантазии, а отталкивались

от действительной жизни, которой сообщали налет какой-то сказочности и таинственности. Больше всего Ганно любил слушать повесть о злом и могущественном волшебнике, который, обратив прекрасного и высокоодаренного принца по имени Иозефус в пеструю птицу, держал его в плену и мучил всех людей своими коварными чарами. Но где-то вдали уже подрастал тот, избранный, кто во главе непобедимой армии собак, кур и морских свинок бесстрашно двинется на волшебника и своим мечом освободит от злых чар не только принца, но всех людей, и прежде всего, конечно, Ганно Будденброка. Тогда расколдованный Иозефус вновь примет человеческий образ, воротится в свое царство и сделает Ганно и Кая знатными вельможами.

Сенатор Будденброк, мимоходом заглядывая в детскую, видел обоих мальчиков вместе и не возражал против этой дружбы, так как было очевидно, что они благотворно влияют друг на друга. Ганно оказывал умиротворяющее, облагораживающее и усмиряющее влияние на Кая, который его нежно любил, восхищался белизной его рук и, чтобы сделать ему приятное, покорно подставлял мамзель Юнгман свои, которые она усиленно отмывала щеткой и мылом. И если бы Ганно, со своей стороны, заимствовал у маленького графа толику его живости и необузданности, это можно было бы только приветствовать. Сенатор сознавал, что женское попечение, которому был вверен мальчик, вряд ли способно пробудить и развить в нем мужественность характера.

Самоотверженную преданность Иды Юнгман, вот уже более трех десятилетий служившей Будденброкам, конечно никакими деньгами оплатить было нельзя. Не щадя своих сил, она вырастила и выходила предшествующее поколение, но Ганно она буквально носила на руках, окружала его тепличной атмосферой бесконечной нежности и заботливости, боготворила его и в своей наивной и непоколебимой вере в его исключительное, привилегированное положение в мире нередко доходила до абсурда. Если надо было сделать что-либо в его интересах, она проявляла необыкновенную, порою даже предосудительную бесцеремонность. Зайдя, например, с ним в кондитерскую купить каких-нибудь сластей, она, нимало не церемонясь, запускала руку в вазы на прилавке, чтобы сунуть Ганно еще что-нибудь повкуснее, и денег за это не платила,— ведь хозяин должен быть только польщен! Перед витриной, у которой толпился народ, она на своем западнопрусском диалекте учтиво, но решительно просила людей посторониться и пропустить ее

питомца. В глазах Иды Юнгман он был созданием таким необыкновенным, что ни одного ребенка она не считала достойным к нему приблизиться. Только в случае с маленьким Каем взаимная склонность мальчиков одержала верх над ее недоверчивостью; впрочем, отчасти ее подкупал графский титул. Но если на Мельничном валу, когда она сидела с Ганно на скамейке, к ним подсаживались другие дети со своими провожатыми, мамзель Юнгман в ту же минуту вставала и удалялась под предлогом позднего часа или сквозного ветра. Объяснения, которые она по этому случаю давала маленькому Ганно, должны были внушить ему, что, кроме него, все дети на свете поражены золотухой или худосочием,— что, разумеется, не способствовало повышению его и так-то не сильно развитой доверчивости и общительности.

Сенатор Будденброк ничего не знал об этих подробностях, но он видел, что сын, как в силу врожденных свойств, так и вследствие внешних влияний, развивается отнюдь не в том направлении, которое он считал желательным. Ах, если бы взять воспитание мальчика в свои руки, ежедневно, ежечасно влиять на его душу! Но времени у него не было, и он только с болью убеждался, что все его от случая к случаю предпринимаемые попытки терпят самую жалкую неудачу и делают отношения отца и сына еще более холодными и отчужденными. Один образ всегда стоял перед его мысленным взором — образ прадеда Ганно, каким он сам в детстве знал его и по чьему подобию мечтал вырастить сына: светлая голова, веселый, простой, сильный, с развитым чувством юмора... Возможно ли, чтобы Ганно стал таким? Нет, видимо, невозможно! Но почему?.. Если бы хоть подавить в нем страсть к музыке, изгнать музыку из дома,— ведь это она отчуждает мальчика от практической жизни, вредит его физическому здоровью, подтачивает душевные силы! Не граничит ли иной раз его мечтательная самоуглубленность с невменяемостью?

Однажды, минут за сорок до обеда, который подавался в четыре часа, Ганно один спустился во второй этаж. Сыграв несколько упражнений на рояле, он от нечего делать прошел в маленькую гостиную. Растянувшись на оттоманке, Ганно потеребил угол своего матросского галстука на груди и, бесцельно скользнув взглядом по комнате, заметил на изящном письменном столике матери раскрытый кожаный бювар с семейными документами. Подпершись кулачком, он некоторое время издали созерцал его: наверно, папа что-то вписывал туда после второго завтрака, не успел кончить и оставил его лежать до

своего возвращения из конторы. Кое-какие бумаги были убраны в бювар, остальные лежали рядом с ним, под металлической линейкой. Толстая золотообрезная тетрадь с неодинаковыми по формату и цвету страницами была раскрыта.

Ганно беспечно соскользнул с оттоманки и направился к письменному столу. Тетрадь была раскрыта на той самой странице, где почерком его предков, а под конец рукой его отца было нарисовано родословное древо Будденброков со всеми подобающими рубриками, скобками и четко проставленными датами. Стоя одним коленом на стуле и подперев ладонью русую кудрявую голову, Ганно смотрел на рукопись как-то сбоку, с безотчетно критической и слегка презрительной серьезностью полнейшего безразличия, в то время как свободная его рука играла маминой ручкой из оправленного в золото черного дерева. Он пробежал глазами по всем этим мужским и женским именам, выведенным одно под другим или рядом. Многие из них были начертаны по-старомодному затейливо, с размашистыми росчерками, поблекшими или, напротив, густо-черными чернилами, к которым пристали крупинки тонкого золотистого песка. Под конец он прочитал написанное папиным мелким, торопливым почерком под именами Томаса и Герды свое собственное имя: «Юстус Иоганн Каспар, род. 15 апреля 1861 года». Это его позабавило. Он выпрямился, небрежным движением взял в руки линейку и перо, приложил линейку чуть пониже своего имени, еще раз окинул взглядом все это генеалогическое хитросплетение и спокойно, ни о чем при этом не думая, почти машинально, провел поперек всей страницы аккуратную двойную черту, сделав верхнюю линию несколько более толстой, чем нижнюю, как полагалось в арифметических тетрадках. Затем он склонил голову набок и испытующим взглядом посмотрел на свою работу.

После обеда сенатор позвал его к себе и, нахмурив брови, крикнул:

— Что это такое? Откуда это взялось? Это ты сделал?

На мгновение Ганно даже задумался,— он или не он? — но тут же ответил робко, боязливо:

— Да!

— Что это значит? Зачем ты это сделал? Отвечай! Как ты смел позволить себе такое безобразие? — И сенатор ударил Ганно свернутой тетрадью по лицу.

Маленький Иоганн отпрянул и, схватившись рукой за щеку, пролепетал:

— Я думал... я думал, что дальше уже ничего не будет...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

С недавних пор у семьи Будденброков, обедавшей по четвергам в окружении спокойно улыбавшихся богов на шпалерах, появился новый, весьма серьезный предмет разговора, вызывавший на лицах дам Будденброк с Брейтенштрассе выражение холодной сдержанности, а в мимике и движениях г-жи Перманедер необычайную горячность. Она начинала говорить, откинув голову, вытянув обе руки вперед или воздев их к небесам, со злобой, с негодованием, с неподдельным, глубоко прочувствованным возмущением. От частного случая, о котором шла речь, г-жа Перманедер, то и дело закашливаясь сухим нервическим кашлем,— следствие ее желудочного недомогания,— переходила к общему, распространялась о плохих людях вообще и гортанным голосом, который появлялся у нее в минуты гнева, издавала звуки, напоминавшие короткий воинственный зов фанфары. Так она некогда произносила: «Слезливый Тришке!», «Грюнлих!», «Перманедер!» Но примечательно было то, что к этим словам присоединилось новое, которое она выговаривала с неописуемым презрением и ненавистью. И это слово было «прокурор».

Когда же директор Гуго Вейншенк,— как всегда, с опозданием, ибо он был обременен делами,— входил в столовую, неся перед собою сжатые в кулаки руки, и, самоуверенно ухмыляясь, вихляющей походкой направлялся к своему месту, разговор прекращался, и за столом воцарялось напряженное, тягостное молчание, покуда сенатор не выводил всех из замешательства, самым непринужденным тоном, словно речь шла об обыденном деле, спрашивая директора, что у него слышно нового. Гуго Вейншенк заверял, что все обстоит очень хорошо, как нельзя лучше, и тотчас же спешил заговорить о другом. Он теперь бывал много оживленнее, чем прежде, и взгляд его с каким-то неистребимым простодушием блуждал по сторонам, когда он несколько раз подряд, не получая, впрочем, ответа, спрашивал Герду Будденброк о «самочувствии» ее скрипки. Вообще он стал очень разговорчив, даже боек на язык; неприятно было только, что от избытка веселости и простодушия он недостаточно обдумывал свои слова и нередко пускался в довольно неуместные рассказы. Так, например, в одном из его анекдотов фигурировала кормилица, страдавшая ветровой немощью и тем наносившая ущерб здоровью своего питомца. Господин Вейншенк с большим юмором, как он полагал, воспроизводил восклицания домашнего врача: «Кто это здесь так воняет? Нет,

кто же все-таки здесь навонял?» — не замечая или замечая уже слишком поздно, что его супруга, Эрика, заливалась краской, консульша, Томас и Герда замирали в неподвижности, дамы Будденброк обменивались колкими взглядами, даже Рикхен Зеверин на нижнем конце стола строила обиженную мину, и только старый консул Крегер тихонько фыркал.

Что же случилось с директором Вейншенком? Этот солидный, работящий, положительный и несветский человек, душой и телом преданный своей работе, якобы допустил — и не однажды! — тяжкий проступок и теперь официально обвинялся в совершении не только сомнительной, но более того — неблаговидной, даже преступной сделки. Против него было возбуждено судебное преследование, исход которого невозможно было предвидеть.

В чем же, собственно, была суть предъявленного ему обвинения? А вот в чем: в ряде местностей произошли большие пожары; страховому обществу предстояло выплатить погорельцам весьма крупные суммы; и директор Вейншенк, своевременно получив от своих агентов донесения о катастрофах, а следовательно пустившись на заведомый обман, будто бы перестраховывал своих клиентов в других обществах, тем самым перелагая на них все убытки. Дело его было передано прокурору, доктору прав Морицу Хагенштрему.

— Томас,— сказала консульша, оставшись как-то раз вдвоем с сыном,— скажи на милость, я ровно ничего не понимаю... Как нам отнестись к этому делу?

— Что мне тебе сказать, милая мама! — отвечал он.— Утверждать, что все будет в порядке, я, к сожалению, не берусь. Но чтобы Вейншенк был так уж виноват, как кое-кому угодно это изображать, мне тоже не думается. В современной деловой жизни существует понятие, называемое «usance»[1]. Это... как бы мне тебе объяснить... ну, скажем, маневр не вполне безупречный, не в полном смысле слова законный; человеку непосвященному он может даже показаться бесчестным, но тем не менее, по какому-то молчаливому соглашению, вполне принятый в деловом мире. Провести границу между «usance» и прямым правонарушением не так-то легко. Но не важно! Если Вейншенк и поступил не вполне благовидно, то все же, надо думать, сделал не многим больше того, что делали его коллеги, вышедшие сухими из воды. И тем не менее... в благоприятный исход процесса я не верю. Может быть, в боль-

[1] Обычай *(франц.)*.

шом городе его бы и оправдали, но не у нас, где все руководствуются групповыми интересами и личными мотивами... Ему следовало бы это учесть при выборе защитника. У нас в городе нет ни одного выдающегося, по-настоящему умного адвоката, достаточно талантливого, красноречивого и опытного, чтобы распутать такое сомнительное дело. Зато все наши господа юристы тесно связаны друг с другом общностью интересов, совместными обедами, частично даже родством и, конечно, друг с другом считаются. По-моему, Вейншенк поступил бы умнее, пригласив одного из здешних адвокатов. А он что сделал? Он счел нужным,— я сказал: счел нужным,— и это в конце концов говорит за то, что совесть у него чиста,— выписать себе защитника из Берлина, некоего доктора Бреслауэра, прожженную бестию, ловкача, виртуозно перетолковывающего законы, о котором говорят, что он немало злостных банкротов избавил от скамьи подсудимых. За очень крупный гонорар он, конечно, поведет дело, и поведет достаточно хитро... Но будет ли от этого какой-нибудь толк? Я предвижу, что наши почтенные юристы станут руками и ногами противиться успеху «чужака» и что состав суда весьма благосклонно отнесется к речи доктора Хагенштрема... А свидетели? Не думаю, чтобы сослуживцы Вейншенка особенно горячо за него ратовали. То, что даже мы, люди, благожелательно к нему настроенные, называем его «внешней грубостью», да он и сам это так называет, не обогатило его друзьями... Словом, мама, я ничего хорошего не жду. Ужасно, конечно, для Эрики, если произойдет несчастье, но больше всего я болею душой за Тони. Ведь она, понимаешь, права, говоря, что Хагенштрем с радостью взялся за это дело. Оно всех нас касается, как коснется всех нас и его позорный исход. Вейншенк, что ни говори, принадлежит к нашей семье, сидит за нашим столом. Я лично сумею стать выше этого. Я знаю, как мне себя повести. В глазах города я буду в стороне от этого дела, не пойду даже на разбирательство — хотя мне было бы очень интересно послушать Бреслауэра — и, чтобы избежать малейшего упрека в желании как-то воздействовать на суд, вообще от всего устранюсь. Но Тони? Мне страшно даже подумать, чем был бы для нее обвинительный приговор. Разве ты не понимаешь, что кроется под всеми ее протестами, под всеми разговорами о клевете и зависти? Страх. Страх после всех несчастий и потерь, выпавших на ее долю, потерять и это последнее — достойное семейное положение дочери. Вот посмотришь, чем глубже начнут в нее закрадываться сомнения, тем ретивее она будет отстаивать невинов-

ность Вейншенка. Возможно, впрочем, что он и вправду не виновен... Как знать? Нам остается только дожидаться, мама, и стараться как можно тактичнее обходиться с ним, с Тони и с Эрикой. Но я лично ни на что доброе не надеюсь.

Вот при каких обстоятельствах на сей раз наступало рождество. Маленький Иоганн с помощью отрывного календаря, склеенного Идой, на последнем листке которого была нарисована елка, с бьющимся сердцем следил за приближением счастливой поры.

Предвестья ее множились... С первого дня рождественского поста в большой столовой у бабушки повесили на стену картину с изображением дедушки Рупрехта во весь рост. Однажды поутру Ганно обнаружил, что его одеяло, коврик перед постелью и платье посыпаны хрустящим сусальным золотом. А несколькими днями позднее, когда папа с газетой в руках лежал после обеда на оттоманке в маленькой гостиной и Ганно читал в Героковых «Пальмблеттер» стихотворение об Андорской волшебнице, доложили, как то бывало каждый год — и все-таки неожиданно,— о «старике», который спрашивает здешнего «мальчика». Разумеется, его попросили в гостиную, этого старика, и он вошел шаркающей походкой, в длиннополой шубе мехом вверх, весь обсыпанный золотой мишурой и снегом, в такой же шапке, с полосами сажи на лице и с громадной белой бородой, в которой, так же как и в его противоестественно густых бровях, искрились блестки. Низким басом он объяснил, так же как объяснял всякий год, что вот *этот* мешок на левом его плече, с яблоками и золочеными орехами, предназначается для добрых детей, которые молятся богу, а розга, что торчит у него за правым плечом,— для злых... Это был дедушка Рупрехт. Может быть, конечно, и не самый настоящий, может быть, даже просто цирюльник Венцель в вывороченной паниной шубе,— но если уж дедушка Рупрехт существует, так, значит, это он. И Ганно, потрясенный до глубины души, только раз или два запнувшись от нервического, полубессознательного всхлипывания, опять, как в прошлые годы, прочитал «Отче наш», после чего ему было разрешено запустить руку в мешок для добрых детей; а уходя, старик и вовсе позабыл захватить этот мешок с собой.

Наступили рождественские каникулы. Первый день, когда папа прочитал отметки в школьном дневнике, которые обязательно выставлялись перед рождеством Христовым, сошел благополучно. Уже были таинственно закрыты двери в большую столовую, уже к столу начали подавать марципан и коричневые

пряники... И на улицах тоже стояло рождество. Морозило, шел снег. В колючем прозрачном воздухе разносились бравурные или тоскливые мелодии черноусых итальянских шарманщиков в бархатных куртках, прибывших сюда на праздник. Окна магазинов ломились от рождественских товаров. Вокруг высокого готического фонтана на Рыночной площади выстроились пестрые балаганы рождественской ярмарки. И вместе с запахами выставленных на продажу елок жители города везде, везде, где бы они ни проходили, вдыхали запах праздника.

И вот наконец настал вечер двадцать третьего декабря и вместе с ним раздача рождественских даров дома, на Фишергрубе, в большом зале — церемония, совершавшаяся в самом узком семейном кругу и бывшая только началом, прелюдией, прологом, ибо сочельник всей семьей неизменно справлялся у консульши. Вечером двадцать четвертого в ландшафтной собралось общество, обычно собиравшееся здесь по четвергам, да еще Юрген Крегер, приехавший из Висмара, а также Тереза Вейхбродт и мадам Кетельсен.

В полосатом — черном с серым — платье из тяжелого шелка, раскрасневшаяся, с горящим взором, распространяя вокруг себя чуть слышный аромат пачулей, встречала старая дама прибывавших гостей, и когда она безмолвно заключала их в объятия, браслеты на ее руках тихонько звенели. В этот вечер ею владело какое-то необычное, хотя и молчаливое возбуждение.

— Бог мой, да, никак, у тебя жар, мама? — сказал сенатор, вошедший вместе с Гердой и Ганно.— Я уверен, что все сегодня сойдет премило.

Но консульша, целуя всех троих, прошептала:

— Во славу господа нашего Иисуса Христа. Ведь мой милый, покойный Жан...

И правда, чтобы соблюсти ту благоговейную торжественность, которую покойный консул умел придать сочельнику, и ничем не омрачить глубокой, серьезной, искренней радости, которая, по его мнению, должна была наполнять все сердца в этот вечер, консульше приходилось наведываться во все концы дома — в ротонду, где уже собрались мальчики-певчие из Мариенкирхе, в большую столовую, где Рикхен Зеверин сначала раскладывать подарки, оттуда в коридор, где смущенно переминались с ноги на ногу какие-то бедные старики и старушки, постоянно приходившие на Менгштрассе в этот день,— им тоже были приготовлены подарки,— и потом снова в ландшафтную, чтобы укоризненным взглядом пресечь хотя бы малейший шум.

Было так тихо, что с отдаленной заснеженной улицы слышалось, как тонко и отчетливо, словно куранты, где-то играет шарманка. И хотя в комнате находилось более двадцати человек, но тишина там стояла как в церкви, и настроение — о чем сенатор не преминул шепнуть на ухо дяде Юстусу — несколько смахивало на похоронное.

Нельзя не заметить, что это настроение вряд ли могло быть нарушено какой-нибудь резкой юношеской выходкой. С первого же взгляда на собравшееся здесь общество можно было определить, что члены его достигли того возраста, когда проявления жизнерадостности принимают раз навсегда установленные формы. Томас Будденброк, чья бледность удивительно не вязалась с бодрым, энергичным, даже слегка насмешливым выражением его лица; Герда — его супруга, которая неподвижно сидела в кресле, обратив кверху прекрасное белое лицо, и словно зачарованная смотрела своими близко посаженными, окруженными голубоватыми тенями и странно мерцающими глазами на хрусталики люстры, переливающиеся всеми цветами радуги; его сестра, г-жа Перманедер; Юрген Крегер — его кузен, тихий, скромно одетый человек; кузины Фридерика, Генриетта и Пфиффи, из которых две первые стали еще худее и долговязей, а последняя еще меньше и круглее; тем не менее у всех трех на лице играла одинаковая улыбка — язвительная, недоброжелательная и, казалось, говорившая: «Ах, так! Ну, в этом можно еще усомниться»; и, наконец, тощая, пепельно-серая Клотильда, чьи мысли, минуя все остальное, устремлялись к ужину,— все они уже перешагнули за сорок, тогда как хозяйке дома, ее брату Юстусу, его жене и маленькой Терезе Вейхбродт шел уже седьмой десяток, а старой консульше Будденброк, рожденной Штювинг, и мадам Кетельсен, уже окончательно оглохшей,— даже восьмой.

В цвете молодости находилась, собственно, только Эрика Вейншенк; но когда ее светло-голубые глаза — глаза г-на Грюнлиха — взглядывали на мужа, директора, чья коротко остриженная и на висках уже поседевшая голова выделялась на фоне идиллического ландшафта шпалер, нельзя было не заметить, что из ее пышной груди вырывался беззвучный, но тяжелый вздох. Ее, видимо, одолевали боязливые и смутные мысли об «usance», бухгалтерских балансах, свидетелях, прокуроре, защитнике, судьях; впрочем, среди сидящих здесь не было никого, в чьем мозгу не теснились бы те же самые, отнюдь не праздничные, мысли. Сознание, что зять г-жи Перманедер привлечен к суду и следствию, что среди членов семьи

имеется человек, обвиненный в преступлении против закона, против бюргерских правил и коммерческой честности, человек, быть может обреченный позору и тюрьме, накладывало какой-то непривычный, мрачный отпечаток на семейное сборище. Сочельник у Будденброков с обвиняемым в составе семьи! Г-жа Перманедер величественнее, чем когда-либо, восседала в кресле, улыбки дам Будденброк с Брейтенштрассе были еще на один градус язвительнее.

А дети, весьма немногочисленное юное поколение? Неужели и они ощущают тайный ужас перед тем новым и небывалым, что вторглось в их семью? Что касается маленькой Элизабет, то судить об ее душевном состоянии еще невозможно. В платьице, отделанном атласными лентами, по обилию которых можно было узнать вкус г-жи Перманедер, девочка сидела на руках у бонны, зажав большие пальцы в крохотные кулачки, и, тихонько посапывая, смотрела прямо перед собой светлыми навыкате глазами. Когда она время от времени отрывисто покряхтывала, бонна начинала ее слегка укачивать. Ганно же молча сидел на скамеечке у ног матери и, так же как она, смотрел на игру огней в хрустале.

А Христиан? Где же Христиан? Его хватились только сейчас, в последнюю минуту. Движения консульши, характерный жест, которым она проводила рукой от уголка рта к прическе, словно заправляя выбившуюся прядь, стали еще более нервозными. Она торопливо приказала что-то мамзель Зеверин, после чего та отправилась через ротонду мимо толпившихся там мальчиков-певчих и бедняков в комнату г-на Будденброка.

И тут же появился Христиан. Он вошел на своих кривых сухопарых ногах, слегка прихрамывая — последствия суставного ревматизма — и с самым благодушным видом потирая рукой свой лысый лоб.

— Черт побери, детки,— сказал он,— я чуть было не позабыл...

— Позабыл?..— цепенея, повторила консульша.

— Да, чуть было не позабыл, что сегодня сочельник. Я сижу и читаю книгу «Путешествие в Южную Америку»... О, господи, мне ведь приходилось и совсем по-другому праздновать рождество...— И он совсем уж было собрался рассказать о сочельнике в третьеразрядном лондонском кабаре, но тут до его сознания вдруг дошла благоговейная тишина, царившая в комнате, и он, сморщив нос, на цыпочках пробрался к своему месту.

«Дщерь Сиона, возвеселися!» — запели певчие, только что так шумевшие в коридоре, что сенатору пришлось постоять не-

которое время в дверях, чтобы припугнуть их. Они пели дивно хорошо. Звонкие голоса, которым вторили более низкие, славя господа, ликующе возносились к небу, увлекая за собой все сердца, так что старые девы улыбались добрее, старики глубже заглядывали в свои души, припоминая всю прошедшую жизнь, а люди средних лет на мгновение забывали о своих тревогах и заботах.

Ганно разомкнул руки, которыми сжимал свое колено. Побледнев, он теребил бахрому скамеечки, полуоткрывши рот, тер язык о зуб, и выражение лица у него было такое, словно его трясет озноб. Временами он ощущал потребность поглубже вздохнуть, ибо теперь, когда воздух звенел серебряно-чистым пением хора, блаженство почти до боли сжимало его сердце.

Рождество!

Из-под высокой двустворчатой белой двери пробивался запах елки и своей сладостной приностью будил предчувствие чуда там, в столовой,— чуда, которого всякий год заново ждешь с сердцем, громко бьющимся в чаянии его непостижимого, неземного великолепия... Что же там, за дверью, приготовлено для него, Ганно? То, чего он желал,— это уж бесспорно! Так всегда бывает,— разве уж попросишь чего-нибудь совсем немыслимого; но тогда тебя заранее предупреждают, что твое желание неисполнимо. Театр! Он сразу его увидит, сразу подбежит к нему! Вожделенный кукольный театр! В списке желанных подарков, который Ганно перед рождеством передал бабушке, слово «театр» было подчеркнуто жирной чертой,— ведь после «Фиделио» он, можно сказать, ни о чем другом не думал.

Недавно, в награду и в утешение за очередной визит к г-ну Брехту, Ганно впервые взяли в театр, в Городской театр, где он сидел в ложе рядом с матерью, затаив дыхание, внимал звукам «Фиделио» и следил за тем, что происходит на сцене. С тех пор он только об опере и мечтал, и такая страсть к театру охватила его, что он почти не спал по ночам. С невыразимой завистью смотрел он при встречах на людей, слывших, как и его дядя Христиан, завзятыми театралами,— на консула Дельмана, маклера Гоша... Неужто же можно вынести такое счастье, какое суждено этим людям,— чуть ли не каждый вечер бывать в театре? Если бы ему хоть раз в неделю позволено было одним глазком заглянуть в зал перед началом представления — послушать, как настраивают инструменты, посмотреть на спущенный занавес! Ведь он все, все любил в театре: запах газа, кресла, оркестрантов, занавес...

Интересно, большой будет его кукольный театр? Большой

и с глубокой сценой? А какой там будет занавес? Необходимо сразу же провертеть в нем дырочку, ведь и в занавесе Городского театра устроен «глазок»... Удалось ли бабушке или мамзель Зеверин — куда уж бабушке со всем управиться! — достать декорации для «Фиделио»? Завтра с самого утра он где-нибудь запрется и даст представление... Ему казалось, что его куклы уже поют, ибо с мыслью о театре у него неразрывно сплеталась мысль о музыке...

«Ликуй, ликуй, Иерусалиме!..» — Голоса мальчиков, которые, как в фуге, пели каждый свое, в последнем такте умиротворенно и радостно слились воедино. Чистый аккорд отзвучал, и глубочайшая тишина простерлась над ландшафтной и над всем домом. Потрясенные этой тишиной, все невольно потупились; только директор Вейншенк задорно и развязно озирался да г-жа Перманедер не смогла удержаться и закашлялась. Но тут консульша неторопливо приблизилась к столу и села, посреди своих ближайших родных, на софу, теперь уже стоявшую не у стены, как в былые времена, а возле стола. Она подкрутила лампу и придвинула к себе большую Библию с широким золотым обрезом, потом надела очки, отстегнула кожаные застежки, запиравшие огромную книгу, открыла ее на странице, заложенной закладкой, так что всем находившимся в комнате бросилась в глаза шершавая пожелтевшая бумага с непомерно огромными буквами, глотнула сахарной воды и начала читать главу о рождестве спасителя.

Она читала давно знакомые слова, неторопливо, просто, с проникновенным выражением, голосом, звучавшим в благоговейной тишине чисто, растроганно и радостно. «И в человецех благоволение!» — прочла она. Но едва консульша замолкла, как в ротонде в три голоса запели: «Тихая ночь! Святая ночь!» — и все семейство в ландшафтной подхватило песню — впрочем, довольно осторожно, так как собравшиеся в большинстве своем были немузыкальны и ансамбль время от времени нарушался кем-нибудь самым неподобающим образом. Но это не снижало впечатления, производимого песней. Г-жа Перманедер пела дрожащими губами, ибо всего сладостнее и больнее трогает эта песня сердца тех, у кого позади осталось много треволнений и бурь и кто в этот час торжественного умиротворения оглядывается на них. Мадам Кетельсен плакала тихо и горько, хотя почти ничего не слышала.

Но вот консульша встала. Она взяла за руки своего внука Иоганна и свою правнучку Элизабет и направилась к дверям. Следом за ней двинулись старые господа, за ними те, что по-

моложе; в ротонде к шествию примкнули прислуга и бедные. Щурясь от яркого света и радостно улыбаясь, с пением: «О, елочка, о, елочка!» — под смех детей, которых развеселил дядя Христиан, вскидывавший ноги, как деревянный паяц, и с нарочито глупым видом певший вместо: «О, елочка!» «О, телочка!» — они вступили через высокую распахнутую дверь прямехонько в небесное царство.

Весь зал, полный запаха подпаленных елочных веток, светился и сиял неисчислимым множеством огоньков, а небесная голубизна шпалер с белыми статуями богов делала эту огромную комнату еще огромнее.

В этом сплошном море света, как дальние звезды, мерцали огоньки свечей — там, в глубине, где меж окон, завешенных темно-красными гардинами, стояла огромная елка, вздымавшаяся почти до потолка, вся в серебре, в огнях и белых лилиях, с блистающим ангелом на макушке и вертепом у подножия. Посреди покрытого белой скатертью стола, который тянулся от окон чуть ли не до самых дверей и ломился под тяжестью подарков, стоял еще целый ряд маленьких елочек, увешанных конфетами и сиявших огоньками тоненьких восковых свечек. Огнями сияли газовые бра на стенах и толстые свечи в позолоченных канделябрах по всем четырем углам зала. Громоздкие предметы, подарки, не уместившиеся на столе, были расставлены прямо на полу. Два стола поменьше, тоже покрытые белоснежными скатертями и украшенные зажженными елочками, стояли по обе стороны двери: на них были разложены подарки для прислуги и для бедных.

С пением «О, елочка!», ослепленные сияньем огней, почти не узнавая этого всем так хорошо знакомого зала, они обошли его кругом, продефилировали мимо вертепа, где восковой младенец Иисус, казалось, творил крестное знамение, и, немного придя в себя, остановились, каждый на предназначенном ему месте. Песня смолкла.

Ганно был совершенно сбит с толку. Его лихорадочно бегающие глаза очень скоро отыскали театр — театр, на столе, среди других даров казавшийся таким большим и вместительным, что это превышало самые смелые его ожидания! Но место Ганно теперь было не там, где в прошлом году. Театр стоял на противоположной стороне, и от полной растерянности он даже усомнился, ему ли предназначается этот чудесный дар. Сбило его еще и то, что на полу подле театра громоздилось что-то большое и непонятное, не названное в его списке, нечто вроде комода,— неужели и это тоже предназначено ему?

— Поди сюда, мой мальчик, и взгляни,— сказала консульша, поднимая крышку.— Я знаю, ты любишь играть хоралы. Господин Пфюль научит тебя, как с этим обращаться... Надо нажимать вот так — то сильнее, то легче, и не отрывая руки, а только peu à peu [1] меняя пальцы...

Это была фисгармония, маленькая изящная фисгармония из коричневого полированного дерева, с металлическими ручками по бокам, с пестрыми педалями и легким вертящимся стульчиком. Ганно взял аккорд — прелестный органный звук поплыл в воздухе и всех заставил поднять глаза от подарков. Ганно кинулся обнимать бабушку, которая с нежностью прижала его к своей груди и тотчас же отпустила — ей надо было принять благодарность и от других.

Он приблизился к театру. Фисгармония — чудо, но сейчас ему некогда ею заниматься. Это был избыток счастья, когда ничто в отдельности не внушает благодарного чувства и ты спешишь только прикоснуться к одному, к другому, чтобы потом лучше обозреть целое... О! Да здесь и суфлерская будка! Будка в форме раковины перед величественно уходящим вверх красно-золотым занавесом. На сцене была установлена декорация последнего действия «Фиделио». Несчастные пленники воздевали руки. Дон Пизарро, с громадными буфами на рукавах, в устрашающей позе, стоял где-то сбоку. А из задней кулисы, весь в черном бархате, быстрым шагом выходил министр, чтобы все уладить. Это было совсем как в Городском театре, даже лучше! В ушах Ганно вновь зазвучал ликующий хор финала, и он присел за фисгармонию сыграть несколько тактов, которые ему запомнились. Но тут же встал и схватился за давно желанную книгу — греческую мифологию с золотой Афиной Палладой на красном переплете. Затем он съел несколько конфет со своей тарелки, на которой лежали еще марципановые фигурки и коричневые пряники, перетрогал разные мелочи, тоже полученные в подарок, письменные принадлежности, школьные тетради и на мгновенье забыл обо всем на свете, увлекшись ручкой с крохотным хрусталиком: стоило поднести его к глазу, и перед тобой, словно по волшебству, открывался уходящий вдаль швейцарский пейзаж...

Мамзель Зеверин и горничная начали обносить собравшихся чаем и бисквитами. Макая свое печенье в чай, Ганно наконец-то улучил минутку, чтобы окинуть взглядом всю большую столовую. Гости стояли у стола, прохаживались вдоль него,

[1] Постепенно *(франц.)*.

смеясь и болтая, хвалились полученными подарками, рассматривали чужие. Чего-чего здесь только не было: изделия из фарфора, никеля, серебра, из золота и дерева, из сукна и шелка. Большие пряники, симметрично разукрашенные миндалем и цукатами, чередовались на столе с марципановыми бабками, внутри влажными от свежести. На подарках, собственноручно изготовленных или украшенных мадам Перманедер,— мешочках для рукоделия, подушках для ног,— в изобилии красовались атласные ленты.

К Ганно то и дело подходил кто-нибудь из родных и, положив руку на его матросский воротник, рассматривал подарки мальчика с тем иронически преувеличенным восхищением, с которым взрослые обычно относятся к детским сокровищам. Только дяде Христиану было не свойственно высокомерие взрослых: с бриллиантовым кольцом на пальце, рождественским даром матери, он, волоча ноги, подошел к Ганно и, увидев театр, возликовал не меньше племянника.

— Черт побери, до чего же это занятно! — восклицал он, поднимая и опуская занавес, и даже отступил на шаг, чтобы получше охватить взглядом сцену. Несколько секунд он постоял в молчании, причем глаза его тревожно блуждали по комнате, и вдруг его точно прорвало.— Ты просил театр? Сам догадался попросить? — спрашивал он.— Почему? Кто тебя надоумил? Разве ты уже был когда-нибудь в театре?.. На «Фиделио»? Да, это хороший спектакль... А теперь ты сам хочешь попробовать? Сам хочешь поставить оперу? Так она тебе понравилась? Послушай-ка, дружок, мой тебе совет: выбрось эти мысли из головы — театр и тому подобное... Проку от этого не будет, поверь уж своему дяде. Я тоже не в меру увлекался всеми этими штуками, и ничего путного из меня не вышло. Признаться, я в жизни совершил немало ошибок...

Все это он говорил племяннику тоном вполне серьезным и даже наставительным, а мальчик с любопытством смотрел на него. Потом он вдруг замолчал, его костлявое лицо с ввалившимися щеками просветлело, он передвинул одну фигурку на авансцену, запел хриплым, дрожащим голосом: «Что за гнусное злодейство!» — рывком передвинул стульчик от фисгармонии к театру, уселся и начал исполнять оперу; он вперемежку то пел, воспроизводя жестикуляцию действующих лиц, то подражал движениям капельмейстера. За его спиной уже собралась вся родня; они пересмеивались, качали головой, но от души веселились. Ганно с нескрываемым восхищением смотрел на дядю. Однако через несколько минут представление неожидан-

по оборвалось. Христиан умолк, выражение беспокойства пробежало по его лицу, он погладил свой лысый череп, потом левый бок, сморщил нос и с тревожной миной обернулся к «публике».

— Ну вот, опять начинается! — сказал он.— Стоит только немного забыться, и, пожалуйте, наступает расплата! Это, знаете ли, даже не боль, это — мука, неопределенная мука, потому что вот тут у меня все нервы укорочены. Подумать только, все до одного...

Но жалоб Христиана никто не принимал всерьез, так же как и его «представлений», ему даже не отвечали — просто все отошли от него. Христиан посидел еще перед театром, время от времени щурясь и бросая быстрые взгляды на сцену. Наконец он встал.

— Ну что ж, мой мальчик, забавляйся этой штукой,— сказал он, гладя Ганно по волосам,— да только не слишком, и за бездельем не забывай дела, слышишь? Я совершил целый ряд ошибок... А сейчас мне пора в клуб... Я только на минуточку загляну в клуб! — крикнул он взрослым.— Там они тоже справляют рождество. До свиданья! — И на своих кривых негнущихся ногах ушел через ротонду.

Сегодня все обедали раньше, чем обычно, и потому усердно принялись за чай и бисквиты. А тут как раз внесли в больших хрустальных мисках какую-то желтую зернистую массу. Это был миндальный крем — удивительно вкусная смесь из яиц, тертого миндаля и розовой воды; но, увы, даже одна лишняя ложечка этого кулинарного изделия пагубнейшим образом отражалась на желудке. И все же ему воздали должное, хотя консульша и напоминала, что «следует оставить местечко для ужина». Что касается Клотильды, то она поистине творила чудеса. Молчаливая и благодарная, она уписывала миндальный крем, словно гречневую кашу. Вслед за миндальным кремом подали «для освежения» еще и винное желе в стаканчиках, которое полагалось есть с английским кексом. Мало-помалу гости с тарелками в руках перекочевали в ландшафтную и сгруппировались там вокруг стола.

Ганно остался один в столовой, так как маленькую Элизабет Вейншенк увели домой, ему же в этом году впервые разрешено было ужинать на Менгштрассе вместе со взрослыми. Прислуга и бедные ушли, забрав свои подарки, а Ида Юнгман оживленно болтала в ротонде с Рикхен Зеверин. В обычные дни она, блюдя свое достоинство воспитательницы, ни в какие фамильярные разговоры с «камеристкой» не пускалась. Свечи на большой елке догорели и потухли; вертеп погрузился в тем-

ноту, но отдельные свечки на маленьких деревцах еще догорали: то один, то другой огонек добирался до ветки, она вспыхивала, потрескивала, и запах, стоявший в зале, становился еще ощутимее. От малейшего дуновения золотая мишура начинала трепетать и звенеть тонким-претонким металлическим звоном. Потом опять наступала полная тишина, и с дальних улиц по морозному воздуху доносились приглушенные звуки шарманки.

Ганно с наслаждением впивал рождественские ароматы и звуки. Подпершись кулачком, он читал свою мифологию, ел — отчасти машинально, отчасти потому, что все было «рождественское»,— конфеты, марципан, миндальный крем, английский кекс, и смутная грусть — следствие туго набитого желудка, смешиваясь со сладостным возбуждением этого вечера, наполняла его каким-то блаженным томлением. Он читал о битвах, которые пришлось выдержать Зевсу, чтобы достигнуть высшей власти, и прислушивался к разговору в соседней комнате — там подробно обсуждалась будущность тети Клотильды.

Клотильда в этот вечер была, бесспорно, счастливейшей из всех и с улыбкой, освещавшей ее серое лицо, выслушивала поздравления, как, впрочем, и поддразнивания, сыпавшиеся на нее со всех сторон. Голос ее срывался от радостного возбуждения: она была принята в «Дом св. Иоанна». Сенатор устроил это, без особой огласки, через орденский «совет управления», хотя кое-где и прошел шепоток о непотизме. Сейчас в маленькой гостиной говорили об этом достославном заведении, организованном наподобие таких же благотворительных заведений в Мекленбурге, в Доббертине и Рибнице, опекавших неимущих девиц из местных почтенных семейств. Бедной Клотильде была отныне обеспечена небольшая рента, которая должна была возрастать год от года, а под старость даже уютная чистенькая квартирка в самом «Доме св. Иоанна».

Маленький Иоганн потолкался немного среди взрослых и вернулся обратно в большую столовую, уже не сиявшую огнями и не внушавшую более трепета своим сказочным великолепием, но исполненную теперь другой, новой прелести. Как замечательно бродить здесь — точно по полутемной сцене после окончания спектакля, время от времени заглядывать за кулисы, рассматривать на большой елке лилии с золотыми тычинками, брать в руки фигурки людей и животных из вертепа, отыскивать свечку, которая горела за транспарантом, изображающим звезду, взошедшую над яслями в Вифлееме, и, наконец, приподнять свисающую до пола скатерть, чтобы увидеть груды оберточной бумаги и картонных коробок, наваленных под столом.

Разговор в ландшафтной становился все менее занимательным. В силу горькой неизбежности он опять постепенно свелся к весьма неприятной теме, не переставшей занимать все умы, хотя, блюдя праздничную торжественность вечера, ее и пытались обойти молчанием: к процессу директора Вейншенка. Гуго Вейншенк сам заговорил о нем с какой-то неестественной бойкостью в голосе и жестах. Он сообщил подробности опроса свидетелей, прерванного на время праздников, с неподобающим озлоблением обругал председателя доктора Филандера за его явно предвзятое отношение к делу, подверг высокомерной критике насмешливый тон прокурора, который тот счел уместным принять в отношении обвиняемого и свидетелей защиты. Но так или иначе, а Бреслауэр сумел весьма остроумно парировать все неблагоприятные показания и заверил Гуго Вейншенка, что обвинительного приговора пока что опасаться не приходится. Сенатор из учтивости задал ему несколько вопросов, а г-жа Перманедер, сидевшая на софе, надменно вздернув плечи, время от времени призывала страшнейшие проклятия на голову Морица Хагенштрема. Остальные молчали... Молчали так упорно, что мало-помалу смолк и директор; и если для маленького Ганно там, в большой столовой, время текло неприметно, как в райских кущах, то в ландшафтной стояла гнетущая, напряженная, боязливая тишина, продолжавшаяся вплоть до половины девятого, когда Христиан вернулся из клуба, где праздновали рождество холостяки и suitiers.

Потухший кончик сигары торчал у него изо рта, ввалившиеся щеки порозовели. Он прошел через большую столовую и, войдя в ландшафтную, объявил:

— Ох, детки, до чего же красиво у нас в зале! Знаешь, Вейншенк, нам бы следовало привести сюда Бреслауэра. Я уверен, что он ничего подобного в жизни не видывал!

Консульша искоса бросила на него строгий, укоризненный взгляд. Но в ответ на его лице не изобразилось ничего, кроме вопросительного недоумения.

В девять все двинулись ужинать. Как и всегда в этот вечер, стол был накрыт в ротонде. Консульша растроганно прочитала традиционную молитву:

О, снизойди, Христос, к своим дарам,
Когда придешь ты в гости к нам! —

и, по традиции же, присовокупила к ней краткое, наставительное обращение к окружающим, в котором она призывала подумать о тех, кому в этот вечер не так хорошо, как семейству

Будденброков. После этой маленькой речи все с чистой совестью уселись за обильный ужин, начавшийся с карпов в растопленном масле и старого рейнвейна.

Сенатор положил себе в кошелек несколько рыбьих чешуек, чтобы в нем весь год не переводились деньги. Христиан с грустью заметил, что ему, увы, и это средство не помогает, а консул Крегер уклонился от принятия сих мер предосторожности, заявив, что ему теперь не приходится опасаться колебаний курса, он со своими грошами давно уже в тихой пристани. Старик постарался сесть за ужином как можно дальше от своей жены, с которой он годами почти не разговаривал, ибо она все не переставала тайком посылать деньги Якобу, лишенному наследства сыну,— в Лондон, в Париж, в Америку. Ей одной было всегда известно, где он влачит свое жалкое существование безродного авантюриста. Консул Крегер помрачнел и насупился, когда за следующим блюдом речь зашла об отсутствующих членах семьи и сердобольная мать потихоньку смахнула слезы.

Сотрапезники поговорили о франкфуртских и гамбургских родственниках, вспомнили без всякой злобы о пасторе Тибуртиусе в Риге, а сенатор украдкой даже чокнулся с сестрой за здоровье господ Грюнлиха и Перманедера — ведь и они в известной мере принадлежали к семье.

Индейка, фаршированная каштанами, изюмом и яблоками, снискала всеобщее одобрение. Было даже решено, что это самый крупный экземпляр за последние годы. К ней подавался жареный картофель, овощи двух сортов и два вида маринованных фруктов в таком количестве, словно то был не гарнир, а единственное блюдо, которым всем предстояло насытиться. Запивали индейку выдержанным красным вином фирмы «Меллендорф и К°».

Маленький Иоганн, сидя между отцом и матерью, едва дышал после куска фаршированной грудки. Он уже не мог больше состязаться в еде с тетей Клотильдой, да и вообще приуныл от усталости, хотя очень гордился, что ужинает со взрослыми и что рядом с его прибором на затейливо сложенной салфетке лежит, как и у всех, один из его любимых хлебцев, обсыпанных маком, а перед прибором стоят три бокала, тогда как до сих пор он всегда пил из золотого бокальчика, подаренного ему крестным — дядей Крегером. Но когда дядя Юстус начал разливать по самым маленьким бокалам греческое маслянисто-желтое вино, а горничная внесла мороженое с вафлями — красное, белое и коричневое, у него опять разыгрался аппетит. Он съел сначала красное, затем немножко белого, и, хотя от мороженого у него почти нестерпимо болели зубы, не удержался

и попробовал еще шоколадного, заедая его хрустящими вафлями, пригубил сладкого вина и стал прислушиваться к тому, что говорит заметно оживившийся дядя Христиан.

А Христиан рассказывал о праздновании рождества в клубе, будто бы очень веселом.

— Боже милостивый! — воскликнул он тоном, которым обычно начинал рассказ о Джонни Тендерсторме.— Они дули шведский пунш, как воду!

— Фи! — сказала консульша и опустила глаза. Но Христиан не обратил на это внимания. Взгляд его сделался блуждающим, мысли и воспоминания с такой живостью проносились у него в голове, что казалось, их тени мелькают на его изможденном лице.

— А знает ли кто-нибудь из вас, как чувствует себя человек, не в меру хвативший шведского пунша? Я имею в виду не опьянение, а то, что начинается на следующий день,— очень странные и препротивные последствия — да, препротивные!

— Причина, достаточно основательная для того, чтобы подробно рассказать о них,— вставил сенатор.

— Assez, Христиан, нас это не интересует,— вмешалась консульша.

Но Христиан и ее замечание пропустил мимо ушей. Таково уж было свойство его характера — в минуты возбуждения никаких резонов не слушать. Он помолчал, и вдруг то, что его волновало, неудержимо прорвалось наружу.

— Ходишь-бродишь, и все время тебе скверно,— выпалил он, сморщив нос и повернувшись к брату.— Головная боль, в желудке непорядок... Ну, это, конечно, случается и по другим причинам. Но тут все время чувствуешь себя грязным,— и Христиан брезгливо потер руку об руку,— чувствуешь, что все тело у тебя неумытое. Начинаешь мыть руки — ничего не помогает: они все равно влажные, нечистые, даже ногти какие-то жирные... Садишься наконец в ванну, и опять без толку — тело липкое, ничем его не отмоешь, оно тебя злит, раздражает, ты сам себе противен... Знакомо тебе, Томас, это ощущение? Ну скажи, знакомо?

— Да, да! — отвечал сенатор и махнул рукой, лишь бы отвязаться.

Но Христиан с той поразительной бестактностью, которая все возрастала у него с годами и не позволяла ему сообразить, что эти подробности крайне неприятны всем сидящим за столом и более чем неуместны в этот вечер и в этой обстановке, продолжал красноречиво описывать состояние после неумерен-

ного потребления шведского пунша, покуда не решил, что все уже сказано, и тогда мало-помалу смолк.

Перед тем как были поданы сыр и масло, консульша еще раз произнесла маленькую речь.

— Если и не все,— сказала она,— складывалось в течение многих лет так, как того, по неразумию и слепоте своей, желали отдельные члены нашей семьи, то все же явного благословения божьего над семьей Будденброков было более чем достаточно, чтобы сердца всех здесь присутствующих исполнились благодарности. Ведь такая смена счастья и суровых испытаний как раз и указует на то, что господь не отвратил от нас своей десницы, но мудро правил и правит нашими судьбами; неисповедимые же пути его никому не дано познать. А теперь всем следует единодушно поднять бокалы и выпить за благо семьи, за ее будущее — будущее, которое наступит, когда старики и следующее за ними поколение давно уже будут лежать в сырой могиле,— за детей, для которых, собственно, и устраивается этот праздник!

И так как дочурку директора Вейншенка увели домой, то маленькому Иоганну пришлось одному обойти весь стол, начиная с бабушки и кончая мамзель Зеверин на нижнем его конце, чокаясь со взрослыми, которые, в свою очередь, чокались друг с другом. Когда он подошел к отцу, сенатор, коснувшись своим бокалом бокала мальчика, ласково взял его за подбородок, чтобы посмотреть ему в глаза, но не встретил ответного взгляда: темно-золотистые ресницы опустились низко-низко, прикрывая легкие голубоватые тени под глазами.

Зато Тереза Вейхбродт обеими руками обняла голову мальчика, звонко чмокнула его в щеку и сказала с такой сердечностью, что господь не мог не внять ей:

— Будь счастлив, милое дитя мое!

Час спустя Ганно уже был в кровати; он спал теперь в первой по коридору комнате, соседней с гардеробной сенатора. Мальчик лежал на спине, так как его желудок еще отнюдь не усвоил того изобилия пищи, которое ему пришлось принять в себя сегодняшним вечером, и следил взволнованным взглядом за преданной своей Идой. Она вышла из соседней комнаты, уже в ночной кофте, и, держа в руке стакан, кругообразными движениями вращала его в воздухе. Ганно быстро выпил воды с содой, состроил гримасу и снова опустился на подушки.

— Ну теперь меня уж обязательно вырвет, Ида!

— Да нет же, дружок! Нет! Ты только лежи на спине и не двигайся... Вот видишь, недаром я тебе делала знаки! А мой мальчик даже и смотреть не хотел...

— Может, все еще и обойдется... Ида, когда принесут мои подарки?

— Завтра утром, дружок!

— Пусть несут прямо сюда, чтобы я сразу увидел!

— Ладно, ладно, сперва надо еще хорошенько выспаться.— Она поцеловала его, погасила свет и вышла.

Ганно остался один; он лежал неподвижно, успокоившись под благотворным действием соды, и перед его закрытыми глазами вновь зажглось праздничное великолепие сияющего зала. Он видел свой театр, свою фисгармонию, книгу по мифологии, слышал, как где-то вдали хор поет: «Ликуй, ликуй, Иерусалиме!..» Потом все заслонилось каким-то мерцанием. От легкого жара у него звенело в голове, а сердце, сдавленное и напуганное взбунтовавшимся желудком, билось медленно, сильно и неравномерно. Такое состояние нездоровья, возбуждения, стесненности сердца, усталости и счастья долго не давало ему уснуть.

Завтра состоится третий праздничный вечер — у Терезы Вейхбродт, и Ганно с радостью предвкушал его, словно какую-то забавную интермедию. В прошлом году Тереза окончательно закрыла свой пансион, так что во втором этаже маленького домика, Мюлленбринк, 7, обитала теперь одна мадам Кетельсен, сама же Тереза поместилась в первом. Недуги, которым было подвержено ее изуродованное, хрупкое тельце, с годами все возрастали, и она с истинно христианским смирением и кротостью готовилась к скорому переходу в лучший мир. Посему мадемуазель Вейхбродт уже в течение многих лет каждое рождество считала для себя последним и старалась, по мере своих слабых сил, придать как можно больше блеска празднику, который она устраивала в своих маленьких, нестерпимо жарко натопленных комнатках. Так как средств на покупку множества подарков у нее не было, то она ежегодно раздаривала часть своего скромного имущества, устанавливая под елкой все, без чего хоть как-то могла обойтись: безделушки, пресс-папье, подушечки для иголок, стеклянные вазы и, наконец, отдельные книги из своей библиотеки — старинные издания необычного формата и в необычных переплетах: «Тайный дневник наблюдателя за самим собой», «Алеманские стихотворения» Гебеля, притчи Круммахера. Ганно уже был обладателем книжечки «Pensées de Blaise Pascal» [1] — такой малюсенькой, что ее нельзя было читать без увеличительного стекла.

---

[1] «Мысли Блэза Паскаля» *(франц.)*.

Бишоф в эти вечера лился рекой, а коричневые имбирные пряники Зеземи не имели себе равных. Но никогда, может быть из-за трепетного самозабвения, с которым мадемуазель Вейхбродт всякий раз праздновала свое «последнее рождество», никогда этот праздник не проходил без какого-либо происшествия, несчастного случая, нелепой маленькой катастрофы, заставлявшей гостей покатываться со смеху и еще увеличивавшей безмолвное упоение хозяйки. Опрокидывался жбан с бишофом, и все вокруг оказывалось затопленным красной сладкой и пряной жидкостью... Или украшенная елка валилась с деревянной подставки в ту самую минуту, когда гости торжественно входили в комнату... Засыпающему Ганно представилась картина прошлогоднего «несчастья», которое случилось перед раздачей рождественских даров.

Тереза Вейхбродт, прочитав главу о рождестве Христовом с таким воодушевлением, что все гласные в ней переменились местами, отошла к двери, намереваясь с этого места произнести свое обращение к собравшимся. Она стояла на пороге, горбатая, крохотная, прижав морщинистые ручки к своей детской груди; зеленые шелковые ленты, которыми был подвязан чепец, спадали на ее хрупкие плечи, а над дверью, в транспаранте, обрамленном елочными ветвями, светились слова: «Слава в вышних богу». Зеземи говорила о благости господней, напомнила о том, что это ее «последнее рождество», в заключение — словами апостола — призвала всех к радости и затрепетала с головы до пят, ибо все ее маленькое тельце слилось с этим призывом.

— Возрадуйтесь! — воскликнула она, энергично тряся своей склоненной набок головой.— Еще раз говорю вам, возрадуйтесь!..

Но в это самое мгновенье что-то стрельнуло, зафукало, затрещало, транспарант мгновенно вспыхнул, а мадемуазель Вейхбродт, вскрикнув от испуга, нежданно-негаданно совершила живописное сальто-мортале, спасаясь от посыпавшегося на нее дождя искр...

Ганно вспомнил прыжок старой девы и, не в силах отделаться от этой картины, несколько минут смеялся в подушку.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Госпожа Перманедер необычно быстрым шагом шла по Брейтенштрассе. Вся она как-то сникла, и только в линии ее плеч и в посадке головы еще сохранялось что-то от того вели-

чавого достоинства, которое она всегда блюла на улице. Душевно разбитая, затравленная, второпях она все-таки собрала эти остатки величия, как разбитый в бою король собирает остатки войска, чтобы вместе с ними ринуться в бегство.

Вид у нее, увы, был неважный... Верхняя губа, чуть-чуть выпяченная и вздернутая, когда-то так красившая ее лицо, теперь дрожала, глаза, расширенные от страха и тоже какие-то торопливые, редко-редко мигая, смотрели прямо перед собой. Из-под капора выбивались пряди волос, свидетельствуя о полнейшей растерзанности прически; лицо было того желто-серого цвета, который оно всегда принимало при обострениях ее желудочного недомогания.

Да, с желудком у нее последнее время обстояло плохо. По четвергам всей семье предоставлялся случай наблюдать это ухудшение. Как ни старались они обойти риф, разговор все равно возвращался к процессу Гуго Вейншенка, ибо г-жа Перманедер сама неуклонно затрагивала эту тему. И тогда она, в страшном возбуждении, начинала требовать ответа — от бога и от людей: как может прокурор Мориц Хагенштрем спокойно спать по ночам! Она этого не постигает и никогда не постигнет! Возбуждение ее возрастало с каждым словом.

«Спасибо, я ничего есть не могу»,— говорила она, отодвигая от себя все, что бы ей ни предлагали; при этом она вздергивала плечи и закидывала голову, словно всходя в одиночестве на вершины своего негодования, чтобы там не есть, а только пить,— пить холодное баварское пиво, к которому она пристрастилась за время своего мюнхенского замужества, заливать этой жидкостью пустой желудок, который бунтовал и мстил за себя,— почему ей еще до конца обеда приходилось вставать из-за стола, спускаться вниз, в сад или во двор, и, опираясь на руку Иды Юнгман или Рикхен Зеверин, претерпевать ужаснейшие страдания. Желудок ее, извергнув свое содержимое, продолжал мучительно сжиматься и долгие минуты оставался сведенным судорогой. Не имея уже что извергнуть из себя, бедняжка долго давилась и переживала жестокие муки...

Стоял январский день, ветреный и дождливый, когда, часов около трех, г-жа Перманедер завернула за угол Фишергрубе и пустилась вниз под гору, к дому брата. Торопливо постучав в дверь, она прошла прямо в контору, скользнула взглядом по столам и, увидев сенатора на обычном месте у окна, сделала такое умоляющее движение головой, что Томас Будденброк поспешил отложить перо и встать ей навстречу.

— Что случилось? — спросил он, вскинув бровь.

— На одну минуточку, Томас, очень важное дело, не терпящее отлагательства...

Он отворил обитую войлоком дверь в свой кабинет, пропустил г-жу Перманедер, войдя вслед за ней, повернул ключ и вопросительно взглянул на сестру.

— Том,— проговорила она дрожащим голосом, ломая пальцы, спрятанные в муфту,— ты должен дать займообразно, должен... Я очень тебя прошу... внести залог... У нас нет — откуда бы у нас теперь могли взяться двадцать пять тысяч марок? Мы их возвратим тебе целиком и полностью... Ах, наверно, даже слишком скоро, ты меня понимаешь... вот оно началось... Одним словом, дело уже в той стадии, что Хагенштрем требует либо немедленного ареста, либо внесения залога в двадцать пять тысяч марок. Вейншенк заверяет тебя честным словом, что он не выедет из города...

— Так вот, значит, до чего уже дошло,— проговорил сенатор и покачал головой.

— Не дошло, а они довели, эти негодяи, презренные! — И г-жа Перманедер, задохнувшись от бессильной злобы, опустилась в клеенчатое кресло у стола.— И на этом они не успокоятся, Том. Они доведут до конца...

— Тони,— он боком присел к письменному столу красного дерева и, положив ногу на ногу, подпер голову рукой,— скажи мне откровенно, ты продолжаешь верить в его невиновность?

Она всхлипнула несколько раз подряд и в отчаянии, почти шепотом, ответила:

— Ах, что ты, Том!.. Как могла бы я в это верить? Я, которая столько уже натерпелась в жизни! Я и с самого начала не очень-то верила, хотя старалась изо всех сил. Жизнь, понимаешь ли, не позволяет, никак не позволяет верить в чью-либо невиновность... Ах, нет, я уж давно чуяла, что у него совесть нечиста, и даже Эрика и та усомнилась,— она мне сама со слезами в этом призналась,— усомнилась из-за его поведения дома. Мы с ней, конечно, молчали... Он день ото дня становился все грубее и все настойчивее требовал, чтобы Эрика была весела, чтобы она разгоняла его заботы, и... бил посуду, если она хмурилась. Ты не знаешь, каково нам было... На целые вечера он запирался со своими бумагами, а когда кто-нибудь к нему стучался, мы слышали, как он вскакивает и кричит: «Кто там? Что там такое?..»

Они помолчали.

— Но пусть он даже виноват! Пусть он совершил должностной проступок! — снова заговорила г-жа Перманедер, и го-

лос ее окреп.— Ведь не на свой же карман он работал, а для страхового общества. И потом, о, господи боже ты мой, существуют ведь обстоятельства, с которыми люди должны считаться! Женившись на Эрике, он вошел в нашу семью, Том! Нельзя же человека, принадлежащего к нашей семье, засадить в тюрьму! О, господи!

Сенатор пожал плечами.

— Ты пожимаешь плечами, Том? Значит, ты согласен? Значит, ты стерпишь, допустишь, чтобы эти негодяи дерзнули довести свое дело до конца? Необходимо что-то предпринять! Нельзя же допустить, чтобы ему вынесли обвинительный приговор!.. Ты правая рука бургомистра... Бог мой, неужели сенат не может просто его помиловать? Должна тебе сказать, что, прежде чем пойти к тебе, я хотела броситься к Кремеру, умолять его вмешаться в это дело, предупредить... Он начальник полиции...

— О друг мой, что за вздор!

— Вздор, Том? А Эрика? А ребенок? — И она с мольбой протянула к нему муфту, в которой были спрятаны ее руки. Затем помолчала, руки ее упали, рот растянулся, подбородок сморщился и задрожал мелкой дрожью, две большие слезы выкатились из-под ее опущенных век, и она тихонько добавила: — А я?..

— О Тони, courage! — сказал сенатор, потрясенный и растроганный ее беспомощностью. Он придвинулся поближе, чтобы успокаивающе погладить ее по волосам.— Еще ведь не все кончено. Обвинительного приговора еще нет! Возможно, что и обойдется. Пока что надо внести залог. Я, конечно, не отказываюсь... Кроме того, Бреслауэр дока...

Не переставая плакать, она покачала головой.

— Нет, Том, добром это не кончится, я уж знаю. Они вынесут обвинительный приговор и упрячут его в тюрьму... И тогда наступят тяжкие времена для Эрики, для ребенка и для меня. Приданого ее уже нет, оно все ушло на устройство дома, на мебель, картины... А при продаже вещей мы не выручим и четверти их стоимости. Мы жили на жалованье Вейншенка — он ничего не скопил. Нам придется опять переехать к маме, если она позволит, и дожидаться, пока он отсидит свой срок... А тогда, тогда будет еще хуже, потому что куда мы с ним вместе денемся?.. Придется нам сидеть на камнях,— всхлипнув, добавила она.

— На камнях?

— Ну да, есть такое выражение, образное... Ах, нет, не кончится это благополучно! Слишком много уж на меня свалилось... Не знаю, чем я заслужила... Но больше я ни на что не

надеюсь. Теперь у Эрики все будет так, как было у меня с Грюнлихом и Перманедером. И ты сам, своими глазами, увидишь, каково человеку, на которого все это обрушивается! Ну что нам делать? Том! Прошу тебя, скажи: что нам делать?..— Она безнадежно и все-таки вопросительно посмотрела на брата расширенными, мокрыми от слез глазами.— Все, что бы я ни начинала, все оборачивалось против меня... А намерения-то у меня, видит бог, всегда были самые добрые!.. Я только и мечтала добиться чего-нибудь в жизни, от себя привнести в семью... ну, хоть немножко почета... Вот и последнее рухнуло. Подумать только, что так должно было кончиться и это...

Прислонясь к его руке, которой он ласково обвил ее талию, она плакала по своей незадавшейся жизни, по последней угасшей надежде.

Неделю спустя директор Гуго Вейншенк был приговорен к тюремному заключению сроком на три с половиною года и тотчас же взят под стражу.

Во время прений сторон судебный зал был набит до отказа. Адвокат доктор Бреслауэр из Берлина говорил как бог,— маклер Зигизмунд Гош, шипя и захлебываясь от восторга, еще целый месяц восхищался этой иронией, этим пафосом, этим уменьем растрогать слушателей; а Христиан Будденброк, тоже побывавший на процессе, становился в клубе у стола, раскладывал перед собой газеты, которые должны были изображать папки с делом, и в совершенстве копировал адвоката; домашних же своих он с того самого дня уверял, что юриспруденция — лучшая профессия на свете и, собственно говоря, настоящее его, Христиана, призвание.

Даже прокурор доктор Хагенштрем, признанный ценитель изящного, в частных беседах утверждал, что речь Бреслауэра доставила ему истинное наслаждение. Впрочем, талант знаменитого адвоката не помешал местным юристам, добродушно похлопав по плечу своего коллегу, заявить, что черного он для них все равно не сделает белым.

Когда была кончена распродажа вещей после ареста директора Вейншенка, в городе начали о нем забывать. Лишь дамы Будденброк с Брейтенштрассе объявили за семейным обедом, что с первого взгляда на этого человека, и прежде всего на его глаза, они поняли, что не все с ним обстоит благополучно, что в его характере немало изъянов и что добром он, конечно, не кончит. Только из деликатности, излишней, как теперь оказалось, они тогда умолчали об этом своем наблюдении.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Выйдя из спальни консульши вслед за старым доктором Грабовом и молодым доктором Лангхальсом, отпрыском известного рода Лангхальсов, в маленькую столовую, сенатор Будденброк притворил за собой дверь и повел обоих врачей вверх по лестнице, через коридор и ротонду в ландшафтную, где из-за сырой и холодной осенней погоды уже топилась печь.

— Разрешите на минутку задержать вас, господа. Моя тревога вам понятна... Прошу садиться! Успокойте меня, если это возможно!

— Полноте, любезный господин сенатор,— отвечал доктор Грабов. Он уже удобно сидел в кресле, уткнувшись подбородком в свой галстук и прижимая к животу шляпу, в то время как доктор Лангхальс, коренастый брюнет с остроконечной бородкой, с подстриженной бобриком шевелюрой, красивыми глазами и фатоватым выражением лица, поставив цилиндр на ковер рядом с креслом, молча рассматривал свои необыкновенно маленькие руки, поросшие черными волосами.— Для серьезного беспокойства пока оснований не имеется. Смею вас уверить, что пациентке с таким относительно стойким организмом, как у нашей дорогой госпожи консульши... За долгие годы я успел узнать эту стойкость, в ее возрасте, должен вам сказать, прямо-таки удивительную...

— Вот именно, в ее возрасте...— с беспокойством прервал его сенатор, покручивая свой ус.

— Я, конечно, не берусь утверждать, что ваша матушка сможет завтра же отправиться на прогулку,— мягко продолжал доктор Грабов.— Такого впечатления, вероятно, не сложилось и у вас, дражайший господин сенатор. Нельзя отрицать,

что за последние сутки катар сильно обострился. Мне очень не понравился вчерашний озноб, а сегодня уже появились покалывания в боку и некоторые признаки удушья. Да и жарок есть — небольшой, но все-таки жарок. Одним словом, дорогой мой господин сенатор, приходится, к сожалению, констатировать, что легкое немного затронуто...

— Так, значит, воспаление легких? — спросил сенатор, переводя взгляд с одного врача на другого.

— Да, pneumonia [1],— подтвердил доктор Лангхальс, слегка наклонив голову с видом корректным и серьезным.

— Что поделаешь, небольшое правостороннее воспаление,— снова заговорил доктор Грабов,— которое нам необходимо будет тщательнейшим образом локализовать...

— Так, значит, поводы для серьезного беспокойства все же имеются? — Сенатор, затаив дыхание, не сводил глаз с лица говорящего.

— Беспокойства? О! Как я уже сказал, нам прежде всего надо побеспокоиться о том, чтобы остановить развитие болезни, смягчить кашель, сбить температуру... Ну, тут хинин свое дело сделает. И потом еще одно, любезнейший сенатор: ни в коем случае не пугаться тех или иных отдельных симптомов... Идет? Если усилятся ощущения удушья или если вдруг ночью появится бред, а наутро, может быть, и мокрота красновато-бурого цвета или даже с кровью... Все это безусловно логично, безусловно вытекает из самого хода болезни, безусловно естественно. И, пожалуйста, подготовьте к этому и нашу милую, уважаемую госпожу Перманедер, которая так самоотверженно ухаживает за больной... A propos, как ее здоровье? Я чуть было не позабыл спросить, как у нее последние дни обстоит с желудком?..

— Как всегда. Я ничего нового не знаю. Впрочем, забота об ее самочувствии сейчас, конечно, несколько отступает перед...

— Разумеется. Кстати, наш разговор навел меня на мысль. Госпоже Перманедер нужен покой, особенно в ночное время, а мамзель Зеверин одной, конечно, не управиться. Что, если бы взять сиделку, любезный господин сенатор? Имеются же у нас «серые сестры», за чьи интересы вы всегда так благожелательно заступаетесь. Сестра начальница будет рада вам услужить.

— Вы считаете это необходимым?

— Я предлагаю... для удобства. Этим сестрам цены нет. Их опытность и спокойствие так благотворно действуют на больных... В особенности при заболеваниях, которые, как я уже го-

---

[1] Воспаление легких *(лат.)*.

ворил, связаны с целым рядом неприятных симптомов. Итак, повторяю: спокойствие, спокойствие, дражайший господин сенатор! Да? А в остальном... посмотрим... Сегодня вечером мы ведь заглянем снова...

— Несомненно.— Доктор Лангхальс взял цилиндр и поднялся вслед за своим старым коллегой. Но сенатор остался сидеть, он не все еще выспросил, хотел еще раз попытать врачей.

— Одну минутку, милостивые государи,— сказал он.— Мой брат Христиан человек нервный и панический. Как вы советуете, сообщать мне ему о болезни матери или нет? Не следует ли поторопить его с приездом?

— Вашего брата нет в городе?

— Нет. Он в Гамбурге. Ненадолго. По делам, насколько мне известно!

Доктор Грабов переглянулся со своим коллегой, потом засмеялся и потряс руку сенатора.

— Ну и пускай себе спокойно занимается делами! Зачем попусту пугать его? Если бы в состоянии больной наступило изменение, делающее его присутствие желательным,— ну, скажем, для ее успокоения, для поднятия жизненного тонуса... Но это успеется, всегда успеется...

Пройдя через ротонду и коридор, все трое еще задержались несколько минут на площадке лестницы. Разговор теперь шел уже о другом: о политике, о потрясениях и переворотах, вызванных только что окончившейся войной.

— Ну что ж, теперь настанут хорошие времена, ведь правда, господин сенатор? В стране много денег... Да и настроение везде и всюду бодрое.

Сенатор им поддакивал,— впрочем, довольно вяло. Он подтвердил, что после объявления войны очень оживилась торговля хлебом с Россией, упомянул также об увеличении оборотов в порту в связи с поставками овса для нужд армии. Но прибыли, по его мнению, распределялись очень неравномерно.

Врачи ушли, и сенатор вернулся в комнату больной. По дороге он обдумывал то, что сказал ему Грабов. В словах старого доктора было много недоговоренного. Он несомненно воздерживался от решительного высказывания. Единственными ясными его словами было: «воспаление легких», и эти два слова не прозвучали утешительнее оттого, что доктор Лангхальс перевел их на язык науки. Воспаление легких в ее годы... Уже одно то, что в дом приходили два врача, вселяло тревогу,— хотя Грабов сумел устроить это как-то между прочим, почти незаметно. Старый доктор заявил, что днем раньше или днем позже ему все

равно пора на покой, практику свою он намерен передать молодому Лангхальсу, и поэтому ему прямо-таки доставляет удовольствие заблаговременно вводить своего будущего преемника в дома некоторых пациентов...

Когда сенатор вошел в полутемную спальню, лицо у него было бодрое, движения энергические. Он так привык скрывать заботу и усталость под выражением спокойной уверенности, что эта маска почти сама собой, в результате мгновенного усилия воли, появлялась на его лице.

Госпожа Перманедер сидела у кровати, полог которой был откинут, и держала в своих руках руку матери. Консульша, опираясь на высоко взбитые подушки, повернула голову к вошедшему и испытующе посмотрела ему в лицо своими светло-голубыми глазами. Взгляд у нее был сурово-спокойный, хотя в то же время полный напряженного, настойчивого ожидания и, может быть оттого, что она смотрела искоса, почти коварный. Кроме некоторой бледности, сквозь которую на щеках проступали пятна лихорадочного румянца, в лице ее не было следов ни болезненной изнуренности, ни слабости. Старая консульша внимательно следила за ходом болезни, еще внимательнее, чем ее близкие, ибо в конце концов кто же и мог быть заинтересован в том более, чем она? Консульша весьма опасливо относилась к этой своей болезни и отнюдь не была склонна спокойно улечься и предоставить ей идти своим чередом.

— Что они сказали, Томас? — спросила она таким твердым и оживленным голосом, что сразу же сильно закашлялась; она сжала губы и попыталась удержать этот приступ, но кашель все равно прорвался и заставил ее схватиться рукою за правый бок.

— Они сказали,— отвечал сенатор, переждав приступ кашля и гладя ее руку,— что наша дорогая матушка через несколько дней снова будет на ногах. И через несколько дней, а не сейчас, только потому, что этот противный кашель слегка затронул легкое, что, впрочем, вполне естественно. У тебя, конечно, не воспаление легких,— прибавил он, заметив, что ее взгляд сделался еще настойчивее,— хотя и в этом не было бы ничего страшного, бывает и хуже! Одним словом, оба врача говорят, что легкое чуточку раздражено, и они, видимо, правы... А где же Зеверин?

— Она пошла в аптеку,— ответила г-жа Перманедер.

— Вот видите, опять потребовалось бежать в аптеку! А у тебя, Тони, такой вид, что, кажется, ты вот-вот уснешь. Нет, так не годится! По-моему, хоть на два-три дня, но нам надо пригласить сиделку. А вы как считаете? Я вот сейчас возьму

да и пошлю к начальнице моих «серых сестер». Наверное, у нее кто-нибудь найдется...

— Томас,— сказала консульша, на этот раз тихим голосом, чтобы не вызвать нового приступа кашля,— поверь, ты многих против себя восстанавливаешь своим вечным покровительством этим католическим «серым сестрам» в ущерб «черным», протестантским. Для тех ты добился ряда существенных привилегий, а для этих ровно ничего не делаешь. Должна тебе сказать, что пастор Прингсгейм на днях мне просто жаловался на тебя...

— Ну, это ему не поможет! Я убежден, что «серые сестры» преданнее, самоотверженнее, усерднее «черных». Протестантки — это не то. Они только и думают, как бы выскочить замуж... Словом, это девицы вполне земные, эгоистичные и заурядные. «Серые» куда возвышеннее. Они, честное слово, ближе к небу. И именно потому, что они мне многим обязаны, на них и следует остановить наш выбор. Для нас было просто благодеянием присутствие сестры Леандры, когда у Ганно с такими мучениями прорезывались зубы! Ах, только бы она оказалась свободной!

И сестра Леандра пришла. Она неслышно положила свою сумочку, сняла плащ и серый чепец, надетый поверх белого, и под тихое постукивание четок, висевших у пояса, мягкая и благожелательная, приступила к работе. Она день и ночь ходила за избалованной, нетерпеливой больной и потом, дождавшись другой сестры, молча, чуть ли не стыдясь своей человеческой слабости, уходила домой, чтобы, немножко поспав, снова вернуться к своим обязанностям.

Консульша требовала непрестанного ухода, ибо по мере ухудшения ее состояния весь ее интерес, все мысли сосредоточивались на болезни, за которой она неустанно наблюдала со страхом и нескрываемой ненавистью.

Светская дама, некогда упорно и наивно любившая безмятежную жизнь, да и жизнь вообще, она все последние годы посвятила религии и благотворительности. Почему? Может быть, не из одного только уважения к памяти своего покойного супруга, но из неосознанного желания примирить небо со своим неуемным жизнелюбием и побудить господа даровать ей мирную кончину, вопреки ее упорной приверженности к жизни? Но мирно отойти она не могла. Ряд тяжелых переживаний, выпавших на долю консульши, не согнул ее стройной фигуры, взор ее оставался неизменно ясным. Она любила давать парадные обеды, изящно и богато одеваться, не замечать или хотя бы сглаживать то неприятное, что порою творилось вокруг нее,

и благосклонно принимать знаки уважения — уважения, которое повсюду снискал себе ее старший сын. Эта болезнь, это воспаление легких вторглось в ее несогбенное тело без того, чтобы предварительная душевная работа облегчила ей предстоящий процесс разрушения, та подрывная работа страдания, которая медленно, при непрестанных болевых ощущениях, отчуждает нас от жизни или хотя бы от условий, в которых мы жили, порождая в нас сладостную тягу к концу, к отходу от жизни, к успокоению... Нет! Старая консульша ясно чувствовала, что, несмотря на свою христианскую жизнь в последние годы, она, собственно, еще не приготовилась к смерти, и смутная мысль, что это ее *последняя* болезнь, недуг, которому суждено — в последний час, в отвратительной спешке, во всеоружии физических страданий — сломить ее сопротивление, заставить ее признать себя побежденной, наполняла страхом ее сердце.

Она часто молилась. Но еще чаще, когда была в полном сознании, следила за своим состоянием, сама щупала себе пульс, мерила температуру, силилась побороть кашель. А пульс становился все слабее, температура после легкого снижения подымалась еще выше, озноб сменялся лихорадочным бредом, кашель, все более болезненный и уже сопровождавшийся кровохарканьем, усиливался, удушье повергало ее в страх. Объяснялись все эти явления тем, что воспаление теперь охватило уже не часть, а все правое легкое, и если только внешние симптомы не были обманчивы, то и в левой стороне намечался процесс, который доктор Лангхальс, внимательно разглядывая свои ногти, именовал «гепатизацией», а старый доктор Грабов обходил молчанием. Жар неуклонно подтачивал организм. Желудок отказывался работать. Силы больной падали — неудержимо, медленно и упорно.

Она следила за этим процессом; когда была хоть сколько-нибудь в состоянии принимать пищу, с готовностью ела те особо питательные кушанья, которые для нее готовились; заботливее, чем ее сиделка, соблюдала часы приема лекарств и была так поглощена своей болезнью, что почти ни с кем не разговаривала, кроме врачей,— во всяком случае, оживлялась только при разговорах с ними. Гостей, которых поначалу к ней допускали, подруг — участниц «Иерусалимских вечеров», пожилых светских дам и пасторских жен — она принимала равнодушно, с какой-то рассеянной теплотой и очень скоро опять отпускала. Близкие болезненно воспринимали то безразличие, с которым старая дама к ним относилась, оно граничило уже с пренебрежением и, казалось, означало: «Все равно вы мне ничем по-

мочь не можете». Даже маленького Ганно, которого ввели к ней в час, когда ей стало немного полегче, она только погладила по щеке и тотчас же от него отвернулась. Она словно говорила: «Дорогие мои, все вы милейшие люди, но я-то... похоже ведь, что я умираю!» И напротив, обоих врачей она принимала очень радушно и подолгу с ними советовалась.

Как-то раз явились старушки Герхардт, те самые, что происходили по прямой линии от Пауля Герхардта. Они пришли к своей подруге в мантильках, в плоских, как блин, шляпках, с мешочками для продуктов в руках — прямо после посещения бедных. Не допустить их к больной ни у кого не хватило духу. Сестер оставили наедине со старой консульшей, и одному богу известно, о чем они говорили, сидя у ее постели. Но когда они уходили, глаза и лица их были еще просветленнее, еще мягче и блаженно-упоеннее, чем обычно, а в спальне лежала консульша с точно таким же выражением глаз и лица — лежала неподвижно, умиротворенно, умиротвореннее, чем когда-либо, дыша медленно и негромко и, казалось, с минуты на минуту теряя силы. Г-жа Перманедер, пробормотавшая вслед старушкам Герхардт какое-то довольно энергичное слово, немедленно послала за врачами. И едва только оба они показались в дверях, как с консульшей произошла полная, разительная перемена: она очнулась, задвигалась, приподнялась. Вид обоих этих господ, хоть сколько-то смыслящих в медицине, немедленно возвратил ее к земному. Она протянула к ним обе руки и начала:

— Добро пожаловать, господа! Должна вам сказать, что сегодня с самого утра...

Но, увы, уже давно нельзя было больше отрицать двухстороннего воспаления легких.

— Да, дорогой мой господин сенатор,— сказал доктор Грабов, беря Томаса Будденброка за обе руки.— Нам не удалось остановить процесс, и он сделался двухсторонним, а вы знаете не хуже меня, что это уже наводит на размышления. Я не хочу выдавать вам черное за белое... Двадцать лет пациенту или семьдесят, а двухстороннее воспаление легких — болезнь серьезная, и если бы вы сегодня снова спросили меня, не известить ли вам вашего брата Христиана телеграммой, я бы не стал вас отговаривать... Как он, кстати, поживает? Занятный человек! Я всегда ему симпатизировал... Только, ради бога, не делайте из моих слов слишком далеко идущих выводов, дорогой господин сенатор! О непосредственной опасности сейчас еще и речи не может быть... Да что там! Напрасно я и вообще-то употребил слово «опасность». Но в данных обстоятельствах надо счи-

таться с самыми непредвиденными случайностями... Как пациенткой, мы вашей уважаемой матушкой более чем довольны! Она энергично нам помогает, сама выводит нас из всякого рода затруднений... Нет, нет, серьезно! Лучшей пациентки себе и пожелать нельзя! А посему будем надеяться, дорогой мой господин сенатор, будем надеяться! Всегда следует уповать на лучшее!

Но наступает момент, когда в надежде близких появляется что-то искусственное и неискреннее. Какая-то перемена произошла с больным. Нечто чуждое, никогда ранее ему не свойственное, сообщилось его поведению. С его уст срываются необычные, странные слова, на которые мы уже не умеем отвечать. Они как бы отрезают ему обратный путь к жизни, обязывают его умереть. И будь он стократ дорог нам, мы уже не можем желать, чтобы он встал и вернулся к земному существованию. Ибо, случись это, ужас предшествовал бы ему, как выходцу из могилы...

Уже обнаруживаются страшные признаки начинающегося разложения, хотя отдельные органы, поддерживаемые упорной волей, еще продолжают нормальную работу. Со дня, когда катар уложил консульшу в постель, прошло больше месяца, и на ее теле образовались пролежни,— раны эти уже не закрывались и день ото дня множились. Она больше не спала. Во-первых, кашель, боль и приступы удушья не давали ей успокоиться, а во-вторых, она и сама противилась сну, цепляясь за состояние бодрствования. Только жар минутами затуманивал ее сознание; но и бодрствуя, она вслух разговаривала с давно умершими. Однажды, в сумерки, она вдруг громко, немного испуганно, но просто проговорила: «Иду, иду, мой милый Жан!» Слова эти прозвучали так живо, что всем, бывшим при ней в эту минуту, потом казалось, что и они слышали голос покойного консула, звавший ее.

Приехал Христиан — прямо из Гамбурга, где он, по его словам, занимался делами,— и очень недолго пробыл в комнате больной. Выйдя оттуда, он потер себе лоб рукой, глаза его начали блуждать, и пробормотал:

— Нет, это ужасно, ужасно! Я этого не перенесу!

Появился и пастор Прингсгейм; он смерил сестру Леандру ледяным взором и модулирующим голосом прочитал несколько молитв у одра больной.

Затем наступило краткое улучшение, новая вспышка жизни. Температура снизилась, силы как будто начали восстанавливаться, боль утихла; несколько слов, которые старая консуль-

ша произнесла обнадеживающе внятным голосом, исторгли у окружающих слезы радости...

— Мы отстоим ее, вот увидите, отстоим, несмотря ни на что! — воскликнул Томас Будденброк.— Рождество она будет праздновать с нами. И мы, уж конечно, не позволим ей хлопотать, как она всегда хлопочет.

Но следующей ночью, едва только Герда и ее супруг улеглись спать, г-жа Перманедер прислала за ними. Консульша уже боролась со смертью. Ветер швырял об окна холодную сеть дождя с такой силой, что дребезжали стекла.

Когда сенатор и Герда вошли в комнату больной, на столе в двух больших канделябрах горели свечи, оба врача уже были там. Христиана тоже вызвали из его комнаты, и он сидел в сторонке, спиной к пышной кровати с пологом, склонив голову и уткнув лицо в ладони. Ждали брата больной, консула Юстуса Крегера, за которым уже было послано.

Сестре Леандре и мамзель Зеверин больше нечего было делать, и они печально смотрели в лицо умирающей.

Консульша лежала на спине. Под головой у нее было подложено несколько подушек. Обе ее руки, эти прекрасные руки с нежно-голубыми жилками, теперь такие худые, изможденные, непрестанно и часто-часто, дрожа от торопливости, оглаживали стеганое одеяло. Голова ее в белом ночном чепце беспрерывно, со страшной равномерностью, раскачивалась из стороны в сторону. Ввалившийся рот бессознательно открывался и закрывался при каждой мучительной попытке глотнуть воздуха, глубоко запавшие глаза блуждали, умоляя о помощи, и время от времени с потрясающим выражением зависти останавливались на комнибудь из тех, кто стоял здесь, дышал и жил, но ничего уже больше не мог для нее сделать,— разве что воздать ей последнюю жертву любви, то есть не отводить глаз от ее одра. За окнами уже стало светать, а в состоянии консульши не наступало никаких изменений.

— Как долго может это продолжаться? — спросил Томас Будденброк и потянул за рукав старого доктора Грабова в глубину комнаты,— доктор Лангхальс в это время делал какое-то впрыскивание больной. Г-жа Перманедер, зажав рот платочком, тоже подошла к ним.

— Ничего не могу вам сказать, дорогой господин сенатор,— отвечал доктор Грабов.— Возможно, что ваша матушка уже через пять минут освободится от страданий, а возможно, что это продолжится еще несколько часов... Ничего не могу

вам сказать. В данном случае мы имеем дело с так называемым отеком легких...

— Я знаю,— прошептала г-жа Перманедер и капнянула в платочек, слезы текли у нее по щекам.— Это часто случается при воспалении легких — легочные пузырьки наполняются водянистой жидкостью, и человеку больше нечем дышать. Да, я это знаю...

Сенатор стиснул руки и оглянулся на кровать.

— Как она, верно, страдает! — прошептал он.

— Нет,— отвечал доктор Грабов, тоже тихо и так авторитетно, что на длинном добром его лице обозначились строгие складки.— Это обманчиво, дорогой друг. Верьте мне, это обманчиво. Сознание сильно помрачено... То, что вы видите, скорее рефлекторные движения, уж поверьте мне...

И Томас отвечал:

— Дай-то бог!

Но даже ребенок понял бы по глазам консульши, что она в полном сознании и все понимает.

Все снова уселись на свои места... Пришел уже и консул Крегер. Он сидел возле кровати сестры, опершись на набалдашник трости. Глаза у него были красные.

Движения больной участились. Ужасное беспокойство, несказанный страх и томление, роковая неизбежность одиночества, ужас перед полнейшей своей беспомощностью, казалось, целиком завладели этим обреченным смерти телом. Ее глаза, помутневшие, молящие, ищущие и жалобные, то закрывались при агонизирующих движениях головы, то вновь раскрывались так широко, что жилки на глазном яблоке наливались кровью! А сознание все не покидало ее!

Вскоре после того, как пробило три, Христиан поднялся с места.

— Не могу больше,— сказал он и пошел к двери, прихрамывая и по дороге натыкаясь на мебель.

Эрика Вейншенк и Риккен Зеверин, видимо убаюканные монотонными стонами больной, уснули на своих стульях, и лица их раскраснелись во сне.

В четыре больной стало еще хуже. Ее приподняли, отерли ей пот со лба. Дыханье у нее прерывалось, страх возрастал.

— Заснуть,— выдавила она из себя.— Снотворного! — Но дать ей снотворного никто не решился.

Вдруг она снова начала отвечать на что-то, чего никто не слышал, как это уже было однажды:

— Да, Жан, теперь уже скоро! — И тут же: — Клара, милая, я иду!..

И опять началась борьба... Последняя борьба со смертью? Нет! Теперь она боролась с жизнью за смерть.

— Я хочу, хочу! — хрипела она.— Не могу больше... Снотворного! Господа! Ради всего святого! Заснуть!..

Это «ради всего святого!» привело к тому, что г-жа Перманедер в голос разрыдалась, а Томас, схватившись за голову, тихо застонал. Но врачи памятовали свой долг: а долг их заключался в том, чтобы всеми силами и как можно дольше отстаивать эту жизнь для близких,— наркотические же средства немедленно сломили бы в умирающей последнюю силу сопротивления. Врачи существуют не затем, чтобы приближать смерть, а затем, чтобы любой ценой сохранять жизнь. За это ратовали религиозные и моральные принципы, которые им внушались в университете,— даже если в данный момент они и не помнили о них... Поэтому оба доктора всеми способами подкрепляли сердце и с помощью рвотных средств время от времени добивались мгновенного облегчения.

В пять часов страшная борьба достигла предела. Консульша судорожно вскинулась и, широко раскрыв глаза, стала захватывать руками воздух, словно ища опоры, ища простершихся к ней рук, и, оборачиваясь то туда, то сюда, без устали выкрикивала ответы на зовы, слышимые ей одной и с минуты на минуту, казалось, становившиеся все настойчивее. Можно было подумать, что где-то здесь присутствуют не только ее покойный муж и дочь, но ее отец, мать, свекровь и множество других, опередивших ее в смерти родственников. Она называла какие-то уменьшительные имена, и никто в комнате уже не мог сказать, кого из давно ушедших звали этими именами.

— Да! — восклицала она, оборачиваясь то в одну, то в другую сторону.—Сейчас приду! Сейчас! Сию минуту! Да! Не могу... Снотворного, господа!..

В половине шестого настало мгновение спокойствия. И вдруг по ее состарившемуся, искаженному мукой лицу прошел трепет — неожиданное выражение страстного ликования, бесконечной, жуткой, пугающей нежности появилось на нем. Она стремительно раскрыла объятия, и с такой порывистой непосредственностью, что все почувствовали: между тем, что коснулось ее слуха, и ее ответом не прошло и мига,— крикнула громко, с беспредельной, робкой, испуганной, любовной готовностью и самозабвением:

— Я здесь! — и скончалась.

Все вздрогнули. Что это было? На чей зов с такой быстротой последовала она?

Кто-то раздвинул занавески и потушил свечи. Доктор Грабов с растроганным лицом закрыл глаза покойнице.

Блеклый свет осеннего утра разлился по комнате. Все дрожали, как в ознобе. Сестра Леандра затянула простыней зеркало на туалетном столе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дверь, открытая в комнату покойницы, позволяла видеть молящуюся г-жу Перманедер. Она стояла на коленях подле кровати, совсем одна, распустив по полу складки своего траурного платья, и, опершись молитвенно сложенными руками о сиденье стула, почти беззвучно шептала что-то. Прекрасно слыша, как ее брат с женой вошли в маленькую столовую и невольно остановились посреди комнаты, чтобы не прерывать ее молитвы, она, однако, не сочла нужным особенно спешить; но потом сухо закашлялась, неторопливым грациозным движением подобрала юбки, встала на ноги и, без тени смущения, величаво двинулась навстречу брату и невестке.

— Томас,— сказала она довольно жестким голосом,— думается мне, что эта Зеверин... похоже, что покойная мама вскормила змею на своей груди.

— Почему?

— Я просто вне себя. Такая особа может окончательно вывести человека из терпения... И как она смеет нарушать нашу скорбь своими вульгарными выходками?

— Да в чем, собственно, дело?

— Во-первых, она возмутительно жадна. Вообрази, подходит к шкафу, вынимает мамины шелковые платья, перекидывает их через руку и направляется к двери. «Рикхен,— говорю я,— куда это вы?» — «Мне их обещала госпожа консульша!» — «Милая Зеверин»,— говорю я и очень сдержанно разъясняю ей, что такой образ действий излишне поспешен. И что, ты думаешь, это помогло? Ничуть! Она забирает не только шелковые платья, но прихватывает еще целую стопку белья и удаляется. Сам понимаешь, не драться же мне с ней... И не она одна. Горничные того же поля ягоды!.. Корзинами тащат из дому платья и белье... Прислуга на моих глазах делит между собою вещи, потому что ключи от всех шкафов у Зеверин. «Мамзель Зеверин,— говорю я,— будьте любезны передать мне ключи». И что же она отвечает? Без малейшего стеснения говорит,

что не мне, мол, ей приказывать, что она не у меня служит, я се не нанимала и покуда она здесь, ключи останутся у нее.

— Ключи от серебра у тебя? Хорошо! С остальным будь что будет. Все это неизбежно, когда распадается хозяйство, которое и без того уже последнее время велось спустя рукава. Не будем поднимать шума. Белье не бог весть какое, да и старое к тому же. Но, конечно, надо будет проверить, что еще осталось. Где списки? На столе? Хорошо! Сейчас посмотрим.

И они вошли в спальню, чтобы несколько минут вместе постоять у кровати; г-жа Антония откинула белый покров с лица покойницы. На консульше уже было шелковое платье, в котором ее сегодня должны были положить в гроб — там, наверху, в большой столовой. Двадцать восемь часов прошло с той минуты, как она испустила свой последний вздох. Щеки и рот ее без искусственной челюсти по-стариковски ввалились, а заострившийся подбородок сильно выдался вперед. Всматриваясь в неумолимо плотно сомкнутые веки, все трое мучительно и тщетно пытались узнать в этом лице лицо матери. Зато из-под воскресного чепца консульши виднелись все те же рыжевато-каштановые, гладко зачесанные волосы, над которыми так часто подтрунивали дамы Будденброк с Брейтенштрассе... По стеганому одеялу были рассыпаны цветы.

— Уже прибыли роскошнейшие венки,— вполголоса сообщила г-жа Перманедер.— От всего города... Ну просто от всего света! Я велела их сложить в коридоре; вы потом непременно посмотрите, ты, Герда, и ты, Том. Это так прекрасно и печально! Атласные ленты вот такой ширины...

— А как подвигается дело с залом?

— Скоро все будет готово, Том. Можно сказать, уже почти готово. Обойщик Якобс очень постарался. И...— она всхлипнула...— и гроб тоже прислали. Да раздевайтесь же, дорогие мои,— продолжала она, снова бережно прикрывая лицо покойной.— Здесь холодно, но маленькую столовую немножко протопили... Дай я тебе помогу, Герда, с такой дивной ротондой надо обращаться бережно... Можно, я тебя поцелую? Ты же знаешь, я тебя люблю, хотя ты меня всю жизнь терпеть не могла... Не бойся, я не испорчу твоей прически, если сниму с тебя шляпу... Какие чудные волосы! Такие же были и у мамы в молодые годы. Она никогда не была так хороша, как ты, но в свое время — я уже тогда была на свете — выглядела очень красивой. А сейчас... Ваш Гроблебен прав, когда говорит: все обратимся в прах. Хоть и простой человек, а вот... Возьми, Том,— это списки наиболее ценных вещей.

Они перешли в соседнюю комнату и уселись у круглого стола; сенатор взялся за просмотр списков вещей, которые надлежало распределить между ближайшими наследниками. Г-жа Перманедер не спускала взволнованного и напряженного взора с лица брата. Все мысли ее были прикованы к одному страшному и трудному вопросу, который неминуемо должен был встать перед ними в ближайшие часы.

— Я думаю,— начал сенатор,— что мы поступим по обычаю, то есть подарки будут возвращены дарителям, так что...

Жена перебила его:

— Прости, Томас, но мне кажется... Христиан... что же он не идет?

— Бог ты мой, Христиан! — воскликнула г-жа Перманедер.— О нем-то мы и забыли!

— Ах да,— сенатор положил списки на стол,— разве за ним не послали?

Госпожа Перманедер направилась к сонетке. Но в эту самую минуту дверь распахнулась, и на пороге, легкий на помине, показался Христиан. Он вошел быстро, не слишком деликатно захлопнув за собою дверь, и, насупившись, остановился посреди комнаты; его круглые, глубоко сидящие глазки, ни на кого не глядя, забегали по сторонам, рот под кустистыми рыжеватыми усами открывался и тотчас же закрывался снова... Он явно был в настроении строптивом и раздраженном.

— Я узнал, что вы здесь собрались,— коротко сказал он.— Если речь будет о наследстве, то следовало и меня поставить в известность.

— Мы хотели послать за тобой,— безразлично ответил сенатор.— Садись!

Между тем взгляд его не отрывался от светлых запонок на сорочке Христиана. Сам он был в безукоризненном траурном костюме и в черном галстуке, а его сверкавшая белизною между черных бортов сюртука манишка была вместо обычных золотых застегнута черными запонками. Христиан заметил его взгляд; пододвигая себе стул и усаживаясь, он дотронулся рукой до груди:

— Я знаю, у меня светлые запонки. Я еще не собрался купить черные или, вернее, решил не покупать. В последние годы мне часто приходилось одалживать пять шиллингов на зубной порошок и укладываться в кровать без свечи, со спичками... Не знаю, один ли я в этом виноват. Да и вообще черные запонки не самое главное на свете. Я не терплю условностей... и никогда не придавал им значения.

Герда, пристально смотревшая на него, пока он говорил, тихонько засмеялась.

— Ну, на последнем тебе вряд ли стоит настаивать, дорогой мой,— заметил сенатор.

— Как? Ну, может быть, тебе лучше знать, Томас. Я только сказал, что не придаю значения таким вещам. Я слишком много видел на своем веку, жил среди слишком различных людей и нравов, чтобы... А кроме того, я взрослый человек,— он вдруг повысил голос,— мне сорок три года, я сам себе хозяин и никому не позволю вмешиваться в свои дела.

— У тебя что-то другое на уме, друг мой,— с удивлением сказал сенатор.— Что касается запонок, то, если память не окончательно изменила мне, я ни словом о них не обмолвился. Устраивайся со своими траурными костюмами по собственному вкусу; только не воображай, что ты производишь на меня впечатление своим дешевым пренебрежением к обычаям...

— Я не собираюсь производить на тебя впечатление!

— Том!.. Христиан!..— вмешалась г-жа Перманедер.— Оставьте вы этот раздраженный тон... сегодня... и здесь... когда рядом... Продолжай, Томас! Итак, значит, подарки возвращаются дарителям. Это совершенно справедливо!

И Томас снова взялся за чтение реестра. Он начал с крупных вещей и записал за собою те, которые могли пригодиться для его дома: канделябры из большой столовой, громадный резной ларь, всегда стоявший в нижних сенях. Г-жа Перманедер слушала его с живейшим интересом и, едва только будущий владелец какого-нибудь предмета начинал хоть немного колебаться, с неподражаемым смирением заявляла: «Что ж, в таком случае, я могу взять...» И вид у нее при этом был такой, словно весь мир обязан воздать ей хвалу за самопожертвование. В результате она получила для себя, для своей дочери и внучки большую часть всей обстановки.

Христиану досталось кое-что из мебели, а также стоячие часы в стиле ампир, и он, видимо, был вполне удовлетворен. Но когда дело дошло до распределения столового серебра, белья и всевозможных сервизов, то он, ко всеобщему удивлению, проявил горячность, граничившую уже с алчностью.

— А я? А я-то?..— спрашивал он.— Будьте любезны и меня не сбрасывать со счетов...

— Да кто тебя сбрасывает? Пожалуйста... Вот взгляни, я уже записал за тобой чайный сервиз с серебряным подносом... Для праздничного позолоченного сервиза применение, пожалуй, найдется только у нас в доме, и...

— Я лично готова взять и простой, с луковичным узором,— перебила г-жа Перманедер.

— А я? — возопил Христиан в негодовании: на него иногда находили такие приступы; щеки его еще больше втянулись, и лицо приняло несвойственное ему выражение.— Я тоже хочу получить что-нибудь из посуды! А сколько на мою долю придется вилок и ложек? Похоже, что мне вообще ничего не достанется...

— Да ну скажи, пожалуйста, на что они тебе? Ты ведь никогда и не воспользуешься такими вещами... Не понимаю! Пусть уж лучше они достанутся людям семейным.

— Да хотя бы на память о матери,— стоял на своем Христиан.

— Друг мой,— в голосе сенатора послышалось нетерпение,— я сейчас не расположен шутить. Но если послушать тебя, так выходит, что ты собираешься на память о матери водрузить у себя на комоде суповую миску! Пожалуйста, не думай, что мы собираемся тебя обделить. То, что ты недополучишь вещами, будет в ближайшее время возмещено тебе в другой форме... Что же касается белья...

— Не надо мне денег! Мне нужны белье и посуда!

— Но зачем, скажи на милость?

И Христиан ответил. Ответил так, что Герда Будденброк живо обернулась и с загадочным выражением в глазах стала смотреть на него, сенатор быстро снял с носа пенсне и в изумлении уставился на брата, а г-жа Перманедер даже всплеснула руками:

— Да... одним словом, рано или поздно, а я женюсь.

Он произнес эти слова довольно тихим голосом, скороговоркой, сделав при этом такое движение рукой, словно перебросил что-то брату через стол, и откинулся на спинку стула с обиженным и странно рассеянным выражением лица; глаза его неутомимо блуждали. Наступило продолжительное молчание. Первым его нарушил сенатор:

— Нельзя не сознаться, Христиан, что ты несколько запоздал со своим планом... если это, конечно, план реальный и выполнимый, а не тот, что ты, по своему легкомыслию, однажды уже изволил высказать покойной матери...

— Мои намерения остались неизменными,— отвечал Христиан, все с тем же выражением лица и все так же ни на кого не глядя.

— Не может этого быть. Ты дожидался смерти матери, чтобы...

— Да, я щадил ее. Хотя по-твоему, Томас, ты один из всего рода человеческого взял патент на такт и деликатность...

— Не знаю, что дает тебе право так со мной разговаривать. Зато твоя деликатность поистине достойна восхищения. На следующий день после смерти матери ты во всеуслышание заявляешь о нежелании впредь повиноваться ее воле...

— Я это сказал потому, что к слову пришлось. И кроме того, этот мой шаг уже не может огорчить мать. Одинаково, что сегодня, что через год... О, господи, Томас! Мама ведь была права не вообще, а только со своей точки зрения, и я с этим считался, покуда она была жива. Она была старая женщина, женщина другой эпохи, с другими взглядами...

— Так вот, позволь тебе заметить, что в данном вопросе я, безусловно, придерживаюсь тех же взглядов.

— С этим я считаться не обязан.

— Придется посчитаться, друг мой.

Христиан взглянул на него.

— Нет! — вдруг крикнул он.— Сил моих больше нет! Говорят тебе, сил нет! Я сам знаю, что мне делать. Я взрослый человек...

— Ну, положим, взрослый ты разве что по годам! И ты, безусловно, не знаешь, что тебе делать...

— Знаю! И прежде всего я поступлю как честный человек. Ты бы немножко вдумался во все это, Томас! Здесь Тони и Герда — мы не можем входить в подробности... Но я тебе уже сказал, что у меня есть обязательства! Последний ребенок, маленькая Гизела...

— Я никакой маленькой Гизелы не знаю и знать не желаю! Я уверен, что тебя обманывают. И уж во всяком случае, в отношении упомянутой особы у тебя нет других обязательств, кроме предусмотренных законом, которые ты и будешь выполнять впредь, как выполнял до сих пор...

— Особа, Томас? Особа? Ты заблуждаешься на ее счет! Алина...

— Молчать! — загремел сенатор Будденброк.

Оба брата в упор смотрели друг на друга через стол — Томас, бледный, дрожащий от гнева, Христиан, широко раскрыв свои круглые, глубоко посаженные глаза с вдруг воспалившимися веками и от возмущения так разинув рот, что его худые щеки совсем ввалились; на скулах у него выступили красные пятна. Герда насмешливо поглядывала то на одного, то на другого, а Тони, ломая руки, взмолилась:

— Том! Христиан! Да послушайте же!.. И мать лежит рядом!

— Ты настолько утратил всякий стыд,— продолжал сена-

тор,— что решаешься... а впрочем, что для тебя значит стыд! Здесь и при данной обстановке ты произносишь это имя! Твоя бестактность ненормальна! Это уже какое-то болезненное явление!

— Не понимаю, почему мне нельзя произносить имя Алины! — Христиан был совершенно вне себя, и Герда с возрастающим интересом наблюдала за ним.— Я его произношу, ни от кого не таясь, и я собираюсь на ней жениться, потому что истосковался по дому, по миру и покою. И я запрещаю, слышишь — *запрещаю* тебе вмешиваться в мои дела! Я свободный человек и сам себе хозяин...

— Ты дурак, и больше ничего! В день вскрытия завещания ты узнаешь, насколько ты сам себе хозяин! Слава богу, уже приняты меры, чтобы ты не растранжирил наследства матери, как растранжирил забранные вперед тридцать тысяч марок. Я назначен распоряжаться остатками твоего капитала, и на руки ты будешь получать только месячное содержание — за это я ручаюсь...

— Что ж, тебе лучше знать, кто внушил матери такую мысль. Меня только удивляет, что мать не возложила эту обязанность на человека, более мне близкого и хоть несколько по-братски, а не так, как ты, ко мне относящегося.

Христиан окончательно вышел из себя и высказывал то, чего еще никогда не решался высказывать вслух. Склонившись над столом, он непрерывно барабанил по нему согнутым указательным пальцем, усы его взъерошились, глаза покраснели, и он в упор, снизу вверх, смотрел на брата, который сидел очень прямо, страшно бледный, с полуопущенными веками и, в свою очередь,— только сверху вниз — глядел на него.

— Ты относишься ко мне холодно, недоброжелательно, с презрением,— продолжал Христиан, и голос его одновременно звучал хрипло и визгливо.— Сколько я себя помню, ты всегда обдавал меня таким холодом, что у меня при тебе зуб на зуб не попадал... Может, это и странное выражение, но ничего не поделаешь, так я чувствую... Ты отталкиваешь меня, отталкиваешь каждым своим взглядом... Впрочем, ты на меня почти никогда не смотришь... А что дает тебе на это право? Ты тоже человек, и у тебя есть свои слабости! Ты всегда был любимчиком у родителей. Но уж если ты и вправду настолько ближе им, чем я, надо было тебе усвоить хоть малую долю их христианского мировоззрения. Пусть ты не знаешь братской любви, но христианской любви к ближнему в тебе тоже что-то незаметно. Ты настолько бесчувствен, что никогда даже не заглянешь ко

мне... Да что там! Ты ни разу не навестил меня в больнице, когда я лежал в Гамбурге с суставным ревматизмом.

— У меня есть заботы посерьезнее твоих болезней. А кроме того, мое собственное здоровье...

— У тебя, Томас, здоровье отличное! Ты бы не сидел тут с таким видом, если бы чувствовал себя, как я...

— Полагаю, что я болен серьезнее.

— Ты?! Ну, это уж слишком! Тони! Герда! Он говорит, что болен серьезнее, чем я! Вот это мне нравится! Может быть, это *ты* лежал при смерти с суставным ревматизмом? Может быть, *тебе* при малейшем уклонении от нормы приходится терпеть муку во всем теле — такую, что и словами не опишешь?! Может быть, это у *тебя* с левой стороны все нервы укорочены?! Светила науки определили у *меня* эту болезнь! Не с *тобой* ли случается, что ты входишь в потемках в комнату и видишь на диване человека, который кивает тебе головой, а на самом деле в комнате никого нет?!

— Христиан!— в ужасе крикнула г-жа Перманедер.— Что ты говоришь!.. Господи помилуй, из-за чего вы ссоритесь? Можно подумать, что это великая честь — быть больным! Если так, то у нас с Гердой, к сожалению, тоже нашлось бы что сказать! И мать... тут рядом!..

— Как же ты не понимаешь, несчастный,— в ярости крикнул Томас Будденброк,— что вся эта мерзость — следствие, прямое порождение твоих пороков, твоего безделья, твоего вечного копанья в себе! Работай! Перестань прислушиваться к себе и болтать о своем здоровье!.. Если ты спятишь — а это, имей в виду, отнюдь не исключено,— я ни единой слезы не пролью по тебе, потому что ты сам будешь в этом виноват, ты и только ты...

— Ты не прольешь ни единой слезы, даже если я умру.

— Но ты ведь не умираешь,— брезгливо отвечал сенатор.

— Не умираю? Хорошо! Пусть я не умираю! Посмотрим еще, кто из нас умрет первый!.. Работай! А если я не могу? Не могу долго делать одно и то же? Мне тошно становится! Ты это мог и можешь, ну и радуйся, а других не суди, потому что заслуги тут никакой нет... Одному бог дал силу, а другому не дал. Но ты уж такой, Томас,— продолжал он с искаженным лицом, еще ниже склоняясь и еще сильнее барабаня по столу пальцем.— Ты всегда прав... Ах, постой! Я совсем не то хотел сказать и вовсе не за то упрекал тебя... Но я не знаю, с чего начать. То, что я теперь скажу, только тысячная доля... какое там! — миллионная доля того, что у меня на душе накопилось! Ты завоевал себе место в жизни, почетное положение, и вот

с высоты своего величия отталкиваешь — холодно, сознательно отталкиваешь — всех и все, что только может хоть на миг сбить тебя с толку, нарушить твое душевное равновесие,— потому что равновесие для тебя самое главное. Но, ей-богу, Томас, есть еще кое-что и поважнее! Ты эгоист, самый настоящий эгоист! Когда ты выговариваешь человеку, бранишься, мечешь громы и молнии, я еще люблю тебя. Но вот когда ты молчишь, когда в ответ на что-нибудь тебе неугодное ты вдруг замыкаешься в себе, с видом благородной невинности отклоняешь от себя всякую ответственность и заставляешь другого мучительно краснеть за свои слова — это уж... хуже быть не может!.. Ты не знаешь ни любви, ни сострадания, ни смирения... Ах! — внезапно выкрикнул он и поднял обе руки, собираясь схватиться за голову, но передумал и вытянул их вперед, как бы отталкивая от себя все человечество.— Я сыт по горло, сыт всей этой деликатностью, и тактом, и равновесием, и этой величавой осанкой! — В последнем его возгласе было столько искренности, усталости и отвращения, он вырвался из таких глубин души, что и вправду прозвучал уничтожающе.

Томас вздрогнул и некоторое время безмолвно и устало смотрел в пространство.

— Я стал таким, каков я есть,— проговорил он наконец, и в голосе его послышалось волнение,— потому что не хотел быть таким, как ты. Если я инстинктивно избегал тебя, то потому, что мне надо тебя остерегаться. В тебе, в твоей сущности для меня таится опасность... Я правду говорю.— Он помолчал и вновь заговорил уже более отрывистым и уверенным тоном: — Впрочем, мы далеко уклонились от предмета нашего разговора. Ты тут держал речь о моем характере, речь несколько путаную, но доля правды в ней все-таки была... Однако сейчас дело не во мне, а в тебе. Ты носишься с матримониальными планами, а моя обязанность растолковать тебе, что ничего у тебя не получится. Во-первых, проценты, которые я буду тебе выплачивать, не столь уж внушительны...

— Алина кое-что скопила.

Сенатор даже поперхнулся, но усилием воли овладел собой.

— Гм... скопила! Ты, значит, намерен объединить материнское наследство со сбережениями этой дамы?

— Да! Я стосковался по дому, по человеку, который пожалеет меня, когда я болен. Да и вообще мы с ней люди подходящие. Оба мы немножко запутались...

— Следовательно, в дальнейшем ты полагаешь усыновить ее детей — иными словами, узаконить их?

— Конечно.

— С тем, чтобы после твоей смерти к ним перешло твое состояние?

Когда сенатор проговорил это, г-жа Перманедер коснулась рукой его плеча и умоляющим голосом прошептала:

— Томас!.. Рядом в комнате... мать!..

— Разумеется,— отвечал Христиан,— иначе не бывает.

— Ничего подобного ты не сделаешь! — выкрикнул сенатор, вскакивая на ноги. Христиан тоже поднялся, схватился за спинку стула, прижал подбородок к груди и уставился на брата испуганно и возмущенно.

— Ты этого не сделаешь! — повторил Томас Будденброк, задыхаясь от гнева; он побледнел, руки его дергались, все тело сотрясалось, как в ознобе.— Покуда я жив, ничего подобного не произойдет, клянусь богом! Берегись! Берегись, говорю я тебе! Довольно уж денег пошло прахом из-за неудач, глупости, подлости. Недостает только, чтобы ты швырнул четверть материнского состояния этой особе и ее ублюдкам! Да еще после того, как одну четверть выманил у матери Тибуртиус!.. Ты уж и так довольно сраму принес семье, чтобы нам еще родниться с куртизанками и давать свое имя ее детям. Я тебе запрещаю, слышишь — запрещаю! — крикнул он так, что стены задрожали и г-жа Перманедер с плачем забилась в угол софы.— И не вздумай нарушить мой запрет! Этого я тебе не советую! До сих пор я презирал тебя, старался тебя не замечать, но если ты меня вынудишь, если доведешь до крайности, то посмотрим, кому придется хуже! Говорю тебе: поостерегись! Я больше ни перед чем не остановлюсь! Я объявлю тебя недоумком, запру в сумасшедший дом, уничтожу! Уничтожу! Понимаешь?!

— А я тебе заявляю...— начал Христиан.

И все перешло в словесную перепалку, пустую, отрывистую, мелкую перепалку, без определенного содержания, без какой-либо цели, кроме одной — побольнее оскорбить, поглубже ранить друг друга словами. Христиан опять заговорил о характере брата, стал выкапывать из далекого прошлого отдельные черточки, неприглядные поступки, подтверждающие эгоизм Томаса, которые он, как оказалось, не позабыл, а, напротив, с горечью пронес через всю свою жизнь. Сенатор отвечал ему презрением, уже чрезмерным, угрозами, о которых через десять минут и сам сожалел. Герда, подперев голову рукой, наблюдала за ними с невозмутимым выражением лица и затуманенными глазами. Г-жа Перманедер то и дело восклицала в отчаянии.

— И мать лежит рядом!.. Мать лежит рядом!..

Наконец Христиан, во время последних реплик расхаживавший по комнате, очистил поле битвы.

— Хорошо же! Мы еще посмотрим! — крикнул он. Усы его взъерошились, сюртук расстегнулся, рука судорожно сжимала измятый носовой платок. Он с треском захлопнул за собою дверь.

Сенатор еще постоял среди внезапно наступившей тишины, глядя вслед брату, затем молча сел на свое место, резким движением придвинул к себе бумаги, в сухих словах покончил с распределением вещей, откинулся на спинку стула, пропустил несколько раз кончики усов между пальцев и погрузился в свои мысли.

В страхе билось сердце г-жи Перманедер! Вопрос, тот животрепещущий вопрос, напрашивался теперь сам собой. Она должна была задать его, и брат должен был на него ответить... Ах, но сейчас, в этом настроении, сумеет ли он проявить должное уважение и мягкость?

— И вот еще что, Том,— начала она, потупившись, и затем подняла глаза, силясь прочесть что-нибудь на его лице.— Мебель... Ты, уж конечно, все обдумал... Вещи, которые теперь принадлежат нам, то есть Эрике, малышке и мне, они останутся здесь... пока мы... Короче говоря, дом... как будет... с домом? — выговорила она наконец, ломая руки под столом.

Сенатор ответил не сразу. Он продолжал крутить ус, о чем-то размышляя печально и сосредоточенно. Затем вздохнул и поднял голову.

— С домом? — переспросил он.— Дом, конечно, принадлежит нам всем — тебе, Христиану и мне... Да еще, как это ни смешно, пастору Тибуртиусу как доля Кларинного наследства. Один, без вашего согласия, я тут ничего не могу решить. Но само собой разумеется, что его надо продать, и продать как можно скорее.— И все же какая-то тень пробежала по его лицу, точно он сам испугался своих слов.

Голова г-жи Перманедер склонилась на грудь, руки разжались и упали.

— Без нашего согласия,— помолчав, повторила она печально, даже горько.— Боже мой! Ты ведь прекрасно знаешь, Том, что все будет сделано, как ты сочтешь нужным. За нашим согласием дело не станет. Но если нам можно сказать свое слово... попросить тебя...— беззвучно добавила она, и верхняя ее губа задрожала.— Дом! Мамин дом! Родительский дом! В котором мы были так счастливы! И его продать?..

Сенатор пожал плечами.

— Поверь, дружок, все, что ты мне об этом скажешь, я и

сам с горечью говорю себе... Но это не доводы, а сантименты. Что надо, то надо! Такой огромный участок... На что он нам теперь? Уже долгие годы — со смерти отца — флигель разрушается. В бильярдной поселилась бездомная кошка с котятами, и когда идешь туда — рискуешь провалиться под пол... Если бы у меня не было дома на Фишергрубе! Но он у меня есть, и куда прикажешь мне с ним деваться? Может быть, *его* продать? Но кому? Я потеряю добрую половину вложенных в него денег. Ах, Тони, у нас довольно недвижимости, слишком довольно! Амбары и два больших дома. Стоимость всего этого ничуть не соответствует размерам оборотного капитала. Нет! Продать, продать безотлагательно!

Но г-жа Перманедер его не слушала. Согнувшись, уйдя в себя, она смотрела в пространство мокрыми от слез глазами.

— Наш дом! — шептала она.— Я еще помню, как его освящали... Мы были совсем маленькие... Собралась вся семья... И дядя Гофштеде прочитал стихотворение... Оно и сейчас лежит вон там, в папке. Я его наизусть знаю: «...с трудолюбием Вулкана здесь Венеры красота...» Ландшафтная! Большая столовая! Подумать только, что чужие люди...

— Да, Тони! Так, верно, думали и те, кому пришлось выехать из этого дома, когда дедушка его купил. Они остались без средств и должны были уехать отсюда, а теперь они умерли, стали прахом. Всему свое время. Будем радоваться и благодарить бога за то, что нам приходится не так туго, как тогда пришлось Ратенкампам, и что мы простимся с этим домом при обстоятельствах менее печальных.

Плач, жалобный детский плач прервал его. Г-жа Перманедер так беззаветно отдалась своему горю, что даже не вытирала слез, катившихся по ее щекам. Она сидела съежившись, пригнув голову; теплая капля упала на ее бессильно лежавшие на коленях руки, но она этого даже не заметила.

— Том,— сказала она, и ей удалось придать своему голосу, срывающемуся от слез, кроткую, трогательную твердость.— Ты не знаешь, каково у меня на душе в эту минуту. Твоей сестре плохо пришлось в жизни, уж очень немилостиво распорядилась мною судьба. Все на меня валилось, такое, что и не выдумаешь!.. Не знаю, чем я это заслужила. Но я все сносила и не падала духом, Том,— все истории с Грюнлихом, и с Перманедером, и с Вейншенком... Потому что каждый раз, когда господь вдребезги разбивал мою жизнь, я все-таки не чувствовала себя пропащей. Было у меня место, так сказать тихая пристань — гостеприимный кров, куда я могла укрыться от всех горестей

жизни... Даже теперь, когда со всем уже было покончено и когда они отвезли Вейншенка в тюрьму.— «Мама,— сказала я,— можно нам к тебе?» — «Конечно, детки, перебирайтесь»... Когда мы были маленькие, Том, и играли в войну, у нас всегда был «дом» — такое местечко, куда можно было забежать, если тебя теснили, настигали, и там отсидеться в безопасности и спокойствии. И вот мамин дом, этот дом на Менгштрассе, всю жизнь был для меня еще и таким ребячьим «домом»... И его-то теперь... теперь... продать...

Она откинулась назад, обеими руками поднесла к лицу платок и еще горше расплакалась.

Томас отвел ее руки и взял их в свои.

— Все знаю, милая Тони, все знаю! Но разве не нужно теперь набраться благоразумия? Дорогой нашей матери нет больше... Нам ее не вернуть. Так как же дальше? Сохранять этот дом в качестве мертвого капитала — бессмыслица... Мне это виднее, ведь правда? Не превратить же нам его в доходный дом?.. Тебе тяжело думать, что здесь поселятся чужие. А ведь смотреть на это будет еще тяжелее. Не лучше ли снять для себя и для своих хорошенький домик или этаж где-нибудь у Городских ворот?.. Неужто тебе приятнее будет жить здесь вместе с другими жильцами?.. А семья у тебя все-таки остается, Герда и я, и Будденброки с Брейтенштрассе, и Крегеры, и, наконец, мадемуазель Вейхбродт... О Клотильде я умалчиваю. Может быть, она и не будет удостаивать нас своими посещениями; став обитательницей «Дома святого Иоанна», она заважничала.

Госпожа Перманедер вздохнула, но уже улыбаясь; затем отворотилась, покрепче прижала к глазам платочек и надула губы, как ребенок, которого шуткой попытались отвлечь от чего-то неприятного. Потом вдруг решительно отняла его от лица, поглубже уселась в кресле и, как обычно, когда надлежало выказать характер и чувство собственного достоинства, высоко вскинула голову.

— Да, Том,— сказала она, и ее заплаканные глаза, часто-часто мигая, обратились к окну с выражением серьезным и решительным,— я тоже хочу быть благоразумной. Я уже благоразумна. Прости меня, и ты тоже прости, Герда, за мои слезы. Мало ли что бывает... Слабость нашла. Но, уверяю вас, только внешняя. Вы же отлично знаете, что по существу я женщина, закаленная жизнью... Да, Том, насчет мертвого капитала я поняла — более или менее... И могу только повторить: поступай, как считаешь правильным. Тебе приходится думать и действовать за нас, потому что мы с Гердой женщины, а Христиан...

ну, да уж бог с ним! Куда нам с тобой спорить, ведь что бы мы ни сказали, это будут не доводы, а сантименты — ясно как божий день! Но кому ты собираешься его продать, Том? И как полагаешь: скоро ли это удастся сделать?

— То-то и есть, дитя мое, что я не знаю... Хотя... Сегодня утром я уже перекинулся на этот счет несколькими словами с Гошем, нашим старым маклером Гошем. Он, кажется, не прочь взять все дело в свои руки.

— Это было бы очень, очень хорошо. У Зигизмунда Гоша есть, конечно, свои слабости... Ну, ты ведь знаешь: говорят, будто он переводит с испанского... этого... как его, я не помню имени... Конечно, странное занятие, ты не будешь отрицать, Том! Но он был другом нашего дома, он честнейший человек и вдобавок человек с сердцем, это всем известно. Он поймет, что здесь речь идет не просто о продаже, не о первом попавшемся доме... А сколько ты думаешь за него спросить, Том? Самое меньшее сто тысяч марок, правда? Самое меньшее сто тысяч марок, Том! — еще раз повторила она в дверях, когда брат с женой уже спускались по лестнице. Оставшись одна, г-жа Перманедер постояла посреди комнаты, бессильно опустив сомкнутые ладони и оглядываясь вокруг расширенными, недоумевающими глазами. Ее голова в наколке из черных кружев, отяжеленная думами, склонилась на плечо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Маленькому Иоганну велено было проститься со смертной оболочкой бабушки. Такова была воля отца, и мальчик не посмел спорить, хотя и боялся. На следующий день после тяжкой агонии консульши сенатор за обедом в разговоре с женой и, по-видимому, нарочно в присутствии Ганно, выразил крайнее неудовольствие дядей Христианом, который в минуту, когда страдания больной стали поистине непереносимы, удрал из ее комнаты и отправился спать.

— Это нервы, Томас,— сказала Герда.

Но сенатор, бросив быстрый взгляд на сына, не ускользнувший от Ганно, почти строго заметил ей, что оправдания тут неуместны. Покойная мать так страдала, что всем сидящим возле нее следовало бы скорее стыдиться своего здоровья и благополучия, а не трусливо бежать тех неизмеримо меньших страданий, которые причиняло им зрелище ее предсмертных мук. Из этих слов Ганно заключил, что лучше не возражать против прощания с бабушкой.

И опять, как на рождестве, совсем чужой показалась ему большая столовая, когда накануне похорон он вошел туда с отцом и матерью. Прямо перед ним, сверкая белизной на темно-зеленом фоне комнатных растений, которые, чередуясь с высокими серебряными канделябрами, образовывали полукруг, на черном постаменте высился слепок с Торвальдсенова «Благословляющего Христа», обычно стоявший в коридоре. На стенах при малейшем движении воздуха колыхался черный креп, закрывший небесную голубизну шпалер и улыбающихся белых богов, столько раз созерцавших веселые трапезы в этом зале. Окруженный одетыми в черное родными, с широкой траурной повязкой на рукаве своей матросской курточки, одурманенный ароматами бесчисленных букетов и венков — ароматами, к которым иногда вдруг примешивался чуть слышный, посторонний и все же как будто странно знакомый запах, стоял маленький Ганно у помоста и смотрел на недвижную строгую фигуру, торжественно покоившуюся на белом атласе...

Нет, это не бабушка! Правда, это ее праздничный чепец с белыми лентами и из-под него выглядывают ее рыжевато-каштановые волосы. Но этот заострившийся нос, впалые губы, этот выдавшийся вперед подбородок, скрещенные руки, желтые, прозрачные — и сразу видно, что холодные и недвижимые,— нет, это не она, а какая-то восковая кукла, неизвестно зачем — и это самое страшное! — пышно обряженная и выставленная здесь напоказ... Он оглянулся на дверь ландшафтной: не появится ли сейчас оттуда настоящая бабушка?.. Но она не появлялась. Она умерла. Смерть навек подменила ее этой восковой фигурой, так неумолимо, так неправдоподобно плотно сомкнувшей уста и веки.

Он стоял, опершись всей тяжестью тела на левую ногу, правую же согнув в колене, так что носок ее едва касался пола; одна рука его теребила узел матросского галстука, другая неподвижно свешивалась вниз. Голову с падающими на виски кудрявыми волосами он слегка склонил набок, золотисто-карие затененные глаза отчужденно и задумчиво смотрели из-под нахмуренных бровей прямо в лицо покойницы. Он дышал замедленно и как-то нерешительно, боясь вновь вдохнуть тот чуждый и все же почему-то странно знакомый запах, который не всегда заглушали волны цветочных ароматов. И каждый раз, почуяв этот доносившийся до него дух, он еще теснее сдвигал брови, и по губам его на мгновенье пробегала дрожь. Наконец он глубоко вздохнул, и вздох этот так походил на всхлипывание без слез, что г-жа Перманедер наклонилась, поцеловала его и увела.

После того как сенатор с супругой, а также г-жа Перма-

педер и Эрика Вейншенк в течение долгих часов принимали в ландшафтной соболезнования сограждан, тело Элизабет Будденброк, урожденной Крегер, было предано земле. К совершению обряда поспели иногородние родственники — из Франкфурта и из Гамбурга, чтобы в последний раз найти гостеприимный кров в доме на Менгштрассе. Толпы пришедших воздать последний долг покойнице заполняли большую столовую и ландшафтную, ротонду и коридор. И вот среди сиянья зажженных свечей начал свою надгробную речь пастор Прингсгейм из Мариенкирхе, величественно стоя у изголовья гроба с молитвенно сложенными под подбородком руками, подъявши к небу выпростанное из широких брыжей гладко выбритое лицо, на котором выражение сурового фанатизма сменялось ангельской просветленностью.

Он славословил то нараставшим, то замирающим голосом добродетели усопшей, ее благородную сдержанность и смирение, ее жизнерадостность и благочестие, ее широкую благотворительность и доброту. Упомянул о «Иерусалимских вечерах» и воскресной школе, заставил еще раз воссиять долгую, благополучную и счастливую земную жизнь покойной консульши. А так как слово «кончина» обязательно требует эпитета, то в завершение речи заговорил еще и о «мирной» кончине.

Госпожа Перманедер отлично знала, к сколь величавому достоинству и представительной осанке обязывают ее эти минуты — перед самой собой и всеми собравшимися. Для себя, своей дочери Эрики и внучки Элизабет она захватила почетнейшие места — рядом с пастором, в головах сплошь укрытого венками гроба; Томас, Герда, Христиан, Клотильда и маленький Иоганн, а также старый консул Крегер, все время сидевший на стуле, довольствовались наряду с менее близкой родней местами куда более скромными. Она стояла выпрямившись и слегка вздернув плечи с зажатым в молитвенно сложенных руках платочком с черной каемкой, и гордость ее первой ролью, доставшейся ей в этой торжественной церемонии, была так велика, что минутами полностью оттесняла скорбь, заставляла позабыть о ней. Глаза г-жи Перманедер, хоть она и потупляла их, в сознании, что взгляды «всего города» устремлены на нее, нет-нет и обегали толпу, в которой она среди прочих заметила Юльхен Меллендорф, урожденную Хагенштрем, с супругом... Да, все пришли — Меллендорфы, Кистенмакеры, Лангхальсы и Эвердики! Прежде чем Тони Будденброк покинула родной дом, всем им еще раз пришлось собраться здесь, чтобы, несмотря на Грюнлиха, несмотря на Перманедера и несмотря на Гуго Вейншенка, выразить ей свое почтительное соболезнование!

А пастор Прингсгейм между тем продолжал своей речью бередить рану, нанесенную смертью. Он досконально растолковывал каждому в отдельности, что им утрачено. О, пастор Прингсгейм умел выжать слезы и там, где они не полились бы сами собой, и растроганные слушатели невольно испытывали к нему благодарность. Когда он заговорил о «Иерусалимских вечерах», все старушки, подруги усопшей, начали громко всхлипывать — за исключением мадам Кетельсен, которая ровно ничего не слышала и характерным для глухих неподвижным взглядом смотрела перед собой, да сестер Герхардт, что происходили по прямой линии от Пауля Герхардта: забившись в уголок, они стояли рука в руку с незатуманенными глазами, ибо кончина подруги их только радовала; и если они ей не завидовали, то лишь потому, что зависть и недоброжелательство были органически чужды их сердцам.

Что касается мадемуазель Вейхбродт, то она все время громко и энергично сморкалась. Зато дамы Будденброк с Брейтенштрассе и не думали плакать: это было не в их привычках. Физиономии всех трех сестер, правда менее язвительные, чем обычно, выражали тихое удовлетворение справедливым беспристрастием смерти.

Когда же отзвучало последнее «аминь» пастора Прингсгейма, в залу, держа в руках черные треуголки, вошли неслышными шагами, но так быстро, что черные плащи раздувались у них за спиной, четыре носильщика и взялись за ручки гроба. Их лакейские физиономии были известны всем и каждому: на парадных обедах в «высшем кругу» они разносили тяжелые серебряные блюда и в буфетных тянули прямо из графинов красное вино фирмы «Меллендорф и К°». С неизменной ловкостью действовали они и на всех похоронах первого и второго разряда. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что мгновенье, когда чужие люди подхватывают гроб и на глазах у осиротевшей семьи на веки вечные уносят его, требует сугубого такта и профессиональной сноровки. Двумятремя проворными, неслышными и сильными движениями они переложили тяжелый груз с помоста себе на плечи, и, прежде чем кто-нибудь успел уяснить себе весь трагизм этого мгновенья, покрытый цветами ящик уже закачался в воздухе и без промедления, хотя и без излишней торопливости, поплыл через ротонду.

Дамы столпились вокруг г-жи Перманедер и ее дочери, участливо пожимали им руки, бормоча с опущенными долу

глазами то, что надлежит бормотать в таких случаях, а мужчины уже начали спускаться по лестнице к экипажам...

И вот далеко растянувшийся траурный поезд медленно-медленно двинулся в долгий путь по мокрым, серым улицам, через Городские ворота и дальше, длинной аллеей, под облетевшими, дрожащими от ветра и непрерывно моросящего дождя деревьями, туда, на кладбище, где под звуки похоронного марша, раздавшиеся из оголенного кустарника, все вышли из экипажей, чтобы по вязким глинистым дорожкам последовать за гробом на опушку кладбищенской рощи. Там, осененный большим крестом из песчаника, высился готический фронтон наследственной будденброковской усыпальницы и рядом с черной ямой, по бокам убранной мокрым дерном, лежала каменная плита с высеченным на ней рельефным изображением фамильного герба.

Новой пришелице уже было уготовано место глубоко под землей. В последние дни усыпальницу убрали под присмотром сенатора и сдвинули в сторону останки старых Будденброков. Музыка смолкла, и гроб, поддерживаемый канатами, закачался над выложенной камнем могилой. Когда же он с легким стуком коснулся дна, пастор Прингсгейм, успевший надеть напульсники, заговорил снова. Его поставленный голос отчетливо, благочестиво и патетично разносился в холодном и тихом осеннем воздухе над открытой могилой и склоненными головами присутствующих. Наконец он приблизился к могиле и, назвав усоп шую полным именем, осенил гроб широким крестом. Когда он отговорил и мужчины, все, как один, в черных перчатках, заслонили лица цилиндрами, чтобы сотворить тихую молитву, сквозь облака проглянуло блеклое солнце. Дождь перестал, и в шорох редких капель, падающих с кустов и деревьев, время от времени врывался короткий, тоненький и вопросительный птичий щебет.

Потом все стали подходить к сыновьям и брату покойной, чтобы еще раз пожать руку.

Томас Будденброк, в пальто из темной плотной материи, осыпанной мелкими серебристыми капельками дождя, стоял во время всей церемонии между Христианом и дядей Юстусом. В последнее время он располнел — единственный признак постаренья, отпечатлевшийся на его холеной внешности. От острых, вытянутых щипцами усов его щеки казались еще круглее, но они были землистого цвета, без кровинки, без жизни. Его слегка покрасневшие глаза на мгновенье учтиво и утомленно останавливались на лице каждого, кто пожимал ему руку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Через неделю в кабинете сенатора Будденброка, в кожаном кресле у письменного стола сидел маленький старичок с гладко выбритым лицом; седые космы ниспадали на его лоб и виски. Он сгорбился, положив острый подбородок на руки, скрещенные на набалдашнике трости, и, злобно поджав искривленные сатанинской гримасой губы, снизу вверх смотрел на сенатора таким пронзительным, коварным и страшным взглядом, что становилось непонятным, зачем тот принимает у себя подобного злодея. Но Томас Будденброк без каких бы то ни было признаков беспокойства удобно сидел в своем кресле и беседовал с этим демоническим старцем, как с безобиднейшим бюргером. Шеф фирмы «Иоганн Будденброк» и маклер Зигизмунд Гош обсуждали, какую цену можно спросить за старый дом на Менгштрассе.

На это им потребовалось немало времени, ибо цену, названную г-ном Гошем — двадцать восемь тысяч талеров, сенатор счел слишком низкой, тогда как маклер, призывая в свидетели всю преисподнюю, клялся, что накинуть еще хоть грош сверх этой суммы может только отъявленный безумец. Томас Будденброк ссылался на центральное положение и из ряда вон выходящую обширность участка, но маклер Гош, шипя и кусая губы, сдавленным голосом, сопровождая свои слова устрашающими жестами, произнес рацею о потрясающем риске, на который он идет,— рацею, столь красочную и убедительную, что ее можно было бы назвать поэмой. Когда? Кому? За какую цену сумеет он сбыть этот дом? Часто ли на протяжении веков находятся покупатели на столь огромный участок? Или, может быть, его досточтимому собеседнику стало известно, что завтра бюхенским поездом в город прибудет индийский набоб, с тем чтобы поселиться в будденброковском доме? Он, Зигизмунд Гош, прогорит с этим домом, обязательно прогорит, и тогда он — конченый человек; у него уже недостанет времени подняться, ибо скоро, скоро пробьет его час, уже могильщики вооружились заступами, чтобы рыть ему могилу... да, могилу. И так как последний оборот пришелся ему по вкусу, то он еще добавил что-то о злобствующих лемурах и комьях земли, с глухим стуком ударяющихся о крышку гроба. Но сенатор не сдавался. Он выдвинул соображение о том, что участок весьма удобен для раздела между несколькими покупателями, подчеркнул ответственность, которую берет на себя перед сестрой и братом, и упорно стоял на цене в тридцать тысяч талеров. По-

этому ему пришлось еще раз со смешанным чувством досады и удовольствия выслушать искуснейшее возражение г-на Гоша. Собеседование продолжалось добрых два часа, во время которых маклер Гош сумел всесторонне показать свое актерское мастерство. Он играл сложнейшую роль лицемерного злодея.

— Господин сенатор, мой юный покровитель, соглашайтесь на восемьдесят четыре тысячи марок... Их предлагает вам старый, честный человек! — говорил он сладким голосом, склонив голову на плечо и стараясь вызвать простодушную улыбку на своей демонической физиономии. При этом он протягивал к собеседнику большие белые руки с длинными дрожащими пальцами. Но все это было ложью и предательством. Ребенок мог бы догадаться, что под этой лицемерной маской с отвратительной усмешкой скалит зубы прожженный негодяй.

Наконец Томас Будденброк заявил, что ему нужен известный срок — поразмыслить и посоветоваться с родными, прежде чем согласиться на двадцать восемь тысяч талеров, хотя вряд ли он когда-нибудь даст на это согласие. А пока что он заговорил о другом: осведомился о том, как вообще идут дела маклера Гоша, поинтересовался его здоровьем.

У маклера Гоша все обстояло из рук вон плохо. Широким и красивым жестом он отвел даже самое предположение о его благополучном житье-бытье. Близится старость... нет, не близится, она уже настала, и могильщики взялись за свои заступы! По вечерам он с трудом подносит к губам стакан грога, так чертовски у него трясется рука. Проклятьями тут не поможешь — воля уже не торжествует над природой... И все же!.. Жизнь позади, но не такая уж бедная впечатлениями жизнь! Открытыми глазами всегда взирал он на мир. Революции и войны пронеслись в мире, их волны, образно выражаясь, бились и о его сердце... Да, черт возьми! Совсем иные были времена, когда в день исторического заседания городской думы он бок о бок с отцом сенатора, с консулом Иоганном Будденброком, смирил натиск разъяренной черни! Да, «всех ужаснее чудовищ в своем безумстве человек»! Нет, не бедна была его жизнь, и внутренне не бедна. Черт возьми, он чувствовал в себе силу. А «какова сила, таков и идеал», говорит Фейербах. И теперь еще, даже теперь, душа его не оскудела, сердце осталось юным. Ему и сейчас, как прежде, доступны великие страсти. Так же бережно хранит он свои идеалы, никогда не поступается ими... Вместе с ними он сойдет в могилу — иначе и быть не может. Но разве идеалы существуют затем, чтобы люди достигали, осуществляли их? Отнюдь нет! «Небесных звезд желать нельзя»...

— Надежда — о да, надежда, а не свершение! — была прекраснейшим даром моей жизни. «L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert, au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable» [1]. Это сказал Ларошфуко. Прекрасно! Не правда ли?

Впрочем, сенатору, его досточтимому другу и покровителю, можно этого и не знать. Тому, кого высоко взнесли волны жизни, тому, чье чело овеяно дыханьем счастья, не надо помнить об этом. Но человек, оставшийся в низинах жизни и всегда грезивший во мгле, нуждается в этих словах.

— Вы счастливы,— внезапно сказал он, дотрагиваясь рукой до колена сенатора и глядя на него затуманенным взором.— Да! Да! Не отрицайте этого, не берите греха на душу! Вы счастливец! Вы держите счастье в руках! Вы ратоборствовали с жизнью и отвоевали себе счастье, отвоевали твердой рукой... твердой десницей! — поправился он: ему претило близкое соседство «в руках» и «рукой». Он умолк и, не слушая реплики сенатора, отклонявшего от себя наименование «счастливца», продолжал мрачно и мечтательно смотреть ему прямо в лицо. Потом вдруг выпрямился в кресле.— Мы с вами заболтались, а встреча у нас деловая. Время дорого — не будем терять его на размышления! Слушайте, что я вам скажу... Только для вас... Вы понимаете меня? Для вас, ибо...— Казалось, маклер Гош вот-вот снова пустится в прекраснодушные рассуждения, но он порывисто поднялся и, сделав округлый, широкий, страстный жест, громко воскликнул: — Двадцать девять тысяч талеров! Восемьдесят семь тысяч марок за дом вашей матери! По рукам?..

И сенатор Будденброк согласился.

Госпожа Перманедер, как и следовало ожидать, нашла такую цену до смешного низкой. Если бы кто-нибудь — из уважения к воспоминаниям, связывающим ее с этим домом,— отсчитал бы ей за него миллион чистоганом, она признала бы это поступком порядочного человека, не более. Впрочем, она быстро примирилась с цифрой, которую ей назвал брат, так как уже целиком была погружена в планы будущего.

Она всей душой радовалась прекрасной обстановке, которая ей досталась, и, хотя никто еще не собирался выгонять ее из родительского дома, ретиво занялась подысканием квартиры для себя, дочери и внучки. Пропанье будет трудным, ко-

[1] Надежда, как она ни обманчива, по крайней мере, ведет нас приятным путем к концу жизни *(франц.)*.

нечно! Одна мысль об этом нагоняла ей слезы на глаза. Но, с другой стороны, в перспективе обновления и перемены тоже была своя прелесть... Разве это не похоже на новое, в четвертый раз предпринимаемое устройство жизни? Опять она осматривала квартиры, опять договаривалась с обойщиком Якобсом, опять бегала по лавкам в поисках портьер и ковровых дорожек... Сердце ее билось. Радостью билось сердце этой старой, закаленной жизнью женщины!

Так шли недели — четыре, пять, шесть недель. Выпал первый снег, настала зима, дрова уже трещали в печках, и Будденброки с грустью думали о том, как пройдет на сей раз рождество... Но тут вдруг произошло событие... событие весьма драматическое и, уж во всяком случае, в высшей степени неожиданное. Ход вещей принял оборот, достойный всеобщего внимания и действительно его снискавший. Случилось... стряслось такое, что г-жа Перманедер в разгаре хлопот и суеты вдруг оцепенела и обмерла!

— Томас,— проговорила она.— Уж не сошла ли я с ума? Или маклер Гош бредит? Не может быть! Это слишком нелепо, невероятно, слишком...— продолжать она не могла и только изо всей силы сдавливала руками виски.

Сенатор пожал плечами.

— Дорогая моя, ничего еще не решено. Но такая мысль, вернее — возможность, действительно мелькнула. И если ты спокойно поразмыслишь, то сама придешь к выводу, что ничего такого немыслимого в этом нет. Немножко неожиданно, не спорю! Я тоже едва устоял на ногах, когда маклер Гош сообщил мне это. Но... немыслимо?.. Какие тут, собственно, могут быть препятствия?..

— Я этого не переживу,— сказала она, опускаясь на стул и замирая в неподвижности.

Так что же все-таки произошло? А то, что сыскался покупатель на дом, лицо, выказавшее интерес к этому делу и пожелавшее, прежде чем приступить к переговорам, осмотреть предназначенное к продаже владение. И лицо это был... Герман Хагенштрем, оптовый торговец и консул Португальского королевства.

Когда эта весть впервые коснулась слуха г-жи Перманедер, она была так ошарашена, поражена и потрясена, что даже не сразу поняла ее. Но по мере того как разговор принимал все более и более реальные очертания и визит консула Хагенштрема на Менгштрассе грозил со дня на день состояться, она собралась с духом, жизнь вновь вернулась к ней. Г-жа Перма-

недер протестовала, возмущалась; у нее нашлись слова пламенные и разящие, она размахивала ими, словно горящими факелами, оборонялась, как мечом.

— Этого не будет, Томас! Покуда я жива, этого не будет! Собаку продаешь, и то стараешься узнать, кому она достанется. А тут — мамин дом! Наш дом! Ландшафтная!..

— Но я тебя спрашиваю, что, собственно, должно помешать этой продаже?

— Что должно помешать? Боже великий и милостивый! Что должно помешать? Горы должны были бы встать ему поперек дороги, этому проклятому толстяку! Горы, Томас! Но он их не замечает! Знать о них не хочет! Ни одно чувство в нем не шевелится, в этой скотине!.. Хагенштремы наши враги спокон веков... Старый Хинрих только и знал, что подсиживать дедушку и отца, и если Герман еще не устроил тебе никакой пакости, еще не подставил тебе подножки, так только потому, что не было удобного случая... Когда мы были детьми, я среди бела дня влепила ему оплеуху — у меня были на то свои причины, а его сестричка Юльхен исцарапала меня за это так, что хоть на улицу не показывайся. Хорошо, пускай это все ребяческие глупости, пускай! Но они всегда с радостью, с насмешкой смотрели на наши беды, и надо сказать, что в этом смысле я больше других доставила им удовольствий. Но это уже в воле божьей! А сколько раз консул вредил тебе в делах, с каким бесстыдством обходил тебя — это ты сам знаешь, Том, не мне тебя учить! И когда в конце концов Эрика все же сделала хорошую партию, это им не давало покоя ни днем, ни ночью, покуда они не добились своего — не устроили подвоха директору, с тем чтобы упрятать его в тюрьму при помощи своего братца — прокурора, этого прохвоста, этого дьявола в образе человеческом!.. И теперь они осмеливаются, теперь они, потеряв всякий стыд, дерзают...

— Послушай, Тони! Во-первых, нашего мнения никто не спрашивает. Мы заключили сделку с Гошем, и он волен продать дом, кому пожелает. Я ведь не спорю с тобой, что есть тут какая-то ирония судьбы...

— Ирония судьбы! Да, Том, такова твоя манера выражаться! А по-моему, это позор, пощечина — и так оно и есть!.. Да разве ты не понимаешь, что это будет значить? Так попробуй себе представить, Томас! Это будет значить: Будденброкам — крышка! С ними покончено! Они съезжают, а на их место с шумом и треском водворяются Хагенштремы... Нет, Томас, никогда в жизни я не стану участвовать в этой комедии! Ни за что

не приложу своей руки к такой низости! Пускай приходит, пускай он только осмелится прийти осматривать дом! Уж я-то его не приму, можешь быть уверен! Я запрусь с моей дочерью и моей внучкой в комнате,— запрусь и не впущу его! Вот увидишь!..

— Ты, дитя мое, поступишь так, как сочтешь нужным, предварительно подумав, конечно: не умнее ли будет соблюсти приличия? Ты, видно, полагаешь, что консул Хагенштрем будет невесть как уязвлен твоим поведением? Ошибаешься, голубушка, жестоко ошибаешься! Он не обрадуется и не обозлится, а разве что будет немного удивлен... Ты воображаешь, что он питает к тебе и к нам всем такие же чувства, какие ты питаешь к нему? Опять ошибка, Тони! Он и не думает тебя ненавидеть. Да и за что бы? Он ни к кому не испытывает ненависти. Удача и счастье сами идут к нему в руки. Он весел и полон благожелательства, это уж можешь мне поверить. Я двадцать раз тебе говорил, что он бы любезнейшим образом раскланивался с тобой на улице, если бы ты при встрече с ним не напускала на себя такой воинственности и высокомерия. Его это удивляет, минуты две он испытывает спокойное, даже слегка насмешливое недоумение, которое, конечно, не выводит его из равновесия,— хотя бы уже потому, что он никакого греха за собой не знает... Что ты ставишь ему в вину? Если он лучше преуспел, чем я, и несколько раз одержал надо мною верх в общественных делах — это значит только, что он более умный коммерсант и лучший политик, вот и все. И нечего тебе хохотать таким зловещим смехом! Но вернемся к нашему разговору: старый дом практически уже не имеет значения в жизни семьи, которая протекает теперь в моем доме... Это я говорю, чтобы так или иначе успокоить тебя. С другой стороны, совершенно ясно, что навело консула на эту мысль. Хагенштремы высоко вознеслись, семья их растет, они породнились с Мелленлорфами и по своему богатству и видному положению не уступают первейшим семьям города. Но им недостает, как бы это сказать... какого-то декорума — раньше они, как люди, чуждые предрассудков и весьма благоразумные, этого не замечали,— недостает, так сказать, исторического прошлого, родовитости... теперь у них на этот счет, видимо, разыгрался аппетит. А жизнь в таком доме в известной мере восполнит этот пробел... Вот посмотришь, консул постарается ничего здесь не менять, даже «Dominus providebit» по-прежнему останется над дверью,— хотя, по правде сказать, расцвету фирмы «Штрунк и Хагенштрем» способствовал не господь бог, а единственно ее шеф...

— Браво, Том! Ах, как приятно хоть раз услышать от тебя колкое замечание по его адресу! Большего я уж и не хочу! О, господи! Будь у меня твой ум, как бы я отделала этого Хагенштрема! А ты вот стоишь и...

— Как видишь, мне от моего ума не так-то много проку!

— А ты вот стоишь, говорю я, спокойно обо всем этом рассуждаешь и стараешься разъяснить мне образ действия Хагенштрема! Ах, да говори, впрочем, что хочешь! У тебя сердце в груди такое же, как у меня, и я просто не верю, что ты и вправду спокоен! Утешая меня, ты, верно, и сам себя хочешь утешить...

— Ну, ты уж становишься нескромной, Тони. Важно, как я *поступаю,* и только! До остального никому дела нет!

— Скажи еще последнее, Том! Умоляю тебя! Неужто это не бред?

— Безусловно бред.

— Не кошмар?

— Пожалуй, что и кошмар.

— Не какой-то идиотский фарс?

— Ну полно, полно!

И консул Хагенштрем появился на Менгштрассе в сопровождении г-на Гоша. С иезуитской шляпой в руках, сгорбившись и предательски озираясь, маклер проскользнул вслед за консулом мимо горничной, которая снесла наверх визитные карточки и теперь раскрыла перед господами дверь в ландшафтную.

С первого же взгляда на Германа Хагенштрема, в тяжелой шубе до пят, распахнутой на груди, в желто-зеленом ворсистом костюме из прочной английской материи, можно было сказать, что это преуспевший биржевик, воротила крупного масштаба. Он так разжирел, что двойным у него сделался не только подбородок, но и вся нижняя часть лица. Короткая и окладистая белокурая борода этого не скрадывала. Более того, кожа на его коротко остриженной голове, когда он морщил лоб или сдвигал брови, собиралась в толстые складки. Нос, казавшийся теперь еще сильнее приплюснутым к нижней губе, громко и трудно дышал в усы, так что Герману Хагенштрему время от времени приходилось, широко раскрыв рот, жадно втягивать в себя воздух. Это действие тоже сопровождалось какими-то чавкающими звуками, вызванными тем, что его язык медленно и постепенно отделялся от нёба.

Госпожа Перманедер изменилась в лице, услыхав этот издавна знакомый ей звук. Из глуби времен всплывшее видение — сдобная булочка с колбасой и паштетом из гусиной печенки — на миг едва не потрясло ее застывшего величия... В траурном

чепчике на гладко причесанных волосах, в превосходно сшитом черном платье, юбка которого была снизу доверху отделана воланами, она сидела на софе, скрестив руки, слегка вздернув плечи, и в момент появления обоих мужчин обратилась к брату, не решившемуся оставить ее одну в этот трудный час, с каким-то безразличным, вполне спокойным замечанием. Она продолжала сидеть и тогда, когда он, выйдя на середину комнаты, обменялся приветствиями — сердечным с маклером Гошем и учтиво сдержанным с консулом, потом тоже поднялась, поклонилась обоим сразу и, без чрезмерной любезности, в свою очередь, попросила гостей присесть, рукой указав им на стулья. Правда, веки ее при этом,— вероятно, от величавого безразличия,— все время оставались полуопущенными.

Покуда все рассаживались, да и в первые минуты, когда гости и хозяева уже устроились на своих местах, говорили попеременно только консул и маклер Гош. Г-н Гош с отталкивающе-фальшивым смирением, за которым явно и несомненно крылось коварство, попросил извинить их за вторжение: дело в том, что г-н Хагенштрем в качестве возможного покупателя хотел бы поподробнее осмотреть дом... Затем консул, голосом, опять напомнившим г-же Перманедер плюшку с гусиной печенкой, повторил то же самое, только другими словами. Да, в самом деле, мысль о покупке дома, однажды придя ему в голову, быстро переросла в желание, которое он и намерен осуществить во благо себе и своему семейству, если, конечно, маклер Гош не думает очень уж нажиться на этой продаже, ха, ха, ха!.. Впрочем, он не сомневается, что вопрос будет разрешен ко всеобщему удовольствию.

Консул Хагенштрем держался свободно, уверенно, благодушно, по-светски, и это не могло не произвести известного впечатления на г-жу Перманедер, тем более что в разговоре он почти все время галантно обращался к ней. Более того, из учтивости он подробно обосновал свое желание купить дом в тоне чуть ли не извиняющемся.

— Нужно больше простору. Великое дело — простор,— сказал он.— Мой дом на Зандштрассе... Вы не поверите, сударыня, и вы, господин сенатор, до чего он стал нам тесен. Иной раз нам де-факто повернуться негде! Я уж не говорю о приемах... куда там. И своей-то семье де-факто места не хватает — Хунеусы, Меллендорфы, родня моего брата Морица... вот и сидим, как сельди в бочке. Отчего бы и не пожить чуть попросторнее, как вы скажете?

Тон у него был даже огорченный, а выражение лица и жесты, которыми он сопровождал свои слова, казалось, говорили: «Уверен, что вы со мной согласитесь... Чего ради нам терпеть неудобства? Это глупо, если у человека, слава тебе господи, есть возможность их избежать».

— Я хотел выждать,— продолжал он,— покуда Церлине и Бобу не понадобится дом, чтобы уступить им свой, а себе уж тогда подыскать что-нибудь подходящее. Вам, наверно, известно,— перебил он себя,— что моя дочь Церлина уже давно помолвлена с первенцем моего брата, прокурора... Теперь уже и до свадьбы недалеко. Года два, не больше... Они молоды, ну что ж — тем лучше! Одним словом, что мне их дожидаться и упускать случай, который сейчас подворачивается? Де-факто, это было бы лишено практического смысла!

Никто его не оспаривал, и разговор в течение нескольких минут вращался вокруг предстоящего семейного события — свадьбы дочери консула. Браки по расчету между двоюродными братьями и сестрами были обычным делом в городе и никого не удивляли. Консул поведал даже о планах юной четы, предусматривающих уже и свадебное путешествие. Они собираются пожить на Ривьере, в Ницце... Ну что ж, раз им этого хочется, почему бы и нет? Упомянул он и о младших членах семьи — благожелательно, с нежностью, хотя и слегка иронически. У него самого было пятеро детей; у его брата Морица четверо — сыновья и дочери... Премного благодарен, все в добром здравии. Да почему бы им и не чувствовать себя превосходно? Одним словом, живут припеваючи. И он снова перевел разговор на многочисленность семьи, на тесноту в своем доме.

— Да, здесь — дело другое,— сказал он.— Я, уж поднимаясь по лестнице, понял, что этот дом жемчужина, истинная жемчужина, если только его размеры позволяют прибегнуть к такому сравнению, ха, ха! Уж одни эти шпалеры!.. Должен вам признаться, сударыня, мы вот разговариваем, а я все время глаз не свожу со шпалер. Очаровательная комната, де-факто очаровательная! Если подумать, что вы до сих пор всю свою жизнь провели здесь!

— Да. Правда, с некоторыми перерывами,— подтвердила г-жа Перманедер тем гортанным голосом, который у нее по временам появлялся.

— С перерывами...— повторил консул, предупредительно улыбнувшись.

Он бросил взгляд на сенатора и г-на Гоша и, заметив, что оба они углубились в разговор, поближе пододвинул свое крес-

ло к софе и наклонился к г-же Перманедер так близко, что его сопенье послышалось у самого ее уха. Слишком благовоспитанная, чтобы отодвинуться или отвернуться, она сидела неподвижно, прямо и сверху вниз смотрела на него из-под опущенных ресниц. Но он не удостоил заметить напряженность и неловкость ее позы.

— Так вот, сударыня,— сказал он,— по-моему, мы уже и раньше заключали с вами кое-какие сделки... ну, в те времена речь, конечно, шла...— о чем бишь? — о каких-то лакомствах, сластях? Н-да, а теперь вот о целом доме...

— Не припоминаю,— отвечала г-жа Перманедер; шея ее еще больше напряглась, ибо его лицо очутилось неприлично, омерзительно близко от ее лица.

— Не припоминаете?

— Нет, откровенно сказать, ничего не помню о сластях. Впрочем, мне мерещатся какие-то плюшки с жирной колбасой — препротивное сочетание!.. Но не знаю, ваши они были или мои, ведь прошло столько времени... Что же касается дома, то это дело полностью передоверено господину Гошу.

Она бросила быстрый и благодарный взгляд на брата, который, заметив ее затруднительное положение, поспешил ей на помощь и учтиво обратился к обоим господам с предложением начать осмотр дома. Они изъявили полную готовность, откланялись г-же Перманедер, выразили надежду позднее еще раз зайти в ландшафтную и вышли вслед за сенатором через большую столовую.

Он водил их по лестницам вверх и вниз, показывая комнаты на третьем этаже, комнаты, что выходили в коридор второго, а также нижние помещения, даже кухню и погреб, не заглянули только в контору, так как это были часы работы страхового общества. Поскольку уж пришлось к слову, они обменялись несколькими замечаниями относительно директора, причем консул дважды подряд характеризовал его как честнейшего человека. Сенатор промолчал.

Затем они прошли через оголенный сад, весь в талом снегу, заглянули в «портал» и вернулись на передний двор к прачечной, чтобы оттуда по узкому мощеному проходу между двух стен выйти на задний двор и, обогнув старый дуб, пройти во флигель. Здесь на всем лежали следы запустенья. На дворе между каменных плит пробивались трава и мох, лестницы покривились; в бильярдную они только заглянули, встревожив на мгновенье бездомную кошку с котятами, но не зашли, страшась слишком уж скрипучих и ветхих половиц.

Консул Хагенштрем был молчалив и явно погружен в свои расчеты и планы. «Ну, так»,— то и дело повторял он отсутствующим, безразличным тоном, тем не менее означавшим: когда я здесь буду хозяином, все, конечно, примет иной вид. С такой же миной он постоял несколько секунд на утрамбованном земляном полу амбара, поглядывая на пустые настилы наверху. «Ну, так»,— сказал он и качнул толстый полуистлевший канат с заржавленным крюком, долгие годы неподвижно свисавший с середины потолка, повернулся на каблуках и направился к выходу.

— Весьма признателен вам за любезность, господин сенатор. Надо думать, мы все осмотрели,— и с той минуты он почти ни слова не проронил по пути к главному зданию и позднее, в ландшафтной, куда они заглянули, чтобы наскоро попрощаться с г-жой Перманедер, на лестнице и у выхода. Но едва консул Хагенштрем распростился с сенатором и вышел на улицу в сопровождении маклера Гоша, он весьма оживленно заговорил со своим спутником.

Сенатор возвратился в ландшафтную, где г-жа Перманедер, выпрямившись, со строгим выражением лица, сидела на своем обычном месте у окна, вязала двумя длинными деревянными спицами черное платьице для своей внучки, маленькой Элизабет, и время от времени искоса поглядывала в «шпиона». Засунув руки в карманы брюк, Томас несколько раз молча прошелся по комнате.

— Ну, я оставил его вдвоем с маклером,— сказал он наконец,— посмотрим, что из этого выйдет. Я полагаю, что он купит все целиком, сам поселится здесь, а задний участок использует как-нибудь иначе...

Она не взглянула на него, не изменила позы и не перестала вязать,— напротив, спицы еще быстрее заходили в ее руках.

— О, не сомневаюсь, что он купит, купит все целиком,— сказала она, и уж конечно, гортанным голосом.— Да и почему бы ему не купить? Де-факто, это было бы лишено практического смысла,— и, вскинув брови, стала еще внимательнее, еще пристальнее смотреть на спицы, с умопомрачающей быстротой мелькавшие в ее руках, через пенсне, которым ей теперь приходилось пользоваться за работой, но которое она так и не научилась правильно надевать.

Настало рождество, первое рождество без консульши. Сочельник праздновался в доме сенатора, без дам Будденброк с Брейтенштрассе и без стариков Крегеров. Поскольку с «четвергами» теперь было покончено, Томас Будденброк не имел ни малейшей охоты собирать у себя и одаривать всех участников рож-

дественского праздника консульши. Званы были только г-жа Перманедер с Эрикой Вейншенк и маленькой Элизабет, Христиан, Клотильда и мадемуазель Вейхбродт, ибо она по-прежнему справляла первый день рождества в своих жарко натопленных комнатках с неизменной раздачей подарков и несчастными случаями.

На этот раз не было «бедных», всегда получавших на Менгштрассе обувь и теплые вещи, как не было и певчих из Мариенкирхе. В гостиной попросту затянули хором «Тихая ночь, святая ночь», после чего Тереза Вейхбродт добросовестнейшим образом прочитала рождественскую главу вместо сенаторши, которая охотно уступила ей эту привилегию; затем, вполголоса напевая первую строфу из «О, елочка!», все прошли через анфиладу комнат в большой зал.

Радоваться и веселиться ни у кого оснований не было. Лица не светились счастьем, разговор не вязался. Да и о чем говорить? Не так уж много радостного на свете... Они вспоминали покойную мать, говорили о предстоящей продаже дома, о светлой квартире, нанятой г-жой Перманедер у Голштинских ворот, в хорошеньком домике с видом на обсаженный деревьями Линденплац, о том, как все сложится, когда Гуго Вейншенк выйдет на свободу... Маленький Иоганн сыграл на рояле несколько пьес, разученных с г-ном Пфюлем, и проаккомпанировал матери, не совсем правильно, но зато с чувством, сонату Моцарта. Мальчика наперебой хвалили и целовали, но Ида Юнгман вскоре увела его спать, так как из-за недавнего желудочного недомогания он был в этот вечер очень вял и бледен.

Даже Христиан, после стычки с братом в малой столовой уже не решавшийся заговаривать о своих матримониальных планах и находившийся с ним по-прежнему в не очень-то для себя лестных отношениях, был угрюм и нерасположен к шуткам. Блуждая глазами, он, правда, сделал слабую попытку вызвать у присутствующих сочувствие к своей «муке» в левой стороне и рано ушел в клуб, чтобы вернуться уже только к традиционному рождественскому ужину.

Празднование сочельника осталось позади, и Будденброки были почти что рады этому.

В начале 1872 года с хозяйством на Менгштрассе было покончено. Прислугу отпустили, и г-жа Перманедер возблагодарила господа за то, что убралась наконец и мамзель Зеверин, отчаянно подрывавшая ее хозяйственный авторитет, захватив с собой «благоприобретенные» платья и белье. Затем к подъезду на Менгштрассе подкатили мебельные фургоны, и началось опустошение старого дома. Большой резной ларь, позолоченные

канделябры и прочие вещи, отошедшие к сенатору и его супруге, были перевезены на Фишергрубе. Христиан со своим имуществом перебрался в трехкомнатную холостую квартирку поближе к клубу. А маленькое семейство Перманедер — Вейншенк въехало в светлый и не без «аристократизма» обставленный бельэтаж на Линденплаце. На двери этой небольшой, но хорошенькой квартирки появилась блестящая медная дощечка с надписью: «А. Перманедер-Будденброк, вдова».

И едва успел опустеть дом на Менгштрассе, как туда уже явилась целая артель рабочих, принявшихся за снос флигеля так усердно, что известковая пыль столбом стояла в воздухе. Владельцем участка отныне был консул Хагенштрем. Он приобрел его, и это приобретение, видимо, явилось для него делом чести,— ибо, когда к г-ну Гошу поступил запрос из Бремена касательно будденброковского дома, консул тотчас же выложил деньги на стол и немедленно начал извлекать барыши из своего нового владения с той хваткой, которой издавна дивились его сограждане. Весной семейство Хагенштремов перебралось в большой дом, по возможности оставив там все без изменений, если не считать кое-каких мелких новшеств, соответствующих духу времени,— так, например, вместо сонеток были проведены электрические звонки... К этому времени флигель уже исчез с лица земли, а на его месте выросло новое нарядное и легкое здание, фасад которого, обращенный к Беккергрубе, представлял собою сплошной торговый ряд.

Госпожа Перманедер многократно и клятвенно заверяла своего брата Томаса, что отныне никакая сила на земле не заставит ее хоть мельком бросить взгляд на родительский дом. Но сдержать эту клятву было нелегко, так как время от времени ее путь, хочешь не хочешь, пролегал по Беккергрубе, мимо быстро и очень выгодно сданных внаем торговых помещений, или по Менгштрассе, мимо величественного фасада, где пониже «Dominus providebit» теперь стояло имя консула Германа Хагенштрема. И тогда г-жа Перманедер тут же на улице, на глазах многочисленных прохожих, начинала в голос плакать. Она закидывала голову, как птица, готовящаяся запеть, прижимала к глазам платочек, испускала протяжный стон, в котором мешались возмущение и жалоба, и тут же, не обращая внимания на изумленных прохожих и на увещания дочери, разражалась рыданиями.

Это был все тот же непосредственный, ребяческий, освежающий душу плач, который не изменял ей во всех бурях и невзгодах жизни.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В минуты уныния Томас Будденброк часто задавался вопросом, что он, собственно, еще представляет собой, что еще дает ему право ставить себя хоть немного выше любого из своих простодушных, деятельных, мещански ограниченных сограждан. Взлеты фантазии, вера в лучшие идеалы — все это ушло вместе с молодостью. Шутить работая и работать шутя, полувсерьез, полунасмешливо относясь к собственным честолюбивым замыслам, стремиться к цели, которой придаешь чисто символическое значение,— для таких задорно-скептических компромиссов, для такой умной половинчатости потребны свежесть, юмор, спокойствие духа, а Томас Будденброк чувствовал себя безмерно усталым, надломленным. Того, что ему дано было достигнуть, он достиг и прекрасно отдавал себе отчет, что вершина его жизненного пути давно уже пройдена, если только, поправлял он себя, на таком заурядном и низменном пути можно вообще говорить о вершинах.

Что касается чисто материальной стороны, то хотя капитал его сильно уменьшился и фирма находилась в упадке, состояние сенатора Будденброка, включая материнское наследство, долю, доставшуюся ему после продажи дома, и недвижимость, все-таки исчислялось в сумме, превосходящей шестьсот тысяч марок. Но капитал фирмы уже в течение многих лет не приносил никаких доходов, а грошовые обороты, на которые так горько сетовал сенатор еще во времена пеппенрадовской истории, после понесенного им тогда убытка не только не сделались крупнее, но стали еще более жалкими. И теперь, когда все вокруг цвело и давало свежие ростки, когда благодаря вступлению города в таможенный союз захудалые лавчонки за несколь-

ко лет превращались в солидные оптовые предприятия, фирма «Иоганн Будденброк» находилась в застое, не извлекая никакой пользы из достижений нового времени, и ее шеф на вопрос: «Как идут дела?» — только досадливо отмахивался: «Ах, радости мало...» Один из его бойких конкурентов, близкий друг Хагенштремов, как-то обмолвился, что роль Томаса Будденброка на бирже свелась к чисто декоративной,— и эту остроту, намекавшую на холеную внешность сенатора, с восторгом повторяли все бюргеры, считая ее непревзойденным образцом изящного остроумия.

Но если успешно трудиться на благо старой фирмы, которой он некогда служил с таким восторженным самозабвением, сенатору не позволяли ряд деловых неудач и душевная усталость, то общественной его деятельности были поставлены границы извне, мешавшие дальнейшему его продвижению. Очень давно, еще со времени своего избрания в сенат, он и на этом поприще добился всего, чего мог добиться. Теперь ему оставалось только удерживать за собой прежние посты и должности — завоевывать было уже нечего. Ныне существовало только настоящее, только серая действительность, будущего не было, так же как не было и честолюбивых замыслов. Правда, он влиял на многие городские дела, и другой на его месте не сумел бы приобрести такого влияния; даже враги не смели отрицать, что Томас Будденброк «правая рука бургомистра». Но бургомистром он сделаться не мог, ибо он был коммерсантом, а не ученым, не кончил гимназии, не стал юристом, да и вообще никакого высшего образования не получил. С юных лет отдававший свои досуги чтению, хорошо знавший историю, чувствовавший себя выше всех его окружающих по умственному уровню, по развитию, он искренне огорчался тем, что отсутствие законченного образования отрезало ему возможность занять первое место в мирке, где он родился и вырос.

— Как глупо, что мы, даже не кончив школы, с головой ушли в коммерцию,— говаривал он своему другу и почитателю Стефану Кистенмакеру, под «мы» разумея себя одного.

И Стефан Кистенмакер отвечал:

— Да, ты прав!.. Хотя почему, собственно?

Сенатор работал теперь по большей части в одиночестве у себя в кабинете, за большим столом красного дерева: во-первых, потому, что здесь никто не мог видеть, как он, подперев голову руками и полузакрыв глаза, предается своим унылым мыслям, но главным образом он покинул свое место у окна в конторе потому, что свыше сил человеческих было смотреть,

как г-н Маркус, его компаньон, сидящий напротив, вновь и вновь педантически расставляет письменные принадлежности и разглаживает свои усы.

Вдумчивая осмотрительность старика Маркуса с годами превратилась в манию, в сущее чудачество, но для Томаса Будденброка это чудачество сделалось нестерпимым, более того — оскорбительным, потому что он с ужасом стал замечать и в себе подобные черты. Да, и в нем, от природы чуждом всякой мелочности, развился теперь своего рода педантизм — пусть в силу совсем иных причин, иного душевного склада.

Пусто было у него в сердце, он больше не вынашивал никаких планов, не видел перед собой работы, которой можно было бы предаться с радостью и воодушевлением. Но тяга к деятельности, неуменье дать отдых мысли, действенность натуры, никогда ничего общего не имевшая с естественной и усидчивой работоспособностью его отцов, а какая-то искусственная, обусловленная потребностью его нервной системы,— по существу, наркотическое средство вроде тех крепких русских папирос, которые он непрестанно курил,— всего этого он не утратил, а утратил только власть над своими собственными привычками.— распылившиеся на мелочи, они сделались для него неиссякаемым источником мучений. Он был затравлен тысячами вздорных пустяков, в основном сводившихся к поддержанию в порядке дома и собственной внешности; и тем не менее все шло у него вкривь и вкось, ибо он был не в состоянии удержать в памяти всю эту ерунду, затрачивал на нее непомерно много времени и внимания.

То, что в городе называли его «суетностью», возросло так, что он и сам уже начал этого стыдиться, но отвыкнуть от прочно укоренившихся в нем привычек не имел силы. Встав от сна — сна не тревожного, но тяжелого и не освежающего, сенатор в халате отправлялся в гардеробную, где его уже ждал старик Венцель, парикмахер,— это бывало ровно в девять (некогда он подымался гораздо раньше), и после бритья ему требовалось еще добрых полтора часа на одеванье, прежде чем он чувствовал себя готовым начать день и спускался к чаю во второй этаж. Свой туалет он совершал с такой обстоятельностью, последовательность отдельных процедур, начиная от холодного душа в ванной комнате до момента, когда последняя пылинка бывала удалена с сюртука, а усы в последний раз подкручены горячими щипцами, была распределена так тщательно и неизменно, что однообразное, механическое повторение всех этих приемов и движений доводило его до отчаяния. И все же он

не решился бы выйти из гардеробной с сознанием, что им что-то упущено или проделано не так тщательно, из страха лишиться чувства свежести, спокойствия и подтянутости — чувства, которое через какой-нибудь час все равно утрачивалось и требовало восстановления с помощью тех же приемов.

Он экономил на всем, на чем можно было сэкономить, не вызывая лишних разговоров,— только не на своем гардеробе, на поддержание и обновление которого у лучшего гамбургского портного не жалел никаких средств. В его гардеробной, за дверью, которая, казалось, вела в другую комнату, находилась просторная ниша, где, аккуратно расправленные, на гнутых деревянных плечиках длинными рядами висели визитки, смокинги, сюртуки, фраки на все сезоны, на все возможные случаи светского обихода, а на стульях кипами лежали тщательно, по складке сложенные брюки. Комод с большим зеркалом, заставленный различнейшими туалетными принадлежностями и баночками с препаратами для ухода за волосами, был до отказа набит бельем, которое постоянно менялось, стиралось, снашивалось и приобреталось наново.

В этой комнате он проводил долгие часы не только по утрам, но перед каждым званым обедом, перед каждым заседанием в сенате или официальным собранием — словом, всегда перед тем, как куда-то отправиться, показаться на люди и даже просто перед обедом дома, за который, кроме него, садились только его жена, маленький Иоганн да Ида Юнгман. Свежее белье на теле, безупречная и строгая элегантность костюма, тщательно вымытое лицо, запах бриллиантина на усах и терпкий, с холодком вкус зубного эликсира во рту давали ему по выходе из гардеробной удовлетворенное ощущение собранности, которое испытывает удачно загримировавшийся актер, направляясь на сцену. И правда! Жизнь Томаса Будденброка стала жизнью актера, но актера, чье существование, вплоть до мельчайшей из бытовых мелочей, сосредоточено на одной роли — на роли, которая — за исключением кратких и редких часов, когда, оставаясь наедине с собой, исполнитель ее позволяет себе распуститься,— требует непрестанного изнурительного напряжения всех сил. Отсутствие интереса, способного захватить его, обнищание, опустошение души — опустошение такое полное, что он почти непрестанно ощущал его как тупую, гнетущую тоску,— в соединении с неумолимым внутренним долгом, с упорной решимостью всеми средствами скрывать свою немощь и соблюдать les dehors, сделали существование Томаса Будденброка искусственным, надуманным, превратили каждое его сло-

во, каждое движение, каждый, даже самый будничный его поступок в напряженное, подтачивающее силы лицедейство.

При этом всплывали странные черточки, своеобразные причуды, которые он сам с удивлением и неудовольствием подмечал в себе. В противоположность людям, не стремящимся играть какую бы то ни было роль, предпочитающим незаметно из темного угла наблюдать за другими, он отнюдь не хотел оставаться в тени и следить за теми, что движутся в полосе света. Напротив, он любил, чтобы яркий свет слепил ему глаза, а люди, публика, на которую он собирался воздействовать,— как обходительнейший светский человек, как инициативный делец, как шеф старинного торгового дома или, наконец, как публичный оратор,— виделись ему в тени, в качестве однородной массы,— только тогда он чувствовал необходимую уверенность, то слепое опьянение «игрой», которому он был обязан всеми своими успехами. Более того, со временем только в этом хмельном состоянии лицедейства он стал чувствовать себя сносно. Произнося тост с бокалом в руке, любезно улыбаясь, изящно жестикулируя, поражая сотрапезников своим красноречием, развязывая всеобщее веселье, он, несмотря на свою бледность, походил на прежнего Томаса Будденброка; сохранять самообладание в минуту молчаливого бездействия ему было много труднее. В такие минуты им овладевали сомнения, усталость и недовольство собой, взгляд его делался тусклым, он переставал управлять мускулами лица, утрачивал привычную осанку. Его существо наполняло тогда одно желание — поддаться этому расслабленному унынию, потихоньку уйти и дома прижаться головой к прохладной подушке...

В этот вечер г-жа Перманедер ужинала на Фишергрубе, и притом одна, без дочери: Эрика, которую тоже ждали, побывала днем в тюрьме у своего супруга и, чувствуя себя, как всегда после этих посещений, усталой и расстроенной, предпочла остаться дома.

За столом г-жа Антония рассказывала о Гуго Вейншенке, находившемся в весьма удрученном душевном состоянии, и обсуждала вместе с родственниками вопрос, когда можно будет, с некоторыми надеждами на успех, подать в сенат просьбу о помиловании. Все трое сидели в маленькой гостиной подле круглого стола, над которым висела большая газовая люстра. Герда Будденброк, так же как и золовка, сидевшая напротив нее, занималась рукоделием. Сенаторша склонила свое прекрасное

белое лицо над вышиваньем, и волосы ее в свете лампы отсвечивали темным золотом; г-жа Перманедер с пенсне на носу, надетым так криво, что оно безусловно не достигало цели, заботливо прилаживала большой атласный бант необыкновенно красного цвета к крохотной желтой корзиночке — подарок ко дню рождения знакомой даме. Сенатор, скрестив ноги, сидел немного поодаль, в широком мягком кресле с выгнутой спинкой, и читал газету, время от времени затягиваясь русской папиросой и пропуская сквозь усы светло-серые столбики дыма...

Был теплый летний вечер. В высокое распахнутое окно струился уже чуть засвежевший воздух. Сидя у стола, они видели, как над серыми островерхими крышами домов на противоположной стороне улицы сквозь медленно плывущие облака проглядывают звезды. Напротив, в цветочной лавке Иверсена еще горел свет. Вдали, на тихой улице, кто-то очень неискусно играл на гармонике — верно, один из конюхов извозопромышленника Данкварта. Впрочем, иногда за окнами становилось шумно. Это кучка матросов, в обнимку, с пением, с трубками в зубах, перекочевывала из одного сомнительного портового заведения в другое, еще более сомнительное. Их громкие голоса и тяжелые, неверные шаги постепенно замирали в соседнем переулке.

Сенатор положил газету на стол, сунул пенсне в жилетный карман и потер рукою лоб и глаза.

— Скверная, очень скверная газетка эти «Ведомости»,— сказал он.— Читая их, я всегда вспоминаю, как дедушка отзывался о плохо приготовленных и непитательных блюдах: «Оскомину набивают, и только». Просмотришь все за пять минут и ничего, кроме скуки, не вынесешь...

— Что правда, то правда, Том! — подтвердила г-жа Перманедер, положив работу на колени и глядя на брата.— Что в них можно вычитать? Я всегда говорила, еще совсем молоденькой дурочкой: эти «Городские ведомости» — жалкий листок. Я, конечно, их тоже читаю, потому что ничего другого нет под рукой... Но, по правде говоря, сообщения вроде того, что оптовый торговец и консул имярек собирается справлять свадьбу, не так-то уж захватывающе интересны. Нам следовало бы почитать другие газеты, «Гартунгские известия», выходящие в Кенигсберге, или «Рейнскую газету». Там найдется...

Г-жа Перманедер не договорила. Произнося свою сентенцию, она взяла в руки газету и стала небрежно пробегать ее глазами, как вдруг взгляд ее упал на коротенькую заметку

в пять-шесть строк... Она онемела, поправила пенсне, рот ее медленно раскрылся... дочитала заметку до конца и, схватившись руками за обе щеки, так, что локти ее оттопырились, испустила вопль ужаса.

— Не может быть!.. Невозможно!.. Нет! Герда! Том!.. Как ты мог это проглядеть?.. Ужасно!.. Несчастная Армгард! Подумать только, что ей пришлось пережить...

Герда подняла голову от работы, а Томас испуганно повернулся к сестре. И г-жа Перманедер, трепеща от волнения, дрожащим гортанным голосом, подчеркивая роковой смысл каждого слова, прочитала вслух сообщение из Ростока о том, что владелец имения Пеппенраде Ральф фон Майбом прошедшей ночью застрелился в своем кабинете. «Поводом для самоубийства, видимо, явились денежные затруднения. Г-н фон Майбом оставил жену и троих детей».

Дочитав, она выпустила газету из рук, откинулась на спинку кресла и взглянула на брата и невестку жалобными, растерянными глазами.

Томас Будденброк, отвернувшийся от нее, еще когда она читала извещение, теперь, поверх ее головы, всматривался через раздвинутые портьеры в сумрак большой гостиной.

— Застрелился? — спросил он после нескольких минут молчания. И добавил вполголоса, медленно и насмешливо: — Ну что ж! Дворянская повадка!..

Он опять погрузился в свои думы. Быстрота, с которой он крутил между пальцев кончик уса, находилась в странном противоречии с оцепенелой неподвижностью его устремленного в пустоту тусклого взгляда.

Он не слушал горестных восклицаний сестры и предположений, которые она высказывала относительно дальнейшей судьбы бедняжки Армгард, так же как не замечал, что Герда, не поворачивая головы, пристально и настороженно смотрит на него своими близко посаженными карими глазами с голубоватыми тенями в уголках.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Томас Будденброк не мог решиться взглянуть на будущее маленького Иоганна так же угрюмо и безнадежно, как он смотрел на остаток своего жизненного пути. Сделать это ему не позволял родовой инстинкт, врожденный и привитый воспитанием интерес к истории семьи, равно обращенный к

ее прошлому и будущему. И кроме того, разве его друзья, знакомые, сестра Тони, даже дамы Будденброк с Брейтенштрассе не смотрят на мальчика с любопытным, ласковым ожиданием, которое живит и его отцовское сердце? Сенатор с удовлетворением замечал, что если давно уже поставил крест на себе, то для своего маленького наследника он еще способен радостно грезить о деловых успехах, об усердной работе, о стяжании богатства, мощи, почета,— в сущности, только это и наполняет его постылую, искусственную жизнь теплом, заботой, страхом и надеждою.

Что, если ему самому, уже стариком, ушедшим на покой, суждено будет наблюдать возврат старых дней — дней прадеда Ганно? Неужто эта надежда совсем, совсем не осуществима? Он почитает музыку личным своим врагом, но, может быть, она совсем не так страшна? Конечно, любовь мальчика к импровизациям свидетельствует о его не совсем обычных склонностях,— но вот, например, в регулярных занятиях с г-ном Пфюлем он не очень-то преуспел. Музыка... Какие же тут могут быть сомнения — это влияние матери; и ничего нет удивительного, что в раннем детстве оно возобладало над другими влияниями. Но теперь уже пришла пора, когда у отца есть возможность воздействовать на сына, сблизиться с ним, своим мужским влиянием изгладить следы женского воспитания. И сенатор твердо решил не упускать этой возможности.

На пасхе одиннадцатилетний Ганно, так же как и его приятель, маленький граф Мельн, с большим трудом и двумя переэкзаменовками — по арифметике и географии — перешел в четвертый класс. Решено было, что впредь он будет посещать реальное училище, ибо ему — это само собой разумелось — со временем предстоит сделаться коммерсантом и шефом фирмы. На вопросы, чувствует ли он тяготение к будущей своей профессии, Ганно отвечал коротко и немного робея: «Да»,— только «да», без каких-либо добавлений; и когда сенатор дальнейшими настойчивыми вопросами пытался расшевелить, разговорить его, эти попытки почти всегда кончались неудачей.

Будь у сенатора Будденброка два сына, он безусловно настоял бы, чтобы младший кончил гимназию и университет. Но фирме нужен был наследник. И к тому же сенатор еще полагал, что оказывает благодеяние мальчику, избавляя его от нудных занятий греческим языком. Он считал, что Ганно с его частенько затрудненным восприятием, мечтательной рас-

сянностью и физической хрупкостью, нередко заставляющей его пропускать школьные занятия, кончит реальное училище легче, с меньшим напряжением и с лучшими успехами. Если маленькому Иоганну Будденброку суждено будет со временем стать тем, к чему он призван и чего ждут от него родные, то прежде всего следует укреплять и поддерживать его не слишком крепкий организм — с одной стороны, избегая перенапряжения сил, а с другой — закаляя его разумными физическими упражнениями.

Иоганн Будденброк с расчесанными на косой пробор мягкими кудрями, слегка прикрывавшими его уши, с длинными темными ресницами и золотисто-карими глазами, несмотря на свой копенгагенский матросский костюмчик, как-то странно выделялся на школьном дворе и на улице среди своих соучеников, в большинстве белокурых и голубоглазых, как юные скандинавы. За последнее время он очень вытянулся, но его ноги в черных чулках и руки, выглядывавшие из темно-синих широких рукавов, были по-девичьи узки и нежны, а в уголках глаз, точь-в-точь как у матери, залегали голубоватые тени; в этих глазах, в особенности когда он искоса смотрел на кого-нибудь, появлялось какое-то унылое, отчужденное выражение. У Ганно была привычка сжимать губы плотно и скорбно, а если в это время он еще водил языком по зубу, внушавшему ему опасения, то лицо у него делалось такое, словно его трясла лихорадка.

По заверениям доктора Лангхальса, нынешнего домашнего врача Будденброков, к которому целиком перешла практика старого доктора Грабова, слабое здоровье Ганно и постоянная его бледность были обусловлены весьма серьезной причиной: его организм, к сожалению, в далеко недостаточном количестве вырабатывал жизненно важные красные кровяные шарики. Впрочем, для борьбы с этим существовало отличное средство, которое доктор Лангхальс и прописывал ему в изрядных дозах,— рыбий жир, чудодейственный густой желтый рыбий жир; его надлежало принимать дважды в день с фарфоровой ложки. Подчиняясь категорическому распоряжению сенатора, Ида Юнгман любовно, но строго следила за неуклонным выполнением этого предписания. Сначала Ганно рвало после каждого приема и желудок его, видимо, отказывался усваивать чудодейственный рыбий жир, но постепенно мальчик привык к нему: если, проглотив очередную дозу, сразу же затаить дыханье и разжевать кусочек ржаного хлеба, то он был даже и не так противен.

Все прочие недомогания Ганно являлись только следствием этого недостатка в красных кровяных шариках, «вторичными явлениями», как говорил доктор Лангхальс, рассматривая свои ногти. Но и эти «вторичные явления» надлежало пресекать в самом основании. Для того чтобы следить за зубами, пломбировать и, если нужно, удалять их, существовал на Мюленштрассе г-н Брехт со своим Иозефусом; а чтобы регулировать пищеварение, на свете имелось касторовое масло,— если принять столовую ложку этого отменного, густого серебристого касторового масла, которое, как юркая ящерица, проскальзывает в горло, то еще дня три во рту, что ты ни делай, чувствуется его вкус и запах. Ах, почему все это так нестерпимо противно? Только однажды,— Ганно в тот раз совсем расхворался, слег в постель, и с сердцем у него обстояло очень уж неблагополучно,— доктор Лангхальс не без некоторых колебаний прописал ему лекарство, которое доставило мальчику истинное наслаждение и удивительно благотворно на него подействовало: это были пилюли с мышьяком. Ганно потом не раз спрашивал их, испытывая почти нежное влечение к этим маленьким сладким, дарующим такую радость пилюлям. Однако больше ему этого лекарства не давали.

Рыбий жир и касторовое масло — превосходные средства, но доктор Лангхальс был вполне согласен с сенатором, что их одних недостаточно, чтобы сделать из маленького Иоганна жизнестойкого и закаленного мужчину, если сам он не приложит к тому никаких усилий. Существовали, например, гимнастические игры, в летнее время еженедельно устраивавшиеся в «Бургфельде» под руководством учителя гимнастики г-на Фритше и дававшие возможность городским мальчикам и юношам демонстрировать и развивать смелость, силу, ловкость и присутствие духа. Однако Ганно, к величайшему неудовольствию сенатора, не выказывал ничего, кроме неприязни,— сдержанной, почти высокомерной неприязни,— к такого рода здоровым развлечениям... Почему он не питает никакой симпатии к своим одноклассникам и сверстникам, с которыми ему предстояло вместе жить и действовать? Почему он вечно якшается с этим маленьким, плохо умытым Каем? Кай — мальчик не плохой, но все его существование какое-то сомнительное, и в будущем он вряд ли будет подходящим другом для Ганно. Всякий мальчик должен стараться так или иначе снискать доверие и уважение своих однокашников — тех, что подрастают вместе с ним и чья оценка впоследствии

будет играть решающую роль в его жизни. Взять хотя бы обоих сыновей консула Хагенштрема, четырнадцати и двенадцати лет; отличные мальцы, крепкие, сильные, хотя и заносчивые. Они устраивают настоящие кулачные бои в окрестных рощах, считаются лучшими гимнастами в школе, плавают, как морские львы, курят сигары и всегда готовы на любое бесчинство. Их боятся, любят и уважают. Кузены этих мальчиков — сыновья прокурора Морица Хагенштрема — менее крепкого сложения и более мягкого нрава, но отличаются на другом поприще: они первые ученики в школе, честолюбивые, исполнительные, тихие и усердные, как пчелы; снедаемые желанием всегда быть первыми и получать лучшие отметки в классе, они с трепетом внимают каждому слову учителя. Они тоже безусловно внушают уважение своим менее способным ленивым товарищам. А какое мнение о Ганно может составиться у его одноклассников, не говоря уж об учителях? Ученик он более чем посредственный и вдобавок рохля, отступающий перед всем, для чего требуется хоть немного смелости, силы, резвости и задора. Когда бы сенатор ни проходил мимо «балкона» третьего этажа, куда выходили двери трех комнат — среднюю из них занимал Ганно, с тех пор как стал слишком большим, чтобы спать в одной комнате с Идой Юнгман,— до него доносились либо звуки фисгармонии, либо приглушенный, таинственный голос Кая, рассказывающего какую-нибудь историю.

Что касается Кая, то он не ходил на гимнастические игры потому, что терпеть не мог дисциплины и порядка, которых там требовали.

— Нет, Ганно,— говорил он,— я не пойду. А ты? Да ну их к лешему!.. Ничего веселого там делать не разрешается.

Такие обороты, как «ну их к лешему», он перенял от отца.

Ганно же отвечал:

— Если бы от господина Фритше хоть меньше пахло потом и пивом, об этом еще можно было бы подумать... Ну, да бог с ними, Кай, рассказывай дальше. Ты никак не кончишь эту историю с кольцом, которое ты вытащил из болота...

— Ладно,— отвечал Кай,— но когда я кивну, ты начинай играть.— И он продолжал свой рассказ.

Если верить ему, то недавно, в душную ночь, где-то в незнакомой местности, он скатился вниз по скользкому склону бесконечно глубокого обрыва; на дне бездны, при тусклом трепетном свете болотных огней ему открылась черная тонь,

на поверхности которой то и дело с бульканьем и хлюпаньем выскакивали серебристые пузырьки. Один из них, самый ближний,— тот, что лопался и тут же появлялся вновь,— имел форму кольца, и вот его-то он, Кай, после долгих и опасных ухищрений, схватил рукой. И пузырек не только не лопнул, а, напротив, превратился в гладкий и твердый маленький обруч, надевшийся ему на палец. Не сомневаясь в чудесных свойствах этого кольца, Кай и вправду с его помощью вскарабкался наверх по отвесному и скользкому склону обрыва и неподалеку, в красноватой дымке, увидел черный, мертвенно-тихий, строго охраняемый замок, куда он все-таки проник и где, с помощью того же кольца, расколдовал и освободил от злых чар многих несчастных пленников...

В самые волнующие мгновения Ганно брал несколько сладкозвучных аккордов на фисгармонии. Рассказы Кая, если только в них не заключались непреодолимые для сценического воспроизведения трудности, разыгрывались и на сцене кукольного театра — конечно, с музыкальным сопровождением. На гимнастические же игры Ганно отправлялся, только повинуясь настойчивым и строгим приказаниям отца; и тогда с ним шел и маленький Кай.

То же самое повторялось с катаньем на коньках зимой, и летом с купаньем в дощатых купальнях г-на Асмуссена внизу на реке. «Купаться! Плавать! — заявил доктор Лангхальс.— Мальчику необходимо купаться и плавать». И сенатор полностью с ним согласился. Но Ганно при малейшей возможности старался уклониться от купанья, катка и гимнастических игр,— прежде всего потому, что сыновья консула Хагенштрема, отличавшиеся во всех этих затеях, постоянно против него злоумышляли и, хоть и жили в доме его бабушки, никогда не упускали случая щегольнуть перед ним своей силой и помучить его. Они щипали и высмеивали Ганно во время гимнастических игр, сталкивали в сугроб на катке, с угрожающими криками подплывали к нему в купальне. Ганно не делал попыток спастись от них, что, впрочем, ни к чему бы и не привело. Худенький, с тонкими, как у девочки, руками, он стоял по пояс в грязноватой, мутной воде, на поверхности которой плавали обрывки водорослей, так называемой гусиной пажити, и, хмуро потупившись и слегка скривив губы, смотрел, как они оба, уверенные в своей добыче, вспенивая воду, сильными бросками приближались к нему. У них были мускулистые руки, у этих Хагенштремов, которыми они цепко обхватывали Ганно и окунали с головой,

окунали много раз подряд, так что он успевал вдосталь наглотаться грязноватой воды и потом долго еще не мог прийти в себя. Только раз он был в известной мере отомщен. Как-то в послеобеденный час, когда оба Хагенштрема уже довольно долго «топили» его, один из них, вдруг испустив крик ярости и боли, высунул из воды свою мясистую ногу, из которой крупными каплями сочилась кровь. А рядом с ним вынырнул Кай граф фон Мельн. Каким-то неведомым путем раздобывши денег на плату за вход, он незаметно подплыл к ним под водой и, словно маленькая злая собачонка, вцепился зубами в ногу юного Хагенштрема. Его голубые глаза сверкали из-под мокрых, падающих на лоб рыжеватых волос... Ах, ему пришлось-таки поплатиться за свой поступок, бедному маленькому графу! Из воды он вылез с сильно намятыми боками. Но зато и бойкий сын консула Хагенштрема здорово хромал, возвращаясь домой.

Укрепляющие средства и всевозможные физические упражнения — вот к чему в основном сводились отцовские попечения сенатора Будденброка. Впрочем, с неменьшей заботливостью он пытался влиять и на духовное развитие сына, знакомя мальчика с тем мирком, для которого он его предназначал.

Он решил понемногу приучать сына к будущей деятельности, брал его с собой в гавань и заставлял стоять возле себя у причала, когда беседовал с грузчиками на смешанном датско-нижненемецком наречии, или в тесных, сумрачных складских конторах, когда совещался с управляющими, или в амбарах, где отдавал приказания рабочим, с протяжными криками поднимавшим мешки с зерном на верхние настилы. Для самого Томаса Будденброка с детства не было в мире лучшего места, чем этот уголок гавани, где среди судов, амбаров и складов пахло маслом, рыбой, водой, смолой и промасленным железом; и если его сын, бывая здесь, не выказывал ни радости, ни живого интереса, то надлежало пробудить в нем эти чувства.

— Как называются пароходы, совершающие рейсы в Копенгаген? «Наяда», «Хальмштадт», «Фридерика Эвердик»... Ну, хорошо, что ты хоть эти названия запомнил, мой мальчик,— все лучше, чем ничего. Среди рабочих, вон тех, что поднимают мешки, много твоих тезок, друг мой, потому что их крестили по твоему деду. А среди их ребятишек часто встречается имя мое и твоей мамы. Мы им каждый год дарим какой-нибудь пустяк... Ну так, у этого склада мы оста-

павливаться не будем, тут нам говорить не о чем — это конкурент...

— Хочешь поехать со мной, Ганно,— спрашивал он в другой раз.— Сегодня спуск нашего нового парохода. Мне надо окрестить его... Хочешь?

И Ганно делал вид, что хочет. Он стоял возле отца, слушал его речь, смотрел, как он разбивал бутылку шампанского о бушприт, и безучастно следил за судном, которое скользило по смазанным зеленым мылом стапелям в воду, высоко вспенивавшуюся под его килем.

Дважды в год, в вербное воскресенье — день конфирмации и на Новый год, сенатор Будденброк в экипаже отправлялся с визитами по знакомым; и так как супруга его предпочитала в таких случаях оставаться дома под предлогом расстройства нервов или мигрени, то он звал с собой Ганно. Ганно и тут выказывал покорность. Он усаживался в карету рядом с отцом и потом в гостиных молча наблюдал за ним. Как легко, тактично и в то же время как до мельчайших оттенков по-разному умел отец держаться в обществе.

Ганно, например, заметил, что, когда комендант округа, подполковник г-н фон Рилинген, при прощании заверил сенатора, что весьма польщен оказанной ему честью, тот с деланным испугом дотронулся до его плеча; в другом месте он спокойно выслушал почти те же слова, а в третьем постарался отклонить их иронически подчеркнутой любезной фразой. И все это с полной уверенностью, сквозившей в словах и жестах, кроме всего прочего явно рассчитанных на одобрительное удивление сына и отчасти являющихся педагогическим приемом.

Но маленький Иоганн видел больше, чем ему следовало видеть; его робкие золотисто-карие глаза с голубоватыми тенями в уголках умели наблюдать слишком зорко. Он видел не только уверенную светскость в обхождении отца, так безошибочно действовавшую на людей, но — с мучительной для него самого проницательностью — и то, каким страшным трудом эта светскость ему давалась. Сенатор после каждого визита становился еще бледнее, еще скупее на слова. Закрыв глаза с покрасневшими веками, он молча сидел в экипаже, и сердце Ганно наполнялось ужасом, когда на пороге следующего дома маска снова появлялась на этом лице и движения обессилевшего тела приобретали упругую легкость. Манера отца входить в гостиную, непринужденность его беседы, любезная общительность — все это представлялось маленькому

Иоганну не наивной, естественной, полубессознательной защитой известных практических интересов, совпадающих с интересами друзей и противоречащих интересам конкурентов, а своего рода самоцелью, достижимой лишь путем искусственного и сознательного напряжения всех душевных сил, некоей невероятно изнурительной виртуозностью, поддерживающей необходимую выдержку и такт. И при одной мысли, что и от него ждут со временем таких же выступлений в обществе, что и ему придется говорить и действовать под гнетом всех этих чужих взглядов, Ганно невольно закрывал глаза, содрогаясь от страха и отвращения.

Увы, не такого воздействия на сына ждал Томас Будденброк от своего личного примера! Воспитать в нем стойкость, здоровый эгоизм, житейскую хватку — вот о чем мечтал он денно и нощно.

— Ты, видно, любитель хорошо пожить, дружок,— говаривал он, когда Ганно просил вторую порцию десерта или полчашки кофе после обеда.— Значит, тебе надо стать дельным коммерсантом и зарабатывать много денег! Хочешь ты этого?

И маленький Ганно отвечал «да».

Случалось, что, когда к обеду у сенатора собирались родные и тетя Антония или дядя Христиан, по старой привычке, начинали подтрунивать над бедной тетей Клотильдой и, обращаясь к ней, добродушно и смиренно растягивали слова на ее манер, Ганно под воздействием праздничного крепкого вина тоже впадал в этот тон и, в свою очередь, начинал поддразнивать тетю Клотильду.

И тут Томас Будденброк от души смеялся громким, счастливым, почти благодарным смехом, как человек, только что испытавший радостное удовлетворение. Он даже присоединялся к сыну и тоже начинал поддразнивать бедную родственницу, хотя сам давно отказался от этого тона в общении с ней: слишком уж было просто и безопасно утверждать свое превосходство над ограниченной, смиренной, тощей и всегда голодной Клотильдой. Томасу эти насмешки, несмотря на их неизменно добродушный тон, все-таки казались низостью. Ему претила, донельзя претила мысль, ежедневно по множеству поводов возникавшая в нем, но тем не менее органически чуждая его скрупулезной натуре, никак не мирившейся с тем, что можно понимать неблаговидность ситуации, прозревать ее и все-таки без стыда оборачивать эту ситуацию в свою пользу: «Но без стыда оборачивать в свою пользу не-

благовидную ситуацию — это и есть жизнеспособность»,— говорил он себе.

Ах, как он радовался, какие надежды окрыляли его всякий раз, когда маленький Иоганн выказывал хоть тень этой жизнеспособности!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

За последние годы Будденброки отвыкли от дальних летних поездок, некогда считавшихся обязательными; и даже когда прошедшей весной жена сенатора изъявила желание съездить в Амстердам и после долгого перерыва сыграть несколько скрипичных дуэтов со своим старичком отцом, муж сухо и нехотя дал ей свое согласие. Зато у них вошло в обычай, чтобы Герда, маленький Иоганн и Ида Юнгман, в интересах здоровья мальчика, ежегодно проводили время летних каникул в Травемюнде.

Летние каникулы у моря! Кто может понять, что это за счастье! После докучливого однообразия бесчисленных школьных дней — целый месяц беспечального существования, напоенного запахом водорослей и мерным рокотом прибоя!.. Целый месяц! Срок поначалу необозримый, бескрайный! Даже поверить нельзя, что он когда-нибудь кончится, говорить же об этом просто кощунство! Маленький Иоганн никогда не мог понять, как это решаются учителя под конец занятий заявлять что-нибудь вроде: «С этого места мы продолжим после каникул, а затем перейдем к...» «После каникул!» Похоже, что он этому даже радуется, непостижимый человек в камлотовом сюртуке с блестящими пуговицами! «После каникул!» Какая дикая мысль! Разве все, все, что за пределами этого месяца, не скрыто серой, туманной пеленой?

Проснуться в одном из двух швейцарских домиков, соединенных узкой галереей и расположенных в одном ряду с кондитерской и главным корпусом кургауза,— какое это наслаждение! Особенно в первое утро, когда остались позади день — все равно, худой или хороший — выдачи школьных табелей и поездка в заваленном вещами экипаже! Смутное ощущение счастья, разлившееся по всему телу и заставляющее сжиматься сердце, вспугивало Ганно ото сна. Он открывал глаза, блаженным и жадным взором окидывал опрятную маленькую комнату, уставленную мебелью в старофранконском стиле. Секунда-другая сонного, блаженного недоумения — и все становится понятно: он в Травемюнде! На це-

лый, бесконечный месяц в Трàвемюнде! Он неподвижно лежал на спине в узкой деревянной кровати, застеленной необыкновенно мягкими и тонкими от частой стирки простынями, и только время от времени закрывал и открывал глаза, чувствуя, как его грудь при каждом вдохе наполняется радостью и волненьем.

Сквозь полосатую штору в комнату уже проникает желтоватый утренний свет, но кругом тишина. Ида Юнгман и мама еще спят. Никаких звуков, только равномерный и тихий шорох гравия под граблями садовника да жужжанье мухи, застрявшей между окном и шторою; она часто бьется о стекло, и тень ее зигзагами мечется по полосатой материи. Тишина! Шорох камешков и монотонное жужжанье! Эти идиллические звуки наполняют маленького Иоганна чудным ощущением спокойствия, порядка и уютной укромности так горячо им любимого мирка. Нет, сюда уж, слава богу, не явится ни один из этих камлотовых сюртуков, представляющих на земле грамматику и тройное правило,— ведь жизнь здесь стоит очень недешево.

Приступ радости заставляет его вскочить с постели; он босиком подбегает к окну, поднимает штору, скинув с петли белый блестящий крючок — распахивает раму и смотрит вслед мухе, пустившейся в полет над дорожками и розовыми кустами курортного парка. Раковина для оркестра в полукруге буковых деревьев, напротив кургауза, пустует. Полянка, справа от которой высится маяк, расстилается под еще затянутым белесой дымкой небом; трава на ней, низкорослая, местами и вовсе вытоптанная, переходит в высокую и жесткую прибрежную поросль, за которой уже начинается песок. Там глаз, хоть и с трудом, различает ряды маленьких деревянных павильонов и плетеных кабинок, смотрящих на море. Вот и оно — мирное, освещенное блеклым утренним солнцем, все в темно-зеленых и синих полосах, то гладких, то вспененных; и между красными буйками, указывающими фарватер судам, пробирается пароход из Копенгагена... и никто-то не спросит тебя, как он называется — «Наяда» или «Фридерика Эвердик». Ганно Будденброк снова глубоко, блаженно вдыхает донесшийся до него пряный морской воздух и нежным, полным благодарности и молчаливой любви взглядом приветствует море.

И вот начинается день, первый из тех двадцати восьми дней, которые сперва кажутся вечностью, но чуть только минет первая неделя, как они уже стремительно бегут к кон-

цу... Завтрак подается на балконе или под старым каштаном, на детской площадке, где висят большие качели; и все — запах, идущий от наспех простиранной скатерти, которую кельнер расстилает на столике, салфетки из тонкой бумаги, какой-то особенно вкусный хлеб и даже то, что яйца здесь едят не костяными ложечками, как дома, а обыкновенными чайными да еще из металлических рюмок,— все приводит в восхищение маленького Иоганна.

А потом наступала вольная, хотя и размеренная жизнь в праздности и неге. Чудесная, досужая, текла она, не нарушаемая никакими событиями. Предобеденные часы на взморье под звуки оркестра, уже исполняющего там, наверху, свою утреннюю программу, когда лежишь подле кабинки, задумчиво и неторопливо пересыпая тонкий, сухой песок, а глаза твои, не зная усталости, глядят в зелено-синюю бесконечность, от которой веет вольным, не знающим никаких преград, сильным, буйным, свежим, пахучим ветром; от него гудит в ушах, туманится мозг и ускользает, теряется ощущение времени и пространства — всего, что не беспредельно. А потом купанье, несравнимо более приятное, чем в заведении г-на Асмуссена: здесь поверху не плавает гусиная пажить, и светло-зеленая, кристально чистая вода весело пенится, когда ее взбаламутишь; под ногами у тебя не скользкие доски, а ласковый, мягко-волнистый песок; и сыновья консула Хагенштрема далеко, очень далеко — где-нибудь в Норвегии или в Тироле. (Консул любит летом уезжать куда-нибудь подальше; а раз ему так нравится, то почему бы это себе не позволить?..) После купанья, чтобы согреться, следует прогулка вдоль пляжа до «Камня чаек» или «Храма моря»; по дороге можно присесть к одной из кабинок и что-нибудь «перекусить»,— а там уж подошло время идти домой и отдохнуть часок, перед тем как переодеться и выйти к табльдоту.

За табльдотом всегда весело. Курорт в то время находился в состоянии расцвета, и множество людей, в том числе немало знакомых Будденброков, а также приезжих из более дальних краев — из Гамбурга, даже из Англии и России, наполняло огромный зал кургауза, где за нарядным столиком господин в черном фраке разливал суп из блестящей серебряной миски. Обед состоит из четырех блюд, куда более вкусных и острых, чем дома, во всяком случае более парадных. За длинными столами во многих местах пьют шампанское. Нередко из города наезжают господа, не любящие изнурять

себя работой, чтобы немножко поразвлечься и после обеда поиграть в рулетку: консул Петер Дельман, например,— он оставил дома свою дочь и теперь громовым голосом рассказывает за столом столь фривольные истории, что гамбургские дамы заходятся от смеха и умоляют его помолчать хоть минутку; престарелый полицмейстер, сенатор доктор Кремер, дядя Христиан и его школьный товарищ — сенатор Гизеке, который всегда бывает здесь без семьи и платит за Христиана Будденброка...

Позднее, когда взрослые пьют кофе под навесом кондитерской, Ганно присаживается на стул возле раковины для оркестра и без устали слушает. Администрация курорта позаботилась и о развлечениях в послеобеденные часы. В парке к услугам отдыхающих имелся тир, а справа от швейцарских домиков тянулось длинное здание со стойлами для лошадей и ослов, а также коров; во время полдника гости пили парное молоко, теплое и пахучее. Можно было еще отправиться погулять в «город» — вдоль Первой линии; можно было проехать оттуда на лодке и к «Привалу», где среди камешков попадался янтарь, или принять участие в партии в крокет на детской площадке, а не то примоститься на скамеечке в роще за кургаузом, где висел большой гонг, сзывавший к табльдоту, и послушать чтение Иды Юнгман... Но всего умнее — вернуться к морю, сесть на конце мола, лицом к открытому горизонту, махать платком большим судам, скользящим мимо, и слушать, как лепечут маленькие волны, плескаясь о подножье мола, и вся необъятная даль полнится этим величавым и ласковым шумом, кротко нашептывая что-то маленькому Иоганну и заставляя его блаженно жмуриться. Но тут обычно раздавался голос Иды Юнгман: «Идем, идем, дружок, пора ужинать; будешь долго так сидеть — насмерть простудишься».

Как спокойно, мирно, ублаготворенно бьется его сердце всякий раз, когда он возвращается с моря! А после ужина у себя в комнате, к которому неизменно подается еще и молоко или темное солодовое пиво,— мать ужинала позднее, на застекленной террасе кургауза, в большой компании знакомых,— едва он успевал улечься на тонкие от старости простыни, как под тихое, ровное биение сердца и под приглушенные звуки оркестра в парке им уже овладевал сон — сон без страхов, без содроганий...

По воскресеньям сенатор, как и другие мужчины, всю неделю не имевшие возможности отлучиться от дел, приез-

жал к семье и оставался до понедельника. И хотя в этот день к табльдоту подавалось шампанское и мороженое, хотя в послеобеденные часы устраивались прогулки на ослах или по морю под парусами, Ганно недолюбливал воскресенья: они нарушали покой и мирное течение курортной жизни. Непривычная здесь толпа горожан — «бабочки-однодневки из среднего сословия», как с благодушной пренебрежительностью отзывалась о них Ида Юнгман,— переполняли в послеобеденные часы парк и взморье; они купались, пили кофе, слушали музыку... И Ганно, будь это возможно, с удовольствием переждал бы в своей комнате, покуда схлынет волна этих празднично разряженных возмутителей покоя... Он радовался, когда по понедельникам все снова входило в будничную колею, радовался, что не видит больше глаз отца, отсутствовавшего шесть дней в неделю, но по воскресеньям — от Ганно это не могло укрыться — не спускавшего с него критического, испытующего взора.

Две недели пролетали, и Ганно твердил сам себе и каждому, кто хотел его слушать, что впереди еще срок, равный рождественским каникулам. Но это было обманчивое утешение, ибо время, дойдя до середины, дальше катилось под гору, к концу так быстро, так ужасно быстро, что он готов был цепляться за каждый час, длить каждый вдох, наполнявший его легкие свежим морским воздухом, лишь бы не упустить ни одного мгновения счастья.

Но время шло неудержимо — в смене дождя и солнца, морского и берегового ветров, тихой жаркой погоды и бурных гроз, которым море не давало уйти,— так что, казалось, им и конца не будет. Бывали дни, когда норд-ост нагонял в бухту черно-зеленые воды, которые забрасывали берег водорослями, ракушками, медузами и грозили смыть павильоны. В такие дни хмурое, взлохмаченное море, сколько глаз хватал, было покрыто пеной. Высокие, грузные валы с неумолимым, устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод, и с грохотом, с шипеньем и треском обрушивались на песок.

Выдавались и другие дни, когда западный ветер далеко отгонял море и наглаженное волнистое дно на большом пространстве выступало наружу, дальше местами виднелись песчаные отмели, а дождь между тем хлестал без передышки. Земля, вода и небо точно сливались воедино. Ветер налетал, злобно подхватывал косые струи дождя и бил ими об окна

домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи, и жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах.

Тогда Ганно проводил целые часы в курзале за пианино, разбитом от бесконечных вальсов и экосезов; правда, фантазии, которые он на нем разыгрывал, звучали не так красиво, как дома, на отличном рояле, но зато его глуховатый, хриплый тон часто способствовал звучанию весьма неожиданному... А потом дождливые дни опять сменялись ласкающими, голубыми, безветренными и размаривающе-теплыми, когда над поляной в парке жужжащим роем вилась голубая мошкара, а море, немое и гладкое, как зеркало, казалось, не дышит, не шелохнется. Когда же до конца каникул оставалось только три дня, Ганно всем и каждому объяснял, что впереди еще срок, равный каникулам на троицу. Но, как ни неоспорим был этот расчет, Ганно сам уже в него не верил, и душу его томило сознание, что человек в камлотовом сюртуке все же был прав: месяц приходит к концу, и придется-таки начинать с того места, на котором они остановились, и далее перейти к...

Наступил день отъезда. Карета с привязанными к задку чемоданами останавливается перед кургаузом. Ганно ранним утром простился с морем; теперь он прощается с кельнерами, уже получившими свои чаевые, с раковиной для оркестра, с кустами роз — одним словом, с летом. И экипаж, провожаемый поклонами всего персонала гостиницы, трогается.

Он проезжает аллею, ведущую в городок, и катит вдоль Первой линии. Ганно забивается в угол и через голову Иды Юнгман, бодрой, седовласой, сухопарой, смотрит в окно. Утреннее небо затянуто белесой пеленой, и ветер гонит по Тра́ве мелкую рябь. Мелкие капли дождя время от времени стучат по окну кареты. В конце Первой линии сидят рыбаки возле дверей своих домишек и чинят сети; любопытные босоногие ребятишки сбегаются посмотреть на экипаж... *Они-то* остаются здесь...

Когда последние дома уже позади, Ганно подается вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк; затем он откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза.

— На следующий год опять приедем, дружок,— густым, успокаивающим голосом говорит Ида Юнгман; но только этих слов и не хватало — подбородок его начинает дрожать, слезы текут из-под длинных ресниц.

Лицо и руки Ганно покрыты морским загаром; но если пребывание на взморье имело целью закалить его, придать ему энергии, бодрости, силы сопротивления, то цель ни в какой мере не достигнута, и Ганно сам сознает эту горькую истину. За этот месяц его сердце, умиротворенное и полное благоговейного восторга перед морем, стало только еще мягче, чувствительнее, мечтательнее и ранимее; теперь оно еще менее способно сохранять мужество при мысли о г-не Титге и тройном правиле, о зубрежке исторических дат и грамматике, об учебниках, заброшенных с легкомыслием отчаяния, о страхе, который он испытывал каждое утро перед школой, о вызовах к доске, о враждебных Хагенштремах и требованиях, которые предъявлял к нему отец.

Но утренний воздух и езда по мокрым колеям дороги под щебет птиц брали свое. Он начинал думать о Кае, о г-не Пфюле и уроках музыки, о рояле и фисгармонии. Как-никак завтра воскресенье, а первый день в школе, послезавтра, не грозит никакими опасностями. Ах, в его башмаках с пуговками еще есть немножко морского песка; хорошо бы попросить старика Гроблебена никогда его оттуда не вытряхивать... И пусть все остается, как было,— камлотовые сюртуки, и Хагенштремы, и все остальное. То, что он приобрел, никто у него не отнимет. Когда все это снова на него навалится, он будет вспоминать о море, о курортном парке: право же, одной коротенькой мысли о тихом плеске, с которым успокоенные вечерние волны катятся из таинственно дремлющих далей и набегают на мол, хватит, чтобы сделать его нечувствительным ко всей этой жизненной страде...

Вот и паром, Израэльдорфская аллея, Иерусалимская гора, Бургфельд. Экипаж поравнялся с Городскими воротами — по правую руку от них вздымаются стены тюрьмы, где сидит дядя Вейншенк,— и катит вдоль Бургштрассе, через Коберг; вот уже и Брейтенштрассе осталась позади, и они на тормозах спускаются под гору по Фишергрубе... А вот и красный фасад с белыми кариатидами.

Не успели они войти с жаркой полуденной улицы в прохладные каменные сени, как навстречу им из конторы, с пером в руках, уже спешит сенатор. И медленно, медленно, втихомолку проливая слезы, маленький Иоганн опять привыкает жить без моря, скучать, в вечном страхе помнить о Хагенштремах и утешаться обществом Кая, г-на Пфюля и музыкой.

Дамы Будденброк с Брейтенштрассе и тетя Клотильда, встретившись с ним, тотчас же спрашивают, как нравится

ему в школе после каникул, и все это с лукавым подмигиванием — им-де вполне понятно его положение — и с вздорным высокомерием взрослых, считающих чувства детей поверхностными, заслуживающими только шутливого отношения; и Ганно отвечает на их вопросы.

Дня через три или четыре по возвращении в город на Фишергрубе появляется домашний врач, доктор Лангхальс, чтобы проверить, каковы результаты пребывания на курорте. Он обстоятельно беседует с сенаторшей, затем призывается Ганно, и его, полураздетого, подвергают осмотру — для установления status praesens[1], как говорит доктор Лангхальс, глядя на свои ногти. Он ощупывает его чахлую мускулатуру, измеряет ширину груди, выслушивает сердце, заставляет рассказать о всех его жизненных отправлениях и под конец колет иглой его тоненький палец, чтобы у себя дома произвести анализ крови; по-видимому, он опять не слишком-то доволен своим пациентом.

— Мы изрядно подзагорели,— говорит он, одной своей волосатой рукой обнимая Ганно, а другую кладя ему на плечо, и при этом смотрит на сенаторшу и Иду Юнгман,— но вид у нас все еще очень грустный.

— Он тоскует по морю,— замечает Герда Будденброк.

— Так, так... значит, тебе нравится на море? — спрашивает доктор Лангхальс и смотрит на Ганно своими томными глазами. Ганно меняется в лице: что значит этот вопрос, на который доктор Лангхальс, по-видимому, ждет ответа? Безумная, фантастическая надежда, поддержанная ребяческой верой, что господь бог всемогущ,— назло всем учителям на свете,— зарождается в нем.

— Да,— выжимает он из себя, не спуская широко раскрытых глаз с доктора Лангхальса. Но тот, задавая этот вопрос, ничего, собственно, не имел в виду.

— Ну что ж, действие морских купаний и свежего воздуха еще скажется... скажется со временем! — говорит он, похлопывая по плечу маленького Иоганна, отстраняет его от себя и, кивнув головой сенаторше и Иде Юнгман, уверенно, благожелательно и ободрительно, как полагается знающему врачу, с которого не сводят взволнованного вопросительного взгляда, поднимается. Консультация окончена.

Живое сочувствие своей тоске по морю — ране, так медленно зарубцовывавшейся и при каждом соприкосновении с

---

[1] Настоящего положения *(лат.)*.

грубой будничной жизнью вновь начинавшей болеть и кровоточить,— Ганно встречал у тети Антонии; она с нескрываемым удовольствием слушала его рассказы о жизни в Травемюнде и от всей души присоединялась к его славословиям.

— Да, Ганно,— говорила она,— что правда, то правда, Травемюнде прекрасное место! Веришь, я по гроб жизни буду с радостью вспоминать об одном лете, которое я провела там совсем еще глупой девчонкой. Я жила у людей, очень мне приятных и которым я, кажется, тоже нравилась, потому что я тогда была прехорошенькой попрыгуньей и почти всегда веселой... да, да, теперь, будучи старой женщиной, я вправе это сказать! Они, надо тебе знать, были очень славные люди, честные, добродушные, прямолинейные и вдобавок такие умные, образованные, отзывчивые, каких я уже потом в жизни не встречала. Да, общение с ними было для меня весьма полезно. Я утвердилась там в моих взглядах и приобрела пропасть разных знаний, очень и очень пригодившихся мне в жизни. И если бы не случилось... ну, словом, если бы не произошли разные события, как всегда в жизни бывает... то я, дурочка, извлекла бы еще немало ценных сведений. Хочешь знать, какой глупышкой я была тогда? Я все старалась добыть из медузы пеструю звезду. Я набирала в носовой платок целую кучу этих тварей, приносила их домой и аккуратно раскладывала на балконе, когда там было солнце, чтобы они испарялись...— ведь звезды-то должны были остаться! Как бы не так... придешь посмотреть, а там только большое мокрое пятно и пахнет прелыми водорослями.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В начале 1873 года сенат удовлетворил ходатайство Гуго Вейншенка о помиловании, и бывший директор был выпущен на свободу за полгода до истечения срока.

По совести, г-жа Перманедер должна была бы признаться, что это событие отнюдь не послужило для нее источником радости и что ей, пожалуй, было бы приятнее, если бы все так и осталось по-старому. Она мирно жила с дочерью и внучкой на Линденплаце, встречаясь с семьей брата и своей пансионской подругой Армгард фон Майбом, урожденной фон Шиллинг, которая после смерти мужа переселилась в город. Г-жа Перманедер давно поняла, что только в родном городе она может чувствовать себя по-настоящему дома. Памятуя мюнхенский опыт и учитывая свое все растущее стремление к покою и вконец

расстроенное пищеварение, она не имела ни малейшей охоты на старости лет переезжать в какой-нибудь другой город своего объединенного отечества или, еще чего доброго, за границу.

— Дитя мое,— обратилась она однажды к дочери,— мне нужно задать тебе один вопрос, вопрос весьма серьезный... Продолжаешь ли ты всем сердцем любить своего мужа? Любишь ли ты его так, чтобы вместе с ребенком последовать за ним, куда бы его ни занесла судьба? Ведь о том, чтобы он остался здесь, не может быть и речи.

И так как г-жа Вейншенк, урожденная Грюнлих, заливаясь слезами, которые могли означать все, что угодно, и верная супружескому долгу, ответила точь-в-точь, как в свое время и при сходных обстоятельствах на вилле близ Гамбурга ответила отцу сама Тони, то отныне уже следовало считаться с предстоящей разлукой супругов.

Наступил день, почти такой же мрачный, как день ареста Вейншенка, когда г-жа Перманедер в закрытом экипаже самолично привезла зятя из тюрьмы. Она доставила его в свою квартиру на Линденплаце. Смущенно и растерянно поздоровавшись с женой и ребенком, он ушел в приготовленную для него комнату и стал с утра до вечера курить сигары, не осмеливаясь выйти на улицу, и обычно даже обедал в одиночку,— поседевший, вконец разбитый человек.

Тюремное заключение не отразилось на его здоровье, ибо у Гуго Вейншенка был могучий организм. И все же дело с ним обстояло плохо. Больно было видеть, как этот человек, по всей вероятности не совершивший ничего такого, чего бы не совершало изо дня в день большинство его коллег, и притом с чистой совестью,— человек, который, не попадись он случайно в руки правосудия, без сомнения, шествовал бы по жизненному пути с высоко поднятой головой и неомраченным душевным спокойствием,— был так окончательно сломлен гражданским своим падением, обвинительным приговором и трехлетним отбытием наказанья. На суде он с глубочайшей уверенностью утверждал, и сведущие люди с ним соглашались, что смелый маневр, предпринятый им в интересах страхового общества и своих собственных, в деловом мире не является редкостью и классифицируется как usance. Но юристы, люди, по его мнению, ровно ничего в этих делах не смыслящие, воспитанные в совсем иных понятиях и ином мировоззрении, признали его виновным в мошенничестве. И этот приговор, скрепленный авторитетом государства, до такой степени подорвал его веру в себя, что он не решался больше смотреть людям в глаза. Его упругая походка,

бодрая манера вилять корпусом, сжимать руки в кулаки и вращать глазами, сверхъестественное простодушие, позволявшее ему с высоты своего дикарского невежества задавать назойливые вопросы и рассказывать в обществе бог знает какие истории,— от всего этого не осталось и следа! Настолько, что домашним становилось страшно от его подавленности, запуганности, полной утраты чувства собственного достоинства.

После восьми или десяти дней, которые Гуго Вейншенк провел в своей комнате за курением сигар, он начал читать газеты и писать письма. А по прошествии еще восьми или десяти дней в довольно неопределенных выражениях объявил, что в Лондоне для него, по-видимому, наклевывается место, но он хочет поехать туда сначала один, чтобы все подготовить, и, только когда жизнь уже будет налажена, вызвать к себе жену и ребенка.

Провожаемый Эрикой, он поехал на вокзал в закрытом экипаже и отбыл из города, даже не показавшись на глаза ее родне.

Несколько дней спустя жена получила от него письмо, еще с дороги, из Гамбурга, в котором он извещал ее о своем решении ни в коем случае не соединяться с семьей и даже ничего не сообщать о себе, покуда он не сумеет обеспечить пристойное существование ей и ребенку. Это была последняя весть о Гуго Вейншенке, с тех пор никто о нем ничего не слышал. И хотя впоследствии многоопытная, предусмотрительная и энергичная г-жа Перманедер и пыталась с помощью газетных объявлений разыскать зятя, чтобы как она объясняла со значительным видом, убедительнее обосновать прошение о разводе, вызванном злоумышленным оставлением семьи,— он как в воду канул. Так вот и случилось, что Эрика Вейншенк с маленькой Элизабет остались жить у матери в ее светлой квартирке на Линденплаце.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Брак, от которого произошел маленький Иоганн, никогда не утрачивал своей привлекательности в качестве предмета городских пересудов. Ведь каждому из супругов была свойственна известная экстравагантность и загадочность, а следовательно, и самый их союз не мог не заключать в себе чего-то из ряда вон выходящего, даже сомнительного. И потому слегка приподнять завесу, узнать что-нибудь, помимо скудных общеизвестных фактов, о самой сути их отношений, представлялось

трудной, но тем более благодарной задачей... В гостиных и спальнях, в клубах и казино, даже на бирже о Герде и Томасе Будденброк говорили так много и охотно именно потому, что никто, собственно, ничего о них не знал.

Как они нашли друг друга, эти двое, и каковы их взаимоотношения? Многие вспоминали о внезапной решительности, проявленной восемнадцать лет назад Томасом Будденброком, тогда уже тридцатилетним мужчиной, заявившим: «Она, и никакая другая». Да, да, это были точные его слова. И что-то похожее, видимо, пережила и Герда, ибо в Амстердаме до двадцати семи лет она отваживала всех женихов, а за этого пошла не задумываясь. Значит — брак по любви, думали люди, ибо волей-неволей приходилось признать, что триста тысяч, которые г-н Арнольдсен дал за Гердой, играли в этом союзе только второстепенную роль. Но, с другой стороны, и особенной любви, вернее, того, что обычно понимается под словом «любовь», в отношениях четы Будденброк, даже и на первых порах, не было заметно. С самого начала в их обращении друг с другом прежде всего бросалась в глаза учтивость, необычная между супругами, корректность, почтительность, вдобавок еще, по какой-то уж совсем непонятной причине, вытекавшая не из взаимной отчужденности, а из весьма своеобычного, молчаливого, глубокого взаимного доверия, из постоянного внимания и заботы друг о друге. И годы ничего в этих отношениях не изменили. Единственное изменение состояло в том, что разница в возрасте обоих супругов, сама по себе крайне незначительная, начинала теперь сказываться, и притом очень резко.

Глядя на них, нельзя было не отметить, что муж в последние годы изрядно постарел и несколько даже обрюзг, тогда как жена по-прежнему оставалась молодой. Все в один голос твердили, что Томас Будденброк выглядит одряхлевшим,— да, иначе нельзя было выразиться,— несмотря на все его тщеславные, даже комические усилия выглядеть молодым и бодрым, тогда как Герда за восемнадцать лет почти не изменилась. Нервический холодок, в котором она жила и который всегда от нее исходил, казалось, законсервировал ее. Волосы Герды сохраняли все тот же темно-рыжий цвет, прекрасное белое лицо — свои гармонические очертания, фигура — стройность и благородную осанку. В уголках ее небольших, слишком близко посаженных карих глаз все так же залегали голубоватые тени. Эти глаза не внушали доверия. Они смотрели на мир как-то странно, и люди не умели разгадать, что в них таится. Эта женщина, холодная, замкнутая, настороженная, скрытная и неприступ-

ная, у которой немножко душевного тепла находилось только для музыки, возбуждала смутные подозрения. Люди старались наскрести крохи своей пропыленной житейской мудрости и обратить эту мудрость против супруги сенатора Будденброка. «В тихом омуте черти водятся! Видали мы таких недотрог!» Но так как им все-таки хотелось получше во всем этом разобраться, что-то разузнать, что-то себе уяснить, то с помощью своей жалкой фантазии они в конце концов пришли к выводу, что прекрасная Герда обманывает своего стареющего мужа.

Они стали присматриваться и в скором времени сошлись на том, что Герда Будденброк в своих отношениях с лейтенантом фон Трота, мягко говоря, переходит границы дозволенного.

Ренэ Мария фон Трота, уроженец Рейнской области, был подпоручиком одного из пехотных батальонов местного гарнизона. Красный воротник очень шел к его черным вьющимся волосам, высоко зачесанным над белым лбом. Несмотря на высокий рост и широкие плечи, в его внешности, а также в движениях, в манере говорить и молчать не было ровно ничего военного. Он любил сидеть засунув пальцы правой руки между пуговиц мундира и подперев щеку левой ладонью; в его поклонах не было и следа военной выправки, он даже не щелкал каблуками, и мундир, облегавший его мускулистое тело, носил небрежно, как штатский костюм. Тоненькие, косо сбегающие к уголкам рта юношеские усики, которые нельзя было ни вытянуть щипцами, ни задорно закрутить кверху, тоже способствовали сугубо штатскому виду лейтенанта. Но самым примечательным в нем были глаза: большие, необыкновенно блестящие и такие черные, что они казались глубокими сверкающими безднами; эти глаза мечтательно и вдумчиво смотрели на людей и окружающий мир.

В армию он, видимо, вступил против воли или, во всяком случае, не чувствуя прямого призвания к военному делу, ибо, несмотря на свою физическую силу, нес службу нерадиво и не пользовался любовью своих товарищей, к интересам и развлечениям которых — обычным интересам и развлечениям молодых офицеров, недавно вернувшихся из победоносного похода,— относился весьма равнодушно. В их среде лейтенант фон Трота слыл малоприятным и экстравагантным чудаком. Он предпочитал одинокие прогулки, не любил ни лошадей, ни охоты, ни карт, ни женщин и всей душой был предан музыке. Он играл на нескольких инструментах, и его высокая, чуждая военной выправке фигура, в которой, как и в его пылающих глазах, было что-то артистическое, примелькалась на всех концертах и

оперных представлениях. В клуб и в казино он никогда не заглядывал.

Лейтенант фон Трота заставил себя нанести визиты всем виднейшим семьям города, но от дальнейших посещений уклонился и бывал, собственно, только в доме Будденброков,— даже слишком часто, как считали все, в том числе и сам сенатор.

Никто не подозревал, что творится в душе Томаса Будденброка, никто *не должен* был подозревать; и вот это-то — держать всех и вся в неведении о своей тоске, ненависти и бессилии — и было так мучительно трудно. Сенатора уже начинали находить несколько смешным; но, может быть, люди сумели бы подавить в себе это чувство, пожалели бы его, знай они хоть в малой степени, как болезненно он боялся прослыть смешным, как давно уже чуял, что вот надвигается этот новый позор,— раньше даже, чем у других, шевельнулась у него первая догадка. Даже суетность сенатора, над которой втихомолку подсмеивались его сограждане, в значительной мере возникла из этого страха. Он первый с тревогой подметил все растущее несоответствие между своим собственным видом и таинственной неувядаемостью Герды, и теперь, когда в его доме появился г-н фон Трота, ему приходилось напрягать остаток сил, чтобы скрывать эту тревогу, более того — подавлять ее в себе: ведь как только она будет замечена, его имя станут произносить с насмешливой улыбкой.

Герда Будденброк и странный молодой офицер сблизились на почве музыки. Г-н фон Трота одинаково хорошо играл на рояле, на скрипке, альте, виолончели и флейте, и сенатор нередко узнавал о предстоящем его приходе по тому, что мимо окон конторы проходил денщик лейтенанта с футляром для виолончели и исчезал в глубине дома. И тогда Томас Будденброк, сидя за своим письменным столом, ждал, покуда не войдет в его дом друг его жены и там, в большой гостиной, над конторой, не оживут потоки звуков. Они пели, жаловались и, словно воздевая молитвенно сложенные руки, в нечеловеческом ликовании уносились ввысь и после безумных, дерзких, экстатических неистовств, перейдя в плач, в слабые всхлипы, растворялись в ночи и молчании. Нет, пусть уж лучше поют и брызжут эти валы, пусть стонут, плачут, вспениваясь, набегают друг на друга, принимая небывалые, причудливые формы! Самое страшное, нестерпимо мучительное — это тишина, которая следует за бурей звуков и царит там, наверху, в гостиной,— долго, долго. Слишком глубокая, слишком безжизненная, она наполняет ужасом его сердце. Ни одна половица не скрипнет

над его головой, никто даже стулом не двинет. Греховная, немая, сомнительная тишина! А Томас Будденброк все сидел и боялся — боялся так, что время от времени даже тихонько стонал.

Что же страшило его? Опять люди видели, что к нему в дом вошел г-н фон Трота, и он их глазами смотрел на все происходившее и видел то, что представлялось им: себя самого — стареющего, износившегося, брюзгливого — сидящим у окна внизу, в конторе, в то время как наверху его красавица жена музицирует со своим вздыхателем и... не только музицирует. Да, именно так представляют они себе то, что происходит у него в доме... и он это знал. Но знал также, что слово «вздыхатель», собственно, никак не подходит к г-ну фон Трота. Ах, он был бы почти счастлив, имей он основание так именовать его, смотреть на него с презрением, как на заурядного вертопраха, который с обычной юношеской заносчивостью по-дилетантски занимается искусством и тем пленяет женские сердца. Он всеми силами пытался именно таким себе его представить, единственно с этой целью пробуждал в себе инстинкты своих предков: скептическое недоверие усидчивого и бережливого купца к легкомысленной, охочей до приключений, несолидной военной касте. Мысленно, да и не только мысленно, он всегда пренебрежительно именовал г-на фон Трота лейтенантом,— но при этом слишком ясно чувствовал, что таким именованием ни в малейшей мере не характеризует сущности этого молодого человека.

Что же страшило Томаса Будденброка? Ничего! Ничего определенного. Ах, если бы он восставал против чего-то реального, простого, грубого! Он завидовал тем, которые так ясно и просто представляли себе то, что творится у него в доме. Но когда он сидел здесь, мучительно вслушиваясь и сжимая голову обеими руками, он слишком хорошо знал, что словами «измена» и «прелюбодеяние» не обозначить того певучего и бездонно-тихого, что свершалось там, наверху.

Временами, глядя в окно на улицу, на прохожих или останавливая свой взор на юбилейном даре — портретах предков, думая об истории своего торгового дома, он говорил себе, что это конец всему, что для полного распада только этого еще и недоставало. Да, для довершения всего недоставало только, чтобы он стал посмешищем, а его семейная жизнь — предметом городских пересудов. Но эта мысль оказывала на него действие почти благотворное — так просто она укладывалась в слова, такой казалась ему осязаемой, здоровой, естественной по сравне-

нию с раздумьем над той постыдной загадкой, той скандальной тайной — там, наверху...

Он не выдерживал этой муки, отодвигал кресло, уходил из конторы и подымался наверх. Куда идти? В большую гостиную? Непринужденно и немного свысока поздороваться с г-ном фон Трота, пригласить его к ужину и выслушать, как это бывало уже неоднократно, учтивый отказ? Ибо самое невыносимое было то, что лейтенант откровенно избегал его, почти всегда отклонял официальные приглашения, предпочитая им свободное, с глазу на глаз, общение с госпожой сенаторшей.

Ждать? Ждать где-нибудь — ну, хотя бы в курительной,— покуда он уйдет, а потом пойти к Герде, объясниться с ней, заставить ее говорить? Но Герду говорить не заставишь, с ней не объяснишься. Да и о чем? Брак их основан на взаимном понимании, взаимном уважении и доверии. Не стоит делать себя смешным еще и в ее глазах. Разыгрывать ревнивца — значит подтверждать правоту сплетников, усиливать скандал, предавать его гласности... Испытывал ли он ревность? К кому? Из-за чего? Ах, да ни в какой степени! Ревность — сильное чувство, оно толкает человека на действия, пусть неправильные, сумасбродные, но захватывающие его целиком, раскрепощающие его душу. А он? Он испытывает только страх, мучительный страх вконец затравленного человека.

Сенатор Будденброк проходит в гардеробную, чтобы смочить лоб одеколоном, и опять спускается вниз, полный решимости во что бы то ни стало нарушить тишину в большой гостиной. Но стоило ему взяться за черную с позолотой ручку белой двери, как разражалась бурная музыка. Он поворачивался, уходил, спускался по черной лестнице в нижний этаж, шел в сад через прихожую и каменные сени, возвращался, поглаживал медведя, поднявшегося на задние лапы, останавливался на нижней площадке, возле аквариума с золотыми рыбками, нигде не находил покоя, прислушивался, подстерегал, подавленный стыдом и горем, гонимый страхом — равно перед тайным и перед открытым скандалом...

Однажды, в такой вот час, когда сенатор, стоя на галерее, смотрел вниз, в пролет лестницы, маленький Иоганн вышел из своей комнаты и по ступенькам «балкона» спустился в коридор, направляясь в комнату к Иде Юнгман. Он шел, постукивая по стене учебником, и уже совсем было собрался, опустив глаза и тихонько поздоровавшись, проскользнуть мимо отца, но тот остановил его:

— Что поделываешь, Ганно?

— Готовлю уроки, папа. Я к Иде, хочу, чтобы она мне помогла...

— Ну, как сегодня было в школе? Что вам задано?

Ганно проглотил слюну и, не поднимая ресниц, быстро, явно стараясь говорить четко, уверенно и вразумительно, отвечал:

— Нам задано, во-первых, из Непота, потом переписать набело накладную, правило из французской грамматики, реки Северной Америки, выправить сочинение...

Он замолчал, огорчившись, что не сказал «и» перед «выправить сочинение» и не понизил к концу фразы голос,— ведь больше ему назвать было нечего, и весь ответ звучал как-то отрывочно и неопределенно.

— Вот и все,— добавил он, стараясь закруглить предложение, но так и не поднимая глаз.

Впрочем, отец, кажется, ничего не заметил. Он рассеянно держал в своих руках свободную руку Ганно и, явно не расслышав его ответа, бессознательно ощупывал нежные суставы детской кисти. И вдруг Ганно услышал то, что не стояло ни в какой связи с их разговором,— услышал тихий, срывающийся от страха, почти заклинающий голос, никогда не слышанный им и все же голос отца:

— А лейтенант уже два часа у мамы, Ганно...

И что же? При звуке этого голоса Ганно поднял золотисто-карие глаза и открытым, ясным, любящим взглядом, как никогда не смотрел раньше на отца, посмотрел на это лицо с покрасневшими веками под светлыми бровями и бледными, немного одутловатыми щеками, которые как-то безжизненно прочерчивались узкими, вытянутыми в струнку усами. Бог весть много ли он понял. Одно только можно сказать с уверенностью — и оба они это почувствовали: в секунду, когда взоры их встретились, между ними исчезла всякая отчужденность, холодность, всякая неловкость и взаимное непонимание — настолько, что Томас Будденброк твердо знал теперь: не только в данное мгновенье, но и всегда, когда речь будет идти не о бодрости, деловитости, а о страхе и боли, он может твердо полагаться на любовь и преданность сына.

Однако сенатор постарался этого не заметить, все сделал, чтобы пройти мимо такого открытия. В ту пору он строже, чем когда-либо, следил за практической подготовкой Ганно к будущей деятельной жизни, проверял его способности, требовал от него решительных изъявлений любви к будущему призванию и приходил в ярость при малейшем признаке сопротивления или

равнодушия. Ибо сорока восьми лет от роду Томас Будденброк решил, что дни его сочтены, и уже начал считаться с возможностью близкой смерти.

Его физическое самочувствие ухудшилось. Отсутствие аппетита, бессонница, головокружения и приступы озноба, которым он всегда был подвержен, уже не раз вынуждали его обращаться за советом к доктору Лангхальсу. Но заставить себя исполнять врачебные предписания он не мог. На это у него уже не хватало силы воли, надломившейся за годы мучительной апатии. Он начал долго спать по утрам, и хотя каждый вечер сердито принимал решенье рано встать и перед чаем совершить предписанную прогулку, но осуществил это на деле только раза два или три. И так во всем. Непрестанное напряжение воли, безуспешное и не приносящее удовлетворения, терзало его самолюбие, временами доводило его до отчаяния. Он отнюдь не собирался отказываться от легкого дурмана маленьких крепких русских папирос, которые с юношеских лет привык курить в огромном количестве. Доктору Лангхальсу он так и заявил: «Видите ли, доктор, запрещать мне курить — ваша обязанность, кстати сказать, не слишком трудная и даже приятная, а вот придерживаться этого запрета — уж мое дело! Тут вам остается только наблюдать... Отныне мы будем вместе работать над моим здоровьем, хотя роли распределены очень несправедливо — мне достанется львиная доля работы! Да, да, не смейтесь! Я не шучу... Скверная штука работать в одиночку... Не закурить ли нам? Прошу!» И он протянул ему свой тульский портсигар.

Его силы, душевные и физические, падали; крепло в нем только убеждение, что долго это продолжаться не может и конец уже не за горами. Странные предчувствия посещали его. Так, например, за столом ему вдруг начинало казаться, что он не сидит дома со своими, а смотрит на них из каких-то далеких, туманных сфер... «Я умру»,— говорил он себе и снова призывал Ганно, опять пытался воздействовать на него.

— Я могу умереть раньше, чем все мы полагаем, мой мальчик, и тебе придется занять мое место! Я тоже рано вступил в дело... Пойми же, что твое равнодушие мучит меня! Решился ты наконец?.. «Да, да» — это не ответ... Ты так и не даешь мне ответа! Я спрашиваю, решился ли ты взяться за работу смело, радостно... Или ты думаешь, что у нас достаточно денег и тебе можно будет ничего не делать? У тебя ничего нет или только самая малость, ты будешь полностью предоставлен сам себе! Если ты хочешь жить, и жить хорошо, тебе придется трудиться — трудиться много, напряженно, больше, чем трудился я...

Но не только забота о будущности сына и фирмы заставляла его страдать. Что-то другое, новое, нашло на него, завладело его душой, заставило работать его утомленный мозг. С тех пор как земной конец перестал быть для него отвлеченной, теоретической, а потому не приковывающей к себе внимания неизбежностью, а сделался чем-то совсем близким, ощутимым и требующим непосредственной, практической подготовки, Томас Будденброк начал задумываться, копаться в себе, испытывать свое отношение к смерти, к потустороннему миру. И едва сделав эту попытку, он постиг всю безнадежную незрелость и неподготовленность своей души к смерти.

Обрядовая вера, сентиментальное традиционное христианство — словом, то, что его отец умел так хорошо сочетать с практической деловитостью и что впоследствии усвоила его мать,— всегда было чуждо Томасу Будденброку; к началу и концу вещей он всю жизнь относился со светским скептицизмом своего деда. Но, будучи человеком более глубоких запросов, более гибкого ума и тяготея к метафизике, он не мог удовлетворяться поверхностным жизнелюбием старого Иоганна Будденброка; вопросы вечности и бессмертия он понимал исторически, говоря себе, что жил в предках и будет жить в потомках. Эта мысль не только согласовалась с его родовым инстинктом, с патрицианским самосознанием, с уважением к истории семьи, но и давала ему силу для его деятельности, подстегивала его честолюбие и подкрепляла, поддерживала его во всех жизненных начинаниях. А теперь, перед всевидящим оком близкой смерти, она вдруг рухнула, рассыпалась в прах, не способная даровать ему хотя бы час покоя и сознания готовности к смерти.

Хотя Томас Будденброк всю жизнь кокетничал своей склонностью к католицизму, в нем жило серьезное, глубокое, суровое до самоистязания, неумолимое чувство долга, отличающее истинного, убежденного протестанта. Нет, перед лицом высшего и последнего не существовало никакой помощи извне, никакого посредничества, отпущения грехов и утешительного забвения. В одиночестве, только собственными силами, в поте лица своего, пока не поздно, надо разрешить загадку, достичь полной готовности к смерти или уйти из этого мира в отчаянии. И Томас Будденброк разочарованно и безнадежно отвернулся от своего единственного сына, в котором надеялся жить дальше, омоложенный, сильный, и в торопливом страхе начал искать правды, которая ведь должна была где-то существовать для него.

Стояло лето 1874 года. Серебристо-белые пухлые облачка проплывали в синеве над симметрично разбитым садом на Фишергрубе; в ветвях орешника, словно вопрошая о чем-то, чирикали птицы: струи фонтана плескались в венке посаженных вкруг него высоких лиловых ирисов, и запах сирени, увы, мешался с запахом сладкого сиропа, который теплый ветерок доносил с соседней кондитерской фабрики. К изумлению служащих, сенатор теперь часто уходил из конторы в разгар рабочего дня и, заложив руку за спину, отправлялся в сад — там он разравнивал гравий на дорожках, выуживал тину из фонтана, подвязывал розовые кусты... Лицо его со светлыми бровями, из которых одна была чуть выше другой, за этими занятиями становилось серьезным, внимательным, но его мысли блуждали где-то во мраке, по трудным, ему одному ведомым тропам.

Иногда он присаживался на балкончике павильона, сплошь увитого диким виноградом, и невидящим взглядом смотрел на заднюю кирпичную стену своего дома. Теплый воздух, напоенный сладкими запахами, мирные шорохи вокруг, казалось, хотели умягчить, убаюкать его. Усталый от созерцания пустоты, измученный одиночеством и молчанием, он временами закрывал глаза, чтобы тут же вновь широко раскрыть их, гоня от себя умиротворение. «Я должен думать,— почти вслух произносил он,— должен все упорядочить, пока не поздно...»

Здесь, в этом павильоне, в легкой бамбуковой качалке, он просидел однажды четыре часа кряду, с все возрастающим интересом читая книгу, попавшуюся ему в руки, трудно даже сказать, в результате сознательных поисков или случайно... Как-то раз, в курительной комнате, после завтрака, с папироской в зубах, он обнаружил эту книгу в дальнем углу шкафа, засунутой за другие книги, и тут же вспомнил, что уже давно приобрел ее по сходной цене у букиниста... приобрел и забыл о ней; это был объемистый том, плохо отпечатанный на тонкой желтоватой бумаге и плохо сброшюрованный,— вторая часть прославленной метафизической системы. Он взял книгу с собою в сад и теперь как зачарованный перевертывал страницу за страницей.

Неведомое чувство радости, великой и благодарной, овладело им. Он испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение, узнавая, как этот мощный ум покорил себе жизнь, властную, злую, насмешливую жизнь,— покорил, чтобы осудить. Это было удовлетворение страдальца, до сих пор стыдливо, как человек с нечистой совестью, скрывавшего свои страдания перед лицом холодной жестокости жизни, страдальца, который из рук вели-

кого мудреца внезапно получил торжественно обоснованное право страдать в этом мире — в лучшем из миров, или, вернее, худшем, как неоспоримо и ядовито доказывалось в этой книге.

Он не все понимал: принципы и предпосылки оставались для него неясными. Его ум, не привычный к такого рода чтению, временами не мог следовать за всеми ходами мысли. Но как раз от этой смены света и тени, тупого непониманья, смутных чаяний и внезапных прозрений у него и захватывало дыхание. Часы летели, а он не отрывал глаз от книги, продолжая сидеть все в том же положении, в котором раскрыл ее.

Поначалу он пропускал целые страницы, торопясь вперед, бессознательно алча добраться до главного, до самого важного, задерживаясь только на том, что сразу приковывало его вниманье. Но вскоре ему попалась целая глава, которую он, плотно сжав губы и насупив брови, прочитал от первого до последнего слова, не замечая ни единого проявления жизни вокруг, с выражением почти мертвенной суровости на лице — ибо эта глава называлась: «О смерти и ее отношении к нерушимости нашего существа в себе».

Он не успел дочитать только нескольких строк, когда горничная пришла звать его к обеду. Томас Будденброк кивнул, дочитал до конца, закрыл книгу и осмотрелся вокруг. Он почувствовал, что душа его необъятно расширилась, поддалась тяжелому, смутному опьянению, мозг затуманился. Его почти шатало от того непостижимо нового, влекущего, искусительного, что нахлынуло на него, словно первая, манящая вдаль любовная тоска. Но когда он холодными, дрожащими руками стал класть книгу в ящик садового столика, его пылающий мозг, не способный ни на одну четкую мысль, был так придавлен чем-то, так страшно напряжен, словно вот-вот что-то должно было лопнуть в нем.

«Что это было? — спрашивал он себя, идя к дому, поднимаясь по лестнице, садясь за стол.— Что со мной произошло? Что мне открылось? Что было возвещено мне, Томасу Будденброку, сенатору этого города, шефу хлеботорговой фирмы «Иоганн Будденброк»?.. Ко мне ли это относилось? И смогу ли я это вынести? Я не знаю, что это было... Знаю только, что для моих бюргерских мозгов это чрезмерно много».

В этом тяжком, смутном, бездумном состоянии, словно оглушенный чем-то, он пребывал весь день. Но наступил вечер, голова его стала бессильно клониться; он рано ушел спать и проспал три часа небывало глубоким сном. Проснулся он так

внезапно, в таком блаженном испуге, как просыпается человек с зарождающейся любовью в сердце.

Он знал, что лежит один в большой спальне; Герда спала теперь в комнате Иды Юнгман, которая перебралась поближе к маленькому Иоганну. Беспросветная тьма царила вокруг, занавеси на обоих высоких окнах были плотно сдвинуты. Среди полной тишины, в теплой духоте летней ночи он лежал на спине и вглядывался во мрак.

И что же: тьма вокруг расступилась перед его глазами, словно раздвинулась бархатная завеса, открывая его взгляду необозримую, уходящую в бесконечную глубину вечную светлую даль. *«Я буду жить!* — почти вслух проговорил Томас Будденброк и почувствовал, как грудь его сотрясается от внутреннего рыданья.— Это и значит, что я буду жить! *Это* будет жить, а то, неведомое,— *это* не я, морок, заблуждение, которое рассеет смерть. Да, так, так оно и есть!.. Почему?» И при этом вопросе ночь снова сомкнулась перед ним. Опять он ничего не видел, не знал, не понимал даже самого простого. Он крепче прижался головой к подушке, ослепленный, изнемогающий от той крупицы истины, которую ему только что дано было постичь.

Он продолжал лежать не шевелясь и, замирая, ждал, готовый молиться о том, чтобы вновь повторилось то, что с ним было, чтобы оно еще раз пришло и просветило его. И оно повторилось. Молитвенно сложив руки, боясь даже пошевелиться, он лежал, радуясь дарованному ему свету.

Что есть смерть? Ответ на этот вопрос являлся ему не в жалких, мнимозначительных словах: он его чувствовал, этот ответ, внутренне обладал им. Смерть — счастье, такое глубокое, что даже измерить его возможно лишь в минуты, осененные, как сейчас, благодатью. Она — возвращение после несказанно мучительного пути, исправление тягчайшей ошибки, освобождение от мерзостных уз и оков. Придет она — и всего рокового стечения обстоятельств как не бывало.

Конец и распад? Жалок, жалок тот, кого страшат эти ничтожные понятия! *Что* кончится и *что* подвергнется распаду? Вот это его тело... Его личность, его индивидуальность, это тяжеловесное, трудно подвижное, ошибочное и ненавистное *препятствие к тому, чтобы стать чем-то другим, лучшим!*

Разве каждый человек не ошибка, не плод недоразумения? Разве, едва родившись, он не попадает в узилище? Тюрьма! Тюрьма! Везде оковы, стены! Сквозь зарешеченные окна своей индивидуальности человек безнадежно смотрит на крепостные

валы внешних обстоятельств, покуда смерть не призовет его к возвращению на родину, к свободе...

Индивидуальность!.. Ах, то, что мы есть, то, что мы можем и что имеем, кажется нам жалким, серым, недостаточным и скучным; а на то, что не мы, на то, чего мы не можем, чего не имеем, мы глядим с тоскливой завистью, которая становится любовью,— хотя бы уже из боязни стать ненавистью.

Я ношу в себе зачатки, начала, возможности всех родов деятельности и призваний... Не будь я здесь, где бы я мог быть? В качестве кого и чего я существовал бы, если б не был собой, если б вот эта моя личность не отделяла меня и мое сознание от личностей и сознаний всех тех, кто не я? Организм! Слепая, неосмысленная, жалкая вспышка борющейся воли! Право же, лучше было бы этой воле свободно парить в ночи, не ограниченной пространством и временем, чем томиться в узилище, скудно освещенном мерцающим, дрожащим огоньком интеллекта!

Я надеялся продолжать жизнь в сыне? В личности еще более робкой, слабой, неустойчивой? Ребячество, глупость и сумасбродство! Что мне сын? Не нужно мне никакого сына!.. Где я буду, когда умру? Но ведь это ясно как день, поразительно просто! Я буду во всех, кто когда-либо говорил, говорит или будет говорить «я»; *и прежде всего в тех, кто скажет это «я» сильнее, радостнее...*

Где-то в мире подрастает юноша, талантливый, наделенный всем, что нужно для жизни, способный развить свои задатки, статный, не знающий печали, чистый, жестокий, жизнерадостный,— один из тех, чья личность делает счастливых еще счастливее, а несчастных повергает в отчаяние,— вот это мой сын! *Это я* в скором, в очень скором времени — как только смерть освободит меня от жалкого, безумного заблуждения, будто *я* не столько *он,* сколько *я*...

Разве я ненавидел жизнь, эту чистую, жестокую и могучую жизнь? Вздор, недоразумение! Я ненавидел только себя — за то, что не умел побороть ее. Но я люблю вас, счастливые, всех вас люблю, и скоро тюремные тесные стены уже не будут отделять меня от вас; скоро то во мне, что вас любит,— моя любовь к вам,— станет свободным, я буду с вами, буду в вас... с вами и в вас, во всех!..

Он заплакал. Прижавшись лицом к подушке, плакал, потрясенный, в дурмане счастья вознесшийся ввысь,— счастья, такого болезненно-сладостного, с которым ничто на свете не могло сравниться. Это и было все то, что со вчерашнего дня

пьянило его смутным волнением, что ночью шевельнулось у него в сердце и разбудило его, как зарождающаяся любовь. И теперь, когда ему было даровано все это прозреть и познать — не в словах, не в последовательных мыслях, но во внезапных, благодатных озарениях души,— он уже был свободен, был спасен; узы разорвались, оковы спали с него. Стены его родного города, в которых он замкнулся сознательно и добровольно, раздвинулись, открывая его взору мир — весь мир, клочки которого он видел в молодости и который смерть сулила подарить ему целиком. Обманные формы познания пространства, времени, а следовательно, и истории, забота о достойном исторически преемственном существовании в потомках, страх перед окончательным историческим распадом и разложением — все это отпустило его, не мешало больше постижению вечности. Ничто не начиналось, и ничто не имело конца. Существовало только бескрайное настоящее и та сила в нем, Томасе Будденброке, которая любила жизнь болезненно-сладостной, настойчивой, страстной любовью; и хотя личность его была всего-навсего искаженным выражением этой любви, ей все же дано было теперь найти доступ к бескрайному настоящему.

«Я буду жить!» — прошептал он в подушку, заплакал и... в следующее мгновение уже не знал о чем. Его мозг застыл, знание потухло, вокруг опять не было ничего, кроме тишины и мрака. «Оно вернется! — уверял он себя.— Разве я уже не обладал им?» И в то время как дремотное томление разливалось по его членам, он дал себе торжественное обещание никогда не упускать этого великого счастья, напротив — собрать все свои силы, чтобы учиться, думать, читать, покуда он не усвоит прочно и навечно всю философскую систему, которая даровала ему прозрение.

Но это было неосуществимо, и уже на следующее утро, проснувшись с чувством известной неловкости из-за духовных экстравагантностей, которые он себе позволил вчера, сенатор почувствовал, что из этого прекрасного порыва ничего не выйдет.

Он поздно встал, сразу же отправился в городскую думу и принял оживленное участие в происходивших там дебатах. Общественная, деловая, гражданская жизнь, бившаяся в кривых старинных улочках этого торгового города средней руки, опять завладела всеми его помыслами, потребовала всех его сил. Не оставляя намерения прочесть до конца ту удивительную книгу, он все же начал задаваться вопросом, будут ли

переживания той ночи и впредь что-то значить для него, выдержат ли они испытание смертью, когда она к нему подступит. Его бюргерские инстинкты противились этому предположению. Противилась и его суетность: страх играть чудаческую, смешную роль. Да разве к лицу ему все это? Разве подобают такие размышления ему, сенатору Томасу Будденброку, шефу фирмы «Иоганн Будденброк»?

Так он больше и не заглянул в эту странную книгу, хранившую столько сокровищ, и уж и подавно не приобрел остальных томов знаменитого труда. Нервический педантизм, с годами им завладевший, пожирал все его время. Затравленный сотнями ничтожных будничных мелочей, силясь все их удержать в памяти, все сделать по порядку, он был слишком слабоволен, чтобы разумно и осмысленно распределять свое время. А когда прошло две недели с того достопамятного дня, все пережитое уже казалось ему столь далеким, что он приказал горничной взять книгу, все еще валявшуюся в ящике садового столика, и немедленно поставить ее на место, в шкаф.

Вот и случилось, что Томас Будденброк, с мольбою простиравший руки к последним, наивысшим истинам, обессилев, вернулся к понятиям и образам, с детства внушенным ему благочестивым обиходом родительского дома. Он ходил по городу и думал о едином, персонифицированном боге, отце рода человеческого, пославшем на землю кровь и плоть свою, дабы сын божий пострадал за нас, о боге, который в день Страшного суда дарует всем припавшим к его престолу праведникам беспечальную вечную жизнь в вознаграждение за эту земную юдоль.

Он вспоминал всю эту не очень-то ясную и несколько нелепую историю, требовавшую не понимания, а безотчетной веры, которая, навеки воплотившись в детски наивных, раз и навсегда установленных словах, должна была оказаться под рукой в минуты последнего страха. Но так ли оно будет? Увы, и эти мысли не приносили ему умиротворения! Он — человек с вечно точащей его сердце заботой о чести своего дома, о своей жене, сыне, о своем добром имени, человек, утомленный жизнью, с трудом, но умело поддерживавший бодрость в своем теле элегантностью костюма и корректностью манер,— уже долгие недели терзался вопросом: так что же происходит? Возможно ли, чтобы душа непосредственно после смерти возносилась на небеса? Или блаженство начинается с воскресения плоти? И где же тогда обретается душа до этого мгновения?

Почему ни в школе, ни в церкви никто не просветил его? Можно ли оставлять человека в таком неведении?

Он уже совсем было собрался отправиться к пастору Прингсгейму за советом и утешением, но в последний момент отказался от своего намерения из боязни показаться смешным.

В конце концов он перестал задаваться такими вопросами, положившись на волю божию. Раз попытка упорядочить свои отношения с вечностью привела к столь плачевным результатам, он решил, по крайней мере, устроить свои земные дела так, чтобы, не чувствуя укоров совести, привести в исполнение план, уже давно созревший в его голове.

Однажды, после обеда, когда родители пили кофе в маленькой гостиной, Ганно услышал, как отец объявил маме, что ждет сегодня к себе адвоката имярек, чтобы вместе с ним составить завещание, не считая себя вправе дольше откладывать это дело. Ганно ушел в большую гостиную и там часок поупражнялся на рояле. Когда он кончил и вышел в коридор, навстречу ему попались отец с господином в длинном черном сюртуке, поднимавшиеся по лестнице.

— Ганно! — окликнул его сенатор.

Маленький Иоганн остановился, проглотил слюну и ответил тихо и торопливо:

— Да, папа...

— Мне нужно обсудить с этим господином очень важное дело. Прошу тебя, стань вот здесь.— Он указал на дверь в курительную комнату.— Проследи, чтобы никто, слышишь — никто нам не помешал.

— Хорошо, папа,— сказал маленький Иоганн и встал у двери, закрывшейся за отцом и неизвестным господином.

Он стоял там, теребя галстук своей матроски, непрерывно трогал языком зуб, который его беспокоил, и прислушивался к приглушенным голосам за дверью, что-то серьезно обсуждавшим. Голову с завитками русых волос на висках он склонил набок, а его золотисто-карие глаза с голубоватыми тенями в уголках смотрели из-под нахмуренных бровей задумчиво и отчужденно, как в день, когда он стоял у гроба бабушки и вместе с запахом цветов вдыхал другой, посторонний и все же странно знакомый запах.

Мимо прошла Ида Юнгман и удивилась:

— Куда это ты запропастился, дружок, и что тебе вздумалось здесь стоять?

Из конторы пришел горбатый ученик с депешей в руках и спросил сенатора.

И Ганно всякий раз рукою с якорем на синем рукаве загораживал дверь, качал головой и, помолчав с секунду, объявлял тихо, но твердо:

— Нельзя никому. Папа пишет завещание.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Осенью доктор Лангхальс, как женщина играя своими красивыми глазами, объявил:

— Нервы, господин сенатор. Все дело в нервах. Хотя временами и кровообращенье оставляет желать лучшего. Разрешите дать вам совет? Вам следовало бы немного отдохнуть в этом году. За все лето три-четыре воскресных дня на взморье не могли, конечно, оказать сколько-нибудь эффективного действия. Сейчас конец сентября, в Травемюнде сезон продолжается, не все еще разъехались,— отправляйтесь-ка туда, господин сенатор, и посидите немножко на берегу моря. Две-три недели многое могут поправить...

И Томас Будденброк, не колеблясь, согласился. Но когда он сообщил близким о своем решении, Христиан тотчас же стал навязываться ему в провожатые.

— Я еду с тобой, Томас,— без обиняков заявил он.— Ты ведь ничего не будешь иметь против?

И хотя сенатор имел против очень многое, он и на это согласился не колеблясь.

Христиан теперь больше, чем когда-либо, располагал своим временем, так как вследствие пошатнувшегося здоровья счел себя вынужденным отказаться и от той коммерческой деятельности, которой он занимался в последнее время, а именно — от агентуры по продаже коньяка и шампанских вин. Призрак, сидящий в сумерках на софе в его комнате и кивающий ему головой, больше, к счастью, не посещал его. Но периодическая «мука» в левой стороне, пожалуй, еще усилилась, и наряду с ней появилось множество других недугов, к которым Христиан прислушивался с неусыпным вниманием и о которых, наморщив нос, подробно рассказывал всем встречным и поперечным. Случалось, как это бывало и прежде, что глотательные мускулы вдруг отказывались служить ему; тогда он корчился с куском, застрявшим в глотке, и его круглые, глубоко сидящие глазки испуганно шныряли по сторонам. Случалось, как это бывало и прежде, что его вдруг охватывал смутный, но непреодолимый страх перед параличом языка,

конечностей или даже мозговых центров. Правда, ничего подобного с ним не случалось, но ведь еще неизвестно, что хуже — страх перед такой бедой или она сама. Он с бесконечными подробностями рассказывал, как однажды, собравшись вскипятить себе чай, поднес зажженную спичку не к спиртовке, а к бутылке со спиртом, так что опасность страшной гибели грозила не только ему, но всем жильцам дома и, возможно, даже соседних домов... Это был бесконечный рассказ. Но еще более обстоятельно и проникновенно, силясь выражаться как можно точнее, описывал Христиан отвратительную аномалию, которую он стал подмечать в себе последнее время. Она состояла в том, что по известным дням, то есть при известной погоде и соответствующем душевном состоянии, он не мог видеть раскрытого окна, не испытывая омерзительного и ничем не объяснимого влечения выпрыгнуть из него — влечения страстного, почти необоримого, похожего на какой-то безумный, отчаянный задор! Однажды, в воскресенье, когда все семейство обедало на Фишергрубе, Христиан поведал, как он, собрав все силы духа, на четвереньках пробирался к окну, чтобы закрыть его. Но тут все зашикали и наотрез отказались слушать дальше.

Подобные признания он делал с каким-то непостижимым удовольствием. Но вот за чем он не наблюдал, чего вовсе не замечал за собой и что никак не доходило до его сознания, а потому все больше бросалось в глаза,— это отсутствие чувства такта, с каждым годом принимавшее все более устрашающие размеры. Плохо было уже то, что он в семейном кругу рассказывал анекдоты такого сорта, которые с грехом пополам можно было рассказать в клубе, но еще хуже, что он, видимо, начал утрачивать и чувство физической стыдливости. Вознамерившись похвалиться перед невесткой Гердой, с которой он был в приятельских отношениях, прочностью своих английских носков и заодно продемонстрировать ей свою худобу, он, нимало не стесняясь, задрал широкую клетчатую штанину до самого колена.

— Нет, ты посмотри только, как я исхудал. Разве это не страшно, а? — сокрушенно произнес Христиан, морща нос и вытягивая вперед свою костлявую кривую ногу в белых вязаных кальсонах, уныло облегающих худые колени.

Теперь, как мы уже говорили, Христиан отказался от всякой коммерческой деятельности. Но он все же пытался чем-нибудь заполнять часы, которые проводил вне клуба, и стремился подчеркнуть, что, несмотря на все препятствия, никогда

не перестает трудиться. Он расширял свои познания в иностранных языках и даже начал — из любви к искусству, без всякой практической цели — изучать китайский язык, на каковое занятие и положил две недели усердного труда. В настоящее время он пытался «дополнить» неудовлетворительный, по его мнению, англо-немецкий словарь. Но поскольку он считал для себя полезной перемену воздуха, а для сенатора желательным, чтобы кто-нибудь его сопровождал, то эти труды, конечно, не могли воспрепятствовать его отъезду.

Оба брата отправились к морю. Они ехали по сплошным лужам, под стук дождя, барабанившего о верх кареты, не обмениваясь почти ни единым словом. Глаза Христиана блуждали, словно он прислушивался к чему-то крайне подозрительному. Томас зябко кутался в пальто и устало глядел перед собой; веки его были красны, острые концы усов безжизненно прочерчивали его одутловатые щеки.

Так они въехали под вечер в парк, и колеса экипажа зашуршали по мокрому гравию. На застекленной веранде главного здания сидел старый маклер Зигизмунд Гош и пил грог. Он поднялся, прошипев сквозь зубы что-то вроде приветствия, и они подсели к нему, чтобы согреться каким-нибудь питьем, пока внесут наверх их чемоданы.

Господин Гош тоже был запоздалым курортным гостем, подобно немногим другим приезжим — какой-то английской семье, незамужней голландке и холостому гамбуржцу, которые, видимо, сейчас спали, так как вокруг стояла мертвая тишина и слышалось только журчанье дождевых потоков. Пусть их спят! Г-н Гош днем не смежает глаз. Он рад, если ему удается хоть ночью забыться на часок-другой. Здоровье его вконец расшаталось; он лечится здесь морским воздухом от дрожи в конечностях... Проклятье! Он уже с трудом держит стакан грога в руках и — громы небесные! — не всегда может писать, так что дело с переводом полного собрания пьес Лопе де Вега подвигается удручающе медленно. Старый маклер находился в весьма подавленном настроении, и его кощунственные возгласы были лишены прежнего запала. «Все к черту!» — восклицал он. Теперь это стало его любимой поговоркой, которую он повторял часто вне всякой связи с разговором.

А сенатор? Что с ним такое? И как долго полагают пробыть здесь господа Будденброки?

Ах, отвечал сенатор, он приехал сюда по требованию доктора Лангхальса, немножко подлечить нервы. Несмотря на эту собачью погоду, он повиновался, ибо чего только не сделаешь

из страха перед своим врачом! Впрочем, здоровье его и вправду немного расклеилось. А останутся они с братом до тех пор, пока он не почувствует себя лучше.

— Да, я тоже никуда не гожусь,— вставил Христиан, полный зависти и обиды оттого, что Томас говорит только о себе. Он уже совсем было собрался поведать о человеке, кивающем головой, о бутылке со спиртом, о раскрытом окне, когда его брат вдруг поднялся, чтобы пойти взглянуть на отведенные им комнаты.

Дождь не утихал. Он разрыхлял землю, крупными каплями плясал по поверхности моря, отступившего от берегов под напором юго-западного ветра. Все было затянуто серой пеленой. Пароходы, как тени, как корабли-призраки, скользили по волнам и исчезали за блеклым горизонтом.

Приезжие иностранцы появлялись только к табльдоту. Сенатор, в калошах и резиновом плаще, ходил гулять с маклером Гошем, в то время как Христиан в обществе буфетчицы пил шведский пунш наверху, в кондитерской.

Раза два или три, когда казалось, что вот-вот проглянет солнышко, из города приезжал кое-кто из знакомых, любителей поразвлечься вдали от семьи: сенатор доктор Гизеке — однокашник Христиана — и консул Петер Дельман; вид у последнего был прескверный,— он окончательно подорвал свое здоровье неумеренным потреблением воды Гунияди-Янош. Все усаживались в пальто под тентом кондитерской, напротив раковины для оркестра, где уже не играла музыка, переваривали обед из пяти блюд, пили кофе, смотрели на унылый мокрый парк и болтали.

Болтали о последних событиях в городе; о недавнем наводнении, когда вода залила многие погреба и по набережной приходилось ездить на лодках; о пожаре в портовых складах; о выборах в сенат. На прошлой неделе сенатором был избран Альфред Лауритцен, фирма «Штюрман и Лауритцен», оптовая и розничная торговля колониальными товарами; сенатор Будденброк не сочувствовал этому избранию; он сидел, подняв воротник пальто, курил и, только когда разговор коснулся этого последнего пункта, вставил несколько замечаний.

— Уж я-то, во всяком случае, не голосовал за Лауритцена,— сказал сенатор,— в этом можете не сомневаться. Лауритцен — безусловно честный человек и опытный коммерсант, но он представитель средних кругов, добропорядочных средних кругов; его отец собственноручно доставал из бочки маринованные селедки, заворачивал их в бумагу и вручал кухаркам...

А теперь владелец розничной торговли избран в сенат! Дед мой, Иоганн Будденброк, порвал со своим старшим сыном из-за того, что тот женился на лавочнице,— да, вот каковы были нравы в те времена! Но требования все понижаются, это чувствуется и в сенате: сенат демократизируется, милейший мой Гизеке, и ничего хорошего в этом нет. Одних коммерческих способностей, с моей точки зрения, недостаточно, здесь следовало бы ставить бо́льшие требования. Альфред Лауритцен с его огромными ножищами и боцманской физиономией в зале ратуши! Это оскорбляет во мне какие-то чувства,— какие, я и сам точно не знаю. Есть тут что-то бесстильное — какая-то безвкусица.

Но сенатор Гизеке почувствовал себя задетым. В конце концов и он не более как сын брандмайора!..

— Нет, по заслугам и честь. На то мы республиканцы. А вообще не следует столько курить, Будденброк, эдак вам никакой пользы не будет от морского воздуха.

— Больше не стану,— сказал Томас Будденброк, бросил окурок и закрыл глаза.

Разговор лениво продолжался под шум вновь начавшегося дождя, туманной дымкой затянувшего всю окрестность. Собеседники помянули о нашумевшем в городе скандале — подделке векселей оптовым торговцем Кассбаумом — «П. Филипп Кассбаум и К⁰», который сидел теперь под замком. Никто особенно не горячился; поступок г-на Кассбаума называли глупостью, над ним подсмеивались, пожимали плечами. Сенатор доктор Гизеке рассказывал, что упомянутый Кассбаум отнюдь не утратил хорошего расположения духа. Явившись на свое новое местожительство, он тотчас же потребовал, чтоб ему принесли зеркало: «Мне ведь здесь сидеть не годик, а целые годы, без зеркала я не обойдусь». Он, так же как Христиан Будденброк и Андреас Гизеке, был учеником покойного Марцеллуса Штепгеля.

Все рассмеялись, но как-то принужденно и невесело. Зигизмунд Гош заказал еще грогу таким голосом, словно говорил: «На что мне эта проклятая жизнь!» Консул Дельман потребовал бутылку сладкой водки, а Христиан опять занялся шведским пуншем, который сенатор Гизеке велел подать для себя и для него. Прошло несколько минут, и Томас Будденброк снова закурил.

И опять лениво, небрежно потек скептический, равнодушный разговор, еще более вялый от сытости и спиртных

напитков,— о делах вообще и делах каждого в отдельности. Но и эта тема никого не оживила.

— Ах, тут радоваться нечему,— глухо сказал Томас Будденброк и досадливо мотнул головой.

— Ну, а у вас что слышно, Дельман? — зевая, осведомился сенатор Гизеке.— Или вас в данный момент интересует только водка?

— Нет дров — нет и дыма,— отвечал консул.— Впрочем, раз в два-три дня я заглядываю к себе в контору; плешивый на прическу много времени не тратит.

— Да ведь всеми сколько-нибудь прибыльными делами завладели Штрунк и Хагенштрем,— мрачно вставил маклер Гош; он облокотился на стол и подпер рукой свое лицо, лицо старого злодея.

— Кучу дерьма не перевоняешь.— Консул Дельман произнес это так вульгарно, что собеседники даже огорчились безнадежностью его цинизма.— Ну, а вы, Будденброк, еще делаете что-нибудь?

— Нет,— отвечал Христиан,— не могу больше работать.— И без всякого перехода, просто почуяв общее настроение и немедленно ощутив потребность «углубить» его, он заломил шляпу набекрень и заговорил о своей конторе в Вальпараисо и о Джонни Тендерсторме.— «В такую-то жарищу! Боже милостивый!.. Работать? Нет, сэр! Как видите, сэр!» И при этом они пускали дым от папирос прямо в физиономию шефа. Боже милостивый! — Мимикой и жестами он неподражаемо воспроизвел вызывающую дерзость и добродушную распущенность праздных кутил. Брат его сидел не двигаясь.

Господин Гош попытался поднести к губам стакан грога, но тотчас же со злобным шипеньем поставил его на стол, схватил себя кулаком по непокорной руке, снова рванул стакан кверху, пролил половину и залпом, с яростью опрокинул остаток в глотку.

— Подумаешь, какая беда, Гош,— руки дрожат! — сказал Дельман.— Вам бы побыть в моей шкуре! Эта проклятая Гуниади-Янош... Я подыхаю, если не выпью положенный мне литр в день, а выпью — так и вовсе смерть моя приходит. Вот кабы вы знали, что это такое, когда человеку не удается переварить свой обед и он камнем лежит у него в желудке! — И Дельман с препротивными подробностями описал свое самочувствие. Христиан слушал его, сморщив нос, боясь пропустить хоть слово, и, когда тот кончил, немедленно вступил с проникновенным описанием своей «муки».

Дождь снова усилился. Теперь он падал вертикально, густыми струйками, и в тишине слышался только его шум — однообразный, тоскливый и безнадежный.

— Да, жизнь дрянная штука! — заметил изрядно выпивший сенатор Гизеке.

— У меня нет ни малейшей охоты жить на свете,— вставил Христиан.

— Черт с ним, со всем! — воскликнул г-н Гош.

— А вон идет Фикен Дальбек,— сказал сенатор Гизеке.

Фикен Дальбек, владелица молочной фермы, проходя мимо с подойником в руках, улыбнулась сидевшим под тентом господам. Это была женщина лет под сорок, дородная, с вызывающей внешностью.

Сенатор Гизеке уставился на нее осоловелыми глазами.

— Вот грудь так грудь! — протянул он.

А консул Дельман отпустил на ее счет не в меру соленую остроту, на которую остальные отозвались только коротким смешком.

Затем явился кельнер.

— Ну, с бутылкой я управился, Шредер,— объявил Дельман.— Надо когда-нибудь и расплатиться, ничего не попишешь. А вы, Христиан? Ах да, за вас ведь платит Гизеке.

Но тут сенатор Будденброк, все время сидевший молча, с папиросой в углу рта, кутаясь в пальто с высоко поднятым воротником, вышел из своей неподвижности, встал и быстро спросил:

— У тебя нет при себе денег, Христиан? Тогда позволь мне рассчитаться.

Они раскрыли зонтики и вышли из-под тента, чтобы слегка поразмяться.

Время от времени навещала братьев г-жа Перманедер. Тогда они вдвоем с Томасом отправлялись гулять к «Камню часк» или к «Храму моря», причем Тони Будденброк по каким-то непонятным причинам всякий раз впадала в восторженное и даже мятежное настроение. Она настаивала на всеобщей свободе и равенстве, решительно отвергала сословные различия, ретиво ополчалась на привилегии и произвол, требовала, чтобы всем воздавалось по заслугам,— и тут же начинала рассуждать о своей жизни. Г-жа Перманедер была очень красноречива и превосходно занимала брата. Счастливица! Ей никогда не довелось проглотить, молча стерпеть даже малейшую обиду. Чем бы ни порадовала, чем бы ни оскорбила ее жизнь — она не молчала. Все — каждый проблеск счастья,

любое горе — она топила в потоке банальных, ребячески важных слов, полностью удовлетворявших ее врожденную сообщительность. Желудок ее оставлял желать лучшего, но на сердце у нее было легко и свободно,— она даже сама не подозревала, до какой степени. Никакая невыговоренная боль не точила ее; никакое скрытое бремя не ложилось тяжестью на ее плечи. Поэтому и воспоминания прошлого не были для нее мучительны. Она знала, что ей пришлось испытать много дурного и горького, но ни усталости, ни горечи не чувствовала; ей даже с трудом верилось, что так все и было. Но поскольку уж это прошлое было общеизвестно, она использовала его для того, чтобы им хвастаться и говорить о нем с невообразимо серьезной миной. Пылая благородным возмущением, она негодующе выкрикивала имена тех, кто портил жизнь ей, а следовательно, и всему семейству Будденброков,— а таких имен, надо сказать, с годами набралось немало.

— Слезливый Тришке! — восклицала она.— Грюнлих! Перманедер! Тибуртиус! Вейншенк! Хагенштремы! Прокурор! Эта девка Зеверин! Что за мошенники, Томас! Господь покарает их, в этом я твердо уверена!

Обычно, когда они добирались до «Храма моря», начинало уже смеркаться,— осень брала свое. Они стояли в одной из обращенных к морю загородок, остро пахнувшей деревом, как и кабины купален; дощатые стены «Храма» были сплошь испещрены надписями, инициалами, сердечками, стихами. Взгляды их были устремлены поверх блестевшего влагой травянистого откоса и узкой полоски прибрежной гальки на вспененное, бурлящее море.

— Волны! — сказал Томас Будденброк.— Они набегают и рассыпаются брызгами, набегают и дробятся — одна за другой, без конца, без цели, уныло, бессмысленно. И все-таки они успокаивают, умиротворяют душу, как все простое и неизбежное. С годами я начинаю все больше и больше любить море... В свое время я предпочитал горы; наверно, потому, что они далеки от наших краев. Теперь меня к ним не тянет. Мне кажется, в горах я бы оробел, смешался. Слишком уж там все грандиозно, хаотично, многообразно... Сейчас они бы меня подавили. Интересно, каким людям милее монотонность моря? Мне кажется, тем, что слишком долго, слишком глубоко всматривались в лабиринт своего внутреннего мира,— и вот ощутили потребность хотя бы во внешнем мире найти то, что им всего нужнее,— простоту. Не то важно, что в горах ты смело карабкаешься вверх, а у моря спокойно лежишь на песке.

Я ведь знаю, каким взором окидываешь горные хребты и каким — море. Взор уверенного в себе, упрямого счастливца, исполненный отваги, твердости, жизненной силы, перебегает с вершины на вершину. На морских просторах, катящих свои волны с мистической, цепенящей неизбежностью, охотнее покоится затуманенный, безнадежный, всезнающий взор того, кто однажды глубоко заглянул в печальный лабиринт своей души. Здоровье и болезнь — вот различие. Один дерзко взбирается вверх среди дивного многообразия зубчатых, высоко вздымающихся скал и бездонных пропастей, чтобы испытать свои еще не растерянные жизненные силы... Но среди бескрайной простоты внешнего мира отдыхает тот, кто устал от путаной сложности внутреннего.

Госпожа Перманедер притихла, оробевшая и неприятно пораженная, как притихают в обществе простодушные люди от сказанных кем-то серьезных и значительных слов. «Да разве такое говорят»,— думала она и пристально всматривалась в даль, чтобы не встретиться глазами с братом. Как бы без слов прося прощения за то, что ей на миг стало стыдно за него, она доверчиво оперлась о его руку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Пришла зима, миновало рождество, стоял январь месяц 1875 года. Снег, на панелях утоптанный и смешанный с песком и золой, лежал по обе стороны улицы высокими сугробами, которые с каждым днем становились все серее, рыхлее, пористее,— градусник показывал то два, то три градуса выше нуля. На мостовой было мокро и грязно, с крыш капало. Зато небо голубело, без единого облачка, и миллиарды световых атомов кристаллами мерцали и взблескивали в небесной лазури.

В центре города царило оживление, была суббота — базарный день. Под готическими аркадами ратуши мясники окровавленными руками отвешивали свой товар. На самой Рыночной площади, вокруг колодца, шла торговля рыбой. Дебелые торговки, засунув руки в облезлые муфты и грея ноги у жаровен с тлеющими углями, караулили своих холодных, влажных пленниц, наперебой зазывая бродивших по рынку стряпух и хозяек. Здесь никому не грозила опасность купить несвежий товар — почти вся рыба была живая. Некоторым из этих мясистых, жирных рыб хоть и тесновато было в ведрах,

но все же они плавали в воде и чувствовали себя совсем не плохо. Зато другие, страшно выпучив глаза, непрестанно работали жабрами и, отчаянно колотя хвостами, лежали на досках, мучительно цепляясь за жизнь, пока им не перерезали глотки острым окровавленным ножом. Длинные толстые угри, извиваясь, сплетались в какие-то фантастические клубки. В глубоких кадках кишмя кишели балтийские крабы. Время от времени здоровенная камбала, сделав судорожный прыжок на доске, в безумном страхе соскакивала на скользкую замусоренную мостовую, так что торговке приходилось бежать за ней и водворять ее на место, причем она громко корила свою пленницу за такое пренебрежение долгом.

На Брейтенштрассе около полудня было шумно и оживленно. Школьники с туго набитыми ранцами за плечами оглашали воздух смехом, болтовней, перебрасывались полурастаявшими снежками. Конторские ученики — молодые люди из хороших семейств, в датских матросских шапочках или в элегантных английских костюмах и с портфелями в руках,— напускали на себя солидный вид, радуясь, что им больше не приходится ходить в реальное училище. Седобородые, заслуженные, почтенные бюргеры, с выражением нерушимых национально-либеральных убеждений на лице, постукивая тросточками, внимательно поглядывали на глазурный фасад ратуши, перед которым был выставлен двойной караул. Сегодня заседал сенат. Два солдата с ружьями на плечах шагали взад и вперед по отмеренной им дистанции, не обращая ни малейшего внимания на хлюпающий грязный снег под ногами. Они встречались посередине, у входа, смотрели друг на друга, обменивались несколькими словами и снова расходились в разные стороны. Когда же мимо них, зябко подняв воротник шинели и запрятав руки в карманы, проходил офицер, устремившийся за какой-нибудь девицей и в то же время невольно охорашивавшийся под взглядами молодых женщин, сидевших у окон соседнего дома, каждый часовой становился перед своей будкой и брал на караул... Сенаторы, которым тоже полагалось салютовать, еще не скоро выйдут из ратуши: заседание началось всего три четверти часа назад. До его окончания караул, пожалуй, успеет смениться.

Внезапно до слуха одного из солдат донеслись какие-то приглушенные голоса в вестибюле ратуши, и сейчас же в подъезде вспыхнул красный фрак служителя Улефельдта. В треуголке и при шпаге, он появился на ступеньках, с деловитым видом тихо скомандовал: «Внимание!» — и тотчас же

опять скрылся за дверью. На каменных плитах вестибюля отдались чьи-то шаги.

Солдаты встали во фронт, стукнули каблуками, выпрямились, опустили винтовки к ноге и в несколько приемов четко отсалютовали. Между ними, слегка приподняв цилиндр над головой, быстрым шагом прошел человек среднего роста. Одна из его светлых бровей была вскинута вверх, одутловатые щеки прочерчивались тонкими вытянутыми усами.

Сенатор Томас Будденброк покинул сегодня ратушу задолго до конца заседания. Он повернул направо, иными словами — двинулся не по направлению к своему дому. Подтянутый, безупречно элегантный, он шел своей чуть подпрыгивающей походкой вдоль Брейтенштрассе, то и дело раскланиваясь со знакомыми. На нем были белые лайковые перчатки, а свою трость с серебряным набалдашником он держал под мышкой. Из-под пышных отворотов его шубы виднелся белоснежный фрачный галстук. Но холеное лицо сенатора выражало крайнее утомление. Раскланивавшиеся с ним граждане замечали, что на его покрасневшие глаза то и дело навертывались слезы, а крепко сжатые губы даже чуть-чуть кривились. Время от времени он делал гримасу, словно глотая какую-то жидкость, обильно наполнявшую его рот, и по движению лицевых мускулов было заметно, что он при этом судорожно сжимает челюсти.

— Эге, Будденброк, да ты сбежал с заседания? Этого еще, кажется, никогда не бывало! — крикнул ему кто-то из-за угла Мюленштрассе, кого он не сразу заметил, и перед ним вырос Стефан Кистенмакер, его друг и почитатель, во всех общественных вопросах неизменно повторявший его мнение.

У Кистенмакера была окладистая, уже седеющая борода, необыкновенно густые брови и длинный нос с очень пористой кожей. Года два назад, заработав солидный куш, он вышел из виноторгового дела, которое теперь вел в одиночку его брат Эдуард, и с тех пор зажил как рантье; но так как он почему-то стыдился этого звания, то постоянно делал вид, что занят по горло. «Я подрываю свое здоровье работой,— объявлял он, проводя рукой по седеющей, завитой щипцами шевелюре.— Но человек затем и живет, чтоб трудиться, не щадя своих сил». Он часами простаивал на бирже с серьезной и важной миной, хотя биржевые операции не имели к нему ни малейшего касательства. Кроме того, он занимал множество ни к чему не обязывающих должностей и недавно даже был назначен на пост директора городских купален. Он с величайшим

усердием и буквально в поте лица своего выполнял обязанности присяжного, маклера, душеприказчика.

— Сейчас ведь идет заседание, Будденброк,— повторил он,— а ты тут разгуливаешь.

— Ах, это ты,— тихонько, с трудом шевеля губами, проговорил сенатор.— Минутами я ничего не вижу. У меня безумная боль.

— Боль? Где?

— Зуб. Со вчерашнего дня. Я всю ночь глаз не сомкнул... У врача я еще не успел побывать, так как утром был занят в конторе, а потом не хотел пропустить заседание. И вот, видишь, все-таки не выдержал и теперь иду к господину Брехту...

— Какой же зуб у тебя болит?

— Вот тут, слева, коренной... Дупло, конечно... Непереносимая боль! Всего хорошего, Кистенмакер! Сам понимаешь, что я спешу...

— А я, думаешь, нет? Дел — не обобраться!.. Прощай! Желаю поскорее избавиться от боли! Вели выдернуть! Раз — и кончено, это самое лучшее!

Томас Будденброк пошел дальше, стискивая челюсти, хотя от этого ему становилось только хуже. Он уже давно ощущал дикую, жгучую, сверлящую боль, а теперь еще начала жестоко ныть и вся нижняя челюсть. В воспаленной надкостнице колотились огненные молоточки; от этого слезы выступали на глазах сенатора, его бросало то в жар, то в холод. Бессонная ночь совершенно доконала его нервы. Разговаривая с Кистенмакером, он собрал все силы, чтобы голос не изменил ему.

На Мюленштрассе Томас Будденброк вошел в желтовато-коричневый дом и поднялся во второй этаж, где на дверях была прибита медная дощечка: «Зубной врач Брехт». Он не видел горничной, которая отворила ему дверь. В коридоре стоял теплый запах бифштексов и цветной капусты. Потом на него вдруг пахнуло острым запахом приемной. «Присядьте, пожалуйста! Сию минуточку!» — крикнул какой-то бабий голос. Это был Иозефус. Он сидел в своей блестящей клетке, коварно поглядывая на пришельца злобными глазами.

Сенатор присел возле круглого стола и попытался было развлечься юмором в «Флигенде блеттер», но тут же с отвращением захлопнул журнал, прижал к щеке прохладный серебряный набалдашник своей трости, закрыл воспаленные глаза и застонал. Вокруг была тишина, только Иозефус, кряхтя и щелкая, грыз железные прутья своей клетки. Г-н Брехт, даже

если и не был занят, почитал долгом чести заставлять пациентов дожидаться.

Томас Будденброк вскочил и налил себе из графина, стоявшего на маленьком столике, стакан воды, противно отзывавшей хлороформом, затем отворил дверь в коридор и раздраженным голосом крикнул, что просит г-на Брехта поторопиться, если тот ничем особо важным не занят: у него боль нестерпимая.

Из дверей кабинета тотчас же высунулись лысый череп, полуседые усы и крючковатый нос зубного врача.

— Прошу,— сказал он.

— Прошу,— в свою очередь прокричал Иозефус.

Сенатор, не улыбнувшись, последовал приглашению.

«Трудный случай!» — решил г-н Брехт и побледнел.

Оба быстро прошли в конец светлой комнаты, где перед окном стояло большое зубоврачебное кресло с зелеными плюшевыми подлокотниками. Усаживаясь, Томас Будденброк коротко объяснил врачу, в чем дело, откинул голову и закрыл глаза.

Господин Брехт подкрутил кресло повыше и, вооружившись зеркальцем и металлической палочкой, приступил к осмотру больного зуба. От его рук несло миндальным мылом, изо рта — бифштексом и цветной капустой.

— Необходимо произвести экстракцию,— объявил он через минуту и побледнел еще больше.

— Что ж, приступайте,— отвечал сенатор, плотнее смыкая веки.

Наступило молчание. Г-н Брехт возился у шкафа, отыскивая нужные инструменты. Достав их, он снова приблизился к пациенту.

— Сейчас мы чуть-чуть смажем,— заявил он и тотчас же привел в исполнение свою угрозу, обильно смазав десну какой-то остро пахнущей жидкостью. Потом он, тихо, даже заискивающе попросив сенатора не двигаться и пошире раскрыть рот, приступил к работе.

Томас Будденброк крепко ухватился обеими руками за подлокотники кресла. Он почти не чувствовал, как г-н Брехт накладывает щипцы, и только по хрусту во рту и непрерывно нарастающему, все более болезненному, неистовому давлению в голове понял, что все идет как надо. «Слава богу! — подумал он.— Надо перетерпеть. Оно будет все нарастать, нарастать без конца, сделается нестерпимым, катастрофическим, безумной, пронзительной, нечеловеческой болью, разрывающей мозг... И все останется позади... Надо перетерпеть».

Это продолжалось три или четыре секунды. Трепет и напряжение г-на Брехта передались всему телу Томаса Будденброка, его даже слегка подкинуло в кресле; до него донесся какой-то пискливый звук в глотке дантиста. Внезапно он ощутил страшный толчок, сотрясение — ему показалось, что у него переламываются шейные позвонки,— и тут же услышал короткий хруст, треск. Он быстро открыл глаза. Давление прошло, но неистовая боль жгла воспаленную, истерзанную челюсть, и он ясно почувствовал, что это не вожделенный конец муки, а какая-то неожиданная катастрофа, только еще усложнившая все дело. Г-н Брехт отошел от него. Бледный как смерть, он стоял, прислонившись к шкафчику с инструментами, и бормотал:

— Коронка... я так и знал...

Томас Будденброк сплюнул кровавую слюну в синий тазик сбоку от кресла — значит, поранена десна — и спросил почти уже в бессознательном состоянии:

— Что вы знали? Что случилось с коронкой?

— Коронка сломалась, господин сенатор... Я этого опасался... Зуб никуда не годится... но я обязан был попытаться...

— Что же теперь?

— Положитесь на меня, господин сенатор...

— Но что вы собираетесь делать?

— Надо удалить корни посредством козьей ножки. Четыре корня.

— Четыре? Значит, четыре раза накладывать и тащить?

— Увы!

— Нет, на сегодня с меня хватит! — сказал сенатор. Он хотел быстро встать, но остался сидеть, закинув голову.— Вы, дражайший господин Брехт, не можете требовать от меня больше того, что в силах человеческих... Я не так-то уж крепок... На сегодня с меня, во всяком случае, хватит. Не будете ли вы так добры открыть на минуточку окно.

Господин Брехт исполнил его просьбу и сказал:

— Самое лучшее, господин сенатор, если бы вы взяли на себя труд заглянуть ко мне завтра или послезавтра, в любое время, и мы, таким образом, отложили бы операцию. Признаюсь, что я и сам... Сейчас я только позволю себе смазать вам десну и предложить полосканье, чтобы смягчить боль.

Все это было проделано, и сенатор вышел, сопровождаемый белым как мел г-ном Брехтом, сожалительно пожимавшим плечами,— это было все, на что еще хватало его слабых сил.

— Минуточку, прошу! — крикнул Иозефус, когда они проходили через приемную. Этот крик донесся до Томаса Будденброка уже на лестнице.

«Посредством козьей ножки... Да, да, это завтра. А что сейчас? Домой и скорее лечь, попытаться уснуть...— Больной нерв как будто успокоился, во рту ощущалось только какое-то тупое, пудное жженье.— Так, значит, домой...» И он медленно шел по улицам, машинально отвечая на поклоны, с задумчивым и недоумевающим выражением в глазах, словно размышляя о том, что, собственно, с ним творится.

Завернув на Фишергрубе, он стал спускаться вниз по левому тротуару и шагов через двадцать почувствовал дурноту. «Надо зайти в пивную на той стороне и выпить рюмку коньяку»,— подумал Томас Будденброк и стал переходить улицу. Но едва он достиг середины мостовой, как... словно чья-то рука схватила его мозг и с невероятной силой, с непрерывно и страшно нарастающей быстротой завертела его сначала большими, потом все меньшими и меньшими концентрическими кругами и, наконец, с непомерной, грубой, беспощадной яростью ввернула в каменный центр этих кругов... Томас Будденброк сделал полоборота и, вытянув руки, рухнул на мокрый булыжник мостовой.

Так как улица шла под гору, то ноги его оказались значительно выше туловища. Он упал лицом вниз, и под головой у него тотчас же начала растекаться лужица крови. Шляпа покатилась вниз по мостовой, шуба была забрызгана грязью и выпачкана талым снегом, вытянутые руки в белых лайковых перчатках угодили прямо в грязную жижу.

Так он лежал... и лежал довольно долго, пока какие-то прохожие не подошли и не повернули его лицом кверху.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Госпожа Перманедер поднималась по лестнице, одной рукой подбирая юбки, а другой прижимая к щеке большую коричневую муфту. Она не столько всходила по ступенькам, сколько спотыкалась, почти падала; капор ее сбился на сторону, щеки пылали, на чуть выпяченной верхней губе стояли капельки пота. Хотя, кроме нее, на лестнице никого не было, она непрерывно что-то бормотала, и из этого бормотания вдруг вырывалось какое-то слово, которое она почти выкрикивала от страха.

— Ничего...— говорила она.— Ничего, ничего! Господь не попустит... Он ведает, что творит, в это я твердо верю... Конечно, конечно, ничего такого не случилось... О господи, я день и ночь буду возносить тебе молитвы! — Гонимая страхом, г-жа Перманедер просто несла чепуху. Поднявшись на третий этаж, она ринулась в коридор.

Дверь в прихожую стояла открытой; оттуда, навстречу ей, шла невестка.

Прекрасное белое лицо Герды Будденброк было искажено ужасом и брезгливостью; ее близко посаженные карие глаза с голубоватыми тенями в уголках щурились гневно, растерянно, возмущенно. Увидав г-жу Перманедер, она торопливо кивнула, протянула руки и, обняв ее, спрятала лицо у нее на плече.

— Герда, Герда, что ж это! — крикнула г-жа Перманедер.— Что случилось? Как же так? Упал, говорят они? Без сознанья?.. Что ж это с ним?.. Господь не попустит!.. Скажи мне, ради всего святого...

Но ответ последовал не сразу; она почувствовала, как трепет пробежал по всему телу Герды... и только тогда услышала шепот возле своего плеча.

— На что он был похож,— разобрала г-жа Перманедер,— когда его принесли... За всю жизнь никто пылинки на нем не видел... Это насмешка, низость, что так все получилось под конец...

Какой-то шорох донесся до их слуха. На пороге двери в гардеробную стояла Ида Юнгман, в белом фартуке, с миской в руках; глаза у нее были красные. Завидев г-жу Перманедер, она опустила голову и отошла в сторону, пропуская ее. Подбородок Иды дрожал мелкой дрожью.

Занавески на высоких окнах заколыхались от движения воздуха, когда Тони, сопровождаемая невесткой, вошла в спальню. На нее пахнуло запахом карболки, эфира и еще каких-то медикаментов. В широкой кровати красного дерева, под стеганым красным одеялом, лежал на спине Томас Будденброк, раздетый, в вышитой ночной сорочке. Зрачки его полуоткрытых глаз закатились, губы непрестанно двигались под растрепанными усами, из горла время от времени вырывалось какое-то клокотание. Молодой доктор Лангхальс, склонившись, снимал окровавленную повязку с его лица и приготовлял новую, окуная ее в тазик с водой, стоявший на ночном столике. Покончив с этим, он приложил ухо к груди больного и взял его руку, чтобы пощупать пульс. На низеньком пуфе, в ногах кровати, сидел маленький Иоганн, теребил галстук своей матроски и с задумчи-

вым видом прислушивался к звукам, вырывавшимся из горла отца. На одном из стульев висел забрызганный грязью костюм сенатора.

Госпожа Перманедер присела подле кровати, взяла руку брата, холодную, тяжелую, и пристально посмотрела ему в лицо. Она начинала понимать, что ведает господь, что творит, или не ведает... но он уже «попустил».

— Том! — рыдала она.— Неужели ты меня не узнаешь? Что с тобой? Неужели ты хочешь покинуть нас? Нет, ты нас не покинешь! Этого не может, не может быть!..

Ничего хоть сколько-нибудь похожего на ответ не последовало. Она беспомощно оглянулась на доктора Лангхальса. Он стоял, потупив красивые глаза; на лице его, не лишенном известного самодовольства, казалось, была написана воля господня.

Ида Юнгман опять вошла, думая, что может понадобиться ее помощь. Явился и старый доктор Грабов. Он пожал руки всем присутствующим с кротким выражением на своем длинном лице и, покачивая головой, приступил к осмотру больного — словом, проделал все то, что до него уже проделал доктор Лангхальс. Весть о случившемся молниеносно распространилась по городу. У подъезда все время звонили, и вопросы о самочувствии сенатора достигали ушей сидевших в спальне. Но ответ был все тот же: без изменений, без изменений...

Оба врача считали, что на ночь необходимо пригласить сиделку. Горничную послали за сестрой Леандрой. И она пришла. Лицо ее не выражало ни волнения, ни испуга. Она и на этот раз спокойно положила сумку, сняла плащ, чепец и неторопливо, неслышно занялась своим делом.

Маленький Иоганн, уже много часов сидевший в ногах кровати, все видел и напряженно прислушивался к клокотанью в горле отца. Собственно, ему давно следовало отправиться к репетитору на урок арифметики, но он понимал, что случившееся заставит молчать любого господина в камлотовом сюртуке. Об уроках, заданных в школе, он тоже вспоминал только мимолетно и даже как-то насмешливо. Временами, когда г-жа Перманедер подходила, чтобы обнять его, он принимался плакать, но большею частью сидел с отсутствующим, задумчивым выражением лица, стараясь сдерживать прерывистое дыхание и словно ожидая, что вот-вот донесется до него тот посторонний и все же странно знакомый запах.

Около четырех часов г-жа Перманедер приняла решение: она заставила доктора Лангхальса выйти с ней в соседнюю ком-

нату, скрестила руки и вскинула голову, пытаясь в то же время прижать подбородок к груди.

— Господин доктор! — начала она.— Одно, уж во всяком случае, в вашей власти, поэтому я и обращаюсь к вам! Не скрывайте от меня ничего! Я женщина, закаленная жизнью... Я научилась смотреть правде прямо в глаза, можете мне поверить! Доживет мой брат до завтра? Скажите правду.

Доктор Лангхальс, отведя в сторону красивые глаза, посмотрел на свои ногти и заговорил о пределе сил человеческих и о невозможности решить вопрос, переживет ли брат г-жи Перманедер сегодняшнюю ночь или через минуту-другую отойдет в иной мир...

— Тогда я знаю, что мне делать,— объявила она, вышла из комнаты и послала за пастором Прингсгеймом.

Он пришел не в полном облачении — без брыжей, но в длинной рясе, холодным взглядом скользнул по сестре Леандре и опустился на пододвинутый ему стул возле кровати. Он воззвал к больному с просьбой узнать его и вслушаться в его слова. Но когда эта попытка оказалась тщетной, обратился непосредственно к богу, модулирующим голосом то оттеняя, то, напротив, проглатывая гласные, и на его лице выражение сурового фанатизма сменялось ангельской просветленностью. Когда «р», рокоча, прокатывалось у него в глотке, маленькому Иогану думалось, что, перед тем как идти сюда, он напился кофе со сдобными булочками.

Пастор Прингсгейм говорил, что ни он, ни другие здесь присутствующие уже не молят господа о сохранении жизни этому дорогому и близкому им человеку, ибо видят, что всеблагому господу угодно призвать его к себе,— они возносят молитвы лишь о ниспослании ему мирной кончины. Затем он выразительно прочитал все, что положено в таких случаях, и поднялся. Он пожал руки Герде Будденброк и г-же Перманедер, подержал между ладонями голову маленького Иоганна и, трепеща от скорбной нежности, с минуту смотрел на его опущенные ресницы, потом поклонился мамзель Юнгман, еще раз скользнул холодным взглядом по сестре Леандре и удалился.

Когда доктор Лангхальс, ненадолго уходивший домой, вернулся, он не нашел никаких перемен в состоянии больного. Обменявшись несколькими словами с сиделкой, он снова откланялся. Доктор Грабов тоже зашел еще раз, с кротким выражением лица поглядел на больного и ушел. Томас Будденброк, закатив глаза, все продолжал шевелить губами, издавая странные, клокочущие звуки. Наступили сумерки. Бледные лучи

зимней зари вдруг осветили мягким светом забрызганную грязью одежду на одном из стульев.

В пять часов г-жа Перманедер совершила необдуманный поступок: сидя возле кровати, напротив невестки, она внезапно скрестила руки и начала — конечно, гортанным голосом — читать хорал:

Пошли ему, о боже...

Все замерли, слушая ее.

Спасительный конец!
Да узрит он без дрожи
Твой...

Она молилась так горячо, что всецело поддалась под обаяние каждого очередного слова, не учитывая, что не знает конца строфы и вот-вот неминуемо запнется. Так оно и случилось: она внезапно на высокой ноте оборвала чтение и постаралась возместить недостающий стих величием осанки. Все притихли, внутренне съежившись от смущения. Маленький Иоганн закашлялся так, что кашель уже походил на стон. А потом наступила тишина, нарушаемая только клокотаньем в горле агонизирующего Томаса Будденброка.

И когда горничная доложила, что в соседней комнате подан обед, все вздохнули с облегчением. Но едва только они перешли в спальню Герды и принялись за суп, как в дверях появилась сестра Леандра и покорно склонила голову.

Сенатор скончался. Он тихонько всхлипнул несколько раз подряд, умолк и перестал шевелить губами. Никакой другой перемены с ним не произошло. Глаза у него и до того были мертвые.

Доктор Лангхальс, подоспевший через несколько минут, приложив свой черный стетоскоп к груди усопшего, долго слушал и после добросовестного освидетельствования объявил:

— Да, все кончено.

И сестра Леандра безымянным пальцем бледной руки бережно закрыла глаза Томаса Будденброка.

Тут г-жа Перманедер стремительно опустилась на колени перед кроватью и, громко рыдая, зарылась лицом в стеганое одеяло; она всецело отдалась порыву чувств, даже не пытаясь с ним бороться или подавить его в себе, одному из тех бурных порывов, которые всегда были в распоряжении ее счастливой натуры. С мокрым лицом, но окрепшая духом и успокоившаяся, она поднялась с колен и, уже обретя полное душевное рав-

новесие, заговорила об извещениях, которые надо было заказать безотлагательно: ведь потребуется целая кипа, «аристократически оформленных» извещений о смерти сенатора.

Появилось еще одно действующее лицо — Христиан. Весть о несчастии с сенатором настигла его в клубе, и он немедленно ушел оттуда. Но из боязни страшного зрелища, которое может представиться его глазам, предпринял еще дальнюю прогулку за Городские ворота, так что его нигде не могли сыскать. Теперь он наконец объявился и еще внизу узнал, что брат его отошел в вечность.

— Быть не может! — сказал он и, прихрамывая, с блуждающим взглядом, стал подниматься по лестнице.

И вот он стоит у смертного одра брата между сестрой и невесткой. Стоит на кривых сухопарых ногах, слегка согнув их в коленях и напоминая собой вопросительный знак; у него голый череп, впалые щеки, взъерошенные усы и огромный горбатый нос. Его маленькие, глубоко сидящие глаза устремлены на брата — молчаливого, холодного, чуждого, недоступного упрекам и уже совсем, совсем неподсудного суду человеческому... Уголки рта у покойника опущены с выражением почти презрительным. Томас, которого Христиан в свое время попрекал тем, что он не заплачет, если умрет младший брат, сам лежит мертвый. Он умер, ни слова не сказав, горделиво, спокойно замкнулся в молчании, безжалостно предоставив другим стыдиться самих себя, как часто делал это при жизни! Справедливо он поступал или несправедливо, относясь с неизменным холодным презрением к страданиям Христиана, к его «муке», к человеку на софе, кивающему головой, к бутылке со спиртом и к открытому окну?.. Этот вопрос повис в воздухе, стал совершенно бессмысленным, ибо своенравная, пристрастная смерть отличила и оправдала старшего брата, его отозвала и приветила, ему воздала почести, властно приковала к нему всеобщий взволнованный интерес, а Христиана презрела, решив, как видно, и впредь дразнить его, донимать сотнями вздорных придирок, которые никому не внушают уважения. Никогда еще Томас Будденброк не импонировал так своему брату, как в эти часы. Успех решает все. Только смерть способна заставить людей уважать наши страдания; она облагораживает даже самую жалкую нашу хворь. «Ты оказался прав, и я склоняюсь перед тобой»,— думает Христиан, торопливо и неловко опускаясь на колени и целуя холодную руку, простертую на стеганом одеяле. Потом он встает и начинает ходить по комнате; глаза его блуждают.

Приходят еще родственники: старики Крегеры, дамы Будденброк с Брейтенштрассе, старый г-н Маркус. Бедная Клотильда тоже явилась и стоит теперь у кровати, худая, пепельно-серая, с равнодушным лицом, молитвенно сложив руки в питяных перчатках.

— Не подумайте, Тони и Герда,— говорит она протяжно и жалобно,— что у меня холодное сердце, раз я не плачу. У меня больше нет слез...— И ей верят на слово, такая она безнадежно серая и высохшая.

Вскоре все уступили поле действия препротивной старухе с беззубым, шамкающим ртом, которая явилась, чтобы вместе с сестрой Леандрой обмыть и переодеть покойника.

Поздним вечером того же дня в маленькой гостиной за круглым столом, освещенным газовой лампой, сидели Герда Будденброк, г-жа Перманедер, Христиан и маленький Иоганн и усердно трудились. Они составляли список лиц, которым надлежало послать извещения о смерти сенатора, и надписывали адреса на конвертах. Перья скрипели. Время от времени кому-нибудь приходило в голову еще одно имя, и оно тотчас же вносилось в список. Ганно тоже засадили за работу,— он писал разборчиво, а дело это было спешное.

В доме и на улице стояла тишина. Только изредка за окном раздавались шаги, быстро терявшиеся в отдалении. Чуть-чуть попыхивала газовая лампа, кто-то бормотал запамятованное было имя, шелестела бумага. Время от времени все они вдруг поднимали глаза от работы, смотрели друг на друга и вспоминали то, что произошло.

Госпожа Перманедер весьма деловито выводила свои каракули. Но каждые пять минут, словно по часам, откладывала перо, всплескивала руками на уровне своего подбородка и разражалась стенаниями.

— Не могу постигнуть! — восклицала она, тем самым доказывая, что уже начинает постигать происшедшее.— Так, значит, всему конец! — продолжала она выкрикивать в неподдельном отчаянии и, рыдая, бросалась на шею невестке, после чего с новыми силами бралась за работу.

С Христианом дело обстояло приблизительно так же, как с бедной Клотильдой. Он не пролил еще ни единой слезы и был этим несколько сконфужен. Чувство стыда возобладало в нем над всеми другими ощущениями. Кроме того, непрестанное наблюдение за самим собой, за своим душевным и физическим состоянием вконец изнурило и притупило его. Время от времени он выпрямлялся, проводил рукой по облысевшему лбу и

сдавленным голосом восклицал: «Да, ужасное несчастье!» Он, собственно, обращался к самому себе и при этом силился выдавить из глаз хоть несколько слезинок.

Внезапно произошло нечто, вызвавшее всеобщее смущение: маленький Иоганн расхохотался. Надписывая адреса, он увидал в списке какую-то фамилию, звучавшую до того комично, что он не смог удержаться от смеха. Он произнес ее вслух, фыркнул, ниже склонился над бумагой, весь задрожал, даже всхлипнул, но смеха подавить не сумел. Поначалу можно было подумать, что он плачет. Но он и не думал плакать. Взрослые недоверчиво и недоуменно посмотрели на него. И вскоре Герда отослала его спать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«От зуба... сенатор Будденброк умер от зуба,— говорилось в городе.— Но, черт возьми, от этого же не умирают! У него были сильные боли, господин Брехт сломал ему коронку, и потом он попросту свалился на улице. Слыханное ли дело?»

Но в конце концов это безразлично и никого, кроме него, не касается. А вот о чем сейчас действительно надо позаботиться, так это о венках... И на Фишергрубе, чтобы воздать честь покойному, доставлялись большие, дорогостоящие венки — венки, о которых будут писать в газетах и по которым сразу видно, что они присланы людьми солидными и денежными. Их несли и несли; казалось, они стекаются со всех сторон — венки от общественных учреждений, от отдельных семейств, от частных лиц; венки из лавров, из пахучих цветов, из серебра, украшенные черными лентами и лентами цветов города, с надписями, вытисненными золотыми буквами. И еще пальмовые ветви — огромные пальмовые ветви...

Все цветочные магазины бойко торговали, и, уж конечно, в первую очередь магазин Иверсена, напротив будденброковского дома. Г-жа Иверсен по нескольку раз в день звонила у подъезда и передавала всевозможные изделия из цветов — от сенатора имярек, от консула имярек, от такого-то и такого-то городского учреждения... Однажды она спросила: нельзя ли подняться наверх и проститься с сенатором? «Да, можно»,— отвечали ей; и она пошла за мамзель Юнгман по парадной лестнице, дивясь великолепию ее колонн и обилию света.

Она ступала тяжело, так как была в ожидании. Облик ее с годами стал несколько грубоватым, но чуть-чуть раскосые черные глаза и малайские скулы были прелестны и явно свидетель-

ствовали о том, что в свое время она была чудо как хороша. Ее ввели в большую гостиную, где на катафалке лежало тело Томаса Будденброка.

Посреди большой, залитой светом комнаты, откуда вынесли всю мебель, он лежал в гробу, обитом белым шелком, в белом шелковом одеянии, под белым шелковым покровом, окруженный изысканным и дурманящим ароматом тубероз, фиалок и других цветов. В головах его, на затянутом траурным флером постаменте, среди расставленных полукругом высоких серебряных канделябров, высился «Благословляющий Христос» Торвальдсена. Пучки цветов, венки, букеты, корзины были расставлены вдоль стен, разбросаны по полу и гробовому покрову; пальмовые ветви окружали катафалк и склонялись к ногам покойного. Лицо Томаса Будденброка было покрыто ссадинами, нос сильно помят, но волосы были зачесаны так же, как при жизни, и усы, которые в последний раз вытянул щипцами старик Венцель, жестко прочерчивали белые щеки; голова его была слегка повернута набок, а в скрещенные руки ему вложили распятие из слоновой кости.

Госпожа Иверсен остановилась чуть ли не в самых дверях и оттуда, слегка жмурясь, смотрела на катафалк. И только когда г-жа Перманедер, вся в черном, с заплаканными глазами, откинув портьеру, вошла из соседней маленькой гостиной и ласково предложила ей подойти поближе, она решилась ступить еще несколько шагов по навощенному паркету. Она стояла, сложив руки на торчащем животе, и оглядывала своими чуть раскосыми черными глазами растения, канделябры, ленты, потоки белого шелка и лицо Томаса Будденброка. Трудно сказать, что именно выражали расплывшиеся черты женщины на сносях. Наконец она протянула: «Да...», всхлипнула — один только раз, коротко, потихоньку — и пошла к двери.

Госпоже Перманедер нравились такие посещения. Она ни на минуту не покидала дома на Фишергрубе и с неутомимым рвением наблюдала за почестями, в изобилии воздававшимися останкам ее брата. Гортанным голосом, по многу раз подряд, читала она газетные статьи, превозносившие, как в дни юбилея фирмы, его заслуги и скорбевшие о невозвратимой утрате. Она принимала в маленькой гостиной всех, кто приходил выразить соболезнование. Герда встречала посетителей,— а имя им было легион,— в большой, возле гроба сенатора. Далее г-жа Перманедер совещалась с различными людьми относительно похорон, которые должны были быть необыкновенно «аристократическими», режиссировала сцены прощания. Она распорядилась,

чтобы конторские служащие все вместе поднялись наверх — проститься с останками своего шефа. Следом за ними должны были явиться складские рабочие. Они пришли, шаркая огромными ногами по навощенному паркету и распространяя запах спиртного, табаку и пота. С чинно поджатыми губами, ломая шапки в руках, смотрели они на великолепный катафалк. Сначала дивились, потом заскучали. Наконец у одного из них хватило смелости направиться к выходу; и тогда все, сопя и осторожно ступая, на цыпочках последовали за ним. Г-жа Перманедер была в восторге. Она утверждала, что у многих слезы текли по жестким бородам. Это она выдумала. Ничего подобного не было. Но что, если она так видела и если это доставляло ей радость?

И вот наступил день похорон. Наглухо закрытый металлический гроб усыпали цветами, в канделябрах горели свечи; дом наполнился народом. Пастор Прингсгейм, окруженный родными покойного, здешними и приезжими, величественно стал в изголовье гроба, уперев свой внушительный подбородок в брыжи, огромные, как колесо.

Церемонией руководил весьма расторопный служитель — нечто среднее между дворецким и распорядителем торжества. С цилиндром в руках, проворно и неслышно ступая, он сбежал по парадной лестнице и пронзительным шепотом возвестил толпившимся внизу чиновникам налогового департамента и грузчикам в блузах, коротких штанах и цилиндрах:

— В комнатах уже полно, но в коридоре еще найдется место...

Затем все смолкло. Пастор Прингсгейм начал свою проповедь, и его отлично поставленный, модулирующий голос заполнил собою весь дом. В то время как он наверху, рядом с фигурой Христа, молитвенно воздевал руки или простирал их, благословляя паству, к дверям дома уже подъехали запряженные четверкой лошадей погребальные дроги, а за ними под белесым зимним небом нескончаемой вереницей вдоль всей улицы, до самой реки, вытянулись кареты и экипажи. Напротив подъезда выстроилась с винтовками у ноги рота солдат под командой лейтенанта фон Трота. Стоя с саблей наголо, он не сводил своих пылающих глаз с окон второго этажа. В окнах соседних домов и на улице толпилось множество людей. Они становились на цыпочки и вытягивали шеи.

Но вот в вестибюле началось движение. Лейтенант негромко произнес слова команды, солдаты, звякнув ружьями, взяли на караул, г-н фон Трота опустил саблю. В дверях показался

гроб. На плечах четырех служителей в черных одеждах и в треуголках он медленно выплыл на улицу. Ветер донес до глазеющей толпы аромат цветов, растрепал черный султан на крыше катафалка, поиграл гривами лошадей, стоявших в ряд от дома до самой реки, колыхнул черный креп на шляпах возницы и служителей. Редкие хлопья снега, медленно кружась в воздухе, стали падать на землю.

Кони в черных попонах, оставлявших открытыми только их тревожно косившие глаза, ведомые под уздцы четырьмя черными факельщиками, неторопливо тронули; за колесницей двинулась рота солдат, к подъезду одна за другой стали подкатывать кареты. В первую уселись Христиан Будденброк и пастор Прингсгейм; в следующей поместился маленький Иоганн с каким-то весьма упитанным и холеным родственником из Гамбурга. И медленно, медленно двинулась в путь длинная, печальная и торжественная похоронная процессия мимо домов с приспущенными и плещущими на ветру флагами; конторские служащие и грузчики пешком следовали за вереницей экипажей.

Когда толпа вслед за гробом прошла по кладбищу мимо крестов, памятников, часовен и обнаженных плакучих ив к наследственной усыпальнице Будденброков, там уже выстроился почетный караул, а в стороне, за деревьями, тотчас же раздались приглушенные скорбные звуки похоронного марша.

И опять отодвинули в сторону тяжелую плиту с высеченным на ней фамильным гербом, и опять мужчины встали у краев выложенной камнем могилы, где покоились родители Томаса Будденброка и где теперь предстояло покоиться его телу. Они стояли тут, эти заслуженные, зажиточные господа, склонив головы и скорбно потупив глаза. Ратсгерры, все, как один, были в белых перчатках и в белых галстуках. Подальше теснились чиновники, конторские служащие, грузчики и складские рабочие.

Музыка смолкла. Заговорил пастор Прингсгейм. А когда в холодном воздухе отзвучало его напутствие, все устремились еще раз пожать руку брату и сыну почившего.

Церемония тянулась бесконечно. Христиан Будденброк принимал выражения соболезнования с видом не то рассеянным, не то смущенным, какой у него всегда бывал в торжественных случаях. Маленький Иоганн, в бушлате с золотыми пуговицами, стоял рядом с ним, потупив золотисто-карие глаза, ни на кого не глядя, и, хмурясь, старался отвернуться от ветра.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бывает, что вспомнишь вдруг о каком-то человеке, подумаешь: «Что-то он сейчас поделывает?» И вдруг тебя осеняет мысль, что он уже больше не разгуливает по тротуару, что голос его уже не звучит в общем хоре,— словом, что он простонапросто исчез с жизненной арены и лежит в земле, где-то там за Городскими воротами.

Консульша Будденброк, урожденная Штювинг, вдова дяди Готхольда, умерла. И ей, бывшей когда-то причиной столь жестокой семейной распри, смерть даровала свой примиряющий, очистительный венец. Теперь три ее дочери — Фридерика, Генриетта и Пфиффи — считали себя вправе в ответ на соболезнования родственников строить обиженные мины, как бы говоря: «Вот видите, своими преследованиями вы свели ее в могилу». Хотя консульша была уже очень и очень стара.

Скончалась и мадам Кетельсен. В последние годы подагра изрядно помучила ее, но отошла она спокойно, мирно, воодушевленная детской верой,— на зависть своей ученой сестре, временами еще боровшейся с искушениями скептического разума. Зеземи год от года становилась все меньше, все горбатее, но стойкий организм прочно связывал ее с этим несовершенным миром.

Консул Петер Дельман тоже был отозван к праотцам. Он проел все свое состояние и в конце концов пал жертвой Гунияди-Яноша, оставив своей дочери ежегодную ренту в двести марок. Впрочем, перед смертью он выразил надежду, что город из уважения к имени Дельманов примет ее в благотворительное заведение — «Дом св. Иоанна».

Приказал долго жить и Юстус Крегер. И теперь, к сожалению, уже никто не мешал его мягкосердечной супруге продавать последнее серебро и посылать деньги вконец опустившемуся Якобу, влачившему свою непутевую жизнь где-то в чужих краях.

Христиана Будденброка мы напрасно стали бы искать в стенах родного города. Не прошло и года со дня смерти его брата, сенатора, как он перебрался в Гамбург, чтобы сочетаться законным браком с особой, давно уже ему близкой,— а именно с Алиной Пуфогель. Этому никто больше не мог воспрепятствовать. Что касается капитала, доставшегося ему от матери, добрая половина процентов с которого постоянно переправлялась в Гамбург, то этот капитал, поскольку он не был наперед им израсходован, находился в ведении Стефана Кистенмакера (такова была воля покойного сенатора), в остальном же Христиан был сам себе хозяином. Как только весть о его женитьбе достигла слуха г-жи Перманедер, она отправила в Гамбург новоявленной г-же Будденброк длинное и весьма неприязненное письмо, начинавшееся обращением «Мадам!» и в столь же продуманных, сколь и ядовитых выражениях уведомлявшее ее, что она, г-жа Перманедер, отнюдь не склонна признать родственниками ни самое адресатку, ни ее потомство.

Господин Кистенмакер, бывший душеприказчиком сенатора, управителем будденброковского имущества и опекуном маленького Иоганна, с честью выполнял все эти обязанности. Они возвращали его к почетной деятельности и давали ему право на бирже с утомленным видом потирать себе лоб, уверяя всех и каждого, что он трудится, не щадя своих сил. Не следует забывать, что за свои старания Стефан Кистенмакер с величайшей пунктуальностью отчислял себе два процента со всех доходов. Тем не менее дела под его руководством шли неважно, и он очень скоро навлек на себя неудовольствие Герды Будденброк.

Предстояла ликвидация. С фирмой должно было быть покончено в течение одного года — такова была последняя воля сенатора. Узнав о ней, г-жа Перманедер пришла в страшное волнение: «А как же Иоганн, маленький Иоганн? Ганно-то как же?!» — спрашивала она. То, что брат пренебрег интересами своего сына и единственного наследника, не пожелав сохранить для него фирму, уязвляло и мучило ее. Немало слез пролила она по поводу того, что им предстояло распроститься с фамильным гербом — этим сокровищем, пронесенным через четыре поколения, что история фирмы обрывалась, хотя на свете сущест-

вовал законный ее наследник... Но вскоре она утешилась, решив, что конец фирмы еще не означает конца их рода и что ее племянник со временем начнет новое, молодое дело и тем самым выполнит свое предназначение — сохранит блеск их доброго, старого имени и приведет семью к новому расцвету. Недаром же он так похож на прадеда...

Итак, под руководством г-на Кистенмакера и престарелого г-на Маркуса началась ликвидация дел, принявшая весьма плачевный оборот. Срок, назначенный покойным сенатором, который следовало соблюсти со всей точностью, был очень короток, время бежало неудержимо. Текущие дела завершались поспешно и неумело. Одна необдуманная, невыгодная продажа следовала за другой. Склады и амбары пошли за полцены. Там, где г-н Кистенмакер не успевал напортить делу своим чрезмерным рвением, беду довершала медлительность г-на Маркуса, о котором в городе говорили, что зимой, прежде чем выйти из дому, он греет на печке не только свое пальто и шляпу, но даже трость. Когда подворачивалась более или менее выгодная сделка, он непременно упускал ее. Короче говоря, убыток громоздился на убыток. Юридически Томас Будденброк оставил состояние в шестьсот пятьдесят тысяч марок; через год после вскрытия завещания выяснилось, что наличествующий капитал ничего общего с этой суммой не имеет.

Смутные и преувеличенные слухи о неблагоприятных результатах ликвидации распространились по городу, подкрепленные вестью о том, что Герда Будденброк подумывает о продаже своего большого дома. Чего-чего только не рассказывалось об обстоятельствах, принуждавших ее к этому шагу, и о подозрительном уменьшении будденброковского капитала; в городе, естественно, создалось настроение, которое вдова сенатора почувствовала даже в домашнем своем обиходе, сначала с удивлением и с досадой, а потом с возрастающим негодованием... Когда она однажды рассказала золовке, что несколько мастеровых и поставщиков с непристойной настойчивостью потребовали от нее оплаты счетов, г-жа Перманедер на несколько минут окаменела, а потом разразилась громким смехом. Негодующая Герда даже высказала намерение уехать вместе с маленьким Иоганном к отцу в Амстердам, чтобы снова играть с ним скрипичные дуэты. Но тут со стороны г-жи Перманедер последовал такой взрыв возмущения, что ей пришлось до поры до времени от этого плана отказаться.

Само собой разумеется, что г-жа Перманедер восстала и против продажи дома, построенного ее братом. Она ахала, го-

ворила о дурном впечатлении, которое это произведет, уверяла, что такой поступок Герды неминуемо подорвет престиж семьи Будденброков... но в конце концов была вынуждена согласиться, что слишком неразумно при создавшихся обстоятельствах содержать столь большой и роскошный дом — дом, который, в сущности, был только дорогостоящей прихотью Томаса Будденброка, и что Герда права, желая переселиться в какую-нибудь небольшую комфортабельную виллу... за Городскими воротами.

Для г-на Гоша, маклера Зигизмунда Гоша, забрезжил великий день. На старости лет выпала ему на долю такая радость, что у него на несколько часов даже перестали трястись конечности: ему суждено было очутиться в гостиной Герды Будденброк, сидеть в кресле напротив нее и с глазу на глаз беседовать с ней о цене дома. Белый как лунь, с падающими на лоб космами, устрашающе выпятив подбородок, он снизу вверх взирал на нее и наконец-то и впрямь выглядел горбуном. В горле у него что-то шипело, но говорил он холодно и деловито, ничем не выдавая своего душевного потрясения. Он высказал готовность взять на себя продажу дома и с коварной усмешкой предложил за него восемьдесят пять тысяч марок. Это была приемлемая цена, так как без убытка дом все равно не удалось бы продать, но надо было еще справиться с мнением г-на Кистенмакера, и потому Герде пришлось отпустить г-на Гоша, не договорившись с ним окончательно. А потом выяснилось, что г-н Кистенмакер отнюдь не склонен допускать чьего-либо вмешательства в свою деятельность. Он пренебрежительно отнесся к предложению маклера Гоша и даже высмеял его, клянясь взять куда большую цену. И клялся до тех пор, покуда не оказался вынужденным — чтобы положить конец всей этой канители — спустить дом за семьдесят пять тысяч какому-то старому холостяку, который, вернувшись из дальнего путешествия, решил обосноваться в городе.

Господин Кистенмакер взял на себя заботу и о приобретении нового дома — прехорошенькой виллы за Городскими воротами, возле старой Каштановой аллеи, с цветником и плодовым садом, виллы, которая хоть и обошлась втридорога, но зато вполне отвечала желаниям Герды Будденброк. Туда и перебралась осенью 1876 года сенаторша с сыном, с прислугой и частью обстановки. Другая часть, несмотря на горькие сетования г-жи Перманедер, осталась на месте и перешла во владение старого холостяка.

Но это были еще не все перемены! Мамзель Юнгман, Ида Юнгман, сорок лет прослужившая у Будденброков, возвраща-

лась в Западную Пруссию, чтобы прожить остаток своих дней у родственников. По правде говоря, Герда Будденброк ее попросту рассчитала. Добрая душа Ида, вырастив предшествующее поколение Будденброков, всем сердцем привязалась к маленькому Иоганну, холила и нежила его, читала ему сказки Гримма и рассказывала о своем дядюшке, умершем от удушья. Но маленький Иоганн перестал быть маленьким, он превратился в пятнадцатилетнего юношу, которому Ида, несмотря на его слабое здоровье, не была уж так необходима, а с его матерью она давно была в отношениях весьма неприязненных. Она, собственно, никогда не считала эту женщину, вошедшую в дом Будденброков много позже ее самой, полноценным и полноправным членом семьи. К тому же с годами у Иды развилось самомнение, свойственное старым слугам, и она начала приписывать себе преувеличенное значение. Ее важничанье и хозяйственное самоуправство сердили Герду, отношения между ними становились все более натянутыми. И хотя г-жа Перманедер заступалась за нее не менее красноречиво, чем за оба дома и мебель, старая Ида все же получила отставку.

Она горько плакала, когда наступил час прощания с маленьким Иоганном. Он обнял ее, потом заложил руки за спину, оперся всей тяжестью тела на одну ногу, носком другой слегка касаясь пола, и стал смотреть ей вслед; в его золотисто-карих, окруженных голубоватыми тенями глазах появилось то самое задумчивое и как бы обращенное вовнутрь выражение, с которым он смотрел на мертвую бабушку, на умирающего отца, на развал бабушкиного и отцовского дома и на многое другое, внешне менее значительное. Разлукой со старой Идой, по его представлению, вполне закономерно завершались разлом, распад и разложение, свидетелем которых он был. Все происходящее нисколько не удивляло его. Странно, но он ни разу не испытал чувства удивления. Временами, когда он поднимал свою русую кудрявую голову, по обыкновению чуть-чуть кривя губы, и тонкие ноздри его начинали раздуваться, казалось, что он осторожно вдыхает окружающий его воздух, боясь услышать тот странно знакомый запах, который у смертного одра его бабушки не могли заглушить все цветочные ароматы.

Когда бы г-жа Перманедер ни заходила к невестке, она подзывала к себе племянника, чтобы порассказать ему о прошлом, а заодно и помечтать о светлом будущем, которым Будденброки, бог даст, будут обязаны ему, маленькому Иоганну. Чем безрадостнее становилось настоящее, тем усерднее она распространялась об «аристократической» и богатой жизни в

доме ее родителей, в доме деда с бабкой, и о том, как прадед Ганно разъезжал по стране на четверке лошадей... Однажды с ней приключились сильнейшие желудочные спазмы оттого, что Фридерика, Генриетта и Пфиффи в один голос стали утверждать, что Хагенштремы — сливки общества.

О Христиане приходили весьма неутешительные вести. По-видимому, брак неблагоприятно отозвался на его самочувствии. Мрачные бредовые и навязчивые идеи возобновились с еще большей силой, и он, по настоянию своей супруги и врача, был помещен в лечебницу. Там ему пришлось очень не по душе; он то и дело писал жалобные письма родным, в которых твердил о своем желании выбраться из заведения, где с ним, видимо, обращались не слишком гуманно. Но никто его оттуда выпускать не собирался, и это, пожалуй, было для него самое лучшее. Так или иначе, пребывание Христиана в лечебнице давало его супруге полную возможность, извлекая все практические и моральные выгоды из законного брака, вести без помех и стеснений прежний, независимый образ жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пружинка в будильнике щелкнула, он затрещал сердито и неумолимо. Звук его колокольчика, хриплый, надтреснутый, похожий скорей на стук, чем на звон, так как старый механизм уже изрядно износился, продолжался долго, безнадежно долго: будильник был добросовестно заведен.

Ганно Будденброк испуганно вздрогнул. Как и всякое утро, его пронизал ужас при этом звуке, раздавшемся на ночном столике, возле самого его уха,— звуке злобном и в то же время благожелательном; внутри у него все сжалось от гнева, жалости к себе и отчаяния. Правда, внешне он остался спокоен, не переменил даже положения и, внезапно вырванный из какого-то смутного предутреннего сна, сразу открыл глаза.

В холодной по-зимнему комнате было еще совсем темно, так что Ганно не различал ни одного предмета, не говоря уж о часовых стрелках. Но он знал, что было шесть часов утра, так как вчера сам поставил будильник на этот час. Вчера... вчера... Покуда он недвижно лежал на спине и в мучительном нервном напряжении старался заставить себя зажечь свет и встать с постели, к нему мало-помалу вернулось сознание всего, что происходило вчера.

Вчера было воскресенье. В награду за то, что он несколько дней подряд позволял мучить себя г-ну Брехту, мать взяла его в Городской театр послушать «Лоэнгрина». Мысль об этом вечере уже целую неделю наполняла радостью его сердце. Досадовал он лишь на то, что и в этот раз, как всегда, такому празднеству предшествовала уйма неприятностей, омрачавших счастье ожидания. Но в субботу наконец-то кончилась школьная неделя и бормашина в последний раз злобно прожужжала у него во рту. Теперь со всем покончено, а уроки он, не долго думая, отложил на понедельник. Да и что вообще значит понедельник? Неужто он когда-нибудь наступит? И разве может поверить в понедельник тот, кому в воскресенье вечером предстоит слушать «Лоэнгрина»?.. Он решил в понедельник встать пораньше и мигом покончить с этим пошлым вздором. Пока же он бродил на свободе, лелеял радость в своем сердце, немного пофантазировал за роялем и не думал ни о чем неприятном.

А затем счастье стало явью. Оно снизошло на него во всей своей святости, со всеми восторгами, с тайным испугом и трепетом, с внезапно стесняющими горло рыданиями, дурманящее, неисчерпаемое... Правда, дешевенькие скрипки оркестрантов слегка сфальшивили в увертюре, а челн, в котором стоял толстый, чванливый на вид человек с окладистой светлой бородой, выплыл из-за кулис какими-то рывками... Кроме того, в соседней ложе оказался опекун Ганно, г-н Стефан Кистенмакер; он ворчливо буркнул, что нечего мальчика отвлекать от его обязанностей такими развлечениями! Ах, не все ли равно: сладостное, просветленное великолепие, которому внимал Ганно, возносило его над всеми этими мелочами.

Но все-таки конец наступил. Певучее, мерцающее счастье смолкло, потухло. С пылающим лицом вернулся Ганно в свою комнату... и вдруг понял, что лишь несколько часов сна отделяют его от серых будней. Он опять, как это часто с ним случалось, совершенно пал духом. Снова почувствовал, как больно ранит красота, в какие бездны стыда и страстного отчаяния повергает она человека, без остатка пожирая его мужество, его пригодность к обыденной жизни. И такой безнадежностью, таким тяжким камнем легло на него это сознание, что ему вновь подумалось: нет, не одни только личные горести пригибают его к земле; тяжкое бремя с первых дней жизни гнетет его душу и когда-нибудь совсем придавит ее.

Потом он завел будильник и уснул глубоким, мертвенным сном, каким спит тот, кто хотел бы никогда не просыпаться.

И вот уже понедельник, вот уже шесть часов, а он ни одного урока не приготовил!

Ганно приподнялся и зажег свечу на ночном столике. Но так как руки и плечи у него тотчас же застыли от холода, откинулся назад и снова натянул на себя одеяло.

Стрелки показывали десять минут седьмого. Ах, теперь уж бессмысленно вставать и приниматься за уроки! Все равно их слишком много — ведь задано по каждому предмету. Не стоит начинать, да и времени остается мало... А потом, разве уж так обязательно, как ему казалось вчера, что его вызовут по латыни и по химии? Возможно, конечно... даже скорей всего вызовут. По Овидию в последний раз спрашивали тех, чьи фамилии начинаются с последних букв алфавита, и очень вероятно, что сегодня опять начнут с А и Б! Но только вероятно, а не наверняка! Бывают же исключения из правила! Чего-чего только иногда не делает случай!.. И покуда он утешал себя этими призрачными, за волосы притянутыми домыслами, мысли его спутались, и он снова уснул.

Неровный свет свечи озарял тишину маленькой холодной и неуютной комнаты, с гравюрой Сикстинской мадонны над кроватью, с раздвижным столом посередине, с беспорядочно набитым книгами шкафом, неуклюжим пюпитром красного дерева, фисгармонией и небольшим умывальником. Ледяные цветы расцвели на окнах с неспущенными шторами — чтобы свет пораньше проник в комнату. Ганно Будденброк спал, прижавшись щекой к подушке. Спал, полуоткрыв рот, плотно сомкнув ресницы, с болезненной и беззаветной страстностью предавшись сну, и шелковистые русые волосы завитками спадали на его виски. Огонек на ночном столике медленно, медленно терял свою красно-желтую яркость, так как в комнату через обледенелые стекла уже начинал струиться блеклый, унылый свет зимнего утра.

В семь Ганно опять проснулся в испуге. Миновал и этот срок. Надо вставать, надо взвалить на себя ношу дня — этого уже ничем не отвратишь. Еще один только час до начала занятий... Время бежит неудержимо, об уроках уже нечего и думать. И все-таки он еще полежал, с болью и горечью в душе, оскорбленный грубой необходимостью в холодной полутьме вылезать из теплой постели и спешить к суровым, недоброжелательным людям, навстречу беде и опасности. «Ах, еще две, только две минуты! Идет?» — с нежностью шепнул он в подушку. И в порыве упрямства подарил себе еще целых пять. Он снова закрыл глаза, чтобы тут же открыть их, с отчаянием

глядя на стрелку часов, тупо, неосмысленно и добросовестно проделывавшую положенный ей путь...

В десять минут восьмого он вскочил и засуетился. Свеча продолжала гореть, так как дневного света было еще недостаточно. Растопив дыханьем один из ледяных цветков на стекле, Ганно увидел сплошной туман за окном.

Он страшно мерз. Минутами все его тело дрожало от холода. Кончики пальцев у него горели и так распухли, что щеточкой для ногтей к ним нельзя было притронуться. Когда, обнаженный по пояс, он начал мыться, губка выпала у него из рук, и он простоял несколько секунд в оцепенении, дыша, как запаренная лошадь.

Задыхающийся, измученный, он все-таки подбежал наконец к столу, схватил сумку для книг и, собрав остатки душевных сил, принялся отбирать нужные на сегодня учебники. Он останавливался, смотрел в пространство, боязливо бормотал: «Закон божий, латынь, химия», и запихивал в сумку потрепанные, вымазанные чернилами книги в картонных переплетах...

Маленький Иоганн очень вытянулся в последнее время. Ему шел уже шестнадцатый год, и носил он теперь не матросскую курточку, а светло-коричневый костюм и синий галстук в белую крапинку. По его жилету вилась тонкая золотая цепочка, вместе с часами доставшаяся ему от прадеда, а на безымянном пальце несколько широковатой, но изящной руки красовался фамильный перстень с изумрудной печаткой, тоже перешедший к нему... Он надел плотную шерстяную куртку, нахлобучил шляпу, схватил сумку с книгами, потушил свечу и ринулся вниз по лестнице, мимо чучела медведя, в столовую.

Мамзель Клементина, новая домоправительница его матери, сухопарая девица с завитками на лбу, остроносая и близорукая, была уже там и хлопотала у стола.

— Который час? — сквозь зубы спросил Ганно, хотя это было ему отлично известно.

— Без четверти восемь,— отвечала она, указывая худой, красной и явно подагрической рукой на циферблат стенных часов.— Вам надо поторапливаться, Ганно.— С этими словами она придвинула к нему чашку дымящегося какао, хлебницу, солонку и рюмку для яйца.

Не отвечая ей, даже не садясь, в шляпе, с сумкой под мышкой, он начал глотать какао. От горячего мучительно заныл зуб, над которым на прошлой неделе трудился г-н Брехт. Ганно оставил чашку недопитой, отказался от яйца, скривив губы, буркнул что-то вроде «до свиданья» и выбежал на улицу.

Было уже без десяти восемь, когда он, оставив позади маленькую красную виллу с палисадником, свернул в заснеженную аллею... Остается десять минут, девять, уже только восемь! А путь не близкий, и туман такой, что и не поймешь, где находишься! Он вдохнул во всю мочь своей узкой груди этот плотный, холодный туман и тут же выдохнул его, потрогал языком зуб, все еще ывший от какао, и постарался сообщить небывалую прыть своим ногам. Он обливался потом и в то же время всем телом дрожал от холода. В боку у него закололо. Скудный завтрак взбунтовался в желудке от такой утренней пробежки, к горлу подступала тошнота, а сердце, которое сейчас показалось ему каким-то посторонним предметом, трепетало и билось так, что дыханье перехватывало.

Городские ворота! Еще только Городские ворота, а уже без четырех минут восемь! В холодном поту, с болью в сердце, стараясь превозмочь тошноту, он мчался, озираясь по сторонам: не видно ли других школьников? Нет, нет, никого не видно! Все уже на месте, а тут как раз часы начали бить восемь. Звон доносился сквозь туман со всех башен, а часы на Мариенкирхе торжественно отмечали этот миг, играя «Творцу благодаренье...». Играли они омерзительно фальшиво, что, несмотря на свое отчаяние, все-таки заметил Ганно, не соблюдали ритма и были из рук вон плохо настроены. Но это все пустяки! Не пустяк то, что он опоздал, а в этом уже нет сомнения. Школьные часы немножко отстают, но все-таки он опоздал. Он пристально смотрел на встречавшихся ему прохожих. Они шли в свои конторы и департаменты, не слишком торопясь,— ничто им не угрожало. Некоторые отвечали на его жалобный, завистливый взгляд, в свою очередь окидывая взглядом его растерзанную фигурку, и улыбались. Эти улыбки приводили его в неистовство. Что они думают, эти спокойные счастливцы? Каким представляется им его положение? Ему хотелось крикнуть: «Ваши улыбки, господа, вызваны вашей душевной грубостью. Вы не можете понять, что я охотнее упал бы мертвым перед запертыми воротами школы...»

Резкий и долгий звонок к утренней молитве донесся до слуха Ганно, когда он был еще в добрых двадцати шагах от длинной кирпичной стены с коваными чугунными воротами, отгораживавшей передний двор школы от улицы. Уже окончательно выбившись из сил, он машинально выбрасывал вперед туловище, рассчитывая, что ноги, пусть спотыкающиеся и волочащиеся, кое-как поддержат его тело. Он достиг ворот, когда звонок только что смолк.

Господин Шлемиль, смотритель, коренастый мужчина с жесткой бородой и лицом рабочего, как раз собирался запереть их.

— Ладно уж! — сказал он и пропустил ученика Будденброка во двор.

Не исключено... не исключено, что он спасен! Остается только незаметно проскользнуть в класс, забиться там в уголок и дождаться конца молитвы, читаемой в гимнастическом зале. Притворяясь спокойным и беззаботным, кашляя и задыхаясь, весь в холодном поту, он протащился по вымощенному красным железняком двору и через нарядную дверь с цветными стеклами вошел внутрь здания.

Здесь все было ново, опрятно и красиво. Отдавая должное духу времени, дряхлые серые стены старой монастырской школы, где изучали науки отцы нынешних учеников, сровняли с землей и на их месте воздвигли новую, светлую и роскошную школу. Правда, стиль старого ансамбля был сохранен: над коридорами и крытыми галереями высились готические своды, но отопление, освещение, размеры залитых светом классов, уютные учительские комнаты, оборудование химического, физического и чертежного кабинетов — все это было устроено применительно к новейшим представлениям о комфорте.

Вконец изнемогший, Ганно Будденброк, озираясь, крался вдоль стены. Нет, слава тебе господи, никто его не заметил! Из дальних коридоров до него доносился гомон толпы, учеников и учителей, стекавшихся в гимнастический зал, чтобы перед новой трудовой неделей укрепить себя молитвой. Зато здесь, в коридоре, было тихо и безлюдно. На покрытой линолеумом лестнице тоже не было ни души. Затаив дыханье и напряженно прислушиваясь, Ганно на цыпочках прокрался наверх. Его класс — пятый класс реального училища — находился во втором этаже, прямо напротив лестницы; классная дверь стояла открытой. Дойдя до верхней ступеньки, он пригнулся, внимательно оглядел длинный коридор, по обе стороны которого шли двери с прибитыми к ним фарфоровыми дощечками, сделал три бесшумных быстрых шага и вошел в класс.

Там было пусто. Шторы на трех широких окпах еще не были подняты. Газовые лампы тихонько шипели под потолком, зеленые абажуры отбрасывали мягкий свет на три ряда двухместных парт из светлого дерева, напротив которых поучительно и строго высилась кафедра; за ней чернела классная доска. Стены, до половины обшитые светлой деревянной панелью и наверху побеленные, были украшены двумя геогра-

фическими картами. На подставке возле кафедры стояла вторая доска.

Ганно прошел на свое место, находившееся примерно посредине классной комнаты, сунул книги в ящик, сел, положил обе руки на покатую доску парты и склонил голову. Несказанно радостное спокойствие охватило его. Эту голую, неуютную комнату он считал уродливой; он ее ненавидел, тысячи опасностей, грозивших ему сегодня, тяжелым камнем давили на его сердце и все-таки на первых порах он в безопасности, физическое напряжение кончилось, теперь будь что будет! Да и первый урок — закон божий, преподаваемый г-ном Баллерштедтом, не так-то страшен... По вибрации бумажной полоски наверху у круглой отдушины видно было, что в комнату струится теплый воздух, газовые лампы тоже изрядно нагревали помещение. Ах, сейчас можно потянуться и расправить закоченевшие члены! Волна приятного нездорового жара прилила к его голове, гулом отдалась в ушах, затуманила глаза.

Внезапно он услышал позади себя шорох, заставивший его вздрогнуть и быстро обернуться. Из-под последней скамейки показалась голова Кая графа Мельна. Он вылез оттуда, этот юный аристократ, встал на ноги, слегка похлопал рукой об руку, чтобы стряхнуть пыль, и с сияющим лицом приблизился к Ганно Будденброку.

— А, это ты, Ганно! — воскликнул он.— А я туда залез, потому что принял тебя за одного из наших почтенных педагогов.

Голос его ломался, как у всех мальчиков в переходном возрасте; для Ганно эта пора еще не наступила. Ростом Кай был теперь не ниже Ганно, но в остальном ничуть не переменился. Он по-прежнему носил костюм неопределенного цвета, на котором кое-где недоставало пуговиц, а штаны сзади были сплошь в заплатах. Руки Кая, и сейчас не очень-то чистые, отличались необыкновенно благородной формой — длинные точеные пальцы с овальными ногтями. Рыжеватые волосы, посредине небрежно разделенные прибором, как и раньше, космами спадали на алебастрово-белый, безупречно красивый лоб, под которым сверкали голубые глаза, глубокие и в то же время пронзительные. Разница между его крайне неряшливым туалетом и благородной тонкостью лица с чуть горбатым носом и слегка вздернутой верхней губой теперь еще сильнее бросалась в глаза.

— Фу, Кай,— сказал Ганно, кривя рот и хватаясь за сердце,— до чего же ты меня напугал! Как тебя занесло сюда, наверх, и почему ты прятался? Ты тоже опоздал?

— Ничего я не опоздал,— ответил Кай.— Я здесь уже давно. Ведь в понедельник утром только и думаешь, как бы скорей попасть в это заведение; тебе, дорогой мой, это известно по собственному опыту. Нет, наверх я забрался так, шутки ради. Сегодня дежурит «главный мудрец»; он ничего предосудительного не видит в том, чтобы силком сгонять народ на молитву. Я все время вертелся вплотную за его спиной, покуда он не ушел, и тогда мне уж ничего не стоило остаться... А ты-то! — сочувственно добавил он и, ласково дотронувшись до плеча Ганно, уселся рядом с ним.— Тебе пришлось бежать изо всех сил? Бедняга! У тебя вид совсем загнанный. Смотри, волосы даже прилипли к вискам...— Он взял линейку с парты и бережно, с серьезным видом приподнял слипшиеся волосы Ганно.— Ты что, проспал?.. Ба, да я ведь сижу на месте Адольфа Тотенхаупта! На священном месте первого ученика! Ну да ладно, на первый раз сойдет. Так, значит, проспал?

Ганно опять положил голову на скрещенные руки.

— Я ведь вчера был в театре,— сказал он, тяжело вздохнув.

— Ах да, я и позабыл!.. Понравилось тебе?

Ответа не последовало.

— Хорошо тебе, Ганно,— словоохотливо продолжал Кай.— Я, например, ни разу в жизни в театре не был, и пройдет еще немало лет, прежде чем я туда попаду.

— Хорошо-то хорошо, да потом на душе кошки скребут,— глухо отвечал Ганно.

— Ну, это состояние я и без театра знаю.

Кай наклонился, поднял валявшиеся на полу возле парты куртку и шляпу друга и тихонько вышел с ними в коридор.

— Так ты, наверно, не вызубрил «Метаморфозы»? — спросил он, вернувшись.

— Нет,— подтвердил Ганно.

— А к extemporale [1] по географии ты подготовился?

— Ни к чему я не подготовился, и ничего я не знаю,— отвечал Ганно.

— И по химии? И по-английскому? All right! [2] Мы, значит, два сапога пара! — У Кая явно стало легче на душе.— Я точно в таком же положении,— весело пояснил он.— В субботу я не садился за уроки, потому что думал: завтра воскресенье, а в воскресенье — из уваженья к празднику. Нет, глупости! Понятно, я ничего не сделал потому, что у меня было

---

[1] Контрольная работа *(лат.)*.

[2] Хорошо! *(англ.)*

занятие поинтереснее,— добавил он с неожиданной серьезностью, и по лицу его разлился румянец.— Н-да, сегодня нам с тобой, пожалуй, жарко придется!

— Еще одна запись в кондуите, и я останусь на второй год. А этого не миновать, если меня спросят по латыни. Сейчас на очереди буква Б, Кай, и тут уж ничего не поделаешь.

— Поживем, увидим! Возьми пример с Цезаря! «Мне за спиной опасности грозили, но лишь увидят Цезаря чело...» — Кай оборвал свою декламацию. У него тоже было скверно на душе. Он пошел к кафедре, уселся и с мрачным видом стал раскачиваться в учительском кресле.

Ганно Будденброк сидел по-прежнему, склонив голову на руки. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

Внезапно до слуха мальчиков донеслось нечто вроде отдаленного жужжанья, быстро превратившегося в грозно и неумолимо нарастающий гул.

— «Народ!» — с горькой усмешкой объявил Кай.— Живо они справились! Значит, урок и на десять минут не сократится.

Он спрыгнул с кафедры и направился к двери, чтобы смешаться с толпой мальчиков, Ганно же только поднял голову и скривил рот, но остался сидеть на месте.

Топот, шарканье, возгласы мужских голосов, дисканты маленьких и ломающиеся голоса подростков наводнили лестницу, переплеснулись в коридор и тут же влились в класс, мгновенно наполнившийся жизнью, движением, шумом. Они вбежали, все эти товарищи Ганно и Кая, пятиклассники-реалисты, числом двадцать пять человек, и стали рассаживаться по местам: одни — засунув руки в карманы, другие — широко размахивая ими, и, усевшись наконец, раскрыли Библии. Здесь были располагающие и подозрительные физиономии; здоровые, румяные и, напротив, уже испитые лица; рослые, сильные озорники, которые готовились стать коммерсантами или моряками и решительно ничем не интересовались, и маленькие, не по возрасту преуспевшие честолюбцы, отличавшиеся по тем предметам, для которых ничего, кроме зубрежки, не требовалось. Зато Адольф Тотенхаупт, первый ученик, знал все; в жизни его еще не было случая, чтобы он не ответил на заданный вопрос. Отчасти это объяснялось его упорным, страстным прилежанием, отчасти же тем, что учителя остерегались спрашивать его о том, чего он мог не знать. Они сами были бы больно уязвлены, сами почувствовали бы себя посрамленными, утратили бы веру в возможность человеческого совершенства, не ответь Адольф Тотенхаупт на какой-нибудь вопрос... У этого

юнца был странно выпуклый череп, покрытый зализанными светлыми волосами, синяки под серыми глазами и смуглые руки, торчавшие из слишком коротких рукавов тщательно вычищенной куртки. Он уселся рядом с Ганно Будденброком, улыбнулся мягко, хотя не без лукавства, и пробормотал «доброе утро» на манер, принятый в школе,— то есть так, что оба слова слились в один задорный и небрежный звук. Затем, покуда все вокруг него вполголоса переговаривались, раскладывали книги, зевали и смеялись, начал записывать что-то в классную тетрадь, с неподражаемой ловкостью и изяществом держа перо между двумя вытянутыми пальцами.

Минуты через две в коридоре послышались шаги. Те, что сидели на передних партах, неторопливо поднялись с места; несколько человек последовали их примеру, тогда как остальные даже не прервали своих занятий, почти не обратив внимания на то, что г-н Баллерштедт вошел в класс, повесил шляпу на дверь и направился к кафедре.

Это был человек лет сорока, с приятно округлой фигурой, большой лысиной, с короткой рыжеватой бородкой, розовощекий, с всегда влажными губами, имевшими какое-то елейное и в то же время чувственное выражение. Он начал молча листать в своей записной книжке, но, поскольку поведение класса оставляло желать лучшего, поднял голову, вытянул руку и, в то время как лицо его медленно пухло и краснело так, что даже бородка стала казаться белокурой, несколько раз постучал кулаком по кафедре, причем губы его с полминуты работали судорожно и бесплодно, ибо ему не удавалось выдавить из себя ничего, кроме короткого, сдавленного: «Итак!» Он еще довольно долго и вдобавок тщетно подыскивал слова, чтобы выразить свое неодобрение, потом вновь занялся записной книжкой, лицо его мало-помалу приняло нормальные размеры, и он успокоился. Так обычно начинал свой урок учитель Баллерштедт.

Когда-то он собирался стать проповедником, но из-за своего заиканья да еще любви хорошо пожить счел за благо посвятить себя педагогике. Он был холост, обладал небольшим капиталом, носил брильянтовый перстенек на пальце и ничего на свете так не любил, как вкусно поесть и выпить. Со своими коллегами он общался только в стенах школы, остальное же время предпочитал проводить в обществе холостых жуиров, коммерсантов и офицеров местного гарнизона, дважды в день наведывался в ресторан при лучшей гостинице города и состоял членом клуба. Если часа в два или три ночи он встречался на улице с кем-нибудь из старших учеников, лицо его немедленно

пухло и наливалось кровью, он собирался с силами, произносил: «Доброе утро», и этим все ограничивалось. Ганно Будденброк понимал, что его бояться нечего, да к тому же г-н Баллерштедт почти никогда его не спрашивал. Он слишком часто встречался с дядей этого ученика — Христианом, в обстановке, явно свидетельствовавшей о слабостях рода человеческого, чтобы вступать с племянником в какие-либо конфликты.

— Итак...— повторил он, оглядев класс, еще раз слабо потряс в воздухе рукой, украшенной бриллиантовым перстеньком, и заглянул в записную книжку: — Перлеман! Обзор!

С одной из скамеек поднялся Перлеман. Что он встал, трудно было даже заметить. Он был одним из самых низкорослых, этот успевающий ученик.

— Обзор! — тихо и чинно проговорил он, с боязливой улыбкой вытягивая шею.— «Книга Иова» состоит из трех частей. В первой описывается жизнь Иова до испытания, ниспосланного ему господом; глава первая, стихи от первого до шестого. Во второй говорится об упомянутом испытании и о том, что́ в связи с этим произошло; глава...

— Достаточно, Перлеман,— прервал его г-н Баллерштедт и, тронутый угодливой робостью ученика, поставил ему хороший балл.— Хейнрице, продолжайте.

Хейнрице принадлежал к тем рослым балбесам, которых ничто на свете не интересовало. Он засунул в карман складной ножик, который только что разглядывал, с шумом поднялся с места — нижняя губа у него отвисла — и откашлялся густым, хриповатым, совсем уже мужским голосом. Все были недовольны, что он сменил тихонького Перлемана. Покуда тот говорил, можно было о чем-нибудь помечтать и понежиться в теплой комнате под убаюкивающее шипенье газовых ламп. Мальчики еще чувствовали себя усталыми после воскресенья; в это холодное мглистое утро все, стуча зубами и вздыхая, выбирались из теплых постелей. Как хорошо, если бы маленький Перлеман тихонько бормотал что-то до конца урока. Хейнрице же обязательно начнет препираться с учителем...

— Я отсутствовал, когда это проходили,— буркнул Хейнрице.

Господин Баллерштедт припух, помахал в воздухе своим слабым кулачком, заработал губами и, вскинув брови, уставился в лицо юного Хейнрице. Налившаяся кровью голова учителя тряслась от страшного напряжения; наконец он выдавил из себя: «Итак...» Только ему это удалось, и все пошло как по маслу.

— Мало того, что вы никогда не знаете урока,— продолжал он уже плавно и легко,— но у вас всегда наготове какая-нибудь отговорка. Если вы были больны прошлый раз, то у вас тем не менее было достаточно времени наверстать пройденное; и к тому же, раз в первой части говорится о жизни Иова до испытания, а во второй об испытании, то, право же, по пальцам можно высчитать, что в третьей речь будет идти о том, что сталось с ним после перенесенных бедствий. Но у вас нет интереса к учению; вы человек слабый и всегда еще стараетесь оправдать свою слабость и как-нибудь да выгородить себя. Заметьте, Хейнрице, что, пока вы не одолели в себе этой слабости, вам не удастся нагнать класс и выправить отметки. Садитесь! Вассерфогель, продолжайте!

Хейнрице, толстокожий и упорный, с шумом и грохотом опустился на свое место, сказал какую-то дерзость соседу и опять вытащил из кармана ножик. Встал Вассерфогель — курносый, с воспаленными глазами; уши у него стояли торчком, а ногти всегда были обкусаны. Пискливым голосом он закончил обзор и начал рассказывать об Иове, жившем в земле Уц, и о том, что с ним случилось. Перед Вассерфогелем лежала раскрытая Библия, заслоненная от учителя впереди сидящим учеником, и он читал по ней с видом полнейшей невинности, потом уставлялся в одну точку на стене, как бы припоминая что-то, и опять читал, нарочно запинаясь, покашливая и с ходу переводя библейский текст на довольно беспомощный современный язык. В этом мальчике было что-то необыкновенно противное, но г-н Баллерштедт похвалил его за прилежание. Вассерфогелю жилось весьма недурно: большинство учителей не по заслугам хвалили его, желая доказать как самим себе, так и другим, что безобразная внешность ученика не может подвигнуть их на несправедливость.

Урок закона божия продолжался. Было вызвано еще несколько молодых людей на предмет проверки того, что они знают о жизни многострадального Иова в земле Уц. И Готлиб Кассбаум, сын разорившегося коммерсанта Кассбаума, удостоился, несмотря на неблагоприятные обстоятельства в жизни его семьи, отличной отметки, так как сумел с точностью установить, что у Иова было семь тысяч овец и три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов, пятьсот ослов и очень много слуг.

Затем ученики получили разрешение раскрыть Библии, по большей части уже раскрытые, и стали читать дальше. Когда встречалось место, требующее разъяснений г-на Баллерштедта, учитель припухал, багровел, выдавливал из себя «итак» и после

этой подготовки прочитывал маленькую лекцию по спорному вопросу, сдобренную общими рассуждениями о морали. Ни одна живая душа его не слушала. В классе водворялось сонливое спокойствие. К концу урока жара от непрекращающейся топки и газовых ламп заметно усилилась, а воздух от дыханья и пота двадцати пяти тел был уже в достаточной мере испорчен. Духота, тихое жужжание ламп и монотонный голос учителя нагоняли сонную одурь на скучающих мальчиков. На парте Кая графа Мельна, кроме Библии, лежала раскрытая книга: «Непостижимые и таинственные приключения» Эдгара Аллана По; он читал ее, подперев голову своей аристократической и не слишком чистой рукой. Ганно Будденброк сидел, откинувшись назад, и, полураскрыв рот, смотрел сонными глазами на сливающиеся в какую-то черную массу строчки и буквы книги Иова. Временами, вспомнив мотив Грааля или «шествия в собор», он медленно опускал ресницы, чувствуя, что к горлу его подкатывает комок. А сердце его билось в мольбе — только бы не было конца этому безопасному и мирному уроку.

Но ход вещей оставался неизменным, и пронзительный звонок смотрителя, огласивший коридор, вывел из сладкой дремоты двадцать пять подростков.

— На этом кончим,— объявил г-н Баллерштедт и велел подать себе классный журнал, где поставил свою подпись в знак того, что урок состоялся.

Ганно Будденброк захлопнул Библию, нервно зевнул и, дрожа всем телом, потянулся; когда он опустил руки и расслабил мускулы, ему пришлось торопливо и не без труда вобрать воздуху в легкие, чтобы заставить нормально биться свое на миг замершее сердце. Сейчас будет латынь. Он бросил молящий о поддержке взгляд на Кая, который, казалось, вовсе не заметил конца урока — так он был погружен в чтение, затем вытащил из сумки Овидия, в переплете «под мрамор», и отыскал стихи, которые были заданы на сегодня. Нет, теперь уж нечего и думать затвердить эти черные, испещренные карандашными значками и через каждые пять стихов перенумерованные строчки, так безнадежно, темно и загадочно смотрящие на него. Он и смысл-то их едва понимал,— где ж ему было хоть одну из них удержать в памяти, а уж в тех, что были заданы на сегодня, не мог разобрать и трех слов.

— Что значит «deciderant, patula Jovis arbore, glandes?» [1]— в отчаянии обратился он к Адольфу Тотенхаупту, что-то запи-

[1] Желуди, которые падали с раскидистого дерева Юпитера *(лат.)*.

сывавшему в тетрадь.— Чепуха какая-то! Лишь бы сбить человека с толку...

— Как? — переспросил Тотенхаупт, продолжая писать.— «Желуди с дерева Юпитера...» Значит, это дуб... Я, по правде говоря, и сам хорошенько не знаю...

— Подскажи мне, Тотенхаупт, если меня вызовут! — попросил Ганно и отодвинул книгу, затем, хмуро взглянув на первого ученика, кивнувшего ему небрежно и не слишком обнадеживающе, вылез из-за парты.

Ситуация изменилась. Г-н Баллерштедт ушел, и на его месте, стараясь держаться как можно прямее, уже стоял низкорослый, слабенький, худосочный человек с жидкой седой бороденкой и с красной шейкой, торчащей из тесного воротничка; в руках, поросших белокурыми волосами, он держал — тульей вниз — свой цилиндр. Это был учитель Хьюкопп, прозванный школьниками «Пауком». Поскольку в эту перемену была его очередь наблюдать за порядком в коридоре, он решил присмотреть и за тем, что делается в классах.

— Потушить лампы! Поднять шторы! Окна открыть! — произнес он, стараясь по мере сил придать своему голосу повелительный тон, и даже энергично покрутил в воздухе рукой, словно уже поднимал штору.— И всем отправляться вниз, на свежий воздух, без промедления.

Лампы потухли, шторы взвились кверху, блеклый свет залил комнату, в распахнутое окно ворвался холодный, сырой воздух, и пятиклассники стали тесниться к выходу; в классе разрешалось оставаться только первому ученику.

Ганно и Кай, столкнувшись в дверях, вместе спустились по широкой лестнице и пошли к наружной двери через красивый, строгий вестибюль. У Ганно был жалкий вид, а мысли Кая, казалось, витали где-то далеко. Выйдя во двор, они стали прохаживаться среди толпы разновозрастных соучеников, шумно топавших по мокрым красноватым плитам.

Здесь за порядком надзирал моложавый господин с белокурой остроконечной бородкой. Этот весьма щеголеватый старший учитель, некий доктор Гольденер, содержал пансион для мальчиков, сыновей богатых дворян-землевладельцев из Голштинии и Мекленбурга. Под влиянием вверенных его заботам юных феодалов он научился следить за своей внешностью и тем самым резко отличался от других учителей. Г-н Гольденер носил пестрые шелковые галстуки, кургузые сюртучки и необыкновенно нежных тонов панталоны со штрипками; от его носовых платков с цветной каемочкой всегда пахло духами. Он происхо-

дил из бедной семьи, и все это щегольство совсем не шло к нему; так, например, его огромные ноги в остроносых башмаках на пуговицах производили просто смешное впечатление. По непонятным причинам он очень кичился своими красными ручищами, непрестанно потирал их, сплетал пальцы обеих рук и любовно их рассматривал. У него была привычка слегка склонять набок голову и, сощурившись, сморщив нос и полуоткрыв рот, всматриваться в лица мальчиков с таким выражением, словно он хотел сказать: «Ну, что вы там опять набедокурили?..» Тем не менее у него хватало такта не обращать внимания на всякие мелкие отступления от школьных правил, случавшиеся здесь, на дворе. Он смотрел сквозь пальцы, когда мальчики приносили с собой учебники, чтобы в последнюю минуту подзубрить заданный урок, или когда его пансионеры давали денег смотрителю г-ну Шлемилю на покупку сдобных булочек; старался не замечать, когда борьба между двумя третьеклассниками переходила в драку и драчунов тут же кольцом обступали любители потасовок; благоразумно отворачивался, когда кого-нибудь из мальчиков, совершившего нетоварищеский, бесчестный или трусливый поступок, одноклассники тащили к водопроводной колонке, чтобы для пущего посрамления публично окатить водой.

В общем, это был неплохой, хотя и несколько необузданный и очень шумный народец, среди которого сейчас прогуливались Кай и Ганно.

С молоком матери впитавшие в себя воинственный и победоносный дух помолодевшей родины, эти мальчики превыше всего ставили грубоватую мужественность. Они говорили между собой на жаргоне, одновременно неряшливом и задорном, обильно уснащенном словечками собственного изобретения. Уважением у них пользовались те из товарищей, которые курили, выпивали, отличались физической силой и умением проделывать сложные гимнастические упражнения; величайшим позором почитались франтовство и изнеженность. Тому, кто осмеливался поднять воротник своего пальто, было обеспечено холодное «обливание», а дерзнувший прогуляться по улицам с тросточкой в руках на следующий же день подвергался в гимнастическом зале расправе, столь же постыдной, сколь и жестокой.

Слова, которыми обменивались Кай и Ганно, странно и необычно звучали в шуме голосов, наполнявших холодный, сырой воздух. Их дружба была уже давно известна всей школе. Учителя терпели ее с неудовольствием, подозревая, что за ней кроется непорядок, оппозиция, а товарищи, не способные раз-

гадать ее сущность, посматривали на обоих друзей с недоумением и насмешкой, чуждались этих чудаков, но в их отношения не вмешивались. Кроме того, Кай Мельн внушал им уважение своей дикостью и необузданным свободолюбием. Что же касается Ганно Будденброка, то даже длинный Хейнрице, раздававший колотушки направо и налево, не решался «задать ему трепку за трусость и изнеженность» из-за какого-то бессознательного страха, который ему внушали шелковистые волосы, хрупкое телосложение, а главное, хмурый, настороженный и холодный взгляд Ганно.

— Мне страшно,— сказал Ганно Каю; он остановился в углу двора и зябко подтянул кушак на своей куртке,— отчего, я и сам не знаю, но так страшно, что у меня все тело болит. Ну что такого устрашающего в господине Мантельзаке? Скажи, пожалуйста... Ох, если бы уж прошел урок с этим злосчастным Овидием! Если б уж я получил дурной балл и остался на второй год, ей-богу, все было бы в порядке! Я не этого боюсь, я боюсь шума, крика, который поднимается...

Кай стоял в задумчивости.

— Такого, как Родерик Эшер, второго не выдумаешь! — вдруг сказал он без всякой связи с предыдущим разговором.— Я весь урок не мог оторваться... Ах, если бы мне когда-нибудь удалось написать не хуже!

Дело в том, что Кай начал пописывать. Это-то он и имел в виду, когда заявил утром, что у него были дела поинтереснее приготовления уроков. И Ганно сразу его понял. Склонность рассказывать небылицы, которую Кай проявлял еще совсем маленьким мальчиком, переросла в попытки писательства; он только что закончил сказку, безудержно фантастическую повесть, где все полыхало каким-то темным огнем и действие разыгрывалось среди металлов и таинственно клокочущего пламени, в глубочайших, священнейших недрах земли и в душе человеческой. Стихийные начала природы и человека своеобразно переплетались в ней, очищались, сливались воедино; обо всем этом Кай рассказывал вдохновенными, многозначительными, немного высокопарными, но полными страсти и нежности словами.

Ганно отлично знал эту повесть и очень любил ее. Но сейчас ему было не до писательства Кая и не до Эдгара По. Он снова зевнул, потом испустил глубокий вздох и стал мурлыкать про себя мотив, недавно им придуманный. Это вошло у него в привычку. Он часто вздыхал, стараясь поглубже втянуть в себя воздух, чтобы слегка подстегнуть свое вяло работающее

сердце, и мало-помалу привык сообщать выдоху определенный музыкальный ритм, мелодию, все равно своего или чужого сочинения.

— Смотри-ка, Господь Бог! — сказал Кай.— Он вступает в райские кущи.

— Хорошенькие кущи! — ответил Ганно, разражаясь смехом. Это был нервический смех, которого он не мог удержать, глядя на того, кого Кай именовал «Господом Богом», хотя изо всей силы и прижимал ко рту носовой платок.

Во дворе показался доктор Вулике, директор школы; необыкновенно долговязый мужчина в мягкой шляпе, с короткой окладистой бородой, с торчащим животом, в слишком коротких брюках и грязноватых воронкообразных манжетах. Лицо его выражало гнев, доходивший почти до страдания; он быстро шел по каменным плитам двора, простирая правую руку в направлении водопроводной колонки, из которой била вода. Несколько мальчиков наперегонки мчались впереди него, чтобы закрыть кран. Сделав это, они долго стояли в растерянности, переводя взгляды с колонки на директора, который низким, глухим и взволнованным голосом в чем-то упрекал подоспевшего, красного от смущения доктора Гольденера. Речь свою директор пересыпал нечленораздельными, рыкающими звуками.

Этот Вулике был страшный человек. Должность директора он занял в 1871 году, после смерти того веселого и благодушного старика, под чьим началом учились отец и дядя Ганно. В прошлом учитель прусской гимназии, он внес другой, новый дух в старую школу. Там, где некогда классическое образование считалось отрадной самоцелью, к которой ученики шли спокойно, неторопливо, с открытым сердцем, отныне превыше всего ставились такие понятия, как авторитет, долг, сила, служба, карьера, а «категорический императив нашего философа Канта» стал знаменем, которым доктор Вулике грозно потрясал в каждой своей торжественной речи. Школа была теперь государством в государстве; прусская субординация воцарилась в ней так полновластно, что не только учителя, но и ученики чувствовали себя чиновниками и заботились лишь о продвижении по службе да о том, чтобы быть на хорошем счету у начальства. Вскоре после прихода нового директора началась перестройка здания в соответствии с требованиями гигиены и новейших представлений о красоте, благополучно завершившаяся в положенный срок. Но не исключено, что в прежние времена, когда в стенах школы

было меньше современного комфорта и больше добродушия, уюта, веселья, доброжелательства, товарищеских отношений, она была учреждением куда более симпатичным и полезным.

Что касается личности директора Вулике, то в ней было что-то от загадочности, двусмысленности и упорной, ревнивой беспощадности ветхозаветного бога. Его улыбка была так же страшна, как и его гнев. Безграничная власть, которой он был облечен, сделала его до ужаса взбалмошным и неучтивым. Он мог шутить и, если его шутка вызывала смех, тут же превратиться в разъяренное чудовище. Ни один из его вечно трепетавших подопечных не знал, как ему следует держать себя. Оставалось только чтить г-на Вулике, пресмыкаться перед ним во прахе и путем безумных унижений ограждать себя от опасности, попав под гнев директора быть стертым в порошок его великой справедливостью.

О прозвище, данном ему Каем, не знал никто, кроме Ганно Будденброка. Мальчики остерегались произносить его в присутствии товарищей — из страха встретить в ответ только холодный, непонимающий взгляд, который им был так хорошо знаком. Нет, ни одной точки соприкосновения не было у них с товарищами. Даже формы оппозиции и мести, к которым те прибегали, были чужды им обоим; клички, которыми соученики награждали учителей, не вызывали у них улыбки,— этот юмор их не веселил. Ведь так просто, так неостроумно и неинтересно было именовать тощего профессора Хьюкоппа «Пауком», а старшего учителя Баллерштедта «Попугаем» — жалкое отмщение за тяготы принудительной государственной службы! Нет, Кай граф Мельн позубастее! Это он ввел для себя и для Ганно обыкновение называть учителей их настоящим именем с прибавлением господин: «господин Баллерштедт», «господин Мантельзак», «господин Хьюкопп»... Сколько презрительной, холодной иронии звучало в таком учтивом титуловании! Какое отчуждение, какая дистанция тем самым устанавливалась между Каем, Ганно и их учителями! Друзья говорили о «преподавательском персонале» и тешились на переменах, стараясь представить себе этот «преподавательский персонал» в едином обличье какого-то фантастического чудовища. Школу они непременно именовали «заведением», произнося это слово таким тоном, словно речь шла об одном из тех «заведений», где проводил большую часть своего времени дядя Ганно, Христиан.

При виде Господа Бога, всех повергшего в смертный страх грозным рыканьем, с каким он указывал на бумажки

из-под бутербродов, там и сям валявшиеся во дворе, Кай пришел в отличное настроение. Он потащил Ганно к воротам, через которые входили учителя, и принялся низко и почтительно кланяться всем этим красноглазым, бледным и худосочным студентам учительской семинарии, спешившим на задний двор, к своим первоклассникам и второклассникам. Кай склонялся чуть не до земли, вытягивая руки по швам, и почтительно, снизу вверх заглядывал в глаза этим беднягам. Когда же появился учитель арифметики г-н Титге, держа в дрожащей, заложенной за спину руке несколько книг, немыслимо косой, желтый, скрюченный и вечно отхаркивающийся, Кай звонким голосом произнес: «Добрый день, покойничек»,— и припялся безмятежно смотреть по сторонам.

Тут раздался пронзительный звонок, и ученики со всех сторон устремились к дверям школы. Но Ганно все продолжал хохотать; хохотал он и на лестнице, так громко, что товарищи, поднимавшиеся вместе с ним, холодно, отчужденно, немного даже осуждающе смотрели на него — что за нелепое поведение!

При появлении доктора Мантельзака в классе мгновенно водворилась тишина, и все мальчики, как один, встали с места. Он был классным наставником, а к классным наставникам полагается относиться с сугубым уважением. Г-н Мантельзак прикрыл за собою дверь, нагнулся, вытянул шею, чтобы проверить, все ли поднялись, повесил на гвоздь свою шляпу и, то вскидывая, то наклоняя голову, быстро зашагал к кафедре. Взойдя на нее, он выпрямился и стал глядеть в окно, все время водя указательным пальцем с кольцом-печаткой между воротничком и шеей. Это был человек среднего роста, с жидкими, почти седыми волосами, с курчавой головой Юпитера и близорукими синими глазами навыкате, поблескивавшими за стеклами очков. Морщинистой рукой с очень короткими пальцами он то и дело оправлял в талии свой сюртук из серой мягкой материи. Брюки у него, как и у всех учителей, включая изящного доктора Гольденера, были несколько коротковаты и не закрывали голенищ широких, до блеска начищенных штиблет.

Внезапно, отвернувшись от окна, он испустил короткий, приветственный вздох, взглянул на безмолвствующий класс, сказал «да, да» и дружелюбно улыбнулся нескольким ученикам. Было очевидно, что он находится в отличном расположении духа. Вздох облегчения пронесся по классу. Многое, очень многое, можно сказать — все, зависело от того, хорошо

или плохо настроен доктор Мантельзак. Мальчики знали, что он бессознательно и даже не пытаясь себя контролировать отдается во власть своих настроений. Доктор Мантельзак отличался совершенно исключительной, бесконечно наивной несправедливостью, а благоволение его было прекрасно и переменчиво, как счастье. У него всегда имелись два или три любимчика; он говорил им «ты», называл их по именам; и этим любимчикам жилось, как в раю. Они могли отвечать первое, что им взбрело на ум, а после урока г-н Мантельзак дружелюбнейшим образом беседовал с ними. Но в один прекрасный день, большей частью после каникул, и одному богу известно, по какой причине, они вдруг впадали в немилость, оказывались свергнутыми, уничтоженными, позабытыми; другие отныне назывались по именам. Теперь он новым счастливчикам подчеркивал ошибки в extemporalia такой аккуратной и тоненькой черточкой, что работы их, даже самые неудовлетворительные, сохраняли опрятный вид. Зато в тетрадях других учеников г-н Мантельзак орудовал пером столь гневно и размашисто, до того исчерчивал их красными чернилами, что они становились страшными и отталкивающими. А так как он не подсчитывал ошибок, а ставил баллы в зависимости от количества израсходованных им красных чернил, то его фавориты оказывались в весьма выгодном положении. При этом он никогда не задумывался над таким произволом, считал его в порядке вещей и ни разу не заподозрил себя в пристрастии. Тому, у кого бы достало мужества запротестовать против подобного самоуправства, пришлось бы поставить крест на надежде стать любимчиком г-на Мантельзака и зваться просто по имени. А кому охота ставить крест на лучезарной надежде!..

Доктор Мантельзак стоял, скрестив ноги, и листал в своей записной книжке. Ганно Будденброк сидел согнувшись и ломал руки под партой. Б! Теперь на очереди буква Б! Сейчас будет названа его фамилия! Он встанет, не сможет сказать ни строчки... и поднимется шум, скандал, произойдет ужасная катастрофа, несмотря на очевидно хорошее настроение классного наставника. Проходили мучительные секунды. «Будденброк... сейчас он скажет: Будденброк...»

— Эдгар! — произнес доктор Мантельзак, закрыл книжку, держа в ней указательный палец, и уселся с видом, говорящим, что вот теперь все в порядке.

Что? Что это было? Эдгар!.. Эдгаром звали толстого Людерса, вон там у окна, а буква Л уж никак не могла быть на

очереди! Неужели это возможно! Или доктор Мантельзак так хорошо настроен, что он попросту вызывает любимчика, позабыв о тех, кому сегодня надлежит отвечать?

Толстый Людерс встал. Он был очень похож на мопса с сонными карими глазами. Хотя место у него было весьма удобное, чтобы читать по книге, но он и для этого был слишком неповоротлив. Привыкнув к райской жизни и чувствуя себя слишком уж уверенно, он просто заявил:

— У меня вчера голова болела, и я не приготовил урока.

— Ах, ты обманываешь мои ожидания, Эдгар,— печально проговорил доктор Мантельзак.— Ты не хочешь прочитать мне стихи о Золотом веке? Жаль, очень жаль, друг мой! У тебя голова болела? Но, по-моему, об этом следовало заявить в начале урока, до того, как я тебя вызвал. На днях у тебя ведь тоже болела голова? Против головных болей надо принять какие-нибудь меры, а не то ты отстанешь от класса. В таком случае отвечайте вы, Тимм.

Людерс сел на место. В это мгновенье все его ненавидели. Настроение классного наставника явно упало; похоже, что в следующий раз Людерс будет вызван уже по фамилии... С одной из задних скамеек поднялся Тимм, белокурый юнец с короткими толстыми руками, одетый в светло-коричневую куртку, по виду сельский житель. Раскрытый рот его напоминал воронку, на глуповатом лице было написано усердие; он торопливо придвинул открытую книгу и стал напряженно смотреть перед собой. Затем склонил голову набок и начал читать, растягивая слова, с запинками, монотонно, как дети читают букварь:

— Aurea prima sata est aetas...[1]

Несомненно, что доктор Мантельзак вызывает сегодня не по алфавиту и нисколько не считаясь с тем, давно или недавно был спрошен ученик. Теперь уж вовсе не так обязательно, что будет вызван Ганно, разве только судьба пожелает сыграть с ним злую шутку. Он обменялся с Каем радостным взглядом, потихоньку расправил онемевшие члены, стал успокаиваться.

Но Тимм внезапно умолк. Может быть, г-н Мантельзак плохо слышал его, а может быть, просто захотел размять ноги,— во всяком случае, он сошел с кафедры, спокойно, неторопливо зашагал по классу и, с томиком Овидия в руке, остановился подле Тимма, который быстрым, незаметным дви-

[1] Прежде всего насажден был век Золотой... *(лат.)*

жением отодвинул от себя книгу и... оказался в состоянии полнейшей беспомощности. Он тяжело задышал своим похожим на воронку ртом, уставился на классного наставника голубыми, честными, растерянными глазами и больше уже не мог выдавить из себя ни единого слова.

— Что, Тимм,— сказал доктор Мантельзак,— дальше не идет, а?

Тимм схватился за голову, выкатил глаза, задышал еще чаще и наконец с виноватой улыбкой произнес:

— Я очень смущаюсь, когда вы стоите рядом со мной, господин доктор.

Польщенный доктор Мантельзак тоже улыбнулся, сказал:

— Ну, ну, соберитесь с духом и продолжайте,— и направился к кафедре.

Тимм «собрался с духом»: он снова придвинул к себе книгу, раскрыл ее, стремясь овладеть собой, поглядел сначала в одну, потом в другую сторону, затем опустил голову и стал спокойно читать дальше.

— Что ж, я вполне удовлетворен,— заявил классный наставник, когда он кончил.— Вы несомненно хорошо подготовились. Только у вас, к сожалению, совершенно отсутствует чувство ритма, Тимм. Слияние смежных гласных вы усвоили, но разве так читают гекзаметр! У меня создалось впечатление, что вы все затвердили наизусть, как прозу... Но, во всяком случае, вы выказали прилежание, сделали то, что было в ваших силах, а «кто жил, трудясь, стремясь весь век...». Садитесь!

Тимм, гордый и сияющий, сел на место, а доктор Мантельзак поставил против его фамилии удовлетворительную отметку. И самое примечательное, что в эти минуты не только учитель и все одноклассники, но даже сам Тимм были искренне уверены, что он и вправду примерный ученик, по заслугам получивший хорошую отметку. Даже Ганно Будденброк не в силах был противостоять этому впечатлению, хотя и ощущал какой-то внутренний протест. Он опять стал напряженно прислушиваться: какая сейчас будет названа фамилия?

— Мумме! — вызвал доктор Мантельзак.— Еще раз «Aurea prima...».

Итак, значит, Мумме! Слава тебе господи! Теперь уж он, Ганно, надо думать, в безопасности! В третий раз господин Мантельзак вряд ли спросит стихи, а что касается нового задания, то буква Б прошла совсем недавно...

Мумме встал. Это был долговязый бледный юноша с дрожащими руками, в очках с огромными круглыми стеклами. У него часто болели глаза, и вдобавок он был так близорук, что стоя не мог читать по лежащей на парте книге. Ему волей-неволей приходилось учить уроки, и он их учил. Но так как он был исключительно бездарен и к тому же полагал, что его сегодня не вызовут, то не знал почти ничего и после первых же слов позорно замолк. Доктор Мантельзак подсказал ему раз, подсказал второй — более резким голосом, и, наконец, третий — уже очень раздраженным тоном; когда же Мумме окончательно сбился, учителем овладел непритворный гнев.

— Никуда не годится, Мумме, садитесь! Вы являете собой весьма печальное зрелище, можете в этом не сомневаться, кретин несчастный! Глупость плюс лень — это уже, знаете ли, многовато...

Мумме весь сжался. Он выглядел воплощенным несчастьем, и в этот момент не было ни одного человека в классе, кто бы не презирал его. В Ганно Будденброке поднялась и сдавила ему горло волна отвращения, нечто вроде позыва к рвоте. Но в то же время он с ужасающей ясностью видел все, что происходило. Размашисто начертив роковой знак против фамилии Мумме, учитель насупил брови и открыл свою записную книжку. Со зла он, конечно, перейдет к вызовам по алфавиту и сейчас смотрит, кто на очереди! Не успел Ганно проникнуться этим горестным сознанием, как, словно в кошмарном сне, уже услышал свою фамилию.

— Будденброк!

Доктор Мантельзак выговорил «Буддэнброк», это слово еще звучало в воздухе, и тем не менее Ганно не поверил. В ушах у него зазвенело. Он продолжал сидеть.

— Господин Будденброк! — повторил доктор Мантельзак, глядя на него синими навыкате глазами, поблескивавшими за стеклами очков.— Не будете ли вы так добры?

Ну, так! Значит, чему быть, того не миновать. Вышло по-другому, чем он думал. Но все равно — это конец! Он уже не волновался больше. Интересно только, сильный ли поднимется крик? Ганно встал, намереваясь привести какое-нибудь смехотворное и вздорное оправдание: сказать, например, что он попросту «позабыл» выучить стихи... как вдруг заметил, что сидящий впереди Ганс Герман Килиан держит перед ним раскрытую книгу.

Килиан был низкорослый, широкоплечий шатен с жирными волосами. Он хотел быть офицером и до такой степени

высоко ставил понятие товарищества, что не считал возможным покинуть в беде даже Ганно Будденброка, которого терпеть не мог. Более того, он ткнул пальцем в строчку, с которой следовало начинать.

Последовав взглядом за его пальцем, Ганно начал читать. Нахмурив брови и скривив губы, он читал о Золотом веке, когда право и справедливость по доброй воле соблюдались людьми, не ведавшими ни мщения, ни предписаний закона... «Не было тогда ни кары, ни страха,— читал он по-латыни,— на медных досках не стояли начертанными грозные слова, и молящая толпа не трепетала перед ликом судии...» Он читал с измученным, брезгливым выражением лица, нарочито плохо и бессвязно, преднамеренно опуская многие слияния, обозначенные карандашом в книге Килиана, ставил неправильные ударения, запинался, делая вид, что с трудом припоминает стихи, все время ожидая, что классный наставник обнаружит обман и обрушится на него. Преступное наслаждение — держать перед собой открытую книгу — вызывало у него зуд во всем теле, он был полон отвращения к тому, что делал, и старался обманывать как можно более неумело, чтобы хоть этим умалить низость своего поступка. Наконец он замолчал, и в классе воцарилась такая тишина, что Ганно не решался и глаз поднять. В этой тишине было что-то зловещее: Ганно не сомневался, что доктор Мантельзак все видел, у него даже губы побелели от страха. Наконец учитель вздохнул и объявил:

— О Будденброк, si tacuisses [1]. Уж простите меня на этот раз за классическое «ты»... Знаете ли, что вы сделали? Вы втоптали в прах красоту, вы повели себя, как вандал, как варвар, у вас нет ни капли художественного чутья, Будденброк, это написано на вашей физиономии. Спрашивая себя, кашляли вы все это время или читали прекраснейшие стихи, я вынужден остановиться на первом предположении. Тимму очень и очень недостает чувства ритма, но по сравнению с вами он гений, рапсод... Садитесь, несчастный вы человек! Вы выучили урок, безусловно выучили. Я не вправе поставить вам дурную отметку — вы старались по мере сил... Послушайте! Говорят, что у вас музыкальные способности, что вы играете на рояле? Может ли это быть?.. Ну, ладно, садитесь! Хорошо уж и то, что вы проявили прилежание.

Он поставил Ганно Будденброку удовлетворительный балл, и тот сел на место. С ним произошло то же, что несколько

[1] Лучше бы ты молчал *(лат.)*.

минут назад произошло с «рапсодом» Тиммом: он почувствовал себя искренне польщенным похвалой доктора Мантельзака и сейчас всерьез считал себя пусть мало способным, но зато прилежным учеником, с честью вышедшим из положения, и ясно чувствовал, что такого же мнения держатся все другие мальчики, не исключая Ганса Германа Киплана. Тошнотворное ощущение вновь поднялось в Ганно, но он был сейчас слишком слаб, чтобы вдуматься в происшедшее. Бледный, дрожащий, он закрыл глаза и погрузился в какое-то летаргическое состояние.

Доктор Мантельзак продолжал урок. Он перешел к стихам, заданным на сегодня, и вызвал Петерсена. Петерсен вскочил с места, бодрый, оживленный, самоуверенный, и с храбрым видом приготовился принять бой. Но, увы, сегодня его ждало поражение! Да, уроку не суждено было кончиться без катастрофы, значительно более страшной, чем та, что произошла с бедным, подслеповатым Мумме.

Петерсен переводил, время от времени бросая взгляд на другую страницу книги, на которую ему, собственно, смотреть было незачем. Проделывал он это очень ловко, притворяясь, будто ему там что-то мешает, проводил рукой по странице, дул на нее, словно сдувая пылинку, назойливо попадавшуюся ему на глаза. И тем не менее беда нагрянула.

Доктор Мантельзак внезапно сделал быстрое движение, в ответ такое же движение сделал и Петерсен. Но в ту же секунду учитель сошел с кафедры, вернее — стремглав соскочил с нее и большими торопливыми шагами направился к Петерсену.

— У вас ключ в книге, подстрочник! — объявил он, уже стоя возле Петерсена.

— Ключ?.. Нет... Нет у меня ключа...— забормотал Петерсен. Он был хорошенький мальчик, с белокурым коком надо лбом и с необыкновенно красивыми синими глазами, в которых теперь светился страх.

— У вас нет ключа в книге?

— Нет, господин учитель... господин учитель! Ключа, вы говорите? Право же, нет... Вы ошибаетесь, питаете ложное подозрение...— Петерсен говорил как-то необычно. Страх заставил его прибегнуть к изысканным выражениям, которыми он надеялся произвести впечатление на доктора Мантельзака.— Я вас не обманываю,— в тоске добавил он.— Я всегда был честен, всю жизнь!

Но доктор Мантельзак был слишком уверен в своей печальной правоте.

— Дайте мне книгу,— сухо сказал он.

Петерсен, вцепившись обеими руками в злополучную книгу, поднял ее над головой и продолжал заплетающимся языком бормотать:

— Верьте мне, господин учитель... господин доктор! Там нет ключа... У меня его вообще нет. Я вас не обманываю... Я всегда был честным человеком...

— Дайте сюда книгу.— Г-н Мантельзак даже топнул ногой.

Петерсен весь как-то обмяк, лицо его посерело.

— Хорошо,— сказал он, протягивая учителю книгу.— Вот она. И в ней ключ! Вот, смотрите! Но я им не пользовался! — внезапно выкрикнул он.

Доктор Мантельзак пропустил мимо ушей это бессмысленное вранье отчаявшегося юнца. Вытащив «ключ», он разглядывал его с таким выражением, словно держал в руках дурно пахнущие нечистоты, затем сунул его в карман и презрительным движением швырнул Овидия на парту Петерсена.

— Классный журнал,— глухо произнес он.

Адольф Тотенхаупт услужливо подал ему журнал, куда и было вписано замечание Петерсену за попытку обмануть классного наставника, что на долгое время делало его последним из последних и лишало какой бы то ни было надежды весною перейти в следующий класс.

— Вы позор нашего класса,— изрек доктор Мантельзак и пошел обратно к кафедре.

Петерсен сел на место как приговоренный. Сосед от него отодвинулся. Все смотрели на него со смешанными чувствами отвращения, сострадания и ужаса. Он пал, был всеми оставлен, покинут, потому что его поймали на месте преступления. Относительно Петерсена существовало сейчас только одно мнение, и это мнение выражалось в словах: «Позор нашего класса». Его паденье было принято и признано так же единодушно, как успех Тимма и Будденброка, как беда злополучного Мумме. Того же мнения был он сам.

Те из двадцати пяти юнцов, что отличались устойчивой конституцией и были достаточно сильны и крепки, чтобы принимать жизнь такой, как она есть, и сейчас просто отнеслись к положению вещей — не почувствовали себя оскорбленными, а, напротив, сочли все это само собой разумеющимся и нормальным. Но среди них нашлись и такие, чьи глаза

в мрачной задумчивости уставились в одну точку. Маленький Иоганн не отрываясь смотрел на широкую спину Ганса Германа Килиана, и его золотисто-карие глаза выражали отвращение, внутренний протест и страх.

Доктор Мантельзак продолжал урок. Он вызвал другого ученика, а именно Адольфа Тотенхаупта, потому что сегодня ему уже совсем не хотелось спрашивать тех, в ком он не был вполне уверен. Вслед за ним был спрошен другой, очень неважно подготовившийся, который даже не знал, что значит «patula Jovis arbore, glandes», так что за него это пришлось перевести Будденброку. Ганно ответил тихо, не поднимая взгляда,— ведь его спрашивал доктор Мантельзак,— и удостоился одобрительного кивка.

Когда учитель перестал вызывать, урок потерял всякий интерес. Доктор Мантельзак велел переводить дальше одному из очень способных мальчиков, но сам слушал его не внимательнее, чем остальные ученики, которые уже начали готовиться к следующему уроку: перевод никакой роли не играл, за него нельзя было выставить отметку, так же как нельзя было на нем показать свое служебное рвение. К тому же урок с минуты на минуту должен был кончиться. Раздался звонок! Так вот как все обернулось для Ганно сегодня — он даже удостоился поощрительного кивка учителя!

— Ну и ну! — произнес Кай, когда они шли по коридору в химический кабинет.— Что скажешь, Ганно? «Но лишь увидят Цезаря чело...» Вот это я понимаю! Повезло человеку!

— Мне тошно, Кай,— отвечал маленький Иоганн.— Не надо мне такого везенья... Мне от него тошно!

И Кай знал, что на месте Ганно он испытывал бы то же самое.

Химический кабинет находился в сводчатом помещении; скамейки в нем располагались амфитеатром. Внизу стояли длинный стол для опытов и два застекленных шкафа с колбами и пробирками. К концу урока воздух в классе чрезмерно нагрелся и испортился, но здесь уже просто отчаянно воняло сероводородом, с которым только что производились опыты. Кай распахнул окно, стащил у Адольфа Тотенхаупта тетрадь и принялся торопливо переписывать заданный на сегодня урок. Ганно и несколько других мальчиков занялись тем же самым. На это ушла вся перемена, вплоть до звонка и появления доктора Мароцке.

Этот «глубокомысленный» педагог, как прозвали его Кай и Ганно, был чернявый, среднего роста человек с необыкно-

венно желтым лицом, двумя жировиками на лбу, с жесткой сальной бородой и такой же шевелюрой. Он всегда выглядел невыспавшимся и неумытым, хотя это и не соответствовало действительности. В школе он преподавал естественные науки, но основной его специальностью была математика, и в этой области он слыл незаурядным мыслителем.

Кроме того, доктор Мароцке любил поговорить о философских местах в Библии и, когда был в добром и мечтательном настроении, удостаивал своих учеников оригинальным толкованием темных мест Священного писания. Ко всему этому он был офицером запаса и восторженно относился к военной службе. Директор Вулике выделял его среди прочих, как хорошего педагога и военного. Мароцке придавал больше значения дисциплине, чем все другие учителя, критическим взглядом окидывал выстроившихся перед ним во фронт школяров и требовал кратких, четких ответов. В таком смешении мистицизма и военной выправки было что-то отталкивающее.

Первым делом он стал обходить учеников, требуя показа тетрадей с набело переписанным заданием, причем тыкал пальцем в каждую тетрадь. Некоторые мальчики, ничего не переписавшие, подсовывали ему старые тетради, но он этого не замечал.

Затем начался урок! Двадцати пяти юношам предстояло теперь направить свое «служебное рвение» уже не на Овидия, а на свойства бора, хлора и стронция. Ганс Герман Килиан удостоился похвалы за то, что знал, что $BaSO_4$, или тяжелый шпат, является распространеннейшим суррогатом свинцовых белил. Да и вообще учитель благоволил к нему, как к будущему офицеру. Ганно и Кай ровно ничего не знали, что и было соответствующим образом отмечено в записной книжке доктора Мароцке.

Когда ученики были уже спрошены и отметки проставлены, интерес к уроку немедленно угас. Правда, доктор Мароцке стал производить опыты; что-то затрещало, откуда-то вырвались цветные пары... но все это — чтобы хоть чем-нибудь заполнить остаток урока. Уже под самый конец он продиктовал домашнее задание. Тут затрещал звонок. Вот и третий урок с плеч долой!

Все развеселились, за исключением Петерсена, расстроенного своей неудачей. Сейчас предстоял урок английского, которого никто не боялся и который не сулил ничего, кроме забав и шалостей. Его вел кандидат Модерзон, молодой филолог, в течение двух или трех недель, в порядке испытания, препо-

дававший в школе или, как говорил Кай граф Мельн, гастролировавший в надежде подписать ангажемент. Но на ангажемент у него было мало надежды,— слишком уж весело проходили его уроки.

Кое-кто остался в химическом кабинете, другие поднялись наверх, в класс. На дворе сейчас никому не нужно было мерзнуть, так как дежурство в коридоре уже перешло к г-ну Модерзону, а он не осмеливался выпроваживать мальчиков во двор. Кроме того, надо было подготовиться к тому, чтобы достойно его встретить.

Когда раздался звонок к четвертому уроку, в классе даже не стало тише. Все болтали и смеялись, радуясь предстоящей комедии. Граф Мельн, подперев голову руками, продолжал читать о Родерике Эшере, Ганно сидел тихо, наблюдая за происходящим. Мальчики перекликались разными звериными и птичьими голосами, кто-то пронзительно закукарекал; на задней скамейке захрюкал Вассерфогель, точь-в-точь как свинья, причем никто не мог бы и предположить, что эти звуки выходят из его глотки. На классной доске уже красовалась какая-то косая рожица, нарисованная «рапсодом» Тиммом. Когда г-н Модерзон вошел, ему, несмотря на все усилия, не удалось закрыть за собой дверь, так как в щель была засунута здоровенная еловая шишка, которую в конце концов извлек оттуда Адольф Тотенхаупт.

Кандидат Модерзон, маленький, невзрачный человечек, на ходу как-то криво выставлявший вперед одно плечо, с кислым лицом и жидкой черной бороденкой, явно пребывал в замешательстве, щурил свои блестящие глазки, вздыхал, открывал рот, словно собираясь что-то сказать, но не находил нужных слов. Сделав три шага от двери, он наступил на пистон — первосортный пистон,— который разорвался с таким треском, словно это был динамит. Г-н Модерзон вздрогнул, затем натянуто улыбнулся, стараясь сделать вид, что ничего не случилось, и по привычке, скособочившись, оперся рукой об одну из передних парт. Но эта его излюбленная поза была заранее учтена: парту так основательно вымазали чернилами, что маленькая неловкая рука учителя стала совсем черной. Он опять сделал вид, что ничего не произошло, спрятал выпачканную руку за спину, прищурился и мягким, слабым голосом заметил:

— Поведение класса оставляет желать лучшего.

Ганно Будденброк в эту минуту искренне любил его и не сводил глаз с его беспомощного, перекосившегося лица. Но хрюканье Вассерфогеля становилось все громче и натуральнее,

а об оконные стекла внезапно ударилась целая пригоршня гороху, с треском отскочившего и шумно рассыпавшегося по полу.

— Град,— громко и внятно произнес кто-то; и г-н Модерзон, видимо, поверил,— во всяком случае, он, ни слова не говоря, поднялся на кафедру и спросил классный журнал. Сделал он это не для угрозы, а просто потому, что хоть и дал уже пять или шесть уроков в этом классе, но почти ни одной фамилии не запомнил и всякий раз вызывал к доске наугад, по списку.

— Федерман,— сказал он,— не будете ли вы так добры прочитать нам стихотворение...

— Нет в классе! — одновременно крикнуло несколько голосов.

Между тем Федерман, большой и широкоплечий, преспокойно сидел на своем месте и с необыкновенной ловкостью обстреливал класс горохом.

Господин Модерзон прищурился и вычитал из журнала новое имя:

— Вассерфогель!

— Скончался! — крикнул Петерсен в приступе мрачного юмора. И весь класс под кукареканье, гогот, хрюканье и стук подтвердил, что Вассерфогель умер.

Господин Модерзон опять прищурился, оглянулся кругом, горько скривил рот и, раскрыв журнал, ткнул указательным пальцем своей маленькой, неловкой руки в первую попавшуюся фамилию.

— Перлеман,— не вполне уверенно произнес он.

— К сожалению, сошел с ума,— громко и отчетливо проговорил Кай граф Мельн, и класс с гиканьем подтвердил его слова.

Тут уж г-н Модерзон встал на ноги и, пытаясь перекричать шум, воскликнул:

— Будденброк, я заставлю вас писать штрафную работу! А если вы еще будете смеяться, поставлю вам дурной балл за поведение.

Сказав это, он снова сел. И правда, выходка Кая заставила Будденброка негромко фыркнуть, после чего он уже не мог удержаться от смеха. Эта шутка показалась ему очень остроумной, особенно же насмешливое «к сожалению!». Но когда г-н Модерзон его окликнул, он сразу затих и стал хмуро смотреть на кандидата. В эту минуту он как-то особенно отчетливо видел его, видел каждый волос его жидкой бороденки,

сквозь которую просвечивала кожа, его блестящие карие, безнадежно унылые глаза; видел на его маленьких, неловких руках по две пары манжет — такое впечатление создавалось оттого, что рукава сорочки были одинаковой длины и ширины с пристегнутыми манжетами,— видел всю его жалкую, понурую фигуру. Видел и то, что творилось в душе учителя. Ганно Будденброк был, кажется, единственным, чью фамилию запомнил г-н Модерзон, и это служило для злополучного кандидата поводом то и дело призывать его к порядку, назначать ему штрафные работы — словом, всячески его тиранить.

Запомнил же он ученика Будденброка потому, что тот вел себя тише других, и пользовался смиреньем Ганно для того, чтобы непрерывно давать ему почувствовать свой авторитет, который он не смел проявлять в отношении других — шумливых и дерзких.

«Даже сострадание в этом мире невозможно из-за человеческой низости,— думал Ганно.— Я не травлю вас, не издеваюсь над вами, кандидат Модерзон, потому что считаю это грубым, безобразным, пошлым. А чем вы платите мне? Но так было и так будет всегда и везде.— При этой мысли страх и отвращенье вновь овладели душою Ганно.— И, на беду, я еще насквозь вижу вас!..»

Наконец сыскался один ученик, который не умер и не сошел с ума, а, напротив, сам вызвался прочитать английские стихи. Речь шла о стихотворении под названием «The monkey», жалких, ребяческих стишках, которые должны были учить эти молодые люди, в большинстве своем уже помышлявшие о мореплавании, о коммерции, о серьезной работе:

Monkey, little merry fellow,
Thou art nature's punchinello!..[1]

Это было длинное стихотворение, и Кассбаум читал его по книге. Г-н Модерзон хоть и сидел напротив, но с ним можно было не церемониться. Шум между тем еще усилился. Одни шаркали ногами по пыльному полу, другие кукарекали, хрюкали, горох так и летал по классу. Разнузданность уже не знала границ. В этих пятнадцати- шестнадцатилетних юношах проснулись все дикие инстинкты их возраста. Теперь уже по рукам стали ходить непристойные рисунки, вызывавшие громкий смех.

---

[1] Мартышка, маленький зверек,
Ты истинный полишинель природы!.. *(англ.)*

Внезапно все смолкло. Кассбаум прервал чтение. Г-н Модерзон привстал и прислушался. Произошло что-то даже умилительное: откуда-то с задних скамеек понеслись тонкие, кристально чистые звуки, нежно, сладостно и проникновенно зазвеневшие во внезапно наступившей тишине. Кто-то принес в класс часы с репетиром, и вот среди английского урока они заиграли: «Ты со мной, у сердца моего». Но едва смолкла нежная мелодия, как случилось нечто страшное, жестокое, неожиданное, всех заставившее оцепенеть, точно гром, грянувший среди ясного неба.

Бесшумно распахнулась дверь, и в класс ворвалось какое-то длинное рыкающее чудовище, в мгновенье ока очутившееся возле кафедры. То был Господь Бог!

Господин Модерзон весь посерел. Он схватил кресло и потащил его с кафедры, на ходу обтирая сиденье носовым платком. Мальчики прикусили языки и вскочили все, как один; они вытянули руки по швам, встали на носки, склонили головы в приступе неистового раболепства. В классе воцарилась мертвая тишина. Кто-то вздохнул, не выдержав такого напряжения... Затем все опять смолкло.

Директор Вулике, смерив испытующим взглядом воздававшие ему почести колонны, поднял руки в грязных, похожих на воронки манжетах и, растопырив пальцы, внезапно опустил их, словно собираясь взять полный аккорд.

— Сесть! — прогремел он грозным басом.

Ученики сели. Г-н Модерзон дрожащими руками пододвинул кресло директору, и тот уселся возле кафедры.

— Прошу продолжать! — приказал он. И это прозвучало как: «Посмотрим, посмотрим! Но горе тому, кто...»

Все поняли, зачем он явился. Г-н Модерзон должен был продемонстрировать ему свое преподавательское искусство, наглядно показать, какие успехи сделал пятый класс за шесть или семь уроков: сейчас решался вопрос о существовании г-на Модерзона, о его будущем. Жалкое зрелище являл собою кандидат, когда, поднявшись на кафедру, он снова предложил одному из юношей прочитать стихотворение «The monkey». Если до сих пор испытанию и проверке подвергались ученики, то теперь это предстояло учителю. Плохо приходилось уже обеим сторонам! Появление директора Вулике было полной неожиданностью. За исключением двух или трех мальчиков, никто стихотворения не выучил. Не мог же г-н Модерзон весь урок спрашивать одного только Адольфа Готенхаупта, который все знал. А так как в присутствии директора нельзя было читать

«The monkey» по книге, то дело оборачивалось из рук вон плохо. Когда г-н Модерзон предложил перейти к чтению «Айвенго», то с переводом кое-как справился один юный граф Мельн, независимо от школьных занятий питавший интерес к этому роману. Остальные, кашляя и запинаясь, лопотали что-то невразумительное. Вызвали и Ганно Будденброка, но он не перевел ни строчки. Директор Вулике издал неопределенный звук, словно кто-то сильно дернул струну контрабаса. Г-н Модерзон ломал свои маленькие, неловкие руки, вымазанные чернилами, горестно причитая:

— А все шло так хорошо, так хорошо!

Он повторял это, обращаясь не то к директору, не то к классу. В момент, когда раздался звонок, Господь Бог поднялся и, стоя возле кресла, грозно выпрямившись и скрестив руки, стал смотреть поверх мальчиков, презрительно качая головой. Затем он потребовал классный журнал и вписал в него замечание за леность всем, чьи успехи оказались недостаточными или, еще того хуже, равными нулю,— иными словами, шести или семи ученикам зараз. Г-ну Модерзону нельзя было вписать замечанье, но ему приходилось хуже, чем другим. Он стоял рядом с директором поникший, надломленный, уничтоженный.

Ганно Будденброк тоже оказался в числе получивших замечание.

— Уж я позабочусь о том, чтобы испортить вам карьеру,— посулил на прощанье директор Вулике и вышел из класса.

Звонок продолжал трещать. Урок кончился. Так, значит, было суждено! Когда очень боишься, то все, словно на смех, складывается уж не так плохо, а когда ничего дурного не ждешь — беда тут как тут. Надежда перейти в следующий класс теперь для Ганно окончательно отпадала. Он потрогал языком коренной зуб, поднялся и, устало глядя перед собой, пошел к двери.

Кай подбежал к нему, обнял его за плечи, и в толпе одноклассников, оживленно обсуждавших случившееся, они спустились во двор.

Боязливо и любовно заглядывая в лицо друга, Кай сказал:

— Прости, Ганно, что я выскочил с переводом, надо было мне промолчать и тоже получить замечание! Это такая подлость с моей стороны!..

— Разве и я не ответил на уроке латыни, что значит «patula Jovis arbore, glandes»? — спросил Ганно.— Так уж все вышло, Кай. Ничего не поделаешь!

— Это, конечно, верно!.. Так, значит, Господь Бог пообещал испортить тебе карьеру? Что ж, надо покориться, Ганно, раз такова его неисповедимая воля... Карьера — вот это словцо! Карьере господина Модерзона тоже конец! Никогда ему не быть старшим учителем, бедняге! Да, выходит, что есть старшие и младшие учителя, а просто учителей нет! Нам с тобой это трудно понять,— это для взрослых, для тех, кто уже знает жизнь. По-моему, можно сказать: вот это учитель, а это не учитель, но что значит «старший учитель» — я, ей-богу, не понимаю. Вот если бы высказать это Господу Богу или господину Мароцке. Что бы тут поднялось! Они сочли бы это оскорблением и стерли бы нас в порошок за дерзость, а ведь мы бы только высказали более высокое мнение об их профессии, чем то, которое они себе составили... Ну, да что о них говорить, об этих идиотах!

Они прогуливались по двору, и Ганно с удовольствием слушал все, что болтал Кай, стараясь заставить его забыть о полученном замечании.

— Смотри-ка, калитка открыта, а за ней улица. Что, если бы нам с тобой немножко пройтись по тротуару? Еще осталось шесть минут до конца перемены... мы могли бы вовремя вернуться. Все так, а вот выйти-то нам и нельзя. Понимаешь ты это? Калитка открыта, решеток нет, вообще нет никаких препятствий. И все-таки выйти нам нельзя, нельзя даже подумать об этом, на секунду нельзя нос высунуть!.. Ну да ладно! Возьмем другой пример. Разве мы смеем сказать, что сейчас будет половина двенадцатого? Нет, сейчас будет урок географии. Такто обстоят дела! А теперь я спрашиваю: разве это жизнь? Все шиворот-навыворот! Ах, господи, если бы нам уж выбраться из нежных объятий этого заведения!

— Ну, а что тогда? Брось, Кай, все будет точно так же. За что взяться? Здесь мы хоть к чему-то пристроены. С тех пор как умер мой отец, господин Кистенмакер и пастор Прингсгейм каждый день пристают ко мне: кем ты хочешь быть? А я сам не знаю и ничего не могу им ответить. Я никем не могу быть. Я всего боюсь...

— Ну как ты можешь так говорить! Ты, у которого есть музыка...

— А что толку от моей музыки, Кай? С ней ничего не начнешь. Что же, мне разъезжать и давать концерты? Во-первых, они мне этого не позволят, а во-вторых, я и не сумею. На что я способен? Разве что поимпровизировать немного на рояле, когда я остаюсь один. А кроме того, разъезды тоже пугают меня. Ты — дело другое. У тебя больше мужества. Ты вот рас-

хаживаешь здесь и над всеми смеешься, у тебя есть что им противопоставить. Ты будешь писать, рассказывать людям прекрасные, удивительные истории — это уже нечто. И, конечно, ты станешь знаменитостью, ты очень способный! В чем тут дело? Ты веселее меня. Иногда за уроками мы посмотрим друг на друга — ну, как сегодня, когда господин Мантельзак почему-то поставил дурную отметку одному Петерсену,— думаем мы одно и то же, но ты состроишь гримасу — и все... А я так не умею. Я от всего этого устаю. Мне хочется спать и ни о чем больше не думать. Мне хочется умереть, Кай!.. Нет, нет, ничего из меня не выйдет. Я ничего не хочу. Даже не хочу прославиться... Меня это страшит, словно в этом тоже есть какая-то несправедливость. Будь уверен, что ничего толкового из меня не выйдет. Пастор Прингсгейм, он готовит меня к конфирмации, недавно сказал кому-то, что на мне надо поставить крест, я из вырождающейся семьи...

— Так и сказал? — с напряженным любопытством переспросил Кай.

— Да. Он имел в виду моего дядю Христиана, который сидит в Гамбурге в лечебнице для слабоумных. И он, конечно, прав. Пусть на мне ставят крест, я буду только благодарен! У меня столько огорчений, мне все так тяжело дается. Вот подумай, если я порежу себе палец, чем-нибудь оцарапаюсь... у другого все прошло бы за неделю, а у меня длится месяц — не заживает, воспаляется, с каждым днем становится хуже, мучает меня. На днях господин Брехт сказал, что зубы мои никуда не годятся, все подточены, испорчены; а сколько их мне уж вырвали! И это теперь. А чем я буду есть в тридцать, в сорок лет? Нет, я ни на что не надеюсь...

— Так,— произнес Кай, прибавляя шагу.— Ну, а теперь расскажи-ка мне лучше о твоей музыке. Я собираюсь написать одну удивительную штуку... правда, удивительную... Возможно, что я уже сейчас начну, на уроке рисования. Ты будешь сегодня импровизировать после обеда?

Ганно помолчал. В глазах его мелькнуло что-то грустное, лихорадочное, смятенное.

— Да, буду,— сказал он,— хотя мне не следовало бы этого делать. Лучше было бы повторить кое-какие этюды, сонаты и только. Но я буду импровизировать! Я не могу без этого, пусть потом мне становится еще хуже.

— Хуже?

Ганно не отвечал.

— Я знаю, о чем ты будешь играть,— сказал Кай.

Они замолчали. Оба мальчика переживали критический возраст. Кай покраснел до корней волос и потупился, хотя головы не опустил. Ганно, бледный, страшно серьезный, глядел куда-то в сторону затуманенными глазами.

Но тут г-н Шлемиль зазвонил, и они пошли наверх.

Сейчас, на уроке географии, должна была быть сделана очень важная классная работа о Гессен-Нассауской области. В класс вошел рыжебородый мужчина в коричневом сюртуке. Лицо у него было бледное, руки с необыкновенно пористой кожей поражали полным отсутствием растительности. Это был «остроумнейший» доктор Мюзам. У него временами случались легочные кровотечения, и он всегда и обо всем говорил иронически, считая себя очень умным и очень больным. Дома у него было устроено нечто вроде музея Гейне — собрание бумаг и предметов, принадлежавших дерзкому и больному поэту. Но сейчас, вычертив на классной доске границы Гессен-Нассау, он с меланхолической и насмешливой улыбкой попросил господ учеников написать о достопримечательностях этой области. В его словах заключалась двойная насмешка — над школьниками и над Гессен-Нассауской областью. Тем не менее это была важная классная работа, к которой все относились с опаской.

Ганно Будденброк мало что знал о Гессен-Нассау, вернее — ничего не знал. Он собрался было заглянуть в тетрадь Адольфа Тотенхаупта, но «Генрих Гейне», которому его ядовитая и страдальческая ирония не мешала зорко следить за каждым движением учеников, тотчас это приметил и сказал:

— Господин Будденброк, я чувствую сильное искушение попросить вас закрыть тетрадь, но боюсь тем самым оказать вам сугубое благодеяние. Продолжайте!

В этом замечании тоже заключалась двойная острота: во-первых, доктор Мюзам назвал Ганно «господином Будденброком», а во-вторых, упомянул о «благодеянии». Ганно Будденброк долго корпел над своей тетрадью, подал в конце концов учителю почти не исписанный листок и вместе с Каем вышел из класса.

На сегодня со всеми трудностями было покончено. Благо тем, чья совесть не обременена полученным замечанием. Эти счастливцы могли теперь с легким сердцем усесться в светлом зале и заняться рисованием у г-на Драгемюллера.

Рисовальный класс был просторен и светел. На полках вдоль стен стояли гипсовые слепки с античных статуй, а в большом шкафу помещалось множество всевозможных деревянных форм и игрушечной мебели, тоже служивших моделями. Г-н Драгемюллер, коренастый мужчина с кругло подстриженной

бородой, носил дешевый каштановый парик, предательски оттопыривавшийся на затылке. Собственно, париков у него было два: один с короткими волосами, другой с более длинными; когда г-н Драгемюллер подстригал себе бороду, он надевал первый. Он и вообще был человек не без странностей. Так, например, он говорил не карандаш, а «графит». От него всегда разило маслом и спиртом, и многие уверяли, что он пьет керосин. Счастливейшими в своей жизни он почитал те часы, когда ему приходилось заменять кого-нибудь из учителей и преподавать другие предметы. В таких случаях он читал целые лекции о политике Бисмарка, сопровождая свою речь весьма странным жестом — он точно чертил спираль от носа к плечу, и со страхом и ненавистью поносил социал-демократов.

— Нам надо объединяться! — восклицал он, хватая за руки учеников.— Социал-демократия стучится в двери!

Его отличала какая-то судорожная суетливость. Распространяя вокруг себя запах спирта, он подсаживался к кому-нибудь из учеников, тыкал его в лоб своим кольцом-печаткой; выкрикивал отдельные слова, вроде: «Перспектива!», «Густая тень!», «Графит!», «Социал-демократия!», «Объединяться!» — и переходил к следующему.

Кай за этим уроком начал писать свое новое произведение, а Ганно мысленно исполнял одну увертюру. Затем урок кончился, они собрали книги, спустились вниз, вышли через раскрытые теперь ворота на улицу и отправились по домам.

Ганно и Каю было по пути. С книгами под мышкой они вместе дошли до маленькой красной виллы. Оттуда юному графу Мельну предстояло в одиночестве пройти еще порядочное расстояние до отцовского хутора, а у него даже пальто не было.

Утренний туман обратился в снег, падавший большими рыхлыми хлопьями и грязью ложившийся на мостовую. У калитки будденброковской виллы мальчики расстались. Но когда Ганно уже прошел половину палисадника, Кай вернулся и обвил рукой его шею.

— Не отчаивайся! И лучше не играй сегодня! — шепнул он, и его стройная фигура в потрепанной куртке исчезла в метели.

Ганно положил книги на поднос, в вытянутые лапы медведя, и пошел здороваться с матерью. Она сидела на оттоманке, читая какую-то книгу в желтой обложке. Покуда он приближался к ней по ковру, Герда в упор смотрела на него своими карими, близко посаженными глазами с голубоватыми тенями в уголках. Потом обеими руками взяла голову сына и поцеловала его в лоб.

Ганно поднялся к себе в комнату, где мамзель Клементина уже приготовила для него легкий завтрак, умылся, поел. После завтрака он достал из пюпитра пачку крепких русских папирос и закурил, потом сел за фисгармонию, сыграл очень трудную и сложную фугу Баха, заложил руки за голову и стал смотреть на бесшумно падавший снег. Больше ничего не было видно. Окна его комнаты теперь не выходили в красивый сад с журчащим фонтаном — все загораживала серая стена соседней виллы.

В четыре часа подавался обед. За столом сидели трое: Герда Будденброк, маленький Иоганн и мамзель Клементина. После обеда Ганно приготовил в гостиной все, что нужно для музицированья, и, дожидаясь матери, сел за рояль. Они сыграли сонату Бетховена, опус 24. В адажио скрипка пела, как ангел. Но Герда все же осталась недовольна, она отняла инструмент от подбородка, поглядела на него и заявила, что он не настроен. Дальше играть она отказалась и ушла наверх отдохнуть.

Ганно остался в гостиной. Он подошел к застекленной двери, выходившей на узкую веранду, и в течение нескольких минут задумчиво смотрел на запорошенный снегом палисадник. Но вдруг отступил назад, быстро затянул дверь кремовой портьерой, так что комната сразу погрузилась в желтоватый сумрак, и почти подбежал к роялю. Там он постоял еще несколько секунд, уставившись в пространство; взор его постепенно мрачнел, затуманивался, становился каким-то потерянным. Ганно сел за рояль и начал импровизировать.

Это был совсем простенький мотив, пустяк, отрывок какой-то несуществующей мелодии, фраза всего в полтора такта. И когда под его руками, с силой, которую в них невозможно было предположить, эта фраза впервые одноголосо прозвучала в басу и казалось, что трубы сейчас единодушно и повелительно возвестят о ней, как об истоке и начале всего последующего, еще невозможно было предположить, что именно Ганно имеет в виду. Но когда он повторил ее в дискантe, окрашенную серебристым тембром, выяснилось, что она состоит всего лишь из тоскливого, скорбного перехода одной тональности в другую — коротенькая, несложная находка, которой, однако, точная, торжественная решительность замысла и исполнения придали своеобразный, таинственно значительный смысл. А потом среди взволнованных пассажей стали неустанно набегать и исчезать синкопы, ищущие, блуждающие, прерываемые внезапными вскриками, словно вскрикивала чья-то душа, растревоженная тем, что́ она услышала и что́ не хотело смолкнуть, а, напротив, все вновь и вновь зарождалось, всякий раз в иной гармонии,

вопрошая, жалуясь, замирая, требуя, маня. Все яростнее становились синкопы, неумолимо теснимые торопливыми триолями, но вот прорвавшиеся в них возгласы страха стали принимать более четкие очертания, слились воедино, выросли в мелодию и, уже подобно молитвенно-страстному трубному гласу, могучие и смиренные, все подчинили своей власти. Неудержимо надвигающееся, взволнованное, ищущее и ускользающее смолкло, покорилось; и в наивно-простом ритме вдруг прозвучал скорбный, по-детски молящий хорал, кончившийся аккордом, каким обычно заключают богослужение,— фермата и затем полная тишина. Но вот совсем тихо, в серебристом тембре, опять зазвучал тот первый мотив, та несложная, простенькая, но таинственно звучащая фраза — сладостный, болезненный переход из одной тональности в другую. И вдруг поднялся неистовый мятеж, дикая суета, управляемая только возгласами, словно звук фанфар, выражавшими исступленную решимость. Что случилось? Что готовилось? Казалось, рог воинственно зовет в наступление. Силы стали стягиваться воедино, концентрироваться, возобладали более жесткие ритмы, и возникла уже совсем новая дерзкая импровизация, что-то вроде охотничьей песни, задорной и стремительной. Но радостной она не была: гордое отчаяние звучало в ней, ее призывы походили на возгласы страха. И опять в эти прихотливо пестрые гармонические фигуры мучительно, смутно и сладостно вступил тот первый, загадочный мотив. И вслед за ним в безудержной смене событий, сущность и смысл которых не поддавались разгадке, возникло такое богатство звуковых причуд, ритмических и гармонических, с которыми Ганно уже не мог совладать, но которые рождались под его пальцами,— он чувствовал их всем своим существом, хотя сейчас впервые с ними столкнулся. Он сидел, склонясь над клавишами, полураскрыв рот, с отсутствующим, где-то витающим взглядом, и русые волосы мягкими завитками спадали на его виски. Что это было? Что он чувствовал? Преодолевал страшные препятствия? Взбирался на неприступные скалы? Переплывал бурные потоки? Проходил через огонь? И точно громкий смех или непостижимо радостный посул, вплетался сюда тот незатейливый первый мотив, тот переход из одной тональности в другую... Казалось, он зовет ко все новым, могучим усилиям. Его сопровождал неистовый, переходящий в крик прибой октав, а затем начался новый прилив — неудержимое, медленное нарастание, хроматический порыв ввысь, полный дикой, необоримой страсти, в которую вторгалось наводящее страх, обжигающее пианиссимо,— словно почва усколь-

зала из-под ног человека, и он летел в бездну вожделения... Опять где-то вдали тихо прозвучали первые аккорды той скорбной молитвы, но их тотчас же смыли волны прорвавшихся какофоний; эти валы нарастали, подкатывались, отбегали, брызгами взлетали вверх, низвергались и снова рвались к еще неведомому финалу, который должен был наступить сейчас, когда уже достигнут этот страшный предел, когда томленье стало уже нестерпимым... И он наступил; ничто теперь не могло удержать его; судороги страсти не могли больше длиться. Он настал. Разорвалась завеса, распахнулись врата, расступились терновые изгороди, рухнули огненные стены... Пришло разрешение, желание сбылось, наступила полная удовлетворенность, и с ликующим вскриком все переплеснулось в благозвучие, которое в тоскливо-сладостном ритардандо сейчас же перешло в другое — тот, первый мотив послышался снова. И началось торжество, триумф, безудержная оргия той самой фразы, что звучала во всех тональностях, прорывалась сквозь все октавы, плакала, трепетала в тремоландо, пела, ликовала, всхлипывала, обряженная в искрящееся, звенящее, пенящееся, переливчатое великолепие воображаемой оркестровки... Что-то тупое, грубое и в то же время религиозно-аскетическое, что-то похожее на веру и самозаклание было в фанатическом культе этого пустяка, этого обрывка мелодии, этой короткой, простенькой фразы в полтора такта. Более того, было что-то порочное в неумеренном, ненасытном наслаждении ею, в жадном ее использовании, что-то цинически отчаянное, словно порыв к блаженству и гибели, было в том вожделении, с которым из нее высасывали последнюю сладость, высасывали до отвращения, до тошноты, до усталости. И вот наконец, в изнеможении от всех излишеств, зажурчало долгое, медленное арпеджио в moll, поднялось выше на один тон, растворилось в dur и замерло в скорбном трепете.

Ганно посидел еще несколько мгновений — неподвижно, склонив подбородок на грудь, бессильно сложив на коленях руки. Потом поднялся и закрыл рояль. Он был очень бледен, ноги его подгибались, глаза горели. Он прошел в соседнюю комнату, растянулся на оттоманке и долгое время лежал не шевелясь.

Вечером, после ужина, они с матерью сыграли партию в шахматы, закончившуюся вничью. Но еще и после полуночи, при свечке, он сидел за фисгармонией и мысленно, так как в этот час уже надо было соблюдать тишину, что-то играл, хотя и собирался встать утром в половине шестого, чтобы приготовить хоть самые необходимые уроки.

Так прошел день в жизни маленького Иоганна.

С тифом дело обстоит так.

Человек ощущает какое-то душевное расстройство, оно быстро возрастает, переходит в бессильное отчаяние. При этом им овладевает физическая слабость, распространяющаяся не только на мускулы и мышцы, но и на функции внутренних органов и, пожалуй, в первую очередь на желудок, который отказывается принимать пищу. Больного все время клонит ко сну, но, несмотря на крайнюю усталость, сон его беспокоен, неглубок; такой сон томит, а не освежает. Голова болит, кружится; в ней ощущается какая-то муть и тяжесть. Руки и ноги ломит. Временами, без всякой на то причины, идет кровь носом. Таковы первые симптомы.

Затем следует сильнейший приступ озноба, от которого сотрясается все тело и зуб на зуб не попадает,— признак резкого повышения температуры. На груди и на животе появляются красные пятна величиной с чечевичное зерно; они исчезают, если нажать на них пальцем, и тут же выступают снова. Пульс неистовствует, делая до ста ударов в минуту. Так, при температуре сорок, проходит первая неделя.

На второй неделе боль в голове и во всем теле отпускает, но головокружения усиливаются, а в ушах стоит такой гул и шум, что больной начинает плохо слышать. Лицо его принимает бессмысленное выражение. Рот раскрыт, глаза мутные, безучастные. Сознание затемнено; сонливость по-прежнему одолевает больного, но он не спит, а только погружается в глубокое забытье и временами бредит, громко, возбужденно. Его беспомощная вялость приводит к отталкивающей неопрятности. К тому же десны больного, зубы, язык покрыты темной слизью, отравляющей дыхание. Со вздутым животом, он недвижно лежит на спине. Туловище соскальзывает с подушек, ноги раскинуты. Дыхание и весь организм работают торопливо, яростно, ненадежно, пульс сто двадцать ударов в минуту. Веки полуопущены, щеки уже не пылают от жара, как в начале болезни, а принимают синеватый оттенок. Пятен на груди и на животе становится больше. Температура тела достигает сорока одного градуса.

На третьей неделе слабость доходит до предела. Громкий бред прекратился, и никто уже не может сказать, погружен ли дух больного в черную пустоту или же, освобожденный от телесных страданий, витает в далеких сферах глубокого, мирного сна; ни одно слово, ни один жест не выдают этой тайны. Распростертое тело бесчувственно. Наступает кризис.

У некоторых индивидуумов диагноз затруднен привходящими обстоятельствами. Предположим, к примеру, что первые симптомы заболевания — упадок духа, вялость, отсутствие аппетита, беспокойный сон, головные боли — имели место уже в те дни, когда больной — надежда и упование всей родни — был еще на ногах, и потому внезапное обострение всех этих недомоганий никому не кажется чрезмерным уклонением от нормы... И все же опытный врач, ну хотя бы доктор Лангхальс, смазливый доктор Лангхальс с маленькими волосатыми руками, очень скоро разберется, в чем дело, а появление роковых красных пятен на груди и животе превратит его подозрение в уверенность. У него не возникнет сомнений и относительно мер, которые следует принять. Он потребует для больного возможно бо́льшего и возможно лучше проветриваемого помещения, в котором температура не превышает семнадцати градусов. Будет настаивать на безусловной опрятности, на частом перестилании постели, чтобы как можно дольше, хотя по большей части это и не удается, предохранить тело от пролежней. Он предложит держать полость рта в чистоте, пользуясь для этого влажной полотняной тряпочкой; из лекарств пропишет смесь йода и йодистого калия, а также хинина с антипирином, но прежде всего, поскольку желудок и кишечник сильно затронуты болезнью, очень легкую и укрепляющую диету. Изнурительную лихорадку он попытается побороть ваннами — глубокими ваннами, с водой, постепенно охлаждающейся от ног к голове, в которые велит сажать больного через каждые три часа, днем и ночью. А после ванны пропишет ему для укрепления сил и поднятия жизненного тонуса коньяк или шампанское.

Но все эти средства он применяет наугад, в надежде, что они окажут хоть какое-то действие, оставаясь при этом в полном неведении относительно их полезности, смысла и цели. Ибо главного врач не знает. До третьей недели, то есть до наступления кризиса, он блуждает в потемках относительно одного вопроса — жить или не жить больному. Ему неведомо, является ли в данном случае тиф временным злоключением, неприятным последствием инфекции, случайным заболеванием, поддающимся воздействию средств, изобретенных наукой, или это — форма конца, одно из обличий смерти, которая могла бы явиться и в другой маске, и лекарств против нее не существует.

Так обстоит дело с тифом: в смутных, бредовых сновиденьях, в жару и забытьи больной ясно слышит призывный голос жизни. Уверенный и свежий, этот голос доносится до

него, когда он уже далеко ушел по неведомым, раскаленным дорогам, ведущим в тень, в мир и прохладу. Встрепенувшись, человек прислушивается к этому звонкому, светлому, чуть насмешливому призыву повернуть вспять, который донесся до него из дальних, уже почти позабытых краев. И если он устыдится своего малодушия, если в нем шевельнутся сознание долга, отвага, если в нем вновь пробудятся энергия, радость, любовь, приверженность к глумливой, пестрой и жестокой сутолоке, которую он на время оставил, то, как бы далеко его ни завела раскаленная тропа, он повернет назад и будет жить. Но если голос жизни, до него донесшийся, заставит его содрогнуться от страха и отвращения, если в ответ на этот веселый, вызывающий окрик он только покачает головой и отмахнется, устремившись вперед по пути, ему открывшемуся, тогда — это ясно каждому — он умрет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Ты не права, Герда,— в сотый раз с упреком повторяла огорченная Зеземи Вейхбродт.

Нынешним вечером она восседала на софе в гостиной своей бывшей пансионерки Герды Будденброк, возле круглого стола, за которым, кроме самой Герды, сидели г-жа Перманедер, ее дочь Эрика, бедная Клотильда и три дамы Будденброк с Брейтенштрассе. Зеленые ленты чепца спадали на ее детские плечики, одно из которых она сильно вздернула, чтобы иметь возможность жестикулировать рукою над столом,— такой крохотной стала Зеземи на семьдесят шестом году жизни.

— Ты не права, Герда, и, позволь тебе заметить, ты поступаешь нехорошо! — повторила она взволнованным, дрожащим голосом.— Я одной ногой уже в могиле, мои дни сочтены, а ты хочешь... ты хочешь нас покинуть, навсегда с нами разлучиться, уехать... Если бы речь шла о том, чтобы погостить в Амстердаме, но — навсегда...— И она покачала своей птичьей головкой с карими, умными и печальными глазами.— Конечно, ты многое утратила...

— Нет! Она утратила все,— вмешалась г-жа Перманедер.— Мы не вправе быть эгоистками, Тереза. Герда хочет уехать — и уедет, тут ничего не поделаешь. Она приехала сюда с Томасом двадцать один год назад, и мы все любили ее, хотя она нами и тяготилась... Да, это так, не спорь, Герда! Но Томаса больше нет и... никого нет. А что мы ей? Ничто.

Нам это больно, но уезжай с богом, Герда, и спасибо тебе за то, что ты не уехала раньше, когда умер Томас...

Разговор этот происходил осенним вечером. Маленький Иоганн (Юстус Иоганн Каспар), щедро напутствованный благословениями пастора Прингсгейма, вот уже около полугода лежал там, на краю кладбищенской рощи, под крестом из песчаника, осеняющим плиту с фамильным гербом. За окнами гостиной в полуоблетевшей листве аллеи шелестел дождь. Ветер подхватывал его и бил о стекла. Все восемь женщин были в черном.

Это маленькое семейное сборище устраивалось по случаю отъезда Герды Будденброк, собиравшейся покинуть город и вернуться в Амстердам, чтобы, как в былые времена, играть дуэты со своим престарелым отцом. Никакой долг ее больше здесь не удерживал. Г-же Перманедер нечего было возразить против такого решения. Она покорилась ему, хотя в глубине души и чувствовала себя глубоко несчастной.

Если бы вдова сенатора осталась в городе, не увезла бы своего капитала и сохранила свое место в обществе, кое-как еще можно было бы поддерживать престиж семьи. Но будь что будет, а г-жа Антония твердо решила, покуда она жива и взгляды людей обращаются на нее, высоко держать голову. Ведь ее дед разъезжал по стране на четверке лошадей...

Несмотря на все, что ей пришлось испытать, и на неизменное желудочное недомогание, никто не дал бы ей пятидесяти лет. Правда, щеки ее покрылись легким пушком, а растительность на верхней губе — хорошенькой верхней губке Тони Будденброк — стала заметнее, но зато в гладко зачесанных волосах под траурным чепчиком не было ни одной серебряной нити.

Ее кузина, бедная Клотильда, относилась к отъезду Герды так, как следует относиться ко всему в этом мире,— равнодушно и кротко. Она только что, ни слова не говоря, весьма основательно покушала за ужином и теперь сидела, как всегда пепельно-серая, тощая, и изредка вставляла что-то в разговор, протяжно и приветливо.

Эрика Вейншенк, которой исполнился уже тридцать один год, тоже была неспособна расстраиваться из-за отъезда тетки. Много горестей выпало ей на долю, и она привыкла смиряться. В ее усталых водянисто-голубых глазах — глазах г-на Грюнлиха — была написана примиренность с незадавшейся жизнью; та же примиренность звучала и в ее спокойном, временами чуть жалобном голосе.

Что касается трех дам Будденброк, дочерей дяди Готхольда, то они, как всегда, хранили на лицах уязвленное и осуж-

дающее выражение. Старшие, Фридерика и Генриетта, с годами стали еще более сухопарыми и угловатыми, тогда как младшая, пятидесятитрехлетняя Пфиффи, сделалась еще короче и толще.

Приглашена была и старая консульша Крегер, вдова дяди Юстуса, но ей нездоровилось, а может быть, у нее не было приличного платья — кто знает!

Разговор шел об отъезде Герды, о железнодорожном расписании и о порученной маклеру Гошу продаже виллы со всей обстановкой. Герда ничего не брала с собой и уезжала, с чем приехала.

Затем г-жа Перманедер заговорила о жизни, всесторонне обсудила ее и поделилась своими соображениями касательно прошлого и будущего, хотя о будущем сказать было, собственно, нечего.

— Что ж, когда я умру, пусть и Эрика уезжает, если ей этого захочется,— сказала она.— Но я ни в каком другом городе не приживусь; и потому давайте уж держаться вместе — нас ведь только горсточка и осталась. Раз в неделю приходите ко мне обедать... Почитаем семейную тетрадь.— Она дотронулась до лежавшего перед нею бювара.— Да, Герда, это я принимаю с благодарностью. Так, значит, решено. Ты меня слышишь, Тильда? Хотя с таким же успехом и ты могла бы приглашать нас, твои дела теперь обстоят, право же, ничуть не хуже моих. Да, всегда так бывает. Люди трудятся, хлопочут, выбиваются из сил,— а ты вот сидела и дожидалась. А все-таки ты овца, уж не обижайся на меня, Тильда...

— О Тони! — улыбаясь, протянула Клотильда.

— Как жаль, что я не могу проститься с Христианом,— сказала Герда.

И они заговорили о Христиане. Мало было надежды, что его когда-нибудь выпустят из заведения, где он теперь сидел, хотя по состоянию здоровья мог бы жить и дома. Но так как его супругу очень устраивало такое положение вещей и она, по заверениям г-жи Перманедер, находилась в стачке с врачом, то Христиану, видимо, оставалось доживать свой век в упомянутом заведении.

Все смолкли. Потом разговор незаметно, робко вернулся к событиям недавнего прошлого, но когда кто-то упомянул имя маленького Иоганна, в комнате вновь воцарилась тишина, и только еще слышнее стал дождь за окном.

Какая-то мрачная тайна окутывала последнюю болезнь маленького Иоганна, видимо протекавшую в необычно тяже-

лой форме. Когда речь зашла об этом, все старались не смотреть друг на друга, говорить как можно тише, да и то намеками и полусловами. Но все же они вспомнили об одном эпизоде: о появлении маленького оборванного графа, который почти силой проложил себе дорогу к постели больного. И Ганно улыбнулся, заслышав его голос, хотя никого уже не узнавал, а Кай бросился целовать ему руки.

— Он целовал ему руки? — переспросили дамы Будденброк.

— Да, осыпал поцелуями.

Все задумались.

Внезапно г-жа Перманедер разразилась слезами.

— Я так его любила,— рыдала она.— Вы и не знаете, как я его любила, больше, чем вы все... уж прости меня, Герда, ты мать... Ах, это был ангел...

— Он теперь ангел,— поправила ее Зеземи.

— Ганно, маленький Ганно,— продолжала г-жа Перманедер, и слезы текли по ее одряблевшим щекам, покрытым легким пушком.— Том, отец, дед и все другие... Где они? Мы никогда их не увидим. Ах, как это жестоко и несправедливо!

— Нет, встреча состоится,— сказала Фридерика Будденброк. Произнеся это, она крепко сжала лежащие на коленях руки, потупила взор и задрала кверху нос.

— Да, так говорят... Ах, бывают минуты, Фридерика, когда ничто не утешает, когда — господи, прости меня, грешную! — начинаешь сомневаться в справедливости, в благости... во всем. Жизнь разбивает в нас многое, даже — веру... Встреча! О, если бы это сбылось!

Но тут Зеземи Вейхбродт взмыла над столом. Она поднялась на цыпочки, вытянула шею и стукнула кулачком так, что чепчик затрясся на ее голове.

— Это сбудется! — произнесла она во весь голос и с вызовом посмотрела на своих собеседниц.

Так она стояла — победительницей в праведном споре, который всю жизнь вела с трезвыми доводами своего разума, искушенного в науках,— крохотная, дрожащая от убежденности, вдохновенная горбатенькая пророчица.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Будденброки. История гибели одного семейства» («Buddenbrooks. Verfall einer Familie») был опубликован в 1901 году в Берлине, в издательстве Фишера. Русские читатели впервые познакомились с романом в сокращенном переводе З. Венгеровой («Семейство Будденброков. Эскиз по роману».— «Вестник Европы», 1903). Роман издавался позднее в переводах Ю. Спасского («Крушение семьи», М. 1911), В. С. Вальдман и М. Е. Лемберга (1927). Перевод Натальи Ман вышел первым изданием в 1953 году (Москва, Гослитиздат). Для настоящего издания перевод был сверен с оригиналом по первому тому собрания сочинений Томаса Манна: Thomas Mann, Gesammelte Werke, Erster Band, Aufbau-Verlag, Berlin, 1956.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Стр. 39. *...старик говорил... по-нижненемецки...*— Нижненемецкое наречие, на котором говорят жители северных, приморских областей Германии, значительно отличается — лексически и фонетически — от литературного немецкого языка, в основу которого было положено верхненемецкое наречие.

Стр. 47. *...векселя и акцепты фирмы...*— Акцепт — надпись на денежном документе (счете, векселе и др.), свидетельствующая о том, что он принят к оплате в установленный срок.

Стр. 49. *Князь Блюхер ретировался...*— Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819), прусский фельдмаршал, командовавший войсками в сражении под Ватерлоо. В ноябре 1806 года Блюхер, разбитый французами при Ауэрштедте, капитулировал под Любеком с четырнадцатитысячной армией.

Стр. 52. *Панн* Жан (1772—1821) — французский генерал, командовавший рейнской армией в период Ста дней; участник наполеоновских

войн, позднее — пэр Франции. Автор «Мемуаров», изданных в Париже в 1823 году. Разговор с Наполеоном происходил в день битвы при Ваграме, 6 июля 1809 года.

Маленькие наполеоны — наполеондоры, золотая монета в 10, 20 и 40 франков. Впервые были выпущены Наполеоном I. Наполеондоры чеканились также в Германии вестфальским королем Иеронимом; после падения Французской империи потеряли хождение, но вновь были введены в оборот Наполеоном III.

...перед человеком, который умертвил герцога Энгиенского... — Луи-Антуан-Анри де Бурбон, герцог Энгиенский (1772—1804), был схвачен агентами Наполеона в немецком пограничном городке Эттенгейме, обвинен в заговоре против Наполеона и по приговору военного суда расстрелян во рву Венсенского замка.

...он принялся рассказывать о книге, которую ему довелось читать... — «Мемуары» Луи-Антуана Фовеле де Бурьена (1769—1832), французского политического деятеля и дипломата, секретаря Наполеона, вышли в Париже в 1829 году.

Филипп Эгалитэ — здесь: Луи-Филипп I (1773—1850), французский король, возведенный на престол в 1830 году и свергнутый во время революции 1848 года. Фамилия Эгалитэ (то есть Равенство) была дарована городом Парижем его отцу, Филиппу Орлеанскому (1747—1793), якобинцу и члену Конвента.

Стр. 54. *...о вилле Боргезе, где Гете написал несколько сцен своего «Фауста»...* — Вилла в Риме, построенная в XVIII веке кардиналом Боргезе, славится собранными в ней памятниками искусства. Здесь Гете создал в конце февраля 1788 года всего одну сцену из первой части «Фауста» — «Кухня ведьмы».

Стр. 61. *«Вулленвевер»* — судно, названо по имени одного из выдающихся деятелей Реформации, любекского бургомистра и вождя протестантско-демократической партии Юргена Вулленвевера (1492—1537).

...заговорили о таможенном союзе... — Германский таможенный союз 1834 года положил начало экономическому и политическому объединению Германии. Любек примкнул к таможенному союзу в 1868 году.

А наша самостоятельность, наша независимость? — Любек получил право вольного имперского города в 1226 году от императора Фридриха II Гогенштауфена. «Любекское право» (древнейшие латинские и немецкие списки XIII в.) в средние века служило образцом для статутов многих городов в Северной Германии и Прибалтике. В 1867 году, войдя в Северогерманский союз и впоследствии, в 1871 году, в Германскую империю, Любек оставался вольным городом, с собственным управлением и непосредственным представительством в высшем совете империи.

Стр. 62. *...для нас откроются Мекленбург и Шлезвиг-Голштиния...* — Мекленбург-Шверин, Мекленбург-Стрелица и Шлезвиг-Голштиния, рас-

положенные между Балтийским и Северным морями, были самостоятельными германскими государствами и с XIII столетия соперничали с Любеком за господство на этих морях. В шестидесятых годах XIX века вместе с Любеком вступили в германский таможенный союз и образовали крупный хозяйственно-политический центр.

Стр. 63. *Саксонский маршал* — Мориц Саксонский (1696—1750), маршал Франции, французский полководец и военный писатель.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стр. 74. *...Будденброк... жительствовал в Пархиме...*— Пархим и Грабау — старинные немецкие города на реке Эльбе; основаны в XIII веке.

Стр. 75. *...рассказывалось о... старинной Библии виттенбергской печати...*— Речь идет о специальном издании для Любека на нижненемецком наречии лютеровского перевода Библии, отпечатанном в виттенбергской типографии Ганса Луфта в 1534 году.

Грамоты с гербом и печатями вольного ганзейского города...— С середины XIV до конца XVIII века Любек являлся центром некогда мощного союза северогерманских городов — Ганзы, обладавшего автономным государственным устройством, собственным войском, флотом и казной. С 1500 года политическое значение Ганзы непрерывно падало. В начале XIX века Ганза существовала уже только в виде союза трех вольных городов — Любека, Гамбурга и Бремена, продержавшегося вплоть до объединения Германии в 1871 году.

...тетрадь... с видами Эдинбургского замка...— Замок Холируд в Эдинбурге — старинная резиденция шотландских королей.

Стр. 96. *«Мимили»* (1816) — роман немецкого бульварного писателя Клаурена, пользовавшийся большой популярностью среди немецкого мещанства в начале XIX века.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Стр. 103. *Христиан... учил... вторую речь Цицерона против Катилины.*— Речи знаменитого римского оратора, государственного деятеля и философа-стоика Марка Туллия Цицерона (I в. до н. э.) против главы антиреспубликанского заговора Люция Сергия Катилины считались образцом классической латыни.

Стр. 107. *Имя это... лишь просторечное сокращение от Бенедикта...*— Бенедикт (лат.) в буквальном переводе означает «благословенный».

Стр. 111. *«Веверлей»* (1814) — первый исторический роман английского писателя Вальтера Скотта.

Стр. 132. *«Гартунгские известия»* — одна из старейших немецких газет. Издавалась в Кенигсберге с начала XVII века. Во второй половине прошлого столетия придерживалась либерального направления.

...или «Рейнскую газету».— «Рейнская газета» была основана 1 января 1842 года в Кельне группой либеральных рейнских промышленников. С 15 октября 1842 до 17 марта 1843 года газета редактировалась Карлом Марксом, который превратил ее в боевой орган немецкой революционной демократии. 31 марта 1843 года была закрыта прусскими властями. После мартовской революции в Германии, с 1 июня 1848 по 19 мая 1849 года, в Кельне выходила «Новая Рейнская газета», под редакцией Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Стр. 141. *...законы Германского союза об университетах и печати* — были введены прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV в сороковых годах прошлого столетия и повлекли за собой драконовские меры в области народного просвещения: усиление цензуры, притеснение прогрессивной прессы, судебные преследования и высылку передовых ученых, замещение университетских кафедр реакционерами и мракобесами и т. п.

В тринадцатом году... он ко всем нам обратился...— Имеются в виду исторические события 1813 года, когда Любек при приближении русских войск восстал против французских властей.

Нынешний король — прусский король Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861).

Стр. 142. *...я принадлежу к некоей корпорации...*— Речь идет об организации «Молодой Любек», входившей в «Молодую Европу» — союз тайных республиканско-демократических обществ, основанный в 1834 году в Швейцарии. Идейно-политическая программа движения «Молодой Любек» создавалась под непосредственным влиянием «Молодой Германии», общества немецких революционно-демократических эмигрантов в Швейцарии, принимавшего активное участие в подготовке германской революции 1848 года и, в частности, Баденского восстания 1849 года.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 170. *Я выбран старшиной Бергенской коллегии...*— В Бергенскую коллегию входили представители ганзейского союза, ведавшие торговыми связями с норвежским портом Бергеном. Даже восстание в Бергене (1558) против торгового протектората Ганзы оставило нерушимой монополию Бергенской коллегии.

Стр. 172. *Настал первый день октября 1848 года.*— Речь идет о событиях в Любеке в связи с германской революцией 1848—1849 годов. Борьба народных масс против господства купеческой знати привела к

введению новой любекской конституции 30 декабря 1848 года. Впоследствии Любек играл большую роль в развитии революционного движения в Германии, особенно в 1918—1919 годы.

Стр. 197. *...в конкурсном управлении за мной будет преимущественное право.*— Конкурсное управление — организация, которая согласно буржуазному торговому праву XIX века ведает передачей имущества несостоятельного должника его кредиторам. Конкурсное управление приближается по типу к акционерному обществу и контролируется общим собранием кредиторов и выборным комитетом; в некоторых случаях его функции передаются суду.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Стр. 231. *Как он себя чувствует в Висмаре?* — Висмар — старинный немецкий город на Балтийском побережье, основан в XIII веке. В эпоху средневековья был одним из крупных ганзейских городов, соперничавших с Любеком.

Стр. 238. *...он и в Вальпараисо общался... с англичанами...*— Вальпараисо — главный портовый город Чили, где в XIX веке доминирующую роль играл английский капитал.

Стр. 248. *...он сообщал... о... похождениях... в Сан-Паоло, в Уайтчепеле...*— Сан-Паоло — город в Бразилии. Уайтчепел — еврейский квартал в Ист-Энде, пролетарском районе Лондона.

Стр. 253. *...они... происходят по прямой линии от Пауля Герхардта.*— Герхардт Пауль (1607—1676) — немецкий поэт, последователь Лютера, автор книги «Духовные песнопения».

Стр. 266. *Брунгильда* — героиня древнегерманского эпоса начала XIII века «Песнь о Нибелунгах».

Мелузина — фея кельтских народных преданий, героиня одноименной поэмы (на латинском языке) Жана из Арраса (XIV в.) и многочисленных французских и немецких рыцарских романов в стихах и прозе (XIV—XV вв.).

Стр. 268. *«Ты знаешь дом на мраморных столбах...»* — из песни Миньоны в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Стр. 275. *Пинакотека* (греч.) — хранилище картин. Так называются две крупнейшие картинные галереи в Мюнхене: Старая (год осн. 1836), где хранятся шедевры старинных мастеров, и Новая (год осн. 1853), славящаяся произведениями немецкой живописи XIX—XX веков.

Глиптотека (греч.) — хранилище статуй в Мюнхене, богатейшее собрание античных скульптур.

Стр. 288. *«Тиволи»* — увеселительное заведение.

Стр. 294. *...поговорили о короле Максимилиане...* — Баварский король Максимилиан II (годы правления: 1848—1864) выступил решительным противником прусской политики, направленной на создание Германской империи, и противопоставил ей свой план союза мелких среднегерманских государств под главенством Баварии.

Стр. 310. *...о революции в Мюнхене...* — Имеется в виду революционное движение в Баварии в феврале — марте 1848 года, которое в связи с революцией 1848 года в Австрии и Пруссии вынудило баварского короля Людвига I (1786—1868) отречься от престола в пользу своего сына, Максимилиана II. Народная ненависть к Людвигу I нашла свое отражение в сатирическом стихотворении Генриха Гейне «Хвалебные песни королю Людвигу».

Лола Монтез — известная авантюристка, фаворитка баварского короля Людвига I; оказывала пагубное влияние на политическую жизнь Баварии своей поддержкой феодальной реакции и полицейского режима; во время революционных событий в Мюнхене в 1848 году была, по требованию народа, изгнана из страны.

«Гамбургские известия» («Hamburger Nachrichten») — старейшая политическая и коммерческая газета гамбургской крупной буржуазии; прекратила свое существование во время второй мировой войны.

Только и речи что об Орсини и бомбах... — Орсини Феличе (1819—1858) — известный итальянский патриот-революционер. Член тайного революционного общества «Молодая Италия», участник восстания против папской власти в Болонье в 1843 году и революции 1848 года в Венеции и Риме. 14 января 1858 года совершил в Париже неудачное покушение на жизнь французского императора Наполеона III и был казнен.

...регентом будет принц... — Вследствие психического заболевания прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, палача германской революции 1848 года, в 1858 году был провозглашен регентом его брат, позднее германский император Вильгельм I (1797—1888).

Стр. 316. *Сколько бы Союзный Совет ни разъяснял...* — Союзный Совет — высшее управление Северогерманского союза двадцати одного государства, основанного Бисмарком в 1867 году под гегемонией Пруссии и подготовившего образование Германской империи в 1871 году. В конце пятидесятых годов происходила борьба за германский таможенный союз между ганзейскими городами во главе с Любеком, заинтересованными в понижении ввозных пошлин, и прусской тяжелой индустрией, нуждавшейся в высоких таможенных тарифах в связи со строительством германской железнодорожной сети.

...общая конституция для Голштинии и Лауэнбурга не правомерна...— Лауэнбург — в XIX веке северогерманское государство; вследствие своего географического и экономического положения служило яблоком раздора сначала между Любеком и Мекленбургом, а затем между Данией и Пруссией.

Стр. 317. *Германо-австрийский почтовый союз* — был заключен в пятидесятых годах между Австрией, Пруссией и другими германскими государствами и почтовым управлением Турн-Таксисов (см. ниже) на началах финансового и административного единообразия.

...мы... оставались бы при датской и турн-таксийской почте.— Почтовая система Турн-Таксисов получила свое название от ее основателей, графов фон Турн и Таксис, в начале XVI века принявших от Габсбургов руководство первой нидерландско-немецкой почтой. Франц фон Таксис учредил первую регулярную линию между Веной и Брюсселем в 1516 году. Иоганн Баптист фон Таксис был главным директором государственной почты. Они сделались родоначальниками монополистической «почтовой династии Таксисов» в Германии, Нидерландах и Испании.

Стр. 318. *Ceterum censeo* (лат.) — начало фразы: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» («Кроме того, полагаю, что Карфаген должен быть разрушен»), которой заканчивал каждую свою речь в сенате римский цензор Катон Старший (II в. до н. э.), требуя покончить с врагом Рима — Карфагеном. Здесь употреблено в смысле упорного следования определенной политической цели.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Стр. 376. *Мир 1865 года* — Гаштейнская конвенция о разделе приэльбских герцогств, заключенная между Пруссией и Австрией 14 августа 1865 года.

В промежутке между двумя войнами — датской 1864 года и австропрусской 1866 года.

...Франкфурт, заплативший своей независимостью за веру в Австрию.— Франкфурт-на-Майне в результате поражения Австрии в австропрусской войне утратил независимость и был присоединен к Пруссии в 1866 году.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Стр. 381. *«Квисисана»* (ит ал.) — «Здесь выздоравливают» — название загородного замка в Кастелламаре (Италия). Название это носят многие отели и виллы на курортах Европы.

Стр. 387. *«Берлинская биржевая газета»* («Berliner Börsenzeitung») — орган крупной прусской финансовой буржуазии. Газета основана в Берлине в 1855 году; в XX веке проводила политику магнатов германского монополистического капитала. Была закрыта во время второй мировой войны.

Стр. 389. *Варнемюнде* — морской порт в Северной Германии, расположенный при впадении реки Варнов в Балтийское море.

Стр. 394. *...гравюры... изображавшей Джакомо Мейербера в окружении персонажей из его опер...* — Мейербер Джакомо (1791—1864) — композитор, создатель французской «большой оперы» в эпоху Июльской монархии. Автор опер «Роберт-Дьявол», «Гугеноты», «Пророк», «Африканка» и других.

Стр. 397. *«Волшебный рог мальчика»* — сборник немецких народных песен, изданный в 1806—1808 годах главой реакционно-националистической школы «гейдельбергских романтиков» Иоахимом фон Арнимом (1781—1831) и его другом, поэтом Клеменсом Брентано (1778—1842).

Стр. 413. *Уланд* Иоганн Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик и историк литературы, буржуазный политический деятель германской революции 1848 года.

Стр. 422. *Палестрина* Джованни Пьерлуиджи (1525—1594) — крупнейший композитор церковной музыки; прозван по месту рождения, небольшому итальянскому городку Палестрина.

Стр. 424. *...это противоположность гедонизму?* — Гедонизм — этическое учение киренской философской школы в Древней Греции (IV в. до н. э.). Представители этой школы провозгласили наслаждение высшим принципом жизни.

Стр. 435. *...из сказки Гримма...* — Братья Гримм, Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) — немецкие ученые, известные своими исследованиями по истории культуры и языка, собиратели и популяризаторы устного народного творчества.

Стр. 440. *...она читала им о Катерлизхен...* — Речь идет о персонажах сказок братьев Гримм: «Фридер и Катерлизхен», «Король-лягушонок, или Железный Генрих», «Сказка о том, кто ходил страху учиться», «Румпельштильцхен» и «Рапунцель».

Стр. 447. *Дедушка Рупрехт* — в немецких народных сказках — рождественский дед-мороз.

...Ганно читал в Героковых «Пальмблеттер»... — Герок Карл Фридрих (1815—1890) — немецкий поэт, автор книги «Пальмблеттер» («Пальмовые листья»), представляющей собой стихотворное изложение библейских легенд.

Андорская волшебница — героиня библейской легенды из эпохи войны иудеев с филистимлянами (X в. до н. э.), предсказавшая иудейскому царю Саулу военное поражение и гибель династии.

Стр. 451. *«Фиделио»* (или «Леонора») — единственная опера великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770—1827).

Стр. 453. *...огромная елка... с вертепом у подножия.*— Вертеп — ящик с фигурками, изображающими сцену рождения Христа.

Стр. 457. *...таких же благотворительных заведений в Мекленбурге, в Доббертине и Рибнице...*— Доббертин и Рибниц — немецкие города в Мекленбург-Шверине.

Стр. 462. *Гебель* Иоганн Петер (1760—1826) — немецкий поэт, автор «Алеманских стихотворений» (1803), посвященных жизни и быту крестьян Верхнерейнской области и написанных на одном из южнонемецких наречий.

...притчи Круммахера...— Круммахер Фридрих Адольф (1767—1845) — немецкий поэт и ученый богослов. Известен главным образом своими нравоучительными баснями, собранными в книге «Притчи» (1805).

«Pensées de Blaise Pascal» (франц.) — «Мысли» — название главного философского труда известного французского математика, физика, философа и писателя Блэза Паскаля (1623—1662). Против этой книги (издана посмертно в 1670 г.), проникнутой религиозно-мистической идеей греховности человеческой природы, выступали Вольтер и Энциклопедисты.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

Стр. 493. *...на... постаменте высился слепок с Торвальдсенова «Благословляющего Христа»...*— Торвальдсен Бертель (1768—1844) — датский ваятель, крупнейший представитель классицизма в западноевропейской скульптуре XIX века.

Стр. 497. *...о злобствующих лемурах...*— намек на сцену из второй части «Фауста» Гете — «Большой двор перед дворцом». Лемуры, по верованиям древних римлян,— мрачные могильные призраки умерших.

Стр. 499. *Ларошфуко* Франсуа де (1613—1680) — французский писатель-моралист и политический деятель фронды (движение, направленное против абсолютизма).

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Стр. 541. *...задано... из Непота...*— Корнелий Непот — римский историограф периода конца Республики (I в. до н. э.). Известен книгой «О замечательных людях» — жизнеописания выдающихся деятелей Греции и Рима.

Стр. 544. *...это был объемистый том... вторая часть прославленной метафизической системы.*— Речь идет об учении Артура Шопенгауэра

(1788—1860), немецкого реакционного философа-идеалиста, изложенном в его книге «Мир как воля и представление» (1818).

Стр. 545. *«О смерти и ее отношении к нерушимости нашего существа в себе»* — глава из книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Стр. 589. *«Мне за спиной опасности грозили, но лишь увидят Цезаря чело...»* — стих из исторической трагедии Вильяма Шекспира «Юлий Цезарь» (д. 2, сц. II).

Стр. 593. *...вспомнив мотив Грааля или «шествия в собор»...* — лейтмотивы оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в увертюре и сцене свадьбы Лоэнгрина и Эльзы.

Стр. 596. *Родерик Эшер* — главное действующее лицо в фантастической повести американского писателя Эдгара Аллана По «Падение дома Эшеров».

Стр. 597. *...категорический императив нашего философа Канта...* — Кант Иммануил (1724—1804) — крупнейший немецкий философ-идеалист второй половины XVIII — начала XIX века. «Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 14, стр. 184). Категорическим императивом Кант называет принцип нравственного долга, определяющий поведение человека.

Стр. 602. *«...кто жил, трудясь, стремясь весь век...»* — стих из «Фауста» Гете (ч. II, д. 5, сц. «Горные ущелья»).

Стр. 604. *«Не было тогда ни кары, ни страха...»* — слова из «Метаморфоз» Овидия (кн. I, ст. 91—93).

Стр. 617. *...он читал целые лекции о политике Бисмарка...* — Речь идет о законодательстве Бисмарка, направленном против рабочего движения и социал-демократии.

Р. Миллер-Будницкая

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Вильмонт. Томас Манн и его «Будденброки»...5

БУДДЕНБРОКИ
Перевод Натали Ман

Часть первая 35
Часть вторая 70
Часть третья 103
Часть четвертая 166
Часть пятая 229
Часть шестая 273
Часть седьмая 344
Часть восьмая 377
Часть девятая 468
Часть десятая 510
Часть одиннадцатая 576

Примечания *Р. Миллер-Будницкой* 629

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ

Том 165

Томас Манн

БУДДЕНБРОКИ

*

Редактор С. Шлапоберская

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

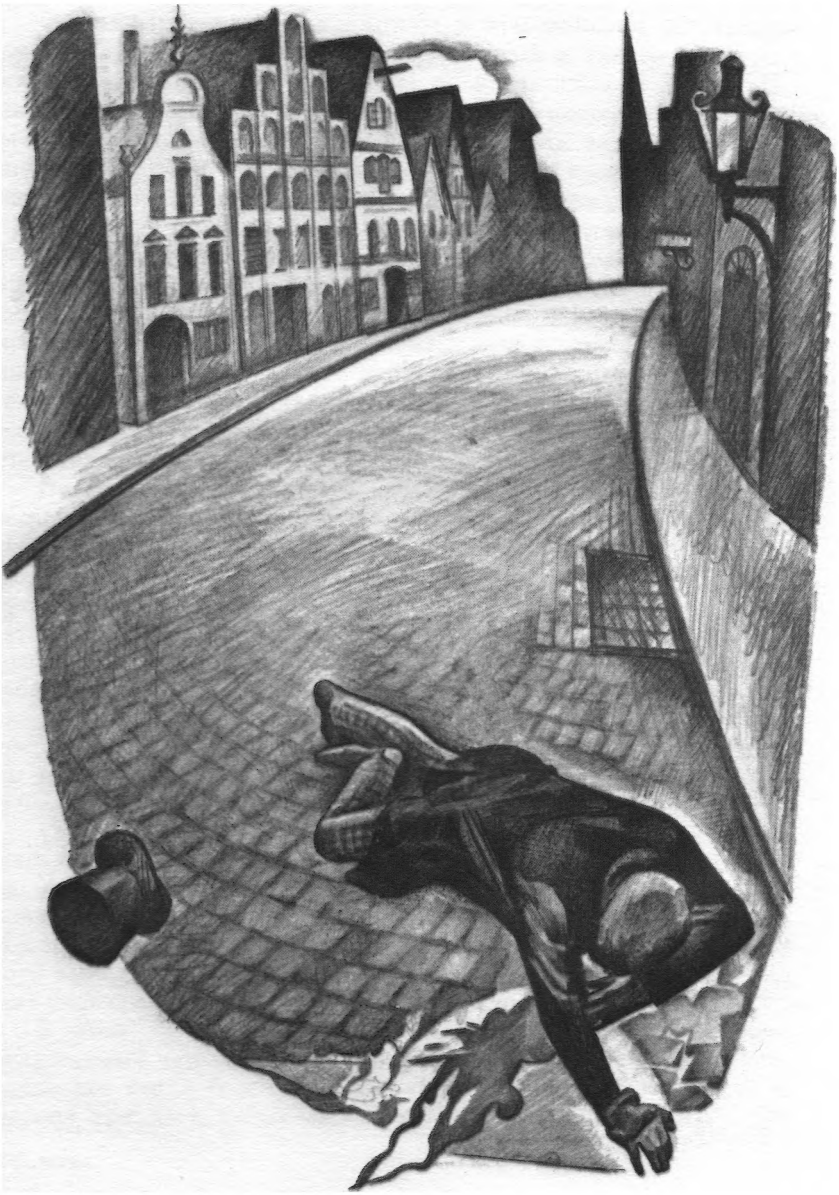
Технический редактор
Л. Заселяева

Корректоры Г. Асланянц и
Н. Гористова

*

Сдано в набор 10/I 1969 г. Подписано к печати 2/IV 1969 г. Бумага типографская № 1 60×84¹/₁₆. 40 печ. л., 37,32 усл. печ. л., 38,87 уч. изд. л. +8 накидок+1 вкл. = =39,89. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 3445. Цена 1 р. 75 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28